Дмитрий Урнов

НА БЛАГО ЛОШАДЕЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Дмитрий Михайлович Урнов (род. в 1936 г., Москва), литератор, выпускник Московского Университета, доктор филологических наук, профессор. Автор известных книг «По словам лошади», «Кони в океане», «Железный посыл», «Похищение белого коня». Новое издание «На благо лошадей» адресовано как любителям конного спорта и иппической литературы, так и широкому кругу читателей.

- Дмитрий Урнов
  -
  - К читателю
  - Словами лошади
    -
    - «Словами лошади»
    - Волшебный мир
    - Жизнь на благо лошадей
    - Миллион Николая Насибова
    - Абсент по соседству
    - Требования к хорошей лошади, или Всегда в посыле
  - Жизнь замечательных лошадей
    -
    - Вечные кони
    - Бравый
    - Почему проиграл Крепыш
    - Фар-Лэп
    - Победа Квадрата
    - Участь «Апикса»
    - Цена «Песняра»
  - Люди возле лошадей
    -
    - Финский посыл
    - Трагик и «Гамлет»
    - Как женился Лешка Аист
    - Профан или Профиль?
    - Прилепские времена
    - Эпилог 2010 года
    - «По этапу»
    - Удача наездника Флеминга
    - Миледи Шенандо
    - Над гробом ковбоя

- Успешная дипломатия
- Первый аукцион
- Лошадь как лошадь

○ Беседы у конюшни
-
- Иппическая пропедевтика
- Буцефал и другие
- Ренессанс и Барокко
- Символ мастерства
- Верхом
- Лошади у Шекспира
- Был ли Лев Николаевич лошадью?
- Несравненный пегий
- Езда концами
- Судьба всадника
- Альфиери, или Опыт иппотерапии
- «Россию поднял на дыбы»
- Жертва байронизма, или Момент поэтической истины
- Любил ли Лермонтов лошадей?
- Мыслящая лошадь
- О правилах хорошего тона
- Рыжий, Гнедой и Чалый
- Падение и триумф Уильяма Фолкнера

○ «Были когда-то и вы рысаками…»
-
- В объездчиках
- Правильная посадка
- День Бородина
- На конюшне
- Счастливый случай
- Последний парад, или Паспорт кобылы
- На память о лошадях

○ Дорогой длинною
-
- Кучера и ковбои
- Трое в Англии, не считая лошадей
- Могила Годольфина
- У Вороньего холма
- Речь Руди Шабала из племени Нез-Персе

○ На последней прямой
-
- Нарком на бегах
- Лошади едят овес

        - В горах Кавказа
        - Вблизи лошадей
        - Шолоховский вопрос
        - У противоположной прямой
        - Прикидка
        - Свидетель
    - От звонка до звонка – по дистанции
        -
        - У ворот ипподрома
        - Приз Мира
        - Трехсторонняя политика
        - Дело в шляпе
        - На станции «Пентагон»
        - В горах Югославии, или О приемах Венской школы верховой езды
        - Великосветский визит, или Волшебное лошадиное слово
        - По коням!
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16
    - 17
    - 18
    - 19
    - 20
    - 21
    - 22
    - 23
    - 24
    - 25

- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28

Дмитрий Урнов
На благо лошадей. Конный мир за последние семьдесят лет. Очерки иппические

Иллюстрации Алексея Глухарева

Издательство и автор выражают признательность за разрешение использовать фотографии из журнала «Смитсониан», из архивов агентства «Новости», ипподромов Йонкерс, Лорел, Московского ипподрома и Музея коневодства, Натальи Костиковой

Предварительная редакция и консультации Ответственного Секретаря Содружества рысистого коневодства, капитана Первого ранга О. А. Горлова

Редактор Л. Заковоротная

© Издательство им. Сабашниковых, 2011
© Д. М. Урнов, 2011
© А. Н. Глухарев, иллюстрации, 2011

К читателю

В нашем современном мире вдруг начал возрождаться интерес к литературе о лошади, появляются издания, целые сборники художественных произведений, пользующиеся спросом у читателей. Замечательные писатели различных стран в своей жизни соприкасались с лошадьми, конным миром. Однако только единицы участвовали непосредственно в тренинге и испытаниях лошадей, работе на конюшне ипподрома, запросто общались с корифеями: от всемирно известных ученых, аристократов до наездников, жокеев, ковбоев.

Именно такой обширный опыт имел и в полной мере использовал Дмитрий Михайлович Урнов. Конно-Спортивная школа «Труд», Московский конный завод № 1, Центральный Московский ипподром, Одесский ипподром, Кавказ, Киргизия, Англия, США, Франция, Австралия, Новая Зеландия – всюду, где только удавалось ему побывать, он, литературовед по профессии, старался соприкоснуться с лошадьми и конниками. Первый Международный конный аукцион, Международный Приз Мира, первые выступления наших рысаков за океаном – он оказался свидетелем и даже участником важных конноспортивных событий, не только зрителем на трибунах.

Уникальные возможности, представившиеся Дмитрию Михайловичу, позволили ему рассказать о виденном, познакомить нас с замечательными людьми и лошадьми. Его книги «По словам лошади», «Кони в океане», «Железный посыл», «Похищение белого коня» стали поистине бестселлерами 1960–1970-х годов. Дополненные и переработанные очерки из этих книг составили основу нового издания, озаглавленного «На благо лошадей». Выражаем уверенность, что оно станет прекрасным подарком любителям конного спорта, а также настоящим литературным памятником конникам и лошадям прошедшего века.

В настоящее время Дмитрий Михайлович на пенсии, недавно справил свое 75-летие, активно сотрудничает в таких изданиях, как «Беговые ведомости» и альманах «Ахал-Теке», он продолжает помогать российским конникам в их международных контактах.

А. П. Ползунова

Вице-Председатель Содружества рысистого коневодства,

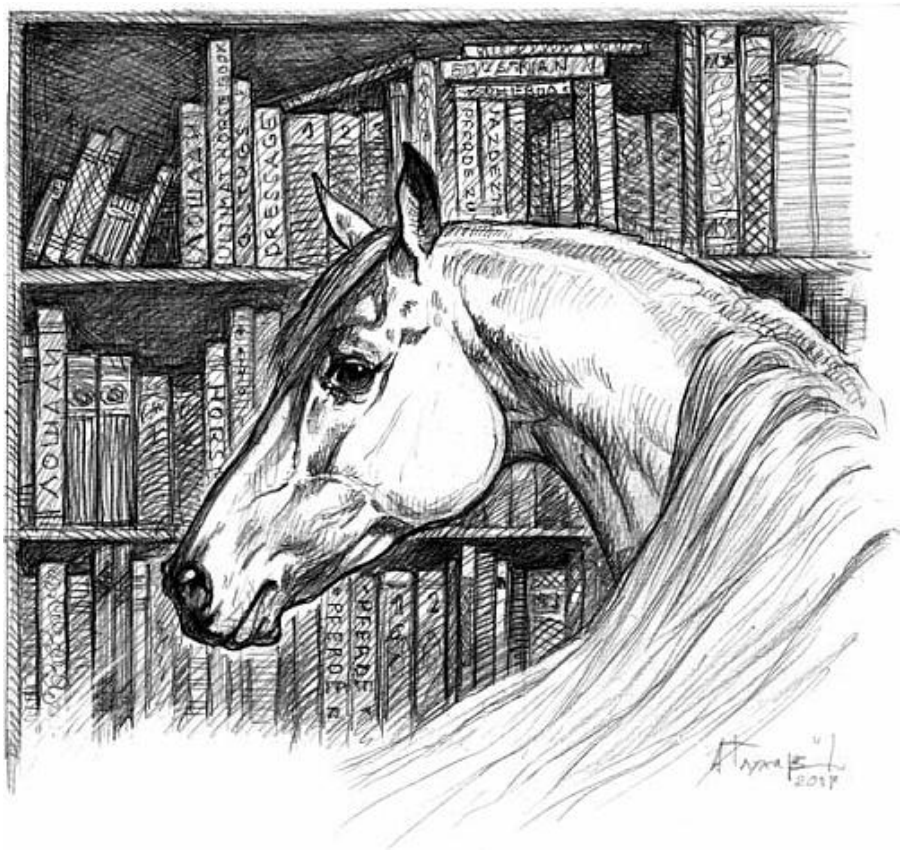
мастер-наездник,

кандидат сельскохозяйственных наук

Словами лошади

«Лошадь заржала с такими разнообразными модуляциями, что я подумал, уж не разговаривает ли она на своем языке».

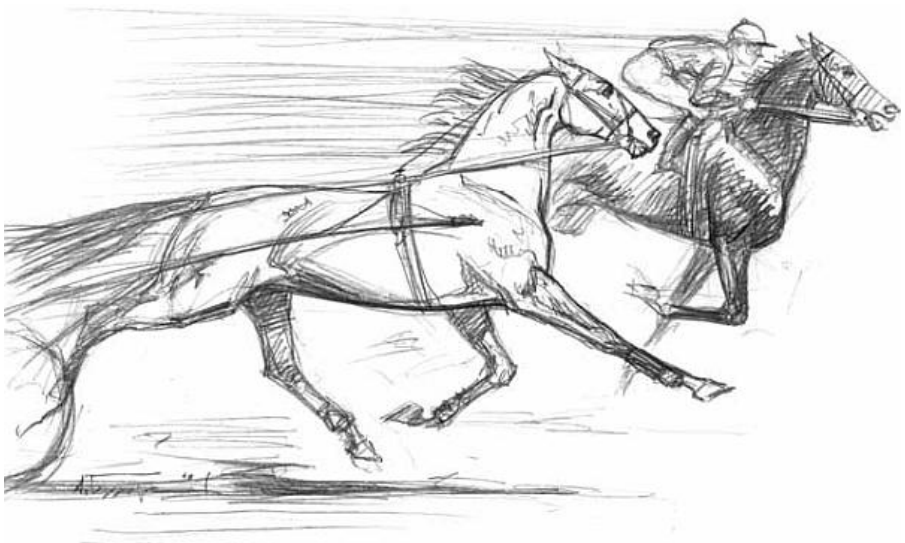
«Путешествие Гулливера в Страну Игогогов»



«Словами лошади»

«Я проходил вдоль скачек…»

А. Блок



Мой дед, старый воздухоплаватель, хотел видеть меня авиатором. Когда было мне пять лет, каждое воскресенье ездили мы с ним смотреть самолеты. От Пушкинской площади отправлялись на троллейбусе к аэропорту, и где-то на полпути слышался голос кондуктора: «Бега!»

– Дед, что значит «бега»?

Дед ревновал мои интересы ко всему, что только не *летание,* разъяснять ненужное считал излишним и отвечал всего-навсего:

– Там бегают лошади.

Однако, сам того не желая, он-то и открыл мне конный спорт. Он давал мне рассматривать старые журналы начала века, когда только появились первые самолеты, похожие на книжные полки, какие теснились у деда вокруг письменного стола. Дед видел полеты Райта, говорил с пилотом Нестеровым, и, конечно, если он сам перелистывал страницы и стучал пальцем по картинкам, я смотрел только на самолеты. Разглядывая журналы без него, я видел не одни летательные аппараты, но и многое другое, например, лошадей. Лошадей попадалось гораздо больше, чем «летунов».

Дмитрий Урнов. В Орегоне, 1995 г. Фото Фила Кайса.

Тройка Александра Панкова на Парижской выставке.

Наставление сыну. Шарж И. Б. Воробьевой-Урновой, 1940 г.

Шалун, Копыток и Буланый – первые лошади, на которых научил меня ездить верхом сын конюха Иван Баранов. 1947. Зарисовка И. Б. Воробьевой-Урновой.

На перегоне скота в Северной Дакоте.

«Что ж сгорбился, как кот за заборе?!!» – комментарий Н. Будённой. 1979 г.

Кучера и ковбои. Ферма «Акадия», Нортфильд, Огайо. Фото из журнала «Хорс энд Шоу», 1969.

«Волшебный мир» Алексея Шторха, жокея и художника.

«Вожжи в руках». Виктор Эдуардович Ратомский. Фото А. Шторха.

Барбаро в руках Эдуардо Прадо берет Дерби в Кентукки. Фото «Ассошиейтед Пресс», 2006.

Кунак – чемпион породы 2006 г. на выводке ЦМИ, чемпион России 2009 г. по типу и экстерьеру, победитель приза Крепыша 2007 г., производитель конного завода Климента Мельникова.

Лотос – неоднократный победитель в Париже, Казани, Уфе, ЦМИ. Тренер – мастер-наездник международного класса Виталий Константинович Танишин.

Мемуары Якова Ивановича Бутовича «Лошади моей души» – подарок конникам. Изданы К. Мельниковым, владельцем конного завода.

На конном заводе Климента Мельникова.

Я увидел: бега – это лошади с маленькими двухколесными повозками. Кроме того, есть скачки – там же, на бегах, но ездок сидит не в двухколеске, а верхом. Мне стали знакомы имена, встречавшиеся в журналах особенно часто: Крепыш и Кейтон. Крепыш был серый с черными кожаными крышками на глазах, Кейтон – в очках, как пилот, и с хлыстом в руке.

Журналы были подобраны у деда образцово, и прежняя жизнь развертывалась передо мной в последовательности. Без пропусков, по порядку мог я проследить, как полвека тому назад готовился Интернациональный приз, как все волновались, взвешивали, кто же победит: наш великан Крепыш или же гнедой американец Дженераль-Эйч? Толпа чернела на фотографиях: шла на бега Москва смотреть схватку орловца с иностранцем.

Решался вопрос спортивной национальной чести. Лошадь еще сохраняла всю полноту своего значения в хозяйстве, армии, и потому среди других видов спорта первенствовали бега и скачки. Строились конюшни, где лошадям было предложено если не на золоте едать, то во всяком случае стойла для скакунов сооружали чуть ли не мраморные, – бестолковый, однако внушительный памятник тогдашнего отношения к лошади. Манежи действовали в центре больших городов. Когда бежал Крепыш, на ипподром отправлялась вся Москва. Будто сам я был в той толпе и, подымаясь на носках, старался увидеть, как пройден первый круг, – настолько переживал я за Крепыша. Он проиграл! Не потому, что оказался хуже, а из-за коварства Кейтона. Снова и

снова разбирал я в журнале статью про исторический бег, всегда задерживаясь на последних строках: «Жаль Крепыша!» А потом вдруг почему-то говорилось в журнале: «Как жаль уходящей молодости!»

С тех пор, если отправлялись мы с дедом смотреть самолеты и кондуктор говорил «Бега!», мне всякий раз вспоминалось: «Жаль уходящей молодости!»

Недавно все в том же троллейбусе молодая женщина с малышом спросила:

– Какая следующая остановка?

Кондуктора теперь в троллейбусе не было, и я ответил:

– Бега.

– Мама, что такое «бега»? – спросил мальчик.

«Жаль уходящей молодости!» – произнес я про себя.

Женщина сказала:

– Не знаю.

Что такое бега? Какая разница – бега и скачки, рысак и скакун, наездник или жокей? Чем чистокровная лошадь отличается от чистопородной? Орловский рысак – из Орла? После верховой езды ноги обязательно становятся кривыми? Про Вронского и Фру-Фру у Толстого – правда? Что значит Холстомер, мерин и пегий? Когда говорится «посыл», это куда или что посылают? Почему у лошадей селезенка от сытости екает? Лошади едят только овес? Что важнее: хороший ездок или хорошая лошадь? Что такое лошадь, в конце концов? – такие вопросы приходилось слышать множество раз.

Не сделался я по профессии ни летчиком, ни лошадником, а стал литератором и лишь отчасти лошадником. Для меня самого иные из этих вопросов, если взять их в высшем, специальном смысле, остаются темны.

– Вожжи в руках, – только и услышал я от опытного наездника, когда добивался, почему лошадь, на которой еду я, идет боком, а у него – на чистом ходу.

Я тогда начинал ездить и делал ошибки простейшие. Наездник мог бы объяснить подробнее, указать приемы. Он же сразу сказал о главном секрете. Позднее приемы стали мне известны. Я узнал про лошадей и езду едва ли не все, что можно и нужно было узнать, однако неуловимая магия мастерства, tact èquestre, как выражался знаменитый ездок Филлис, «чувство лошади» по-прежнему не давалось мне, и, терпя неудачи, я твердил про себя те же слова.

«Вожжи в руках» – вот таинство. Садится один, и лошадь, чувствуя руки, идет как часы, ноги не сменит, а у другого – никак.

В рассказе «Изумруд» Куприн поймал момент идеального

хода. У него раскрыто таинственное взаимное понимание между наездником и лошадью. Серый Изумруд вспоминает своего наездника: «Он никогда не сердится, никогда не ударит хлыстом, даже не погрозит, а между тем как радостно, гордо и страшно приятно повиноваться каждому намеку его сильных, умных, все понимающих пальцев. Только он один умеет доводить его – Изумруда – до того счастливого, гармоничного состояния, когда все силы тела напрягаются в быстроте бега, и это так весело, и так легко».

Гамлет у Шекспира с восторгом наблюдал конную репризу знаменитого французского ездока Ламона:

К седлу, казалось, он прирос и лошадь
К таким чудесным принуждал движениям,
Что он и конь его как будто были
Одно творение.

О подобном искусстве и говорят «чувство лошади», «руки» или «железный посыл», то есть умение взять от лошади все, что можно, или даже больше того, на что она вообще способна. Это – высшее. Меня сокрушали задачи куда более скромные. Я нашел их описанными в «Зазеркалье» у Льюиса Кэрролла, что, впрочем, естественно, ибо (как иные утверждают) наиболее причудливые и самые современные понятия о положении человека в пространстве и даже сама теория относительности могут быть вычитаны из этой детской книжки. О положении в седле там говорится вполне актуально, по крайней мере, для меня.

– Великое искусство верховой езды состоит… – с этими словами рыцарь Зазеркалья обычно вываливается из седла.

Моя беда заключалась и в том, что я старался постичь навыки езды слишком филологически (по основной своей специальности) – через слова. Как называется? Что это такое? – без этого я не способен был двинуться. И находились наездники, тренеры, которые терпеливо втолковывали, что и как. С умением, вообще характерным для лошадников, они говорили картинно, что называется, по охоте, как и подобает этому живописному делу. Особое владение хлыстом, посыл, сборка, понимание пэйса (резвости),[1] величие былых и нынешних мастеров – все это сверкало в их устах и у меня перед глазами, однако неизбежно вставала грань, за которой объяснения бессильны: «Вожжи в руках!»

Отчасти тут есть и филологическая – словесная проблема. «Кататься пришел?» – иногда спрашивают меня на конюшне и обижают жестоко. Катаются на пони детишки в зоопарке! А я что

– мальчик? Новичок? Разве надо за мной присматривать, когда я сажусь на лошадь? Обидеть, конечно, и не думают. Так чаще всего говорят люди, которые сами-то не очень понимают дело, на конюшне они оказались случайно. От мастеров «кататься» не услышишь. «Будете ездить? Отработаешь гнедого», – таковы их слова. У конников, как в любой профессиональной среде, есть свой язык, которым они пользуются виртуозно, и всякий, кто сколько-нибудь их понимает, различит в речи конюшни красочно выражаемые тончайшие смысловые оттенки в описании лошадей и взаимоотношения с ними. Конники пользуются и обычными словами, но с особыми ударениями и отличительным произношением, и если шахтеры говорят «до́быча», то наездник скажет о жеребце «резо́в».

«Истинные конники вообще ездить не любят», – энтузиасты доходят и до таких крайностей. Лошадь для них предмет созерцания и восторгов, словом, переживаний, а не практического использования. Но уж если говорить о понятиях, среди конников принятых, то на лошади не катаются и не ездят. «Лошадь ездят», «лошадь работают» – такие существенные оттенки подчеркивают активность всадника; они передают серьезность, системность, сознательность обращения с лошадью, это как всякий труд, как любая работа.

У неискушенных при виде лошади или при мысли о ней возникает импульс мчаться, лететь, нестись. «Конь несет меня лихой, а куда – не знаю», – сказал поэт, и всякий, кто подобно Дон-Кихоту, почерпнувшему из романов представления о рыцаре, всякий, говорю я, кто также вычитал лошадей из книг, убежден, будто на лошади надо обязательно нестись и лететь. Между тем у конников нет доверия к всаднику, который только и может, что носиться на лошади. «Что вы носитесь?» – спрашивают его с досадой, то есть, почему человек не управляет, не распоряжается лошадью сам, а она его таскает, куда ей вздумается.

Дон-Кихот, едва только выехал за ворота, тотчас бросил поводья, предоставив Росинанту выбирать дорогу и думая, что в этом состоит вся тайна приключений. Рыцарю печального образа приходится все время искать приключения и навязывать свое благородство. «Остановись, несчастный! Дай я тебя спасу и вообще облагодетельствую!» Он получает за это по заслугам. Кому, в самом деле, надобно насильственно навязанное благородство? Так и езда на лошади удается лишь при естественном положении всадника в седле, когда лошадь совершенно подчинена человеку, а он, располагая ею, позволяет ей показать свои способности, свою силу.

По страницам книг лошади обычно носятся. «Куда несешься

ты?» – спрашивает Гоголь свою тройку. «Люблю скакать на горячей лошади», – говорит у Лермонтова Печорин, а затем, когда приходит решительный момент, мы видим, как он «беспощадно погонял измученного коня, который, хрипя и весь в пене, мчал по каменистой дороге». Впечатление как бы стремительной скачки. Можно, однако, представить более реально, что это была за резвость. Печорин полагал делать пять верст примерно в десять минут. Стало быть, километр минуты за полторы или чуть больше. Это размашистый галоп, по-казачьему намет. Скачка же, которая действительно способна оставить впечатление полета, совершается на ту же километровую дистанцию менее минуты. Конечно, Печорин не жокей, его Черкес – кабардинец, а не чистокровный скакун, и кавказские перегоны – не дорожка ипподрома. Для обычной лошади в обычных условиях это, разумеется, быстро. Надо только учесть достоверность внешнего впечатления: что на романтическом языке называется «мчать» – в самом деле довольно медленная процедура.

Не позавидуешь человеку, если лошадь действительно понесла. И у него не явится никаких поэтических чувств, кроме отвратительного ощущения бессилия перед ожесточившимся, обезумевшим животным. Нет, лучше уж объясняться с лошадью на скромном и суховатом, на дружески деловом языке.

«Жаль, – говорил Гете, – что лошадь лишена дара речи». «Лошадь не человек, – признает крупнейший американский наездник Стэнли Дансер, – она не скажет вам, когда чувствует себя готовой к резвой езде». «Мне известно это со слов самой лошади», – уверяет англичанин, если он заядлый лошадник и хочет подчеркнуть, будто у него прогнозы на розыгрыш призов самые достоверные. А кто лучше лошади знает, на что она окажется способна? Но ведь «слова лошади» – это только фраза, настолько прививашаяся в английском языке, что ею обозначают вообще точные сведения. На самом деле лошадь не доверит ни полслова своих секретов. «У лошади интервью не возьмешь», – сокрушался журналист Ирвинг Радд, умевший развязать язык у кого угодно.

Мне приходилось быть у конников переводчиком, а посторонние люди, услыхав об этом, спрашивали: «Лошадям переводите?» О, если бы в самом деле владел я лошадиным слогом! По крайней мере, так, как владеют им истинные знатоки лошадей, о них пишущие. «Курские помещики хорошо пишут», – говорится у Гоголя. Конники, надо признать, пишут не хуже. Что курские! Если коснется скачек или конских статей, то есть надобности передать восторг и великолепие бега кровной лошади или все оттенки ее форм, то иные из конников, взявшись за перо,

не уступят в этом не только курским, но орловским и даже тульским – классическим описаниям лошадей Тургенева и самого Толстого. Они и пишут так, словно классный рысак бежит, – не меняя ноги. Виноват, руки… Сила слога, изящество, отчетливость и картинность действительно подобны у них слаженным и стремительным движениям породистого коня. Нет, я перевожу только людям. Мне повезло хотя бы в том, что я слышал выдающихся конников, ездил с ними и потому из первоисточника узнал конный спорт – «по словам лошади», как он есть.

* * *

Время фантастической техники, эра космоса, а все-таки, стремясь к Луне, человек не забывает первозданного транспорта. Пожалуй, чем ближе к Луне, тем дороже становится лошадь. «Ну, поехали!» – по-кучерски сказал на старте Юрий Гагарин.

«А лошадь настоящая?» – спросил современный маленький мальчик, увидев на фотографии коня рядом с автомобилем. Машиной его не удивишь… Что мальчик! Взрослые люди, которые еще верят в существование лошадей, должно быть, не подозревают, что средних достоинств скакун стоит сейчас больше, чем самый роскошный автомобиль. Как предмет экспорта лошади находятся в одном ряду с классическими произведениями искусства и уникальными драгоценностями. И в самом деле, лошадь является своего рода произведением искусства – коневодческого чутья и тренерского уменья. Победа, подобная высшему олимпийскому пьедесталу или выигрышу Приза Европы, венчает целенаправленные усилия множества энтузиастов. Ведь прежде чем мастер-ездок сядет в седло или возьмется за вожжи, нужно воспитать лошадь. И вот увенчаны лаврами Абсент и Анилин, Ихор и Легион. Мы радуемся успехам тех, кого видим рядом с ними. А между тем на конном заводе где-нибудь в Сальских степях не только зоотехник, составлявший подбор родителей будущего чемпиона, не только тренер, впервые положивший на него седло или надевший сбрую, не только конюх, чистивший и кормивший его изо дня в день, но даже ночной сторож скажет с гордостью: «Это мой конь!» И в подтверждение своих слов расскажет, как он, дежуря на конюшне, каждую ночь подбрасывал прославившемуся коню свежего сенца, какие были у него, тогда еще никому не ведомой знаменитости, повадки, каким он с детских лет отличался норовом.

Мы говорим о лошадях все чаще еще и потому, что конный спорт становится у нас все более массовым. Были ведь и

предрассудки, в силу которых конный спорт третировался как нечто «аристократическое», узкое, а стало быть отживающее: «Проехать на лошадке в Гайд-парке или в Булонском лесу…» Почему же? Разве Сокольники, Измайлово или окрестности наших кавказских курортов менее подходят для прогулок верхом? Стоило открыть первые, еще весьма скромные прокатные конюшни, как возле них выстроились длинные очереди желающих.

Конный спорт отличается долголетием, и ему, как благотворному чувству, оказываются покорны все возрасты. Такой известный любитель верховой езды, как Лев Николаевич Толстой, не расставался с конем до конца своих дней, до восьмидесяти лет. А шведский всадник Сен-Сир стал олимпийским чемпионом, когда ему было уже за шестьдесят. Генетик Добжанский в поисках дрозофилы не покидал седла.

Нет, не содержится противоречия в том, что, двигаясь на космических скоростях, современный человек не забывает: «Несется конь быстрее лани…» Конечно, по нынешним понятиям эта скорость весьма относительная, довольно скромная. И все-таки конь продолжает сопутствовать, служить человеку прежде всего потому, что это существо связывает человека с чем-то истинно земным, что было, есть и будет каждому из нас дорого. «Езда на лошади – увлечение не из поверхностных. Нельзя поездить и бросить, как откладывают в сторону колоду карт. Это возвышенная страсть. Она поглощает человека целиком, и едва она овладела вами, вы должны знать, что в жизни вашей произошла коренная перемена». Это – Эмерсон.

Существует богатая *иппическая,* то есть лошадиная (от греческого Hippos – лошадь), литература. Лошадям посвящены поэзия и художественная проза, увенчанные строками Гомера, Пиндара и Шекспира, Пушкина, Лермонтова, Блока, произведениями Сервантеса и Свифта, Толстого и Куприна, Голсуорси и Шервуда Андерсона. Есть замечательные повести о лошадях – «Красавец-Вороной» Энн Сиуэлл, «Мустанг-иноходец» Э. Сетон-Томпсона, «Дымка» Виля Джемса, «Внук Тальони» Петра Ширяева, «Браслет 2-й» («Декрет 2-й» в 1-м изд.) В. А. Брандта, «Чубарый» Ольги Перовской. Кто из читателей моего поколения не помнит, какую популярность завоевала повесть «Прощай, Гульсары» Чингиза Айтматова? А как сейчас зачитываются «скаковыми» детективами Дика Френсиса!

В различных наставлениях от «Гиппики и Гиппарха» Ксенофонта до «Основ выездки и езды» (1890) Джемса Филлиса, от «Правил езды» (1842) Сергея Шишкина до новейших пособий и многотомной «Книги о лошади» под редакцией маршала С. М.

Буденного – отсюда всякий интересующийся почерпнет полные специальные сведения и практические советы.

Вернусь к мастерам, которых мне посчастливилось знать и слушать. То были мастера-коневоды, мастера-наездники, опытные конюхи и кузнецы, знатоки породы-ипологи, а также профессора литературы, терпимо относившиеся к моему увлечению. Один из них, не только ученый, но и поэт, Илья Николаевич Голенищев-Кутузов, удостоил меня мадригалом, в котором есть, однако, строки с намеком:

Торгуйте лошадьми, Димитрий, милый друг,
Не продавайте лишь Пегаса…

Написано это было, когда, задерживаясь на конюшне, я запаздывал со сдачей статьи об английских романтиках. Облик моих старших друзей и наставников с годами в моей памяти становится яснее. Для меня они не ушли. И потому я не меняю того, что однажды о них написал, словно я только что увиделся с ними.

* * *

Пусть давно на покое, но здравствует Асигрит Иванович Тюляев, не только тренер лошадей, но и наставник наездников, у него прошли выучку наши лучшие мастера. О нем мало сказать – знаток, это фанатик лошадчества, если воспользоваться словом, образованным по аналогии с человечеством. Сам он о себе говорит так: «Когда я слушаю хорошую музыку и хороших певцов, мне кажется, будто я нахожусь среди лошадей».

Тюляев мне однажды написал: «Вся моя жизнь прошла с лошадьми, ипподромными, городскими и заводскими, и за всю жизнь ни одного раза не имел дело с тотализатором. Так же, как не играл в карты. Ни времени на это ни было, ни желания. Быть может, это отголоски «толстовства» молодости моей. В основу нашего воспитания вошли опера и балет Большого театра, а также Художественный театр. «Три сестры» и Вершинин-Станиславский остались в моей жизни навсегда. Помню и тишину зрительного зала, и слезы зрителей, и восторги курсисток».

Тюляев – человек высококультурный, если слово «культура» понимать широко, охватывая не только образованность, но и самый образ жизни, а в каждом образе жизни, известно, все переплетено органически, как в почве. «В школе наездников я преподавал одиннадцать лет и в школе тренеров – шесть, –

продолжает он рассказывать о себе. – Из-за войны школа в Хреновóм закрылась, тогда Калантар, хороший человек, верный товарищ, перевел меня в Деркульскую школу жокеев, где я был семь лет. Ушел из школы из-за того, что заболел эпилепсией, которая появилась у меня благодаря (так – Д. У.) ссылке в Мордовию моей жены, первой русской беговой наездницы, Веры Владимировны Костенской».

С Костенской я был знаком только через переписку и не считал возможным спросить, как и за что она была сослана. Но из опыта общения с конниками, на долю которых выпала та же горестная судьба, я могу, мне кажется, назвать основую причину – зависть и конкуренция, а уж под эту борьбу интересов личных подводились политические мотивы.

«Если бы подробно описать жизнь бегового мира того времени, – заключает Тюляев краткий очерк своей супружеской истории, – начала века, со слов моей жены, и ту среду́, в которой она вращалась, то получилась бы книга весьма интересная для любителей бегового дела. Ведь В. В. была знакома с закулисной жизнью конюшен, а от знания закулисной жизни зависит очень и очень многое, эта жизнь, скрытая от глаз, интересна и поучительна, она выражает действительность, о которой часто не упоминают или не придают ей значения – по незнанию».

Закулисная жизнь конюшни отражена Эртелем в «Гарденинных». Закулисная интрига и просто-напросто мошенничество – на это есть намеки и в купринском «Изумруде». О пьесе «из жизни русских извозчиков» услышал я в Нью-Йорке. Возница, стоявший со своим экипажем у Центрального Парка, мне так и сказал: «У нас сейчас большим успехом на Бродвее пользуется пьеса из жизни русских извозчиков». Сказал, да ещё уточнил: «Середины девятнадцатого века». Сразу я не мог понять, что за кучер, говорящий некучерским языком, и что за пьеса о русских извозчиках. Потом понял, что речь шла об инсценировке «Холстомера»: повтор ленинградской постановки, сделанной режиссером Товстоноговым по сценарию моего школьного соученика Марка Розовского. Перед началом репетиций Товстоногов мне позвонил по телефону, чтобы сказать, что ему будет нужна моя консультация. Однако больше звонков не было и консультации, видимо, не потребовалось, а я ждал-ждал и в результате постановки так и не видел. Не видел и в Нью-Йорке – билеты слишком дорогие. Но успех постановки могу засвидетельствовать – реклама с лошадиной головой сияла на Таймс-Сквере на протяжении всей моей научной командировки, и всё время – аншлаг. Жизнь русских извозчиков, судя по всему, вызывала у американцев большой интерес. А извозчик

американский оказался аспирантом Колумбийского университета – подрабатывал. Разумеется, взгляд на конный мир со стороны конюшни дает материал необъятный именно в силу той многосторонней связи, от которой, как говорит Тюляев, «зависит очень и очень многое». А скольких людей – и каких людей! – довелось повидать возле лошадей! Ветвистая связь конюшенного быта с жизнью за пределами конюшни, это, по крайне мере для меня, самое интересное.

Вот Асигрит Иваныч прочитал рассказ Куприна «Рыжие, вороные, серые, гнедые», записанный со слов наездника Черкасова, и мысль его тут же уносится далеко, охватывая и фигуру наездника, и быт того времени: «Николай Кузьмич Черкасов давно уехал в Париж, и наши наездники, выступавшие во Франции, с ним встречались: сильно постарел и на призы больше не ездит. Что касается его наездннческих способностей, то ездил он хорошо. Служил у Бенкендорфа и больше выступал в Петербурге, приезжал и в Москву. У него был камзол голубой и белый картуз. Со старта обычно не вел – берег для финиша. Помню, все говорил: «Лучше проиграю, а не поведу». В езде у него находилась очень хорошая кобыла Тропа, завода Телегина, краткое происхождение которой приведу ниже. А покойный Н. В. Телегин был одним из самых талантливых русских коннозаводчиков. Скончался он в 1917 году в период упадка нашего дела. На тот год Московским Беговым Обществом было назначено к розыгрышу много очень крупных, так называемых «подписных» призов: любой заводчик записывал на них свой молодняк заранее, задолго до выступления. В семнадцатом году Общество осталось без средств. В связи с этим пришлось поднять вопрос об отмене подписных призов, а с отменой их рушились все надежды замечательного коннозаводчика. Известно, что представляли собой телегинские лошади! Его производитель Барон-Роджерс давал выдающийся приплод, в особенности от голицынских маток. К началу упадка бегового дела у Телегина в заводе собралось много способного молодняка, и никому из коннозаводчиков не было так обидно лишиться возможности записать его на подписные призы. На собрании Общества Н. В. горячо отстаивал необходимость сохранения подписных призов, от волнения ему сделалось нехорошо, и на другой день его не стало».

А что за энтузиаст был Тюляев, скажет такой случай. Однажды в ответ на мою очередную заметку пришло от него письмо. В конверте лежало десять рублей: читал и, если нравилось, присылал десятку – из пенсии. На этот раз одобрение выражалось не только деньгами. Тюляев сообщал, что,

прочитавши мой текст, он от восторга лишился чувств. Не слогом моим старик оказался сражен. Слог как раз подвергся уничтожающей критике со стороны моего отца, профессора редактирования, и я, защищаясь, показал ему тюляевское письмо, но это не помогло, отец сказал: «Не понимаю, что тут особенного».

Из рук отца получил я шедевры иппической литературы, он сводил впервые меня на ипподром, а мать, художница, оформляя на ВДНХ Павильон Садоводства, рассказывала, какие рядом с ними в Павильоне Коневодства лошади, и сама же брала меня с собой их посмотреть. Однако опасаясь падений, увечий, дурных влияний, родители старались вытравить у меня то самое пристрастие к лошадям, которое они же и поддерживали. Последователен в поддержке был только дядя-физик. Авторитет в своей области, электронной микроскопии, он, обладая прекрасным тенором и хорошим чувством юмора, всю жизнь боролся с искушением бросить физику и пойти на оперную сцену или – в журнал «Крокодил». Трудность выбора осложнялась тем, что он внес существенный вклад в науку и создал первый у нас в стране электронный микроскоп. Моим родителям он говорил: «Оставьте его в покое с его лошадьми! Придет время, он станет о них писать», и настрочил куплеты с рефреном: «Мити нет дома – пасет лошадей».

К иппическим писаниям родители подходили как читатели-неспециалисты и некоторых оттенков не различали. Что ж так поразило Тюляева? Секунды Грейхаунда! И не на всю дистанцию – рекорды «серого феномена», все до одного, Асигрит Иванович перечислит, даже если его разбудить ночью. Он все до мелочей знал и без меня, но заметка была рефератом только что вышедшей в Америке книги, там оказались обнародованы некоторые даже знатокам неизвестные подробности, и вот, когда он прочитал (так говорилось в тюляевском письме), как на прикидке Грейхаунд сделал последнюю четверть в двадцать семь секунд, стало быть, с резвостью, какой никогда, с тех пор как раздается стук копыт о беговую дорожку, не показывал никто ни до, ни после, тут у него перед очами души возникла эта невероятная картина и… и… Тюляев писал, что́ он, читая, пережил: кому случалось видеть классный финиш, тот знает, как подкатывает к горлу комок и перехватывает дыханье.

Так вот, сам Тюляев подарил мне книгу «Беседы на конюшне». Это реликвия. Книга переходила от наездника к наезднику, причем каждый ставил на ней свое имя. Первым расписался Кейтон, последним сам Асигрит Иванович. Книга стала принадлежать мне, но я, конечно, не мог продолжить

исторический список. Без своей подписи передал я книгу в «Содружество рысистого коневодства России». Пусть появятся в списке достойные имена мастеров. А я постараюсь наследовать дух спортсменства, который в «Беседах на конюшне» содержится.

Что писал я о лошадях, то, оказывая мне честь, подвергали беспощадно-благожелательной критике специалисты, такие, как В. О. Липпинг и Ю. М. Оленев. По мере своих сил следуя шекспировскому завету «Не печалить знатока», замеченные ими ошибки исправлял, но замечания их подчас были чересчур специальны, исправишь – озадачишь читателя, для которого я писал: неспециалист просто не поймет, о чем идёт речь. Насколько Владимир Оскарович и Юрий Михайлович были требовательны, когда дело касалось лошадей, можно судить, если учесть, что не давали они спуску ни Шекспиру, ни Толстому.

Однажды обескураженный оленевским разгромом, я пробовал защищаться: «Ведь даже в у Куприна в рассказе…» «Рассказ плохой!» – парировал Оленев. Ах, рассказ «Изумруд» плохой? Тут моя авторская совесть и успокоилась.

Волшебный мир

«…Устав наездника читал».

А. С. Пушкин

«Мир галопа – волшебный мир!» – внушал Тюляев. Он говорил: «Приведу пример, чтобы показать, каково это!» Ипподром, утренняя проездка, трава блестит, и по сверкающему кругу во всех направлениях чеканно отстукивают копыта – галопом, рысью, шагом – на разных аллюрах, но, соблюдая некий общий ритм, движутся рыжие, гнедые, вороные. Таков был рассказ, который кончался слезами. Не в силах был сдержать слез Асигрит Иванович тогда, на скаковой дорожке, наблюдая за посадкой жокеев, за дрожанием хлыста, за кончиком хлыста, за движением каждой лошади, «выражением лица лошади». Слезы звучали в его голосе всякий раз, когда хотел он убедить в одном: «Мир галопа – волшебный мир!»

Слезы старого тренера поблескивают мне с тех пор, когда еду я по росе или после дождя и лошадь, обмывая копыта, чиркает по влажной траве. И всегда стучит мысль: «Волшебный мир!

Необычайные люди возле лошадей».

Всякий настоящий спортсмен – энтузиаст своего спорта. И все-таки энтузиазм конников, их привязанность к своему делу совершенно особые. Конник наживо и намертво соединен с конем. Можно отложить на время мяч, снять боксерские перчатки, велосипед не просит ни пищи, ни воды. Лошадь же, как ребенок, требует непрерывного ухода. В самом деле, словно дитя у матери, лошадь занимает мысли наездника или жокея, особенно классная лошадь, гордость и надежда всей конюшни – «крэк», что буквально значит «хлопок хлыста» от английского crack: только взмахнуть хлыстом достаточно, чтобы классный скакун ответил на посыл. Сигнал, подаваемый лошади, по смыслу слова, уравнялся с лошадью: крэк значит класс.

Рассказывают про пушкинского современника С. П. Жихарева, автора замечательных «Записок», одного из ранних организаторов скачек в Москве. Имелась у него чистокровная кобыла Волуна, не знавшая поражений. Родился от нее жеребенок, прозванный Мемнон Волунин и показавший еще больший класс. Жихарев находился на вершинах счастья. И вдруг бесценный Мемнон пал. В тот же год болезнь унесла у Жихарева маленького сына. Когда ему соболезновали о мальчике, он, закрывая лицо руками, восклицал в горести: «Ах, не говорите! Вот и Мемнона Волунина больше нет!»

«Уж это слишком!» – говорили тогда и скажут теперь…

В жихаревском экстазе чувствуется оттенок любительства. Едва уловимый оттенок, отличающий его преданность лошадям от профессионального отношения. Вспоминая конников, каких мне посчастливилось знать, знать годами, изо дня в день, сказал бы я – они любили лошадей? Призовые наездники Грошев и Щельцын, Гриценко и Гречкин, заводские тренеры Панков и Козлов, жокеи братья Лакс, Кочиашвили, Назаров, Насибов, конкуристы Гриднев, Лилов, Фаворский – они бы, я думаю, удивились, если спросить, любят ли они лошадей. «Нет, это не любовь», как у Шекспира говорится. Любит ли охотник свою собаку? У Тургенева, Толстого, а также Джека Лондона дан на это ответ: охотником движет особое чувство, собака для него не предмет обожания, а средство существования, иначе говоря, жизнь. Так и отношение наездника к лошади. Все равно, что всякому из нас задать вопрос: «Какую из своих двух ног (или рук) вы предпочитаете, правую или левую? А для конских охотников, каким был Жихарев, лошади – это всё же потеха, хотя и посвящался потехе не один час. Профессионалы, если уж чувства свои выражают, то как Вера Владимировна Костенская. Она говорила: «С лошадьми жили, с лошадьми и помрем».

Красноречивое описание привязанности к лошади получил я из Лабинского конзавода Краснодарского края, писала тренер и зоотехник Колгомогорова, цитирую: «Настоящая, одна-единственная на всю жизнь, любовь еще никого не сделала ни богатым, ни счастливым, но ведь такая любовь дается не каждому». Почему же не каждому? И что это за любовь? «Надо пройти все круги рая и ада конной работы от конмальчика до тренера, от конюха, табунщика до начкона. Лошадь надо знать от маточного табуна до заездки и – до букетов на Дерби, от стипль-чезных прыжков до конкурного и скакового посыла, наконец, нужно знание тайн сложить – «сжульничать» – скачку так, чтобы не оказаться отлупленной тотошниками и оштрафованной в судейской».

И такое признание: «Мне 38 лет, и в этом возрасте уже надо отдавать отчет своим поступкам. На ипподроме никто или, вернее, почти никто не сомневается, что я смогу ездить, но… Понимаю людей, говоривших это «но», потому что они не видели меня в деле. Алексей Еремин (наездник – Д. У.) не сказал бы «но», он видел меня в работе и, по его словам, ему не на что было жаловаться. Я ремонтировал качалки, раздавал корм лошадям, разгружал с другими помощниками приходивший фураж, заваривал кашу из отрубей…» Ну и что? Кашу заваривал! Качалки ремонтировать, корм раздавать, мешки с овсом и тюки сена таскать – кто же этого на конюшне не делает? Вопрос, кто в данном случае выполнял обычные конюшенные обязанности: безногий. Алеху Еремина я хорошо знал, он мне письмо это от слова до слова подтвердил.

«Любишь кататься – люби и саночки возить» – в отношении лошадей это надо понимать так: забота о лошади лежит вечным грузом на сознании наездника. У Александра Федоровича Шельцина и других мастеров я увидел нераздельную слитность с лошадью, поглощенность заботами тренинга и конюшни. Однако не помню в обращении мастеров с лошадьми ни одного момента сентиментальности. Чтобы мастер подошел и по плечу похлопал или за ухом почесал своего крэка – лучшего у него на конюшне призового бойца? Да никогда! Словом, нельзя о конниках сказать то, что выражено старинным афоризмом: «Чем больше узнаешь людей, тем больше любишь животных». Нет, лошадь не вытесняет людей, но поглощает человека, с ней связанного, целиком. Даже не помню, чтобы с тем же Щельцыным или еще одним мастером – Грошевым мы когда-нибудь говорили о чем-нибудь, кроме лошадей. Маркс называет эту истовость «профессиональным идиотизмом», вот этот крайний, с одержимостью граничащий, всепоглощающий, всеведущий, совершенный профессионализм

нашел я не где-нибудь ещё, а именно у конников и на конюшне.

Своему научному руководителю, профессору литературы Р. М. Самарину, я так и ляпнул, когда он добивался от меня, зачем я стремлюсь на конюшню вместо того чтобы сидеть на лекциях. Конечно, по бестактности, свойственной молодости, обидел его. «Лучше бы курсовую как следует написали», – нахмурился «Роман», обращавшийся к нам, студентам, исключительно на «Вы» и по имени-отчеству. «А кто позволит мне изложить все мои мысли?» – возразил мой внутренний голос. Университетские наши наставники, во всяком случае некоторые из них, обладали наивысшей квалификацией, они, так сказать, «знали все», однако запреты и ограничения не давали им научить нас многому из того, что они знали, и нас они тоже окорачивали, вот и приходилось искать образцы профессионализма не у энциклопедически образованного Романа Михайловича Самарина, а, скажем, у Николая Романовича Семичова, одного из несравненных мастеров призовой езды.

* * *

Условие профессионализма – самопожертвование. Вот сам за себя говорящий случай. Это произошло некогда в день Мельбурнского Кубка – национального приза Австралии.

Фар-Лэп, величайший из австралийских скакунов, был записан на Мельбурнский приз. Конюх вел его в тот день после утренней проездки на конюшню. Конюх ехал верхом на небольшой серенькой лошадке, а рыжий гигант шагал рядом в поводу. От ипподрома до конюшни надо было миновать несколько улиц. Впрочем, Фар-Лэп отличался спокойным нравом и маленькая процессия мирно следовала своим путем.

Странная, однако, машина встретилась им по дороге: люди, сидевшие в ней, слишком уж пристально наблюдали за Фар-Лэпом. Чтобы разминуться с подозрительными попутчиками, конюх свернул в первый же переулок. Конюх не зря беспокоился: автомобиль не отстал от них. Преследование продолжалось. И конюх, и Фар-Лэп, и серый маштачок (малорослый) оказались в тупике, припертые машиной.

Однако перед теми, кто управлял роковым автомобилем, также встала неожиданная преграда: человек, как мог, закрыл своим телом лошадь, а серый был поставлен впереди Фар-Лэпа, готовый пожертвовать своим простым существованием ради прославленного соконюшенника. Фар-Лэп был огромен. Человек и ездовой конек с трудом загораживали его.

Бандит за рулем принялся отчаянно сигналить, надеясь гудком вспугнуть Фар-Лэпа, чтобы тот бросился в сторону и открыл себя. Это почти удалось. Конь пробовал встать на дыбы. Конюх едва удержал его, все так же заслоняя собой скакуна. Грянул выстрел. Мимо. Машина стремительно исчезла.

В тот день Фар-Лэп без труда оставил всех соперников далеко позади. Фаворита, а потом триумфатора по дороге на ипподром и обратно охранял отряд полиции. Мотоциклы сопровождали все ту же группу: на серенькой лошадке едет не спеша человек, и рядом шагает под попоной рыжий гигант.

«Всю жизнь я отдал на благо лошадей», – говорил один наш конник-ветеран, и он имел душевное право на такие слова.

Привязанность к лошади и по долгу службы, и по зову сердца развивает у конников своего рода поэзию, философию, особый конюшенный фольклор. Предания о былом хорошо сохраняются на конюшне. Всякий скажет, кто и когда особенно удачно проехал, как выиграл, каким норовом отличался у этого жеребенка прапрадед и до чего резва была его мать, но вот бабка с отцовской стороны… Все, все помнится, и не потому, что забавно. Память о прошлом для конника – это понимание породы, знание лошади.

В редкой книге «Беседы на конюшне» утверждается: «У всякой призовой лошади должна быть своя история, повесть о жизни и подвигах. Без истории, без подвигов, о которых было бы как следует рассказано, лошадь не имеет истинной полноты своего значения». А на всякие истории у конников, разумеется, глубокая память.

От древних колесниц и рыцарских турниров до современных бегов, скачек, стипль-чезов и прыжков через препятствия развилось, частью исчезло или, напротив, возникло и видоизменилось множество форм конских состязаний. Состязания сегодня являлись вчера, в прошлом, серьезными занятиями, необходимыми в повседневной жизни. На фигуры Венской школы верховой езды ныне смотрят, будто на балет, а когда-то те же лансады (прыжки) служили приемами боя. Изобретение стремян, пришедших, как считается, с Алтая, преобразовало верховую езду, кавалерию, армию и, в конечно счете, изменило ход истории.

Неустойчивы сведения относительно того, сел ли человек сначала на лошадь верхом или он приучил ее прежде к упряжи и повозке. На Украине около села Дериевка, недалеко от Кировограда, был откопан конский скелет, признанный древнейшими останками одомашненной лошади. Совершивший это открытие археолог Д. Я. Телегин полагает, что на ней ездили верхом, однако, не все даже признающие значение его находки с

ним согласны. Что можно сказать? Гонки колесниц в античной Греции и Древнем Риме, то есть прообраз современных рысистых испытаний, вошли в традицию как спорт, должно быть, раньше скачек. Потом эволюция экипажей как-то замедлилась. Для шекспировских времен, например, кареты были новшеством. Все, в том числе женщины и дети, передвигались тогда в Европе верхом.

Каков конный спорт и в чем его суть, можно узнать за неделю, когда проводится у нас праздник конников, то есть парад и показ всех пород, всех видов конных состязаний и национальных конных игр из всех республик. Каждый год этот праздник устраивается в городе, где есть для этого подходящий ипподром. Парад, начинающий праздник, развертывается панорамой всей истории конного спорта. В национальных одеждах, по командам проходят конники перед зрителями. Оживают герои народных преданий или же исторические деятели, чей путь был связан с боевым конем.

У греков есть Буцефал, конь Александра Македонского; Бабиека воспет испанцами вместе с его хозяином – Сидом, а у французов эпическая «Песнь о Роланде» – это и песнь о коне по кличке Вельянтиф – Зоркий Малыш, который, хотя и некрупен, зато без устали служит героическому воину; южные славяне помнят коня, на котором ездил богатырь Марко; а вот и наш Бурушка-косматый, носивший Илью Муромца.

* * *

Прочитав этот абзац, академик Дмитрий Сергеевич Лихачев прислал мне письмо, в котором говорилось: «Вспомните замечательный рассказ из Ипатьевской летописи – как смертельно раненный конь Андрея Боголюбского вынес князя с поля битвы, и как Андрей Боголюбский с почестями похоронил коня. Есть и другие хорошие места в летописи. Например, рассказ о смерти Олега от своего коня, подтверждающий, что значил конь для князя». Дмитрий Сергеевич имел в виду, разумеется, эпизод, воплощенный Пушкиным в балладе «Песнь о вещем Олеге». Лучше кого бы то ни было академик знал, что исторически этот эпизод не подтверждается, но – выражает, как Лихачев и написал, «значение коня». «А князем, – продолжал ученый, – становились после «посага», то есть после того, как восьмилетнего мальчика сажали на коня. Это обряд вокняжения, получения княжеского достоинства. А символы – стремя («ездить возле стремени») – означало нести вассальную службу, «вдеть ногу в стремя» –

выступить в поход, «пересесть из седла золотого, княжеского, в седло кащея» – стать пленником… А кони на иконах – сказка! А в сказках у коней, как в мире людей, есть свой Иванушка-дурачок, сивка-бурка, конёк-горбунок. Это возвышает коня». И ученый заключал: «Я давно высказывал идею, что из наших городов с исчезновением лошадей ушел большой нравственный мир. Лошади воспитывают людей!»

* * *

Едут былинные богатыри, «едут-то по полю герои»: Богдан Хмельницкий или же Салават Юлаев и, конечно, Чапаев с Петькой и Анкой-пулеметчицей.

Следом за парадом – соревнования: рысаки, скакуны, выездка, тройки, тачанки, преодоление препятствий и, наконец, конные игры, веками живущие в быту народов нашей страны. Тут и борьба на лошадях, и човган-бурти (вид конного поло), и схватка двух команд за тушу козла (козлодрание – копк-хари), и «отними папаху», и «поцелуй девушку», и многое другое.

«Эх, тачанка-ростовчанка…», «Вот мчится тройка…» Что поется, говорится и вообще помнится о лошади, возникает перед глазами. Кажется, только поется и помнится, а потому, как всякое предание, похоже на сказку. Но тут вдруг феерический мир, состоящий будто бы из одних заправских, однако нереальных слов – «покройте попоной», «под уздцы отведите», «конь ударил, закусил мундштук», «грива ветра» – раскрывается с достоверностью. И благодаря этому все остальное, легендарное, с конем связанное, приобретает материальность.

В истории нашей родины конница действует с незапамятных пор. «Пойде Олег на конех и на кораблех», – сказано в Несторовой летописи о походе князя Киевского на Царьград. Конюший был главнейшим боярином в государстве. Первый конный завод возник в России под Москвой в Хорошеве на исходе XV столетия.

Слово «завод», теперь к лошадям применяемое с оговоркой, с иронией, на самом деле от лошадей пошло. «Завод» когда-то и значило лишь – «конное заведение». Иных заводов не было. Так получилось со многими сугубо конными понятиями. Каков смысл слова «ремонт»? Изначально один: от французского «ре-монт», то есть пересаживаться на новых лошадей – обновлять конский состав кавалерии. Раньше ремонтировались только кавалерийские части, а теперь и часы, и ботинки, и вообще все на свете. Так же говорится «закинулся», «съехал с круга», «остался за флагом» без мысли о том, что это из конюшенного, ипподромного

жаргона. «Положение хуже губернаторского» – от верных людей слышал следующее. «Губернатором» коневоды называли жеребца-пробника – должность на конном заводе важная, да незавидная. Согласно инструкции, пробник, проверяющий готовность кобыл к случке, должен быть видный собой, темпераментный и даже нахальный кавалер, но к самой случке его не допускают – вот оно, положение-то!

«Врет как сивый мерин» или «бред сивой кобылы» – у лошадей «сивый» не седой, а с проседью, и не обязательно старый. Зато, употребляя антропоморфизм, приписывая людские свойства животным, седовласых стариков нередко обзывают, по вполне понятным физиологическим причинам, меринами, и память старикам и старушкам часто изменяет. Поэтому в переводе на человеческий язык «вранье сивого мерина» – старческий маразм. А каково происхождение всем нам хорошо известного, имеющего символический смысл, имени Обломов? Обломы – это ведь неуки, молодые, еще необъезженные лошади, над которыми надо немало поработать, «обломать» их, прежде чем они правильно пойдут в оглоблях и влягут, как следует, в хомут. Иначе говоря, станут трудиться, чего Илья Ильич Обломов, как известно, почитал занятием его самого недостойным.

Реформы Петра и преобразования екатерининского времени дали основу племенному коневодству, а затем и конским испытаниям. Алексей Григорьевич Орлов, выдающийся деятель, создал сначала отечественную верховую породу, потом – рысистую; он проводил бега и скачки. Его дело возникло под Москвой в селе Острове, и об этом, представьте, местные жители помнят.

«Сюда приводили орловского рысака», – вот что я там услышал. Конечно, народная память – не история, в ней сохраняется суть далеких событий, но последовательность и связь тех же событий оказывается, как правило, преображена и даже вовсе искажена. В Остров привели не орловского рысака, туда был доставлен арабский жеребец Сметанный, он и дал начало рысистой породе, получившей название орловской.

Село стоит на высоком берегу реки – красота! Уж не знаю, можно ли сделать такой вывод, но все наши старинные конные хозяйства, которые мне посчастливилось повидать, – это произведения человеческого искусства, по законам эстетики соединенные с окружающей природой. «Так красиво, что становится грустно», – говорил знаменитый мхатовский актер Борис Ливанов, у которого дача на берегу Москвы-реки по другую сторону от Московского конного завода. Что это ему грустно? А нельзя, согласно выдающемуся артисту, оставаться творчески

бездейственным при виде такой красоты, однако, нужно быть, по меньшей мере, Шаляпиным, считал он, чтобы ее воспеть!

Время отчасти пощадило Остров: еще видна по-над берегом проложенная прямая, на которой «меряли» рысаков. Уцелела и поистине царственная конюшня, правда, коренным образом изменившая свое назначение: не кони в ней стоят, а нашли там приют одинокие старички и старушки. Это здесь разыгралась трагедия, о которой до нашего времени тоже дошло предание, иначе говоря, не все, быть может, в точности так оно было, но вот что я услышал от старого конника.

Бесценный производитель Сметанный, в просторечии называемый Сметанкой, как-то вернулся с проездки: заводских жеребцов держат в должных кондициях, легкой работой поддерживают в них бойцовский дух. Сметанка вернулся разгоряченным, в поту, поставил его конюх в денник, поставил и – отвлекся: пришла повидаться с ним его зазноба.

Разговорились – заговорились. А дверь денника оставалась открытой: конюх собирался, как положено, глоток, один только глоток воды жеребцу дать, чтобы слегка освежить его, и ведро с водой приготовил. А Сметанка за спиной у забывшего себя, потерявшего голову конюха и напился вволю. Опой – не имевший цены жеребец погиб. Доложили Орлову. Граф будто бы сначала подумал вслух: «Запороть?» А потом махнул рукой, и отправили того конюха с глаз долой в дальнюю деревню.

Со временем графское заводское дело было перенесено в Хренова́е Воронежской губернии, где, как считают знатоки, сам Орлов, возможно, и не успел побывать. Те степные края в нашей классике, словно на старте и финише, запечатлены Пушкиным и Чеховым. Там начал действовать завод, который после смерти графа стал государственным и сохраняет свое значение и славу до сих пор. Каждый конь, что стоит в этом заводе, обладает редкостной родословной, она колено за коленом восходит к эпическим временам и именам, увенчанным кличками Барса и Сметанки – основоположникам всей орловской рысистой породы.

В пушкинскую эпоху, в 20–30-х годах XIX столетия, рысистые лошади завоевывают всеобщее признание. «Скажу, рысак! – писал наш величайший поэт. – Парнасский иноходец его не обогнал бы». По различным городам России организуются Общества любителей конского бега. Первое возникло в Лебедяни Тамбовской губернии, прославившейся конскими ярмарками, которые были описаны Тургеневым, а создатель «Записок охотника» признавал: «Всякий охотник до ружья и до собаки – страстный почитатель благороднейшего животного в мире: лошади». Набережная Москвы-реки, село Покровское, Старая

Басманная, потом Шаболовка, Донское поле и, наконец, Ходынское – такова историческая география развития конской охоты, бегов и скачек в Москве, где постоянно действующий ипподром существует с 1834 года. Герцен был в числе первых посетителей Московского ипподрома: 20 июля 1834 года он отправился на скачки, и на всю жизнь запал ему в память этот день, резвые лошади.

Если бросить взгляд на Москву с конноспортивной точки зрения, что за имена совместятся! Вот Президиум Академии Наук – вместе со всеми своими подотделами разместился в не знающих сноса постройках, воздвигнутых тем же Орловым для своих лошадей. Иностранный Отдел, связывающий наших ученых со всем миром, – в конюшне. Минералогический музей – это бывший манеж. А вот прежнее Управление коннозаводства (теперь Институт мировой литературы Академии наук), здесь жила дочь Пушкина – жена начальника управления, подсказавшая Толстому своим обликом Анну Каренину. Толстой же, когда бывал в Москве, ходил смотреть офицерскую езду в Хамовники, где одним из манежей пользуются по назначению до сих пор.

Да вот же они, армейские конники, давно уже сохраняющие за собой славу сильнейших… Спортивный парад соединяет далекие времена: конный спорт глубоко традиционный и вместе с тем современный, развивающийся. Он является коренным, народным, национальным. Одна из насущных и древнейших сторон хозяйственной, культурной, военной деятельности человека, которая на время стала развлечением, игрой, – вот что такое конный спорт.

С давних пор наши конники вышли на мировую арену. В 1867 году на выставке в Париже всех поразил вороной орловский рысак Бедуин; в руках Ефима Иванова он оказался по секундам резвее американской рекордистки Флоры-Темпль. В Лондоне блистал Ветер Буйный, в Чикаго – Кречет. Малютинский Лель побил Фляинг-Флеша, и великий Крепыш сражался в начале нашего века с американскими резвачами.

В 1912 году объявили у нас скаковой верховой Международный приз. Откликнулись французы. Всем любопытно было, что они покажут. Тогда повсюду в России отмечали столетнюю память войны 1812 года, и хотелось еще раз померяться силами с французами. Пусть не на поле битвы, а на дорожке ипподрома. Приехал из Парижа Бара, знаменитый ездок. Записано было одиннадцать лошадей. Две наши лошади шли от одной конюшни – Мамур и Зейтун. На гнедом Зейтуне сидел Платон Головкин. Ему отведена была роль от начала и до конца вести скачку, выматывая силы соперников. А Мамур, ожидали,

бросится вперед на финише. Со старта так и вышло. Головкин взял голову скачки и повел. Однако Бара был слишком опытен, чтобы поддаться на это. Он не принял вызова и держался последним. И только при входе в финишный поворот «поехал».

Одним движением Бара оставил позади девять лошадей, будто их и не было на дорожке. Ни Шемснур, ни Шантеклер, ни Грымза, ни одна из наших знаменитостей того времени, и Мамур в том числе, не могли оказать французскому жеребцу Линуа под Бара заметного сопротивления. Впереди один Зейтун, уже притупевший, потому что он вынес на себе всю резвость скачки. Француз расчетливо настигал его. Да ведь Зейтун и не предназначался для финальной схватки. Но у Головкина был «железный посыл», единственное, чего не учел Бара. Заработали хлысты. Головкин выдержал бешеный натиск и на полголовы вырвал триумфальную победу.

Тот же Платон Головкин в 1922 году, уже в новую эпоху, выиграл на Беке первый Приз Республики. Успешную гастрольную поездку по ипподромам Берлина, Кельна, Гамбурга совершили несколько лет спустя советские рысаки, среди которых особенно выделялся феноменальный Петушок. Сын Трепета и Прелести обыграл европейских знаменитостей в руках Петра Ситникова, одного из лучших наездников дореволюционного ипподрома.

Когда во время Гражданской войны погиб Крепыш – «король русских рысаков», то многие восприняли это как роковое знамение, возвестившее закат былой славы конного дела у нас. Нет, преемственность не нарушилась. Ее сохранили ветераны, она передалась по наследству от наездников-отцов к детям, и новые люди, пришедшие в ногу с новой эпохой на ипподром, учились у «стариков».

Мастеру-наезднику Александру Федоровичу Щельцыну, тогда молодому человеку, новичку, только взявшемуся за вожжи, поспешили предложить место тренера и возможность руководить.

– Нет, – отвечал он, – отправьте меня конюхом к настоящему мастеру.

И спустя несколько лет из конюшни опытного наездника вышел образцовый знаток своего дела. Тогда только Щельцын счел возможным в самом деле руководить, но и тут его честолюбие подверглось искушению.

– Завтра, – сообщили ему, – к вам поступит работать помощником Андрей Васильевич Константинов.

– Нет! Нет! – закричал в ответ Щельцын, ибо надо представить себе положение рядового оркестранта, которому говорят: «Берите дирижерскую палочку, а в барабан будет бить

Артуро Тосканини».

Константинов был, пожалуй, самым прославленным среди русских наездников, однако с возрастом он переживал полосу непрерывных неудач, и пришлось у него отбирать конюшню. Константинов сам попросил молодого тренера:

– Возьми меня. Легче мне работать под началом у тебя, чем идти к своему сверстнику, видевшему мою славу.

Щельцын собрал свой конюшенный штат и сказал всем:

– У нас будет работать Андрей Васильевич. Я требую, чтобы он чувствовал себя на конюшне главным.

И действительно, пришел маленький усатый старичок, на которого молодые наездники и конюхи смотрели во все глаза, а пожилые старались вовсе не смотреть: славу легендарного «Андрея Васильевича» и его внезапное нынешнее положение нельзя было совместить.

– Ездить ему, в самом деле, было уже трудно, – вспоминал Щельцын, – но в лечении и купании лошадей он по-прежнему действовал как маг. Во фрачной паре, в крахмальной сорочке являлся он на конюшню с набором инструментов и осматривал лошадям зубы. На всю жизнь почерпнул я у него навыки, выручавшие меня в борьбе с бедами, болями, хромотой, утомлением мускулатуры, со всем, что представляет для наездника столько трудностей.

Так сформировался конник-специалист нового склада, получивший со временем прозвище «профессор» за совершенное знание лошади и езды. Мне посчастливилось у него ездить. Когда прибыли мы с ним на гастроли на провинциальный ипподром, то к нему, будто, в самом деле некоему светилу, выстроилась целая очередь молодых наездников: «Прощупайте у этого серого плечо… Посмотрите левую переднюю… Посоветуйте, пожалуйста, когда сделать резвую…»

Что собой представляет щельцынская экспертиза, соединяющая богатейший опыт с полнейшей самоотдачей, позвольте пояснить лишь на одном примере. Подобных примеров можно было бы привести сколько угодно, скажу лишь об одном, который, надо сознаться, сильно подействовал на меня в ту пору, когда я только начинал внедряться в конный мир.

Эпизод, который я хочу вспомнить, едва не шокировал меня, тогда мне показалось, что уж это что называется чересчур.

Если моряку, чтобы твердо стоять на ногах, нужна зыбкая палуба, то наездник не чувствует себя в своей стихии до тех пор, пока не усядется на беговую качалку. Нужны вожжи в руках, иначе ему неможется и неймется. И меня не удивило, что Щельцын, едва сойдя с поезда (дело было на областном

ипподроме в Раменском), тут же велел заложить серого великана Бравого, а меня он посадил на вороного Бельфора, и мы тотчас оказались на дорожке – совершенно безлюдной и безлошадной, работа давно закончилась.

Шагаем – Щельцын вообще предпочитает тихие работы, полагая, что так лучше нарабатывается мускулатура, зато уж на маховой или в призу лошади у него идут охотно и на идеальном ходу.

Итак, шагаем. Вдруг Бравый останавливается, отставляет хвост, расставляет пошире задние ноги – калится. Обычное дело. Но когда жеребец оправился и, было, собрался двинуться дальше, наездник придержал его. Что такое? В чем задержка? Мастер всматривается в кучку конского навоза, нагибается, протягивает руку, берет теплый катыш и начинает разминать-растирать пальцами. В зеленовато-желтоватой кашице мелькнуло нечто желтовато-беловатое. Глист! Вредный червь, вместе с навозом, был подвергнут внимательнейшему осмотру, столь внимательному, что, казалось, при необходимости взять тот же состав на зуб, он был бы испробован. А когда мы вернулись с проездки на конюшню, конюхам были отданы распоряжения по части лекарств и кормежки. Вот к этому знатоку призового дела и выстраиваются очереди из тоже понимающих в лошадях.

В ту ночь мастер улегся на ночлег на сене возле денника Бравого. Обычно это делается накануне больших призов – из опасений, как бы чего не случилось. Но в тот раз был особый случай, а я, чтобы еще поговорить о лошадях, попросил у Александра Федоровича разрешения остаться там же, на конюшне.

– Что ж, почием на ложе Авраамовом, – сказал наездник.

Почти по Писанию, ведь праотец не на лошадях ездил – на ослах.

* * *

Великое чувство традиции живет в конном мире. Нам не следует забывать и тех русских конников, которые после революции оказались за рубежом.

Не по убеждениям обычно уезжали они, а большей частью в силу обстоятельств – вместе с лошадьми, вместе с владельцами лошадей. Они, однако, не порвали связи с родиной и стояли на высоком уровне. Первый рысак Европы 1930-х годов Масклетон находился в тренинге у прежнего петербургского наездника Александра Борисовича Финна; на нем русский наездник дважды

был победителем Приза Америки. Кроме того, Финн основал в Италии школу наездников. Николай Черкасов, собеседник Куприна, открыл в Париже классную общественную призовую конюшню. Павел Родзянко воспитал национальную сборную Ирландии. Подобно тому как английские актеры говорят: «Мы учились у Михаила Чехова», итальянцы следуют в декоративном искусстве Александру Бенуа, американцы сделали президентом своей Академии художеств Николая Фешина, целая эпоха в мировом балете обозначается именами Павловой, Карсавиной, Дягилева, Баланчина, Фокина, подобно тому как в Бирмингемском университете кафедру философии основал Николай Бахтин и поколения студентов Оксфорда, Сорбонны, Гарварда слушали по различным наукам русскую профессуру, подобно этому и русские конники стали в мировом масштабе «школой», направлением, традицией.

Вторая мировая война нанесла тяжелейший урон нашему коневодству. Погибли специалисты, пропало ценнейшее конское поголовье. Не вернулись с фронта классные жокеи. Без вести пропал блиставший перед войной на Ростовском ипподроме Чабан-Тутариш. В Киеве фашистами был казнен за «сотрудничество с большевиками» выдающийся русский наездник, несравненный мастер Павел Петрович Беляев 2-й. Вторым Павел Петрович значился по фамильному счету – после своего отца, но был он, по существу, первым из первых, единственным в своем роде. «Держитесь Беляева!» – писал в канун войны из Милана в Москву Александр Борисович Финн, подчеркивая тем самым, что это образец профессионального мастерства и спортивного благородства.

Калечились, гибли во время эвакуации от бескормицы племенные лошади. Захватчики уводили ценнейших производителей, угоняли маточные табуны и целые заводы. И все-таки в этих страшных условиях, даже отдаленного подобия которых не испытало на себе ни одно другое коневодство в мире, наши конники, наш конный спорт продолжал действовать. Тренер-ветеран Григорий Грошев рассказывал: «Молодняк поступал на ипподром с заводов до того ослабленный, что запряг, выехал, а с дорожки в руках ведешь и не знаешь, как довести…» Однако, хотя бы и в эвакуации, бега не прекращались, а с 1944 года вновь начал действовать Московский ипподром. Згидный, выигравший в руках мастера-наездника Н. Р. Семичова Приз Открытия, на бега прибыл прямо из действующей армии.

«Нельзя забывать, как советский Анилин скакал в Вашингтоне», – говорили французские эксперты перед Призом Триумфальной арки 1967 года в Париже, взвешивая шансы

участников. Нам тем более надо помнить: Анилин не раз оставлял позади себя «крэков» американских, английских, французских, немецких, воспитанных на голубых пастбищах Кентукки, на бархатистых лужайках Англии, словом, из поколения в поколение знавших одно – «конский рай». А у Анилина бабушка с материнской стороны, имевшая несчастье родиться в военные годы, не видела, что такое настоящая подстилка, и почитала солому с крыши за первое лакомство.

Надо проследить дистанцию, пройденную нашими конниками и конями от военных и первых послевоенных стартов до систематического участия в крупнейших международных призах – Триумфальная арка, Приз Америки, Приз Организации Объединенных Наций, Приз наций, Международный Вашингтонский, Большой Ливерпульский, Большой Пардубицкий, Приз Парижа, Приз Европы… Выйти на дорожку в таких соревнованиях – почет и высший уровень, а у нас – призеры.

Из поражений на Олимпийских играх в Хельсинки и Стокгольме, когда в троеборье (манежная езда, кросс, преодоление препятствий) и выездке триумфально выступили шведы, наши конники сумели извлечь полтавский урок. В Риме выдающийся шведский всадник-ветеран Генри Сен-Сир отдал первенство Сергею Филатову. Правда, говорили о том, что успех советского спортсмена сенсация, и только. Однако в Токио Филатов опять был в числе основных претендентов на чемпионский титул, который он уступил лишь в жесточайшей борьбе. Вообще после римской победы, после удачи наших троеборцев, дважды взявших европейское первенство, наши конники стали значиться фаворитами во всех крупных международных соревнованиях. В Мехико Иван Кизимов на Ихоре блестяще доказал, что не зря, не случайно значатся!

Международный успех пришел и к нашим спортсменкам. Студентка, потом аспирантка и, наконец, преподаватель Московского университета Елена Петушкова на Олимпиаде в Мехико была признана «мисс Европой» по конному спорту, оставив позади лучших спортсменок и многих сильнейших всадников мира. Дочь колхозного конюха, мастер-наездник Мария Бурдова выиграла интернациональные призы в США на ипподромах Монтичелло и Батавия Даунс.

Непростые отношения сложились у Маши с Парижем: во Франции, как, впрочем, и во всем мире, кроме нашей страны, женщины не допускаются к выступлениям на крупных ипподромах. Причина простая – публика в женщину-наездника не верит. Ассоциация рысистого спорта Соединенных Штатов сделала для Бурдовой исключение, а французы, как ни странно,

решили не изменять общему правилу. И только после длительных переговоров был устроен специальный матч между Марией Бурдовой и популярным французским ездоком Гужоном. Схватка была жестокой: Маша выиграла у своего опытного соперника полголовы!

– Надеюсь, – заявила после этого Маша по парижскому телевидению, – что моя удача заставит французов лучше относиться к женщине.

Сверкание «звезд» в конном спорте не должно, однако, затмевать многих трудностей его развития. Эти трудности начинаются с основ – с лошади.

В прошлом коннозаводчики решали задачу, ясно подсказываемую потребностями времени и многовековой народной мудростью: «Конь – человеку крылья. Конь должен быть годен в подводу и под воеводу». Словом, мощный мотор и опасное оружие. Ныне потому и бывает подчас нелегко развивать конный спорт, что в современности нельзя уже так естественно и отчетливо определить положение лошади, до корня подорванное моторами, крыльями и пулеметами еще в пору Первой мировой войны. Да, во Второй мировой войне кавалеристы Доватора и Белова покрыли себя неувядаемой славой. Конечно, есть кручи, чащобы и бездорожье, где по-прежнему никакой мотор не способен соперничать с «лошадиной силой». Но можно ли спорить с тем, что потребности в этой силе катастрофически сократились? Четыре с половиной миллиона против тридцати или сорока миллионов – такова «теперь» и «прежде» численность конского поголовья в нашей стране.

Прошлое и настоящее соотносятся в конном деле, как и во всем, не без парадоксов. Теперь кричат не «Извозчик!», а «Такси!» Извозчики – музейная редкость, сохранившаяся лишь в некоторых городах. Но если некогда, в середине девятнадцатого века, с римским извозчиком торговались с пяти до трех монет, то теперь ему предлагают тысячу лир, а он отвечает преспокойно:

– За такие деньги моя лошадь с места не тронется! Берите такси.

Американский наездник Стэнли Дансер утверждал: «Поднять бы сейчас из-под земли ветеранов, начинавших беговое дело, и показать им, каковы рысистые испытания теперь, они не поверили бы своим глазам, увидав размах рекламы и популярность бегов, рост призов, уровень рекордов». У нас, например, лошадей стало разительно меньше, чем в прежние времена. Но каких лошадей? Тридцать миллионов составляло море беспородных крестьянских лошадок: «Ну, трогай, Саврасушка, трогай! Натягивай крепче гужи…» Теперь вместо

гужей и хомута нагрузка перенесена на машины – тянет трактор и грузовик. А между тем рекорды ипподромных знаменитостей прежнего времени, которые когда-то казались недосягаемыми, в наши дни ежегодно повторяют рядовые рысаки.

* * *

Премьер среди американских наездников Дансер собирался приехать к нам, но… Вот как объяснил причину его несостоявшихся советских гастролей Ирвинг Радд, пытавшийся их организовать. Спортивный журналист, Ирвинг отвечал за рекламу на ипподроме Йонкерс и регулярно наведывался в Москву, чтобы договориться о нашем участии в Призе Организации Объединенных Наций. Называл он три имени среди своих мастеров призовой езды – Делвин Миллер, Вильям Хотон и Стэнли Дансер. Но пока изыскивались пути, чтобы пригласить кого-нибудь из них к нам, эти звезды пятидесятых-шестидесятых годов закатывались одна за другой. Дед Миллер, как его называли, по возрасту ушел на покой. Хотон трагически погиб: при неудачном старте с разворота вылетел из качалки, его выбросило, как из катапульты. Остался Дансер – в чем задержка? Занят! У них в году 298 беговых дней, любой классный мастер у владельцев нарасхват, плюс повседневная работа, обусловленная обязывающим контрактом. Так и не получилось.

Ушел из жизни Радд, ушел и Дансер. Внешне и вообще по типу он напоминал нашего Александра Хиргу, и когда Саша оказался в США, чтобы выступить в Призе ООН, это сходство сразу признали. Кто помнит Сашу, округлого, плотно сбитого, некрупного крепыша, тот подтвердит: слово вымолвить было для него мукой мученической, выражал себя этот человек, лишь взявшись за вожжи, вот тогда – Хирга! Так и Дансер. Был он, что называется, плоть от плоти, потомственный и неотъемлемый, не имел ни общего, ни специального образования, наследственно принадлежал рысистому делу, и всё.

Успехи его и других названных наездников совпали с необычайным подъемом рысистого спорта в Америке. На трибунах того же Йонкерса волновалось до сорока тысяч зрителей, а бега в сезон, за исключением воскресенья, проходили ежедневно. И уход таких, я бы сказал, матерых мастеров был этапом – знаменовал изменение всей атмосферы.

С введением ТЗПИ, тотализатора за пределами ипподрома, трибуны сделались полупустыми, а то и вовсе опустели. При том что доходы ипподромов и суммы призов возросли, общий

колорит потускнел. Даже жутко становится, словно попал в обстановку фантастического фильма о неутешительном будущем: лошади бегут (или скачут), звонки то и дело раздаются, всевозможные табло сверкают, оповещая о результатах, секундах, ставках и выдачах, бесчисленные мониторы, даже в туалете, показывают каждое движение скакунов и рысаков – кому? Все на месте, кроме публики. Где же она?

Безгранично-многочисленная, невидимая, масса зрителей обретается в пространстве виртуальном. Мирового масштаба азарт удовлетворяется глобальным беговым кругом: каждые пять минут в мире совершается скачка или заезд, и, если хотите, в любое время дня и ночи ставьте в «длинном», сочетая первые и вторые места на Корсо ди Рома и мельбурнском Флемингтоне, а можно охватить «трифектой» еще и Акведук под Нью-Йорком.

Размах невиданный – все дальше и дальше от лошадей. Ими, собственно говоря, уже и не пахнет. Дансера, как и Радда, регулярно показывают по телевидению, будто они и не покидали сей мир, но это лишь подчеркивает, насколько же все с ними связанное ушло…

* * *

– Пусть лошади стали резвее, но зато лошади прошлого были выносливее! Прежде скакуны были сложены правильнее и более капитально. Обратите внимание, как часто встречается теперь у чистокровных лошадей свислый круп, а в старое доброе время прямой круп…

– Что ж, – отвечал на вздохи о «старом добром времени» и о «лошадях прошлого» выдающийся итальянский коннозаводчик Федериго Тезио, – свислый, или приспущенный, а стало быть, напористый, круп действительно отличает современную скаковую лошадь. И это залог ее резвости, обеспечивающей могучий толчок задними ногами. Говорят, лошади с прямым крупом лучше выдерживали дистанцию. Может быть, выдерживали… Вы мне скажите, почему теперь лошади с таким крупом и на длинной и на короткой дистанции оказываются позади лошадей с «неправильным», приспущенным крупом?

Не так-то просто оценить перемены, приносимые ходом времени. Когда Чехова убеждали: «Современные люди стали особенно нервны! – он морщился. – Бросьте, люди всегда были нервны…» Так и лошади – если не приходится им теперь совершать пробегов по сто верст, то это еще не значит, что они уступают ямским тройкам. Пойдите на ипподром, посмотрите

розыгрыш классного приза, и перед этим померкнут все «чудеса старого доброго времени».

Было у нас время, к сожалению, совсем не далекое, когда пробовали думать, будто конный спорт устарел. На конный спорт стали смотреть как на нечто провинциальное, побочное по мере того, как почти прекратила существование кавалерия, а в транспорте и сельском хозяйстве машины оттеснили лошадь. Это прежние, сильно задержавшиеся представления о лошади переживали окончательный кризис, который показал: исчезает не лошадь, не конный спорт, а рушится давняя подоплека, питавшая их. Надо искать новые ресурсы, по-новому «оправдывать», то есть иначе, чем некогда, рассчитывать и обеспечивать существование лошади среди машин и механизмов.

В критическую пору дал себя знать энтузиазм рядовых конников. Им наш спорт обязан тем, что у нас есть призеры и чемпионы мирового класса. Что чемпионы! Чемпиона можно вырастить и парникового. Они сохранили и развили реальный спорт – народный, массовый.

«В голове у меня одни лошади», – писал мне тогда Шурка Панков, победитель первенства Российской Федерации среди сельских конников.

А я помнил время, когда в голове у Шурки не было лошадей. Были голуби. Потом собаки. Даже удивлялись: сын наездника, а лошади ему нипочем. Но природа взяла свое, наездничья кровь заговорила. На юношеских соревнованиях общества «Урожай» Шурка завоевал первое место. Он сразу показал «чувство лошади».

Это чувство проявилось в смысле более широком, когда надо было не только ехать на лошади, но пришлось защищать ее. Чувство это подсказало ответ на все самые больные вопросы: где взять средства на содержание конноспортивных школ, нужна ли современному человеку верховая езда и т. п.

– Ни один колхозный праздник не обходится у нас без состязаний конников, – рассказывает секретарь комсомольской организации колхоза «Победа» Читинской области, спортсмен Николай Хакимов. Он говорит это теперь, сидя в редакции журнала «Коневодство и конный спорт», говорит, вспоминая, какова была борьба за лошадь. А вот его прежнее письмо в редакцию, и я прошу читателей оценить, как пишет конник:

«Наш колхоз «Победа» имеет триста лошадей, из них двести рабочих, остальное молодняк. Лошади используются на самых разных работах – на подвозах грузов, на пастбищах. Конь продолжает верно служить сибиряку-забайкальцу. Лошадей легких, быстрых, спортивных в Сибири издавна называют

бегунцами. Народные празднества всегда сопровождались состязаниями бегунцов. Конечно, эти состязания были очень просты, можно сказать, примитивны в сравнении с ипподромными испытаниями: скакали без седел, без специальной дорожки. Но держались эти состязания народной любовью к коню и тем были дороги.

Обидно было видеть, как исчезают, забываются бегунцы. Где-то около 1957 года совсем их не стало. Такое было время, такое настроение – «лошадь свое отжила». Как будто у людей, говоривших это, не было глаз, и они не видели, что наши горы, наши леса все так же суровы, и без хорошей лошади делать в них нечего. И опять шло время, и опять менялись настроения. И, наконец, настал час, когда колхоз имени Кострова Шикшинского района возродил традицию соревнований бегунцов. Было это в 1965 году. С тех пор у нас каждый праздник – скачки. Колхозная молодежь в первую очередь, конечно, принимает в них участие.

Я мечтаю о том, чтобы у нас был построен настоящий ипподром, была создана конноспортивная школа. Мы все здесь – прирожденные конники, можно и лошадей хороших подобрать. Нам нужна помощь – советом, средствами, делом. Сложа руки мы и сами не сидим…»

И журнал помог сибиряку. Его связали с конным заводом «Восход» Краснодарского края, лучшим в стране. Директор завода В. В. Иванов пригласил его к себе – на выучку. Он прошел стажировку у опытных тренеров и жокеев. Я увидел Николая Хакимова, когда впервые в жизни скакал он на Московском ипподроме в призе. Он пришел предпоследним, однако место тут ничего не значило. Большой этап пройден. Его ждут в родных краях, скоро он поедет домой работать и поделится со своими друзьями всем, что удалось ему узнать, усвоить, накопить. Николай Хакимов верит: сибирские бегунцы будут выступать на современном уровне!

И хотелось бы думать, что сбылась мечта Петра Руденкова, который когда-то мне написал из поселка Мирного Соль-Илецкого района Оренбургской области. Писал Петр как допризывник, ожидая повестки из военкомата: «Мне пришел ответ из Москвы. Можно надеяться, что буду служить в кавалерии. Даже не верится, что это может случиться. В общем, наверное, буду кавалеристом. Дела у меня идут хорошо. Работаю. Стал увлекаться рисованием. Я и раньше рисовал, но плохо. Теперь вроде что-то стало получаться».

Что ж, и в спорте «солдат надеется стать когда-нибудь генералом». Вильям Фолкнер, известный американский писатель и большой поклонник лошадей, наблюдая в Кентукки обычную

тренировку обычных всадников-мальчишек, отметил: каждый конь двигался так, будто на секунду воображал себя Попляр-Хиллом (выдающийся скакун, вроде нашего Анилина), каждый мальчишка сидел с таким видом, будто он уже Эдди Аркаро (как наш Насибов). Но, главное, всякий, кто переступит порог конноспортивной школы, конюшни или манежа, кто увидит в действии дорожку ипподрома, быстро убедится, насколько это самостоятельный, развитый, глубокий, яркий, словом, «волшебный мир».

Волшебство, помимо всего прочего, заключается ещё вот в чем: на конюшне сходятся люди, которых не увидишь рядом где-либо в другом месте. Дважды был я на Кубе, а где встретился с Фиделем Кастро? На Московском конзаводе. В опере не раз слышал Паваротти, а единственный раз в жизни оказался с ним рядом там же, на конюшне. Мог бы я привести список заметных лиц из самых разных миров, оказавшихся вместе на конюшне, а я при сем присутствовал, но лучше покажу несколько «кадров» из конного мира.

Жизнь на благо лошадей

«Всю жизнь отдал я на благо лошадей», – так говорит ветеран-кавалерист ещё Версальской выучки. Он же говорит:

– Я видел езду Джемса Филлиса.

Филлис! Нелошаднику и передать трудно магнетизм этого имени. В литературе или искусстве это все равно, что сказать «Я знал Блока», «Я слышал Шаляпина». Волшебник выездки, целая эпоха в седле – таков Филлис. Расцвет его славы приходится на рубеж XIX–XX веков. Он много работал в России, обучая своей школе езды наших офицеров. Когда в 1913 году Филлис скончался в Париже, на его могилу был возложен венок «От русской кавалерии».

Все знает свой прогресс. Развиваются и приемы выездки. Когда-то, во времена классицизма, тон на манеже задавали кавалерийские школы Версаля и Сомюра. «Духу века» соответствовали высоко поднятые и скрученные книзу головы лошадей. Гнули тогда не только в затылке, как говорится, но и в шее. Получалось парадно, помпезно, однако малоестественно. Потом появился реформатор Франсуа Боше, версальский

наездник, пересмотревший во многом приемы Версаля. Он дал коню бóльшую свободу; но все-таки и Боше оставил лошадь за «поводом»: то есть не позволил ей вытянуть шею и упереться на удила. И вот пришел Филлис.

«Не сходя с пути, начертанного великими мастерами искусства верховой езды, – говорит он в автобиографии, – я мало-помалу выработал свой метод».

Филлис в своей сфере, подобно Ньютону в науке, сознавал, что успехов он достиг потому, что стоял на плечах гигантов. Не моего ума дело судить о выездке или физике, но для любой деятельности сохраняет свое значение правило *непротиворечивости*, как это назвал Нильс Бор: новое лишь тогда в самом деле новое, если им усвоено старое; новые мастера должны овладеть техникой, выработанной классиками, иначе это всего лишь авангардизм, который пройдет как мода. Научившись всему, Филлис преобразовал все. Сидеть, держать коню голову, «собирать» лошадь, то есть подготавливать ее к движению, стали после него не так, как делалось это д'Ором или Боше. Современные всадники также многое переменили. И все-таки имя Филлиса звучит необычайно громко для конников. Потому и вздрагиваешь, когда старик в сапогах и венгерке образца Первой мировой войны произносит: «Филлис».

– Да, я видел его.

Это рассказывает Тимофей Трофимович Демидов – выпускник Высшей кавалерийской школы в Петербурге, драгун, в сабельные атаки ходивший в Первую мировую войну, трижды георгиевский кавалер, участник Первой советской сельскохозяйственной выставки в 1923 году, тренер-пенсионер. Он говорит:

– Я и Толстого видел.

– Не может быть! Где?

– По рождению я тульский, Веневского уезда. У нашей помещицы Игнатьевой, имевшей свой конный завод, торговал имение кто-то из детей Льва Николаевича. И мне посчастливилось встретить его самого. Ехал к нам в деревню на паре, запряженной в дышло, с кучером. Спросил меня: «На Богородское я здесь проеду? Дорога там в порядке?» Я отвечал. «Хорошо, хорошо. Спасибо», – были его слова. Потом, помню, когда начал я служить и наш Переяславский драгунский полк стоял в Плоцке под Варшавой, нас как-то построили, и командир полка объявил: «Вчера на станции Астапово скончался великий мыслитель всего человечества Лев Толстой». Офицеры надели траур.

– А Филлис?

– Филлиса увидел я уже в Петербурге, когда меня одного от

полка послали в кавалерийскую школу. Мы занимали Аракчеевские казармы. Здесь, на манеже, Филлис по просьбе офицеров демонстрировал некоторые приемы. «Филлис! Сегодня будет ездить сам Филлис!» – говорили в школе, и все стремились посмотреть прославленного всадника.

– Что же особенного?

– Запомнилась гибкость его рук. Быть может, так лишь казалось, но думал я тогда, будто даже лошади понимают, кто сидит на них, – с исключительным послушанием подчинялись они воле всадника. Филлису царь говорил: «Делайте мне замечания». Все равно ездил царь неважно… Множество раз на манеже видел я Алексея Алексеевича Брусилова. Вот что было у меня на глазах: «Ты как сидишь? Как сидишь, я спрашиваю? Почему ноги болтаются как макароны?» – распекал Брусилов одного из всадников. «Ваше превосходительство, – говорят тут Брусилову, – это же сербский кронпринц Кара-Георгиев». – «Вот хорошо, теперь хорошо. Посадка правильная!» А посадка все та же, и ноги по-прежнему «как макароны». Но попробуй, хотя бы и Брусилов, сказать другое «принцу крови».

– Ездить учили крепко, – продолжает вспоминать старый кавалерист. – В школе попал я в берейторское отделение. Посадка считалась у меня не особенно прочной, но зато хвалили мягкость рук. Много изучали лошадь. Сколько у лошади костей?

– Не знаю.

– Двести двенадцать. Да… После того как я окончил школу, в полку берейторам полагалось давать самых строптивых, отбойных лошадей. Мне достался конь Ефрем. Он имел привычку опрокидываться назад. Каждый день я на нем ждал смерти. Едва успел я отслужить и прийти домой, как началась война. Меня призвали в 3-й Смоленский уланский полк.

– И вы в атаки ходили?

– В Польше, под Брезиной, впервые пошли в атаку. «Шашки вон! Пики в руку!» – и понеслись. Немногие вернулись с поля… В Восточной Пруссии у деревни Картал повел нас в атаку полковник-француз Мелио. «Чем скорее пойдем, тем вернее будет дело! – сказал он нам. – Марш! Марш!» И, не выпуская изо рта дымящейся трубки, помчался вперед. Мы за ним. Поначалу немцы растерялись. Но вот справа заговорил их пулемет. Мы стали заворачивать. От полка уцелело не больше тридцати человек.

– Где же вы закончили службу?

– В Екатеринославской губернии на Украине нас застала революция. «Довольно, довольно! – требовали солдаты. – Хватит войны!» Пошли митинги. Стали сменять командование. Выбирать новое, свое. Многие поехали по домам, поехал и я. Начал

работать в родных краях, под Тулой в Першине, где была государственная конюшня.

– Першино – известные места…

– Еще бы! Великокняжеская охота. До тысячи борзых. Князей и борзых, когда я приехал в Першино, уже не было, но жили еще некоторые охотники, псари. Познакомился я со старшим доезжачим, возглавлявшим всю охоту, Ефимом Ивановичем Алексановым. Собак он знал удивительно. Мы поехали с ним как-то в знаменитый Хреновской конный завод, там кое у кого были охотничьи псы. Ефим Иванович лишь увидит собаку, тотчас называет породу и происхождение. Хреновские проверяли по документам, и все сходилось. «Что за человек?» – все поражались. Нашелся альбом по собакам, и когда его раскрыли, то на фотографии сразу попался со сворой Ефим Иванович. Нам от охотников-любителей не стало отбоя: каждый тянул к себе «на чаек», побеседовать. Был еще в Першине Никита Григорьевич Рощин, также охотник. Профессия у него была редчайшая – подвывало. Он рассказывал, как надевал тулуп, забирался с вечера на всю ночь в лесу на дерево и выл волком. Сходились к нему серые целыми выводками и стаями. Так перед выездом на травлю проверяли, где есть волки и какие.

– А в толстовские места вы заглядывали?

– Обязательно. Уже в 1929 году попал я в Ясную Поляну на митинг, посвященный памяти писателя. Крестьяне пели песни, которые любил Толстой. Неподалеку от главного дома выступил с трибуны старик: «Однажды решил я стащить гречихи. Пошел вечером на поле, связал снопов пять, несу. Навстречу вдруг Лев Николаевич. «Иван, говорит, не много ли ты взял? Смотри, в имении новый управляющий, очень, говорят, строг. Ну, неси, неси».

– Лермонтова тоже знал… – добавляет Демидов.

– Как Лермонтова?

– Служил в нашем полку. Поэту он приходился дальним родственником. О нем в газетах недавно писали. Хотелось бы теперь встретиться… Последний раз видел я его в Першине. Кто-то приехал в конюшню. Смотрю – Лермонтов. Говорю конюху: «Степан, Лермонтов!» А он услышал. «Вы меня знаете?» – «Так точно. Вы штабс-капитан Лермонтов. Служили в Переяславском драгунском полку. Ездили на кобыле Приветная». И он меня признал. Поехали мы с ним верхами в поля. «Это же, Трофимыч, – говорит он, – наши, лермонтовские места». – «Совершенно верно. Рядом Кропотово, имение отца поэта».

– Лермонтов, – говорит Тимофей Трофимович о поэте, – в школе подпрапорщиков учился, профессиональный кавалерист

был…

Интересно и странно как-то слушать конника-ветерана, в чьей живой памяти соединяются небывалые времена, люди и… лошади.

– В 1923 году, – продолжает он рассказ, – с группой горных арденов, бельгийских упряжных, среди которых был жеребец Рубикон, оставивший заметный след в породе, меня послали на Первую сельскохозяйственную выставку. (Ту самую, описать которую командировали Михаила Булгакова; он бывал на выставке с дамой, вероятно, поэтому не заметил лошадей.)

Тимофей Трофимович поднялся и показал, как на выводках приходилось ему объявлять клички и происхождение лошадей:

– Бенфэ де Манюи от Мамзель де Булан и Юпитера Первого! Выводка требует сноровки. Лошадь должна стоять как памятник. Уши стрелками. Ноги в правильном поставе – все четыре видны. Один конюх особенно ловок был. Он как поставит лошадь на выводной площадке, так начинает потихоньку дуть ей между ноздрей, а лошадь настораживается и, как нарисованная, замирает!

Среди орловских рысаков чемпионом тогда был признан Ловчий, полученный в Прилепском конном заводе Яковом Ивановичем Бутовичем.

– Якова Ивановича я тем более знал, – говорит Демидов. – Прилепы и Першино – все под Тулой. Он был наш сосед.

Бутович, как Филлис, – имя легендарное в конной среде. Это не только имя, но традиция в коневодстве.

– Он так знал лошадь, – вспоминает Тимофей Трофимович, – что, говорили, масть жеребенка способен угадать еще в брюхе матери.

У Бутовича достало в свое время проницательности приобрести Громадного, отца великого Крепыша. Громадный был уже дряхл и к тому же слеп на один глаз. Императорское общество поощрения коннозаводства отказалось взять его на государственное содержание. Но Бутович мыслил глубже, он помнил: Громадный дал Крепыша, а Крепыш вовсе не является какой-то счастливой случайностью, в нем соединилась кровь самых беговых, наиболее резвых семейств орловской породы.

– «Позор, если пропадет Громадный!» – вспоминает Трофимыч слова Якова Ивановича. И за баснословные по тем временам и по возрасту жеребца деньги Бутович купил старика.

От Громадного он получил у себя в заводе серую Леду; от Леды и Кронпринца, потомка Крутого и Лебедя Четвертого, родился Ловчий. Он удостоился чемпионского титула на Первой выставке, а в 1930-е годы чемпионом породы был признан сын

Ловчего и Удачной, феноменальный Улов, абсолютный рекордист. Одним из резвейших рысаков послевоенного времени был сын Улова – Бравурный. В 1950-е годы на бегах гремел и был отмечен на выставке аттестатом 1-й степени сын Бравурного – Бравый. Так до сих пор в этой и в других линиях орловской породы сказывается чутье старого коневода.

Бутович был непоколебимым патриотом отечественной, орловской породы, считал себя наследником дела Орлова, Шишкина, Малютина, крупнейших коневодов прошлого. Не случайно поэтому в известной повести Петра Ширяева «Внук Тальони» маститый коннозаводчик Аристарх Сергеевич Бурмин напоминает временами то Малютина, то Бутовича. И когда Бурмин утверждает: «Слава отечества не померкнет, ибо гений орловского рысака бессмертен», – он выражается слогом Бутовича.

Натуре Бутовича было органически присуще созидательное, творческое начало. Хотя во взглядах на рысистую породу он расходился с лучшими деятелями нашего коневодства начала века Телегиным или Лежневым, но в принципе Бутович действовал заодно с ними, стремясь в новых условиях после Октябрьской революции сохранить ценнейшее поголовье своего завода. В то время, когда многое из старого мира подлежало разрушению и само созидание мыслилось через разрушение, Бутович стремится в своей сфере как можно больше сохранить. Он пишет о лошадях, о методах заводской работы, если становится ему затруднительно вести практическую деятельность коневода. Он передает новому государству уникальную галерею конных картин, имеющих как художественное, так и научно-зоотехническое значение. Эта коллекция дала начало музею коневодства Тимирязевской сельскохозяйственной академии…

– Что ж, к верховому делу вы так и не вернулись? – спрашиваю Трофимыча.

– Как же! В Туле мне приходилось скакать на першинских лошадях. На скачки мы ездили вместе с Алексеем Алексеевичем Барановым, достоверно выведенным в повести Олега Волкова «Последний мелкотравчатый». Это был действительно редкий энтузиаст конного дела и охоты. Таких, сколько ни приходилось мне видеть нашего брата лошадника, по пальцам можно пересчитать. А перед самой Отечественной войной поступил я инструктором в кавалерийскую школу Осоавиахима в Москве на Поварской. Выучку в этой школе прошли многие впоследствии заслуженные наши всадники – Игорь Коврига, Павел Чулин… Грянула война, я отправился в Первый Московский завод эвакуировать лошадей. Вражеская разведка подбиралась к заводу

на расстояние до четырех километров. Мой сын Сергей ушел на фронт. Он был в сражении на Курской дуге.

– Был в сражении… – улыбается Демидов-младший, тоже седой. – Плакал, сказать точнее. В огонь я попал совсем мальчишкой. Как прошла артподготовка, как небо с землей смешали, я в землю зарылся, мать вспомнил и заплакал…

– Он до Восточной Пруссии дошел, – твердит старик. – Сын мой воевал в тех же местах, где наш уланский полк с боями проходил. Сергей награды получил там же, где мне дали три Георгиевских креста!

Отец и сын, ветераны двух мировых войн. Седина. Годы. Георгиевские кресты. Медали «За отвагу», «За победу». Память.

– Я тоже помню, – говорит Демидов-младший, – Бутовича, Кронпринца, Прилепы, Першино…

Он, как и отец, помнит:

– …Плоцк, Мариенвердер, Восточная Пруссия…

Демидов-старший рассказывает:

– Мой дед служил по-старинному: двадцать пять лет. Всю жизнь. Был в турецкой кампании, а с полком стоял в Сувалках. В Сувалках я тоже стоял в четырнадцатом году…

– И я был в Сувалках, в сорок пятом, – говорит Демидов-младший.

– С Московским заводом, где работал я в войну, – продолжает старик, – оказалась связана вся последующая жизнь. Мне особенно дорога память об одном случае: приехал Семен Михайлович Буденный. Он присмотрелся, как я провожу занятия со студентами-практикантами по верховой езде, и говорит: «Сразу видно – настоящая школа!»

Маршал С. М. Буденный перед началом кавалерийского смотра.

«Отец знал лошадь, имел к ней подход, умел тренировать, видел, что она из себя представляет, и мог предсказать её будущее по экстерьеру».

Н. Буденная (интервью 1990-х гг.)

Маршал Г. К. Жуков на Истоке. (Тот самый Исток, который меня вышиб из седла).

Внучатый племянник Крепыша Бравый перед резвой
Одесский ипподром, 1960
Фото Ю. Оленева

Октябрьский Парад в Звенигороде, 1961

«Испанский шаг» демонстрирует на Памире Павел Туркин.

Подо мной Помпей, брат Памира (братья-тракены от Пилигрима).

Из журнала «Хорс энд Шоу». 1969 г.

Снимок, возмутивший наших наездников: не расставлены локти!

За пассажиров Е. В. Шаширин и мэр г. Нортфильда, штат Огайо.

К лошадям!

С Борей Ливановым и собачкой Касьяном, Николина Гора, 1978 г.

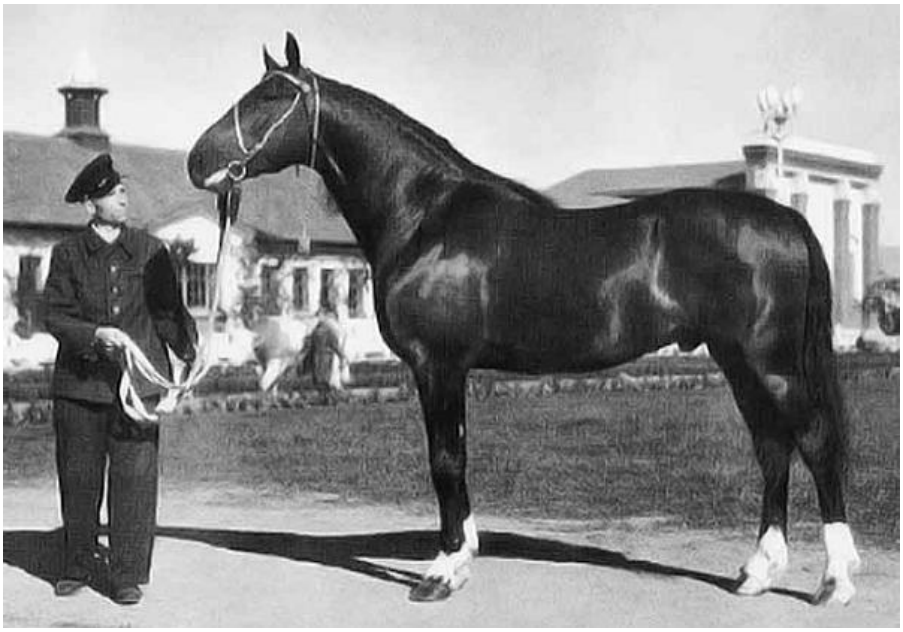
Шарж Василия Ливанова.

«Перемена ног» – фигуру высшей школы верховой езды на Абсенте демонстрирует Олимпийский чемпион Сергей Филатов.

Из архивов Московского ипподрома.

Лошадь в сборе под седлом Сергея Филатова.

Точный расчет троеборца. Фотоэтюд А. Шторха.



Абсолютный чемпион орловской рысистой породы Квадрат со своим воспитателем Василием Курьяновым.

Из архивов Павильона Коневодство на ВДНХ.

Татьяна Куликовская, 1940-е гг.
Мастер спорта и мастер-преподаватель верховой езды.

«На птицу в полете был Борька похож…»

Шестикратный чемпион страны и победитель международного «Приза наций» Борис Лилов на Диаграмме.

Стенли Дансер, 1960 г.

Был и остаётся неподражаемым среди американских наездников.

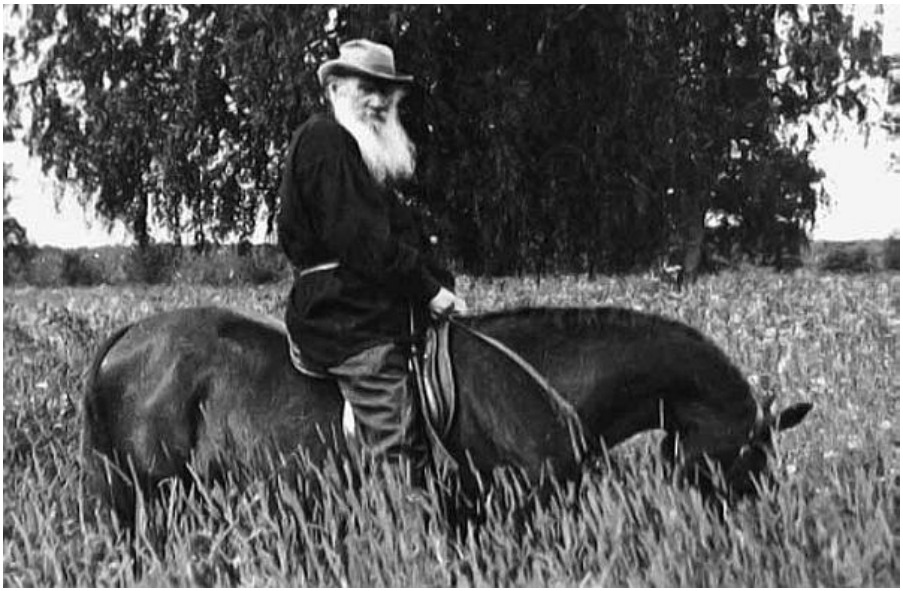
Фото из архива С. Дансера.

Король русских рысаков и король призовой езды. Крепыш в руках Кейтона, 1912 г

Из журнала «Русский спорт».

«И у меня в пьесе есть лошадь».

А. П. Чехов в Мелихово.



«Толстой всю жизнь ездил на лошади».

Из кн. А. П. Сергеенко «Рассказы о Толстом».

На «Делире»

Миллион Николая Насибова

«Миллионерами» называют у нас летчиков, машинистов, чей трудовой путь в облаках или по земле растянулся на тысячи и тысячи километров. Сколько «накрутил» жокей международной категории Николай Насибов по дорожке ипподрома, пока не подсчитано. Но известен доход, принесенный им государству в золотых рублях: за четырнадцать лет, участвуя в соревнованиях на ипподромах мира, Насибов взял призов общей суммой в миллион рублей.

Родителей Николай не помнит. Он вырос сиротой на Куларском конном заводе. Конюшенный мальчик – ездок-жокей – мастер-жокей – жокей международной категории и, наконец, главный тренер скаковых лошадей Центрального Московского ипподрома: его подъем был одновременно и труден и блистателен. Берлин, Варшава, Прага, Стокгольм, Осло – такова география его начального триумфа за рубежом.

На «Большой интернациональный круг» Насибов вышел с темно-гнедым Гарниром (от Рауфбольда). В 1958 году впервые в истории нашего скакового дела Насибов пересек океан и принял

участие в Вашингтонском международном призе на ипподроме Лорел, где собирается скаковой цвет и Европы, и Америки. Особый успех Насибова оказался связан со светло-гнедым Анилином конезавода «Восход». Осенью 1967 года Насибов достиг небывалого: в третий раз подряд на ипподроме в Кельне взял Приз Европы. Анилин стал «трижды венчанным».

В чем сила Насибова, его секрет? «Понимание скачки», – тотчас ответит специалист. Как никто, умеет Насибов схватить, что происходит на дорожке, чем опасны соперники; с удивительным расчетом распоряжается он лошадью по дистанции.

– Наши скакуны, – говорит мастер, – отличаются силой, выносливостью. На Западе культивируется резвость, езда «на бросок». Особенно английские и французские жокеи едут, выжидая, выдерживая, а на последней прямой они добиваются от лошади страшной резвости – 500 метров в 27–28 секунд. Вот почему летом 1966 года Анилин буквально у самого финишного столба все-таки отдал Вашингтонский приз, когда победа была так близка…

Уже в первом повороте Анилин рывком захватил лидерство и повел скачку. Насибов наращивал темп, заставляя соперников ехать как можно резвее с самого начала. Следом держался американский скакун Ассагаи. В пятидесяти метрах от финиша Анилин был по-прежнему первым. Ни Ассагаи, которого прочили в победители, ни французский фаворит Васко да Гама, пытавшиеся обойти Анилина, не могли угрожать ему. Но была в скачке еще одна французская лошадь – Бехистоун. Нужно обладать большой верой в класс своего скакуна, чтобы, как жокей Дефорж на Бехистоуне, идти всю дистанцию последним. Только на финишной прямой Дефорж выслал Бехистоуна, и тот буквально полетел мимо всех. Фото– и кинокамеры сохранили зрелище этой схватки: до столба считанные метры, Анилин и Бехистоун скачут «ухо в ухо», «ноздря в ноздрю»…

– Николай, почему, как видно на снимке, Дефорж почти бросил повод, а вы, кажется, еще придерживаете Анилина?

– В этом все дело: хотел помочь лошади. Дефорж сохранял силы Бехистоуна до конца, а потом выпустил лошадь, словно камень из рогатки. Анилин же вынес на себе всю скачку. Его надо было поддержать, дать ему возможность опереться на удила, на повод.

– А если бы вы стали на Анилине «сторожить» их всех где-нибудь сзади?

– Нет, на бросок не возьмешь. Приходится ехать, как говорится, на силу. Я бы сказал, сегодня задача всего нашего

коневодства – добиваться у лошадей резвости. Дело в том, что до сих пор, разводя чистокровных скакунов, мы непременно учитывали хозяйственное, военное значение коня. В «чистом» виде ипподромный скакун, конечно, не используется ни в поле, ни в строю. Он действует как производитель, как «улучшатель» полукровной лошади. И в этом смысле от него, естественно, требуется прочность, широта кости, рост. Поэтому у нас обращали внимание на многие «рабочие» качества племенного потомства. А на Западе уже давно отбор ведется по одному признаку – только резвость! При мне наши специалисты, покупая у одного английского владельца жеребца, качали головами: «Всем хорош, да слишком маленький…» Англичанин сказал: «Когда он скачет впереди всех, он совсем не кажется маленьким!»

– Классные лошади принимают участие в Вашингтонском призе?

– Еще бы! Позади Анилина в побитом поле остался тогда Том Рольф. Среди американских скакунов он числился чемпионом. И его призовой «заработок» к трем годам превысил четыреста тысяч долларов. Правда, Анилину он проигрывает уже не первый раз. Мы с ним встречались в Париже в скачке на Приз Триумфальной арки. Шло двадцать лошадей. Том Рольф остался шестым, а я на Анилине был пятым.

После классического Эпсомского Дерби в Англии, Триумфальная арка – самый почетный международный приз. Анилин был первым советским участником в этом соревновании. Все скаковые эксперты отметили тогда выступление Анилина. Он и значился у них – «тот, что был пятым в Триумфальной арке». Репутация высокая. Не надо забывать, что лорд Дерби, основатель традиционного приза, всегда мечтал, чтобы его лошадь выиграла этот приз. И не дождался. С конца XVIII до начала XX века из класснейшей конюшни лордов Дерби было всего один-два победителя Дерби. Вот что значит подобный приз.

– Вообще отношение к нашим конникам, – говорит Насибов, – куда ни приедешь, совершенно исключительное. «Советский Союз, Россия, лошади» – эти слова открывают все двери и все объятия, неважно – проиграл или выиграл. А случается по-разному. Скачки есть скачки! Первейший американский жокей Эдди Аркаро на Вашингтонский приз скакал семь раз и только один раз был победителем. Лорд Дерби сто лет ждал… Ах да, вы знаете.

Я знаю также, что говорится в программе Вашингтонского приза: «Николай Насибов – ведущий жокей Советского Союза и один из лучших жокеев мира».

«Нет лошади, которая могла бы сделать два резвых броска по

дистанции», – говорили знатоки, когда Анилин прибыл осенью 1967 года в Кельн для участия в Призе Европы. Иными словами, если тактика Насибова останется прежней и вновь он поведет скачку, складывая ее «на силу», то на финише Анилина «не хватит». В Призе Европы также участвовал советский скакун Акташ; ехал на нем Андрей Зекашев – еще один мастер международного класса. Эксперты думали: соконюшенник Анилина возьмет на себя роль лидера, а Насибов будет беречь своего гнедого до конца. Однако едва прозвучал звонок старта, Анилин стремительно вырвался вперед. Езду Насибова сочли рискованной и безнадежной: Анилина «сторожили» французский скакун Танеб, победитель Гран-При на ипподроме Сан-Клу, западногерманский дербист Люциано и другие выдающиеся лошади.

– Я понял, – рассказывал потом Оскар Ланген, жокей Люциано, – Насибов решил взять всю скачку на себя, и его во что бы то ни стало надо перехватить.

На финише Люциано подошел к Анилину вплотную.

И тут насибовский посыл! Точный расчет возможностей лошади, единство, слитность со скакуном, воля всадника, переданная коню: «Вперед!» Публика даже не успела пережить, прочувствовать мгновенной, но отчаянной борьбы, как Анилин был первым у столба. Спортивным комментаторам оставалось единодушно признать: «Вот это да!»

– Николай, еще одно «техническое» уточнение: почему западные жокеи сидят выше, чем вы?

Поясню смысл моего вопроса: современная, «обезьянья» посадка жокеев – стоя на стременах и скорчившись – привилась в скаковом деле сравнительно недавно. Она имеет случайное, почти анекдотическое происхождение. Прежде сидели «глубоко», на длинном стремени. Именно сидели в седле, а не подымались на стременах.

Конные картины английского живописца Джеймса Херринга, которые часто упоминаются в романах Голсуорси, сохранили нам вид прежних скачек, прежней «глубокой» или «длинной» посадки. Но вот заметили, если на лошади скачет малоопытный человек и, не умея как следует ни сидеть, ни управлять, хватается за гриву, а вместе с этим наклоняется вперед и привстает на седле, то лошадь идет быстрее: даже искушенные жокеи, но сидящие «глубоко», остаются позади. Объяснение этого заключалось в том, что у лошади облегчалась работа задних ног, толчок задними ногами получался сильнее, производительнее. Тогда и жокеи переняли «обезьянью» посадку – стремена стали короче, седло уменьшилось, в скачке уже не сидели, а стояли, сжавшись, на

стременах.

Правда, находились и консерваторы, как знаменитый Фред Арчер, который до конца своих дней не переменил посадки и, сидя по-прежнему на длинном стремени, все-таки выигрывал. Фред Арчер вообще был жокеем-фанатиком. Чемпион чемпионов, «гений в седле», как его называли, он не знал поражений в серьезных призах и лишь однажды в традиционной скачке остался вторым, проиграв голову. Причиной тому был лишний вес. Для многих жокеев вес является сущим бедствием, мукой всей жизни. Они морят себя жестоким голодом, по целым дням сидят в парной. «За пятнадцать лет, – признается современный английский жокей Фред Палмер, – я выпарил из себя пять тонн». «Мой рацион, – рассказывает французский жокей Этьен Полле, – состоит из стакана теплой воды рано утром и легкого ужина вечером. А днем, чтобы отбить аппетит, я жую сигары…» И вот Фред Арчер, чтобы взять реванш, стал сгонять фунт за фунтом. Чрезмерным «потением» он довел себя до беспамятства, до безумия. В горячечном припадке Фред Арчер застрелился. Ему не исполнилось и тридцати лет… С таким же упорством сохранял этот одержимый длинные стремена и «глубокую» посадку.

Теперь на Западе посадка жокеев перешла в другую крайность, стремена укоротились донельзя, жокеи почти стоят на седле.

– Для чего это, Николай? Зачем так высоко? И почему вы сохраняете более низкую посадку?

– По-моему, я вам с самого начала ясно сказал, все дело в стиле скачки – на силу или на резвость, на бросок. Тот, кто всю дистанцию сдерживает лошадь, конечно, сидит как можно выше и короче, а мне, например, приходится ехать в посыле, все время «качать» поводьями, чтобы заставить лошадь идти быстрее. Естественно, для этого нужен упор, нужно быть ближе к лошади. Угол необходим для усилия. Иначе выдохнешься в два счета и до столба не дотянешь.

– А если…

– Ну, знаете, так мы никогда и не кончим. Мне на проездку пора!

* * *

«Николай Насибов работает в заводе двадцать пять лет, это половина жизни завода, – сообщил мне Шимширт, начкон «Восхода». – Именно за этот период у нас было выращено наибольшее количество классных лошадей и почти на всех них

скакал Насибов».

Насибов – скакал, а выдерживал, то есть тренировал скакунов, Фомин. На лошадь «Фома» (так он себя называл) не садился, и нельзя было позавидовать той лошади, на которую бы он взобрался: тучен был, сильно тучен. Но сколько раз приходилось бывать свидетелем такого зрелища! Смотришь скачку из паддока – среди тренеров. Насибов со старта держится сзади. На противоположной прямой выдвигается он вперед, и слышен торжествующий шепот тучного тренера, который, быть может, и в седле почти не сидел: «Фома! Фома поехал!». Расчет и руки жокея взяли от лошади воспитанное в ней тренером. А начкон Шимширт? Тот, что лошадь эту вывел, мне сообщил: «Заводу исполняется 50 лет. Задолго до этого я начал собирать фотографии наших лошадей для юбилейного альбома. Эта работа завершена, альбом сделан, в нем около двух пудов и больше 500 снимков 13×18 размером: листаешь – вспоминаешь…»

Абсент по соседству

Вороной Абсент, олимпийский чемпион, мой сосед. Чтобы повидать его, нужно по мосту пересечь Москву-реку, чуть пройти, повернуть налево, еще раз налево… В центре городской жизни, среди бесконечных машин, магазинов, огромных зданий тут же, за углом, открывается дверь в теплый полумрак конюшни – сеном пахнет, и поглядывают из-за решеток лошадиные морды. Что Фолкнер называет: «Горьковатый, терпкий и притягательный аромат конюшни». Вот Абсент. Сух, породен.

Чемпион повел глазом на скрип двери. Разглядев, однако, что чужой, остался, как был, стоять головой в угол. Он отдыхает после тренировки, он просит его не тревожить. Нервов требует высшая школа выездки. Потому и Абсент и другие лошади, те, что рядом вздыхают, постукивают или хрустят сеном, так тревожно посмотрели на скрип двери и на вошедшего. Уши насторожились, глаза заблестели: опять манеж? Опять удила и шпоры? Известно: лошадь любит конюха, а не наездника.

Среди призовых рысаков или скакунов встречаются натуры

настолько нервные, что тренеру от приза до приза, от езды до езды им на глаза лучше и не показываться. Черновую, подготовительную, повседневную работу на них проводит конюх или помощник наездника: лошадь спокойна. Но едва увидит она рядом того, с кем связан решающий бег, борьба, высшее напряжение сил, как тут же вся затрясется, задрожит, а то отвернется в дальний угол денника, перестанет принимать корм и на глазах будет сохнуть. Может быть, лошадь не хочет простить наезднику какую-нибудь грубость? Такие лошади хлыста обычно никогда и не видят. «О-о-о, маленький… О-о-о, миленький… Хороший, хороший…» Эти лошади не пугливы и не робки, они, наверное, страшно самолюбивы. Борьба за приз – невыносимое испытание для их гордости.

«Высшая школа» тоже вся на нервах. Лошадь поставлена тут в наименее естественное для нее положение. По указанию всадника под властью повода и под нажимом шпор она выполняет фигуры, движения которых нет, так сказать, в природе: «Галоп на трех ногах», «пируэты», «поворот на переду или на заду».

Джемс Филлис, великий ездок, был невысокого мнения об «умственных» способностях лошади. Натуралисты ставят лошадь по «интеллекту» среди животных только на седьмое место после кошки, слона и свиньи. Психологи отрицают способность лошади «соображать». Считается, что феноменальный Умный Ганс, орловский рысак, выдрессированный господином Остеном в начале нашего века, который стуком копыт (то есть телеграфными сигналами) «говорил» на нескольких языках, умел считать, извлекал квадратный корень из $a+b$ и отвечал на вопросы «Как зовут нашего императора?», «Когда правил Юлий Цезарь?», на самом-то деле ничего этого не знал и не понимал; зато Умный Ганс зорко следил за хозяином и, улавливая едва заметные его сигналы, стучал копытом или переставал стучать. Надо все-таки отдать должное и Умному Гансу: если он и не сознавал, что обозначает своим копытом, то, во всяком случае, твердо усвоил, когда и как надо стучать. «Знают» и «запоминают» лошади вообще очень прочно. Куприн со слов наездника Черкасова записал о лошади: «Ее чертовская память! На беговой дорожке ей памятны все места, где она раньше засбоила, или была обойдена, или испугалась хотя бы занесенной ветром афишки, или была приведена в порядок хлыстом».

Редко встречается среди лошадей собачья привязанность к хозяину, к определенному человеку. Конечно, того, кто имеет с ней дело изо дня в день, лошадь запоминает и признает, отзывается на голос. Она сама этот голос приветствует, но не громким ржанием-призывом, а так, одобрительным

похохатыванием, тем звукосочетанием, которым обозначена у Свифта страна игогогов-лошадей: гуигнгнм… Жизнь заводской, призовой, спортивной лошади такова, что ей к одному человеку привыкнуть трудно, нет достаточного времени – она переходит из рук в руки. Другое дело лошадь ездовая, лошадь степная или горная, азиатская или кавказская: она, часто случается, от рождения до смерти служит одному человеку. Она растет на руках у хозяина, потом всю жизнь носит его у себя на спине… Там, среди горцев или степных кочевников, знают цену верной лошади, цену коню-товарищу, коню-другу:

Он и от вихря в степи не отстанет,
Он не изменит, он не обманет.

И конь привязывается к хозяину. Такая лошадь, если вдруг попадет она в новые руки, другого своим господином может и не признать, во всяком случае будет жестоко сопротивляться, вести себя словно неук – дикий, необъезженный конь. Вспомним рассказ Бабеля «Аргамак»: новобранцу ни за что не хотел подчиняться конь, доставшийся ему от прежнего хозяина.

* * *

Позволю себе поделиться и собственным опытом. Приехали мы с женой в Северную Дакоту, городок Витленд – Пшеничный, в гости к фермеру и ковбою: знаком с ним уже целую жизнь. На другой день устраиваются местные соревнования по загону скота. Ради моего же удовольствия друг мой настаивает, чтобы я принял в них участие. У меня же лошади нет! Он предлагает свою – сам он поехать на соревнования не может: занят пшеницей. Уверяет, что нрав у лошади совершенно соответствует ее кличке, а зовут эту рыжую кобылу Прелесть. Погрузили Прелесть в фургон, завел ее собственноручно мой друг, а фургон – соседа, тоже ковбоя и фермера, но занимается не пшеницей, а только коровами, поэтому со своими лошадьми ехал на загон. И мы отправились. Прибыли, вывел я рыжую – бесспорно! – прелесть, привязал к фургону, поседлал. Жена говорит: «Встань к ней как можно ближе», – она решила нас сфотографировать. «Еще ближе»… Если бы я успел выполнить указание своей супруги, и ещё сантиметра на два приблизился к несвоей лошади, то, пожалуй, моей жене пришлось бы доживать свой век вдовой. Прелесть, кажется, только того и ждала, она взвилась, и ее передние копыта едва не вонзились мне в грудь. Удержала веревка, за которую кобыла

была привязана, – оказалась достаточно коротка. Узнав о случившемся, друг мой покачал головой: «Как же так? Странно! Ведь ты же мой друг». Да, но его лошадь того не учла.

* * *

Абсент из туркменских степей – ахалтекинец. Нужна была твердая мастерская рука, чтобы сделать из Абсента ту подвижную картинку, какой во всем мире теперь любуются. Посмотрите, у всякой лошади, что прошла филатовскую выучку, на боку внизу за подпругой – маленькая, черненькая кожаная потертость: под шпорой, под шпорой! «Нелегко дается прекрасное», – сказал Платон. Вот мы на манеже, и кажется, словно бал, «высший свет», парад красоты и изящества. Елена Петушкова на Пепле, Александр Второв на Валерике, Иван Калита на Корбее… Все будто так и должно быть: шеи изящно чуть согнуты, головы картинно приподняты, ноги по-танцевальному вылетают вперед и копыта едва касаются беззвучных опилок. Беззвучность движения по манежу только добавляет легкости и полета коням.

Каждая эпоха выездки утверждала, что она приносит лошади все большую естественность в упражнениях «высшей школы». Конечно, что считалось естественным на манеже Версаля в конце XVIII столетия, потом, сто лет спустя, ниспровергал Филлис как вычурность и ненужность. А мы в 1952 году потерпели неудачу на Олимпийских играх отчасти именно потому, что все еще держались Филлиса, между тем как повсюду многие его приемы были уже сочтены искусственными, сковывающими лошадь.

– Теперь главное, – говорит Николай Федорович Шеленков, государственный тренер по конному спорту, наблюдающий за тренировкой, – это четкое выполнение обычных аллюров: рыси, простой и прибавленной, галопа, перемены ног на галопе, переход из галопа в рысь и наоборот, – остановка и начало движения. Кажется, проще, чем старинные пируэты. Однако тут есть коварный секрет: смотрят на лошадь и учитывают, что дала ей сама природа и как сумел улучшить естественные данные человек. Это испытали на себе Сергей Филатов и его замечательный Абсент. Можно сказать: за что их признали лучшими в Риме, то поставили им в минус на Токийской олимпиаде.

«Все с большим интересом ожидали выступления олимпийского чемпиона по выездке Сергея Филатова на Абсенте, – писал тогда старший судья соревнований полковник Франтишек Яндл (Чехословакия). – Однако езда Филатова

вызвала некоторое разочарование, хотя его красивый конь остался, без сомнения, таким же, каким он был».

– Видите, – продолжает Николай Федорович, – мнение эксперта: «Те качества, которые конь не получил от природы, не помогла восполнить выездка». В Риме Абсент всем очень понравился выполнением пассажа, пиаффе, прямолинейной переменой ног. Его переходы из аллюра в аллюр нашли идеальными. А в Токио отметили: «У Абсента не улучшился прибавленный шаг, недостаточно опущен круп при максимальном сборе». И Филатов остался в Токио третьим. Правда, многие не согласны с предпочтением, какое отдала судейская коллегия западногерманским всадникам. Работают они, конечно, мастерски, но в их выездке нарушен, по общему мнению, главный современный принцип – легкость. Легкость – верный признак выезженности лошади. А какая же может быть легкость, когда лошадь держат грубым поводом.

– Ихор у Ивана Кизимова движется очень легко.

– Иван Кизимов труженик! Невозможно рассказать вам, насколько его триумф в Мехико был заслуженным, как много вложено сил, мастерства и выдержки в эту победу. Кизимов обладает редкостным качеством: чем крупнее соревнования, тем увереннее он выступает. Чаще случается наоборот: всадник прекрасно подготовил коня, а нервы в борьбе подводят его. Иван человек железный. Такое самообладание в сочетании с мастерством – это суперспортсменство.

– Кто, по-вашему, наряднее – Абсент или Ихор?

– Абсент – красавец, однако в нем есть нечто экзотическое. Таков уж… тип этой лошади: Абсент сам по себе. Ихор более стандартен в лучшем смысле слова. Он определеннее представляет свою породу. Это украинский верховой конь. Важно, что в лошадях Александрийского завода, откуда вышел Ихор, сохранилась кровь орлово-растопчинцев, нашей замечательной отечественной породы, к сожалению, исчезнувшей. Не уберегли! Вот уж были красавцы – идеальные спортивные лошади, особенно на манеже для выездки. Где только на международных выставках ни появлялись орлово-растопчинцы, им безоговорочно отдавали за красоту первые призы. Так ведь?

Орлово-растопчинцы в названии соединили имена своих создателей Орлова и Растопчина, а в экстерьере сочетали благородство арабской, темперамент английской, внушительность голландской, а также прочность донской лошади. Вельможные заводчики были между собой враги и ревновали друг друга к успехам в коневодстве. Была у их взаимной неприязни и политическая подоплека: братья Орловы

вращались в кругу масонов, а Растопчин являлся противником масонства.

Алексей Орлов, взявшись вывести не только скакунов, но и рысаков, брал размахом, роскошью, он экспериментировал в скрещивании лошадей широко. Военные фрегаты привозили ему с Востока и Запада коней десятками, даже сотнями; бескрайние владения в воронежских степях позволяли содержать и воспитывать молодняк в любых условиях. У Растопчина таких возможностей не было. Постройки его завода в подмосковном Воронове сохранились, хотя в свою очередь используются по другому назначению: где некогда холили лошадей, там теперь отдыхают люди – в изящных помещениях, которые с внешней стороны и перестраивать не требовалось, а внутри людям пришлось всего лишь потесниться – не каждому же отдыхающему, в отличие от лошадей, предоставлять отдельный денник, по-человечьи – комнату. А по сравнению с конными хоромами, воздвигнутыми Орловым, у Растопчина был завод-игрушка.

Растопчин не только держался куда скромнее, чем Орлов, главное, он всячески старался по существу, по кровям вести свое дело особняком, независимо от Орлова. Когда же, однако, историки коневодства разобрали родословные орловских и растопчинских лошадей, то стало ясно, что мысль двух вельможных заводчиков двигалась одним и тем же путем. Оба вели породу по линиям от арабских жеребцов, приливая кровь то английскую, то немецкую, то горскую, то степную, то подсушивая, то укрупняя приплод.

Орловские верховые лошади начались от бурого арабского Салтана, сына его Салтана, внука Свирепого, правнука Ашонка, правнука Яшмы 1-го, а также от арабского белого Сметанки, сына его Фелькерзама, внука Фелькерзамчика, правнука Фаворита 1-го, праправнука Фабия.

У Растопчина порода была ве́дена от арабского Кади, сына его Окади, внука Ради и от арабского Каймана, сыновей его Тиктана, Гулака и Блака, а также внуков Жмака, Бояка и Базака… В этом пункте зоотехник Дюжев меня поправил: «Орловская верховая лошадь пошла не от Салтана, а от Салтана 1-го. Потом от него и арабской матки родился также не Салтан, а Салтан 2-й, гнедой, отец знаменитого в свое время Свирепого 2-го. От Свирепого 2-го и англо-арабской кобылы родился Ашонок, а от него – Яшма, но не 1-ый, а тот, который много лет стоял главным производителем в Хреновском заводе. А растопчинская лошадь пошла не от двух, а четырех арабских жеребцов, а именно от Кади, Драгута, Каймака и Ришана, купленных в Аравии в окрестностях Мекки, и от чистокровных английских кобыл.

Впоследствии на заводе Растопчина употреблялись также жеребцы персидские, турецкие и английские, в числе последних был знаменитый Пикер».

Чем знаменит Пикер, виноват, не знаю. И спорить о родословных не смею. Только надо ещё удостовериться, нет, не в знаниях опытного зоотехника, а в надежности источников его обширных знаний. Можно ли верить старинным племенным аттестатам? И все ли они сохранились?

Как бы там ни было, типом лошади этих двух пород были очень сходны, хотя растопчинцы выходили чуть мельче, но зато практичнее. Бабки у них были упруги, шеи короче. Постоянная работа в манеже развила у орловских лошадей из поколения в поколение чрезмерно длинные, изгибистые шеи. Конники находят их неудобными. Хотя лошадь не ходит на голове, – так рассуждают конники, – но несет ее перед собою, а потому шея и голова не должны обременять переда лошади.

Орловские лошади работались преимущественно в манеже, растопчинцы скакали на ипподроме, и притом успешно, не уступая выводным скакунам из Англии. В сущности, как считают специалисты, Растопчин в тесных пределах своего завода совершил то, что в свое время сделала целая страна Англия, создавшая отечественную породу скакунов.

Много лет спустя после смерти Орлова и Растопчина их верховые лошади поступили в государственный завод, и там вражда владельцев уже не мешала соединить их в одну породу. Если арабские лошади с их агатовыми глазами, сухой и породной головой, лебединой шеей и безупречными ногами считаются образцом конского изящества и благородства, с тем лишь изъяном, что они малы ростом и не очень резвы, то орлово-растопчинцы, сохранив гармонию форм арабской лошади, были крупнее и резвее. «Игрушка стала настоящей вещью», – так выражались знатоки, сравнивая орлово-растопчинцев с арабами. «Надобно видеть этих лошадей, чтобы понять тот восторг, который они производили», – говорит современник. Франт, Факел и Фазан, представленные в Париже на Всемирной выставке 1867 года, были оценены как «искомое совершенство верховой лошади». Факел удостоился среди всех лошадей, показанных на выставке, высшей награды, и не получил ее только потому, что вместе с другим золотым медалистом Бивуаком был подарен французскому правительству. Впрочем, золотые награды перешли нашим же лошадям – верховому Искандеру-Паше и рысакам Недотроге и Бедуину. И все-таки этим исключительным лошадям не везло, несмотря на восторги, ими повсюду вызываемые.

Об угасании породы разговоры начались чуть ли не с тех же

самых пор, как порода возникла. И дело не в лошадях, а людях возле лошадей. На эту тему зоотехник Изгородин из Боровска рассуждал следующим образом: «Теперь снова приходится доказывать, что земля круглая, а это нелегко. Для улучшения и воссоздания былой славы орловцев нужен талант, любовь и время. Нужна лошадь-орловец, которая бы на ипподроме била любых соперников, в деревне возила бы бригадиров и специалистов, в лесу – геологов и лесников, на фермах – корм скоту, к тракторам – воду, делала бы еще много-много работы накоротке. Была бы красива, быстра и сильна. Давала бы наслаждение любителям конного спорта и даже просто людям, любящим прекрасное. Это может сделать только орловец, с которым нужно поработать таланту заводчика. Нужно еще сильнее и ярче стоять за орловца и поднять на пьедестал его создателя А. Г. Орлова. Меня покоряет фигура графа Алексея Григорьевича Орлова, фигура колоритная, получившая почти одинаковую оценку своих современников и современников наших, человека не безупречного (на совести его княжна Тараканова), но умного, до безграничности храброго и очень талантливого, доступного всем и все же человека своего века и клана, великого зоотехника и флотоводца, воспетого Державиным и Пушкиным. Пробовал я кое-кому из писателей намекнуть на эту тему, но говорят – пиши сам, а у самого таланта и нет». (Литературная самооценка Изгородина мне представляется излишне суровой. Даже по этому фрагменту из его письма можно видеть дарование, как знаток пользуется свойственным ему языком конника!)

Порода то угасала, то вроде бы вновь возрождалась – блистала, подтверждая при всяком случае свои достоинства, как блеснули перед Отечественной войной на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве последние орлово-растопчинцы. Грустная история! Порода пропала, рассеялась подобно тому, как неразрешимой для нас тайной остался греческий боевой огонь, как затерян секрет ямайского рома и булатной стали. При мысли о судьбе наших отечественных верховых лошадей возникает то же щемящее чувство, что при виде беспризорных развалин зданий былой славы.

– Да, украинским конникам спасибо, что по крупицам они восстанавливают тип, сходный с орлово-растопчинской лошадью. И победа Кизимова на Ихоре им большая награда.

– Еще бы! – подтверждает Шеленков. – Проблема спортивной лошади для нас существеннейший вопрос. Возьмите, например, конкур…

Конкур – преодоление препятствий на лошади по

определенному маршруту. Тренер заговорил об этом виде конного спорта, должно быть, потому, что группа выездки закончила работу и на манеж выносили барьеры. Будут прыгать.

– С этим видом конного спорта у нас просто парадокс какой-то: прекрасные всадники и более чем средние лошади.

– Позвольте, ведь Борис Лилов, победитель Приза наций, получил в Париже, кроме того, особый приз «за мастерство езды», а Эрнест Шабайло занесен в Золотую книгу города Гамбурга. За тридцать лет существования Гамбургских состязаний только пятнадцати конникам удалось…

– Я и говорю вам – прекрасные всадники!

– В чем же дело с лошадьми?

– У нас нет или почти нет специальных конкурных лошадей. Удачей нашего спортсмена считается получить чистокровную скаковую лошадь: она, по крайней мере, резва и прыгуча. Но, кроме того, она страшно темпераментна, нервна, она поступила со скачек и знает только одно – лети по прямой. Конкурист должен ехать по маршруту с расчетом, выбирать нужное положение, чтобы подойти к препятствию, а ему приходится тратить все силы на борьбу с темпераментом лошади.

– В «Основах выездки» Филлис говорит, что предпочитает чистокровных.

– Если вы прочтете Филлиса внимательнее, то увидите, как тщательно выбирал он лошадь по всем статям и как долго ее готовил. И разве я говорю, что чистокровная лошадь в прыжках не годится? Вы ведь знаете, какой смысл имеет у англичан понятие «чистокровная», то есть, совершенная и по породе и по всем свойствам лошадь. Однако гладкие скачки развивают у этой лошади одни качества, конкур – другие. За рубежом существуют специальные тренировочные депо, которые готовят для спортсменов лошадей резвых, но вместе с тем достаточно спокойных, выезженных. Важен возраст лошади и, наконец, ее пол. До шести-семи лет лошадь для прыжков и троеборья считается молодой, хотя ее ипподромная карьера к этому времени давно заканчивается. Серьезные зарубежные спортсмены только готовят лошадь с четырех-пяти лет к прыжкам, а у нас пятилетние лошади прыгали иногда в ответственейших соревнованиях. И по нашим троеборцам (манежная езда, кросс и конкур), тоже очень способным, опять-таки видна нехватка специальной троеборной лошади, хотя мы уже дважды были чемпионами Европы.

– Где взять таких лошадей?

– У нас ли нет лошадей! Только использовать их надо с толком. Есть чистокровные, есть различные местные породы.

Нужна добротная полукровная лошадь и систематическая организация выездки этой лошади. Наш спортсмен сам вынужден тратить время на предварительную подготовку лошади, а Винклер или Тидеман, сильнейшие конкуристы мира, получают почти готового коня от профессионального берейтора. Это машина, а не лошадь.

Машины, машины – вот они, как только вышел за дверь манежа. Все же горьковатый и терпкий аромат конюшни, перебивая все запахи, держится в одежде и напоминает теплый полумрак, носы и уши сквозь решетки, на пружинистых опилках беззвучную карусель всадников и заботы людей, которые защищают конноспортивную честь нашей страны.

Требования к хорошей лошади, или Всегда в посыле (Почерк чемпионов)

Для сборника о наших выдающихся спортсменах в серии «Жизнь замечательных людей» мне заказали очерк. Решил я вспомнить всадника, которого хорошо знал. Это – Борис Михайлович Лилов, шестикратный чемпион страны, один из четырех наших конников, взявших в Париже Приз Наций, а его удостоили ещё и особой награды – «За обаяние в езде». Некогда он принял меня в конно-спортивную школу «Труд», где заведовал учебной частью. У меня была фотография – Лилов в прыжке – на обороте которой кто-то вывел строки:

Птица в полете,
Рыба в воде —
Таков был Лилов
На манеже везде.
И помнит Германия,
Франция – тож:
На птицу в полете
Был Борька похож.

Когда Лилов летел над барьером, становилось понятно, почему это называется «искусством верховой езды»: стиль, почерк. Все-таки решил я уточнить, в чем заключается искусство с точки зрения мастеров этого искусства.

Вот что услышал я от Фаворского Андрея Максимовича, входившего вместе с ним вместе в ту самую «замечательную четверку». Вопрос я поставил так: почему звезда Лилова закатилась, когда сошла с арены его Диаграмма? Кто фактически выигрывает – конь? Много ли приходится на долю всадника?

Обстановка нашей беседы: конюшня, амуничник, где хранятся седла и прочее снаряжение, Олимпийский чемпион по выездке Иван Кизимов чистит после езды удила и стремена, ветфельдшер готовит таинственную смесь для втираний.

Фаворский (*сидя на сундуке с овсом*). Лошадь должна быть талантлива. У неё должны быть душа, ум, сердце и другие природные данные, необходимые в нашем деле. Диаграмма у Бориса была талантлива. Мой Крохотный талантлив. У Лисицына Пентели, небольшой, лещеватый, узковатый, значит, а

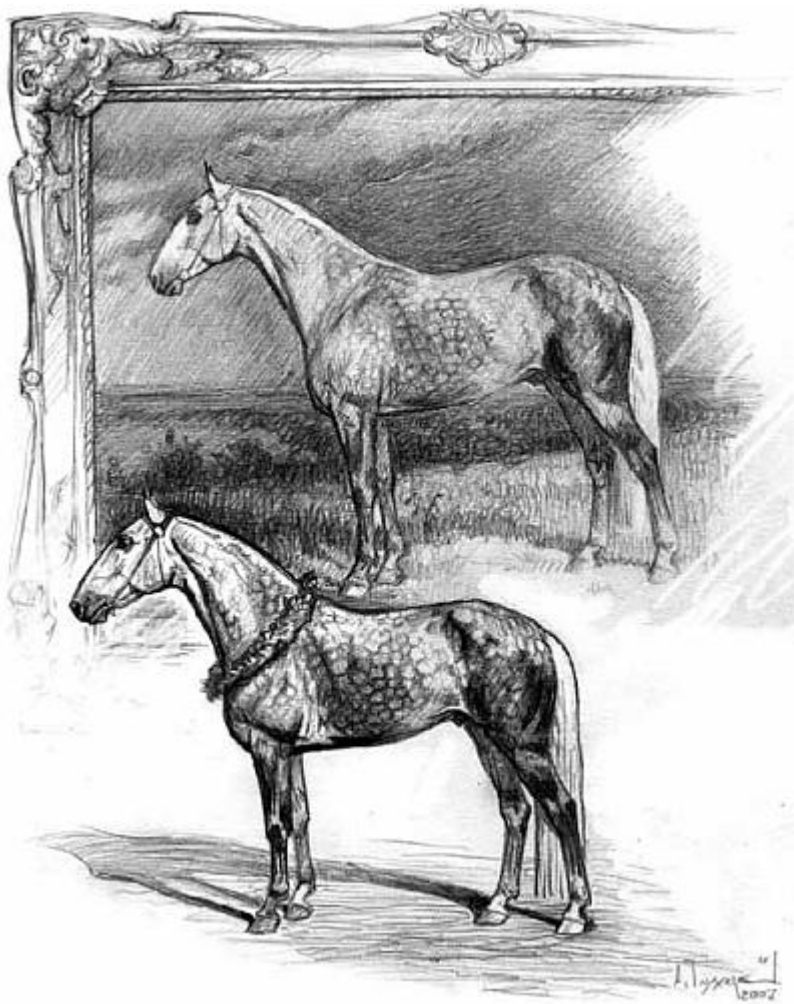
талантливый, просто талантливый! Порода? У нас в конкуре свое понятие о породе. Конкур – не скачки, паркур (маршрут) – не ипподром. Скакуну нужна резвость и ещё раз резвость, все остальное – постольку-поскольку… А конь конкуриста должен обладать такими свойствами, что они вроде бы взаимоисключают друг друга. И в конкуре нужна резвость: как иначе наверстать время, упущенное при повалах? Но резвость – нервы, а с чрезмерными нервами на манеже делать нечего. На паркуре от коня и седока требуется прежде всего расчет. Борис всю жизнь ехал по маршруту: всегда в посыле! По улице шел и высчитывал темп прыжка до каждой лужицы. Он даже во сне брал барьеры. В чем заключался его секрет? Нет сомнения – руки. Ну, и голова, конечно. Чувство лошади! Как никто, чувствовал он, когда нужно «снять» лошадь и поднять её перед препятствием на прыжок. В этом Борис не знал себе равных… (*В конюшенном корридоре слышен шум. «Терентьич ребят отчитывает», – поясняет Фаворский. Выглядываем в коридор: тренер сборной, Григорий Терентьев говорит: «Ездить надо уметь! Повод держать как следует и в седле по-настоящему сидеть!». Перед ним стоят… чемпионы Иван Калита и Елена Петушкова.*)

Фаворский (*вернувшись на сундук, продолжает*). Борис понимал лошадь, но и лошади его понимали. И Бриг, и Атлантида, а уж Диаграмма в особенности. Она, кстати, поступила в спорт со скачек, но скакала бесцветно, а на манеже нашла себя. Она обладала природным сбором: от рождения дана ей была гармония движений, а в прыжке это – всё. Трудно было в самом деле уловить, кто же из них двоих рассчитывает, как действовать, когда шли они с Борисом на препятствие. С любого положения, с любой ноги эта небольшая кобылешка взлетала, как мячик. Была незлопамятна. Борис никогда её не наказывал, но ведь напряжения приходилось выдерживать страшные. А с кобылами, известно, как бывает: отобьешь душу, переработаешь и – конец! Но Диаграмма была отходчива. Умела себя беречь, сама распределяла свои силы, но без лукавства, без отлыниванья. Открытая сердцем, откровенная по езде, да что говорить, талантлива была…

Жизнь замечательных лошадей

«В Рай не пойду, если не будет там лошадей!»

Канингам-Грэхем



Вечные кони

«Скажу – рысак».

А. С. Пушкин

Прекрасно, что в каждой стране, где развиваются свои, национальные традиции конного спорта, есть некая исключительная, легендарная лошадь, «лошадь нации», «лошадь века». У англичан это, должно быть, Эклипс или же Сент-Саймон, у американцев Грейхаунд или Фрегат (Ман-оф-Уор), у австралийцев Фар-Лэп, у итальянцев Рибо, у венгров Киншем, а у нас, конечно, Крепыш. «Все рекорды Фар-Лэпа давно побиты, но дело тут не в рекордах», – справедливо пишет «биограф» знаменитого австралийского скакуна. Не одна резвость, не только класс, а своего рода «биография», «судьба» отличает особенную, «историческую» лошадь.

Живописцы увековечивают таких лошадей на полотнах, как, например, сам Серов написал Летучего, академик Самокиш сделал портрет его сына – Громадного, а Савицкий запечатлел схватку Улова, правнука Громадного, с Талантливым и Пилотом. Профессор коневодства В. О. Витт говорил о серовском портрете Летучего: «Подходя к картине, вы сразу замечаете ярко выраженную индивидуальность жеребца. Создается впечатление, что Летучий хочет ударить, отбросить непрошеного посетителя, осмелившегося чересчур близко подойти к нему. Недоверчиво строгим взглядом смотрит жеребец, и становится ясным, что его огневой темперамент лишь с трудом поддается обузданию со стороны человека, с не меньшим трудом, чем поддается он запечатлению на полотне художника». На этом портрете выдающегося рысака мы видим ту богатую кость, ту породность, что сказываются в потомстве этой линии до сих пор.

Таким лошадям ставят памятники: возвышаются в Лавровском заводе Тамбовской области всесоюзные рекордисты отец и сын – Подарок и Первенец, а на Выставке достижений народного хозяйства у павильона «Коневодство» застыли Символ, родоначальник буденновской верховой породы, и чемпион среди орловских рысаков Квадрат. Причем Квадрату поставлено даже два памятника: создана конеторговая фирма под именем «Квадрат», и там бронзовая скульптура знаменитого рысака тоже украшает площадь перед манежем и конюшней.

Феноменальный Грейхаунд, мировой рекордист, занимал

собственный «музей» в Иллинойсе до преклонного – тридцатилетнего – возраста. Точно так же у нас в учебно-опытной конюшне Тимирязевской Академии состоял почетным пенсионером выдающийся скакун 1920-х годов Будынок, доживший до тридцати двух лет. Когда в Национальный музей Австралии в Мельбурне было поставлено чучело Фар-Лэпа, то число посетителей музея заметно увеличилось. Приходили люди и с порога задавали только один вопрос: «Где Фар-Лэп?» и торопились к нему, не замечая прочего. Некоторые обращались к администрации с просьбой убрать из зала, где стоял Фар-Лэп, все остальные экспонаты, чтобы ничто не мешало, как выразился один энтузиаст, «вспоминать о прошлом наедине с великим скакуном».

О таких лошадях пишут книги. Годольфина-Арабиана, родоначальника английской скаковой породы, прозванного Черным Принцем, сделали «героем» своих произведений французские романисты Эжен Сю и Морис Дрюон. В романы, повести попали и Красавец Вороной и Тальони. Резвейший рысак XIX века, гнедой Бычок, отмечен в «Былом и думах». Надо ли напоминать, что шедевры *иппической* литературы – «Холстомер» и «Изумруд» – написаны не о каких-то вымышленных лошадях, а о реальных, гремевших в свое время ипподромных бойцах? Документально выдержано описание лошадей и призов у Голсуорси. Можно сказать, что по страницам «Саги о Форсайтах» проносятся все скаковые знаменитости первых десятилетий нашего века: тут и Блейнгейм, и Соларио, и Сансовино.

Крепыш удостоился двух специальных «биографий», одна из которых так и называется – «Лошадь столетия». Есть книга «Русский рысак Петушок». Издана роскошно иллюстрированная «Судьба Грейхаунда». Не одно издание выдержала «История Фар-Лэпа», которую никто не прочтет без волнения. А сколько «судеб» еще не записано! Что мог поведать о себе Буцефал, конь Александра Македонского, или лошадь Калигулы Инцитатус, которую тот приводил с собой заседать в римский сенат? А Лизетт, служившая Петру I под Полтавой, или Маренго, носивший во многих сражениях Наполеона? Что за жизнь, какова судьба была у лошади, что в 1793 году поступила в Ганноверский драгунский полк, проделала в течение семи лет все кампании в Испании и Португалии, затем была в сражении при Ватерлоо, в 1816 году была передана в гвардейский полк, где оставалась до 1847 года, и, уже переведенная за долголетнюю исправную службу на «пенсию», пала в 1850 году в возрасте, по меньшей мере, шестидесяти лет… Краткая заметка в «Архиве ветеринарных наук» уместила эту биографию, способную

развернуться в целую эпопею. Немного найдется, пожалуй, в этом смысле таких лошадей, как Цилиндр, 1911 года рождения, стрелецкой породы. Он служил и у Деникина, и у Врангеля, в Крыму был взят Первой Конной Буденного, где коня тотчас отметили. На нем красные командармы принимали в Москве первые парады. Потом он поступил в завод, где дал начало новой породе лошадей – терской.

– Это не конь, а книга, роман! – сказали журналисты, когда о Цилиндре им рассказал генерал Петр Зеленский.

Это реальные рысаки и скакуны, не считая лошадей символических: Новозаветные всадники Апокалипса, пушкинский Медный всадник, кони Росмесхольма у Ибсена, табун в «Радуге» Лоуренса…

В судьбе выдающейся, исторически достоверной лошади обычно тоже воображается «сюжет» – тайна, темнота происхождения и внезапный успех. Бывает. Но ведь и Толстой, и Куприн, сделавшие своих четвероногих героев такими таинственными, писали, зная дело, известны им были и легенды о Мужике-Холстомере или Рассвете, который в рассказе назван Изумрудом, и достоверная подоплека тех же легенд. А неведение писателям если и помогает иногда, то лишь в случае общего незнания, когда никто ничего больше и не знает, иначе – жеманство, поза. Положим, Вольтер сказал Руссо: «Чтобы поверить вашим идеям о естественном человеке, я должен был бы встать на четвереньки». В самом деле, зачем же корчиться, причиняя себе такое неудобство? Но вообще тогда мало знали о первобытности.

Глаза горят, шея дугой, сверкает с отливом вороная масть, грива и хвост взметнулись будто паруса, и конь весь, кажется, готов взлететь; он гордо возвышается над изумленными людьми – так в XVIII столетии изобразил некий французский художник родоначальника английской чистокровной породы арабского жеребца Годольфина: портрет по легендам, в меру славы знаменитого жеребца, пропорционально историческим слухам и сказкам о нем. А где уместятся все эти романтические формы, если учесть, что рост прославленного Годольфина, он же Барб, не превышал ста пятидесяти сантиметров? Уж не говоря о том, что он, возможно, и арабом не был!

Француз-писатель Морис Дрюон в новелле все о том же Годольфине-Арабиане придерживается реальных размеров; он описывает легендарного родоначальника совсем некрупным, особенно рядом с его предшественником и соперником массивным жеребцом Гобгоблином. Однако в остальном, следуя за своим соотечественником Эженом Сю, Морис Дрюон сохраняет

романтическую парадность легенды: Годольфин не просто прибыл в Англию из Аравии через Францию – англичанин, мистер Кук, усмотрел его случайно в Париже запряженным в водовозку. И, конечно, согласно романтическому сюжету, Годольфин не просто сменил Гобгоблина как производитель: нет, он в смертельной схватке отвоевал эту честь и любовь кобылицы Роксаны!

Внучка Байрона, знаток лошадей, взглянувшая на эти страницы Эжена Сю глазами конника-специалиста, заметила: «У него жеребцы дерутся как козлы, стукаясь лбами. Это понятно: кормилицей Эжена Сю была скотница, ходившая за козами, и он, видимо, хорошо запомнил ее сказки…»

Водовозка – тоже вымысел. Историки-иппологи допускают, что яркие романтические краски в легенду о Годольфине Арабиане добавлены были ради того, ради чего вообще сознательно создаются легенды – ради сокрытия истины, если истина бедна или же ненужна. В данном случае – тайна происхождения, правда о породе Годольфина. Бывает, конечно, что феноменальная лошадь оказывается в случайных руках. Прямо из водовозной бочки был куплен в завод наш знаменитый рысак прошлого века Красивый Молодец. «Из бочки?!» – пронесся слух.

– И началась, – рассказывает бывалый коневод, – «эпидемия» по выпряжке из бочек, ямских дрог и обозов никуда не годных рысаков. Даже Хреновской конный завод поддался моде и купил жеребца, который на Казанском вокзале возил муку. Вскоре, однако, и самого жеребца и весь его приплод пришлось выбраковать из завода: дрянь!

Это вовсе не значит, что в конном деле надо отбросить таинственность и поэзию. Нет, это на самом деле другая поэзия: не дикой вольности, а выдержки и выучки. Ни один мустанг не поспеет за ипподромной лошадью: порода и культура бьют все. Чудес не бывает, если уметь их объяснить, а если объяснения пока нет, то наберитесь терпения – разгадка рано или поздно придет.

Американцы старались создать сказку о лошадиной Золушке, а это, надо сказать, у них самый популярный сюжет: история внезапного и большого успеха. Сказку эту рассказывает и на всевозможные лады пересказывает весь мир. Началось, судя по всему, в шестом веке в Китае, в шестнадцатом дошло до Германии, в семнадцатом – до Италии и Франции, затем уж распространилось по всему Западному миру. Почти четыре сотни вариантов сводились к одному и тому же – из грязи в князи. Так у американцев в книге и в кино была представлена и судьба Си-

Бискита, то есть Матросского-Сухаря. Превратили жеребца в символ демократической мечты: поначалу, с рождения, его и за среднюю лошадь не считали, а он стал трижды венчанным. Какой-то несчастный заморыш, вроде как без роду и племени, и поди же – Вор-Эдмирэл, то есть Боевого Адмирала, побил. «И явилась она перед всеми, – как говорится в сказке о Золушке, – не замарашкой-служанкой, а прекрасной дамой…» Что же может быть чудесней и лучше, как в той же сказке сказано? Но это при одном условии: надо верить в существование добрых фей.

Однако в случае с Бискитом-Сухарем лучше не полагаться на веру, а просто знать: на самом деле невзрачный конек был не ублюдком и не пасынком, а принцем крови, пусть не узнанным сразу, вроде тех доблестных непобедимых рыцарей, что, выходя на турнир, предпочитали оставаться анонимными. Не выскочка побивал высокородных соперников на скаковой дорожке, а первый среди равных. Оба они, Матросский-Сухарь и Боевой Адмирал, принадлежали к одной и той же линии. У обоих в родословной – Мэн-оф-Уор, иначе говоря, Фрегат, лучший скакун, какого только видел в Америке турф, что означает – почва, скаковая дорожка. Словом, история совсем другая, напоминающая не сказку о Золушке, а про Гадкого Утенка. Как говорил герой классического ковбойского романа «Виргинец»: «Есть равенство, а есть и достоинство». Но это уже гораздо менее популярный сюжет. Предпочитают рассуждать в духе горьковского Луки: дескать, как блошки, все прыгают, а что одни все-таки прыгают выше чем другие, о том большей частью умалчивают.

На наших глазах чуть было не сложилась легенда[2] об олимпийском чемпионе Абсенте, будто и он если не «из бочки», то, во всяком случае, явился из какого-то небытия. Вспомним, во-первых, что Абсент стоял в Москве на Всесоюзной выставке, куда случайных, «темных» лошадей не посылают, и там его увидел Филатов.

– На лошадь я сначала смотрю в общем, – говорит Сергей Иванович, – каков рисунок? Потом присматриваюсь к движениям. И, наконец, что она может, каковы способности?

Мастеру нетрудно было рассмотреть, что вороной красавец из Луганского завода по всем трем пунктам стоит на высоком уровне. Все в нем есть. А почему и не быть? Его отец Казбек был участником исключительного перехода Ашхабад—Москва. Это в 1935 году. А в 1945 году именно Казбека за красоту и породность подвели Г. К. Жукову, и маршал принимал на нем исторический парад. Что ж, вполне последовательно: отец на Красной площади в параде Победы, а сын на олимпийском пьедестале почета. Но

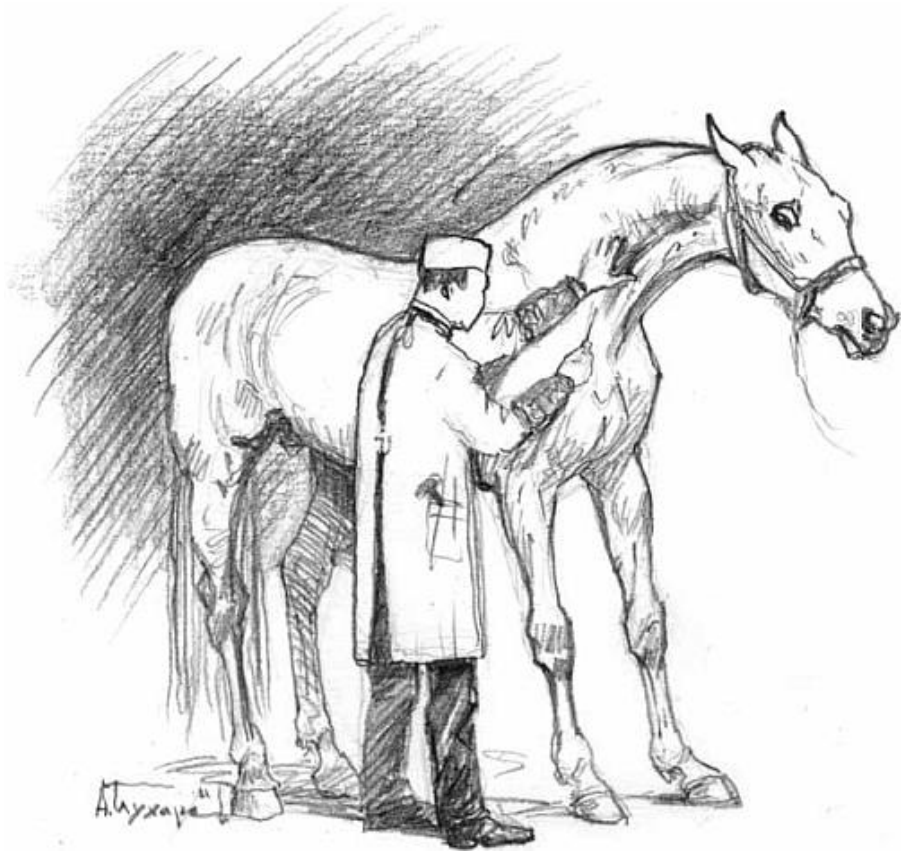
это еще не все в судьбе Абсента. Прежде чем оказаться в Москве под филатовским седлом, он был выезжен местным, очень опытным старым тренером. Старик не гнался за призами, просто, видя способности лошади, он осторожно стал заниматься ее выездкой. Целым, выезженным поступил к знаменитому спортсмену Абсент, неся в себе, кроме того, силу высокой крови.

Эта «кровь», что, по английскому выражению, «сказывается», то есть порода, составляет для конника наиболее трудноуловимый и самый желанный предмет поиска. И находят! Как, например, итальянец Федериго Тезио верил в сочетание Тенерани-Романела и повторял его в своем подборе из года в год, пока, наконец, не оправдались предчувствия и старый чародей получил несравненного Рибо – «лошадь столетия». Так и Я. И. Бутович предсказывал значение линии Громадного, отца феноменального Крепыша. Таким чутьем среди сегодняшних коннозаводчиков обладает и Сергей Александрович Касименко – в каждом заводе, где он работал, осталась плеяда выдающихся ипподромных бойцов. Однажды мне выпало провести целый беговой день рядом с ним, на этот раз смотрел я не на лошадей. а на Касименко, стараясь уловить, как он на лошадей смотрит: взглядом коршуна – пронзает насквозь. Так что «фантазии коннозаводчика», которые отказался описывать Бодлер, вещи серьезные. Ведь сказал же знаток о Летучем на серовском портрете: «Смотрите, как бы он вас не ударил, если только почувствует к себе недостаточное уважение!»

Бравый

«Внук Крепыша…»

«Золотой теленок»



Довелось мне помогать мастеру-наезднику Александру Федоровичу Щельцыну в тренинге всесоюзного рекордиста Бравого. Бравый был очень знаменит сам по себе. Сверх того, приходился он родственником великому Крепышу – праправнучатым племянником.

Крепыш, основная дореволюционная знаменитость в конном спорте, от рождения был нескладный, узкий, цыбатый, то есть негармонично подтянутый кверху на ногах. И вот сложилась, выросла с годами и тренингом из, так сказать, «гадкого жеребенка» выдающаяся лошадь, целая эпоха в коневодстве.

Тогда, к 1910-м годам, вообще наступила пора расцвета рысистого спорта. Впрочем, во многих областях сверкали имена,

которые для нас теперь «классика». Кто был авторитетом в литературе? Толстой. В театре? Станиславский, Немирович-Данченко, Москвин, Качалов, Леонидов. Цирк? Дуровы, Поддубный. Как раз 1910 год как особенный рубеж вспоминал Александр Блок: успехи французской борьбы и в большой моде народившаяся авиация… Причем теорию летного дела развивает Жуковский – отец русской авиации, летает Нестеров, наш ранний ас. Итак, если пилот – то Нестеров, борец – Поддубный, а на бегах Крепыш, «лошадь столетия». Серый гигант орловец был достоин своего времени. Тогда и говорили: «Сейчас в России гремят двое: Шаляпин и Крепыш!». Были и другие беговые знаменитости, но Крепыш, одно слово, эпоха. В нем не просто содержались качества выдающегося ипподромного бойца, скажем, резвость, выносливость или сила, а была в нем индивидуальная одаренность. Есть специальные старинные лошадиные стихи:

Как-то раз перед ездою,
В злой придя задор,
Рысаки между собою
Учинили спор…

Призовые рысаки обсуждают друг друга. Задели Слабость, а Слабости удалось однажды побить Крепыша. В тот день Крепышу пришлось бежать дважды – на рекорд и во Всероссийском Дерби. Напряжение сказалось, и на финише Слабость объехала серого великана. Память об этом заключает для нее все самое героическое и счастливое в жизни. «Не забуду я до смерти…» – так вспоминает она об этой удаче, когда ее обижают намеком на невысокий класс.

Стихи эти я услышал от Щельцына. Мы везли с ним Бравого в Одессу, где лошади в мягком и сухом климате бегут обычно на несколько секунд резвее, чем в Москве. Кроме того, Одесский ипподром имеет дорожку с длинными прямыми, что дает дополнительный выигрыш в резвости.

Так же, как Крепыш, серый и большой, Бравый, выражаясь иппически, иначе – по-лошадиному, был необычайно крупен и породен. Он имел рекорд на 1600 метров две минуты семь секунд, и желательно было, чтобы в Одессе он секунды три-четыре скинул.

Мы тянулись херсонскими степями в товарном вагоне с надписью «Живность». Была жара. Дверь держали открытой. Александр Федорович, сидя на кипе сена, читал стихи про лошадей. Когда очередь дошла до Слабости, он весь проникся ее восторгом, с каким рассказывала она о схватке с великим героем:

«Не забуду я до смерти…»

Поезд временами двигался так медленно, что можно было шагать рядом с вагоном. Бравый томился и вдруг начинал стучать в пол тяжелым копытом. Щельцын понимал его и старался чем-нибудь отвлечь. Мы растирали ему плечи, бинтовали сухожилия. На разъездах возле нашего вагона собиралась толпа. Ее начинал, как правило, проходчик, который торопливо бил длинным молотком по колесам. Неожиданный стук копыт заставлял его поднять голову. Он останавливался, пораженный великолепием зрелища.

Так открывается взору в первый раз Эльбрус.

Бравый смотрел свысока на обращенные к нему с восхищением лица. Все восхищало:

– И ноги, и ноги забинтованы!

Щельцын с воодушевлением миссионера, обращающего неверных, вещал из дверей вагона:

– Бравый, всесоюзный рекордист, от Бравурного и Куртины, Первого Московского конного завода…

В Одессе с товарной станции я вел Бравого через город до ипподрома верхом. Домой в Москву можно было написать, что вот – въехал в Одессу на белом коне…

Дальше, однако, все пошло не так уж помпезно и победно. Бравый обретал, правда, постепенно порядок после дороги и на пробных работах ехал хорошо. В последнюю прикидку – Щельцын на Бравом, я на гнедом Конкурсе, которого тоже привезли для улучшения резвости, – из поворота мы выпустили вовсю и, когда миновали столб, тренер, сжимая в руке секундомер, таинственно спросил:

– Ездил когда-нибудь так резво?

Александр Федорович раскрыл кулак и с торжеством показал стрелки: четыреста метров в тридцать секунд. Если так ехать круг, две минуты. Это надо понять! Конечно, по дистанции скажется утомление и выйдет тише, но все равно такая работа давала большие надежды.

Пробный приз Бравый выиграл без борьбы, объехав местных резвачей. На этот раз он легко повторил свое московское время. Теперь езда на удар – решающая.

– И запишу обоих, – говорил Щельцын, – и Бравого, и Конкурса. Поедешь на Конкурсе.

А начались дожди. На Одесском ипподроме это гибель. Дорожки – месиво, на колесах – пуды липкого чернозема. Мы все равно, как могли, поддерживали Бравого массажем и шаговыми работами. Я ездил на нем под седлом. В это глухое время конюх Кузьмич, который был с нами, отпросился к брату в Николаев. Я

остался один и за помощника и конюшить с тремя жеребцами. Был еще вороной Кунгур.

Опять подошла маховая, контрольная работа. В шесть утра, как обычно, я дал овса. Беда еще была в том, что овес оказался у нас пополам с пшеницей, тяжелый для лошадей корм. Мы давали осторожно, но все-таки кормить-то надо при такой нагрузке! Боюсь, что тогда я слишком щедро насыпал Бравому. Но корм после резвой был легкий: не овес – каша из отрубей. А что если кто-то из конюшни соперников раньше времени дал ему напиться? Во всяком случае, когда уже после работы и после обеда, на который мы ходили с Александром Федоровичем по очереди (один всегда оставался в конюшне), я вернулся, во дворе стояло плотное кольцо людей. В середине – Бравый: как гибнущий гигант, он беспомощно оседал на задние ноги. Облегчал себе перед: передними ногами от боли ступить не мог.

Самый ужас – ревматическое воспаление копыт, что называется «опой». Лошадиное сердце – сильный мотор – отличается одной слабостью: оно беззащитно, если не вовремя или чрезмерно дать воды. По устройству своему сердце лошади не успевает «перекачивать» жидкость, и вода устремляется в конечности, книзу. Набухают кровеносные сосуды «венчики» – у самых копыт. Оттого Бравый и не мог сделать шагу, потому он и старался высвободить от тяжести собственного могучего тела передние ноги.

Подобно Крепышу, Бравый отличался роковой неудачливостью. Не то что вдруг не повезло, а именно в тот момент, когда решается судьба, его постигает неудача. Потом или до этого он может нечаянно творить чудеса, но в роковой момент, в минуту судьбы, когда в одну точку сведено все: успех, слава, принцип, история – он проигрывает. Так, Крепыш имел множество почетных призов, установил на всех дистанциях рекорды. Некоторые из них держались более двадцати пяти лет. А его время на три версты (3200 м) по ледяной дорожке зимой оставалось непобитым полвека. Только Бравый и улучшил его. Но Дерби, приз призов, Крепыш проиграл Слабости, Интернациональный приз – американскому рысаку Дженераль Эйчу. Потом он мог, шутя и играючи, объехать тех же соперников, но в роковой момент ему не везло.

Бравый и в этом отношении был похож на своего знаменитого предка.

Помню как упустил он Дерби.

Дерби во всякой стране, где есть конный спорт – это все. Были наездники необычайно прославленные, но, если в списке их блестящих побед за всю призовую карьеру не значилось Дерби, то

они оставляли свое поприще с удрученным сердцем. Само название и значение приза идет, как вообще многое в конной терминологии, из Англии, где в конце XVIII века лорд Дерби учредил приз своего имени для трехлетних скакунов. С присущим им консерватизмом англичане из года в год строго поддерживали все те же условия розыгрыша Дерби – дистанцию, грунт, время года. Сто лет назад и сейчас лошади скачут на Дерби в Эпсоме при неизменных условиях, поэтому Эпсомское Дерби служит абсолютным мерилом достоинств чистокровных скакунов от века к веку. Приз стал классическим и приобрел таким образом первостепенное значение. И в других странах основной приз сезона называют условно Дерби. Даже если такому большому призу дается свое, национальное название, например в Америке – Гамблетониан или у нас – Большой Всесоюзный, то дополнительно все равно указывается, что по классу это Дерби. В тот год Бравый считался фаворитом, ведь Зимний Большой приз был за ним. Все ждали его.

– Давно, давно на бегах не появлялось такой лошадки, – говорил один старый наездник, для которого былое бегов – его жизнь.

На работе Бравый уже показывал тогда резвость, близкую к рекордной. А утром в день приза полил дождь. В Москве грунт другой, чем в Одессе, ехать можно. Некоторые лошади по грязи, потому что мягче, бегут даже лучше. Был случай, старик Алпатыч однажды ходил накануне приза под дождем по ипподрому и не хуже седого Лира просил стихию: «Лей! Лей!» Дождь послушался, и на другой день Алпатыч мчался на своем Контакте, как паровоз, и выиграл вне конкуренции.

Не то Бравый.

Массивная лошадь, он полз по сырой дорожке. Чеканный ход его нарушился. Копыто вязло и скользило. Небольшой Подвиг легко побил его. Все растерялись. Чувствовали – несправедливо! А что поделаешь?

И вот опять Бравый бессилен перед несчастьем, обрушившимся на него. Щельцын с какой-то одеревенелой выдержкой осматривал его. Я знал за Александром Федоровичем это качество: при бедах, которых в жизни его было довольно, он изнутри напружинивался и так непроницаемо застывал…

* * *

Лучшие свои годы, время расцвета, Щельцын провел в ссылке. Классный молодой мастер оказался далеко от столичного

ипподрома, где одержал крупнейшие победы, в том числе выиграл советское Дерби, Большой Всесоюзный Приз. Что же ему инкриминировали? Контрреволюцию – таков был приговор, который задним числом острословы-смельчаки уточняли: «среди лошадей». На самом деле, какова бы ни была официальная мотивировка ареста и высылки, то был результат закулисного соперничества среди наездников. Иные из них, кому не везло в призах, брались уже не за вожжи, а за перо, чтобы строчить доносы – обычнейшая практика тех времен, какую область нашей жизни ни возьми. Мне выпало знать и тех, на кого клепали, и тех, кто клепал. Доброхоты строчили, поставляя сырье для сыскной промышленности, у которой, как у всякой отрасли планового хозяйства, имелись свои нормативы выработки.

«Сознавайся, чем же ты лошадь зарубил – топором?» – так во время допроса еще одного мастера, тоже ставшего жертвой политического навета, был истолкован конюшенный термин «зарубка» или «засечка». Кто донос писал, тот, разумеется, знал: это ссадина на ноге, лошади наносят такие незначительные увечья то и дело самим себе ударом копыта, однако, автор доноса, вероятно, не счел нужным пояснить, что значит «зарубил» на ипподромном языке, а кто допрашивал, тот, и не думая до сути доискиваться, увидел в доносе что и требовалось усмотреть – порчу социалистической собственности, иначе говоря, вредительство. Этого наездника все же отпустили, но не потому, что ему удалось устранить семантическое (смысловое) недоразумение, нет, ценой поклепа на собрата-конника: а тот, еще одна жертва, наложил на себя руки и в предсмертном письме завещал, чтобы уцелевший, но ставший клеветником на похороны его не приходил.

Щельцын рассказывал: незадолго до ареста один знакомый, любитель бегов, взял у него почитать редкую книгу «Мыслящие лошади». Взять взял, а не вернул – не успел, его самого арестовали. Это был автор «Конармии» Исаак Бабель, свой человек в ЧК, ОГПУ и НКВД, именно эти связи и довели его до трагического конца. Удивительным образом та же книжка, судя по некоторым признакам, все тот же самый экземпляр, попалась мне у букиниста, и со временем я отдал ее книголюбу-коллекционеру, поклоннику Бабеля, теперь эта библиографическая редкость хранится за океаном в библиотеке Института революций и войн.

Эта небольшая книжка, основанная на истории Умного Ганса, была написана супругой крупнейшего генетика Николая Кольцова. Знаменитый ученый, поддерживая идею о способности лошадей мыслить, поместил об этом пространную статью в

авторитетном журнале «Природа». Однако Умный Ганс как «мыслитель» оказался разоблачен, да и всякий имеющий дело с лошадьми профессионал вам скажет, что это чепуха, но на всякого мудреца довольно простоты, и, видно, выдающийся естествоиспытатель поддался женским чарам и чересчур очеловечил лошадей. Ведь кто знает, почему новобранцу в рассказе Бабеля не подчинялся чужой конь, а на меня бросилась не моя Прелесть? У лошади не спросишь. Допустим, похоже на сердечную привязанность к своему хозяину, а чем объясняется неприязнь к чужому человеку? Может, запах непривычен – пугает. Этолог Конрад Лоренц утверждал: лучшим литературным описаниям «чувств и мыслей» животных, как у Киплинга, нельзя не верить, однако и верить не следует: пантера вроде Багиры из рассказов о Маугли на самом деле так не только не говорит, но и не думает.[3]

Основоположник отечественной экспериментальной биологии Кольцов так же отстаивал науку, впоследствии объявленную псевдонаукой, об улучшении породы людей. Над этим, как мы знаем, посмеялся Михаил Булгаков в повести «Собачье сердце», и тогда же повесть подверглась запрету. В чьих интересах был наложен запрет? Партия и правительство были против? Завал из книг, в названии которых стояло неведомое мне слово ЕВГЕНИКА, я обнаружил у тетки моей, учительницы с шестидесятилетним стажем, испытавшей на себе все, какие только можно было испытать, превратности в экспериментах над нашим образованием, и на мой вопрос, что за штука «евгеника», тетка отвечала: «Нас заставляли это изучать и пропагандировать». Еще бы не заставлять! Речь шла о выведении лучших в мире граждан, советских, об этом писал Кольцов, так же, как, поддерживая жену, писал он о способности непарнокопытных, что твои человеки, шевелить мозгами. А разве с таким крупным научным авторитетом поспоришь?

В те же годы готовились лететь на Луну, а также воскрешать всех мертвых, и беда заключалась в том, что лететь и воскрешать нередко собирались одни и те же энтузиасты. Разобраться, где сбыточное, а где несбыточное, что есть прозрение, а что просто бред, было нелегко. Наряду с научными открытиями, визионерски-утопические проекты, обещавшие сказку сделать былью, тогда выдвигались в несметном количестве, и всякий слишком смелый замысел был пробиваем любыми средствами. При жестком и сквозном партийно-государственном контроле, который назывался диктатурой пролетариата, всякий прожектер действовал соответственно в том же духе, диктаторскими методами. Сплошной террор! Сторонники свободы в искусстве

старались переубедить своих оппонентов, упрятав их за решетку, как порывался сделать режиссер-реформатор, сам павший жертвой репрессий, Мейерхольд. Строитель интернациональной башни художник-дизайнер Татлин отстаивал свою идею с пистолетом в руке, я слышал это от тех, кого он брал на мушку, пока пистолет у новатора не отобрали. Согласно замыслу Александры Коллонтай, известной либертинки и феминистки, близкой к правительственным кругам, моему будущему тестю, инженеру-строителю Михаилу Васильевичу Палиевскому, было дано указание без рассуждений воздвигнуть Дворец безбрачия. Дети во вместилище свального греха должны были считаться общими, коммунистическими. Партия велела – Комсомол ответил «Есть!» Тесть, мастер своего дела, приказ выполнил, отгрохал капище «любви пчел трудовых» (так называлось программное сочинение Коллонтай), но здание не успели заселить согласно передовому идеалу, началась война, Смоленск оказался оккупирован, тесть и вся его семья были угнаны в нацистский трудовой лагерь, а после войны нравы у нас переменились, и добротное само по себе сооружение использовали то как тюрьму, то как гостиницу.

Ныне, вглядываясь в наше недавно минувшее прошлое, историки, добравшиеся до источников, советуют не торопиться в желании отделить овец от козлищ, чистых от нечистых, правых от виноватых. В самом деле, в Институте мировой литературы, где я работал, судили судом чести сотрудника, оказавшегося доносчиком. И что же выяснилось? Да, доносил, но его доносы были реляциями лояльного советского гражданина, слышавшего недозволенные речи. А жены его жертв писали в инстанции, требуя расправы над своими мужьями! И почему писали? Потому что хотелось им избавиться от мужей, а наездникам-неудачникам хотелось получить в свои руки тренотделение. Все больше самых разных историков приходят к одну и тому же выводу: борьба шла волнами, отливами и приливами, по принципу «сегодня ты, а завтра я», жертвы, павшие во взаимосокрушительной борьбе роковой, были не агнцы безвинные, а слабейшие, не выдержавшие схватки за существование, но если бы те же павшие вышли победителями, то попасться им в лапы был бы вовсе незавидный подарок судьбы.

Совершающаяся сейчас по справедливости реабилитация уже не раз мной упомянутого Я. И. Бутовича сопровождается созданием легенды о нем, жертве советской власти. А он оказался жертвой борьбы за власть, подоплекой его падения был правительственный фаворитизм, прежде всего у Троцкого, и пользовался до поры до времени удачливый представитель

старого режима нововельможным благорасположением вовсю. Бутович вел себя большим барином, высокомерно третируя и унижая собратьев-конников. В результате он стал жертвой собственного характера, это я слышал от людей, знавших и ценивших его – выдающегося коннозаводчика. Как знатока лошадей они превозносили незабвенного Якова Иваныча до небес. А сочувствие – выражали они сочувствие ему, неправедно загубленному? Нет, они давали понять, что сам виноват – накликал на себя беду нетерпимостью к мнениям каким-либо еще, кроме тех, что совпадали с его собственными. К удовлетворению им обиженных или несогласных с ним, его и загнали в Соловки, как только сошли со сцены его партийно-государственные покровители.

По незрелости, полвека тому назад, я был неспособен уместить в сознании противоречивые, мне казалось, несовместимые положительно-отрицательные оценки яркой личности. Одно из двух: либо это был замечательный заводчик и прекрасный во всех отношениях человек, либо заслуживающий не лучшей участи «ар-рап», как друзья – они же! – его аттестовали, проще говоря, прохиндей. Согласно с романтически-реставрационным умонастроением, овладевшим мной в те годы, безусловную хвалу Бутовичу я выслушивал, а столь же очевидное несочувствие ему пропускал мимо ушей. Зато теперь, с годами, противоречивость-то и проступает в памяти как приговор самой истории: несчастный властолюбец хотел того, что получил – власти, и пользовался ею, пока она была у него в руках. Думал ли он о возмездии? Бутович (и Бухарин, и Виктор Серж, и вообще никто из попавших под колесо послереволюционной истории) себя о том своевременно не спрашивал. Если, наконец, спросил, то когда было уже поздно: испытавшие на себе его властолюбие, как видно, сочли, что по справедливости пришла их очередь взять реванш.

В книге мемуаров «Погружение во тьму» (первоначальное название «Под конём»), беспристрастно и сочувственно представил Бутовича человек того же социального круга, попавший вместе с ним в лагерь, Олег Волков, которого я тоже знал. Но Олег Васильевич все-таки, мне кажется, представил Бутовича чересчур большим барином. Бутович был истинно большим знатоком лошадей, а большого барина из себя корчил, как достойные доверия люди говорили о нем, объясняя, почему он постарадал. Как персонаж, Бутович, фигура несомненно красочная, под разными именами фигурирует у Михаила Булгакова, Пантелеймона Романова и Петра Ширяева. Однако никто из них не сообщает, что жизнь его осложнялась еще и

гомосексуализмом, сам же он в мемуарах говорит об этом до того глухо, такими обиняками, что если бы я от современников о том не слышал, то едва ли смог бы понять, о чем идет речь. Словом, судьба Бутовича – эмблема времени, о котором представление полное ещё только предстоит получить.

* * *

…Щельцын, глядя на страдающего Бравого, ничем не выдавал своего расстройства, и только когда ветврач принес шприц, наездник при виде огромной иглы зажмурился.

Впрочем, прежде решили сделать клизму. Я сказал, что, может быть, это «завал» в кишечнике от тяжелого зерна. Откуда же взяться опою, если я подпаивал глотками и вываживал? Ввели шланг, влили воды, вытащили.

– Р-р-разойдись! – скомандовал собравшимся ветврач в ожидании результата. Но заметного действия не было. Оставалось пустить кровь.

– Какая же игла! – простонал тут Щельцын и сомкнул глаза.

– Возьмите губу, – велел мне ветврач.

Я взял Бравого за верхнюю губу между ноздрей, за теплый и мягкий нос, впившись как можно крепче ногтями, и даже скрутил немного, чтобы этой болью отвлечь жеребца от еще большего страдания и заставить стоять, пока сделают укол. Иначе он раскидал бы всех нас.

Бравый тоже закрыл глаза.

Ветврач нащупал на шее вену, коротко и сразу ударил в нее иглой. Вырвалась темная струя. На светло-серой шерсти она выглядела особенно резко. Подставили большую колбу и взяли поистине лошадиную дозу крови – литра четыре. Тут же полегчало. Бравый стал переступать ногами, и я смог отвести его в конюшню. Вечером он уже ходил спокойно. Но боевые кондиции были надолго потеряны. Потом погода окончательно испортилась. Какая тут езда! Так мы и остались без рекорда.

Ныне уже бегают дети Бравого. Когда он, ветеран, отмеченный дипломом 1-й степени, стоял в Москве на Выставке достижений народного хозяйства, я пошел его повидать и разглядел на шее с левой стороны отметину, куда били страшной иглой.

Почему проиграл Крепыш

«Лошадники старого поколения могли описать по секундам, как сложился исторический бег Крепыша…»

Из воспоминаний Олега Васильевича Волкова

Слова «Крепыш отличался роковой неудачливостью» однажды мне уже удалось напечатать, и тотчас из разных концов пришли письма: «Нет! Крепыш был поразительно удачлив…» Из разных концов страны, я говорю не фигурально, а в самом деле, и не затем, чтобы придать значения своим словам, а чтобы видно сделалось: есть еще к этому интерес! Уж я привык, упоминая

кличку короля русских рысаков, слышать «А-а, внук Крепыша…» – из Ильфа и Петрова. Оказалось, живут этой памятью, этой болью знатоки-любители и знают, в чем дело тут, о чем идет речь, что за вопрос решается.

«Дела давно минувших дней…» Однако они волнуют нас, они требуют от нас оценки истинно исторической. У Крепыша была «судьба», он оказался достойным современником своей эпохи, и в нем, в сплетении человеческих страстей и судеб вокруг него отразилась та эпоха.

Крепыша, рассказывают, вели из конюшни на ипподром целой процессией: впереди охрана из двух вооруженных черкесов, затем под попоной и с двумя конюхами по бокам – серый великан, а следом владелец и наездник. Из тех, кто так близко окружал Крепыша, в живых, насколько мне известно, не осталось никого. Но все-таки я говорил со многими очевидцами призовой карьеры «лошади столетия», слушал непосредственных свидетелей подвигов серого. Кроме того, существует целая литература о Крепыше: газеты, журналы того времени, сохранившие на своих страницах весь шум вокруг Крепыша, и, наконец, две «биографии», составленные прежним владельцем «короля русских рысаков» – Михаилом Михайловичем Шапшалом.

Разбирая казус с Крепышом, никому нельзя верить более чем автору этих двух книг, ибо история Крепыша – его жизнь. И по той же причине никому из писавших о Крепыше не приходится верить с большей осторожностью, чем такому автору. Да, он решал и свою судьбу, рассказывая о Крепыше, а потому речь его не могла не быть в каждом слове пристрастной. Известно, что люди, хорошо знающие факты, создают особенно правдоподобные легенды.

С убедительной откровенностью рассказывает Шапшал, почему не был Крепыш победителем Всероссийского Дерби. Однако сбивчиво и неполно излагает он обстоятельства исторической схватки Крепыша с американцами в Интернациональном призе 1912 года. И тогда Крепыш проиграл, причем совершенно очевидно, по вине тех, кто распоряжался им.

Есть ситуации, которые говорят сами за себя, заметил однажды Александр Блок. Крепыш в руках Кейтона – одна из таких красноречивых и в то же время необъяснимых ситуаций. Согласитесь, положение парадоксальное: гордость русского коннозаводства, главный, так сказать, принципиальный соперник американских рысаков находится у них же в руках, у американцев. Судьбу Крепыша в то время, когда его победа или поражение означают преимущество или пас перед американским рысаком всей орловской породы, решает американский наездник.

Тогда говорили, писали: «Как же так?», теперь мы задаемся тем же вопросом. Формальные обстоятельства известны: владелец передал Крепыша в езду Кейтону потому, что это был мастер. Но разве здесь могут быть отдельные причины, если ситуация в существе своем оказывается противоестественной?

Крепыш был из коней конь, иначе говоря, им увенчалась, в нем выразилась вековая работа русских заводчиков. Тем более обостряются все вопросы наши о судьбе «лошади столетия».

Американский рысак вторгся в Россию на рубеже XIX и XX веков. Как по линии национальной, культурной, так и в коневодстве сложились две большие партии «славянофилов» и «западников». «Западники» всячески поощряли ввоз американских рысаков. За одно с ними держались «метизаторы», проводившие скрещивание американцев и орловцев. Патриоты стояли за сохранение в чистоте орловской, нашей исконной породы. Спор, логически не разрешимый. Кому отдать преимущество?

До последних десятилетий XIX века орловский рысак сохранял за собой безусловное первенство не только у себя на родине, но во всем мире, там, где только занимались бегами. Ни норфолькский, ни нормандский рысаки не могли ему составить серьезной конкуренции. Считалось, что и американские рысаки уступают орловцам. Правда, состязание орловцев с американской резвостью было заочным – по секундам: американских рысаков, тем более классных, в Европе тогда не было: трудна доставка! Но вот соперник из-за океана явился непосредственно. Внешне он не выдерживал никакого сравнения с орловским рысаком. Каких только характеристик самого нелестного свойства ему не давали! «Тяжелая голова, оленья шея, плоские ребра, длинная спина, плохие плечи, задние ноги, как у зайца», – это писал не русский – английский конник, специально объехавший конные заводы Америки в начале 1900-х годов. «Кажется, будто эту лошадь стиснули между двух досок и растянули во все стороны», – возмущался другой знаток. И следовал град все тех же упреков: «шея торчком, спина несоразмерно растянута и седлиста, ребра ниже всякой критики и т. д. и т. п.»

Вскоре, однако, «уродливое животное» заставило умолкнуть многие критические голоса. Резвость была слишком очевидна. Выходило, что та же «оленья», то есть прямая, без лишнего изгиба, будто воткнутая в туловище и с прямо посаженной головой шея, оборачивалась преимуществом, а не пороком. Она облегчала дыхание, не ставила ему преград, как получалось при красивых, «лебединых шеях» орловских рысаков. Точно так же и длина американского рысака и ребро – все находило практическое оправдание.

Граф Орлов, как известно, не старался вывести специально спортивную породу. Ему было не до развлечений, когда в момент мятежа вез он Екатерину, и австрийские каретные кони измотались и что называется встали в обрез. Запомнив надолго этот урок, он создавал универсальную дорожную лошадь, которая годилась бы в экипаж, под седло, в плуг, в борону, шла бы в городе на параде, в поле, была бы сильна, резва, породна: «в подводу и под воеводу». Американский же рысак был выведен исключительно для ипподрома, для спида – резвости. Он не знал никакой другой дороги у себя под ногами, кроме идеально ровного круга, не вез большей тяжести, чем легчайшая двухколесная качалка с наездником.

Сравнивать орловских и американских рысаков в девятнадцатом веке было затруднительно еще и потому, что слишком разнились условия их испытаний. У нас бегали в дрожках под дугой, долгое время не по кругу, а «концами», на старте пускали не с хода, а с места, испытывали по большей части на длинные расстояния. У американцев же были легкие сулки, то есть качалки, весом с велосипед. Применяли янки множество приспособлений, главным образом разнообразную «обувь», защищающую ноги от ударов подковами на полном ходу. Дистанция – миля-полторы, иначе говоря, до двух верст (2400 м), не более. Однако мало-помалу условия выравнивались. Мы принимали стандарт, распространившийся по всему миру, и решительная схватка становилась неминуемой.

Серый великан Крепыш, от Громадного и Кокетки, завода Афанасьева, был гордостью и надеждой убежденных патриотов. Он превосходил по классу всех современных с ним рысаков: и орловцев, и метисов, и бежавших в России американцев. Владелец его даже полагал, что если бы повезти Крепыша в Америку и прикинуть его на ипподроме в Лексингтоне, где ставились мировые рекорды, то свое время 2 минуты 8 секунд на полторы версты он подвел бы к двум минутам, то есть к результатам класснейших американцев. Во всяком случае, рассказывает Шапшал, когда он попробовал предложить американскому тренеру Биллингсу, приехавшему в Россию для демонстрации своих рысаков, их решающий матч с Крепышом, Биллингс уклонился, сославшись на трудности перенесенного пути и тяжесть московской дорожки.

* * *

Недалеко от Нью-Йорка, в музее, который называется Залом

Рысистой Славы, выставлены дары, привезенные Биллингсом из России – кубки, ковши, подносы и, если не изменяет память, самовар: золото, серебро, чернь, ничто не потускнело, все сверкает, излучая безудержный восторг, разумеется, прежде всего тех, кто стоял за метизацию, и хотя преподнесено это было от всероссийской рысистой общественности, но во главе общественности тогда стояли метизаторы. Смотришь на блеск, отражающий взаимосокрушительную борьбу, и задаешься вопросом: неужели тем и другим не достало в России места? Не принципы сталкивались, а люди мешали друг другу.

У входа в Зал Рысистой Славы – мемориальная доска: музей своим нынешним процветанием обязан обувному «королю» и крупнейшему коннозаводчику Лоуренсу Б. Шеппарду, тому самому, чьи рысаки так и носят двойные клички с приставкой «Гановер». Название, унаследовано конным хозяйством от принадлежавшей Шеппарду обувной фабрики, а фабрика получила название от города в штате Пенсильвания, там и ботинки делали, и разводили лошадей, город же был назван в честь немецкого происхождения английских королей: при них шла активная колонизации Америки, и при той же гановерской династии вспыхнула Война за Независимость, так что Гановер это символ двуликий – связи и разрыва Старого и Нового миров.

Сорок пять лет тому назад Шеппард приезжал к нам, чтобы отобрать семерых полуторников в обмен на жеребца своего же завода – Апикса Гановера. Не успел он приехать, как на другой же день на его имя к нам на ипподром поступила телеграмма «Джимми разбился насмерть автокатастрофе». Директор Московского ипподрома, Долматов, расписавшийся в получении срочной депеши, узнав о ее содержании, издал стон раненого носорога. Кто это – сын, внук? Горе есть горе – как не сострадать? Но директор предвидел последствия и для всего предприятия, выстраданного им, вынесенного на своем горбу. Сколько муки наш директор принял, организуя, пробивая по инстанциям этот обмен и этот визит! Кто жил тогда, у того, я уверен, мурашки по коже должны забегать.

«Семь советских рысаков за одного американского?!» – эту демагогию Долматову приходилось преодолевать на всех уровнях, снизу до самого верха. Правда, Буденный, которому ничего не надо было объяснять и доказывать, сразу сказал, прибегнув к выражению образному: «За семь прутиков можем получить первоклассную большую палку, которой будем бить кого попало». Но Семен Михалыч был уже не тот, не у дел, а кто заправлял делами, тот не очень понимал, велика ли разница между жеребцом и жеребенком-полуторником.

Обивая пороги один выше другого и добравшись в конце концов до самого верха (иначе никакой вопрос не разрешался), бывший Красный кавалерист, ветеран Первой Конной, Долматов до того измучился и обессилел, что у дверей министерского кабинета задремал, сраженный сном, и едва не проспал вызов на долгожданную аудиенцию. Ценой пролитого пота и попорченных нервов разрешение на обмен было получено, и вот, того гляди, все пойдет насмарку. Телеграмма и самого старика, чего доброго, на тот свет отправит или же, по меньшей мере, хватит его удар. Уж во всяком случае, убийственную депешу прочитав, повернется и тут же улетит обратно к себе домой. Прощай, Гановер!

Два дня думали: сообщать – не сообщать? Показывать или придержать смертоносное сообщение? Наконец Долматов дал приказ «Показывай!» Было это в директорском кабинете, сиявшем скульптурами Лансере и полотнами Самокиша. Шеппард – копия Маркианыча (А. М. Волошинова), директора циркового училища, находившегося через дорогу от ипподрома. Большеголовый ушастик с носом вроде рудиментарного хобота, какой был у киплинговского слоненка, прежде чем до нормальных размеров этот нос растянул крокодил, он только пробежал глазами под напряженнейшим взглядом Долматова телеграмму, и раздался трубный глас торжествующего слона: «Я говорил! Всегда говорил, этот стервец и бездельник плохо кончит».

Словно «Серенаду Солнечной Долины», директор ипподрома выслушал этот вопль, хотя и сожаление выразил о погибшем, кто бы он ни был. Оказалось, это – племянник, вконец испорченный, избалованный парень, погубил не только себя, но и всех приятелей с приятельницами, приглашенных прокатиться в только что купленной ему роскошной скоростной машине.

«Время водку пить! – протрубил Шеппард. – Пошли!»

И мы пошли.

А жеребят он отобрал, одного к одному, в точности тех самых, какие ему до того уже были нашими знатоками предназначены. Приехал он, как выражался Герцен, кругом подкованный, по-летнему и на шипы. Но его хотели проверить. Проверили и, как бы в признание безошибочности его экспертизы, показали ему маточный табун Первого завода.

При виде наших кобылиц Шеппард потребовал у меня лист писчей бумаги, словно им овладело поэтическое вдохновение. Блокнота со мной не было (я тогда еще ничего не записывал), а Долматов прошипел: «Конец тебе, если сейчас же какого-нибудь листочка не найдешь, а еще научный сотрудник!» У меня в кармане лежало письмо на имя Директора Института Мировой литературы, которое я не успел перевести, я оторвал от него угол,

где не было текста, и подал Шеппарду. На седле табунщика обувной король-коннозаводчик разгладил бумажный клочок, из своего кармана достал королевскую авторучку и накарябал: «Обязуюсь двух маток из этого табуна покрыть своими лучшими жеребцами и приплод вернуть вместе с кобылами». Говорят, Сталин, когда Трумэн ему сообщил об изобретении сверхмощного оружия – атомной бомбы – вида не подал, будто подобное заявление хоть сколько-нибудь на него подействовало, так и Долматов, узнав о сути данного обязательства, не изменился в лице, а только обращаясь ко мне, прошипел: «Спрячь! Потеряешь – тебе конец».

Перед отлетом двойник директора циркового училища загудел:

– Что мне с вашими деньгами делать?

Тогдашние наши рубли, выданные Шеппарду на время визита, не подлежали ни вывозу, ни обмену – такие были у нас порядки.

– Купите себе меховую шапку.

– Я уже купил.

– Купите еще.

– У меня только одна голова.

– Тогда купите матрешку.

– Сколько можно покупать этих крашеных кукол?

Словом, ситуация безвыходная.

– Знаешь что? – вдруг говорит, обращаясь ко мне, Шеппард, – я отдам эти деньги тебе, а ты купи себе билет и прилетай ко мне в гости, а я покажу тебе своих жеребцов.

– Возьми, возьми! – зашипел Долматов. – А не то с этими рублями его на таможне задержат, и нам же влетит.

«Воля ваша, товарищ директор, – заговорил мой внутренний голос, – но уж не обессудьте, если одно из тренотделений на вверенном вам ипподроме довольно надолго выйдет из порядка».

Шеппард еще не успел уехать, а про Апикса, который в результате обмена стал нашей собственностью, уже начали говорить, что он мал ростом. «Когда он побежит впереди всех и будет первым у финишного столба, он никому маленьким не покажется», – отвечал обувной король, он же коннозаводчик, не сделавший, выбирая жеребят, ни одной ошибки. В самом деле, мало того что на нашей дорожке в руках Вильяма Флеминга этот рысак, действительно небольшой, имевший обыкновение на ходу отбрасывать задние ноги вбок из-за слишком мощного напора, побил большую международную компанию и выиграл Приз Мира, но, как и предсказывал Буденный, во Франции тот же конек-горбунок взял Приз Парижа. А коньком-горбунком Апикса-

Гановера называли долматовские завистники-злопыхатели. Называли за малый рост, не взирая на то, что конек-горбунок летел впереди всех и был первым у столба.

«Патриотизм есть последнее прибежище негодяев», – говорил Сэмюэль Джонсон, литературный авторитет XVIII столетия. За ним это повторили Толстой и Марк Твен. Речь все они вели не о любви к Родине – о злостной демагогии. Мне известно, как это бывало. Жертвой такой же демагогии оказался мой дед-воздухоплаватель. Его, инженера-авиатора, принимавшего участие в строительстве первого русского авиационного завода и выпуске первого серийного самолета «Россия-А», объявили лжеученым и безродным космополитом. На каком основании? Будто бы он не признавал наших отечественных приоритетов. Нет, не признавал он приоритетов ложных, выдуманных. «Они не признают, – говорил мне дед о своих супостатах, – наших истинных достижений».

Американский рысак за границей выиграл под нашими цветами и под управлением нашего мастера П. А. Лыткина. «Меня письмом уже поздравили с выигрышем Приза Парижа моим учеником, – писал мне Тюляев. – За все годы моей преподавательской деятельности Павел Александрович Лыткин производил на меня наилучшее впечатление».

У нас на ипподроме по сумме трех гитов Апикс-Гановер в руках Флеминга выиграл Приз Мира, но первым в третьем гите оказался Корвет под управлением Лыткина. Ему и поручили езду на Апиксе в Париже. Признание окружало Лыткина на исходе его беговой карьеры. Как ехал он на Апиксе в Париже, знаю от него самого. У меня перед ним особый долг. По просьбе своего друга, моего наставника Грошева, Павел Александрович вышел к старту и давал мне советы; тогда я выиграл единственный раз в жизни. С тех пор отношения между нами установились вполне доверительные, и после Парижа он мне сказал: «На такой лошади никогда не сидел!». Объяснение: резвость. Означает ли это отречение от своей отечественной породы? Как же можно ограничиваться одной породой, когда каждая порода есть результат скрещивания многих пород?

У того же Шеппарда были приобретены еще два жеребца Гановера, и от наших маток пошли у нас один за другим безминутные рысаки. «Без минуты» значит две минуты. Резвость, так называемая «ровная», отсчитывается от трех минут на милю, или полторы версты – дистанцию в 1600 метров. Дальше – чем резвее, тем ближе к двум минутам. Сорокинский Жест поставил рекорд минута и пятьдесят семь секунд – в те времена то была резвость у нас невиданная, редчайшее исключение. Теперь этим

не удивишь.

Вспоминая руководителей конного дела, таких, как Долматов, понимавших в этом деле, могу засвидетельствовать: пристрастий патриотических или космополитических никто из них не изъявлял. Просто знали, что есть что. Рецепты получения чего угодно в границах их компетенции им были известны – только бы никто им не мешал действовать согласно их пониманию интересов дела. Наша национальная гордость – орловцы, и пусть только кто-то посмеет поднять на них руку. Доказывать Долматову, что секунды, то есть резвость, это стандардбред – рысаки-американцы, тоже не требовалось. Про Долматова сплетничали: «Он верховик и, куда его ни назначь, там заведутся скаковые». Но ведь этого не было – «не завелись» какие-то слишком многочисленные английские чистокровные лошади. Скаковые, в которых он-таки понимал, для него оставались скаковыми, и я не помню, чтобы он своей властью потеснил какую-либо другую породу ради скаковых. Если в рысаках он разбирался не столь совершенно, то, принимая решение, выслушивал мастеров, как тот же Лыткин или друг его Грошев, и я, бывало, при сем присутствовал. Вопреки Канту, полнота знания не оставляла у эксперта места вере. Был ли Долматов конником-патриотом? Он был русским естественно, без форса и нарочитости, без хомяковского скрежета зубовного «Упьюсь я вражьей крррровью!», при спокойно-глубоком сознании «Ни пяди своей земли не отдадим», во всяком случае, демонстрировать и доказывать свою любовь к отечеству ни себе, ни другим ему не требовалось. Он знал орловцев, и на что они способны. Знал и метисов. Знал, что знал, и все. Недостатки, которые у него, несомненно, были (кто без греха?), не распространялись на понимание дела. А демагогия всех оттенков, международно-ориентированная или же сугубо отечественная, ему мешала, начиналась эта демагогия там, где гнездилась какая-то задняя мысль или же верховодило невежество: либо интрига, либо игноранс (неведение) – так было и прежде, и теперь.

* * *

Крепыш бегал от случая к случаю и с метисами, и с американцами. Выигрывал. Раз или два проиграл, причем с очевидностью по вине людей, которые распоряжались им. К тому же ему быстро удалось взять убедительный реванш. После того как Крепыш проиграл резвым метискам Невзгоде и Слабости, он в следующий бег триумфально побил их, и его вели перед

трибунами под попоной с надписью «Хорошо смеется тот, кто смеется последним». Однако испытание то не было последним. Предстоял окончательный бой.

Крепыш был в расцвете сил, «в порядке». И вот когда все сошлось, все решалось, основной конкурент американцев попал к ним в руки.

Шапшал объясняет:

– И Василий Яковлев-Мельгунов, и Иван Барышников, создавшие славу «лошади столетия», были наездники, безусловно, одаренные, но бескультурные, упрямые, а Василий Яковлев к тому же еще отличался и беспутством.

– Да, – подтверждает наездник-ветеран Василий Павлович Волков, – уж если Яковлев загулял, то сапоги из канавы. Идем на уборку вечером: сапоги лаковые у дороги торчат! Что такое? Конечно, Яковлев. И несем его на конюшню.

Вскоре после того, как Яковлев перестал ездить на Крепыше, он скончался. Газеты писали: «Сила и слава отвернулись от этого талантливого наездника, когда от него взяли Крепыша, и он умер с именем своего любимца на устах».

* * *

Сколько и каких мастеров подкосил тот же недуг на моем веку и прямо у меня на глазах… Не мне, грешному, мораль читать, и ответа на этот роковой вопрос я не знаю. Одно можно сказать: как и во всей нашей жизни, здесь – корень. Зла? Не можем без того быти, стало быть, тем и кончится, как кончалось во множестве случаев, а случаев пересказать можно без счета.

Крейдин Анатолий Петрович – враги признавали его первенство. Начинал он, собой парень что надо, помощником у мастера из мастеров, Ратомского Виктора Эдуардовича, однако, они поругались и разошлись. И вот уже после того, как они поругались, я спросил Ратомского о Крейдине. А наездники вообще относятся друг к другу ревниво. Что же ответил Ратомский? Сказал ли он, что бывший его помощник – талант. Нет, он сказал: «Выдающийся талант», – помолчал и повторил, для убедительности растягивая слова: «Вы-да-ющий-ся».

Среди первых Крейдина послали на призы во Францию. Тут дам слово начальнику нашей команды Алексееву Юрию Алексеевичу, зоотехнику по образованию и администратору по роду деятельности, знающему зоотехнику и умевшему ладить с людьми администратору.

Рабочий день на Венсеннском ипподроме. Крейдин стоит у

дорожки. «Ну, – спрашивает начальник, – дозу принял?» – «Принял», – следует ответ, а доза измерялась не стаканом. – «Цыпленка целиком убрал?» – «Убрал». – «Ты посмотри на них, Анатолий, посмотри на них!» – начальник имеет в виду спортивные формы французских наездников, мимо проезжающих. – «У них, Юрий Алексеевич, свое, а у нас – свое», – с достоинством отвечает русский мастер с внешностью добра-молодца из былин и сказок.

Как он выступал? Успешно. Обыгрывал этих наездников? Бывало, обыгрывал, и уж, конечно, показал себя не хуже любого из них. Только вот что надо добавить: те же самые наездники, судя по программам, и продолжают ездить… А Крейдин? Вечная память.

Он свел счеты с жизнью на конюшне, в том же амуничнике, «кабинете» наездника, куда мы нередко заходили к нему и ни разу не получали от него отказа.

* * *

Крепыш перешел к Ивану Барышникову, однако и у Барышникова имелась своя страсть-помеха: аппетит! Можно было испугаться, говорят свидетели, если увидеть стол, накрытый Барышникову к обеду, и вообразить, что сейчас все это уничтожит один человек. В контракте Барышникова с Шапшалом было специально оговорено: «сбросить пуд живого веса». Этот-то пункт и остался невыполненным!

Следующей кандидатурой среди наездников оказался Вильям Кейтон. В. П. Волков, старый наездник, в ответ на мой запрос написал: «Мой отец работал помощником у его отца – Франка Кейтона, и я хорошо знал всю их семью: сам старик, жена, двое сыновей, Вильям и Самуил, оба наездники, две дочери, одна вышла замуж за американского же наездника Розмайера, а Самуил женился на дочери Зотова, казначея Бегового Общества. У Вильяма была своя довольно большая семья – три дочери и двое сыновей. Старший сын Эдвард к лошадям отношения не имел, он решил стать танцовщиком и учился в школе Большого Театра, а младший Джони, родившийся в Москве, пошел по семейным стопам, став наездником. В связи с революционными событиями в феврале 1917, осенью того же года весь клан двинулся домой – через Сибирь, потому что путь через Европу был закрыт войной. В Екатеринбурге Вильям от своих откололся и два года работал на местном ипподроме, а в 1919 году уехал-таки в Америку. В России 1900-х годов практиковало довольно много иностранных,

главным образом, английских и американских наездников, Кейтоны ездили удачнее прочих, а из них лучшим был Вильям». К этому добавлю: камзол Вильяма видел я в Зале Рысистой Славы, а со слов его сына, Джона, записал: «Обстоятельства, задержавшие отца в Екатеринбурге, определялись житейским правилом «ищите женщину», а не политикой». Но это уж от себя добавлю: ведь король призовой езды оказался в Екатеринбурге во время пленения и гибели там низложенного Российского Императора. Не выступал ли Вильям Кейтон на лошадях екатеринбургского туза, купца Ипатьева (брата выдающегося химика), в доме которого содержался Николай II и его семья?

Вернемся к роковому Интернациональному призу. Необходимость для Крепыша образцового тренинга по новейшей системе, писал Шапшал, и вынудила его наконец передать Крепыша американцу. Современники же свидетельствуют, что выбор Шапшала не был свободным. Владелец Крепыша был неродовит, у него имелся патрон, от которого он мечтал откупиться, и вот эти денежные расчеты и поставили Шапшала в зависимость от людей, видевших свою выгоду в том, чтобы Крепыш попал к американскому наезднику: опять-таки символический штрих. Вся судьба Крепыша, как видно, состоит из таких символических сплетений.

Вильям Кейтон был, по всем мнениям, что называется, «добрый малый». Его уважали за приятельский нрав, спортсменство. Как ездок он гремел, считался «королем езды». Конечно, ему попадали отличные лошади. Но и он сам, и его отец Франк подтвердили свой класс после возвращения на родину. И там, в Америке, Вильям продолжал ездить с успехом, особенно ценили его за умение отрабатывать строптивых лошадей. Он был смел, не робея садился на любого строгого рысака. Говорил: «Только бы вожжи выдержали». Не зря же камзол Кейтона висит ныне в Зале Рысистой Славы, где отмечается память наиболее выдающихся американских наездников. Это был настоящий мастер. Но Кейтоны действовали в России не только как тренеры и наездники. Через их руки проходил ввоз американских рысаков. Они были максимально заинтересованы в репутации своего товара. Победа Крепыша в Интернациональном призе оказалась бы для них плохой рекламой. Вильям понимал щекотливость положения. А оно, положение, было просто запутанным: русский рысак, едет на нем американец, и это в призе, где решается честь породы. К тому же на его основном сопернике Дженераль Эйче сидел не кто другой, а Франк Кейтон, отец Вильяма. Судьба Интернационального приза буквально находилась в руках Кейтонов.

Вильям был «добрым малым», да ведь и Дантес, в конце концов, по-своему «добрый малый», только и вина, и беда его в том, что «не мог понять он нашей славы»… Вильям, по крайней мере, понимал, что победа Крепыша ему невыгодна, но и проигрыш бросит на него тень подозрений. Так что накануне приза он прямо сказал Шапшалу: «Если Дженераль Эйч будет бежать хорошо, я его обходить не стану». И предложил посадить на Крепыша любого русского наездника. В записках Шапшала нет вразумительного ответа, почему он не воспользовался этой возможностью. Шапшал говорит: не хотел обидеть Кейтона. Что за обида? Что за понимание спортсменства: не только участвовать в международном соревновании, но еще позволить на себе ехать? Шапшал, кроме того, будто бы опасался, что «перемена рук» плохо скажется на Крепыше. Причина ли это? Разве в новых руках, если это руки мастера, не идут лошади еще лучше?

Лошадь, которую он работал, наездник знает, конечно, лучше всех, однако он же, когда приходит время ехать на ней на приз, и волнуется больше. У такого крэка, как Родзевич, чуть ли не паранойя развилась, потому что он, выигравший множество призов, все никак не мог взять Дерби. Тогда он подготовил к важнейшему испытанию не одного, а двух классных рысаков, только все никак не мог решить, на каком же ему ехать самому, а кого передать в другие руки. Наконец он посадил своего свояка Грошева на Былую Мечту, сам сел на Триумфа, который, по мнению Родзевича, был все-таки резвее. А Грошев обыграл его, и подготовленная им Былая Мечта в чужих руках вошла в историю дербисткой.

– Со мной, – свидетельствовал выдающийся русский наездник Афанасий Филиппович Пасечной, – вел переговоры Шапшал о том, чтобы сел я на Крепыша, если будет нужно…

Кажется, все дело в «если». «Если Дженераль Эйч побежит хорошо», – сказал Шапшалу Кейтон, а Дженераль Эйч накануне бега хромал. И, вероятно, владелец Крепыша подумал: «Какой же это соперник!» Как же, должно быть, все удивились, когда на старт американец был, однако, подан в совершенном порядке! Но есть ведь такой прием: иголку – в мышцу, и лошадь делается хромой. Иголку прочь – лошадь идет как ни в чем не бывало.

Всезнающий летописец бегового дела, он же музыковед, Ю. М. Оленев рассказывал: «Недавно один любитель бегов сказал мне: «По-моему, дело ясное – уж если Кейтон заявил Шапшалу, что не станет объезжать Дженерал Эйча, а Шапшал после этого оставил Крепыша в его руках, значит, Кейтон попросту подкупил Шапшала». Со своей стороны Ю. М. добавлял: «В сущности, это довольно логично, но в действительности ситуация была

сложнее». Его мнение: «Ф. и В. Кейтоны оказались умнее и хитрее, именно поэтому они и обвели вокруг пальца М. М. Шапшала, который и сам был довольно ловким и продувным дельцом».

У меня была возможность в Америке спросить Джонни Кейтона, сына Вильяма, почему его отец ради сохранения своей репутации не отказался ехать на Крепыше. Ведь в случае проигрыша короля русских рысаков американский король езды был обречен подвергнуться подозрениям в нечестности. Разве Кейтон этого не понимал? Джонни сказал просто: «Не знаю». Да ведь это все случайности, а тут есть и некие закономерности. Причины парадоксального положения, если говорить о них по существу, лежали глубже. Шапшал, кстати, хорошо разбирается в них и точно называет, когда судит о других людях. «Легкомыслие царило в рядах любителей орловской породы, – говорит он, – на этом легкомыслии метизаторы строили успех своей идеи и неизменно проводили ее в жизнь». А вот еще нарисованная Шапшалом картина: «В Америке – стране, служащей недосягаемым идеалом для фанатиков секунд, рысак готовится к проявлению своей резвости годами. Выбирается наиболее подходящий ипподром, день, погода, грунт. Нет того, что ему надо, – он снимается и идет в другой раз. Рекорд – это такое событие, что в день езды на рекорд закрываются лавки, школы, присутственные места и целый город с нетерпением ждет, когда рысак совершит свой подвиг. А в России? Крепыш едет на рекорд, между тем среди членов администрации находятся такие, которые буквально говорят: «А подсыпь в повороте песочка» или «Полей пожестче, а то касса затрещит…» И это против кого и чего? Против гордости и славы своей же породы и своего коннозаводства…»

Легкомыслие и то, что описано затем, что можно назвать каким-то изуверским самосокрушением, самопожиранием отразилось и на судьбе Крепыша. А уж если искать конечной степени этого самосокрушения в связи с Крепышом, то, конечно, это был Интернациональный приз 12 февраля 1912 года, когда Крепыш так и остался у Кейтона. И наступил день бега. Москва съехалась на ипподром. Произошло небывалое: трибуны оказались так переполнены, что к двум часам дня доступ публики был прекращен.

Со старта вырвался вперед Дженераль Эйч, тут же Крепыш. Он так и оставался «тут же» всю дистанцию. Откровенность Вильяма Кейтона, его верность своему обещанию поразительна. Все три версты он держался, что называется, «вторым колесом»: не в спину Дженераль Эйчу и, не пытаясь его перехватить, не по

бровке, а рядом, теряя на каждом повороте из-за этого около секунды.

Первый круг Крепыш и Дженераль Эйч прошли голова в голову. Джонни Кейтон даже показал знакомую мне по старым журналам и у него сохранившуюся пожелтевшую фотографию этого момента. Фотография сберегалась как реликвия, в том сомнения быть не могло, но Кейтон-сын неточно представлял себе, что же на ней запечатлено. Он, со слов отца, сказал: это – финиш. Вильям, видимо, не вдавался в подробности (кто знает!), быть может, потому, что у него совесть была все-таки нечиста.

Григорий Дмитриевич Грошев, опытнейший наш мастер, молодым человеком видел тот же бег. Он много ездил с Кейтонами, одно время даже работал у Вильяма, так что ему прекрасно была известна их технология. Грошев свидетельствует: похоже было, что Вильям ехал тогда на Крепыше будто за поддужного для Дженераль Эйча, не только не составляя ему опасной конкуренции, но даже помогая, подбадривая его легким соперничеством с поля.

Другой ветеран, наездник Василий Павлович Волков, в свою очередь рассказывает, как происходило дело. Он был еще мальчишкой, но день и бег этот помнит хорошо: ему крепко досталось от матери – за валенки, набитые снегом. А отсырели валенки потому, что на трибуну уже не пускали, смотреть можно было лишь из середины бегового круга, где лежал, естественно, глубокий снег. Отец же Волкова работал управляющим на конюшне Франка Кейтона. На основании всего, что своими глазами видел и от отца слышал, Василий Павлович подтверждает, что бег не являл истинной спортивной борьбы, а казался заведомо рассчитанным, Крепыш был обречен на поражение.

Наконец, вот мнение моей сверстницы, мастера-наездника Аллы Ползуновой. Видеть тот бег она, естественно, не могла, но сохранившееся в преданиях бегового дела знает и понимает досконально. На взгляд современного мастера, суть вот в чем: «Кейтон называл Крепыша «лошадью без сердца», а сам сделал ему последнюю перед призом работу в резвость близкую к рекордной, после и хитрить не требовалось, зная: в призу Крепыш от перенапряжения встанет, что и произошло».

Заканчивая второй круг, Дженераль Эйч вышел на финише вперед и был у столба на секунду раньше Крепыша, что для лошадей такого класса немало – по меньшей мере, четыре корпуса или, как выражаются знатоки, на три запряжки.

На ипподроме стало удивительно тихо. Победителя не приветствовали.

Выигрыш Дженераль Эйча никого не убедил. «Поражение или победа?» – говорилось в спортивных газетах и журналах о Крепыше. Отвечали: «Проигрыш этот стоит любой из прежних побед Крепыша». Но почему, почему все-таки не победа как победа и – все!

С этим и спорили любители лошадей в своих письмах по поводу «роковой неудачливости» Крепыша. Писем было немного, однако все очень серьезны и содержательны, каждое звучало как пароль, призыв и полемика. Писали те, кто своими глазами «видел «лошадь столетия», и те, для кого это была история.

«Крепыш был очень удачлив, – вспоминал актер из Горького. – Другое дело, что его способности эксплуатировали ужасно. Скажем, в воскресенье бежит и выигрывает в Москве, вечером его грузят в поезд, ночь трясется в вагоне, а в понедельник сразу из вагона опять бежит в Петербурге и вновь выигрывает».

«Ошибаетесь, – подчеркивал минский садовод, – представляя Крепыша пораженцем каким-то! – Жизнь его была победной. Он выигрывал и выигрывал. Даже там, где он проигрывал – на Дерби или же в Интернациональном призе, – Крепыш оставался моральным победителем».

«Приятно читать, – писал маститый московский художник, – что современный молодой человек помнит о Крепыше и, кажется, понимает, что это значит. Однако «роковая неудачливость» – это еще вопрос…»

Все же я и здесь говорю о «роковой неудачливости» не потому, что упрямствую или не согласен с авторитетными мнениями. Тут оттенок важен: Крепыш был феноменален, велик, и все чудеса, что творил он на дорожке, были не только возможны, но естественны: «Как же иначе?» Между тем дарового, само собой разумеющегося, положенного ему по классу успеха часто и не выпадало. Моральная победа оказывалась наградой. Но ведь в том же 1912 году для участия в Международном и Бородинском призах приехали французы, и Платон Головкин, а затем Данило Чернушенко в жестокой схватке побили их, выиграли это скаковое Бородино. С какой же стати должен был Крепыш довольствоваться только моральным преимуществом?

Триумф и поражение «короля русских рысаков» – примета того кризисного времени, что было временем расцвета и зрелости, а где зрелость, там недалеко и до упадка. Ситуаций символических по своему значению, а по характеру странных и сомнительных было сколько угодно. Жену брата Бутовича (до которой тому было дела мало) подпустили, словно Офелию к Гамлету, к военному министру, сластолюбивому старику,

Сухомлинову. Каково? Говорят, в шпионаже его подозревали зря. В узко-техническом смысле, быть может, и зря, но что существовала болотно-зыбкая среда непозволительных связей, которые опутывали головку общества, весь высший свет, в том сомневаться невозможно.

Вот из тех же времен случай, пожалуй, не менее символический, чем поражение Крепыша, – чистокровный скакун Гальтимор, его покупка и перепродажа. Об этой истории я знал, не знал, в чем заключалась суть, запросил знатока конного дела, зоотехника К. П. Бочкарева, и он мне ответил: «История Гальтимора была и осталась темной: в ней, как и в афере с американским рысаком Вильямом С. К. Рассветом – («Изумруд»), были замешаны персоны слишком высокие по происхождению и слишком влиятельные по положению, чтобы вывести их на свет Божий. Покупка Государственным коннозаводством в Англии за баснословную по тем временам цену этого чистокровного жеребца, будто бы на племя, и неожиданная перепродажа его в Германию за цену весьма скромную – это одно из тех таинственных происшествий, какими у нас был полон период перед революцией. Была ли там, кроме намерения «попользоваться» за счет казны, еще какая-то интрига? Во всяком случае, кто мог, тот хапнул что плохо лежало, – в этом нельзя сомневаться».

* * *

Некогда слышанная мной история гибели Крепыша, в основном, сходится с версией теперь опубликованной. Мне эту историю рассказал начкон Первого Московского завода Александр Ильич Попов. Крепыш погиб при погрузке – утверждал Попов, ныне на этом все сходятся.

Толком отправить из Симбирска в Москву ценнейшую лошадь не смогли – делалось это в суматохе, в панике, как попало, занимались этим люди неумелые, у которых не только умения не было, но и нужного инвентаря. Погрузка, кроме того, была непредусмотренная, экстренная, поэтому рядом с Крепышом не оказалось его постоянного четвероного спутника-поддужного, с которым он дружил, повсюду с ним путешествовал, и за которым беспрекословно следовал, а сам по себе, один, ни за что в вагон не шел (эта дружба, хотя и в переиначенном виде, отражена в художественном фильме о Крепыше). У вагона Крепыш, как и следовало ожидать, уперся, его стали понукать, погнали, упал он с платформы и – конец. Сведения о самых последних минутах

разноречивы: то ли убился сразу, то ли сломал ногу и пришлось его добивать.

О чем же еще поведал Попов, чего я, однако, не нахожу в других источниках? Речь шла, не больше и не меньше, об участии в операции «Крепыш» Ленина и Троцкого. Об этом в свое время предложил я статейку в журнал «Коневодство», а Главный редактор мне говорит: «Пошел ты…». Этот редактор относился ко мне хорошо, обычно печатал, поместил мой довольно большой очерк о самом Попове, но тут вдруг «закинулся». Упоминания о Троцком испугался? Нет, Троцкого я сам заблаговременно исключил, к тому же «Коневодство» являлось одним из немногих печатных органов, не проходивших цензуры. Чего же было опасаться? Праздновался столетний ленинский юбилей, и чтобы всех опередить, превзойдя соперников усердием, родственно-конкурирующий орган «Свиноводство» поспешил напечатать статью о том, до чего же хорошо Ильич относился к… свиньям. Цензуре журнал, посвященный породистым хавроньям, тоже не подлежал, остановить такой материал никто не побеспокоился, но, когда номер вышел, то заголовок «Роль Ленина в свиноводстве» попался на глаза кому-то из важных и строгих персон. «Свиноводству» всыпали по первое число, а остальным *водствам* для острастки пригрозили, чтобы лишних заслуг и без того великому вождю не приписывали.

Что же касается ленинского или, теперь можно сказать, ленинско-троцкистского вклада в коневодство, вот что рассказывал Попов, и тут на сцену вновь вступает Бутович Яков Иванович, тульский помещик, коннозаводчик, автор замечательных иппологических сочинений, в том числе, со всей ему свойственной страстью написанной статьи «Гибель Крепыша». Этого выдающегося знатока своего дела и прекрасного писателя Александр Ильич хорошо знал. Знал Бутовича и близкий друг Попова, нередко у него гостивший, тоже туляк, вхожий в дом Толстых, Михаил Николаевич Румянцев. Бывало, оба они в моем присутствии предавались воспоминаниям, дополняя и поправляя друг друга, и было это, я вам доложу, нечто достойное пера получше моего.

Как говорил Попов, Яков Иванович был свой человек у нас на самом верху. Память, возможно, подводит меня, и связь Бутовича с партийно-правительственной верхушкой была не столь родственной. Бывший помещик-коннозаводчик, по словам Попова, до поры до времени пользовался самым высоким коммунистическим покровительством, это я помню твердо. Шло это, в один голос говорили Александр Ильич с Михаилом Николаевичем, через сестру Троцкого, она же супруга Каменева,

она же – Главмузей. «Товарищ Троцкая», – так она упомянута в мемуарах Бутовича. Благодаря такому контакту, утверждали старые друзья, и назначили Якова Ивановича хранителем его же собственной коллекции «коннозаводских портретов», превращенной в Музей коневодства. Через Главмузей, возглавляемый мадам Каменевой, пролегал путь наверх, по которому весть о Крепыше дошла до Кремля.

С Троцким у Бутовича знакомство было давнее. Ведь они – своего рода земляки по Каспер-Николаевскому уезду, где находилось имение Бутовичей, и там же у местных помещиков работал управляющим отец Троцкого. Об этом говорил Попов, однако, говорил он мне об этом, когда я ещё и не думал писать о лошадях. «Жадным ухом внимая» (по Шекспиру) рассказам Александра Ильича, как и Михаила Николаевича, я, однако, ничего не записывал. Что я не только помню, а стоит у меня перед глазами Попов, повторяющий жест Бутовича, каким тот в еще дореволюционные времена, отправляясь за рубеж, запихивал в задний карман брюк что-нибудь из нелегальной партийной печати и перевозил через границу, приговаривая: «Что мне – трудно оказать им услугу?» Услуги его с приходом к власти тех, кому он услуги оказывал, не были забыты.

Почему же Бутович, любивший щегольнуть знакомствами и связями, сам обо всем этом не рассказал? А посмотрите, в каком году только теперь опубликованная его статья о гибели Крепыша была написана – в двадцать седьмом. Из вождей, ему благоволивших, в то время кое-кого уже в живых не было, кое-кто больше не находился у власти, а кое-кто пользовался далеко не той властью – бравировать было нечем да и небезопасно. Однако Ленин с Троцким все же присутствуют в статье – опосредованно. Разнося на все корки важнейшего, как он считал, виновника гибели Крепыша, того симбирского сапожника, по фамилии Буреев, который был назначен управлять племенной конюшней, Бутович по-своему объясняет, почему и зачем этому сапожнику понадобилось «печь пироги», иными словами, браться не за свое дело: «…Он решился увести Крепыша. Ему мерещилась Москва, Красная площадь. Он с Крепышом, которого спас от чехословаков, ждет Ленина. Вот выходит Ильич, жмет ему руку, благодарит. За ним ему чудится сочувствующая улыбка Троцкого…»

Злополучного сапожника Бутович не встречал, и что мерещилось головотяпу, понаделавшему роковых глупостей, только предполагал, а что Ленин с Троцким могли улыбнуться и даже пожать руку тому, кто спас Крепыша, ему было известно. Попов так и говорил: вожди революции решали, стоит ли короля русских рысаков спасать. Таков был основной мотив истории, как

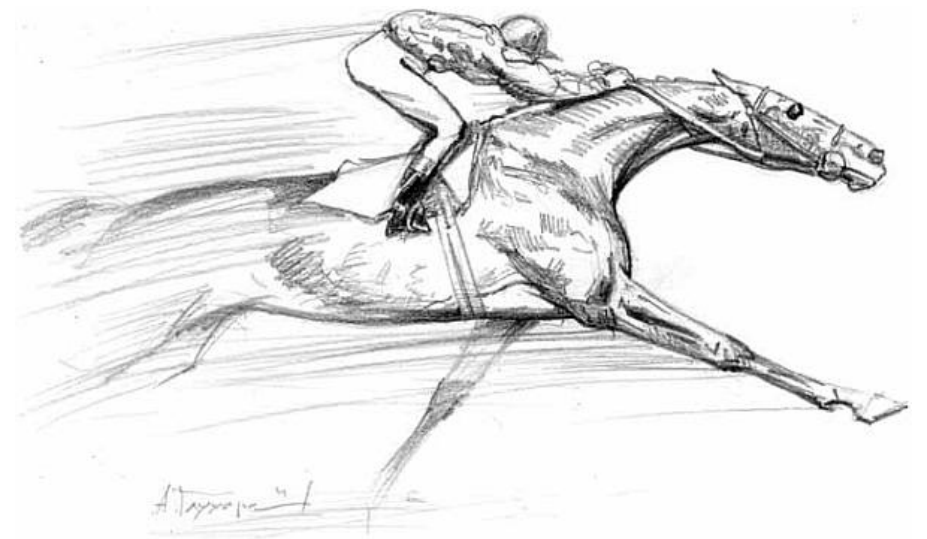
я ее услышал от Александра Ильича, и больше нигде я того же мотива не слышал.

Зачем вообще вождей тревожили, пусть даже о лошади столетия? Не то чтобы я Александру Ильичу или Михаилу Николаевичу не верил, но, сознаюсь, эта часть поповско-румянцевской версии вызывала у меня сомнения. Так ли уж было необходимо обращаться на самый верх по поводу перевозки всего-навсего одной-единственной лошади, если находился Крепыш далеко от Кремля, в Симбирске? Сомнения рассеялись, когда в альманахе «Минувшее» в числе архивных находок оказались опубликованы мемуары видного инженера-путейца, «буржуазного спеца», настолько незаменимого, что был он поставлен надзирать над железными дорогами России и при царе, и при Троцком, под началом которого, как известно, находился транспорт. О Крепыше в этих мемуарах, конечно, не содержалось ни слова, но там, на основании сведений из первых рук, со знанием дела, была воссоздана картина жесточайшей централизации перевозок. Мемуарист, казалось, отвечал на мой вопрос, подчеркивая и повторяя: без санкции Кремля ни одного товарного вагона по всей России нельзя было ни загрузить, ни прицепить к составу, ни тронуть с места. За своеволие отвечали головой. Выходит, старики знали, о чем говорили: чтобы вывезти и спасти Крепыша, обойтись без Ленина с Троцким было никак нельзя.

Согласно Попову, обращаясь к Ленину, первым делом сказали не «Крепыш», а – Симбирск! Так утверждал Александр Ильич. Отправленный после окончания своей призовой карьеры в те края, с началом Гражданской войны и под натиском наступавшего генерала Гайды, уникальный рысак был из завода графини Толстой (однофамилица великого писателя) переведен в город. Бутович настаивает, что сделано это было зря, как не было и необходимости перевозить Крепыша в Москву. Но значения сентиментально-местнического мотива я задним числом не преувеличиваю, не придумываю. Запомнилось, с каким нажимом именно об этом рассказывал незабвенный Александр Ильич: говоря Ленину о Симбирске, сыграли на «любви к отеческим гробам», на чувстве привязанности к «родному пепелищу», а такая любовь и такое чувство у вождя мировой революции, как ни парадоксально, видно, все-таки теплились. А Троцкого – что надо бы распорядиться насчет вагона – обрабатывали с двух сторон, как говорил Попов, не только из ленинской канцелярии, но также из Главмузея. Дали-таки вагон, а погрузить разборчивого рысака все равно не сумели. То ли его, упавшего с платформы, сапожник хватил поленом по голове, то ли солдат пристрелил у той же платформы. В любом варианте гибель Крепыша выглядит столь

же символичной, как и вся его жизнь. Прошла она в старой России и захватила Россию новую, и если в старой его нещадно эксплуатировали, то в новой – угробили: до революции инородцы с иностранцами им распоряжались, в революцию сапожник взялся его спасать – большего символизма, кажется, невозможно вообразить.

Фар-Лэп



Фар-Лэп означает «ослепительный блеск». Это – на языке австралийских аборигенов. Как «длинный прыжок», на английский манер, кличку прочитал в моем очерке из «Коневодства» и прислал мне письмо с критическим замечанием писатель Иван Ефремов. При встрече мы с ним объяснились, но я имел неосторожность тут же сморозить глупость, сказав, что фантаста, устремленного в космос и в будущее, вероятно, не интересуют земные твари, лошади. «Что?! – взорвался Ефремов. – Лошади мне безразличны? Как же вы смеете такое думать, да еще и говорить?» Разговор наш происходил в Малеевском Доме творчества за обеденным столом, и мой разгневанный собеседник стал глазами искать, какой бы тарелкой в меня запустить. Мы еще раз объяснились, а после я получил от Ивана Антоновича его чуть ли не запрещенный роман-бестселлер «Час быка», которого никто не мог достать, а я получил от самого автора еще и с автографом.

Судьба Фар-Лэпа соответствует его кличке: краткая, яркая и напряженная, как молния. Еще называли его Рыжий Ужас, и это передает впечатление, которое производил Фар-Лэп на соперников.

В скачке Фар-Лэпа обычно гандикапировали, то есть пускали со старта далеко позади всех лошадей и заставляли его нести лишний вес. Бывало, что до последнего поворота рыжий гигант так и держался в отдаленье, – но вот прямая, и, пожирая пространство и соперников вместе с ним, Рыжий Ужас надвигался

на конкурентов как смерч, как мор, словно стихийное бедствие. У финиша все прочие оказывались сзади.

Естественно, ему завидовали. За ним следили. В него стреляли. Жизнь Фар-Лэпа полна драматизма. Она, сверх всего, от рождения и до смерти знаменитой лошади овеяна тайной.

…Весной 1932 года после триумфальных побед у себя на родине Фар-Лэп в первый и, как оказалось, последний раз в своей жизни покинул Австралию и отправился в международное турне: Мексика, США, а затем планировалась Англия. В Мексике Фар-Лэп с блеском выиграл Большой гандикап. «Поздравляю», – пришла телеграмма из Англии, подписанная «Джордж». То был король Георг. Спустя два дня Фар-Лэп пересек границу Мексики и Соединенных Штатов и был поставлен в Калифорнии на ферме некоего Эдварда Д. Перри в двадцати пяти милях от Сан-Франциско. Здесь и разыгралась трагедия. После внезапной и краткой агонии прославленный скакун пал.

«Биографию» Фар-Лэпа прислал мне Алан Маршал, автор «Я умею прыгать через лужи» – эту книгу, насколько я знаю, наши мальчишки заучивают наизусть и на память цитируют повесть о мальчишеском мужестве. Сын объездчика Алан сесть на лошадь не мог, переболев полиомиелитом, оставшуюся жизнь проводил в инвалидном кресле. Упоминаю об этом, потому что образ этого прекрасного писателя-австралийца в моем представлении слит с историей выдающегося австралийского скакуна. Людей, видевших Фар-Лэпа, я не встречал. Но Алана знал хорошо, и выражение его глаз, когда говорил он о разыгравшейся трагедии, отражало чувства его народа.

* * *

В Австралию я попал с чтением лекций по линии Общества Дружбы. Моим спутником был журналист Виктор Линник, спецкорр «Правды». Он, я думаю, не откажется засвидетельствовать: при отлете из Москвы стал он свидетелем ситуации, годившейся для кинокомедии вроде «Иронии судьбы». В аэропорту «Шереметьево» Виктору по должности полагалась посадка через VIP-отделение для официальных лиц, там мы сняли и повесили на вешалку свои плащи. Когда же объявили посадку, то я совсем забыл, что часа за два до этого легкий плащ был мной надет вместо тяжелого осенне-зимнего пальто: ведь у антиподов было лето. А на вешалке оказалось точно такое же пальто, я его напялил, при этом, несколько удивляясь, что вроде бы мое пальто вдруг стало мне тесновато, и – припустился на самолёт. Вдогонку

мне раздался крик: «Как же тебя, ворюгу, заграницу выпускают?!». Кричал, понятно, владелец пальто, какое-то весьма официальное лицо. Успел я в двух словах объяснить ему, в чем дело, однако видел я по его глазам, что меня надо не выпускать куда бы то ни было, а держать взаперти и – построже.

С Виктором выступали мы по всей Австралии. Как только оказались в Мельбурне, уговорил я моего спутника пойти на Флемингтон, ипподром, где выступал Фар-Лэп. Приехали в пять утра, в темноте, и ничего не видели, а только слышали цокот копыт по асфальтированному настилу у выезда на круг и стук копыт о дорожку на галопе. Вышли на переезд у служебной беседки. Встретил Джек Франклин, прикидчик: важная должность, следит за пробными галопами, чтобы не «темнили» лощадей. «Здесь он выступал, здесь», – удостоверил прикидчик, указывая на дорожку прямо у себя под ногами. Он говорил о Фар-Лэпе, угадывая, что мы о нем спросим. Светало, или вернее, как-то вдруг рассвело, и засверкала зелень, лошадей пускали махом, пролетая мимо нас и – перед пустыми трибунами, выходя на прямую. Лошади работались по траве и по грунту. Жокеи – на невероятно высокой посадке – один за другим выезжали на круг. Джек то и дело пояснял: «Один из ведущих… Один из лучших…» Через десять дней на этом кругу разыграют Мельбурнский Кубок, который некогда взял Фар-Лэп. Пошли на конюшню к тренеру Лоусону. Жена его занималась собаками. «Нет того несчастья, которое бы не случалось с этой лошадью, – говорил тренер, указывая на главную надежду своей конюшни, всю в бинтах. – А лошадь хорошая – раз только скакала и выиграла». Взглянул на нас и говорит: «Здесь он выступал, здесь» – указывая на круг.

Удалось посетить и Национальный музей. Увидел я этот особый экспонат – мумифицированного Фар Лэпа. Здесь же седло, попоны, словом, все, что только можно показать ради эффекта присутствия, будто он и не умирал. Трогательно и о многом говорит как символ. Однако чучело, как и у нас в ленинградской Кунсткамере Лизетт Петра, разочаровывает. Здесь тем более, потому что тут же показывают документальный фильм, и рядом с кадрами, на которых запечатлен Фар Лэп, его подобие проигрывает. Пусть легендарный скакун был вислоух, но едва ли до такой, чуть ли не ослиной, степени, в морде совсем не осталось мужественности, а на крупе и на груди не видна мускулатура. Не чувствуется энергия, какой он был полон словно вулкан, и что, к счастью, все-таки сохранило кино.

* * *

Гибель Фар-Лэпа в свое время считалась таинственной, и, возможно, навсегда останется во многих отношениях тайной. Минуло более тридцати лет, и никто за это время не сделал разоблачительных признаний, не появилось существенных свидетельств в пользу той или иной версии. «С нас все еще спрашивается», – на вопрос о Фар-Лэпе мне ответил Джозеф Каскарелла, управляющий делами ипподрома Лорел. И больше ни слова. Лицо его приняло выражение серьезное и в то же время непроницаемое. Ни прибавить, ни убавить. Американец не оправдывался и ничего не отрицал.

Приходится скрупулезно восстанавливать историю.

Фар-Лэпа сопровождали пять человек: Дэвис Дж. Дэвис, совладелец (первым и основным владельцем был Телфорд, остававшийся в Австралии), Вильям Нильсен – ветфельдшер, Вильям Эллиот – жокей, Джек Мартин – конюшенный мальчик, и, наконец, бессменный конюх Фар-Лэпа Том Вудкок, тот самый, кто заслонил прославленного скакуна, когда в него стреляли бандиты.

Телфорд, основной владелец, словно предчувствуя беду, долго не соглашался отпустить своего воспитанника в чужие края. Однако энергичный Дэвис, которому уже снились баснословные выигрыши за океаном, уговорил патрона заключить контракт на зарубежные гастроли Фар-Лэпа. Не случайно также отказался ехать и не поехал с Фар-Лэпом его основной жокей Джим Пайк, в руках которого Фар-Лэп одержал наиболее значительные победы, увенчанные Мельбурнским призом 1931 года. Покидая родину, австралийцы постарались увезти с собой ради Фар-Лэпа как можно больше австралийского, как можно больше от своей земли. Корм, в том числе сено, был взят с собой из Австралии. Не исключено, однако, что это дало свои последствия. Нежнейшее австралийское сено со временем высохло, загрубело. Эдвард Перри, владелец роковой фермы, так и говорил, что австралийцы зря пичкали лошадь своим кормом.

При лошади неотлучно находились Нильсен, Эллиот, Мартин и Вудкок. Ветфельдшер, жокей и конюшенный мальчик спали на втором этаже конюшни, конюх – прямо у денника, где помещался Фар-Лэп. Вечером Вудкок дал коню обычную порцию сахара. Фар-Лэп спокойно дремал лежа, одетый в попону. В половине пятого утра конюх вновь пришел с сахаром. Бобби (как называли для краткости Фар-Лэпа, как наши конюхи какого-нибудь Первого Красавца зовут Петькой) не тронул сахар и выглядел совершенно иначе: больным и понурым. Спустился Нильсен и смерил температуру: чуть повышенная. Пришел Мартин, готовый к утренней работе. Он обратил внимание, что попона сорвана,

брюхо слегка вздуто.

Потом Фар-Лэпу стало как будто несколько лучше. Однако к одиннадцати часам состояние резко ухудшилось. Еще повысилась температура. Фар-Лэп пытался лечь в деннике. Его вывели на круг и стали по очереди водить. По-прежнему Фар-Лэп пытался лечь, еще больше вздулось брюхо. Нильсен сделал ему обезболивающий укол морфия. И фельдшеру и конюху стало ясно, что это не просто колики. Возникла мысль об отравлении. Не надеясь на себя, Нильсен бросился за помощью и вскоре привез главного ветеринара ближайшего ипподрома, доктора Карло Масорео.

Фар-Лэп как безумный шатался он из стороны в сторону, падал, со стоном катался по земле. Удалось опять завести его в денник. Он рухнул на пол. Вскоре после полудня гигант потянулся, сделал конвульсивную попытку встать. Кровь потоком хлынула из горла. И Фар-Лэпа, легендарного скакуна, гордости всей Австралии, не стало.

Прибыл самолетом Дэвис, срочно вызванный из Лос-Анджелеса, где он вел переговоры в Голливуде о фильме с участием Фар-Лэпа. Его первыми словами было: «Что скажет Телфорд, когда узнает, что я не застраховал лошадь!» Телфорд же первое время просто не верил, что свершившееся правда. Он, должно быть, вполне поверил, только когда получил сердце Фар-Лэпа, огромное сердце, превосходившее в два с половиной раза известный до того крупнейший экземпляр. Потоком пошли сообщения и телеграммы. В Австралии были приспущены флаги, радиопередачи прерывались время от времени траурной музыкой. Государственные заседания приостанавливались на несколько минут в молчании. Какой-то художник прямо на тротуаре нарисовал Фар-Лэпа под национальным флагом со словами: «Да упокоится в мире». Огромная и скорбная толпа окружила картину.

По вскрытии и предварительному исследованию Нильсен и Масорео сделали единодушный вывод, что смерть наступила вследствие какого-то желудочного отравления. «Что за отравление?» – возникал вопрос. Явилась мысль о намеренном покушении: «Так хотели приостановить триумфальное движение австралийского феномена по ипподромам Америки». Фар-Лэп пал накануне решающих схваток с класснейшими скакунами США. Губернатор штата Калифорния заявил: «Спортивная честь Америки поставлена под удар. Чтобы защитить ее, необходимо тщательное расследование смерти Фар-Лэпа».

Однако, хотя работали чуть ли не три специальные комиссии, в их деятельности и заключениях оказалось немало странных

пропусков, недосмотров, недомолвок. Что за подозрительные шарики видел один австралийский журналист на полу денника Фар-Лэпа? Журналисту этому удалось преодолеть кордон полиции, взявшей мертвого Фар-Лэпа под стражу, и даже спрятать в ботинке один шарик. Но в последнюю минуту его все-таки обыскали, шарик отняли. Больше этих шариков никто не видел. Правда, Вудкок, конюх, свидетельствует, что Фар-Лэп имел привычку катать шарики из кусков глины, которые собирал на полу.

Съел ли Фар-Лэп несколько листьев с деревьев, что росли неподалеку от конюшни и незадолго до этого были опрысканы ядовитой смесью? Смертельна ли доза мышьяка, найденного у него в желудке, если учесть, что лошади вообще давали для аппетита мышьяк? И стоит спросить о Фар-Лэпе конника-австралийца или американца, – как оба они помрачнеют: один потому, что полной правды о гибели Фар-Лэпа до сих пор нет, а другой потому, что на конноспортивной чести его страны все еще лежит тень.

* * *

Версия об отравлении Фар-Лэпа возрождается и вновь обсуждается. Австралийский ветеринар, доктор Айван Кепмсон пришел к выводу, что Фар-Лэп пал, получив смертельную дозу мышьяка. Однако его соотечественник профессор Роб Льюис счел эти выводы не вполне обоснованными: если Фар-Лэп и получил значительную дозу яда, то уже после смерти, когда его тушу обрабатывали мышьяком ради сохранности, делая чучело. А доктор Сайкс повторил старую версию – колики от нервного перенапряжения, то есть стресса, причем диагностика желудочных болей, поразивших гиганта-скакуна, в то время не была разработана. Вопрос остается открытым, и закрывать его, кажется, не собираются.

Победа Квадрата

Квадрат, всесоюзный чемпион орловской породы, был, конечно, самой прославленной лошадью, какую только мне посчастливилось узнать, что называется, покороче. Он, однако, до того прославлен, столь неизменно перечисляется вместе со знаменитостями вековой давности, что, глядя теперь на его фотографии в книгах по коневодству, на него, изваянного в камне или в бронзе, на него, ведомого под героическую музыку впереди парадов во главе породы, я с трудом верю самому себе: та ли это лошадь, на которой случалось мне ездить, обращаться к ней требовательно «Но-ое!» или же, напротив, одобрительно похлопывать по загривку или по плечу? Квадрат стал легендой, историей, а история – это ведь, как правило, нечто далекое и высокое, трудно до этого дотянуться, дотронуться, историю по плечу так, между прочим не похлопаешь.

Однако правда: после того как Квадрат завершил свою блистательную беговую карьеру и, ни разу не испытав на ипподроме горечи поражения, вернулся в родной завод, вырастивший и воспитавший его, мне разрешили на нем ездить – делать ему ежедневную проминку. И взялся я за вожжи, которые

совсем недавно держал прославленный наездник Александр Родионович Рощин.

Квадрат бежал двадцать раз, и двадцать раз он выигрывал, взяв все традиционные призы для рысаков, в каких только мог принимать участие соответственно двух, трех и четырех лет. Знатоки смотрели подозрительно на его не совсем безупречные ноги и несколько мягковатую спину. Но недочеты сложения Квадрат искупал сердцем. Понятие «сердце» обозначает у конников не только внутренний орган, а нечто более глубокое, самую душу лошади, ее способность вести борьбу на дорожке. Квадрат был бойцом. Он не просто подчинялся требованиям наездника, он сам, словно глубоко сознавая, что от него требуется, искал победы.

Бывают резвые, но какие-то бессмысленные рысаки: вылупил глаза, несется, и все тут! Иные не выдерживают соперничества или же не терпят лошади рядом. Менестрель, например, если захватывали и обходили его на финише, бросался кусать соперника, Травник был так робок (должно быть, от близорукости), что, сравнявшись с лидером, не решался высунуть впереди него хотя бы нос, чтобы оказаться все-таки первым у столба. Есть рысаки, на которых надо водить бег, тогда они до конца ни за что не уступят первенства. А другие лучше бросаются из-за спины, то есть сначала тянутся сзади за лошадьми и едут концом – на последней прямой. Квадрат выигрывал по-всякому. Случалось, водил бег, выдерживая от звонка до звонка страшнейший натиск. Бывало, едва успевал вырвать первенство броском. Он, как бы заодно с наездником, размышляя, оценивал мгновенно обстановку и выбирал нужную тактику.

Трудно пришлось ему при езде на Дерби. Вышло так, что главные его соперники равно выгадывали, если Квадрат останется сзади. Вот почему они, Маяк, Метеор и Тибет, должны были сообща бороться с Квадратом. На каждом ехал мастер, и Рощин с Квадратом могли быть уверены, что при малейшем просчете им несдобровать. Как по нотам их соперники, опытнейшие наездники, разыграли бег. При выходе на прямую Квадрат был прочно «заперт» со всех сторон: посажен в «коробку». Выигрывал Тибет. Однако на мгновение в прочном заслоне образовалась брешь, и Квадрат, быть может даже прежде своего наездника увидев лазейку, кинулся вперед. Четыре класснейших рысака неслись ухо в ухо и четверо столь же классных наездников резались в хлыстах: каждого из них финишная прямая вела к выигрышу приза призов – путь в историю! И конечно, судьбу Большого Всесоюзного Приза решили тут не только мастерские руки наездника, но и сердце лошади: Квадрат был опять первым.

И в преклонных годах, когда я ездил на нем, Квадрат-производитель, Квадрат-пенсионер не забывал ипподромных привычек. Он по-прежнему тонко чувствовал дорожку, лошадей рядом, чутко отзывался на руки и вожжи.

Он и детям своим передает это «сердце», пылкость и ум. А детей у него множество: больше пятисот! Среди них уже есть и ветераны, и чемпионы, и рекордсмены. Его сын Бокал, бежавший с успехом на многих ипподромах нашей страны и за рубежом, был прозван «железным» за свою стойкость в борьбе. Причем достоинства Квадрата как производителя сказались еще и в том, что он сумел дать детей резвее себя самого. Не только Бокал, но и Букет, а также Баловник и другие потомки Квадрата превысили рекорды отца.

Квадрат был по-прежнему бодр, хотя ему до четверти века оставалось недалеко. По человеческим меркам, это надо, увеличив раза в три, считать восьмой десяток. Все так же горел его глаз из-за решетки денника. И при взгляде на него являлась одна мысль: «Сколько же сердца у этой лошади!»

* * *

Квадрата уже давно нет. Есть памятник ему. Поставлен на том самом месте, где точно так же стоял он живой, и взор его, полный высокомерного снисхождения, был устремлен на меня. А я… Вот что больше половины столетия тому назад между нами произошло и что я сохранял в тайне на протяжении всей своей наездничьей карьеры, которая и без того была бесславной. А заключался секрет в том, что, только начавшись, карьера моя чуть было тут же не оборвалась. Едва не погубил я и себя, и Квадрата. Себя бы погубил, пожалуй, лишь во мнении окружающих. А коня…

Поручили мне проминку прославленного рысака. Заложили в рабочую качалку. Уселся я, взялся за вожжи. «Легким тротом езжай круга три, а с последнего поворота выпусти чуть резвей», – напутствовал меня заводской тренер Николай Григорьевич Панков. Хотите, верьте – хотите, нет, но то был действительно первый мой в жизни опыт рысистой езды. В руках у меня – Квадрат. Изъясняются со мной заправски, на особом конюшенном языке. И этот мой первый опыт мог оказаться последним. Я очутился на земле.

Каждый раз, стоит мне вспомнить тот момент, у меня мурашки бегут по спине. От конюшни дорога на заводской беговой круг шла между левадами, вдоль двух высоких

изгородей. Поглощенный сознанием своей высокой миссии выпустить рысака-рекордиста «порезвей», я взялся укорачивать вожжи. По литературе я знал: на ходу рысаки сильно тянут. Занятый вожжами, я невольно взял на себя одну из них, Квадрат с его чуткостью тут же отозвался, подал чуть вправо, и конец оглобли застрял в изгороди. Я ничего не заметил, а жеребец послушно продолжал движение, оглобля уперлась в стояк, качалка накренилась и – перевернулась.

Тут я и увидел над собой небо, а на голубом фоне гордую фигуру коня, который стоял как вкопанный, словно памятник самому себе. Если бы то был не Квадрат, который разве что не изъяснялся человеческим языком! Если бы Квадрату вздумалось проучить меня, бросившись куда глаза глядят! Словом, что стало бы… Нет, не со мной, я находился в том возрасте, о котором судят так: попав под машину, спрашиваешь себя, что стало с машиной. Что стало бы с эталонной лошадью? Что стало бы с людьми, отвечавшими за эту лошадь?

Быть может, лошади и не самые умные на свете существа, как это можно узнать из книг. Однако на всю жизнь запомнился мне устремленный на меня взгляд, в котором светилось проникновенное понимание. Квадрат стоял, и, правда, как статуя, не шевелясь. Он позволил мне подняться, он ждал, пока я выправлю качалку, разберу, наконец-то, вожжи, и мы сможем продолжать, как нам было велено, тренинг.

Сделав легким тротом три круга, я с поворота выпустил Квадрата вовсю… Могучий жеребец влег в вожжи, брызги пены, срываясь с удил, полетели мне в лицо. Прохладные брызги и еще ветер вроде как хотели остудить меня и заставить одуматься. И в самом деле, страшно было представить, чем могло это кончиться.

Из конников уже не осталось никого, кому не решился я сказать ни слова о случившемся. А было это в точности на том месте, возле левад, перед манежем, где теперь высится Квадрат— памятник, а тогда он, полный сил, замер, и взгляд его, казалось, говорил «Ну, уж ладно, горе-наездник, подымайся! Поехали!».

Участь «Апикса»

Арех (лат.) – вершина.

Из словаря

– Что?! – ушам не веря, я переспросил.

– Говорю тебе, кружки моет, – отвечал осведомленный собеседник, уточняя, – в баре.

Был я ещё слишком молод, чтобы от такого сообщения закружилась у меня голова, но удар по сознанию испытал я порядочный. Тогда же думал об услышанном написать. И название придумал. «Друг мой, это ты ли?..» – из «Цыганской венгерки» Аполлона Григорьева. Но тот же человек, доктор лошадиный, ветеринар, предостерег:

– И её со всеми поссоришь, и сам со всеми поссоришься.

Многих свидетелей уже нет. В особенности таких, кому ее история известна от начала и до конца. Помню первое её появление на ипподроме. Окинув её взглядом, маститый наездник высказался:

– Будет жить с мастером – будет ездить.

И стала она жить с мастером, с ним: ирония судьбы – определили её в помощники к нему на отделение. Получила лошадь в езду, и с первых же её выступлений стало ясно: руки – талант.

С мастером требовалось не только жить, но и пить. И на выпивку оказалась она партнером хоть куда. Мастер, далеко в годах, от чрезмерной нагрузки сдал и вскоре умер. А она жила уже с начальством. Ей и передали осиротевшее отделение.

Выигрывала. Публика стала принимать её всерьез. Даже шуточек на её счет не приходилось слышать. Один попробовал сказать, что заработала она себе отделение не ездой, а… Пришлось ему пожалеть о своем неосторожном замечании. Сам Саввич осудил такие слова. А Саввич, и наездник, и дамский ходок, был большой авторитет – все признавали.

Приехали американцы. Привезли Апикса-Гановера – так значилось в таможенных бумагах, с ним прибывших, и этого изменять не стали, хотя правильнее было бы Апекс. Со временем его кличку стали писать «Эйпекс-Гановер». В этом я участия не принимал. Был и остаюсь противником звукоподражания, иначе Гамлет стал бы у нас Хэмлетом. Создателя его, Вильяма Шекспира, сделали Уильямом, и я – против. *Панталоны, фрак, жилет* – таких слов в нашем языке не было. Вошли эти слова в

наш язык и, заметьте, язык наш, усвоив иностранные слова, сделал их произношение удобным и естественным для нас без подражания иностранному. В разговоре с иностранцем попробуйте те же слова произнести по-нашему, и он вас не поймет. Усвоено нашим языком и латинское слово *apex*, обозначающее всё, что наверху. Русского слова «эйпекс» – не знаю, на русском стараюсь говорить по-русски: слов хватает.

В конюшенном просторечьи жеребец звался «Апис», народная этимология придала кличке оттенок мистический, вроде египетского божества. И она его так называла. Если её знал я с первых шагов на ипподроме, то Апикса встречал на погрузочной. «Много в нем мужчины», – говорили знатоки. Сам Асигрит Иваныч Тюляев пришел посмотреть. Шепнул мне: «Гляжу и наслаждаюсь». А Тюляева патриотизму учить было бы излишне. Но тюляевский патриотизм – чувство знатока, наделенного пониманием, что есть порода.

Американский резвач выиграл Приз Мира. Владелец его прикинул, что везти жеребца обратно – себе дороже выйдет. Апикс-Гановер был поистине standardbred – стандартный ипподромный боец, тут же следом за чемпионами. Так мне сказал владелец. (Этот класс Апикс подтвердил и в потомстве: дети его, как и он, ехали в две минуты с четырьмя-пятью секундами, когда такая резвость у нас считалась рекордной.) Начались переговоры о живом обмене: за Апикса – годовичков. А когда обмен состоялся, и рысак-американец у нас остался, пошли пересуды, кому же из мастеров резвача отдадут в треннинг. Саввич предвидел: «Ей, кому же еще?».

Так и было. А что? Всё при ней, руки и в остальном, отрицать никто не отрицал. Она сумела утвердить себя в особом реномэ. У начальника, совсем большого, при мне спросили, не желает ли и он… Надо было слышать, как он ответил. Без сальной улыбки, просто и веско отказался за немощью. «Что вы, – сказал, – меня и на один гит не хватит».

А отдали бы Апикса кому из мужиков, пошла бы склока, если не хуже. В соперничестве за лошадей наездники пощады не знают. За что пристрелили Груду, так, положим, и осталось тайной, но уж старик Зотов, точно, под поезд бросился, после того, как обещал на Калибре особо резво приехать, а не заладилось.

Судьбы американского рысака и нашей одаренной наездницы слились. На отделении у неё «Аписа» чуть ли ни на руках носили и пылинки с него сдували. Несколько раз меня к ней на конюшню вызывали, чтобы я переводил коню-иностранцу изысканные выражения расположения и восторга. Из-за моего неисправимого

акцента четвероногий американец едва ли меня понимал (и двуногие не всегда понимают), но разговоры ему едва ли требовались. Видно было, в каких любимцах содержится.

Ездила она на нем в призах беспроигрышно. Даже американцы, ради неё, поступились своими правилами женщин не допускать, и она выступала там на Приз ООН. Осталась третьей, как и следовало ожидать, в компании крэков. А лошади и наездники, ехавшие тогда, ныне поминаются как фигуры легендарные, из героического эпоса. Не кто-нибудь, сам Бил Хоттон и сам Стэнли Дансер были её соперниками.

Жаловался мне на неё только ответственный за пиар, если воспользоваться этим новейшим изящным выражением. Тот эксперт паблисити, как положено, делая свое дело, раздул рекламу, создавая ей популярность, стал её в знаменитость превращать, повез в первоклассную парикмахерскую на Пятой Авеню, где причесывают высший свет, два часа там провели, сделали из неё американскую красотку, ей не понравилось, уж честила она его, уж честила. Понял перестаравшийся американец по тону, слов не понимал – меня при этом не было, однако он же мне показал видеозапись приза – ни Апикс, ни она не подкачали.

Последний раз мы с ней виделись, когда попросила она почитать, что пишет о ней американская пресса. Годы искушений и успеха развили в ней некоторую стервозность, но лишь некоторую, выносимую. А в целом – ладная личность. Щедро природа её одарила. Правда, по Григорьеву, нельзя было не вспомнить:

На тебе лежит печать
Буйного похмелья,
Горького веселья!

Пришло время Апиксу уходить в завод. Как без такого фаворита представить себе призы? И за границу выехать станет не с чем. Пробовали его и на племя использовать, и на ипподроме испытывать. Иначе говоря, две шкуры драли. Вот когда начал он злобиться. И у неё уже того подхода к нему не было – нервы подпортились. Раза два с качалки сняли в нетрезвом состоянии. Видели и в невменяемом. И вот она, международный мастер призовой езды, модель мировых куаферов, в пивном баре кружки моет. Собравшись писать, думал поехать поговорить с ней. Знающий человек, которому я доверял, отсоветовал. И больше о ней я не слыхал. Уже в наши дни читаю: ежегодно разыгрывается Приз её памяти…

Апикс ушел в завод. Начконом – дуролом. Пропойца. Из

ружья по самолетам, бывало, палил и ещё угрожающе кричал, словом, и от власти пьянел. Племенного заокеанского жеребца, с которого пылинки когда-то сдували, грубым обращением довели до того, что стал бросаться, то есть зубами кидаться на людей. Бился о стены денника. Денник перегородили проволокой. Зачем-то ноги проволокой стали опутывать. Сухожилия перетерли. Это последнее, что я о нем слышал. А начкона, который завод развалил, перевели в Главк. Когда мне об этом сказали, я не поверил, как не мог поверить, что *она моет кружки*. Но однажды мне было нужно в Главк позвонить, и я услыхал голос человека, который, от водки и власти впадая в неистовство, кричал, когда палил по самолетам. Он дал мне справку, а также попросил мою книжку «Жизнь замечательных лошадей». Сказал: «Не забудьте». Я не забыл, но не успел: книги находились по одну сторону океана, я по другую. А его скоро не стало – сгорел.

В справке об Апиксе, составленной, видно, сведущим летописцем ипподромов и конзаводов, читаю: «…Усыплен вследствии тяжелого перелома ноги… несчастный случай…» Со времен Крепыша, чья жизнь, по вине головотяпов, прекратилась из-за перелома ноги, не знаю, найдется ли, кроме Апикса-Гановера, пример преступно-нелепый, чтобы жертвой становился рысак экстракласса?

Цена «Песняра»

«Почему в годы холодной войны известный американский бизнесмен Арманд Хаммер приобрел в СССР за 1 млн. долларов на Терском конном заводе № 169 арабского жеребца Песняра?»

Из интернета 16-го октября 2010 г.

Всё ещё вспоминают, и нередко, нашумевшую в своё время покупку. Тому уже больше тридцати лет, а Песняр играет роль аргумента и контраргумента в переоценке политики за «железезным занавесом». Его не забывают, пересматривая влияние Лысенко и недоверие к генетике, на него ссылаются, поминая борьбу с космополитизмом и, напротив, взвешивая провозглашение «общечеловеческих ценностей» – словом, кое-чего из тогдашнего, что привело нас к теперешнему.

Начатая на памяти у моего поколения борьба с последствиями культа личности вызвала волну реабилитаций. Гласность времен перестройки подняла вал оправданий. В сталинские времена осужденное пересматривалось и пересматривается, что делать необходимо, но политическая реабилитация обычно отождествляется с профессиональной: раз человек политически осужден несправедливо, он оправдывается и профессионально. А на самом деле иного пострадавшего, быть может, надо бы судить и наказать, но не за то, за что его судили, не как «врага народа», а врага своей профессии. Надо разобраться – чего, как правило, не делали и не делают.

Поспешный и поверхностный подход, понятно, вызывает переоценку переоценки, и вот, вижу, поднимается встречная волна. Реабилитируют не жертв культа личности, оправдывают виновных в их гибели, и делается это опять на глазок и наспех: заодно с фактами и документами в дело идут слухи, легенды и домыслы. Нынешняя переоценка, несомненно, сама подвергнется переоценке, но чтобы колесо истории не вертелось в холостую, желательно располагать фактами *атомарными,* в исходном значении слова «атом», неделимый, дальнейшему расщеплению не подверженый, твердо означающий, *что, кто, где, когда*.

Почему Хаммер купил Песняра – ответить на этот вопрос, разумеется, выше моих сил. И не думаю, что кто-то надежным

ответом обладает. Ответа на вопрос о связях причинно-следственных в продаже Песняра не перестанут добиваться по мере открытия новых *что* и *кто*. Но о торговой трансакции, некогда наделавшей шуму и до сих пор поминаемой, я знаю кое-что из первых рук. Не коневод, а всего лишь конник-любитель и переводчик при коневодах, я слышал, что тогда говорили коневоды. Постараюсь внести уточнения в историю, снова и снова рассказываемую подчас, мне кажется, с излишним пылом.

Американец купил у нас лошадь, но что за американец и какая лошадь? Заокеанский нефтяной магнат заплатил – подумать только! – миллион, чтобы приобрести у нас жеребца. *Настолько наша лошадь была хороша* – кто на этом, как, например, Юрий Мухин, настаивает, тот обычно подчеркивает достоинства Песняра из соображений патриотических: наша лошадь, знай наших! Но ведь лошадь по породе была не наша – араб, покупка – политический жест, так это расценивали наши специалисты. Дали бы миллион за орловского рысака или буденновца – другой разговор, но истинно-наших лошадей пока никто за такие деньги не приобретал. И очень ли большие деньги? Миллион за араба – цена хорошая, спору нет, как цена араба, но за такие деньги не купить и одного копыта английского скакуна. Когда Арманд Хаммер, давний агент нашего влияния, делая жест, разорился на миллион за арабскую лошадь, то на мировом рынке за классного английского скакового жеребца давали – сколько? Пятьдесят четыре миллиона, а сейчас не только за скакуна, за американского рысака дают больше, в несколько раз больше.

Песняр был, что говорить, по себе хорош, но что в нём было особенного хорошего? С одной стороны, потомок арабских жеребцов и кобыл, тех, что ещё в двадцатых-тридцатых годах Буденный закупал в Англии у Леди Вентворт, внучки Байрона, а также у коннозаводчиков Турции. Породу хранили в чистоте – заслуга дорогого стоит, но всё же не так дорого, как было уплочено за Песняра. За наших арабов Терского завода и в отдаленном приближении таких денег не давали. Но Песняр – внук Асуана, в шестидесятых годах годах подаренного Насером. Кто Асуана видел, тот имел случай убедиться, как выглядит белая конская кость. Песняр – удачное сочетание уникальных породных линий, что и придало ему ценность. *Нашего*, кроме умения и труда по сохранению породы, в нем не было ничего. Умение и труд – феноменальные, учитывая наши условия.

Арманда Хаммера я только встречал, знать не знал, но видел, как его обхаживали, но что за этим стояло? Этого не знаю, но знаю, что он, нефтяной магнат, вытеснил из советско-

американских отношений другого магната – железнодорожного. Интересуетесь, почему Хаммер купил Песняра? Прежде задайтесь вопросом, почему мы на ходу, так сказать, переменили политических «лошадей»: вместо Сайруса Итона, которому сами же дали Ленинскую премию мира, сделали ставку на Арманда Хаммера, о котором уже тогда знали такую правду, что хуже всякой лжи.

Когда нас с доктором посылали к Итону с тройкой, ответственный работник ЦК нам говорил: Сайрус Итон не самый богатый человек в Америке, но деньги, что у него есть, его деньги. А про Хаммера я в американской прессе читал, что у него и денег не было, и никакой он не магнат. Происхождение всякого большого американского состояния – история не из благородных, но к тому времени, когда Сайрус Итон утвердился на международной арене, это уже был патриарх, покровитель наук, и к тому же скотовод в традиционном ковбойском стиле. А Хаммер был и оставался темной личностью. Вдаваться в это я не вдавался и вдаваться не буду: не моя сфера. Только знаю, что двум китам капитала в нашей политическом пространстве стало тесно. Почему – вопрос не ко мне. Но всякому должно быть ясно: чтобы ответить на вопрос, за что мы получили миллион, надо возыметь доступ к документам, а затем первоисточники изучить, этого ещё не сделано.

У Сайруса Итона я был за кучера и, кроме того, по его же поручению, выступал на телевидении и в школах, а о том, что Хаммер его вытеснял и вытеснил, услышал я уже после его смерти от Сайруса Итона-младшего. Сын рассказывал: встретились два деловых зубра на приеме в нашем же Посольстве, и железнодорожный король у нефтяного спросил: «Что же ты делаешь?» Тот ответил: «А вот так».

Ко мне Итон-младший обратился с просьбой поспособствовать восстановлению прежнего статуса, который занимал его отец. Много ли я мог ему помочь? Написал докладную в Президиум Академии Наук – свою головную организацию. Кроме того, с Итоном-фисом мы прошлись от Института мировой литературы, где я работал, до Союза писателей, где я состоял, – путь недолгий, через улицу, но на коротком переходе встречались знакомые, и я представлял им своего спутника. Откликом наших людей на его фамилию сын Итона был, надо признать, впечатлен (выражаясь современным русским языком). «Видите, – говорю ему, – ваше имя знает народ, а вы просите помощи всего лишь у меня! Лучше обращайтесь сразу на тот уровень, где принимали и почитали вашего отца». Сам я в ответ на свои запросы получал нечто «простое, как

мычание»: ответы невразумительные. Тогда я думал, это есть некая недоступная моему пониманию большая политика. Теперь мы знаем, что в ту пору формировалась и поднималась прослойка *компрадорская*: государственные служащие, что себя не забывают, когда служат на благо государства. Дальнейшее уже за пределами истории с Песняром, тем более, что вскоре и Арманд Хаммер переселился туда же, где поджидал его соперник Сайрус Итон. Насколько история меня коснулась, настолько, читая про баснословную по нашим понятиям покупку, вижу: в значительной мере, болтовня бездоказательная.

Песняра приводят в доказательство эффективности лысенковских селекционных методов, делая это опять-таки из соображений патриотических, точнее, узко-националистических, ещё точнее, провинциально-местнических, дескать, учить нас нечего, мы и сами с усами, шапками кого хочешь закидаем, вот же дали нам миллион за нашу лошадь!

Насколько я слышал, лысенковские методы к выведению и выращиванию исключительно породного жеребца отношения не имели. Песняр – подтверждение тезиса профессора Витта: хотите получить по-настоящему ценных лошадей – откройтесь миру. Но когда Витт выдвигал свой тезис, опубликовать книгу об этом он смог лишь в неподцензурном, в продажу не поступавшем, ограниченном издании Московского ипподрома, тираж – сотня экземпляров, что по тем временам и за тираж не считали. (В те же самые, недоброй памяти, времена мой дед-воздухоплаватель числился в лжеученых-космополитах.) Целую стопку книги Витта «Чистокровные породы лошадей» обнаружил я в долматовском кабинете, а мне приходилось нередко там сидеть в одиночестве и часто по ночам в ожидании международных телефонных звонков и результатов наших заокеанских выступлений. Открыл книгу, и передо мной распахнулось окно, через которое можно было увидеть конный мир без границ.

Конская кровь циркулирует по планете, утверждал Витт, вспоминая многовековую мудрость коневодов: «Без полукровных нет чистокровных». Не обязательно пересекать границу, но важно иметь достаточное количество лошадей. У нас ежегодно рождалось сотни полторы чистокровных жеребят, а в Америке – десятки тысяч. А ведь главное – блад-пул, резервуар племенного материала, возможность выбора и число сочетаний. Успех приносит иногда соединение далеких друг от друга линий, иногда наоборот – близких. Таковы причуды наследственности.

На скачках международные успехи, начиная с конца 50-х годов (раньше мы не выступали), оказались для нас возможны благодаря тому, что после войны по репарации из Германии мы

получили высококлассных английских племенных жеребцов. Купить производителей такого класса мы бы не смогли и до сих пор не можем. На бегах наши рысаки успешно выступали за границей в 20-х годах, но то были остатки прежней роскоши – метисы дореволюционных кровей. Затем кровь долгое время не освежалась, дело стало затухать. Повысили у нас рысаки резвость, когда опять, уже в 60-х годах, стали приливать американскую кровь. А теперь даже та резвость, что показывали потомки Апикса-Гановера, стала у нас не в диковинку.

Породы, тщательно сохраняемые в чистоте, как те же арабы, дают изумительных лошадей, нет арабам равных по экстерьеру, нраву и выносливости. Однако если мерилом скакового класса служит финишный столб, то соревноваться с английскими чистокровными арабы негодны. Прекрасны в местных условиях кабардинцы, карабахи, иомуды, башкирцы и другие породы, известные в нашей стране, но чтобы достойно, на мировом уровне, принять участие в соревнованиях по преодолению препятствий, тех же лошадей, незаменимых для домашних целей, приходится что называется улучшать, прибавляя им в росте и резвости приливом всё той же английской крови.

Однако доказавшая свой скаковой класс так называемая «чистокровная» кровь не чиста. В Англию она пришла из аравийских пустынь и, возможно, из Туркменских степей, смешалась с другими кровями и путем длительного отбора дала скакунов, называемых у нас чистокровными, хотя профессор Витт полагал, что слово thoroughbred надо переводить как образцово-выведенные. Образцовость определялась одним – резвостью.

Современные туркменские ахалтекинцы оказываются конкурентно-способны опять-таки в результате прилива той же крови. Улучшенным ахалтекинцем был, очевидно, Олимпийский чемпион Абсент. Говорю «очевидно» – мне об этом говорили, знавшие его происхождение, но широко об улучшении предпочитали не упоминать. Зато теперь пошла мода на чистопородных ахалтекинцев, разумеется, смотря по тому, как их хотят использовать. Своего рода круг. Переводил же я однажды совет нашего знающего зоотехника англичанину-ветеринару испробовать ахалтекинца на чистокровных кобылах. Зачем? У этих кобыл в родословной кровь предков ахалтекинцев – аргамаков-туркоманов: инбридинг!

Возвращение на круги своя дает иногда поразительные результаты. На этом строил свой метод чародей-заводчик, итальянец Федериго Тезио, создатель Рибо – лошади столетия. Что такое Рибо, можно посмотреть по ю-тюб: в Призе Триумфальной Арки, привлекающем цвет чистокровных, он

уходит от высококлассных соперников, как от стоячих. А почитайте в книге Тезио, как он этого Рибо и прочих своих резвачей, вроде Ботичелли, получил. Не самых резвых родителей подбирал, а наиболее друг другу подходящих. Что значит «подходящих»? В каком отношении «наиболее»? Секрет селекции, которым владел чародей из Дормелло (и о котором писал профессор Витт) – это возможность широкого выбора и нужного подбора. Конечно, кому что требуется. Владелец обувной фабрики, а также конзавода «Гановер-Шуфармз», где родился Апикс, приехал к нам отбирать годовичков, а также хотел купить у нас старую арабскую кобылу. Именно старую, именно арабскую, и у нас. Почему у нас, опять же не знаю. Возможно, тоже хотел жест сделать. Но знаю, зачем ему понадобилась кобыла арабская и старая. Правда, сначала он озадачил нас, когда кобылу осматривал: подошел к ней сзади и дернул за хвост. Дернул и пояснил: «Нет нянки лучше пожилой арабской кобылы». Оказалось, обувной король-коннозаводчик хотел, чтобы его маленькие внуки ползали у неё под ногами, а она стояла бы не шевелясь, как стояла, когда дернули её за хвост.

Не ставлю под сомнение ни прав, ни намерений тех, кто считает нужным заново защищать Лысенко, подвергать критике генетику и вспоминать Песняра, пользуясь им как аргументом против генетики и клонирования в пользу натуральных способов производства потомства. «Лысенко прав!» – мы некогда слышали даже из-за рубежа. Но также слышали: «Лысенко отождествляет успех своих исследований с достижениями советского сельского хозяйства, поэтому любой выпад против него выдает за подрыв социалистического государства», – таково было мнение стороннего наблюдателя, относившегося к Лысенко терпимо и даже одобрительно. Считая его «одаренным агрономом», иностранный автор признавал некоторую правоту Лысенко в критическом отношении к генетике. Но, говорил тот же автор, беда в том, что свою малую правоту (а таковая, как частный случай, в самом деле бесспорна) Лысенко доказывает большой ложью.[4]

Критике должно подлежать всё, что угодно. Как защищать и как критиковать! Помню, друзья-физики мне рассказывали: одна московская ремонтная контора опровергла второй закон термодинамики, но оказалось, что к своим феноменальным результатам ремонтники пришли благодаря тому, что у них электропроводка была неисправна. Давайте признаем правоту того же Лысенко, в чем он был прав, но давайте и критике его подвергнем, в чем ошибался.

Способ доказательства правоты, избранный Лысенко,

называется демагогией, об этом спора тоже быть не может. И тот же способ, к сожалению, используют нынешние его сторонники, говоря в первую очередь, что Лысенко биолог советский и русский, павший жертвой очернительства инородных сил. Но кто вовсе не склонен сбрасывать его со счетов (как делают антилысенковцы, представляющие его безграмотным ничтожеством), те определяют его так: Лысенко – фанатик, Савонарола советской науки. Встретившись с ним однажды на конюшне лицом к лицу, берусь это подтвердить – с внешней стороны. Что в принципе значит Савонарола, мне известно, но по существу обсуждать фанатизм в биологии – не моего ума дело. Однако, от сына-генетика (и от брата-физика) слышал: специальные представления о том, что такое ген (или квант) имеют мало общего с представлениями популярными и, тем более, обывательскими.

Борьба с генетикой – времена моего детства, но и в годы зрелости приходилось видеть, как у нас косились на генетику. Сам Витт шел на тактические уступки Лысенко! А в 80-х годах американцы предложили нам обсудить Московскую генетическую школу, которая, не будь уничтожена, пришла бы к тем результатам, которых в 50-х годах достигли Уотсон и Крик: двойная спираль, структура наследственности.

Предложение изучить нашу Московскую школу было сделано американцами на заседании Советско-Американской Комиссии. Моё дело было – проекты по литературоведению, в остальном я сидел и слушал. Слышу – американцы заговорили о Четверикове (глава школы и родственник моего школьного друга). Наши и слышать не хотят. Наклонился я к сидевшему рядом сотруднику Президиума Академии и говорю: «Это же выдающаяся величина – наш козырь!». А он: «Вы что – биолог?». Нет, говорю, отец биолога. Сотрудник прошипел мне в ухо: «Отец биолога, заткнитесь!».

Словом, слыхали. Или, как ещё говорится, проходили. Видел, как дед писал «Вранье!» и «Ложь!» на полях псевдопатриотеческих книг, где говорилось «первые взлетели» о тех, кто не летал и даже не существовал. И надо же! Опять, как ни в чем не бывало, читаю – «первые» и «взлетели». Поэтому при чтении чрезмерных похвал «нашей» лошади, которая *не* наша, мой внутренний голос начинает петь: «Мне все здесь на па-амять при-но-сит бы-ылое…» Чтобы действительно восстановить историческую справедливость, говоря *наша лошадь,* надо знать, что за лошадь, иначе опять пойдут разговоры, какие уже слышали: мало того, что за большие деньги продаем наших лошадей, мы вообще – родина слонов. А нечто в этом роде сейчас, как ни дико, приходится и слышать, и

читать.

Подоплека отчаянной схватки между участниками движений попятных и поступательных широка и глубока, а веяния времени границ не имеют. Сейчас в Америке, словно в Средние века или эпоху индустриальной революции, целые пласты населения, единоличники-фермеры и предприниматели так называемого «малого бизнеса», отжили своё. Что делать, они не знают, и никто не знает, что с ними делать. А они, другой дороги не находя, упрямо, как подчиняющаяся зову предков рыба в нерест, прут, вылупив глаза, против хода времени. Кричат «Надо спасать свободную рыночную экономику!», хотя знающие финансисты им говорят: «Свободной рыночной экономики уже давно нигде не существует». (Положим, мы взялись её вводить, но у нас, известно, всё делается, как бы это сказать, ничей слух не оскорбляя, *обратно*, словно мы живем в Стране чудес.)

Случается в США слышать, а в российской прессе читать такие споры и такие доводы, что начинаешь опасаться за свой рассудок. История ничему и никого не учит, давно известно, но среди бела дня отрицают и науку, и технику пользующиеся завоеваниями науки и техники. По американскому телевидению один спрошеный недавно заявил, что в эволюцию не верит, а на вопрос, пойдет ли он к знахарю, который подобно ему Дарвина не признает, или же к врачу, который получил диплом, теорию Дарвина изучая, ответил: «Конечно, к врачу». И по глазам было видно, человек не осознает, что противоречит самому себе.

Такие массовые психозы в литературе называются *историческим бредом*. Но одно дело о катастрофических ситуациях читать, другое – видеть своими глазами и слышать своими ушами. Войну и бомбежки вспоминать не стану. Не буду вспоминать и сталинских похорон, рядом с нашим домом на Пушкинской, когда я уцелел только потому, что едва высунулся из нашего парадного, как меня человеческим шквалом ударило о грузовик и забросило назад, в парадное, больше уж я не делал попыток высунуться.

Но вот мы попали в шторм, когда морем доставляли в Англию лошадей, с тех пор каждый раз, если вижу картины маринистов, как Айвазовский, или читаю «Прощай, свободная стихия…», к видениям играющих волн на полотне и в поэзии, добавляются строки из путевых заметок Диккенса: в качку нельзя понять, где пол – где потолок. Потому добавляются – испытал. Вместе с образцовыми описаниями перед глазами у меня возникает дыбом, до неба, встающая палуба, и память обжигает мысль о том, что трех лошадей у нас закачало – не довезли. Потонуть мы не потонули, и не могли, пожалуй, потонуть, но

нагляделись и – понесли потери, положим, лишь среди лошадей, а всё же незабываемо-поучительно. Как сказал поэт, «жаль рыжих, не увидевших земли», а что если сам в общем потоке попадешь в число потерь?

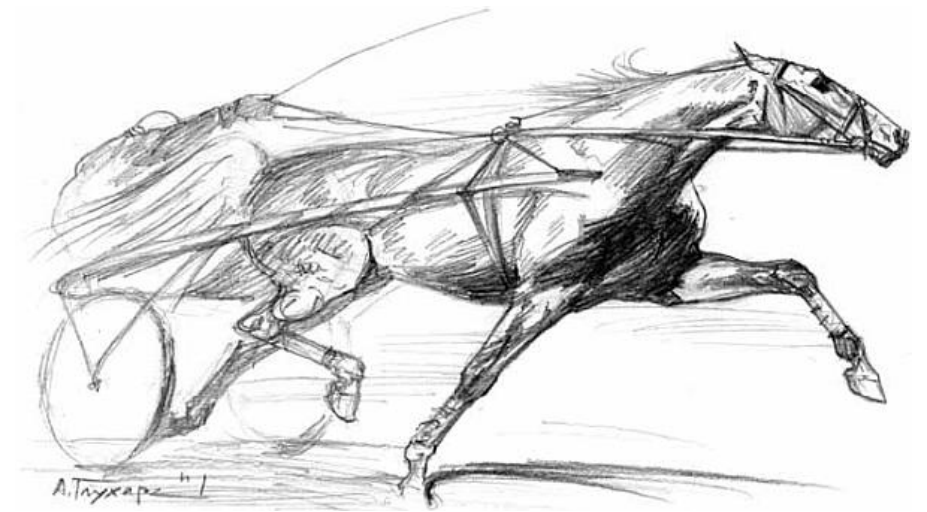
Если люди растерялись, то растерявшиеся часто начинают бредить, сказал философ. Так что не дай Бог попасться на дороге тем, кто, объятые страхом, готовы, подобно стаду, броситься в пропасть, сметая все на своем пути и увлекая тех, кто лететь, очертя голову, не собирался. А что до лошадей, иностранных и наших, повезло: такие, как Саввич и Асигрит Иваныч, отучили попусту, дела не зная, молоть языком. Однажды я восхитился «Прекрасная лошадь!», однако знатоки меня осадили: «Ты об этом судить не можешь».

Люди возле лошадей

«В лошади есть нечто такое, что ублажает нам душу»

Уинстон Черчилль

Финский посыл
Из рассказов наездника Петра Васильевича Гречкина



Две минуты и несколько секунд продолжается бег на обычную дистанцию 1600 метров – один круг. Наездника можно спросить о любом моменте борьбы на дорожке – он расскажет, и мгновение, секунда, доля секунды растянется в целую повесть: множество переживаний, событий. Как в знаменитой новелле Амброза Бирса: пока обреченный падает с моста вниз, ему вспоминается вся его жизнь.

Так и наездники. Стоит, например, поинтересоваться у Петра Васильевича Гречкина (его называют только так), почему проиграл он на последних метрах «нос», он подробно изложит некую повесть временных лет. В тот момент, когда, кажется, люди и лошади просто неслись к финишу, не помня себя, наездник наблюдал, словно Пимен, что творилось слева, справа, впереди и даже далеко сзади. «Я подъехал в две пятнадцать, – скажет Петр Васильевич, – а Борис (тот, что был где-то позади него) в две шестнадцать с половиной».

Удивительно также, что Петр Васильевич, грузный, могучий, у которого при разговоре обо всех прочих вещах вырываются шумы какие-то, а не слова, говоря о лошадях, выражается так: «Взгляните, до чего гармоничны движения у этой лысенькой кобылки!» или: «Боже, с каким расчетом и мужеством Флеминг провел весь бег…» Но вот окликнули его: «Петр Васильевич! Пойдите сюда на минуту». Он ответит так, что не только бумага,

но стены конюшни едва выдержат. Рысаки поводят ушами. И снова говорит наездник о лошадях: «Прелесть, а не характер у моего гнедого…»

Таковы чудеса конного мира. Мне, хотя я и ездил на призы, самому особенных чудес не удалось испытать. Деревянное напряжение парализует на старте и особенно в беге. Я после езды не помнил почти ничего. Сам не свой – так и есть. А для настоящего наездника со звонком только и начинается жизнь. Он тоже волнуется. Среди опытнейших мастеров попадаются до того нервные, что каждый приз – голос дрожит, щеки землистые и папироса за папиросой. Я не то чтобы чересчур волновался. Иногда я совсем не волновался. А все-таки не различал, пока шел бег, ничего в подробностях. Две минуты для меня не растягивались, две минуты и продолжались две минуты. То был мгновенный прочерк. А наездник расскажет все. Будто все совершалось не минуту, а час, даже день: такое количество всяких наблюдений и соображений у него за время бега накапливается.

Петр Васильевич Гречкин не исключение. Так говорит едва ли не всякий наездник. Просто мне приходилось слушать его особенно часто. Стоило его спросить про финский посыл…

– Я говорю им, – начинал Петр Васильевич, – это же Ягодка. Ягодка!

Петра Васильевича с его серым Гужком послали в Хельсинки на Международные призы. Гужку было три года, он только начинал бегать, а когда Петр Васильевич приехал в Хельсинки и посмотрел соперников, он сразу узнал – Ягодка! Правда, звалась она теперь не Ягодка, а Пехлеви-Ану, но Петр-то Васильевич тотчас увидел: это Ягодка, классная кобыла, купленная некогда финнами у нас. Так не делают: лошадей необходимо гандикапировать, то есть на старте уравнять их по возрасту и по резвости. Ягодка, или Пехлеви-Ану, была старшего возраста и в расцвете сил. Петр Васильевич заявил в судейскую. Стали выяснять. «Позвольте, – говорят, – это Ягодка?» – «Да, – отвечают, – Ягодка. Вы как хотите, а мы ее с приза не снимем».

Петр Васильевич взял свой особый хлыст.

– Он у меня до тех пор этого хлыста еще не видел, – сказал Петр Васильевич про Гужка.

Дали старт. Финны принимают сначала страшно резво. Лошади приучены вылетать пулей.

– А мне бы только не соскочить, – говорит Петр Васильевич, то есть не сбиться, только бы хватило у Гужка рыси и не перешел он в галоп.

Гужку на старте мешали его задние ноги, длинные и мощные. В них его резвость, но ему трудно было сначала «разобраться

ходом», встать на четкую, правильную рысь. Задние ноги действовали слишком энергично, передние, не успевая, пускались скакать. Выручила сила Петра Васильевича. Пальцы слипаются и ноют, если Гречкин пожмет руку. Этими стальными рычагами наездник и налег на вожжи. Он взял Гужка на себя, но не сдерживал, не тормозил его, а, высылая и высылая вперед, буквально нес жеребца на вожжах, на руках. Гужок горячился, кипел. У него был свой азарт. И он нервничал, видя лошадей, несущихся впереди. Тут и взяли своё железные руки Петра Васильевича Гречкина.

Гужок выстоял. Петр Васильевич взглянул на секундомер, зажатый вместе с вожжой в левой руке: «Резво!» Он прикинул, как примерно получится первая четверть круга – четыреста метров, и осмотрелся. Надо было занять место поудобнее. «Дорога впереди еще длинная», – подумал Петр Васильевич.

И вдруг прямо перед носом Гужка у финского наездника сбилась лошадь. Гужок прыгнул в сторону.

– Я вижу, – говорит Петр Васильевич, – в колесо финну он левой передней попадет. Обязательно попадет! Деваться некуда…

И наездник резко взял на себя. Гужок не выдержал и заскакал.

– Сбой у него мертвый. Думаю, как бы проскачки не получилось.

А есть такое правило: если рысак делает двенадцать скачков галопом, это считается проскачкой, и призового места лошадь лишается. «Эх, Ягодка!» – подумал Петр Васильевич.

А Пехлеви-Ану, она же Ягодка, неслась где-то во главе бега.

– Надо было лишние кабуры положить и довески, – рассуждал про себя Петр Васильевич, между тем как Гужок, словно театральная кукла, дергался на вожжах. – Говорил я Ереме, положи кабуры…

Кабуры и довески – это все из многочисленной беговой «обуви», различные приспособления, которые надеваются рысакам на ноги, на копыта, с тем, чтобы сбалансировать ход лошади. А Ерема – конюх Гужка…

– Поймал я серого на сбою, – рассказывает Петр Васильевич, – поставил на ход. Но, вижу, потерял много. Догонять надо!

Прошли первую четверть, Петр Васильевич еще раз взглянул на секундомер и опять осмотрелся. «Резво!»

Но финны фактически едут фальшпейсом. Иными словами, после резвого приема они сбавляют темп и подстерегают друг друга до последнего поворота, а там опять бросаются что есть сил.

– Тут я их и пошел считать, – говорит Петр Васильевич.

Он все высылал и высылал Гужка, заставляя наверстывать упущенное. Близилась первая половина круга.

* * *

Трудно писать о действии. «Действуя, не задумываешься», – так говорят. Внутренние мотивы действия едва поддаются выражению в словах, потому, должно быть, что действие и есть выражение, оно сильнее и выразительнее, чем любая литературная условность. До или после действия для описаний – простор. «Не знаю, что зачать», – так переводили у нас в архаические времена гамлетовское «Быть или не быть?», то есть неясное, расплывчатое, еще не оформившееся состояние междудействия, ищущее выхода, само нуждается в словах. Кажется, и в этот момент слова подыскиваются с трудом. «Мне недостает мыслей, чтобы думать», – говорит Гамлет. Но уж если слово найдено, оно оказывается уместно, необходимо. Оно облегчает. А действию слово не нужно; действие – дело, между словом и делом, даже и при гармоническом их соответствии друг другу, все же остается некое извечное противоречие, взаимоисключение. Потому так прекрасно созданное в литературе о покое, о печали, о переходных этапах от слов к делу, но трудно поддается словесному выражению уже выразившееся через действие в самой жизни. И Петр Васильевич Гречкин передает, и я за ним стараюсь повторить, в сущности, короткие интермедии – промежутки между его поступками.

* * *

За первым поворотом по противоположной прямой Гужок шел хорошо. Вот теперь показали себя его задние ноги. На длинном и низком ходу серый жеребец стлался над дорожкой. Петр Васильевич только приговаривал, успокаивая и лошадь и себя самого: «О, маленький! О-о-о!»

Гужок старался. Однако решительный момент наступил. Финны передохнули и готовились к финальному броску. Близок был последний поворот. Петру Васильевичу с Гужком надо было занять место поудобнее – у бровки. Но перед ними было еще много соперников, и они, конечно, не собирались пропускать Гужка вперед с внутренней стороны. Полем, пожалуйста!

– Третьим колесом меня загнули! – вспоминал Петр

Васильевич.

Это значит, что еще две лошади шли рядом в борьбе за место у бровки, а Петру Васильевичу пришлось объезжать их кругом – третьим.

Гужку досталось. Однако перевести дух было некогда. «Уходит Ягодка… Уходит!» – следил Петр Васильевич за главной опасностью.

– Петр Васильевич, не подведи! – крикнул ему руководитель нашей команды, стоявший в последнем повороте.

Петр Васильевич хотел было ответить, но только подумал…

Гужок стриганул ушами. «Эх, – рассуждал про себя Петр Васильевич, – трехлетний жеребец! На чем дома буду ездить? Что от него после этой езды останется…» И поднял хлыст.

Гужок прижал уши. Он, чувствуя посыл, весь прижался, приник к дорожке, словно желая ускользнуть от нависающего хлыста. Петр Васильевич подымал хлыст, но все-таки продолжал держать и уговаривать: «О-о-о!»

– Он крупный и длинный, – говорил Петр Васильевич, – ему повороты с трудом даются.

В повороте задние ноги опять начинают мешать Гужку: они со всей силой толкают его, а перед не поспевает. Здесь того и гляди, возможна засечка: ударит заднее копыто по передней ноге – и опять сбой! Пришлось Петру Васильевичу вновь принять жеребца на себя и поддерживать его в повороте вожжами.

Над ухом у Петра Васильевича пыхтел финский рысак, прерывистое дыхание едва не обжигало щеку. Будто невзначай, Петр Васильевич перекинул хлыст на плечо и – дыхание пропало. Задняя лошадь испугалась хлыста, сбилась и отпала. Конечно, Петр Васильевич поступил не совсем по правилам. «Ничего, – подумал Петр Васильевич, – одним меньше». Даже судьи, сопровождавшие весь бег в открытом автомобиле, не заметили его маневра.

Последний поворот пройден. Финишная прямая. И Петр Васильевич опять поднял над Гужком хлыст. Он знал, что требует от жеребца чрезмерного. Гужок честно отдал все, что следовало. Однако нужна победа. Ягодка была впереди.

Петр Васильевич Гречкин взял вожжи в одну руку. Правую ногу, чтобы как можно дальше податься корпусом вперед, он снял с проножки (род стремени на беговой качалке). Хлыст наездник занес над головой. То был особый хлыст, специальный, длиннее обычного и с бычьей жилой на самом конце. Изо всех сил Петр Васильевич Гречкин крикнул: «Э-эй! Не отдай!» Он ударил не по спине и не под оглоблю – по пузу, куда обычно бьют, если спина ударов уже не чувствует.

– Я ему под лопатку, под лопатку заглянул я ему, – сказал Петр Васильевич Гречкин.

Бычьей жилой достал он едва не под передние ноги, и Гужок внял отчаянному посылу по-своему. И снова раздалось на весь ипподром: «Э-эй!». Петр Васильевич имел обыкновение, посылая хлыстом, кричать так, будто это его бьют, будто душа у него готова расстаться с его внушительной смертной оболочкой. «Дай тысячу рублей, так нарочно не крикнешь», – говорил про эдакий вопль знаменитый актер-рассказчик Горбунов. Но нельзя сказать, чтобы Петр Васильевич Гречкин кричал себя не помня. Нет, он прежде всего ясно видел, что задумал финский наездник, управлявший Ягодкой. Пришла и Петра Васильевича очередь испытать на себе наездничьи штучки. Гужок обходил Ягодку с поля – справа. По бровке, по внутренней стороне, дороги, конечно, не было. Но как только серый начал равняться с кобылой, финский наездник тоже стал клониться вправо, мешая Гужку, удлиняя ему путь.

«Колесам конец», – подумал Петр Васильевич.

Затрещали оси. Но не таков Петр Васильевич Гречкин, чтобы сама земля, хотя бы и разверзнувшись перед ним бездной, могла его остановить. Он только еще выше поднял и вожжи и хлыст. Он слышал, как шина лопнула.

– У меня ли, у Кескинена, смотреть не стал, – говорит наездник.

Он напрягся всем телом, согнул ноги в коленях и толкнул что было сил качалку вперед. Со стороны это выглядело, будто он пнул в круп Гужка. А Гужок шел по инерции, уже не отвечая на посыл. Нечем. И только от толчка жеребец чуть подался – нос, шея впереди Ягодки, она же Пехлеви-Ану. И это была победа.

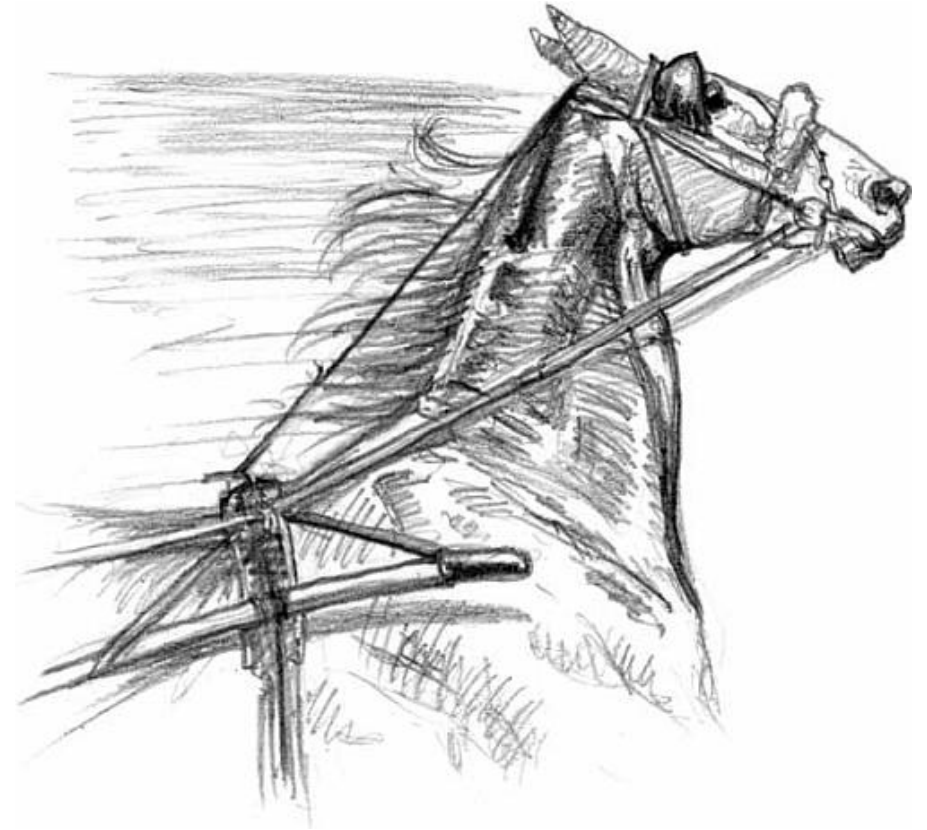
– Мне часто приходилось видеть, – сказал финский судья, вручая Петру Васильевичу кубок, – как лошадь лягает наездника, но я в жизни еще не видел, чтобы наездник лягал лошадь. Поздравляю!

* * *

Из всех фрагментов в книжке этот единственный вызвал неудовольствие мастеров. Грошев, правда, промолчал, а Ратомский сказал: «Это глупость». Дело давнее, но я продолжаю себя спрашивать, что же их возмутило. Сказать, что описанное неправда, никто из них не сказал. Впрочем, Ратомский мне объяснил: такой посыл непродуктивен, удар хлыстом под передние ноги только мешает лошади. У Гречкина могло быть

свое мнение, и я двум мастерам не судья. Психологически же некоторым не понравилась жестокость. Опытный тренер Рогалев возмутился: «Почитайте – финский посыл!» Разговор о жестокости уведет нас слишком далеко. Можно ли без нее обойтись? Иные обходились. Скажем, отец Ратомского ездил вообще без хлыста. Из мастеров наших дней, например, Ползунова хлыст только показывала, и этому Алла научилась у Щельцына, на тренотделении которого начинала как помнаездника. Но даже Грошев, гуманный мастер, считал, что иногда проучить необходимо, что, однако, он поручал помощникам. Ирбек Кантемиров при мне сразу после представления попросил у присутствующих прощения за то, что отлучится на конюшню: «Внушение надо сделать», – и удалился, прихватив с собой бич. Нельзя не понуждать и не наказывать, но, как и с людьми, важно, чтобы ясно было – за что.

Трагик и «Гамлет»



Совпадения иногда заставляют заметить себя: заканчивая филологический факультет, я писал работу о «Гамлете», и тогда же мне поручили двухлетка по кличке Трагик. От него многого ждали – последний сын Тибета, а Тибет составил славу Тульского конного завода. Совпадения продолжались: нас с Трагиком записали на приз в первом заезде, это было наше первое выступление, и выпал мне первый номер. Так на конюшне и говорили:

– Оправдай номер! – стало быть, и останься первым.

Великий Грошев еще ездил тогда. На конюшне его называли «Сам». Я думаю, это традиция еще античная. Древние о хозяине дома говорили: «Сам сказал». А о Григории Дмитриевиче высказывались так: «Сам велел вываживать». Или, если его просили ко внутреннему телефону: «Сам на дорожке». Он-то и дал мне Трагика в постоянный тренинг.

Вечером, накануне езды, у меня было удивительное

спокойствие. Я вовсе не был уверен, что «оправдаю номер», но я как-то и не думал об этом. Сила совпадений уравновешивала меня. После уборки опытнейший тренер подошел ко мне и дрожащим голосом произнес:

– Ну, спите спокойно…

Меня охватила паника. Грошев дрожит! Я стал волноваться, как мог. На другой день совпадения были совпадениями: первый раз на приз, первый заезд, первый номер и только одно нарушение: я остался на Трагике вторым. В последнем повороте он хорошо бросился, отвечая на посыл, и почти захватывал лидера.

Вел Александр Александрович Сорокин на Гениальной.

Красная лента через плечо его белого камзола на момент возникла у самого носа Трагика.

А я увлекся, закричал, слегка бросил вожжи, и Трагик, лишившись поддержки, сбился. Из завода пришло Грошеву письмо: «Григорий Дмитриевич! Если сами не хотите садиться на наших классных лошадей, то отдайте лучше помощнику. А вы кого сажаете?»

И конюх Костя, убиравший Трагика, хотя и не знал о совпадениях, но так верил в «оправдай номер», что после приза, ползая у Трагика под ногами и снимая ногавки и козырьки, растерянно бормотал:

– Как же это? Как же? Образованный человек… Ведь образованный человек!

Грошев черкнул хлыстом по полу:

– Образованных много, вот умных мало.

Я уже написал работу про «Гамлета», когда у меня взяли Трагика, а взамен я получил Горку, кобылу трех лет. «Ве́рхом», то есть спиной, почкой, она была хороша. «Ве́рхом просто Гильдеец», – так судили о ней. Значит, очертаниями шеи, спины и крупа напоминала эта кобылка легендарного Гильдейца, к линии которого она с отцовской стороны принадлежала. Однако ноги, ноги! Никудышный товар, пустое дело. Все на ней упражнялись. И Сам садился, и его помощник Морин пробовал работать, а Горка «считала столбы»: не шла ходом, сбиваясь возле каждого фонаря, что окружают для освещения дорожку. И приездка у нее была поперек оглобель боком. Короче, дрянь. Работал я ее в качалке, ездил часа по три, работал в хомуте, чтобы заставить тянуть и идти ровно, шагал под седлом. Едва только, чтобы своевольно свернуть с дорожки, валилась она на оглоблю, я показывал ей хлыст. Приучил. Потом – экзамены, тренинг пришлось прервать; на кобылке стали ездить по-прежнему: круг – и на конюшню. Когда же снова я взялся за вожжи, она, должно быть, не признала

меня и сразу, когда ей вздумалось, повернула к дому. «Что такое?» – произнес я укоризненно. Кобылка совсем встала. Оглянулась. «Ах, – прочел я у нее по глазам, – это опять ты!» И будто никакого недоразумения между нами и не было, она послушно затрусила по кругу. Но спорости на ходу у нее так и не прибавилось.

– Ты ее, – говорили на конюшне, – запряги задом наперед.

Это потому, что все уже было испробовано.

В апреле Грошев записал нас на приз. Была среда, безветренная погода, дорожка сухая, легкая. Проминка вышла еще ничего, а на фальстартах, то есть на пробных приемах перед самым стартом, Горка взялась скакать.

Николай Морин, который сейчас сам уже ездит за мастера, а в то время был у Грошева помощником, подбежал ко мне:

– Чек выше на дырочку! – и сам же подтянул чуть-чуть ремень, который держит на упоре голову лошади. Длина чека вместе с «обувью» – тем, что лошадь несет на ногах, – ключ всей сборки, а стало быть, и секрет хода.

Я поражен был тогда и по-прежнему занят этим, потому что в себе самом едва ли могу найти силы для такого же профессионального бескорыстия. Морин, проиграв на Горке, мне помог на ней выиграть. Знал я, знал и Николай, что, если мне удастся езда, Сам после общих неудач во всеуслышание на его, Николая же Морина счет, скажет ему в упрек: «Вот как ездить надо».

Глаз у Морина был точен. Горка с этим чеком пошла как часы. Не шевельнув вожжами и не тронув хлыстом, я оказался первым.

Приехал в паддок, где отпрягают. Встал на весы. На конюшне поздравляли с громким криком.

Сам черкнул хлыстом по песку:

– Вот как ездить надо.

Как женился Лешка Аист

Лешка Аист, жокей и художник, внук известного философа, а также брат еще более известной балерины, получил в езду классного жеребца. Клички его я не помню, однако точно это был отличный скакун, победитель дистанционных призов. Ипподромная карьера его закончилась, его купило одно из спортивных обществ, и Лешка готовил его теперь к барьерной скачке. Наше знакомство с Лешкой состоялось при разговоре:

– Мальчишкой я десять километров в день топал, чтобы сесть или хотя бы посмотреть на лошадь, – сделал признание Лешка.

– А я – восемь.

Все ясно. Лешкиной идеей было достать двухлетка: он скачет, я – тренер, сначала «темним», потом решающий приз. Победа. Триумф.

Наконец действительно Лешку записали в барьерную скачку на Глухаре. Все у него было особенное – картуз, сапоги и хлыст исключительный. Картуз он у кого-то выменял. Сапоги извлек из семейной рухляди. А хлыст Лешкина знаменитая сестра, прима-танцовщица Большого Театра, привезла ему в подарок то ли из Лондона, то ли из Парижа. В последнем повороте Лешку зажали в «коробку», однако на прямой он вырвался и, лихо пуская хлыст колесом по пальцам, был первым у столба.

После этого Лешка стал мечтать о стипль-чезе.

Стипль-чез – сложнейший, во всяком случае наиболее

опасный, вид конного спорта. Это скачка на длинную дистанцию с разнообразными препятствиями, высотными и широтными, а главное – «мертвыми», то есть устроенными накрепко. При ударе они не распадаются, как конкурные барьеры, – падает вместе с всадником лошадь. Традиция стипль-чезов идет из Англии, точнее, Ирландии, где в середине XVIII века увлекались скачками по пересеченной местности от колокольни (по-английски – стипль) до колокольни, от селения до селения. Скакали местные жители, хорошо знавшие по округе все канавы, подъемы, спуски и ручейки. Потом стипль-чез перешел в Англию и наконец развернулся на специальной дистанции возле Ливерпуля в традиционный Большой Национальный приз. Если когда-то обязательным условием стипль-чезов было только два участника, то теперь, напротив, в Ливерпуле стартует иногда до сорока лошадей. А заканчивает дистанцию, случается, лишь четвертая часть: остальные падают, сходят с дистанции. Бывают и гибельные случаи. Таков стипль-чез.

У нас подобием стипль-чеза были прежде Красносельские скачки для офицеров, и Толстой в «Анне Карениной» описал их. Скакал стипль-чезы и Сухово-Кобылин, драматург, автор бессмертной «тарелкинской» трилогии. Из наших писателей он являлся, несомненно, самым выдающимся всадником. Человек он был штатский, но как конника его следует поставить рядом с кадровым кавалеристом Лермонтовым, если даже не еще выше: скакал стипль-чезы, и удачно скакал. Но успех Сухово-Кобылина затеняла мрачная история с убийством его любовницы Симон Диманш, в котором подозревали его самого. Когда Сухово-Кобылин взял наконец большой приз, царь отказался вручать ему награду, потому что при этом нужно было бы пожать руку победителю. Однако такие конские состязания в России и не привились. Стипль-чез у нас оказался забыт.

Лешка, задумав стипль-чез, печатает грозную статейку. «О чем думают конноспортивные школы? До каких пор?! Или нет спортсменов? Лошадей?» – и подписывает другим именем.

Конноспортивные школы заскребли в затылках: «По-пали!» А на пороге уже Лешка Аист.

– Леша! Ты кстати. Ты скакал барьерные скачки, так не проедешь ли от нашей команды в стипль-чезе? Печать заела. Придется, видно, в этом году его на первенстве устраивать. Леша?

– Пожалуй, – отвечает Аист.

Вот и купили порядочную лошадь. Начинается тренировка. Выезжает однажды Лешка утром на дорожку, видит: глаза и волосы. Погиб. Подскакивает:

– Могу ли иметь честь… Хотел бы предложить… Если угодно

прокатиться…

Он не так, конечно, говорил, но он именно это желал сказать. Ему отвечают:

– Что ж… Как-нибудь… Я подумаю… Достаточно ли хороша лошадь… Можно ли на вас полагаться?..

Говорили не так, но имели в виду как раз это.

Лешка взвился. Шаг сделан. И вовсе не затем, чтобы ответить на вопрос, и не ради чего-нибудь показного, а так – от полета чувств, разобрал повод, перекинул хлыст и помчался по дистанции. Он оставлял позади барьер за барьером. На глухой стене с канавой полетел вместе с лошадью вверх ногами. Жеребец – насмерть. Лешка – головой в землю. Хлыст из рук, однако, не выпустил.

Почему же, спрашивается, не выпустил он из рук хлыста?

Ответ: а вдруг украдут.

Спустя несколько дней они стали мужем и женой.

Профан или Профиль?

Виталий Дорофеев, мастер спорта, остался третьим в первенстве СССР по троеборью; выездка, кросс и преодоление препятствий. Он ехал на чистопородном арабском жеребце Профане. Некоторое время мы с ним не виделись. Виктор писал диссертацию «Использование двигательно-пищевых условных рефлексов в подготовке молодой лошади». Снимал кинокамерой и анализировал подход к препятствию, отталкивание, подъем, подвисание и т. д. Кроме собственного опыта он опирался на книги Наталии Дуровой, а также использовал труд польского автора «Возможность взаимопонимания». Когда же мы с ним снова встретились, он, между прочим, упомянул:

– Мой Профиль…

– Какой Профиль? Ведь у тебя же был Профан?

– Теперь он Профиль.

Начальство сочло, что для призера первенства «Профан» не годится. Предложили – «Профессор». Но эта кличка какая-то кошачья. Кота сибирского можно Профессором звать, а не арабского жеребца. Пожалуйста, придумывай еще, только никаких Профанов! Что еще за Профан? Где это Профан? Почему? Не Профессор, так Профиль.

Рыжик, как для себя звал Виталий прежнего Профана, а теперешнего Профиля, от клички не переменился. Был все так же вдумчив и по-прежнему старательно прыгал через барьеры, которые подымались выше него самого. Но кличка – облик, все что прежде, казалось, отвечает в лошади имени Профан: вислые уши, белая лысина по храпу, рыжая простодушная масть – для Профиля стало ни к чему, обезличилось.

«Дать жеребенку имя – дело непростое», – было сказано в талантливом фильме, нашем раннем боевике «Смелые люди». Едва ли не вся страна, посмотревшая фильм, осознала, в чем сложность. Рысистым и верховым лошадям клички даются по-разному. И оттенок, и смак у них разный. Рысаку выбирают имя с начальной буквой по матери, стараясь, чтобы в середине попала и буква отца. Улов от Ловчего и Удачной, Квадрат от Пролива и Керамики. У скаковых бывает и по матери и по отцу: Гранит 2-й от Тагора и Глицинии, Грог 2-й от Гранита 2-го и Гипотезы, Герань от Грога 2-го и Радуги, Проза от Парт-Фоора и Риторики. Кавалеристы же предпочитают по отцу. Пошло это еще от Растопчина. А одно время ввели правило лошадей всех пород называть по отцу. Профан, кстати, назван был по отцу – от Прибоя или Померанца, точно не помню. А его соконюшенник

Канкан (от Корея), также не удержался в своем звании. В газетах как-то промелькнуло: плохой танец канкан! И Канкан сделался на другой день Капканом. У нас на конюшне была кобыла Амнистия. Вдруг в самом деле объявляется прощение преступникам. Нельзя! Могут понять как намек. Пусть Амнистия будет Алмазная. А Дарлинг в ходе борьбы с космополитизмом стал Дорогим.

Как иногда возникают клички? В них отражается колорит времени, в них запечатлелись пристрастия заводчика и цели племенной работы. Знаменитый Малютин верил только в орловцев, он не признавал ни чистопородных американцев, ни метисов. Однажды, впрочем, ему пришлось уступить настояниям женщины, и он купил американскую кобылу Биг-Мейд. От нее и прославленного Леля родилась кобылка, которую Малютин назвал Быть Может. И хотя, как говорят, Быть Может оправдала надежду, выраженную в ее причудливой кличке, бежала удачно, Малютин навсегда отказался от скрещивания. Правда, он еще раз случил Биг-Мейд. На этот раз родился жеребец, и Малютин, назвав его Брось Мудрить, тут же подарил его вместе с Быть Может своей симпатии.

Хотя бы по чередованию стилей, торжеству того или другого пошиба в подборе конских кличек видны перемены в конской охоте, рысистом деле. Со времен легендарного Сметанного, или Сметанки, давшего всему корень, Полкана – прародителя, и Барса 1-го – родоначальника, и далее ко всем некогда гремевшим Бычкам, Кроликам, Атласным, Милым, Почтенным, Потешным и Пылюгам чувствуется в каждом имени нечто домашнее, уютное, что слышно, скажем, и в названии тургеневского дивана «Самосон» или толстовской рощицы – Старый Заказ. Это один язык, один склад жизни, где собаку зовут Заругай, коня – Надежный, кота – Тимофей Иванович, а канарейку или скворца – Утешительный. Деревня, дом, лес, река – все в этом мире наделено именами, означающими индивидуальность, «домашность» отношения со стороны живущих в этом мире. Тут и возникает семейный круг, круг знакомств, связей, «свой круг», «круг чтения».

Чем ближе к новейшему времени, тем все слышнее по кличкам, как отдаляется лошадь от человека. Центурион, Тальони, Патруль, Кронпринц – знаменитости начала XX века, – что «домашнего» в этих именах? Цеппелин, Авиация вторят конским кличкам или конские клички вторят названиям промышленных фирм, вывескам богатых магазинов, контор, оказываются созвучны понятиям, часто попадающимся вокруг. А если и возникало личное, то либо что-нибудь декадентское – Безнадежная Ласка, или же купеческий «модерн» – Барин

Молодой, Эх-Ма…

Прежде рысака могли назвать и Баловень и Директор, но, во всяком случае, владелец что-то хотел этим сказать, и владельцу та или другая кличка о чем-то говорила, связывала его со «своим». А тут возникает и растет безразличная серийность, лошади не называются, как получают имя творения рук человеческих, а обозначаются чем угодно, что только ни попадается под руку: Профессор, Портфель, Престиж, Погон и т. п.

Не всегда, конечно. Традиция живет. Должно быть в кличке лошади нечто особое! Опытный коневод Александр Ильич Попов, истощивший свою фантазию в поисках имен на «Б» (от Бравурного), а потом на «К» (от Квадрата), попросил меня однажды помочь ему придумать с десяток названий для только что родившихся жеребят. Что ж особенного? А между тем Попов ни одного предложения не принял, все мои клички забраковал.

– Призового жеребца, – рассуждал он, – нельзя назвать Красавец Мужчина, Красавец Геркулес или какой-нибудь Знакомый Красавец – вот!

– Почему?

– Невозможно вам объяснить… – вздыхал Александр Ильич. – Чувство на это должно быть, чувство!

Прошло время, и Профиль вместо Профан резануло слух – вспомнился сам собой урок.

Прилепские времена

Из года в год слушал я Александра Ильича Попова, начальника конной части Московского конзавода. Рассказы были замечательные. Любимым словом рассказчика было – по охоте, от души. О лошадях Попов говорил самозабвенно, воодушевляясь до такой степени, что обращался ко мне:

– Помните, в 12-м году под знаменем Яков Иванович выводит гнездо одномастных кобыл…

– Александр Ильич! Как же я могу это помнить?

Тут он замечал, что говорит с молодым человеком, годным ему во внуки, задумывался, должно быть, прикидывая, как же далеко ушло время, о котором он с таким жаром повествует. Заслуженный зоотехник РСФСР, орденоносец, был он скрытой контрой, жил прошлым и в прошлом. Знаменитые заводчики, ремонтеры, выдающиеся знатоки породы озарили его молодость, и во взгляде у него я всегда читал: «Вам не видать таких сражений…»

Помня девятьсот двенадцатый год и светло-серых кобыл под известно каким знаменем, он сам на Всесоюзной выставке блеснул белизной, породностью и фамильным сходством заводских маток из семейства Гички, разве что под другим знаменем. «Ах, Александр Ильич, – поразились все, – картина!» Он сделал это по воспоминаниям, во имя дорогих воспоминаний.

В Александре Ильиче сразу же чувствовалось, как глубоко укоренен он в своем деле. С гимназических лет стал он лошадником-любителем, и уже тогда к мнению Саши Попова прислушивались маститые «охотники» бегов. Однако по образованию он был… юристом. И завкафедрой коневодства Витт был юристом. И Хосроев, автор учебника по рысистому тренингу. Я спрашивал, почему? Александр Ильич объяснил: «От страха».

Начал он работать по специальности при ревтрибунале юрист-консультом, и председатель ему говорит: «Когда я ложу резолюцию синим – читай, вникай! А если красным, читать не нужно: это значит в расход». И столько, признавался Попов, насмотрелся он красных резолюций, что при первой же возможности сменил профессию.

Что-то в том же роде произошло и с другими юристами, сделавшимися специалистами по лошадям, как выразился Попов, от страха. А его самого спас случай. В поезде Тула-Москва оказался он в одном купе с главой Гукона Глебовым, из тех бывших, в экспертизе которых нуждался новый режим. В дороге, как водится, разговорились, в результате Попов оказался в своем

мире, лошадей.

Спаситель Попова, влиятельный конник, это – отец Петра Глебова, актера, что прославился в кино исполнением роли Григория Мелехова в фильме по «Тихому Дону». У друзей-актеров я спрашивал, почему же ему, хорошо передавшему тип донского казака, не подобрали соответственную Аксинью, а у нас таковой была, несомненно, Нонна Мордюкова. А потому, было мне объяснено, что у Петра кость тонка, он же из Глебовых, рядом с такой натуральной казачкой, какой была Мордюкова, ему бы роль не удалась.

Другой сын того же Глебова, Федор, художник, был вылитый отец. Мы, мальчишки, возглавляемые Василием Ливановым, другом моим со школьных лет, тогда ещё будущей кинознаменитостью, прихватив с собой «дядю Федю», с внешностью красавца-мужчины и нравом печального мальчика, приехали на конзавод. Прихватили, чтобы представить Попову и тем самым показать, что мы с ним свои люди. Еще прежде чем успели мы рот открыть, чтобы назвать, как мы думали, – незнакомца, Александр Ильич, понимавший не только в породе лошадиной, лишь взглянул и – сразу: «Вы Глебов?». Тогда излюбленная Толстым поговорка «порода сказывается», обрела в моих глазах оправдание. А нам, мальчишкам, за счет этой встречи навсегда оказалась открыта дорога на конзавод.

Попов был знатоком-виртуозом. «Ведь я и пыль в глаза пустить умею», – посмеивался Александр Ильич. Надо же проверить покупателя или же просто собеседника, насколько понимает в лошадях. Но как? Расхваливать никудышный товар – недостойный прием барышников. И Александр Ильич говорит правду:

– Эта лошадь никогда не была первой у столба!

Но говорит он это с таким восторгом, что неискушенному слышится: «Перед вами непобедимый ипподромный боец!»

Многие из навыков и приемов Александр Ильич перенял от своего старшего друга и сотрудника, Якова Ивановича Бутовича, в том числе он унаследовал от него склонность патронировать иппическому искусству, оказывая поддержку художникам, пишущим картины с изображением лошадей. Как жанр коннозаводский портрет требует зрения двойного – нужно понимать природу живописи и экстерьер лошадей. Ведь это картины, имеющие не только художественную ценность, но и практическое назначение. В прежние времена, когда перевозка лошадей была проблемой, их нередко покупали по портретам. Так что на полотне кровную лошадь требовалось изобразить так, как демонстрируют ее на выводке, чтобы знаток видел стати этой

лошадь, стоит ли ее приобретать. Живописность и вообще искусство в данном случае отодвигались на второй план, главное – достоверность, правильный постанов, чтобы мускулатура и вся конституция были видны. Поэтому живописцы, считавшие себя прежде всего художниками, творцами произведений искусства, рассматривали коннозаводские портреты как нечто их недостойное. Если Серов написал Летучего, то сколько ему Малютин заплатил? Но в суровые времена войн, революций и вообще разрухи выбирать не приходится, особенно нашей революции, когда власть оказалась не только в руках революционеров-политиков, но и революционеров от искусства. Средства были ограничены, всем не хватало, распределение же шло в пользу творческого авангарда, а традиционалисты, способные изобразить лошадь похожей на лошадь, оказывались не у дел, проще говоря, без куска хлеба. Выручали их коневоды, кормить художников им было не накладно, и художникам при лошадях неголодно. В Прилепах, благодаря протекции Попова, пристроился будущий академик живописи Георгий Савицкий, который прежде понятия не имел о коннозаводских портретах, а тут начал с того, что написал Кипариса. А уже на Первом Московском заводе, продолжая ту же традицию, Попов дал приют Борису Преображенскому, и тот запечатлел ему всех производителей, среди них – Пролива, отца Квадрата. В том и другом случае, как говорил Александр Ильич, оплата осуществлялась в порядке натурального обмена – картины за картошку.

Итак, Бутович. О нем Попов вспоминал постоянно и с особым воодушевлением. Это, конечно, фигура на целый роман. Перескажу лишь один случай. В начале все тех же бурных 1920-х годов, когда Александра Ильича назначили управляющим в Прилепы, а Яков Иванович заведовал там музеем, состоявшим из его собственной коллекции коннозаводских портретов, пригласили их в Тулу на бега. Как известно, сразу после революции Бутович обратился к советскому правительству с просьбой принять в государственное владение его заводское и музейное имущество. Прилепская коллекция картин, которая дала начало нынешнему Музею коневодства, оценивалась тогда в два миллиона. Революция расколола семейство Бутовичей. Старший брат, Владимир Иванович, тот самый, чьи авантюры легли в основу знаменитого рассказа «Изумруд», отправился за границу и хотел было увести с собой не только Прилепский, но и Хреновской конный завод. Иными словами, страна лишилась бы основы своей исконной рысистой орловской породы. «Нет, – сказал Яков Иванович, – хотя и жаль своё отдавать, но пусть этим

владеет наш хам, но только не западный лавочник!»

Словом, Александр Ильич и Яков Иванович отправились в Тулу выступать перед собранием Губсельтреста – говорить о породе. Говорил, разумеется, Яков Иванович.

Не мог я помнить кобыл под знаменем, не мог слышать Бутовича, но я видел его рукописи: слог – свободная речь, «говорит, как пишет». Представляю, как это звучало и выглядело. «По типу эта лошадь, несомненно, русская, если так можно выразиться, былинная…» Короче, говорилось по охоте и с блеском. Надо учесть, сверх того, силу внутренней веры в значение лошади, в особенности рысистой, да еще орловской, той веры, какой жило то поколение конников, для которого роль лошади оставалась универсальной. Ведь не ради картинности, не ради выводки или выставки спешил впоследствии Попов на пустом месте сформировать конный завод, на лошадях которого Красная кавалерия тут же шла в бой. И в Тулу съехались не ради краснобайства, а послушать больших знатоков, пусть классово чуждых, и решить, как развивать коневодство дальше.

Съехались тужурки, пиджаки, гимнастерки, буденновки, съехалось новое начальство, вставшее во главе заводов. Из этих людей Александр Ильич, при всей своей оппозиционности, с благодарностью вспоминал некоего Мухина. То был совсем другой человек, не тот, что требовал не читать, когда «ложил» он резолюцию красными чернилами. И Мухин писать мог всего-навсего так: «Надысь отказал и таперича тоже. Муха». Однако малограмотной рукой водила светлая голова, и корявые письмена содержали здравый смысл: отказывал «Муха» тем, кому и с точки зрения просвещенного знатока лошадей следовало отказать. Яков же Иванович при виде тужурок не мог не поморщиться. Сидело в нем неисправимое барское фанфаронство. Недаром же кто помнит Бутовича прежде всего говорит: «Умен был! Умен», а затем «Но ар-рап!». На тужурки Бутович смотрел свысока, он на всех смотрел свысока, «большим барином», а ведь этого самого вальяжного Якова Ивановича Лев Николаевич Толстой не признал как соседа. Водворившись в Прилепах, поехал Бутович в Ясную Поляну представиться, его приняли, поговорили сухо и… разошлись. «Лошадиный» рассказ Куприна Толстой ставил высоко, но, видимо, слыхал он и о фактической подоплеке всей истории, связанной с семейкой из Каспер-Николаевского уезда Херсонской губернии. Херсонский помещик, подобно Чичикову, Бутович вполне был бы уместен среди гоголевских персонажей, сочетая в себе ноздревскую силу и удаль, а также и неразборчивость в средствах. И, не отнимешь, понимание орловской лошади. Ради лошадей ему многое прощали, и он, при

встрече с классовыми врагами, все забыл и – заговорил. Бутович шел как бы в последний бой, вызов бросал: «Вот как у нас было! Посмотрим, на что вы, нынешние, окажетесь способны!» Однако такие, как Муха, все подобное оставляли без внимания и по делу внимали каждому слову исключительного специалиста – заклятого врага.

– Тихо было, как в церкви, – вспоминал Александр Ильич и на некоторое время умолкал.

Он слушал неразличимый для меня голос глубокой памяти, который, вероятно, повторял ему слово в слово речь Бутовича.

Потом посыпались записки, вопросы, и ответы потребовали еще целой лекции. Остался в руках у оратора последний клочок бумаги.

– Граждане, – обратился Яков Иванович в зал, – есть еще один вопрос. Но, однако, не знаю, стоит ли зачитывать. К нашей беседе записка прямого касательства не имеет.

– Читайте! – кричат. – Всё читайте!

И Бутович прочел: «Уважаемый Яков Иванович! Думаете ли Вы, сидя в собственном заводе директором, что все еще может вернуться и быть по-старому?»

После этого Александр Ильич опять умолкал, видимо, переживая в который раз смертельную тишину, установившуюся тогда в зале.

На парадоксальное свое положение в заводе Бутович сам смотрел с иронией. «Показываю музей, – говорил он, – вот зал помещика, вот картины, собранные помещиком, а вот и сам помещик». И все ждали, что же об этой двусмысленной ситуации скажет знаменитейший заводчик.

– Признаюсь, – начал Яков Иванович, – что приславший эту записку прочел мои мысли.

– Я, – говорил Александр Ильич, – стал искать глазами двери.

– Потому что, – продолжал Бутович, – когда вечером в одиночестве сижу у себя в кабинете, смотрю на собранные мною картины, и курю еще оставшиеся у меня гаванские сигары, кажется мне, будто все по-прежнему и будет так вечно. Но утром мой Никанорыч, ныне смотритель музея, приходит и докладывает: «Вставайте, барин, наше начальство, господин комиссар, приехали!» И я, увидев отвратительную рожу комиссара Пупырышкина, понимаю, что все ушло и ушло безвозвратно!

Следует опять-таки представить себе авторитет выдающегося коннозаводчика, власть славного имени, силу только что произнесенного картинного слова, открывшего тайны и горизонты племенного дела, наконец, фигуру «большого барина»,

щегольскую бороду, глаза с блеском, барственный жест, чтобы оценить обстановку, создавшуюся в зале. Поэтому, придя в себя от страха и счастливый тем, что на этот раз вроде бы сошло, Попов обратился к Бутовичу:

– Яков Иванович, у меня нет вашего апломба, – Александр Ильич, видимо, хотел сказать «авторитета», но от страха оговорился, так это и осталось в его памяти, – поэтому, ради нашей дружбы, вы больше так не рискуйте нашими головами.

Бутович в ответ лишь снисходительно улыбнулся и бросил кучеру:

«Пошел в Прилепы!».

Эпилог 2010 года

«Курские помещики хорошо пишут».

«Записки сумасшедшего»

Замечательным оратором был коннозаводчик Яков Иванович Бутович – об этом узнал я от его сподвижника, начкона Первого Московского завода Александра Ильича Попова. А что он прекрасный писатель, в том я убедился после того, как в Музее коневодства мне разрешили прочитать его рукопись о коннозаводских портретах. Рассказывая о рукописи наезднику Грошеву, я сказал *воспоминания*. «Нет, нет, – поправил меня Григорий Дмитриевич, – воспоминания у Лямина». То есть у директора Пермского конного завода. «Воспоминания Бутовича, – подчеркнул Грошев, – это ляминские тетради». Разговор наш происходил на грошевском тренотделении Центрального Московского ипподрома в середине 50-х годов. Через полвека «ляминские тетради» превратились в три великолепно изданных тома: «Мои Полканы и Лебеди» (2003), «Лошади моей души» (2008) и «Лебединая песня» (2010).

Трехтомник, достойный отдельными страницами встать рядом с тургеневской «Лебедянью» из «Записок охотника», а в целом – замечательное чтение о лошадниках и лошадях: все что касается Крепыша или истории Вильяма СК-Рассвета, давшего Куприну сюжет «Изумруда», портреты таких заводчиков, как Малютин и Телегин, наездников, как Ляпунов, Синегубкин, Леонард и Эдуард Ратомские, а также художников, как Сверчков и Самокиш, и, конечно, некоторые тюремные злоключения и страдания, скажем, стремление вспомнить родословную Полкана 3-го, когда силы и рассудок, кажется, покидают мученика. Тут, читая, вспоминаешь гетевские строки: «Кто с хлебом слез своих не ел…»

Бутович начал создавать свой шедевр, когда почва под ним стала колебаться, в годы разрухи и непокоя, а последние годы и вовсе в тюрьме. Писал карандашем, на тюремных нарах, однако по живописности и благоуханности описаний, кажется, написано не возле параши в спертом воздухе «перенаселенной» камеры, а в тиши комфортабельного кабинета, в окружении иппических книг и картин, с пером в одной руке, с дорогой сигарой – в другой и за чашкой крепкого кофе.

Как же уцелело это чудо? Ставшие известными в конных

кругах «ляминские тетради» передал Виталию Петровичу Лямину сам автор. Когда и как? Об этом редакторы мемуаров знают, по их словам, мало и лишь приблизительно. Есть в издании фотография Лямина. Всматриваюсь, не могу припомнить, встречались ли мы с ним на ипподроме. В дни больших призов я сопровождал иностранных гостей, если были гости из стран английского языка, и нас помещали в директорской ложе, где находились и наши директора конзаводов. Нет, Лямина не помню. Вижу по фотографии: триждый орденоносец. Грошевского типа фигура – верный и нераздобревший служитель конного культа.

После «Дела славистов»,[5] из попавшихся мне книг, мемуары Бутовича, помимо их коннозаводского значения, это прекрасным пером воссозданная картина схватки личных интересов под видом борьбы за советскую власть. В историко-политических трудах, появившихся у нас и за рубежом, освещается премущественно борьба наверху, а борьба шла сквозная, на всех уровнях.

«Кто сделал всё, чтобы посадить меня в тюрьму… Враги, которые желали моей гибели», – пишет и повторяет Бутович. Кто же были эти враги? Где? В Кремле? Нет, согласно мемуаристу, среди окружающих. Знакомо! Так было с моим отцом, и с дедом так было: доносы на них написали такие же научные сотрудники, желавшие продвинуться по службе и занять место моих ближайших родственников. Был ли Бутович опасен Сталину, когда после первого заключения выпущеный из тюрьмы схоронился в тургеневских Щиграх? Пока не опубликовали справку о смертном приговоре, я думал, его удавили местные мужики за его склонность – гомосексуализм. Нет, обвинили в «антисоветской пропаганде». Он что – по городу ходил и агитировал? Редакторам издания выдали справку о приведении приговора в исполнение, выдать выдали, а в сохранившийся протокол допроса заглянуть не разрешили, стало быть, остается неведомым, какой же «антисоветской агитацией и пропагандой» занимался коннозаводчик. Ругать советскую власть Яков Иваныч ругал, причем, публично, ругал так, что слушавшие его представители советской власти устраивали ему овацию. Терпеть вашу власть не могу, говорил Бутович, но знаю, что время моей власти миновало. Шквал аплодисментов – слышал я от слышавших эти антисоветские речи и эти аплодисменты. И Сталин велел его *опять* посадить? Верховная власть, как свидетельствует сам Бутович, его защищала, а устранить хотели местные карьеристы. По рассказам знавших его, он завистникам облегчал задачу повадками «большого барина», заносчивостью и

самомнением.

Современник и сотрудник Бутовича, В. О. Витт, юрист по образованию, когда переменились времена, переменил образ деятельности, как бы выйдя из игры, которая могла оказаться смертельно опасной, и стал ипологом. Другой юрист, тоже бывший сотрудником Бутовича, А. И. Попов, просил его помолчать и не играть с огнем. Бутович профессии не менял, был и остался коневодом, не умерил он и своих амбиций.

Из мемуаров следует, что до революции и после революции Яков Иванович претендовал на руководящую роль, по крайней мере, в орловском коннозаводстве. Говорит он об этом прямо. А борьба за власть шла у нас во всех областях сверху донизу. Вчитываясь, скажем, в историю критических дебатов по вопросам творческого метода, вы не поймете, о чем спорили, если не учтете, что творческий метод – декорация на сцене, а за кулисами спорили по существу о власти, и к власти приходил не тот, кто лучше разбирался в творчестве, а у кого имелось больше сил и находилось больше сторонников свою волю к власти утвердить. Если Бутович хотел власти, то ещё кто-то хотел той же власти сильнее. Так попал Бутович в тюрьму первый раз. И во второй, надо думать, добрались до него всё те же самые враги, которым был он лично ненавистен и лично мешал. Возможно, и областные органы план посадок выполняли. Отцу, реабилитированному, признался закадрами, раньше служивший в КГБ: «В конце квартала ищешь, кого бы взять».

Борьба идёт всюду, у нас она ожесточалась притиснутостью людей друг другу. Хемингуэй сравнил литературный мир Нью-Йорка с клубком поедающих друг друга глистов. «Мы пауки в банке», – сказал моей матери видный советский деятель киноискусства Леонид Косматов. Суть сталинизма, очередного в истории цезаризма,[6] в поощрении людей, которым ради достижения своих целей нужно, чтобы поставленный Сталиным на видный (и завидный) пост будто бы возымел намерение покушаться на Сталина: такова участь директора издательства, под началом которого работал мой отец и, когда того взяли, отец оказался ото всюду исключен за то, что не донес на своего начальника. Отец оправдывался тем, что нечего было доносить. Рассказывайте! Как же не покушаться на Сталина тому, кто делает при Сталине блестящую карьеру, кто Сталиным назначен на высокий пост, пост и без того завидный, а говорили, что того же директора собираются ещё и повысить, назначив министром культуры. Пора его разоблачить, самое время!

Таков был механизм власти, другого создать не сумели. Желающим занять пост оставалось действовать, вытесняя

предшественника, как вытесняли Бутовича желавшие занять его место директора конзавода и конной галлереи, ранее ему принадлежавших и отданных советскому государству. Советскому государству от бывшего барина ничего больше нужно не было, нужно было окружавшим его завистникам, а государство им потворствовало, даже поощряло, а подчас за то же самое усердие наказывало, доставалось тем и другим. Трехтомная исповедь Бутовича объясняет его страшную судьбу не суммарным «неудовольствием властей». Это было неудовольствием людей, имевших воздействие на власть. Зачем сваливать на власть, когда Бутович поименно называет тех, кто желал и кто добился его гибели? А эти люди тянут за собой целую сеть отношений – не одно поколение.

Более двадцати лет назад сделал я попытку опубликовать очерк Бутовича о «Холстомере», а мой наибольший начальник, академик Михаил Борисович Храпченко, говорит: «Мы же все это знаем». Знаем, говорю, без указания на источник. Сведения о лошадях, содержавшиеся у Бутовича, известный и крупный исследователь литературы Борис Михайлович Эйхенбаум использовал в своей книге о Толстом, использовать использовал, а ссылки, откуда взял, не сделал. У меня, когда я читал эти замечательные страницы Эйхенбаума, возникло чувство, прямо скажу, изумления: откуда же он всё это знает, когда того ещё не знали эксперты конного дела?

Сотрудник ВНИИ Коневодства В. О. Липпинг передал мне письмо Бутовича 1937 года, посланное незадолго до его второго ареста и гибели: просит зайти в редакцию Полного Собрания сочинений Толстого в Мерзляковском переулке и забрать его рукопись о «Холстомере». Не мог литературовед сослаться на репрессированного коннозаводчика? Во всяком случае, мог сослаться на Музей Коневодства, куда рукопись Бутовича поступила.

«Зачем же мы будет компрометировать видного ученого? – ласково спрашивает Михаил Борисович. – Вы этого хотите?». Нет, этого я не хотел. Многоопытный академик-секретарь, руководитель сталинской выучки, задал мне ещё вежливый вопрос: «В таком случае, о чем разговор?». Разговор о том, кто был кто и, значит, как оно было, и это чаще всего оказывается несвоевременным по частным причинам. Благодаря Андрею Ивановичу Ефимову, редактору ЖЗЛ и любителю бегов, очерк был опубликован в альманахе «Прометей» (том 12, 1980). В том же выпуске участвовал Михаил Борисович, и не возразил против публикации, он же не был против публикации, он, оберегая репутацию коллеги и покой тех, кого публикация могла

встревожить, не хотел публикации в академическом, ему подотчетном, издании. О, мудрость времени!

Почему много лет спустя не позволили составителям трехтомника прочесть протокол допроса, после которого Бутовича и приговорили к расстрелу? А не хотели компрометировать выносивших приговор и, быть может, приводивших его в исполнение. Эйхенбаум, разумеется, не хотел гибели Бутовича, и его самого уже не было в живых, но кто заботился о репутации видного литературоведа, те не хотели печатать очерк, публикация которого могла бросить тень не только на беспорочную репутацию ученого, она, чего доброго, подорвала бы авторитет людей, охраняющих беспорочность репутации ученого. Зачем печатать материалы покойного, если эти материалы могут нанести урон авторитету благополучно здравствующих?

Читая Бутовича, я вспоминал «Разведение чистокровных» Тезио: та же линия коннозаводской мысли – вера в подбор. Мой сын, генетик, Бутовича ещё не читал, но Тезио прочел, говорит: «Это магистраль современной генетики». Сочетаемость родителей – вот что дает искомый результат.

О Тезио я слышал от Дориа. Знакомая знакомых, которые просили показать ей лошадей, она рассказала, что Федериго Тезио был свояком с Паоло Трубецким, русским князем итало-американского происхождения. Тот самый Трубецкой, скульптор, что сделал иронический памятник Александру Ш («Свинья-матушка», Розанов), а также изумительную статуэтку Толстого верхом на лошади. Во время сеанса на вопрос Толстого, читал ли он его сочинения, скульптор ответил: «Вот ещё! Стану я читать всякую чепуху!». Сам Толстой отверг в это время свое художественное творчество, а речь шла о нравоучительных трактатах. Нашу беседу с Дориа я хотел не только записать, но и опубликовать, однако после первых же слов эту затею пришлось оставить. «Мы все были фашистами», – сказала синьора Дориа, увидев на моем лице изумление после самых первых её слов, что Тезио был фашист. В этом смысле, мы, жившие при Сталине, являлись сталинистами. Однако сестры держались противоположных убеждений. Их дни проходили в дебатах о политике. Супруга Паоло являлась левой, жена Федериго – правой.

Оба, Бутович и Тезио, видели, и не раз, доказательства правоты своих взглядов: финишный столб у них на глазах показывал, кто прав в принципах селекции и подбора. Но ни тот, ни другой не дожили до полного триумфа. Рибо оказался признан лошадью столетия уже после кончины своего создателя. И Улов

явился доказательством коннозаводской правоты Бутовича после его смерти. Но когда Рибо взял Триумфальную Арку, только и говорили о Тезио. А Улова я помню, пусть как пятно, огромное белое пятно – на предвоенной Выставке Сельского Хозяйства. Помню восторги публики, толпящейся у денника и восхищающейся чудесной белой лошадью. Не знали мы, восхищавшиеся, что над создателем сказочного жеребца уже приведен в исполнение смертный приговор.

Из мемуаров Бутовича каждый может почерпнуть по своим интересам. Читая мемуары я каждый раз вздрагивал, встречая знакомое имя. Бутович дает словесный портрет наездника Ляпунова – помню Ляпунова. Говорит о Семичеве – вместе с ним ездил на призы. Кого он называет молодыми, как Александра Федоровича Щельцына или Виктора Эдуардовича Ратомского, тех я знал в пору их зрелости и старости, но знал: то время оставлось ещё совсем близко, а теперь оно унеслось. Почти что состояние шока я испытал, читая, как Бутович прощался с Прилепами, и вот почему. Провожал его крестьянин Чикин. Меня в Прилепах встретил – Чикин, друг Васька, заводской наездник. Посмотрели мы лошадей, повел он меня в старый господский дом… Было это в 1960 году, и вот в третьей части воспоминаний Бутовича читаю: «Грустно и тяжело было смотреть на это ободранное, ещё так недавно столь красивое и нарядное помещение. Особенно неприятное впечатление производили стены с торчащими крюками и гвоздями или дырьями от них». Крюки и гвозди, на которых висели собранные Бутовичем картины, снятые и увезенные в Москву. Когда я был в Прилепах сорок лет спустя после того, как бросал на них прощальный взгляд Бутович, крюки так и торчали, так и зияли незаштукатуренные дыры: поснимали картины и увезли в Москву, а дыры зияли, напоминая, как еще близко прошлое, и что если вдруг оно в самом деле вернется? У меня мелькнула подобная мысль, но я ее сразу отогнал, как полную невероятность. А ведь, возможно, дыры и не успели законопатить, когда завод чуть было опять не стал частной собственностью.

Васька дал мне лошадь и дрожки, и покатил я в Ясную Поляну…

Читая Бутовича, текст которого составители сопроводили подбором выразительных иллюстраций, жалеешь об одном. Нет таких знатоков, как В. О. Витт, В. О. Липпинг или Ю. М. Оленев. Какие рецензии они бы написали на трехтомник! И не только потому, что необычайно много знали. Двое из них знали самого Бутовича и все трое были погружены в атмосферу его времени. Их отзывы очертили бы яркую фигуру выдающегося коннозаводчика

с той достойной рельефностью, о которой говорит Шекспир: «Ничего не сглаживайте и ничего не преувеличивайте по злобе».

«По этапу»

Верхами мы сопровождали колонну каторжников. Серые, оборванные, обросшие, они влачились, скованные цепью, позвякивая этой цепью, позвякивая кандалами. А мы, конвойные, побрякивая шашками, покручивая усы, возвышались вокруг на дончаках.

Это было, конечно, на киносъемках.

Все, что время, а также условность искусства сделали безобидной бутафорией – когтистый герб, полосатые столбы, кандальный звон, песни и ропот каторжников – окружало нас. Каждый из нас умел нацепить шпоры, но шашки, портупеи, ремни, шнурки, вообще весь аппарат жандармских мундиров подчинялся нам с трудом. Стлался едкий дым, пущенный пиротехниками.

– Да зачем это? – чихали мы.

– Для перспективы.

Оператор с бородой, страшнее каторжника, сидел в яме у

наших копыт. Все снималось, как видно, с точки зрения бездыханного тела, трясшегося на тюремной телеге.

Шурка Панков в костюме офицера то и дело вырывался вперед и, гарцуя перед гримершами, делал пассаж и пиаффе – приемы высшей школы верховой езды. В стороне наш тренер готовился к смертельному трюковому номеру: убитый, он должен будет на полном скаку лететь через голову вместе с лошадью. Называется это подсечкой. Шурка и его сверстники, гарцуя перед гримершами, просили тренера уступить им геройство, однако он отвечал:

– Нет, ребята. Я все понимаю, но нельзя – скользко. Придется мне самому.

Заменить его мог только еще один опытный мастер, который был в нашей команде, однако его мучила своя задача: он соображал, как «убить лошадь». Каторжники вдруг поднимали бунт, бросались на конвой, и в свалке погибали не только жандармы, но и лошадь. «Эх, безвинная», – звучала реплика. Каторжники толпились над конской тушей. Кино готово было в самом деле угробить лошадь и торговалось, сколько это будет стоить. Тут бывалый конник и предложил не убивать, а только усыпить животное. Оставалось лишь рассчитать дозу и время действия снотворного, чтобы гибель коня выглядела вполне натуральной.

– Конвой, – внушал нам режиссер, – идет прямо на меня. Прошу вас несколько выдвинуть вперед вон ту лошадь – желтую!

– Она рыжая.

– Пусть рыжая. А тем временем черная…

– Вороная!

Режиссер только махнул рукой и продолжал командовать. Раз за разом, подчиняясь ему, мы выполняли одни и те же эволюции возле полосатого столба, который отсчитывал откуда-то сотни верст. Нам, казалось, суждено было протопать не меньше. От лошадей валил пар, а каторжники уже безо всякого актерства еле переставляли ноги. Они уже не в силах были возвращаться к исходной позиции и начинать все сначала, так что серая шеренга взялась кружить вокруг столба, сокращая время и расстояние.

– Довольно, – кричал режиссер. – Каторжные, остановитесь!

– Не можем, – роптали в ответ, а громче всех бездыханное тело на тряской телеге, – в образ вошли… Снимай, снимай же!

– Пленка кончилась! – провозгласил из ямы бородач.

Волей-неволей образовался привал «арестантов». «Бездыханное тело» поднялся и закурил, да и все прочие вздохнули с облегчением. Мы спешились и ослабили подпруги. Ясный, однако короткий осенний день собирался вот-вот

сделаться тусклым, и потому решено было, как только будет налажен аппарат, испытать подсечку.

Наш тренер, некогда чемпион Москвы, уже приготовил свою «музыку», как он выражался. Механизм подсечки состоит в стропах с кольцами, которые надеваются на передние ноги лошади; стропы пропущены под подпругой, и всадник держит их вместе с поводьями в руке. На полном ходу дергает он за стропы, кольца путают передние ноги лошади, и оба летят через голову.

– Знаете, – вдохновился оператор, – а если убрать у лошади с головы всю эту… сбрую? Все сорвано в схватке, и конь летит без узды…

– Ну, нет, – спокойно остановил его тренер, – без оголовья (уздечки) ты сам садись, а я полезу в твою скважину!

Мне вспомнился рассказ одного знаменитого актера о том, как он в первый и единственный раз взгромоздился на лошадь, чтобы отснять эпизод в фильме о легендарной битве, где он был полководцем. Едва прозвучала команда «Мотор!» и лошадь сделала лишнее движение, он тотчас рухнул, путаясь в стременах и поводьях. Но как только он попробовал освободиться от стремени, раздался зверский вопль оператора: «Лежать! Лежать!» И сладострастный его шепот: «Прекра-асный кадр…»

У нас, однако, этот «аморализм» преимущества не получил.

– Ладно, – взялся за свое дело режиссер, – вы летите прямо на меня…

Второй наш мастер суетился тут же, помогая товарищу в последних приготовлениях.

– Я готов, – сказал наш тренер.

Пиротехники подпустили еще едкого дыма. Каторжники забыли свои муки и цепи в ожидании небывалого зрелища. Стояла тишина.

Тренер поднял в галоп с места. Гулко и далеко прозвучали копыта. Все лошади разом вскинули головы и настроили уши, следя с заметным волнением за своим собратом.

Многие, даже опытные конники, кричат в решительную минуту. Кричат на финише, покрикивают перед прыжком, улюлюкают, прежде чем выкинуть какой-нибудь сложный трюк; они не только понукают криком лошадь, но главным образом подбадривают себя. Наш тренер делал все молча, как и подобает классному профессионалу, который уже не способен в чем-либо недооценивать или переоценивать себя, а просто, что может, то может – и все.

Тренер пустил лошадь махом. Точно поймал он момент, когда от малейшего натяжения строп передние ноги, разом поднявшиеся в скачке, схлестнулись и – столб пыли, копыта,

взбрыкнувшие к небу, – а сам он уже вставал, отряхивая землю и траву с плеча и колена, как бы торопясь освободиться от всякой лишней соринки в механизме своего безупречного уменья. Мальчишки ловили его ошалевшую лошадь. Гримерши ахали. «Каторжники», гремя кандалами, гудели, поражаясь, что бывает работа помозолистее, чем у них. От режиссера и оператора не последовало ни слова, ни вздоха, что, должно быть, означало их полное удовлетворение, ибо бородач опять полез в яму: снимать «смерть лошади».

Не так-то легко заставить лошадь принять микстуру или пилюли. Она знает простой и добротный вкус травы, сена, зерна, она возьмет хлеб и сахар, но даже масленого пирога лошадь есть не станет. А тут лекарство! Она не будет пить воду, если почует чужой привкус. Засунуть ей порошки под язык, она их вытолкнет. И решено было снотворное впрыснуть.

После укола оператор был наготове. И едва только под действием инъекции лошадь начала вянуть и оседать на землю, борода приник к своему окуляру.

Морда животного вскинулась, оскалилась и замерла. Хотя все знали, что это всего лишь сон, но оттого, видимо, что лошадь не сознавала этого и «умирала» самым для себя реальным образом, нас всех коробили конвульсии огромного тела.

– Товарищи, что же происходит? – раздалось вдруг из ямы. – Товарищи! Ведь это конь! Это… как его… же-ре-бец! Что делать, товарищи?

– Не жеребец, а мерин, – поправил его Николай, подготовивший бутафорскую «смерть».

– Что значит мерин, когда у меня самого глаза есть? – указывал бородач трагическим жестом на то, что представлялось ему бесспорным доказательством справедливости его слов.

– Не жеребец, а когда-то был жеребцом,

– Мне все равно, – не уступал оператор, – жеребец или мерин. Я знаю одно, что по сценарию – кобыла! Понимаете? Зорька!

– Нас же не предупредили. И подумаешь, важность – жеребец! А вы сделайте его на экране кобылой. В кино ведь все так.

– Хорошо, хорошо, – простонал бородатый оператор, – я сниму другой план!

И словно дьявол, попавший под крестное знамение, он скрылся в своей преисподней.

Удача наездника Флеминга

«На Центральном Московском ипподроме выступают зарубежные гости».

«СССР – сегодня»

Вильям Флеминг на Апиксе-Гановере выиграл в Москве Приз Мира. И приз, который привлек немало классных зарубежных участников, и выступление у нас заокеанского резвача – это вехи в нашем рысистом деле, поэтому наспех и вкратце не буду рассказывать об этом событии, в которое был вовлечен. Скажу лишь, что участь классного Апикса, оставшеегося по бартерному обмену у нас, оказалась не менее горестна и символична, чем судьба Крепыша в руках американцев А пока постараюсь осветить лишь один эпизод – тут сказались чувства конника.

Большой бег должен был состояться, как всегда у нас, в воскресенье, а после последней резвой, которую Флеминг сделал Апиксу утром в четверг, мы с ним во второй половине дня, едва только закончилась уборка, отправились в Музей коневодства.

Американец, разумеется, оценил две прекрасные парные конные статуи у входа в музей, но возле них мы не задерживались. Когда же вошли мы в здание, я, показывая гостю дорогу, был немного впереди, а затем обернулся, чтобы его пропустить. Но Флеминга за мной… не оказалось. Куда же он исчез?

Наездник так и стоял у входа. Почему? Там на стене висели фотографии. Это были даже не фотографии, а вырезки из старых конных журналов, наклеенные на стенд. «Пойдемте, – тороплю американца, чтобы он не принял эти картинки за музейную экспозицию. – Вы еще не такие изображения увидите». И в самом деле, ведь всем известно, что за иппическая живопись у нас в этом музее выставлена. Однако Флеминг, словно он и не слышал меня, продолжал стоять, уставившись на одну из вырезок. «Пойдемте же», – повторяю. Тут Флеминг повернулся ко мне. Его глаза, мне показалось, стали шире, как если бы он какое-то снадобье принял.

«Отец», – выговорил наездник.

Вернулся я к входу, туда, где он застыл, читаю под вырезкой (с оторванным углом): «Рекордист Дэн-Пэтч в работе Вайка Флеминга». А у меня над ухом:

«Старый Вайк – так его все называли».

Спустя два дня на третий Апикс в руках Билла Флеминга в трех гитах показал лучшее время. Вечером был банкет, наездника-победителя попросили сказать слово. Флеминг поднялся с бокалом из-за стола и произнес:

«У вас я увидел своего отца».

Удачное начало, думаю, и готовлюсь переводить дальше. Молчание. Поворачиваюсь к Флемингу. Он повторяет:

«Отца увидел».

Взглянул на меня. В глазах у него: «Разве непонятно?». И почти выкрикнул:

«Приехал в Москву и увидел отца».

И больше – ни слова.

Миледи Шенандо

«Между людьми есть равенство,
а различает их достоинство».

Оуэн Вистер «Виргинец».

«В наших краях есть русские лошади», – услышал я в штате Виргиния. Означало это не обязательно русские, но из России, а тогда – ещё из Советского Союза. Поехали и – верно: туркменские ахалтекинцы, купленные на Международном Аукционе в Москве, на Первом Московском конзаводе. С тех пор, почти двадцать лет, я постоянно бывал у Марго и Филиппа, в долине реки Шенандо на ферме, которая называлась «Шенандо», а конзавод ими созданный супруги назвали «Ахалтеке». Как проророчат злые сатирики, «таких людей больше нет, а скоро совсем не будет». На ферме «Ахалтеке» в долине Шенандо все делается по Писанию: «да» так «да», а «нет» – «нет», сказано – сделано, сама надежность. Редкость и в Америке.

Марго выросла в состоятельной семье, отец её входил в руководство компьютерной корпорацией АЙБИЭМ, а Фил – отслуживший военный летчик, совладелец бумажной фабрики, образцовый американец, «только самому себе обязанный всем». У Марго верховая езда – увлечение наследственное в трех поколениях. Фил осваивал конное дело, как и всё в своей жизни, начиная с нуля. Самолет у него тоже есть, и мы с ним летали, но в седле я его уже не видел: ездить он бросил после того, как пал его Сенетир. Однако изо дня в день я имел возможность убедиться, каким знающим зоотехником «сделал себя» отставной пилот.

С Марго мы ездили конь-о-конь. Напоминала она нашу чемпионку Татьяну Львовну Куликовскую – некрупная, немногословная, собранно-сосредоточенная. Опыт меня научил: истинные конники, входя в конюшню и находясь возле лошадей, не делают лишних движений. Марго, ступая по конюшенному корридору и вроде бы даже не поднимая глаз, видела каждую лошадь и замечала любую мелочь. Такова была Куликовская, такими были беговые наездники, жокеи – классные конники. Класс сказывался в их слитности с лошадью, прежде всего – в сознании. Марго говорила: «Собак я тоже знаю». «Тоже» означало, что о собаках думает всё же не постоянно.

Марго меня спрашивала: «А на поездах кормят?» В Шенандо я приезжал на электричке, а Марго не пользовалась услугами

железнодорожного транспорта с тех пор, как исчезли движущиеся апартаменты со всеми удобствами – пассажирские пульмановские вагоны. В пору своего детства со старшими путешествовала она по железной дороге от берега до берега, через всю страну. В те времена всадницы носили амазонки и ездили на дамском седле. Так ездила её бабка, госпожа Стивенс: прибывала на Дикий Запад в комфортабельном купе, садилась в седло и (как говорится в её биографии) «совершала головокружительные поездки по скалистым горам». Мать Марго стала ездить парфорсные охоты… «Пар форс», значит, на силу, и смелость для такой охоты, само собой, нужна, На парфорской охоте чуть было не убился насмерть Уильям Фолкнер. Дочь его Джил, в виде особого одолжения, предлагала мне ехать с ней за компанию, но, к счастью, не нашлось красного редингота соответствующего размера, и труса играть, от лестного предложения отказываясь, мне не пришлось. Редингот, то есть сюртук для верховой езды, должен быть красным, чтобы видеть его издалека. Скачут сквозь лесную чащобу и по лугам, преодолевая что называется естественные препятствия. Собаки тем временем гонят зверя. У нас – волка, как у Толстого. На Западе, начиная с Англии – лису, почему та же охота называется «фокс-хантинг» – за лисой. Лису теперь отменили, но дистанция не стала менее опасной. Не знаю, ездила ли Марго в самом деле за лисой, но семейной традиции она придерживалась с молодости и до преклонных лет. Разве что уже не садилась в поезд и не носила амазонки.

У Кейсов была не только конюшня, но и библиотека книг о лошадях. Мне разрешалось шарить по полкам. Хотите верьте, хотите нет, нашел у них переведенную на английский язык свою повесть «Железный посыл». Правда, Кейсы подвергли меня критике, найдя там об ахалтекинцах очень мало, чтобы не сказать, почти ничего, но ведь повесть – не учебник. А Фил Кейс, пилот с инженерным образованием, стремился выучиться всему касательно лошадей, особенно той породы, на разведение которой он с женой решили потратить свои средства и силы.

Когда между нами установилось доверие, Марго уже не с полки, а из ящичка достала хранившуюся в футляре потрепанную книжицу. Это и была её семейная история. Стал я листать книжку и словно узнал Марго заново, хотя к тому времени были мы знакомы уже несколько лет. В её летописи как друг семьи числился Оуэн Вистер!

У нас книг Вистера не знают, но хорошо знают литературный жанр, им основанный и ставший также жанром кино, – вестерн. А заразили его лошадьми предки Марго. До знакомства с госпожой Стивенс, бабкой Марго, Вистер если и сидел, то не в седле, а за

фортепьяно: по образованию был музыкант. По настойчивому совету Стивенсов отправился поправлять слабое здоровье на Запад, там Стивенсы посадили его верхом, и кончилось дело созданием романа «Виргинец», с которого начался вестерн.

Хотя Вистер виргинцем не был, зато взял правильный тон, создал стиль, и его роман, ровесник двадцатого века, имел огромный успех. Со страниц романа сошла фигура в широкополой шляпе, остроносых сапогах, в джинсах и при оружии. Выдержки из «Виргинца» приводятся у американцев в словарях крылатых слов. По роману было сделано три фильма, началось производство картин, с которыми мое поколение знакомилось, начиная с «Великолепной семерки». «Виргинец» переиздается до сих пор, сделан по роману и телесериал, не говоря уже о бесчисленных подражаниях, как на экране, так и в книгах того же популярнейшего жанра. Главный персонаж в романе, ставший символом Америки, имени не имеет, он так и называется *виргинец*, это ковбой, как положено, человек дела, а не слов, это он различает людей по склонности придерживаться принципа поголовного равенства или же индивидуального достоинства, и он же читает «Отцы и дети». Ему нравится Базаров и на вопрос, почему, ковбой отвечает: «Широта в нем есть, широта!» Понятно, это мнение самого автора, одного из тех американских консерваторов, что впали в литературную русофилию, очарованные органическим квиетизмом, приятием жизни, наших писателей. Запад, в отличие от нас, читал Тургенева, Толстого и Достоевского наоборот. Для нас это срывание всех и всяческих масок, зеркало революции, а для них – корни и почва, Святая Матушка Русь, мир, а не война. Словом, «философия застоя», как судила (справедливо) у нас демократическая критика. Западу, где одна революция следовала за другой, это и нравилось. «Все в табе, все в любве», как говорил мужик Толстому, «против рожна не попрешь», «где сядешь, там и слезешь», «каков в колыбельку, таков и в могилку», «Бог правду видит, да не скоро скажет», «не судите да не судимы будете». Короче, «нет в мире виноватых», как говорит Шекспир в переводе Дружинина при подсказке Тургенева. Перевод лучше подлинника, не даром же Толстой, с Шекспиром разошедшийся, взял эту строку для одного из последних своих сочинений.

Круг знакомых Вистера составляли Марк Твен, Эрнест Хемингуэй и Теодор Рузвельт. После того как Стивенсы сделали Вистера всадником, а сам он стал романистом, отношения у него с Рузвельтом, тоже писателем, а также «джигитом» (как он сам себя называл), установились близкие: «Тедди» (прозвище Рузвельта) запросто заходил к нему в гости. «Пойди скажи папе,

что пришел Президент», – однажды сказал Тедди маленькому сыну Вистера, отворившему дверь. «Президент чего?» – спросил мальчик. «Президент Соединенных Штатов», – пояснил гость. «Папа, – закричал Вистер-младший, – к тебе какой-то Президент Соединенных Штатов пришел!». А Хемингуэй называл Вистера в числе своих литературных учителей.

Родители Марго приобрели имение в штате Мейн, и стала она соседкой ещё одного известного писателя. То был Эдвин Брукс Уайт, создатель Мышонка Стюарта и Паучихи Шарлотты. Когда моя внучка узнала про существование доблестного Мышонка и доброй Паучихи, я попросил Марго рассказать пятилетней девочке о своем знакомстве с творцом этих сказочных существ. «Дружила я с его сыном, – рассказывала Марго, – мы думали, не пожениться ли нам, но у нас была дружба, а любви все-таки не было». «Как у меня с Ником», – вздохнула внучка.

Отвлекся я к литературе, потому что классические книжные связи Марго позволяли почувствовать особенности её характера. Свой человек в кругу избранных, знаменитых и богатых, она была лишена всякой спеси: вышколенная воспитанность. Дом Кейсов называли Большим Домом – по авторитетности. Конюшенный штат воздавал Марго сторицей, конюхи относились к ней с почтением, лишенным малейшего подобострастия. Неунизительно подчиняться человеку, который тебя уважает. К тому же хозяева фермы «Ахалтеке» все делали своими руками. За месяц до кончины Марго разносила по левадам подкормку.

Плохо слушался Миледи Шенандо лишь огромный, золотистый пес-водолаз по кличке Чемпион, считал он всех ниже себя. Марго водила его к собачьему парикмахеру, что немало стоило, после чего просила, чтобы я не позволял ему – а он увязывался за мной – лезть в илистый пруд. Но как только Марго поблизости не оказывалось, Чемп бросался к мутной воде, а на мой окрик оглядывался и в презрительном взгляде его читалось: «Ещё и ты будешь пасть разевать, когда я даже самой хозяйке не подчиняюсь!». И – плакала модная песья прическа.

Что за люди эти американские заводчики, судить можно было по их отношению и к своим служащим, и к нашим специалистам: нуждаясь в советах по ведению им прежде незнакомой породы, они вызывали их на консультацию, не скупясь на расходы. Среди конюхов-ездоков у них выделялась молодая американка, потрепанная жизнью, происхождения-педигри «аристократического» – с панели. Она, выросшая без отца, а, возможно, и без матери, натерпелась от людей, отличалась беззаветной любовью к лошадям. Марго питала к ней почти материнскую привязанность и только качала головой, глядя на её

бесстрашие. «Прыгает через что попало», – говорила Марго, парфорсная охотница, о которой в некрологах сказано: «Ей были свойственны отвага и бесстрашие». Однако не прижилась у них в берейтерах, хотя и с чемпионским титулом, российская дама (называть не буду), принявшаяся учить Марго, а сама не желавшая ничего слушать. Зато хозяева «Ахалтеке» уважали Татьяну Рябову: свое дело знает и в чужое не лезет.

В сознании многих коренных американцев живет импульс Колумба – желание чего-нибудь открыть. Кейсы взялись за ахалтекинцев, узнав, что это древнейшая порода совершенно неизвестна в Америке. Взялись и вложили в ахалтекинцев душу, силы, время и деньги. Основали «Ахалтекинскую Ассоциацию». Собрали конференцию. Вызвали Рябову и меня – Татьяне переводить. Стремились узнать про ахалтекинцев как можно больше. Изучили породу. Имена Goreloff и Shamborant достигли берегов Шенандо. По заказу Кейсов перевели на английский труды В. О. Витта. Познакомившись с версией, которой придерживался профессор Витт, считавший ахалтекинцев прародителями скаковых-чистокровных, они вложили деньги в издание новых книг, написанных специалистами и доказывающих, что два прародителя резвейшей породы – ахалтекинцы (а третий – варвариец). Тут они столкнулись со взглядами, в своё время изложенными внучкой Байрона Леди Вентворт, которая, кроме арабов, не признавала в создании чистокровных других кровей. Современные англичане точно так же уступать не хотели. Не моего ума дело освещать специальный конфликт, могу лишь засвидетельствовать: Марго и Фил проявили основательность и стойкость в защите точки зрения, которую считали верной: резвость английских скакунов – дар туркменских коней.

Ахалтекинцы из долины Шенандо успешно участвовали и участвуют в соревнованиях на общеамериканском уровне. Не удалось Кейсам разве что наладить продажу своих лошадей: не торговцы. У Марго я спрашивал, почему же не наймут они конского барышника, если тратят они деньги на проведение конференций и публикацию книг. «Мы предпочитаем делать все сами», – был ответ.

Парфорсные охоты Марго ездила на полукровном ахалтекинце, от Сенетира и английской чистокровной кобылы. Надо было видеть её взаимодействие со своим многолетним гнедым партнером по кличке Дакка. Пока замахивает коня, удаляя щеткой соломинки, всегда сама, и седлает, скажет что-то негромко, едва слышно, а Дакка шумно вздыхает и тихо пофыркивает. Полное впечатление неторопливой задушевной

беседы между двумя давними друзьями.

Марго избрали и не раз переизбирали Председателем местного Парфорсного Охотничьего Клуба, а когда её не стало, в местной печати не появилось слов «умерла» или «скончалась», и на панихиде этих слов не было слышно. Любители парфорсной охоты говорили: «Призвал Марго на последний гон сам Наивысший Доезжачий».

Над гробом ковбоя

«Ну и громадина эта Дакота!»

Кнут Гамсун

Без малого сто лет спустя попал я в те же края, где бывал знаменитый писатель-норвежец Кнут Гамсун. За роман «От земли» был он удостоен Нобелевской премии. Роман о земле и сельских тружениках его страны, Норвегии, но в Дакоте, точнее, Северной Дакоте, находился он среди живших от земли американцах. И я оказался в той же долине Красной реки; занимались мои друзья выращиванием скота и той же пшеницы (крымская турчанка-красная), на уборке которой работал поденщиком Гамсун. Когда в последний раз приехал я повидать своих друзей, повод встречи был печален – похороны моего многолетнего американского друга, фермера и ковбоя.

Для меня он являл собой Америку. Попал я впервые в эту страну во времена холодной войны. Вместе с ветеринаром Шаширины мы привезли наш государственный подарок – тройку, символ России, как ковбои – для Америки. Подарок предназначался выступившему с мирной инициативой общественному деятелю и промышленнику, владельцу сети товарно-железных дорог. Будущий друг мой заведовал у него фермой. Ему как управляющему мы с рук на руки сдали нашу тройку. Как литератор, изучавший американских писателей, хотел я то, что читал или же видел в кино, сравнить с тем, что увижу на самом деле. Мифы и факты собирался сопоставить. Мифы владели мной: думал я увидеть героев, сошедших с книжных страниц. Но действительность по приезде наносила мне удар за ударом – таких людей я нигде не встречал. И вот, наконец, перед нами возник этот ковбой. Трудно было вообразить большее соответствие между легендой и действительностью. Он выглядел, он рассуждал, он действовал как бы прямо по книгам, вроде «Виргинца» или же «Дымки» Виля Джемса.

Приходит время каждому народу выйти на авансцену истории. Так в памяти человечества остались греки и римляне, итальянцы и французы, англичане и немцы, скандинавы и славяне. Что же в этом ряду являют собой американцы? Греки завещали идею гармонии, римляне остались славны своей доблестью, искусство за итальянцами, стиль у французов, скандинавы – отвага, славяне – душа. Истинный американец должен быть всем обязан исключительно самому себе. А

ковбойский кодекс гласит: «Знай своё дело – не пропадёшь». Сказать о друге моем «знал своё дело» – ничего не сказать. Точнее сказать, он следовал правилу из того же кодекса: «Своей дороги держись – на чужую не заезжай». Знакомы мы с ним были в общей сложности сорок лет – с тех пор как привезли мы тройку и до проводов его в последний путь.

Сверяюсь со своей записью в дневнике, сделанной сразу по приезде в Дакоту: «Желтовато-зеленоватые поля, похожие на Кубань». Если взглянуть на карту, север США – это наш юг, те же широты. Когда я там оказался впервые, карты передо мной не было, но в памяти всплыло пушкинское впечатление от наших южных степей. Сравнивая езду по тряским дорогам среднерусской полосы с корабельной качкой, Пушкин вспоминал «американца Купера и его описания морских эволюций», а затем, обозначая контраст по мере продвижения к югу, писал: «Я свободно покатился по зеленой равнине…»

И у Гамсуна нашел я сравнение степной местности с морским простором: «Словно океан. Чувствуешь себя точно в Атлантике, совершенно так же. Повозки по дороге плывут, дома – дрейфуют. И то же выматывающее душу однообразие. При этом – весь день работа под раскаленно-пылающим солнцем, палящая, жгучая, немилосердная жара. Ни облачка. Ветер не освежает, а обжигает. Тени не найдешь на много миль вокруг. Так называемые лесопосадки – это разве что кусты, на них жалко поглядеть. Ветви торчат, словно тянутся в мольбе к огненному светилу, умоляя их пощадить и не испепелять. Кора на ветвях – обуглившаяся шелуха. Зато закаты здесь неописуемы. Нигде, кроме Дакоты, не видел я такого пламенеющего, кроваво-красного солнца. Не передано это в живописи, и в поэзии, по-моему, не найдено для этого слов».

Позволю себе ещё раз заглянуть в свой дневник: «Надо владеть пером, чтобы описать эти места». Это я цитировал моего незабвенного покровителя, Директора Московского ипподрома, Евгения Николаевича Долматова. Однажды он дал мне почитать свой дневник зарубежных поездок, и так он передал ошеломляющее впечатление от виденного, уж не помню где, по-моему, на юге Франции. Хотя, должен добавить, в Дакоте закатов, поразивших Гамсуна, я не видел, и вот почему: приезжая к своему другу-фермеру не только погостить, но и помочь, успевал я намаяться за день и одновременно с курами засыпал до заката.

А вот обрисованный Гамсуном тот же край летом: «Не растут здесь ни деревья, ни кустарник – лишь пшеница и трава, пшеница и трава, насколько хватает глаз. Нет и цветов, хотя иногда вдруг заметишь желтую кисточку дикой полевой горчицы. Но разводить

это растение здесь запрещено законом, поэтому мы уничтожаем единственное красочное украшение прерии, выпалываем, вырывая с корнем, грузим на повозки, отвозим на ферму, даем подсохнуть и сжигаем. В небе не видно птиц. Не видно никакого, хотя бы малейшего, движения, кроме колыхания пшеничных колосьев под ветром. Не слышно никаких звуков, один непрестанный стрёкот бесчисленных кузнечиков, что поют одну и ту же единственную песню прерии. От жары едва не валимся с ног…»

Жизнь коренных обитателей Северной Дакоты тяжела, их тоже постигает разочарование, как это случилось с Гамсуном, но их стоическое отрезвление отличается от гамсуновской утраты иллюзий и надежд.

В Америку с началом колонизации устремились две категории иммигрантов. Одна состояла из тех, кого в Новую Англию звал шекспировский современник, первопроходец, капитан Джон Смит. Едва оказались эти странники за океаном и не увидели там того, за чем ехали – «лучшей жизни», так решили капитана повесить. В особенности ожесточились они после того, как капитан напомнил им евангельскую заповедь и нам известную, впрочем, из мирских источников: «Кто не работает, тот не ест». Капитан петли сумел избежать, но что за люди с ним приехали, понятно. Другая категория – раскольники, преимущественно пуритане, так называемые пилигримы. Пока добрались они на корабле «Майский цветок» до Нового Света, то за дорогу потеряли почти половину из отправившихся в дальний путь. А выживших и высадившихся ожидала суровая зима, неурожай, враждебные аборигены, словом, «глад и гибель». Но когда «Майский цветок» вновь поднял паруса и желающим предложили вернуться на родину, ни один не повернул назад. Эти люди стали называться не только пилигримами, но и пионерами.

Во времена Гамсуна Северная Дакота оказалась полигоном для испытания и широкого применения сельскохозяйственного инвентаря. В том числе колючей проволоки. Мысль об ограждении с остриями подали одному сообразительному человеку растения с шипами, вроде кактусов: скотина о них не чесалась. А скотина уж если трётся о забор, то наваливается на него всем телом и способна расшатать любую изгородь, а там – пошла травить посевы. Поэтому и требовалось отгородить от пастбищ пахотные поля, чтобы стада не вытаптывали и не поедали пшеницы, а также раньше времени не травили пастбищ. Легкое и сравнительно дешевое оградительное приспособление, с которым у нас связаны мрачные воспоминания, в Дакоте сыграло большую созидательную роль: и пастбища сохранялись, и все

увеличивались посевы.

Так одно за другим внедрялись технические усовершенствования, благодаря которым сельский труд обретал промышленный размах. На исходе девятнадцатого, теперь уже позапрошлого, века на целинные земли Северной Дакоты вышло столько тракторов, косилок и механических плугов, сколько у нас мы, я думаю, не видели на любом из этапов дальнейшего подъема нашего сельского хозяйства. «Мощь», – пусть без воодушевления и сочувствия признавал Гамсун. Чтобы представить себе эту мощь, вместо тракторов, которых у нас вечно не хватало, лучше вспомнить, как, гремя огнем, играя блеском стали, в яростный поход идут лавиной наши танки и прочие боевые машины: такому по масштабам техническому натиску подверглась Северная Дакота и стала житницей Америки.

Мой друг был американцем в пятом поколении. Отец его ещё в детстве из-за несчастного случая потерял руку – пришлось отрезать по плечо. Все же взялся фермерствовать, обеспечивал семью, выдерживая конкуренцию двуруких соседей. Завязывая вожжи и закидывая их за спину (чему научил сына), управлял многоконной – до десяти лошадей – упряжкой, заложенной в многолемешный плуг, сеялку или борону: все эти механизмы с гамсуновских времен становились доступны даже не очень состоятельным фермерам.

Друг мой, как научил его отец, тоже закидывал вожжи за спину, но лишь только когда управлял тройкой наших рысаков. Пара его собственных лошадей служила разве что декоративным украшением фермы и в хозяйственном смысле излишеством. Если благодаря технике однорукий отец оказался способен хозяйничать в 30–40-е годы, управляя многоконными упряжками, то, поколение спустя, ферма сына в 70-х годах представляла собой МТС, оснащенную согласно последнему слову техники и единолично используемую.

Укомплектованный всевозможным инвентарем машинный парк, в нерабочее время укрытый в гигантском гараже, позволял моему другу в одиночку управляться с зерновым и скотоводческим хозяйством размером с наш колхоз начала пятидесятых годов. Сколько было у него пахотных и пастбищных угодий, в точности не скажу, сужу на глаз, представляя себе, что такое был наш колхоз до укрупнения: летом в каникулы нанимался я верховым объездчиком, поэтому представляю себе размеры наших коллективных угодий. Могу сравнительно судить и о поголовье скота: школьником гонял в подпасках, а в студенческие годы, как помнят люди моего поколения, приходилось чистить колхозные коровники.

Чистил я коровник и у моего друга, приезжая к нему в каникулярное время и пользуясь при этом старомодными орудиями, вроде граблей и вил, не изменившимися, как и у нас, я думаю, со времен Гамсуна. Зато пшеницу на элеватор друг мой доверял мне отвозить на самосвале, поражавшем, как и гараж, своим размером. Поражал меня самосвал не потому, что я не видел наших самосвалов, а потому что махина находилась в руках одного хозяина и не какого-нибудь «пшеничного короля», вроде того, на которого работал Гамсун, нет, фермера, одного из многих. Пока ездил я на элеватор, друг мой не вылезал из комбайна, поражавшего своим благоустройством: кабина ультрасовременного корабля полей была оснащена установкой для искусственной вентиляции воздуха. Стояла такая же жара, что не давала житья Гамсуну, но для друга моего сколь угодно высокой температуры не существовало. Жара его не тревожила. Тревожило его, и ещё как тревожило, нечто иное.

Когда мы познакомились, это был невероятной физической силы и неиссякаемой работоспособности трудяга, наделенный истинным талантом земледельца и скотовода. Была у моего друга, как положено, американская мечта. Мечтал мой дакотский друг вывести породу быков, мясо которых опровергло бы неистовую антиговяжью пропаганду, в это время развернувшуюся по всей Америке. «Мясо вредно для вашего здоровья», – твердила на все лады пропаганда. А девиз моего друга гласил: «Мясо моих быков полезно». Мы с женой ездили к ним в гости, к другу моему и его супруге (ведь, согласно кодексу, «пока ковбой на объезде, по дому хлопочет жена»). Возвращаясь на Лонг-Айленд, где жили и работали, мы привозили сувениры. Сувенирами служили куски мяса – от тех быков. Мы раздавали их по соседям, а в ответ слышали: «В жизни такого не пробовал(а)». Что же такого особенного? «Ну, как вам сказать… просто настоящая говядина».

Ради осуществления своей мечты, которая, как всякая большая идея, нуждалась в материальном обеспечении, друг мой, истинно-американский индивидуалист, для которого главное, чтобы, как в песне, «было по-моему», всё же согласился работать на железнодорожного магната, державшего для души ферму. Друг мой надеялся, что ресурсы, несравнимые с его собственными, помогут ему осуществить свою мечту. К тому времени, когда привезли мы нашу тройку, друг мой успел показать на что способен: один из его быков признан был чемпионом absolutus. Это была медленно движущаяся, тяжело ступающая, белоснежная мясная гора, очевидно, без единой жиринки. Тонну живого веса долго и со всех сторон прощупывала судейская коллегия, в конце концов признавшая: «Лучше его нет!». После этого

исключительного победителя куда-то повели, и когда я спросил, куда, ответ был: «В гостиницу Хилтон». Из *абсолютного* чемпиона делать бифшексы?! Нет, его будут фотографировать в холле на красном ковре. И повели. В Хилтон. На красный ковер.

Но престарелый магнат скончался, хозяйство его перестало существовать, и друг мой взялся фермерствовать в одиночку. Обзавелся, понятно, в рассрочку, удивительным инвентарем и начал хозяйничать, как хозяйничал его отец, как начинали хозяйничать его деды, современники Кнута Гамсуна. Начал и – чуть было не потерял ферму, о чем по секрету мне поведала его жена. Причина была сама обычная, из тех, что упомянуты в «Коммунистическом манифесте»: перепроизводство. Даже зернышко к зернышку золотая пшеница и безусловно полезное, обезжиренное, мясо, не находили у моего друга сбыта.

С неизбежностью обрушился на него следующий, едва ли не худший, удар: попал в капкан к банку. Местному, столетнему: ограбление этого банка Гамсун живописал в рассказе «Бродяжьи дни». Когда же я у моих друзей оказался в гостях, жена моего друга взяла меня с собой на экскурсию в этот банк. Поехали мы собственно в магазин за продуктами, но жена моего друга сообщила мне, что у них деньги «на весу», виртуальные, как бы парят в воздухе или воображении, а на самом деле, в наличности, их нет. Вот и пошли мы в банк, чтобы заручиться разрешением на покупки в счет несуществующего вклада. Директор банка, которому меня представили как своего рода залог – под заморского гостя, был сама любезность и доброта. Трудно было себе представить, что этот обходительный джентльмен, не заставивший себя долго просить об очередном одолжении, обладал когтями и клыками крупного хищника и чуть было не отобрал у моих друзей и самосвал, и комбайн, и даже дом, – словом, всё, что они приобрели на данную им ссуду. Тогда я того не понимал, теперь понимаю, почему директор банка был столь радушен и уступчив: мои друзья оставались у него в лапах, всё крепче стискиваемые мертвой хваткой. И я не спрашивал, что стало бы с ними, с меня было довольно того, что я услышал: «Едва не лишились фермы».

Удалось не лишиться, войдя в еще большие долги, а также благодаря вечно-временным нехваткам в нашей стране. Россия стала закупать в Америке пшеницу, того самого сорта, что некогда завезли туда же, за океан, наши крестьяне-раскольники, бежавшие от притеснений и преследований за веру. И пшеница моего друга опять нашла сбыт, всё его семейство – жена, сын и две дочери – вздохнуло с облегчением. Увы, ненадолго. После нашего вторжения в Афганистан американское правительство на

торговлю с нами наложило эмбарго. Известие о запрете пришло в дом моих друзей по телевидению при мне, и я своими ушами слышал, как, словно раненый бык, взревел мой друг: зашаталась основа его существования. Всё могло мигом исчезнуть, не жестокими дакотскими ветрами снесенное, а конфискованное вежливым директором банка.

С тех пор экономические трудности уже не щадили моего друга. Поэтому закатов, восхищавших Гамсуна, как я уже сказал, мне увидеть не удалось. Поднимались мы с солнцем, а как оно заходило, я уже не видел. Не покладая рук, как белка в колесе, с утра до вечера трудился мой друг, и мне приходилось, насколько хватало сил, за ним поспевать. Образцовый, одержимый бесом деятельности, американец, покой ему даже не снился, но кроме наследственного работоголизма мой друг страдал, поистине страдал от непокоя и тревоги. Бычьей корпуленции и мощи, гигант жил в страхе, боялся, что усилия его пойдут прахом. И не зря он тревожился, а почему, уж это я видел своими глазами. Возил я, как было мне велено, на элеватор только что обмолоченную пшеницу, возил не на самосвале, а на пикапе – чуть-чуть, на пробу. Нет, говорили приемщики, сыровата. Вез назад, и встречал меня из-за стекол комфортабельной кабины корабля полей взгляд затравленного существа, который, не вылезая, сидит там, в комбайне, и деваться ему больше некуда.

А можно ли было найти выход? Можно, и довольно просто. Достаточно было в самом деле отказаться от фермы, вернуть комбайн и самосвал, и сесть за баранку уже не своего самосвала, нанявшись работать на соседний, поблизости раскинувшийся, агрокомплекс, так сказать капхоз (по аналогии с нашим совхозом). О такой возможности друг мой сам мне говорил. Говорил «можно бы», и больше ничего не говорил, но без дальнейших слов становилось ясно, что – нельзя. Ему нельзя, немыслимо. Это означало бы перечеркнуть все те усилия, что вкладывали в эту землю его предки. Однорукий отец справлялся, а он? Плоды трудов моего друга признавались бесспорно наилучшими, но не стало у этого идеального землепашца и скотовода возможности жить от земли.

Последние годы жизни друг мой существовал словно в осаде, в крепости, которая, однако, рушилась не только под ударами извне, но из-за внутреннего, так сказать, «предательства». Так сказать, условно, потому что его троянскими «противниками» оказались жена и дети.

Брак их был по любви, но в то же время – неравный брак: любящая и преданная жена была не от земли. Любила мужа-фермера и ради этой любви терпела *его* жизнь, но в конце концов

взбунтовалась. Бунт любящей жены выразился в том, что она сломала ноги. Ему? Нет, себе. Собирались они куда-то вечером пойти, она приоделась, надела туфли на высоких каблуках. И тут как молния пронеслась по дому новость: корова отелилась! А дело было зимой и надо было бросаться к теленку. И все бросились. Бросилась и жена, но бросилась, видимо, с тем же внутренним напряжением, которому один знаменитый мхатовский актер приписал случившийся с ним прямо на сцене сердечный приступ. «Значит, – сказал он, пока его несли на носилках, – играл не по системе Станиславского: был напряжен». Была напряжена, непрерывно напряжена и жена моего друга, потому и полетела кубарем по ступеням лестницы со второго этажа собственного дома, а в результате – перелом обеих ног.

Затем – бунт старшей дочери. Закончился этот конфликт уже не увечьем, а гибелью. К несказанной радости отца, она, красавица, вышла замуж за ковбоя. Вела хозяйство. Однажды косила траву на лужайке перед домом. Косилка, вроде маленького трактора, опрокинулась. Ковбойскую принцессу искромсали безостановочные ножи. «Она все время думала о другом, – сказала мне тетка погибшей, – и не доглядела». О чём же она думала? О другой жизни – не от земли. Внутренней причиной трагедии была та же духовная неудовлетворенность, что гнала ее отца куда-то дальше, в новую даль, а дочь своего отца в ту роковую минуту, за рулем трактора, мечтала, думала о другом, не в силах сосредоточиться на занятиях, какие поглощали, по меньшей мере, три поколения ее ковбойских предков. Появился бы в Америке еще один Драйзер, он бы написал новую американскую трагедию – полного благополучия, от которого многие из них готовы броситься хоть на рожны. Понять это состояние не пережившим его, невозможно, как нельзя чужакам постичь мучительность испытаний, выпадавших на нашу долю. Остается лишь цитировать Торо, американского из американских мыслителей, а он когда еще, наблюдая своих соотечественников, пришел к неутешительному выводу: «Большинство живет в молчаливом отчаянии». И, заметьте, не от бедности – от бесцельности. Об этом, конечно, пишут, но я имею в виду книгу, которая бы вызвала сотрясения мозгов, как было это с «Американской трагедией».

Наконец удар нанес наследник – сын. По имени, внешности и характеру весь в отца, просто копия. Добродушный силач. Понимал фермерское дело. Помогал отцу. Но, выучившись на бухгалтера и женившись на медсестре, перебрался в город. Там он завел свою контору, стал преуспевать как счетовод у местных фермеров, ведь он их хорошо знал и дело сельское прекрасно

понимал. Однако уход сына добил отца.

Друг мой своих горестей ни с кем не обсуждал, переносил молча, но весь как-то потемнел, будто наружу проступил мрак из глубины его души. «Мне врачи советуют, хотите пейте, хотите гуляйте, вытворяйте что только взбредет вам в голову, лишь бы вы отвлеклись от грустных мыслей», – это услышал я от него, когда мы виделись в последний раз. Ничего этого он никогда не хотел, хотел одного – жить от земли.

В том же году разбил его паралич. «Фермерстовать он больше уже не будет», – услышал я от жены по телефону. А с ним поговорить было нельзя – он потерял речь. После этого я к ним не приезжал: встреча оказалась бы непосильной для нас обоих. По вызову невестки, той, что работала медсестрой в местной городской больнице, приехал на похороны.

«Труженики на земле – самые ценные члены общества. Наиболее деятельные, независимые и доблестные, они привязаны к своей стране, её свободным традициям и её интересам нерасторжимыми узами… Трудящиеся на земле и есть избранный Богом народ», – это Томас Джефферсон, создатель американской утопии, утопии равенства и сельского труда. Понятие о равенстве, с которого начиналась составленная им Декларация Независимости, было вычеркнуто из Конституции США, и больше уже не повторялось. Фермерский земной рай, некая Аркадия, оказалась неосуществимой уже тогда, ещё при жизни Джефферсона. Становилось очевидно, что *американское*, то есть массовое развитие, идёт другим путем. Америка начиналась как сельская страна: лишь два процента населения жили в городах. С тех пор всё стало наоборот: в городах девяносто восемь, да и те два процента, что имеют недвижимую собственность за городом, всё больше – декоративные поселяне. Живущих в самом деле от земли почти не осталось. Вторая, младшая, тоже прибывшая на похороны дочь моего друга, продолжает фермерствовать. Приехала с детьми – они жить от земли уже не будут.

А как же агрокомплексы-капхозы? «Довелось мне работать на большой доходной ферме в долине Красной реки, – когда-то писал Гамсун, – там были сотни лошадей, мулов, машин и людей, – огромное дело. Но то было акционерное общество – не крестьянское хозяйство, а мы, трудившиеся там, назывались не крестьянами – рабочими. Такого рода сельскохозяйственное предприятие не имеет ничего общего ни с крестьянством, ни с крестьянской культурой». И то было только начало. Если же заглянуть в современный капхоз, там не только лошадей не найдёшь, но и людей особенно много не увидишь, одни машины, и какие машины!

Воссоздать бы фигуру вроде моего друга, как создал тип жившего от земли норвежца Гамсун, но для этого, как полагал Долматов, надо владеть пером.

Успешная дипломатия

«Он понимал значение конских испытаний».

Из американских газет по случаю кончины Посла А. Ф. Добрынина

«Бега и скачки вместо гонки вооружений» – американцами выдвинутый лозунг нашел поддержку в Советском Посольстве, прежде всего, у самого Добрынина, а практически связь осуществлял энтузиаст бегов, Зав. Консульским Отделом Резниченко (тот, что не выдал Марине Освальд-Прусаковой возвратной визы). Было это в те времена, когда, по крайне мере в поле моего зрения, других связей с Америкой, кроме скаковых и рысистых, не существовало. Мне было это известно из опыта: конникам в международных переговорах приходилось то и дело помогать, а литераторам помогать почти не требовалось – контактов раз-два и обчелся (пока не создали Советско-Американскую Комиссию гуманитарных наук).

Когда не только официальные связи Московского ипподрома с крупнейшими ипподромами Америки наладились, но и некоторые личные связи через океан установились, спортивный журналист Ирвинг Радд, отвечавший за рекламу на ипподроме Йонкерс, мне рассказывает: посещает их ипподром некое таинственное лицо, любитель лошадей и собак, он же – наш человек. Ирвинг поставил себя с ним на дружескую ногу, подарив ему нечто в ноздревском духе из «Мертвых душ» – розовой шерсти пса. Эта собачка, прямо говоря, пудель, впоследствии стала попадаться мне в печатных источниках – американских книгах по истории советской разведки. Как звали пуделя, не указывалось, но назван был по имени и положению человек, ставший обладателем этого редкостной масти кобеля. Хозяин розового пуделя являлся начальником нашей резидентуры. Не только американских историков нашей разведки, но и американскую контрразведку не мог не интересовать уникальный пуделек: собачка небольшая, но поводок её тянулся к большим делам и дядям. Советский хозяин самолично и регулярно выходил с американским четвероногим спутником на вечернюю прогулку, и, естественно, американская сторона стремилась проследить их маршрут.

Но в то время, когда Ирвинг Радд рассказывал мне, какой

подарок он сделал постоянному и странному завсегдатаю их ипподрома, у него не имелось никаких сведений, кто это такой. Была некая красноречивая подробность в его рассказе, но та же подробность озадачивала именно своей красноречивостью.

Ирвинг вспоминал, как однажды в ложе для особых гостей ипподрома, куда он пригласил таинственного незнакомца, после одной-другой-третьей рюмки коньяку зашел у них разговор о сложной (как всегда) международной обстановке, о советско-американских отношениях, опасно-напряженных в ту пору, и, наконец, коснулись они Громыко, тогдашнего нашего Министра Иностранных Дел. «А я, – сказал Ирвингу получатель подарка, – е…л Громыко». Ко мне Ирвинг обратился с таким вопросом: «Вы не знаете, кто у вас имеет власть и силу е…ть Громыко?». Чистосердечно отвечаю: «Просто ума не приложу».

Никаких кандидатур в тот момент мне в голову не пришло. Не мог я ничего самому себе объяснить даже после телефонного разговора с этим человеком. Он позвонил, представился приятелем нашего с ним общего друга, Ирвинга Радда, объяснил, что Ирвинг ему меня рекомендовал как кое-что знающего о лошадях, и стал распрашивать о ковбоях. Ему требовалось уточнить названия ковбойского снаряжения – он взялся писать свои мемуары. Потом я подзабыл о нём, пока не наткнулся на его имя, нет, не в историческом труде, а в романе.

На исходе холодной войны один за другим в Америке стали появляться шпионско-политические романы с особым сюжетно-смысловым уклоном. Криминальные, советско-американские повествования развивали один и тот же сюжет: ЦРУ с КГБ, как ни странно, заодно, им приходится вести борьбу против общего противника – своих же правительств. Это противостояние не игра воображения и не вымысел. Кто считал соперничество сверхдержав взаимовыгодным, тот в продолжении холодной войны был заинтересован. Были и другие силы, например, финансовые, Рокфеллер и его Трёхсторонняя Комиссия, им разгороженность мира мешала развернуться в глобальном масштабе. Все эти силы вели борьбу между собой – за правительство, а правительство имело свои интересы, смотря по тому, кто попадал в правительство. Романы, я допускаю, были действительно советско-американскими. Разгласили же американские разведчики, отставные, сообщающие всю правду, как только уходят со службы: зарубежное издание мемуаров Хрущева было совместной акцией КГБ и ЦРУ. И романы, судя по достоверности даже в мелочах, возможно, готовились у нас, нашими же руками, вчерне, затем переправлялись на Запад и там дорабатывались: нет ошибок, зато есть вещи, которые лишь кто-то

из наших людей мог увидеть. «Развесистая клюква», – сказал мне об этих романах американский литературовед. Ну, это с точки зрения эстетической, а по достоверности в деталях не были клюквой ни «Кремлёвский контроль», ни «Под управлением Москвы».

В одном из этих романов я нашёл точное описание пятен на стене некоего секретного учреждения, иначе говоря, «ящика», где и вывески не было, и я не знал, где же мне по линии Общества «Знание» поручили прочесть лекцию. В Москве из столичных организаций остался мной не охвачен, пожалуй, лишь крематорий. Библиотеки и школы, цеха заводов и воинские части – всюду посылало меня «Знание». В тот раз слушал меня целый зал военных, преимущественно генералов. Им я пересказал сюжет, повторяемый из романа в роман: у нас и у них разведывательные органы вынуждены сражаться с «верхами», потому что неладно с лояльностью на самом верху, но в терем тот высокий нет хода никому, а «верхи», в силу избирательного сродства, в свою очередь союзничают. Таким путем КГБ и ЦРУ оказываются по одну сторону политических баррикад, правительства – по другую. Генералы в том здании с пятнами по стенам задавали вопросы. Один из генералов спросил: «А что вы сами думаете по поводу мрачной перспективы, которую вы нам тут нарисовали?». Это – весна девяносто первого года. Мой внутренний голос на вопрос отозвался вопросом: «А что думаете вы?» Но вслух задавать вопросы мне было не велено. Вспоминал ли месяцев восемь спустя тот генерал, нет, не мой ответ – свой вопрос? А мой ответ в чём заключался? «Думать нечего, когда нам английским языком говорят, что у нас творится».

В одном всё из тех же романов между прочим говорилось: «Разве Лесиовский разрешит?» Это и был таинственный друг Ирвинга Радда, обладатель розового пуделя, и мой телефонный собеседник, который распрашивал меня о ковбоях. Разумеется, то был роман, но вскоре полковник Лесиовский встретился мне в одной, другой и третьей книге о советской разведке. Чем больше о нем я узнавал, тем больше удивлялся. Властью, связями и сведениями обладал Лесиовский необъятными. Подумать только! Встречу Жаклин Кеннеди с Папой Римским не кто-нибудь, он организовал. Причем тут Папа? Почему Жаклин Кеннеди? И этому вездесущему, всесильному и всезнающему человеку не хватало знаний о ковбоях! Он не делал секрета из своего телефона, сам его мне продиктовал, если я надумаю купить у него Британскую энциклопедию, которая ему уже больше не нужна (предложением я не воспользовался – Британика у меня была).

Вспомнил я о нем, уже давно ушедшем, читая американские некрологи Александра Федоровича Добрынина. Так вот почему супер-разведчик готов был вы…ть главу Международного ведомства! «Посол СССР вытеснил из своего штата почти всех шпионов», – говорили газеты.

Не успел об этом узнать Ирвинг Радд. В его воспоминаниях есть целая глава о том, как под лозунгом «Бега, а не бомбы» устанавливались наши конные связи, но охватывает эта глава только их предысторию, обрываясь в тот момент, когда как раз благодаря поддержке Добрынина и стараниям Николая Сергеевича Резниченко связи наладились.

А ещё позднее в одной из многочисленных книг, выдвигающих очередную версию покушения на Президента Кеннеди, я прочел, как наша бывшая соотечественница, вдова не дождавшегося настоящего допроса и не успевшего предстать перед судом, не осужденного и не оправданного, а потому только предполагаемого убийцы, пошла за визой в наше Посольство, думая вернуться на родину, однако Николай Сергеевич выдать ей визу отказался. Почему? У него уже не спросишь. Не спросишь и у протоиерея-профессора Д. Д. Григорьева, хотя он хорошо знал Илью Мамонтова из так называемых «белых русских», офицеров Белой Армии. Он, Мамонтов, с бароном-эмигрантом Моргеншильдом консультировал гражданку Прусакову, она же госпожа Освальд, обучая её, как ей отвечать на вопросы Следственной Комиссии Конгресса. Что после этих консультаций с Мамонтовым стало, не знаю. Но дотошные люди, всё старающиеся доискаться причин и обстоятельств гибели Президента, хотели узнать у барона, чему они с Мамонтовым обучали Марину Николаевну (потому что она от своих показаний отказалась), но прежде чем взыскующие иправды успели задать свои вопросы, Моргеншильда нашли его то ли застрелившимся, то ли пристреленным. И у Дмитрия Дмитриевича не спросишь. Нет его, дорогого, убежденного русского патриота, не видавшего России до седых волос (родился на военном катере у берегов Австралии), однако жившего с мыслью «Русское, значит, лучшее». Словом, о причинах неприязни высокопоставленного сотрудника одного нашего ведомства к главе другого нашего ведомства, хотя бы косвенным путем, я доискался, а уж далласскому сюжету, в который оказались вовлечены помогавшие нам устанавливать связи с заокеанскими конниками, и конца не видно.

Первый аукцион

«Торговали мы конями…»

«Сказка о царе Салтане»

– Господа! Вы пожалеете, господа! Вы еще пожалеете, говорю я вам… Вглядитесь в этого жеребенка: полубрат великого Анилина, внук самого Эталон-Ора, он в будущем себя покажет. Четыре тысячи долларов! Р-раз! Кто больше, господа?

Молотка в руках у меня не было, и я угрожающе размахивал микрофоном. Молоток был у Олега Васильевича Королькова, представлявшего «Продинторг». Его удар решал дело. Мне же надлежало читать лот – характеристику очередной лошади. Потом Корольков, главный аукционер, объявлял цену, и наперебой по-русски и по-английски мы начинали грозить:

– Вы пожалеете! Вы еще пожалеете! Кто больше?

Однако тех, что сидели перед нами, не так-то просто устрашить. Пуганые, стреляные знатоки, крупные конеторговцы. В Донкастере им недавно внушали, что они «еще пожалеют», их только что в Довиле всеми способами заставляли раскошелиться, где только по всему земному шару не намекали им, что «здесь они упускают свою удачу»…

И вот Московский аукцион. Если покупатели упрямо держались чересчур низкой цены, Корольков обращался к ним:

– Осла, господа, за такие деньги вы купите, а это ведь чистокровный жеребец!

Господа ничуть не обижались, однако набавлять не спешили, выжидая, не погорячится ли человек с молотком, не отдаст ли товар подешевле… Но у Королькова имелся свой прием. Вдруг он клал молоток перед собой:

– Сообщаю по секрету: меньше чем за две с половиной тысячи лошадь не отдадим. Не хотите не надо. Жеребенок останется в России, а вырастет, предупреждаю, будет обыгрывать ваших же рысаков. Итак, лот снимается с торгов. Освободите манеж!

Пошевеливая ушами, смирно следует за выводчиком гнеденький жеребчик – снятый лот. Вопрос выдержки. Мы молчим.

– Даю две сто! – звучит, в конце концов, с места.

– Верните лот! – приходим мы в движение. – Вы слышали? Две тысячи сто долларов предложил мистер Даунзен (Канада). Две сто – р-раз!

Канадец машет руками, показывая и прося: «Стучи! Стучи же скорее! Два, три…» Между тем Корольков невозмутим:

– Неужели позволите вы, мосье Рено, чтобы этот первоклассный жеребчик, будущий ипподромный боец, а также заводской производитель, уплыл в Канаду? Не лучше ли отправиться ему во Францию? Как вы думаете, мосье Рено? Француз опускает глаза.

– А вы, господин Бенгсон, – не унимается и будто не замечает знаков канадца Корольков, – как вы смотрите на это?

Швед Бенгсон, самый наш давний клиент, поднимает табличку со своим номером: две триста!

– Как видно, – посматривает на всех Корольков, – лошади суждено пойти в Швецию…

Возникает еще табличка – герр Лютте.

– Нет, в Гамбург! Две пятьсот!

Тотчас сделал знак Бенгсон, как если бы хотел он выразить: «Ну, не-ет!» – что на нашем языке значило:

– Две семьсот! Кто больше? Две семьсот – раз! Два, три… Продано!

Удар молотка и аплодисменты отмечают азарт торговца.

– Следующий лот!

Этого жеребенка продать как можно выгодней мне особенно интересно.

– Питомец Первого Московского завода Бунтарь от Буянки. Буянка – дочь Квадрата, всесоюзного рекордиста, чемпиона

орловской породы, призера международных выставок.

За каждым словом дорогая память; мне случалось там ездить верхом: видится луг над рекой, ходит табун кобыл с жеребятами, дед Курьянов в седле их сторожит.

Продажей нескольких лошадей Московского завода лет десять тому назад и началась, собственно, наша международная торговля лошадьми. Сперва дело велось от случая к случаю. Постепенно наших лошадей узнавали за рубежом по различным соревнованиям, по интернациональным призам на бегах и скачках, и спрос на лошадей из Советского Союза становился все шире: более двадцати стран покупают наших лошадей – Англия, Франция, Италия, Сирия, Дания, Голландия и многие другие.

Чистокровные скакуны и рысаки, лошадиная «аристократия», почитаются во всем мире и ценятся необычайно высоко. Желая, например, приобрести несравненного Рибо, некий американский богач выслал его владелице-итальянке открытый чек за своей подписью с просьбой поставить сумму, какую только ей заблагорассудится. Чек вернулся незаполненным: Рибо не имел цены. Еще бы! Сколько ни выходил к старту итальянский скакун на крупнейших ипподромах Европы, всякий раз он побивал своих соперников с такой легкостью, что казалось, будто класснейшие лошади мира вдруг заболели. Говорили: «Рибо – это Карузо лошадиной породы», как некогда считалось у нас, что Крепыш спорит во всероссийской славе с самим Шаляпиным! Конечно, это и есть «лошадь нации», «лошадь века». Потому, словно какая-нибудь «Мона Лиза» или автограф Шекспира или Пушкина, выдающийся ипподромный боец признается национальным достоянием и, естественно, не имеет цены. Ведь еще Шекспир сказал: «Коня, коня! Королевство за коня!» Переводчикам эта цена казалась немыслимой и ее сократили вдвое: «полцарства за коня». Почему же? Если бы, например, теперь какой-нибудь Ричард III попробовал на аукционе, где торгуют взрослыми скакунами, предложить «королевство за коня», еще вопрос, сумел бы он приобрести действительно классную лошадь. Во всяком случае нашего Анилина мы не отдали и за двести пятьдесят тысяч долларов!

На московском аукционе предлагается зеленая молодежь. У этих «полуторников» все в будущем и… в прошлом. В будущем то, что сумеют они показать на дорожке, чего смогут добиться в призовой борьбе. А прошлое – порода, происхождение, первая надежда на возможный успех. Всякий раз, когда идет торг и, аттестуя жеребят, рассказываешь об их прославленных предках, перечисляешь громкие победы, заслуги, тысячные выигрыши, – каждый факт многого стоит.

– Обратите внимание, представитель линии Гульсына Иссык-кульского конезавода!

…Ступая сквозь тучи, едет верхом человек. Это в горах. Внизу, как под крылом накренившегося самолета, подымается к горизонту Иссык-Куль. Тучи быстро перебегают дорогу. Слова «обвал», «волки», «убило грозой» тут в практическом употреблении. «Во-он», – поднимает плетку Курнанбай Мамбетов, табунщик, указывая, где несколько дней назад погиб от молнии его напарник.

Не здесь, в Киргизии, а на Кавказе, но также в горах, при мне как-то было получено распоряжение спустить косяки для показа. Григорий Коцарь, известный по Северному Кавказу табунщик, должен был передать это в бригады. Он сделал два шага на край пропасти и негромко произнес: «Эй!» Звук ушел. Коцарь закуривал.

Папироса Коцаря уже дымилась, когда в ущелье, из видневшегося там внизу жилого домика выскочил человек. Через некоторое время и он сел курить, а мы чуть позже получили: «Хо!»

– Завтра… шесть… главный баз, – отчетливо и все так же негромко передал Коцарь.

Через некоторое время фигурка пропала, будто нижний табунщик и слушать ничего не хотел. И мы собрались уходить, когда прилетело: «Понял!»

Весь этот труд и быт, эта высота указывают, как много вкладывается в лошадь.

С киргизских гор спускались мы домой вместе с Дмитрием Спиридоновичем Прокопьевым, тренером и жокеем. Он вспоминал черные времена, 1916 год, рассказывал, как резали здесь русские семьи, гнали женщин и детей, потому что ведь все русские мужчины были на войне. Но вот наконец засинело на перевалах и заиграло:

Эх, дай же, боже,
Весновую службу!

Шли казаки.

Весновая служба
Молодцам веселье…

Дмитрий Спиридонович точно помнил песню, и также сохранялись у него с мальчишеских лет пережитые тогда вместе с этим напевом и посвистом чувства. Однако сейчас мы двигались

над миром, и он рассказывал обо всем спокойно. Он почувствовал и обозначил границу эпической рассудительности, когда последнее ущелье осталось позади и открылась долина.

– Ну вот, – тренер чуть придержал повод, – все мы обговорили: и политику, и промышленность, и сельское хозяйство.

Мы возвращались на уровень суждений земных, гораздо более мелких, пристрастных, чем в горах, в облаках, и прежний разговор уже не стоило продолжать. Он остался в табуне.

Все же, когда приходится мне вести международные торги, аукцион наших лошадей и попадается тавро Кавказа или же Иссык-Куля, сразу вспоминаю горную высоту.

– Внимательнее вглядитесь в этого жеребенка! – наш торг идет своим чередом. Пытаются предложить долларов шестьсот.

– Осла еще можно купить за такие деньги, а это… – главный аукционер вполне знает не только денежную, а вообще цену лошади: он сам прежде руководил одним из лучших кавказских конных заводов, и не из вторых рук ему известно, сколько вкладывается в каждого жеребенка сил, прежде чем можно вывести его на манеж, ударить молотком или спросить:

– Кто больше?

В первый раз два года назад взглянул я на молоток аукционера, как смотрят на паруса, на плащ и шпагу, словом, на какую-то романтически нереальную книжность. Читал в романах столетней давности: «Кто больше?» И вот твержу эти слова. Сакраментальный возглас, стук молотка, конские торги связывают с далекими временами. Живее вспоминаются клички: Бивуак, Факел, Искандер-Паша, Недотрога – это они защищали честь России ровно сто лет назад на Всемирной выставке в Париже в 1867 году.

Французское правительство купило тогда у нас для своего государственного депо темно-гнедого битюга Ваську, служившего удивлением всей Выставки. При этом французы заметили: «Зачем же нужны вам наши першероны, когда имеются у вас подобные Ваське лошади?»

Тогда блистали в Париже и вороной Бедуин с Ефимом Ивановым. И рысак, и наездник поражали публику. Бедуин отличался породностью, благородством и нарядностью форм, а главное – резвостью, легко делая километр в дрожках, в хомуте и под дугой за 1 минуту 36 секунд. У Ефима же Иванова были редкостные руки. Современник описывает: «Ефим Иванов как бы постоянно помнит, что железо удил, находясь в самой нежной части рта лошади, у самых окраин губ ее, не должно давать чувствовать всей своей жестокости, и потому-то так мягко, гибко

выработаны шеи, так уступчив затылок и так нежен рот у лошадей, им езженных. Ефим Иванов удивлял иностранцев, привыкших видеть строгий мундштук и высоко поднятые шеи у своих лошадей, той необыкновенной мягкостью рук, с которой он пускал в ход и останавливал Бедуина; но еще более изумлял он их совершенно по своей воле, располагая сбоем Бедуина, представляющим у них столько трудностей, и заставляя его незаметным движением руки, не отражавшимся ни в малейшем колебании вожжей и удил, делать тот нарядный мастерский сбой во сколько скачков ему угодно и тотчас же направляться на самую правильную, свободную и быструю рысь».

Американцы предлагали за Бедуина огромные деньги. Россия была тогда единодушно признана по коневодству первой страной мира.

– Перед вами, господа, – говорю я, рекомендуя очередного жеребенка, – потомок резвейших орловских рысаков. Сила, выносливость, резвость у него в крови. О породности его внешних форм вам нечего и говорить. Вы имеете возможность убедиться собственными глазами.

Возможность, разумеется, имеют, однако вида не показывают: торг есть торг.

– Хорошо, – говорит Корольков, – мы пошутим: триста долларов!

Шутку принимают: одна за другой поднимаются таблички четыреста, пятьсот… До тысячи всякий набавляет по сто долларов, а после тысячи – двести: тысяча двести, тысяча четыреста…

– Кто больше?

В какой-то момент вдруг намечается заминка. Тут же звучит угрожающее:

– Осла…

Поднимаются таблички. И по мере того как цена идет вверх, невольно посматриваешь через окна на небо: будто там, в облаках, движутся верхами дед Курьянов, Григорий Коцарь, Димитрий Прокопьев, Курнанбай Мамбетов, а еще выше послушный мастерскому посылу Ефима Иванова летит вороной Бедуин.

Лошадь как лошадь

«Длинная, плотная шея, высокая, длинная и соразмерно широкая холка, также как и длинное, косое плечо, – суть важнейшие стати всякого рысака и скакуна».

Из наставления «Как купить лошадь»

Среди впечатлений конного мира одно держится у меня в памяти особо и прочно.

Поехали покупать лошадь. Дело получилось так. В «Лесных полянах» под Москвой, в совхозе историческом – самом первом, была племенная конеферма. Рысаки «Лесных полян» с удачей бегали на различных ипподромах. Но вот энтузиаст-тренер Алексей Белага скончался, совхоз принял с некоторых пор слишком специализированное направление, и ферма перестала существовать. Однажды, очутившись неподалеку от «Лесных полян», решил я туда заглянуть и узнать, не осталось ли лошадей Белаги. Ведь производителем у него стоял Гагач, победитель Всесоюзного приза, а главное, последний сын Гильдейца, то есть прямой отпрыск одной из самых ценных линий в нашем

коневодстве.

Конюх на рабочей конюшне оказался любителем и сразу сказал:

– Есть одна кобылка трех лет от Гагача. И заниматься с ней совершенно некому. Ведь нам она не подходит.

Я рассказал об этом в Москве директору ипподрома. На другой же день он собрался ехать. Линия Гильдейца не шутка! Хотя директор сам был знатоком и купил за свою жизнь не одну сотню лошадей, на этот раз он пригласил с собой двух выдающихся наездников. Когда я прибыл к нему в кабинет, где чувствовался азарт от предстоящей поездки, знаменитые тренеры сидели в углу и толковали между собой, совершенно безучастные ко всему окружающему. Безучастность они сохранили и по пути, в машине, и столь же равнодушны остались они, когда мы достигли «Лесных полян» и стали смотреть лошадь. Наездники-то ее, собственно, и не смотрели. То есть не обращали на нее никакого внимания в том смысле, как я этого ожидал.

Мне очень хотелось видеть, как будут лазить в рот и проверять по зубам возраст, щупать ноги, пробовать на ходу и т. п. Нет, знаменитые мастера не только не стали делать этого, но даже вовсе не подошли к гнеденькой кобылке. Пока мы возились с ней, надевали недоуздок, выводили из денника во двор, они, как и в директорском кабинете, держались в стороне, продолжая свою беседу. Они даже повернулись ко всем нам спиной, и один, поковыривая носком сапога камешек, говорил что-то другому.

Директор расспрашивал конюха, а я все ждал, когда же он обратится к наездникам, чтобы они осмотрели лошадь. Вместо этого директор, подойдя к ним, осторожно спросил:

– Можно заводить?

«Ведь приехали смотреть! – мелькнуло у меня. – Не смотревши заводить?»

– Да, ставьте на место, – последовал ответ.

Судьба кобылки была решена. Но когда, в какой момент? И только потом я понял: мастерство! «Видеть» спиной, чувствовать каждым мускулом, ловить любым нервом материал своего дела. Все открывается сразу, как у пушкинского Дон-Гуана: достаточно заметить хотя бы пятку:

Довольно… воображенье
В минуту дорисует остальное…

Все равно, с чего бы ни начать, «с бровей ли, с ног ли» – они не позировали, не манерничали, их простодушие не знало таких вещей. Просто случай был для них слишком очевиден. Уже по

моим рассказам наездники составили впечатление, и им было достаточно мельком проверить его. У Пушкина же сказано: «Гений с одного взгляда постигает истину».

С того раза и начал я про себя копить наблюдения над механикой высокого профессионализма, который живет и развивается в нашем конном деле. Как Грошев бросался на Месяце с последнего места, как Вильям Флеминг, жуя резинку, сохранял выдержку до самого столба, как Петр Васильевич Гречкин делал в Финляндии свой посыл, как Гриценко ехал на удар на Кожуре, так ведь и писать, так ведь и жить хорошо бы! Секрет этого мастерства, в принципе единого для всех творческих сфер, одна из тех сил, что держат меня возле лошадей и среди конников.

Позвольте, скажут люди сведущие, пример ваш с кобылкой из «Лесных полян» совсем не характерен! Напротив, сколько происходит суеты вокруг лошади во время покупки. Разве что на вкус ее не пробуют, а всеми прочими путями лошадь обязательно испытают.

Согласен. Когда продавали мы лошадей в Англии, один покупатель имел обыкновение ложиться на землю во время выводки. Так, он считал, лучше видно! Конечно, смотрят и губы, и особенно ноги, проверяют на ходу. Случай в «Лесных полянах» был для мастеров слишком прост и ясен. Но в том и сказалось мастерство, опыт, что на простой случай не было потрачено сколько-нибудь лишних сил. Известно, «искусство начинается с чуть-чуть».

Мне же довелось быть свидетелем торга совсем в ином духе – кричали и суетились. Это приехал американский коневод Лоуренс Шеппард отбирать наших жеребят. Торговля лошадьми у нас только начиналась, и мы заинтересованы были, чтобы Шеппард не ошибся и выбрал действительно хороший товар. Заранее среди выставленных на продажу лошадей было намечено семь самых классных. Если бы гость ошибся, ему бы подсказали, кого следует взять.

Однако азарт есть азарт. Американца стали испытывать. Шутить. Советовать: «Вот хорошая лошадка, а вот еще!»

– Да, – отвечал матерый волк, – в самом деле неплохая, только я ее не возьму.

И, не подозревая ничего заранее, он выбрал ту самую семерку, которая была ему предназначена. «Знает лошадь», – решили про приезжего.

Знают лошадь среди лошадников немногие, как не все те, что садятся в седло или берутся за вожжи ездоки. Трофимыч, старый драгун, рассказывал, как бывало у них в кавалерийской школе.

«Есть всадники?» – спрашивают офицеры у вахмистра. «Никак нет, пока что-то незаметно!» А все ездят, целый полк усвоил приемы и умеет управлять. Так и знание лошади.

Про Холстомера, разбитую на ноги клячу, у Толстого говорится, что знаток сразу бы сказал, что это была в свое время замечательно хорошая лошадь. «Знаток сказал бы даже, – продолжает Толстой, – что была только одна порода в России, которая могла дать такую широкую кость, такие громадные мослаки, такие копыта, такую тонкость ноги, такой постанов шеи, такую кость головы, глаз – большой, черный и светлый, и такие породистые комки жил около головы и шеи, и тонкую шкуру, и волос». Знаменитый коннозаводчик Бутович восторгался этим описанием. О самом Бутовиче говорили: масть жеребенка способен угадать в брюхе матери. Насквозь знал он лошадь, породу, родословную всякого рысака. Понимание породы восхищало его в повести Толстого. У Толстого вообще все животные, как и люди, обычно породисты – охотничьи собаки, борзые и гончие, лошади. Про Фру-Фру в «Анне Карениной» говорится, что в ней «сказывалась кровь». Впрочем, в «Холстомере» о породе речь идет в узком смысле. Тот случай, когда Липпинг с Оленевым поднимали на Толстого руку. «Надо говорить не о породе, – неистовствовали знатоки, – речь идет о породной линии!». Сам Холстомер, известно, орловский рысак, но есть в орловской породе разные наследственные линии, которые конники между собой также называют породами. «Была только одна порода в России», – говорит Толстой, должно быть, наслушавшись заправских разговоров своих друзей-коннозаводчиков – братьев Стаховичей или Оболенского. То были давние споры о том, что орловский рысак со времен Орлова сильно ухудшился, утратил многие достоинства, так счастливо соединенные вельможным заводчиком в первых своих рысаках и скакунах. Вспоминали, что упряжные и верховые орловские лошади не сильно разнились. Рысаки были достаточно массивны, однако без лишних мясов, без «сырости», а скакуны хотя и были легки, но тоже отличались богатой костью, капитальным корпусом. «Лошади было в них много».

Каждая из культурных пород на Западе – английская скаковая, американский или орловский рысак – имеет в прошлом арабских родоначальников. Всякая западная порода, усвоив арабскую, варварийскую, а, может быть, и ахал-текинскую лошадь, развивала, меняла этот тип в нужную сторону. Англичане отбирали потомство первых помесей строго по резвости. Орлов искал идеального сочетания форм, роста и хода. Его верный взгляд на лошадь для России подтвердился быстрым успехом его

рысаков и скакунов. В первых орловцах было что-то львиное, могучее, прочное; их шеи, свободно выкинутые, придавали им удивительную картинность. Орлов и его непосредственные последователи, особенно прежний его крепостной Василий Иванович Шишкин, старательно следили за сохранением типа орловской лошади, какой явилась она в первых представителях породы – в Барсе, Лебеде, Добром, Любезном, отце Холстомера.

А потом пошла городская мода на громоздких, но не особенно дельных лошадей. Гнались за ростом, однако добивались лишь высоких ног, а не гармоничного укрупнения всей лошади. Полагали, будто на длинных ногах рысак побежит быстрее, однако у вздернутой кверху, что называется цыбатой, лошади ход терял спорость, легкость и продуктивность. Любили чрезвычайно массивных коней, не различая внушительного костяка от «сырости», богатой мускулатуры от лишнего сала. Были повальные увлечения мастями. Так, «грибоедовская Москва» ездила на рыжих с «фонарями», то есть с белой лысиной по храпу. Потом распространилась мода на вороных, прозванных «архиерейскими», или «похоронными»…

Может ли «рубашка», то есть масть, служить признаком класса лошади? Скажем, серых мало среди победителей крупнейших скаковых призов. Вопрос настолько тонкий, что лучше я дам слово специалисту, мы с ним переписывались, вот отрывок из его письма. Это писал из Якутска зоотехник Н. Ситников: «По моим личным наблюдениям и по рассказам весьма наблюдательных стариков, наших отцов и дедов, самые выносливые, сильные, часто безудержные якутские лошади встречались чаще всего среди лошадей серой масти. А самыми худшими мастями для лошадей якутской породы являются, на мой взгляд, рыжая, а также пегая, чубарая, игреневая и саврасая. Арабы считают, что самая лучшая масть, отличающая добротную лошадь, – рыжая. У них существует поговорка: «Догонишь врага и спасешься от врага только на рыжей лошади». Видимо, это объясняется географическим расположением их родины – Аравийского полуострова. Ведь там, у экватора земного шара, жара достигает 50 градусов, а зимы не бывает. Расположение же нашей республики как раз противоположно этому во всех отношениях. У нас месяцев холодных больше, чем теплых и жарких. Снег держится восемь месяцев. Как видно, это и предопределило наличие среди чистопородных якутских лошадей серой масти, и это же, видимо, обусловило лучшую усвояемость кормов организмом и более интенсивный обмен веществ у лошадей именно серой масти. Поэтому отличительной чертой лошадей этой масти у нас являются сила, выносливость и

резвость». Я слушаю мнение знающего человека и безмолствую…

В подборе статей и мастей, как в кличках, отражается время и личные пристрастия. В конце концов, та же политическая борьба. «Интересно, – писала мне Леди Олдингтон из собственного города Олдингтона в графстве Кент, – что в России купечество предпочитало ездить на вороных в пику дворянству, ездившему на белых, точнее, светло-серых. То же самое и здесь, в Англии, скажем, немецкий по происхождению английский король Георг III выезжал на белом коне, а сын его, Принц-Регент, обязательно на вороном, ибо взаимности между ними не наблюдалось».

В погоне за модой и англичанами, которых почитали законодателями в скаковом деле, лошадей «англизировали» – подрезали им хвосты. С грустью и тревогой смотрели знатоки на эту суету. «Хороша лошадка старинного завета», – вспоминали они дедовскую поговорку. Один из таких дельных заводчиков иронически описывал выводку – показ лошадей у новоявленного хозяина: с утра начинаются разговоры, как высоко происхождение его лошадей от каких-нибудь Стебалы, Первача, Дергача, Грозы, Телушки, Вьюги и т. п. И тащит он гостей в конюшню смотреть знаменитостей с громкими названиями.

Публика молча идет, становится в углу манежа, хозяин хлопочет, выходит из себя, распекает конюхов за то, что плохо мочат гривки, мало мажут дегтем копыта и не умеют подбодрить и поставить красиво. Хозяин забыл о том, что правильная лошадь почти всегда и сама станет красиво.

Наконец выводят. «Вот, вот, господа», – бегая взад и вперед, суетится хозяин.

Перед зрителями стоит короткая лошадь, на высоких длинных ногах, с узким задом, с плоскими, запавшими боками, с тяжелой головою, с длинными ушами, с сонными маленькими глазами, постоянно закрывающимися, стоит перед публикой, словно сконфуженная; точно чувствует она и укоряет хозяина, зачем, мол, ты меня вывел показывать.

«Посмотрите, посмотрите, – кричит хозяин, – какова подпруга у этой лошади», – и он указывает на отвесное длинное плечо, которое почти всегда в связи с узкою, неразвитой, запавшей грудью. Хозяин опять забыл, что у хороших, правильных лошадей незаметно ни большой подпруги, ни напористого зада, – все настолько пропорционально, что ничего нет выделяющегося, а если взять с иного, дельного коня хомут, то в него, пожалуй, проскочит вся лошадь с большой подпругой.

«Эта, – говорит хозяин, – самой высокой породы: бабка бежала, тетка бежала!» Действительно, бабка и тетка бежали, но у столба переходили в шаг; на другой или на третий год отбивали

свои длинные ноги и поступали в завод как знаменитости, если не околевали от запала. Рождались от них тоже знаменитости, вроде той, какую только что выводили…

Но вот показывают еще коня. С гордостью хвалит хозяин рост, ширину и «густоту». Стоит действительно лошадь-слон с мясистыми вялыми ногами, с огромной грубой, горбоносой головой. Кроме того, чтобы носить свое собственное мясо, она предназначается для прогулок красавиц купчих пудов по семи веса.

Монолог коннозаводчика я привел почти дословно, и не все, должно быть, специальные оттенки в нем понятны. Их и не все разъяснишь. Но ясен смысл его печали и горечи. Так всякому знатоку, не только лошаднику, остается кипеть про себя, со своим пониманием вещей – под натиском поверхностной новизны…

Англичане-конники считают: «Смотрите лошади сразу на ноги. Если ноги никуда не годятся, то на все прочее и смотреть нечего». Грошев говорил еще жестче: «Задние ноги! Смотри, как работают задние ноги. А перед – это для красоты».

Но сколько ни смотри на ноги, передние или задние, ничего не увидишь, если «глаза» нет, навыка, а главное – чутья. Те же англичане привели на европейский чемпионат по троеборью старика Мастера-Бернара, которого по первому впечатлению можно было принять за водовозную клячу. У него колени дрожали. И этот Мастер взял первое место по выездке.

Знаменитейшие ипподромные бойцы имели серьезные пороки экстерьера. Однако тут действовал закон «компенсации»: у них были, кроме того, и чрезвычайные достоинства. Одного недостает – другое в избытке: лошадь ростом невелика, но породна; не очень изящна, однако дельна; голова великовата, да корпус массивен; плечо чересчур отвесно, зато бабки длинны – пружинисты, смягчают удар о землю слишком прямо поставленной ноги. Важна, конечно, не механическая правильность форм, а живая гармония всего организма. Истинным знанием лошади, чутьем и «глазом» на лошадь обладает тот, кто эту гармонию способен уловить.

О готовности коня к скачке, например, специалисты судят так: лошадь должна быть суха, иметь матово-блестящую шерсть (большой блеск – излишек жира, тусклость – болезнь), упругую рельефную мускулатуру, блестящий глаз, сухожилие без утолщений. У такой лошади копыта холодные, ребра хорошо отделенные, вид бодрый. Но основное у лошади – «открытое», легкое дыхание, и определить его по внешнему виду нельзя. Это уже сами скачки или, как выражаются на ипподроме, финишный столб показывает.

Туркменские сеизы (тренеры) имеют такие приметы, что лошадь готова скакать: она основательно «высушена», шея у нее как бритва, ребра можно пересчитать пальцем, а если тронуть мускулы на крупе, то они – струна. Но опять-таки приметы действуют не сами по себе, у всякой лошади свой организм, свой характер и соответственно свои приметы, свои боевые кондиции. К скачке принято лошадь «выдерживать», «сушить», однако есть, тем не менее, лошади, которые любят, напротив, скакать «в теле». Чрезмерно подсушенные, они терпят неудачу. На это у каждого тренера и жокея имеются свои секреты.

Наш тренер-ветеран, девяностолетний Джамбот Камбегов выставил на Большой дистанционный приз рыжего Сардара, признанного «фляйера», значит, годного лишь на короткие дистанции. «Стар стал дед! Стар», – единодушно качали головами опытнейшие конники.

Прозвучал колокол. Понеслись. Сардар словно лишь звался Сардаром, каким его знали, а по дорожке, казалось, летела совсем другая лошадь – рыжий был легким победителем.

…В Париже на ипподроме Лоншан перед Призом Триумфальной арки, где должен был скакать наш Анилин, к нашим конникам вдруг подошел старый негр. Винкфилд! То был Джеймс Винкфилд, скакавший с большим успехом в начале XX века в России.

– Хорошая лошадь, – сказал он про Анилина с акцентом, однако по-русски, – но, мне думается, не совсем в форме. Работы было, должно быть, маловато.

«Я и сам знал, – говорил наш тренер, – что работы Анилину на этот раз не хватило». Он поздно поступил из завода в Москву, а в Москве, как нарочно, испортилась погода. Даже контрольного галопа не успели сделать».

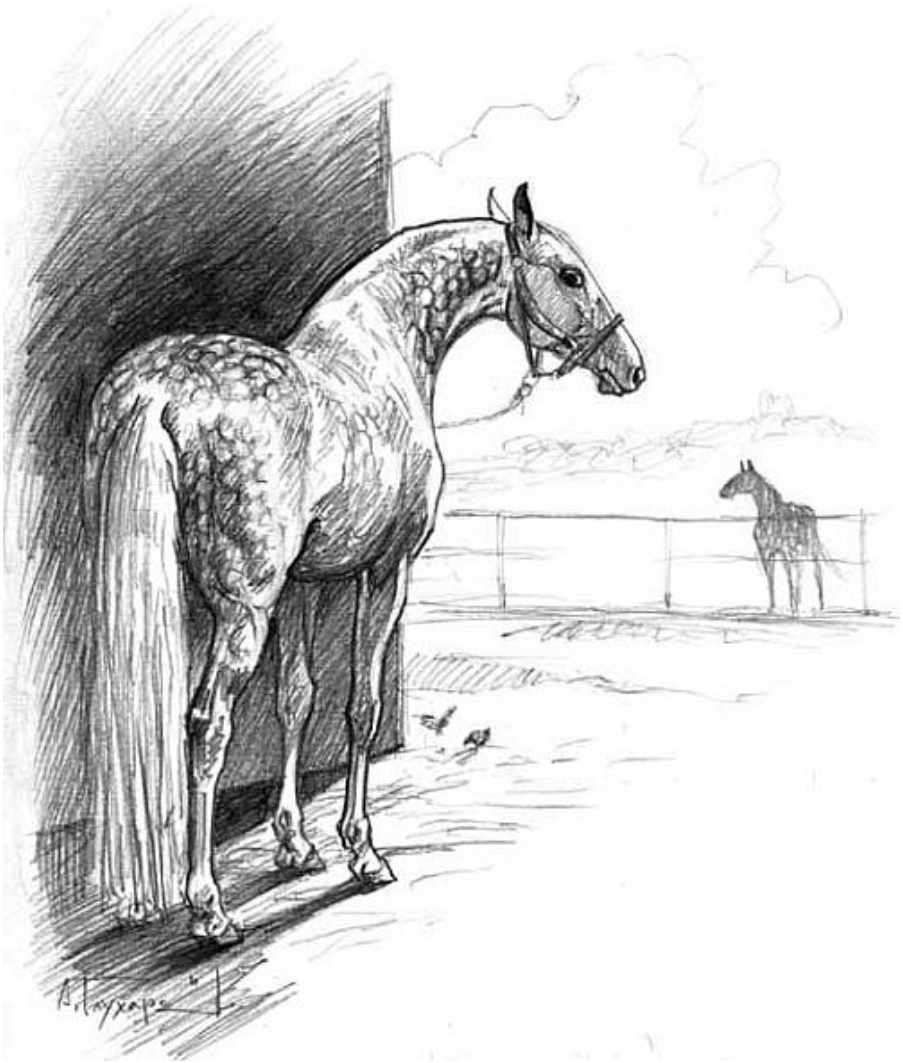
– А конюшенного мальчика, что у вас в Москве работал, вы помните? – спросил он жокея-патриарха.

Один старик вгляделся в другого старика. И засмеялся негр. Все засмеялись. Улыбки значили, что «свой своего познаше», что знание лошади ни того, ни другого не обманывает, и потому они вполне понимают друг друга.

Беседы у конюшни

«Лучше всего, здоров я или болен,
чувствую себя в седле»

Монтень



Иппическая пропедевтика

«Уж, коль скоро выпала нам участь, путем практики, обрести всевозможные навыки в искусстве верховой езды, то мы желали бы передать молодому поколению, как, по нашему разумению, надо правильно обращаться с лошадью».

Ксенофонт

– Александр Македонский на вашем бы месте, – говорит мне опытнейший и ученейший зоотехник Липпинг, – не проиграл, как вы на Трагике бездарно остались сзади, опозорив способную молодую лошадь.

Александр Македонский был, бесспорно, не нам грешным чета ездок, но вот что меня занимает как изучающего литературу – искусство словесное, в котором фантазия сочетается с фактами. Ученые называют это диалектикой правды и вымысла в соответствии с определением, какое дал, хотя и не очень удачливый, но очень большой любитель верховой езды, известный как автор «Фауста», то есть Гете.

Предание о работе Александра с легендарным Буцефалом говорит о том, что в самом деле он не сделал той ошибки, которую совершил я, выступая на Трагике. Молодой воин из Македонии учел, что конь его боится тени, боялся и Трагик. Ведь лошади, увидав перед собой на земле темное пятно, думают, что это яма, и от страха шарахаются в сторону как делал, судя по всему, Буцефал, или же на полном ходу прыгают через нее, что и проделал мой Трагик, сбившись с рыси на галоп (почему я и проиграл). Опытные наездники в наше время с помощью всевозможных приспособлений «собирают» рысака так, что весь пугающий его мир исчезает из поля его зрения, видит он одно только небо и «звезды считает», говорят про такую сборку, я же допустил промах, не сообразив надеть рысаку наглазники или козырек.

Признаем проницательность Александра Македонского: пугливый Буцефал был поставлен так, что перестал видеть собственную тень, успокоился и позволил себя оседлать. А как же в дальнейшем? Не мог же он раз и навсегда перестать бояться теней, потому что это порок органический – от близорукости. Если лошадь чего-то пугается, значит, как правило, плохо видит,

и даже собственный отпечаток на земле должен ей представляться бездонной, черной пропастью. Это вы прочтете у Филлиса, Врангеля и прочих авторитетов. Ловким маневром Александр сумел привести коня в чувство, но ведь он не излечил его от близорукости. А козырька, наглазников, блиндеров (глухие наглазники), какие были в моем распоряжении и я не применил их по неопытности, этих современных средств у величайшего конника древности, понятно, не имелось. Но никто что-то не слышал, чтобы однажды обманутый Буцефал, после того, как его утихомирили, чего-то боялся. Согласно дошедшим до нас сведениям, он проявлял полное бесстрашие, и не на прогулочной езде, а в бою. Прослужив властелину тогдашнего мира годы, пал он в Индийском походе, изможденный героическими свершениями.

Так говорит сказание. Стало быть, и без блиндеров был найден способ устранить или, точнее, нейтрализовать у замечательного коня незначительный порок зрения. Скорее всего, именно так и было, однако, в общей памяти не сохранилось – не попало в предание.

Как же совершается отбор нас интересующего – того, что нам хочется услышать и в это поверить, будто оно на самом деле так было?

Буцефал и другие

«Буцефал (busefalus – греч.) – любимый конь Александра Великого, сопровождавший его во всех основных походах и павший тридцати лет в 326 году до н. э. Был погребен с большими почестями в Индии на берегах реки Гидаспес, ныне называемой Джелум, и на том же месте был построен город Буцефалия, развалины которого и теперь можно видеть за рекой от современного города Джелум на территории Пакистана».

Словарь классических древностей.

«Буцефал» – значит бычеголовый. Стало быть, либо широколобый, либо… рогатый. Одно другому не противоречит –

у быка, но если у коня может быть широкий, словно бычий, лоб, и с этим спорить никто не станет, то откуда же взяться бычьим рогам, если речь идет о жеребце? Не раз касались меня легенды, которых так много в волшебном мире лошадей, и всякий раз в итоге выходило, что всякая выдумка содержит крупицу истины.

Если в романе «Идиот» «левая пристяжная заговорила», то на панихиде заслуженного конника произнес, говорят, речь и его любимый конь, – так рассказывали, и я, который при том присутствовал, разумеется, не собираюсь легенду разрушать (см. дальше «Дорогой длинною»). Пришлось разрушить другую касавшуюся меня легенду, о том, что мы с Шолоховым целую ночь напролет говорили о лошадях. Пришлось это сделать потому, что Михаил Александрович со своей стороны мог сказать, как оно было на самом деле: ждал он ждал, а я не пришел, не пришел потому, что просили не приходить, а кто просил и как оно было, это – для мемуаров, но на данный момент со всей ответственностью заявляю: и здесь есть реальное зерно.

Еще один случай – опровержение той бесспорной истины, что лошади едят овес. Они и сено тоже едят, но кому приходилось слышать, будто не отказываются лошади от мяса? У меня на глазах произошло это в Америке, куда мы с доктором-ветеринаром привезли тройку. Если очутившись в тех же краях, на Среднем Западе, в штате Огайо, вы кого-нибудь из местных жителей спросите, что едят русские лошади, вам наверняка ответят – мясо. А было так: ковбой, отвечавший за нас перед хозяином, предлагает: «Пойдем на конюшню, я тебе что-то покажу». Пошли мы с ним, он зачем-то взял с собой обеденную тарелку, а на тарелке оставшиеся от нашего обеда маленькие кусочки говядины. И у меня на глазах он эту говядину, кусок за куском, скормил нашим лошадям. Прежде, в Англии, рысакам, которых мы туда привели, пришлась по вкусу британская солома, а тут, за океаном, приключилось нечто поистине необычайное. Хотя от американского овса наши лошади не отказывались, однако эпизод с говядиной в местном фольклоре вырос до размеров гипертрофических, и, я думаю, по-прежнему на территории Огайо убеждены: в России лошади животные плотоядные – употребляют в пищу мясное. Местные жители, вероятно, все так же говорят: «Что вы хотите? Скифы! У тех же кони, кажется, ели сырую плоть, вот генетически это и сказывается». Скифы скифами, а что касается наших с доктором лошадей, мы никак не можем сказать, что это *ни на чем не основанный* вымысел.

Инцитатус (Быстрый), конь Каллигулы, действительно заседал или, лучше сказать, стоял в Римском Сенате? О, если бы

узнали мы об этом в самом деле из уст самой лошади! Если бы, осуществляя мечту Гете, лошади заговорили! Но мы знаем об этом от людей, а люди полагаются на молву. Сомнения нет, Калигула в отношении к лошадям был фанатиком. Тратил на них деньги без счета. Это он строил мраморные конюшню (что вредно для лошадей). Он не пропускал ни одного дня на конских ристалищах. Юлий Цезарь, в политических целях, чтобы оказаться на виду у публики, только бывал на конских состязаниях, занимаясь при этом другими делами, просматривая бумаги. А Калигула был вовлечен безраздельно, и если его лошади проигрывали, он, не в силах пережить позор поражения, пускал в ход яды и отравлял своих удачливых соперников. Но всё же, как насчет Сената? Мы знаем от историков: он выражал намерение брать Быстрого с собой на заседания, но, как видно, слухи превратили намерение в исполнение.

Единороги и кентавры, фантастические существа, если к ним присмотреться, представляют собой комбинацию, составленную из животных, в самом деле существующих. Перетасовка фактов в причудливом сочетании и есть мифология, а вот как, почему и какие фрагменты реальности образуют нечто невиданное – это, конечно, вопрос.

Задумаемся над этим, глядя на полотно Рафаэля, изображающее Георгия Победоносца: конный воин поражает чудовище. Конь как конь, а змий – ископаемое чудище. Разрыв между ними в миллионы лет. Конь под всадником относится к началу Нового времени, а змий, похожий на стегозавра, если и существовал, то уж во всяком случае когда лошадей еще не было. Человек или, точнее, некий человекоподобный субъект мог столкнуться со случайно выжившей гигантской рептилией, но в те доисторические времена то же двуногое существо не могло сидеть верхом на существе о четырех ногах с копытами: лошадь служит человеку сравнительно недавно. Конь и динозавр, отдаленные друг от друга во времени, оказались совмещены в единый миф силой воображения. Поколение за поколением рассказывали и пересказывали преданья старины глубокой, и в них сохранялось нечто достоверное. Звенья преданий – «ужасная ящерица» (букв. динозавр), одомашненная лошадь и т. п. – не изобретались и не искажались, но связывались в события, каких не было и быть не могло.

Ничто и никогда не происходило, как об этом вещают мифы. Один из бесчисленных, близких нашей теме, примеров – кони и конюшни Соломона. У великого израильского владыки, как повествуется в библейской Книге Царств, было до сорока тысяч лошадей и двенадцать тысяч всадников. Если баснословно

богатые соломоновы копи искали-искали, но так и не нашли, и не сумели отыскать следов гарема, где будто бы, помимо семисот жен, содержалось еще и триста наложниц, причем, шести различных национальностей, то конюшни, говорят, обнаружили. Откопали их в 1930-х годах и до сих пор на эту находку все еще ссылаются в популярных сочинениях на тему о том, как археология и вообще наука подтверждает достоверность Священного Писания. На самом-то деле археология опровергает мифы, подтверждая истину, известную с древности: воображение ограничено реальностью. Человеческая фантазия, как угодно причудливо, преображает реальность. Почти каждая находка поначалу вызывает невероятный энтузиазм: «Ноев Ковчег нашли!». Потом остынут, присмотрятся к тому, что нашли и понимают: нашли да не Ковчег и даже не обломки от Ковчега, а всего лишь нечто отдаленно напоминающее обломки. Почему долго держали под замком Кумранские свитки Мертвого моря? Эта крупнейшая находка объясняет чудо и, стало быть, подрывает миф о неземном происхождении Спасителя, что, надо подчеркнуть, не умаляет значения христианской проповеди. Мифы – мудрость человечества, но чтобы их понять, надо мифы демифицировать, в известном смысле – разоблачить. «Пусть тот, кто без греха, бросит первый камень», – что как мысль может быть глубже? Но и богословы не спорят с тем, что это позднейшая вставка.

Даже фотография развалин вроде бы «Конюшен Соломона» воспроизводится, но это сведения уже устаревшие – не соответствуют современным представлениям. Историки, изучающие Библию, хотя и спорят между собой, все же пришли к единодушному выводу – это, может быть, и конюшни однако не те и по времени, и по назначению, и по размерам. Где, согласно Писанию, должен был размещаться конский состав тысячной кавалерийской армии, наткнулись на останки не более чем десяти стойл, если только это действительно стойла, и построены они были позднее Соломона лет на сто по меньшей мере. Но что-то все же было? Из ничего творит лишь один Господь Бог, а человеческое сознание без опоры на реальность работать не способно. И разве не содержится извечная правда в том, о чем говорит Писание: пристрастие к лошадям и женщинам, при излишествах, губительно? Но изучать историю по этому источнику все равно что, странствуя, справляться вместо атласа с «Путешествиями Гулливера». А ведь правдоподобие гулливеровых путевых записок, как всякий по себе знает, неотразимо, Гулливеру образованные люди верили, допуская существование не только лилипутов с великанами, но даже летающих островов.

Образованные сомневались, и то лишь до некоторой степени, в достоверности говорящих лошадей.

Если сказочное сказание соотнести с фактами от начала и до конца, получается *было*, однако не то, не так, не там и не тогда… Что исследует и открывает история, то прежде всего вынуждает нас переводить легендарные представления в совершенно иной, реальный масштаб. Громадное и могучее (по Библии) соломоново царство оказывается селением, а сам Соломон, библейский властелин вселенной, становится, подобно гомеровым «царям», местным хозяином, возможно, оборотистым конским барышником, добывающим некрупных, однако резвых и выносливых малоазиатских лошадей из тех же мест, откуда происходили крылатый Пегас и Апостол Павел.

Над таким материалом и работало то самое творческое воображение, что свойственно человеку, едущему на подводе из села до села, тащится он медленно и долго, вот мир и начинает казаться ему бескрайним. Так это в своих фильмах показал Александр Довженко. Создатель «Аэрограда» и «Земли» понимал: мифологическое сознание живо и продолжает творить.

Кто видел нашего Лаптя, тому и Конька-Горбунка нетрудно себе представить. Когда я увидел на учебной конюшне Тимирязевской академии невероятное существо, то подумал: грежу наяву. Там же доживал свой век ещё один, даже двойной, феномен – трижды венчанный тридцатидвухлетний чистокровный крэк Будынок. Лошадь исключительного класса и редкостного долголетия – пусть редкость, но всё же реальность. А рядом – конный Квазимодо, лошадиный уродец: голова, как у обычной лошади, а корпусом не больше пони. Содержались они рядом: одряхлевший Будынок – в деннике, дверь конюшни отворена, и тут же, у стены, шевелится нелепый Лапоть. Специалисты чудо демистифицировали: «От старых родителей, видно, произошел». Но долго ли при достаточно богатой фантазии, оставив странному мутанту его эксцентрический экстерьер, приписать ему же резвость его соседа – классного скакуна? И – в полет на крылатом Пегасе!

В Америке недавно стала сенсацией книга вроде «Умного Ганса». Ганс, тот мыслил, а это была книга о «разговорах с лошадьми». Стали лошадиные исповеди бестселлером и поставили читателей в положение доверчивых «провинциальных олухов», Помните? Тех, что в «Приключениях Гека Финна» морочили Король и Герцог. Точно таких же «королей» и «герцогов» и теперь предостаточно. Им всё также, развеся уши и раскрыв от удивления рот, внимают, их слушают. Доверились и «Разговорам с лошадьми». Потом кто-то здравомыслящий, вроде

доктора Робинсона из тех же «Приключений Гека Финна», вмешался: очнитесь, говорит. Не сразу, но – очнулись. И сам автор признался, что он всё подделал, а на вопрос, зачем же на очковтирательство пошел, заявил: «Я чувствовал, что людям очень хочется мне верить, и я не хотел их разочаровать».

Ах, до чего подчас хочется верить! Сошлюсь еще раз на собственный опыт. Все от того же знающего зоотехника мне крепко попало за то, что я предал гласности недостаточно достоверную версию одного таинственного исчезновения.

«Ищут пожарные, ищет милиция, ищут везде и не могут найти…» Искали Уолтера-Дира, резвейшего американского рысака предвоенного времени. До войны находился он в Европе, на Венском ипподроме, а после войны куда-то пропал. Как только к нам приезжали конники-американцы, они, едва сойдя с самолета, тут же спрашивали: «Не у вас ли Уолтер-Дир?». Хотели бы мы, чтобы он оказался у нас, но и следов его не было. Вдруг на ипподроме в Крыму местный наездник мне рассказывает, указывая на стоящую в угловом деннике крупную вороную лошадь: «Это конь исключительный – дюже резов, из Вены». Чем не Уолтер-Дир? Родословной при нем, правда, не было, но масть, класс – все сходится, хотя, конечно, со временем неувязка: сколько уже лет прошло с войны! Но ведь факт: в Симферополь резвач попал не откуда-нибудь, а из Вены. Как отсвет легенды, я этот разговор изложил, и моя заметка была напечатана. А от всезнающего читателя-зоотехника мне попало, он меня вызвал и – всыпал: не выдумывай небывальщину!

Знатоки, вроде Липпинга, легенд не признают, им достоверность подавай. Один из экспертов меня осадил даже в ответ на комплимент. «Какую прекрасную лошадь вы привели!», – это я ему говорю при виде верхового жеребца-гановера, которого по его выбору доставили из Прибалтики. А он: «Молодой человек, ваше одобрение для меня не гарантия успеха». Но ведь они, истинные конники, о лошадях знают все, с ними нельзя сравниться. Рядом с такими экспертами остаешься полным профаном, разве что за пределами конного мира сойдешь за большой авторитет.

Что меня в знатоках поражало, так это их осведомленность о том, к чему они казалось бы и доступа не имели. Разве распушивший меня зоотехник бывал за океаном или где-нибудь из стран Западной Европы? Однако, желая мне показать, насколько далек я от истины, в своей готовности принять залетного гастролера за реальную знаменитость, он достал из шкафа с папками исчерпывающее досье на пропавшего американского рысака, даже с фотографиями. «Хотя бы теперь, –

говорит, – вы осознаете свою ошибку, предаваясь всяким домыслам?»

На знатоков я не обижаюсь, но желая ходячую конную энциклопедию проверить, говорю:

«А Буцефал?».

«Что – Буцефал?»

«Широколобый или рогатый?»

Из того же набитого папками шкафа появляется еще одно досье – на Буцефала. «Вот вам, – говорит Липпинг, – письмо старого коннозаводчика. В живых его уже давно нет, но в свое время я задал ему тот же вопрос, и в ответ он мне написал – читайте!». Это было письмо Бутовича.

Читаю: «Рога у лошадей отнюдь не вымысел». Оказывается, среди тех же рысаков известны целые семейства (линии Добродея, если не изменяет мне память), в которых из колена в колено передавалась эта особенность, в сущности, уродство – бугорки на лбу, вроде рожек. Но, писал коннозаводчик (и как писал!), не всем это нравилось, поэтому, невзирая даже на исключительные беговые способности у потомства этих линий, их старались избегать эстетически требовательные к экстерьеру заводчики.

– На лошадях?
– Да.

Из «Диалогов» Платона

Из Центра по изучению литературы я отправлялся прямо на конюшню.

– Вовремя пришел, – приветствовал меня в тот раз тренер-наездник. – А это что такое?

И он обратил внимание на рукопись, которую я держал в руках.

«Ба-ба-барокко», – прочел наездник заглавие и, строго взглянув на меня, спрятал рукопись в сундук со сбруей.

– Началось ба'гокко еще с Копе'гника, – за час до этого предупредил меня доктор наук Воронцов-Дашков, вручая свою

работу «Барокко и Ренессанс. Насущные проблемы изучения».

Мы составляли группу Возрождения. В нее, кроме Воронцова, входили профессор Скобелев и академик Тацит. Это были киты, на авторитете которых держался весь Центр. О наших китах, видя скопление старинных фамилий, даже спрашивали: «Там у вас, со Скобелевым и Воронцовым-Дашковым, идет возрождение чего?» Напрасно в нас подозревали, чуть ли не заговорщиков. Единодушия в нашей группе как раз и не было.

Мы изучали Ренессанс. Иначе говоря, Возрождение, времена весьма отдаленные, но ярость споров между нашими китами была такова, будто обсуждалась современная политика. Тацит утверждал, что истоки Ренессанса надо искать где-то в Гималаях. Воронцов-Дашков настаивал: «Все началось с Копе'гника». А Скобелев рубил: «Буржуазность!» Обессиленные борьбой друг с другом они обращались к нам, новичкам: «А вы, молодой человек, что на этот счет думаете?» Что я мог думать, если душой я находился на конюшне? А высказаться надо было на другой день, утром. Для этого рукопись следовало самому прочесть и передать другим, тем более что вся цепь начиналась с меня.

– Об'гатите внимание на Копе'гника, – сказал Воронцов-Дашков, как бы рекрутируя меня в свои сторонники.

– «Ба-ба-барокко», – и наездник спрятал рукопись в сундук, добавив: – Вообще ты вовремя пришел. Нам руки нужны. Держи, да крепче, бар-рокко!

Тут, право, было не до рукописи. Тут нужно было жеребцам… тут нужно было молодых жеребцов холостить, чтобы не растрачивали они лишней нервной энергии и все силы отдавали спорту. Какое, в самом деле, может быть барокко?

Смешались в кучу кони, люди. Обычное время, казалось, было выключено до срока. Пока мы не управимся. А потом в порядке ритуала полагалось еще изжарить и съесть то, чего мы сами несчастных лишали. И только глубокой ночью я вспомнил: «Насущные проблемы!». Но было уже поздно, поистине поздно, и давно спал наездник, спрятавший рукопись вместе со сбруей.

На заседание я явился без опоздания. Но и без рукописи и без какого бы то ни было своего мнения. Не было мнения и у всей группы, потому что цепь замкнулась на мне. Однако наши киты, способные разом проглотить любого оппонента, если только дело касалось Ренессанса, во всем прочем отличались крайним добродушием.

– Поскольку моя 'гукопись находится в настоящее в'гемя в э… э…седельном …э…ящике и не может быть обсуждена непос'гественно, я позволю себе сделать лишь несколько п'гетва'гительных замечаний.

Вот и все, что сказал Воронцов-Дашков. Ему говорили: «А рукопись? Что стало с рукописью?» Кит отвечал:

– П'гостите, но я и сам был молод. Я понимаю п'гек'гасно, как это бывает!

– Хорошо бы, конечно, его прямо там, на конюшне выпороть, как в старое доброе время полагалось, – высказал мнение Скобелев, но этот вариант даже на голосование не поставили.

Так это и осталось в летописях Центра изучения всемирной литературы: «Еще Воронцов-Дашков в той рукописи, что побывала в седельном ящике, указал… Рукопись из седельного ящика явилась новым вкладом в науку».

А мне этот случай придал смелости, и я тоже решил сделать какой-нибудь вклад. Но разве китов чем-нибудь удивишь? Они давно все открыли. Всё. «А вы что думаете, молодой человек?».

Ответ пришел неожиданно. Встретился мне Одуев Валентин Михайлович. Тоже кит, только по конной части. Знаток иппической, то есть лошадиной, истории. И его трудно было чем-нибудь удивить.

– Подумаешь, Байрон! В седле сидел по-любительски, – так он отозвался, когда я ему сообщил, что чуть было не вступил в переписку с внучкой великого поэта и действительно большого любителя верховой езды (историю эту я передоверил рассказать своему другу и собрату-литератору, см. Обращение к читателям).

Потом знаток спросил:

– А вы где сейчас состоите?

– В группе Возрождения.

– Возрождения чего?

– Это в Центре изучения всемирной литературы.

– Ах, вот как! – и лицо знатока осветилось. – Значит вы служите в Департаменте коннозаводства.

– Не коннозаводства, а всемирной литературы. Ренессанс изучаем… барокко…

– Так ведь в этом здании находился прежде Департамент коннозаводства. И, между прочим, жила Марья Александровна.

– Какая Марья Александровна?

– Дочь Пушкина, – объяснил знаток. – Она же была замужем за директором департамента и одно время имела там казенную квартиру.[7] С нее, с Марьи Александровны, Лев Николаевич Анну Каренину писал. Вот был конник!

– Кто был конник?

– Лев Николаевич. Правда, конного дела он как следует не знал, но в лошадях все же разбирался.

Так говорил знаток. А у меня родилась идея. Спрошу-ка я у наших китов, осознают ли они, какие ступени попирают, в каких

стенах спорят о барокко. Придет моя очередь поставить вопрос: «А вы что думаете?» И сам Тацит смиренно скажет: «Поскольку мы не компетентны в данной области…» И даже Скобелев дрогнет. А я предложу тему «Насущные проблемы изучения литературно-иппической истории». Краткие тезисы: «Верно ли Шекспир оценил коня? Хорошо ли Байрон держался в седле? И знал ли Толстой толк в лошадях?».

Как только началось заседание с обсуждением моих конно-критических тезисов, профессор Скобелев, который командовал группой Возрождения, сказал по обыкновению:

– У кого будут вопросы?

Будто, в самом деле, обсуждались какие-нибудь очередные проблемы барокко!

– Если позволите, – произнес тут Тацит и продолжил: – Думает ли автор коснуться воззрений Платона на управление упряжкой коней?

Платон! При чем же здесь Платон? Оставалось прибегнуть к обычной в таких случаях формуле:

– Данной проблемой мне заниматься не приходилось.

Со студенческих лет проверено. Если ты ни бум-бум, не надо мямлить «Не знаю»… Скажи с достоинством: «Проблемой не занимался».

– И уж заодно, – подключился Воронцов-Дашков, – что вы, молодой человек, думаете о культе ве'гковой езды п'ги Неаполитанском дво'ге?

Неаполитанский двор? Да я о нем как-то до сих пор не думал.

– А конный завод князя Курбского? – сверкнул взором Скобелев.

Не слыхал о заводе князя Курбского.

– Приступим к обсуждению, – отдал распоряжение Скобелев.

Первым заговорил Тацит.

– Работа обещает быть весьма актуальной, – с этого начал академик, затем он отодвинул мои листочки с тезисами и, устремив взор ввысь, продолжал:

– Вдумаемся в движение истории с точки зрения человека, управляющего упряжкой коней…

Минут пятнадцать говорил Тацит. Мы побывали с ним не только в Гималаях, но и на Алеутских островах. Пронеслись по Европе и заглянули в Америку. Платон и Аристотель, как живые, прошли перед нами. Причем, они, кажется, ни о чем больше, кроме конских ристаний, не думали. Тацит цитировал на пятнадцати языках. Он приводил название уздечки у разных народов, просто желая показать единство рода людского в плане иппическом.

– Или возьмем его, этот… как его… – Тацит взмахнул рукой.

– Хлыст, – подсказал я.

– Именно! Благодарю вас. – И улыбнувшись в мою сторону, Тацит добавил: – Сразу виден специалист!

После этого он еще минут пятнадцать описывал, как пользовались разными орудиями понуждения древние египтяне, средневековые германцы и современные самоеды.

Свое выступление кит заключил словами:

– Королевство за коня, которое у Шекспира предлагает Ричард III, это, как мы убедились, не только поэтический образ, но и реальный исторический феномен.

Убедились, убедились и – настолько, что забыли, зачем, собственно, собрались. Тацит пошарил по столу, как бы в поисках предмета разговора, придвинул к себе мои листочки и сказал:

– Желаю вам удачи, молодой человек.

Взял слово Воронцов-Дашков.

– Сове'гшенно согласен, – так начал он, – с высокой оценкой данной 'габоты.

– Пока это еще не работа, – предупредил Скобелев, – а вот… – и поднял над столом двумя пальцами мои тезисы.

– Допустим, – уклонился Воронцов-Дшаков, потому что, чувствовалось, ему было не до моих тезисов, ему бы поскорей до Тацита добраться. Он и сказал:

– Но не могу согласиться в остальном с уважаемым коллегой!

После этого голова у нас пошла кругом. Если академик Тацит опоясал земной шар вожжами, так сказать, по параллелям, то доктор наук Воронцов-Дашков проехался в седле по меридиану, и эволюция человечества предстала как последовательная смена приемов верховой езды. Мы гарцевали при дворе всех Людовиков. Участвовали в кавалькадах Генриха Наварского. И благополучно доскакали бы до наших дней, если бы Воронцов-Дашков вдруг не сказал:

– А началось все с Неаполитанского дво'га…

– Буржуазность! – рубанул Скобелев с такой силой, что мои тезисы всколыхнулись с порывом ветра над столом.

И взяв слово, профессор Скобелев повел нас в конную атаку при Креси и под Вапняркой. Мы брали Геок-Тепе и рубились под Бродами. А Тацит с Дашковым прижали Скобелева сразу с обоих флангов, и тут киты схватились, нанося страшные удары друг другу.

Нет, вам не видать таких сражений. Один знает все, и другой – буквально все, они терли друг друга в порошок, сравнивали с землей, и после этого каждый все-таки воскресал, словно феникс из пепла, чтобы ответить противнику градом неотразимых

фактов, выдержек и концепций. Поле битвы покрылось именами редчайшими, цитаты, которым цены нет, раскидывались в такой густоте, что каждый, подобно Руслану, мог выбрать себе меч по руке и материала на целую диссертацию. Наконец киты устали. Скобелев обвел утомленным взором присутствующих, как бы желая отыскать, с чего же все началось.

Но один из свидетелей происходившего все-таки не растерялся. Это – Оля. Наш ответственный секретарь. Голова у нее была занята проблемами более насущными, чем вопрос о том, где находилась колыбель цивилизации. Поэтому, когда Скобелев спросил: «На чем мы остановились?», Оля, заглянув в протокол, тотчас ответила:

– … к вопросу о том, был ли Лев Николаевич лошадью.

– Какой лошадью? – переспросил удивленный Скобелев.

А это в ходе дискуссии кто-то привел мнение Тургенева, который, слушая рассказ Толстого о переживаниях старого коня, воскликнул: «Право, вы, Лев Николаевич, когда-нибудь были лошадью!».

– Нет, – усмехнулся Скобелев, – для дирекции прежнего департамента это, быть может, и подошло бы, а наш Ученый Совет такой формулировки не утвердит. «Диалектика правды и вымысла в литературе» – вот, и чтобы к концу месяца было готово, а то на ближайшем же заседании выпорем!

Тут все признали, что придется выпороть. А Тацит подошел ко мне уже после и сказал:

– У вас, молодой человек, может получиться интереснейший опус. Тема замечательная, как бы ее ни формулировать. Был ли Лев Николаевич лошадью? Шутка сказать, это же в гносеологическом смысле вопрос о творческой истине! Только, дружок… – академик осмотрелся по сторонам. – Я бы посоветовал вам побольше почитать по истории вопроса. Платон, схоласты, Кант, Гегель, если бы вы только знали, сколько глубоких мыслей они высказали о месте лошади в цепи бытия!

Символ мастерства
Среди циркачей

«Все это наездник взял у себя из головы…»

Марк Твен, «Приключения Гекельберри Финна»

Вольтижер, то есть гимнаст на лошади, – эпизод из «Приключений Гекельберри Финна». Помните? Проще и нагляднее ответа на вопрос, в чем заключается суть всякого мастерства и вообще искусства, по-моему, найти нелегко. Вроде бы пьяный из публики хочет вскарабкаться на цирковую лошадь, и все ждут, что он вот-вот упадет, а на самом деле, оказывается, это не безрассудный нахал, а лучший наездник труппы, изображающий рискующего собой чудака. Что называется честный обман, ловкость и никакого мошенничества!

Высокохудожественная энциклопедия всех видов надувательства – вот что такое «Приключения Гекельберри Финна». Там обманывают и обманываются поголовно все персонажи, а создатель книги, Марк Твен, обманывает читателей. Так сказать, «обманывает». И как обманывает! Книга будто бы написана полуграмотным подростком-сиротой. Положим, свою основную книгу, начало начал, американцы так не читают. Пожалуй, ни один народ в зеркале национальной классики себя не узнает. Предпочитают не узнавать, будто классика, хотя и национальная, а написана про каких-то других людей. Разве мы видим в «Евгении Онегине» нашу жизнь во всей ее извечно-неискоренимой нелепости? Все не к месту и не вовремя, а если кто и остался жив, то – несчастен: так у Пушкина, а мы что читаем? Американца спросишь, про что роман «Великий Гэтсби» или такой фильм, как «Гражданин Кейн». Про богатых, отвечают, про богатых. То есть сам-то я не богат, ко мне отношения истина этого романа или фильма не имеет. Что не обязательно быть принцем да ещё датским, чтобы испытывать муки совести, в голову как-то не приходит. Как будто надо обязательно иметь миллион, иначе, как Гэтсби или Кейн, подменять счастье удачей не станешь, а в действительности этим занимается каждый американец. Пушкинские стихи нас завораживают, и мы читаем что угодно, только не то, что написано: «лет чрез пятьсот», не раньше, у нас всё изменится – дороги проложат, словом, порядок наведут. Так и Марк Твен пошел на честный обман читающей

публики и подделался под исповедь малограмотного мальчишки до того правдоподобно, что и читают, понимая, что их обманывают, но как обманывают! Единственная в своем роде книга, другой такой нет, – так полагают американцы. Однако мне кажется, они не задаются вопросом, о чем она. Когда на лекции в публичной библиотеке я попробовал сказать, что это эпопея обмана и самообмана, то у слушателей на лицах появилась гримаса недоумения и недовольства. Спорить не стали, просто некоторые из них поднялись и ушли, в знак протеста.

Вернусь к вольтижеру. Подвыпивший, едва державшийся на ногах, тип чуть было не свалился с летевшего во весь опор и еще к тому же брыкавшегося коня и, надо же, вот он уже даже не сидит, а стоит на той же непокорной лошади! «Он выделывал с конем что хотел, потом спрыгнул с седла, отвесил всем поклон и убежал с арены». Лгунишка и обманщик Гек чувствует себя одураченным. Выходит, и цирковое представление было одним притворством, заключает этот шустрый паренек, в жизни не видевший человека, который бы не врал.

Притворство – то самое слово, но удался цирковому наезднику обман потому, что морочить зрителей, разыгрывая неумение обращаться с лошадью, можно лишь (как и писать) умея, в совершенстве умея на ней ездить. Этим примером я всегда пользуюсь в спорах о так называемом современном искусстве. Так называемом, если оно не предполагает умения со стороны творца, зато предполагет соучастие зрителей и читателей. Зритель (или читатель) сам додумает и дорисует то, чего не сделал художник, – так говорят в оправдание бездарности. Соучастие? А вдруг неумелый ездок свалится, хватит у вас смелости, даже если вы хватили лишнего, вместо него полезть на лошадь? Тут мои оппоненты встают и, не простившись, уходят.

* * *

«Без счета кони, словно волны моря…»

Байрон, «Мазепа»

Кто только ни оказывал мне содействия в моем стремлении оказаться у цирковой арены! На призовую конюшню мой путь был одинок и многотруден, не поощряли меня и не поддерживали, саботаж исходил прежде всего от родителей, опасавшихся физических и моральных увечий, в первую очередь – увлечения тотализатором. Но стоило произнести «цирк», как по цепи

знакомств и связей я, словно по мановению волшебной палочки, оказался лицом к лицу с Юрием Никулиным – сын его постоянного партнера, Николая Шуйдина, учился в Цирковом училище, где моя мать вела классы рисования, а у них было строго: если плохо рисуешь, безграмотно пишешь или по математике отстаешь, то и учебного манежа не увидишь. За партами и у доски ребята старались не меньше, чем на канате и на трапеции под самым куполом.

С популярнейшим клоуном мы обсуждали «обезьяньего пони»: неподалеку от никулинской артистической уборной содержался лошадиный лилипут, во время представления на нем галопировали мартышки. А номер жены Никулина, гротеск-наездницы, напоминал «Мазепу».

* * *

Была такая реприза: фигура, распластанная на спине бешено несущегося коня… Вольтер пустил легенду в ход, Байрон обработал, Гюго подхватил, Лист прочитал, вдохновился, создал музыкальную романтическую поэму, и вот «коня ведут степного и вяжут на спину к нему меня», как у Байрона, и как у Гюго – «распластан на спине коня»… Положим, у меня в переводе получилось не совсем, как у Байрона, и не вполне, как у Гюго, поэтому не только приношу извинения за неуклюжий перевод, но хочу объяснить очевидное несоответствие. Хотя это и легенда, но все же «распластан» – он, гетман, а реприза женская: как же так? А так, на это не обращали внимания, пораженные захватывающим зрелищем: такая Мазепа, что глаз невозможно оторвать!

Лишь совсем недавно установили, кто же была она – легендарная наездница, некогда первой проделавшая этот трюк. Установить вроде бы установили, а полной ясности все же не достигли. С тех самых пор, кажется, знали ее имя, но у нее нашлось еще много имен. А национальность? В ней смешалось немало кровей, была она дочерью креолки-француженки и негра-американца, нареченная Адой, фамилия по отцу Теодор, по мужу Менкен, но у нее сменились один за другим семь мужей, и звалась она соответственно (по алфавиту) Баркли, Маккорд, Менкен, Хинан… Что за язык являлся для нее родным? Изъяснялась на пяти языках, на всех как родном. Профессия? Не торопитесь. Ада Теодор-Менкен-Бинах-Маккорд всадницей была, вне всякого сомнения, классной. Ведь «Мазепу» по мотивам Байрона и Гюго под музыку Листа давали и раньше, но актрисы лишь произносили текст, а в основной сцене, бешеной скачки,

вместо них, куклу привязывали. Ада сумела удержаться на коне сама. И этого мало! Одарена была Ада разнообразными способностями: не только наездница и драматическая актриса, но певица, танцовщица, художница, а также поэтесса. Словом, являла собой целый дивертисмент. Жанр? С театральных подмостков она декламировала Шекспира, удачно подражая выдающемуся актеру Буту (брату убийцы Линкольна). А «Мазепа» стал ее собственным неповторимым номером.

Где жила? Родилась в Новом Орлеане, первый крупный успех к ней пришел в Гаване, ей рукоплескали и Нью-Йорк, и Сан-Франциско, и Лондон, а умерла она в Париже. Представление «Мазепа» всюду пользовалось неизменным успехом, причем, теперь и не скажешь, что же становилось сенсацией – мастерство всадницы или же ее костюм, точнее, отсутствие какого-либо костюма за исключением трико телесного цвета, что вызывало фурор несравнимый ни с каким цирковым фокусом. По тем временам смелость во всех смыслах невероятная.

Один из ее семи мужей был боксером, другой – музыкантом, а третий – литератором, и от музыканта к литератору она перешла настолько стремительно, что забыла (!) с музыкантом развестись. Её стали преследовать за многомужество, но музыкант великодушно поспешил дать ей развод. Помимо то и дело сменяемых законных супругов, она, кроме того, видела у своих ног непрерывную череду поклонников, в том числе, писателей, из которых нам лучше других известны (по алфавиту) Брет Гарт, Теофиль Готье, Виктор Гюго, Диккенс и Дюма. Гюго «Мазепу» и написал. Диккенс, которому Ада посвятила свои воспоминания, вообще любил цирк, а создатель «Графа Монте-Кристо» и «Трех мушкетеров», старик Дюма влекся к ней с такой непреодолимой силой, так безудержно, что его сын, сам популярный романист и драматург, автор «Дамы с камелиями» (женившийся на Кнорринг-Нарышкиной, погубившей Сухово-Кобылина), хорошо зная подобный сюжет, вынужден был применять физическую силу и даже пускать в ход хлыст, чтобы отогнать престарелого папашу от прекрасной наездницы.

Привлекательность помешала ей заключить еще один брак – с личностью тоже легендарной. Феноменальный канатоходец, не знавший страха, Блоден предложил ей руку и сердце. Неподражаемая Ада была не прочь выйти за него замуж, но ставила условием их совместный уже совершенно невероятный по рискованности номер – парный проход по проволоке через Ниагарский водопад. Однако великий эквилибрист отказался. Что за причина? Бесстрашный Блонден испугался. Чего? Не дай Бог, упадут. Почему? Не раз совершавший свой головокружительный

трюк в одиночку, Блонден боялся потерять равновесие: не сможет сосредоточиться, ибо окажется не способен ни на секунду оторвать глаз от красавицы-жены-партнерши, и станет их номер поистине смертельным – оба полетят в рокочущую водяную бездну.

Ранняя смерть настигла Аду вовсе не в результате падения или какого-либо еще несчастного случая. Тридцати трех лет она была сражена чахоткой. Умирала без сожаления. «За короткое время я прожила сотню жизней, чего не видать никому, протяни они хоть до ста годов», – подвела она незадолго до своего конца итог.

Однако вернусь за кулисы нашего цирка.

* * *

Наш знаменитый клоун с напарником выезжали на манеж чинно и не торопясь, но всего лишь на игрушечных кониках. Представление целиком состояло из конной репризы. Вальсировали кони арнированные – под властью пристегнутых поводьев держа головы наклоненными, а шеи изящно изогнутыми. Конь-огонь мчал прекрасную пленницу. На коне и под конем проносились джигиты. От всадников не отставали обезьянки, и никто не смеялся, все смотрели с умилением на ловких маленьких зверьков в разноцветных камзольчиках, вцепившихся в седло и заставлявших вспомнить происхождение современной посадки жокеев. А вот когда вдвоем на пару на деревянных игрушках, после всевозможных настоящих лошадей, появились с каменными лицами два долдона, то контраст вызывал общий хохот. Простота приема, так сказать, обличала в этих двоих истинных коверных, они были забавны и смешны, что бы они ни делали.

«Верь таланту» – к этому приучали меня родители, и я с малых лет этого держусь, с тех пор как либо они мне прочли, либо я сам читал «Конька-Горбунка»,[8] «Каштанку» и «Белого пуделя», сказки Киплинга (с его собственными рисунками) и «Маугли» (с иллюстрациями Ватагина), «Золотой ключик», «Чук и Гек», а в цирке увидел Румянцева-Карандаша. Что-нибудь в сороковом году, четырех с половиной лет, я хохотал, глядя, как Карандаш, словно кочегар у топки, отправляет в рот слону одну за другой буханки черного хлеба. А ведь и я уже с кем-нибудь из взрослых, случалось, стоял за теми же самыми буханками в длинной очереди, стояли и зрители, смеявшиеся от души – чему? Той непередаваемо-невероятной серьезности, с какой маленький

человечек весь с черном, и с черненькой собачкой, подает, как кирпичи, эти буханки огромной живой машине, а слон с полнейшей индифферентностью, словно пуская в ход лентопротяжный механизм, какой мы же видели в «Новых временах» Чарли Чаплина, хоботом подхватывает и отправляет эти квадратные оковалки куда-то в темную, поросшую волосами, скважину. И знаете, какое еще чувство владело нами? Что вот он, этот черный человечек, способен самое простое движение сделать неотразимо чудесным, а мы – нет. Поэтому он там – на сверкающей огнями арене, а мы за чертой, по другую сторону барьера, в зале, и никому из нас в голову не могло бы прийти сделать попытку эту черту переступить. Он – талант, а мы всего лишь поклонники!

* * *

> «Верховный Совет Лошадии принял решение изгнать меня из страны, потому что я могу совратить себе подобных двуногих тварей, отучив их от привычки трудиться».
>
> *«Путешествия Гулливера»*

Писатель П., автор книг о цирке, рекомендовал меня цирковым артистам, однако, сам же отговорил от внедрения в их среду. «Уж больше вы туда не суйтесь», – говорит.

Для сына, когда тот дорос до готовности завести собаку, удалось мне добыть пляшущего пуделька.

«Пойдешь на конюшню, – имея в виду закулисную часть цирка, сказал мне доктор Ш., ипподромный ветврач, с которым мы возили тройку в Америку, – постучишь и скажешь, что от меня».

Пошел, постучал, сказал и, как в иллюзионе, очутился среди ученых зверей. Появляется ослепительная дама.

– Вам чего? – а супруг ее, столь же ослепительный, выступал с дрессированными лошадьми, словом – цирк!

– Доктор Ш., – успел я произнести, как пароль, и в руках у меня тут же оказался пушистый белый живой кулёк.

– Что я вам должен?»

– Ничего. Доктору привет, – а доктор это был, скажу вам, доктор, умел лечить животных, вот почему – привет, и без лишних слов.

Волшебная дверь закрылась за мной, и я отправился восвояси, неся за пазухой маленького песика. Живой подарок был

послушен, беззвучен, а дома оказался даже, кажется, невидим, словно его у нас и не было – никаких хлопот. Отставной четвероногий цирковой артист беспробудно спал, отсыпаясь за целую жизнь, проходившую до тех пор в ежедневных, подчас троекратных, выступлениях. Устроился он возле телевизора, видимо, чтобы иногда все же открыть глаза и взглянуть на себя самого. Их, запечатленных на пленке, исполняющих на задних лапках с платочками в лапках передних, не канкан, а канинус, собачий пляс, показывали тоже регулярно, не реже чем каждую неделю. Думаю, и сейчас по сию пору показывают. Во всяком случае, полученный нами пес подтверждал писательское всеведение Чехова, проникшего, судя по доставшемуся нам экземпляру, в самую собачью душу. Видно было, что, вроде Каштанки, свою прежнюю блистательную, полную шумного успеха, но слишком напряженную жизнь бывший канис-танцор вспоминает, как тяжелый сон.

Получив подарок, я зашагал по улице, и встретился мне П. – автор книг о цирке. Услышав мою историю о доставшемся мне пуделькe, он изменился в лице и велел мне срочно, немедля, поворачивать оглобли. «Не могу вам во всех деталях рассказать, в чем дело, но, поверьте, более опасного знакомства сейчас трудно себе представить». Неужели должен я вернуть подарок? Знаток нашего цирка и говорит: «Только больше туда не суйтесь». А затем все-таки пояснил: «Эту дрессировщицу задержали на таможне, и она, защищаясь, угрожала такими именами, что уж лучше их не называть».

Называла она, как я узнал позднее, свою ближайшую подругу и мою иппическую музу, Галину Брежневу, что была прочно связана с цирком через мужа – унтермена, поднимавшего на своих плечах пирамиду из шести человек. Но об этом уж, пожалуйста, прочтите в «Обращении к читателям», заключающем эту книжку. А тогда я, поверьте, ни злорадства, ни вообще каких-либо дурных чувств не испытал, ведь ученой собачкой я был обязан тем же опасным связям.

Годы миновали, прошлое осталось за гребнем перемен совершенно невероятных, столь немыслимых, что, встретив давних знакомых, казалось, видишь людей, которых вроде бы никогда и не знал. А то была она, некогда ослепительная дама, словно по волшебству вручившая мне ученую собачку. Увидел я её на арене, однако не Московского цирка, а Уголка Дурова, куда пришел с внучкой. Пришел я повидаться с представительницей славной цирковой династии и писательницей, Натальей Дуровой, мы с ней в прошлом, которое казалось таким далеким, вместе заседали в Приемной Комиссии писательского Союза. И вдруг –

видение из «Гамлета»: «взор поражен видением опозоренной царицы…». В другом переводе – растерзанной. То и другое годилось для описания буквально ударившего меня по глазам зрелища.

Сидела она на барьере с потухшей папиросой в руках. Волосы, казавшиеся немытыми, свисали клочьями. Глаза… глаза устремлены были вниз, в никуда или, возможно, в прошлое. Она оказалась из тех овец нашего обыденного блатмейстерства, что на растерзание выборочной гласности для отвода глаз бросили волки приватизации, а сами тем временем готовились заглотнуть и пожрать добычу размеров неимоверных. По сравнению с их волчьими аппетитами собачья дрессировщица пыталась под своим искрящимся платьем протащить через границу всего-навсего побрякушки.

«Волки и овцы» – пьеса о приходе русского капитализма. Моему поколению повезло, мы успели услышать со сцены Малого Театра строки Островского, произносимые с московским выговором. «Мы с вами по зернышку клюем», – с легким присвистом, но удивительно чисто выговаривал в роли прожженного стряпчего Рыжов, объясняя алчной помещице Пашенной, что же происходит: проходимцы старого пошиба, вроде их двоих, с барыней, довольные добычей сравнительно некрупной, вытесняются до полного уничтожения ненасытными грабителями новейшего толка. Когда у нас тот же процесс пошел, как говорил инициатор прогрессивнейших реформ, то работники театра и кино, подпевая ему, старались Островского перетолковать в пользу волков. Попробовал я написать об этом, дескать, что же вы делаете, изображая беспощадных хищников как обаятельных бонвиванов, ну, меня заклеймили, навесили мне ярлычки консерватора и даже сталиниста, причем, среди моих поносителей числились и Лауреаты Сталинской премии. Теперь волки той же породы, насколько я понимаю, сторожат наши традиции и вообще охраняют культуру.

С Натальей Юрьевной мы увиделись, но ни ей я не сказал ничего о неожиданной встрече, ни падшей (еще один перевод) царице цирковой не открылся, и не решился спросить, что стало с ее супругом-дрессировщиком, чьи послушные кони выстраивались в живые скульптуры, которые, раз увидев, уже невозможно было забыть.

* * *

«Если король, еще наследником престола, сумел

научиться управлять конем, то уж управление государством должно ему показаться сущими пустяками».

Филип Сидней, «В защиту поэзии»

Ирбек Кантемиров сумел разрядить напряженную атмосферу на последней советско-американской встрече писателей. Что касается встречи, это тема для мемуаров литературных. Сейчас не буду даже имен называть, скажу только, что обе стороны представлены были знаменитейшими солистами на литературной сцене, иные из них уже ходили в классиках, тогда еще живых, а ныне… уж об этом пусть судит история. Еще скажу, что дискуссия напоминала торг. Голоса из свободного мира предлагали нашим корифеям следовать политике их правительства в обмен на международное признание. «Вы поступаете, как мы вам укажем, а мы вам обеспечиваем мировую славу», – так ставился вопрос. А что же мешало полюбовному соглашению? Среди прочего, нужно было решить, кто же должен числиться в писателях, как тогда по всему фронту решали, кто годится для демократии, а кто – нет.

Начали мы это обсуждать в тогдашней советской республике Литве, в столичном городе Вильнюсе, в стенах бывшего королевского дворца, где некогда останавливался Наполеон, разъезжавший верхом на кобыле Акация. Пока добрались до Москвы, накопились разногласия, и, сверх того, возникли житейские неполадки – с утра наша, хотя и высшего класса, гостиница оказалась не готова принять приезжих. Куда деваться?

Кантемиров как раз начинал репетицию. Но встретил нас при входе через волшебную дверь даже не Кантемиров, а улыбающийся морж. «Разве жизнь не чудесна?», – говорила расплывшаяся усатая морда. Морской зверь был огромный, улыбка широченная, с дверь, по крайней мере, так показалось, тем более, что возвышалась эта блестящая туша на тумбе. Смотреть на жизнь пессимистически, оказавшись нос к носу с таким субъектом, было невозможно.

Уже несколько размягченные мы вышли к арене, полуосвещенной, и тем ярче, как в сумерках, хотя было утро, вспыхивали кантемировские всадники. Однажды точно также, через заднюю дверь, провели меня в Мэдисон Сквер Гарден не на репетицию, а на представление крупнейшего из американских цирков: парад-алле из сотни слонов, три арены, я ждал конников и… разочарование мое не поддавалось описанию. Не знаю, приходилось ли нашим американским гостям видеть этих своих раф-райдерс, так называемых «лихих наездников», но зрелище, им открывшееся у Кантемирова, произвело впечатление. А ведь то

были творцы, мыслители, они, по их глазам было видно, выводы делали: лихо, ничего не скажешь! Напомню доктрину, согласно которой они имели с нами дело: «Вы хорошие люди, талантливый народ, только надо вас освободить от коммунистического ярма». И оплести колониальными путами? Не дело писателей, хотя бы и проводивших государственную политику, об этом говорить, они и не говорили, но это и так было ясно. Первая посылка как-то осуществилась, что же касается второй… В американских газетах можно было прочесть: «Российская кляча все еще брыкается».

Какую угодно лошадь, как известно, можно, пусть с большим трудом повалить, но почти невозможно удержать ее в беспомощно-лежачем положении, если только не прижать ее голову к земле, прочно, как можно плотнее, прижать и так держать, иначе она все равно вырвется и встанет.

После репетиции Ирбек показал нам конюшню и затем провел в свою артистическую уборную. Там, как некогда у Голохвастова – живописные портреты несравненного Бычка, красовались фотографии его легендарного серого в яблоках терца, снимавшегося в «Смелых людях», а также всходившего по лестничным ступеням на пятый этаж Театрального Общества, чтобы со сцены поздравить Народного артиста Яншина, одного из тех любителей бегов, что уцелели со времен, когда, по Бабелю, их жизнь напоминала луг, по которому бродят женщины и кони…

Ирбек, извинившись, на несколько минут удалился с бичом-шамбарьером в руках. Вернувшись, в объяснение своего недолгого отсутствия, негромко сказал: «Внушение пришлось сделать». Никто и не заметил, что одна из проносившихся мимо нас огненных лошадей в какой-то момент пошла не совсем верным ходом. А Ирбек поставил шамбарьер обратно в угол с таким видом, будто и бич заслуживал наказания. И была извлечена живительная влага.

Ученый морж, все еще громоздившийся на своей тумбе, проводил нас необъятной, размером с колесо, улыбкой: «Ну, не прекрасна ли жизнь?»

Уже на улице один из все еще живых классиков сказал:

«Да, цирк».

Верхом

«Однажды утром, когда я сидел и думал о Тургеневе, бег моих мыслей был прерван стуком копыт».

Джордж Мур

«Самое главное для писателя это вовремя слезть с седла».

И. С. Тургенев в беседе с Конст. Леонтьевым

Верхом или в экипаже, или же в полетах и поездках по спортивным делам я стараюсь обычно воспользоваться положением всадника. «Великое дело сидеть в седле. Можно подняться на стременах и далеко видеть кругом», – так говорил Джон Вебстер, драматург, современник Шекспира. Все, что обгоняет тебя или несется навстречу, попадает в поле зрения с особенной резкостью, потому что лошадь, и ты вместе с ней оказываешься как бы против течения. На коне можно подъехать вдруг со стороны совершенно неожиданной: знакомые имена, хорошо известные названия заговорят иначе, а также откроются по-новому целые явления, будто бы и не связанные с лошадью.

Сам Шекспир, а также Монтень и Свифт обдумывали свои произведения верхом. Свифт был всадником замечательным, ему предлагали служить в кавалерии, от этого он отказался, но в седле обдумывал последнюю часть гулливеровых странствий – в Лошадию, страну Игогогов. В творениях Шекспира проявляется не только исключительный интерес к лошадям, но и профессиональное понимание конного дела. В поэме «Венера и Адонис» описание образцового жеребца дано так специально-совершенно и полно, что совпадает со старинными «Правилами выездки» Бландевиля.

Крутая холка, ясный полный глаз,
Сухие ноги, круглые копыта,
Густые щетки, кожа как атлас,
А ноздри ветру широко открыты.
Грудь широка, а голова мала…

Причем в переводе еще не уместились отмеченные у

Шекспира преимущества чуть вислого крупа и прямого постава ног.

Неизвестно, откуда у Шекспира глубокое понимание лошади, как узнал он названия кавалерийских приемов, конских пород и статей, где научился он различать масти, детали сбруи до мелочей, почему, наконец, очень часто Шекспир говорит о стихах как о скачках, прислушиваясь к их «фальшивому галопу» или, напротив, четко сбалансированному движению. Мы не знаем обстоятельств, научивших Шекспира профессиональному слогу и пониманию – языку ездока, жаргону манежа. Но ведь не случайно, должно быть, именно на этом языке выразил Шекспир намерение «обуздать горячего Пегаса, мир поразив благородством выездки».

Пушкин в Михайловском решил всерьез заняться выездкой. «Хочу жеребцов выезжать», – сообщает он в письме к брату, и в библиотеке его появляется манежное наставление Риго. И хотя Пушкин подтрунивал над Кюхельбекером, что тот на Кавказе свалился с коня и озабочен этим, сам он писал в ту же пору Вяземскому о себе: «Упал на льду не с лошади, а с лошадью: большая разница для моего наезднического честолюбия». В самом деле, надо знать на опыте разницу, все оттенки, чтобы так проникновенно и вместе с тем профессионально верно говорить о коне, как Пушкин в «Песне о вещем Олеге», чтобы описать, как конь грызет и пенит мундштук или «как гонит бич в песку манежном на корде резвых кобылиц». И точно также опыт всадника сказывается в пушкинской строке о той крестьянской лошадке, что «снег почуя, плетется рысью как-нибудь». Кому случалось выезжать верхом после первого снегопада, тот знает, как всякий конь несколько упирается от неуверенности, когда приходится ступать по новому, вдруг сделавшемуся зыбким, дорожному покрову. Крестьянская лошадка «плетется рысью, как-нибудь», «снег почуя». Снег только что выпал, дорога не устоялась, под копытами зыбко, и такова причина осторожности лошадиных движений, что Пушкин знал, однажды грохнувшись на землю вместе с поскользнувшейся лошадью. (С этим истолкованием пушкинских строк согласился академик Лихачев и даже привел мое письмо в своей книге «Раздумья».) Вообще поразительно, как со времен Пиндара поэты и вообще писатели были зорки и старательно-правильны в описании лошадей: понимали значение лошади!

Грибоедов составляет специальный кавалерийский трактат. Карамзин спешит на скачки в Виндзор и, не найдя из Лондона экипажа до места, с половины пути идет пешком. Работая же под Москвой в Остафьеве над «Историей Государства Российского», наш историограф каждое утро, прежде чем сесть за свой

фундаментальный труд, по часу ездит верхом. Судьба Герцена решилась на скачках – он влюбился на ипподроме, и потому так запомнились ему на всю жизнь и Ходынский бег, и шпиль Ваганьковской церкви, что по соседству с ипподромом. «Я сделался страстный охотник до верховой езды», – пишет Герцен из вятской ссылки. Толстой в молодости мечтает служить в конной гвардии, в зрелые годы организует конный завод, устраивает состязания; с конем же и седлом он не расстается всю жизнь. Потому за гробом его, как полагается у конников, вели гнедого Делира. «И у меня в пьесе есть лошадь», нашел нужным подчеркнуть Чехов, как видно, считая это немаловажным компонентом «Чайки». Хотя «лошадиного» рассказа, подобного его «собачьим» шедеврам, Чехов не оставил, но вспомните извозчичью клячонку в «Тоске» и прочих коняг в чеховских произведениях: два-три штриха воссоздают совершенно живые конные фигуры, позволяя понять, с какой проникновенностью относился к лошадям завершающий наш золотой век классик. (Что подтвердил своими исследованиями известный чеховед, мой соученик по Университету и коллега по Институту мировой литературы, Александр Чудаков). А младший американский современник Чехова, Джек Лондон, решил, что ему, видно, и жить больше незачем, когда вдруг неожиданно, сверх всех неприятностей, постиг его окончательный удар – пал его любимый конь, ведь он, моряк, на суше не слезал с седла.

Словом, великие литературные имена сами дают повод взглянуть на них с «лошадиной» точки зрения, подъехать к ним, так сказать, на коне. Конечно, «нельзя критиковать с высоты коня», как сказал Горький. Но можно все-таки взглянуть, сохраняя при этом чувство масштаба. Ведь еще древние, разбирая природу искусства, толковали о том, кто – возница, врач или поэт – лучше поймет Гомерово описание конского бега?

Лошади у Шекспира

«Что за вопрос? Лошадь».

«Укрощение строптивой»

«Коня! Коня! Полцарства за коня!» – одна из тех замечательных вольностей, что лучше отвечают духу подлинника, чем самый точный перевод. Дословно у Шекспира говорится: «Коня! Коня! Моё королевство за коня!». В других наших переводах Ричард III за коня готов отдать престол, венец и «всё королевство», что словесно вернее, однако у нас не привилось. «Если король отдаст за коня свою державу, что же тогда ему останется?», – может спросить наш читатель. Почему же подобным вопросом не задаются англичане? А потому что у них несколько иной Ричард – прежде всего игрок. А игроки, известно, ненасытны, они в азарте способны забыть цель игры.

«В груди забилась тысяча сердец!» – прекрасно передал Дружинин. Но столь же важный для Ричарда клич «Я жизнь мою на карту ставлю» у него не получился. Не удалась строка и Данилевскому: «Поставил на игру судьбы». У Анны Радловой вышло (что с ней нередко случалось) нечто косноязычное: «Жизнь свою поставил я». Оригинал я даже не берусь пересказывать, потому что в подстрочнике улетучится стремительность шекспировских строк. У Шекспира Ричард мысленно играет не в карты, а в кости. Он ставит на кон жизнь свою и не страшится выброса костей. Правило хорошего перевода – не пытайтесь подражать языку оригинала. Сообразуясь с природой своего языка, старайтесь из иностранного текста передать удобопередаваемое. Со времен Жуковского так поступали переводчики, чьи создания, по словам шекспироведа Морозова, стали частью русской поэзии. Трагик Брянский актерским чутьём угадал, что эффектно и значительно прозвучит – полцарства.

Царство не царство, а лошади в шекспировские времена были дороги. «Продают дома и поля свои, чтобы коня купить и идти в бой», – из «Генриха V», уже не метафора. Согласно стойкому преданию, Шекспир в Лондон из родного Стрэтфорда пришел и, обосновавшись в столичной театральной среде, проделывал не раз тот же самый путь. И все так же пешком. Расстояние – от Москвы до Тулы, но если Толстой по этой дороге шагал, как пилигрим, ради эксперимента, то Шекспир – по необходимости. Говорят, начал он свой театральный путь сторожем при лошадях, на которых вельможные зрители приезжали на представление,

постепенно стал подниматься по лестнице успеха, но даже в конце чрезвычайно удачливой драматической карьеры, ему, хотя он сделался совладельцем театра, заиметь лошадь было, очевидно, не по карману.

А как же шекспировские сонеты, где речь ведется от лица человека, сидящего в седле? Не знаю. И никто не знает. Одно можно сказать: в этих стихотворениях выразительно запечатлены нежелание всадника покидать свою любовь, а также упрямство лошади, которая, как всякая лошадь, из конюшни и от кормушки идёт неохотно. Поэт толкует вялость лошади по-своему, будто символические соответствие своему собственному чувству горечи разлуки. Но кто сидел в седле, тот знает: ехать из конюшни и обратно на конюшню – это словно езда на двух разных лошадях, будто вам коня заменили. Конь «едва трусит лениво», когда поэт, по его выражению, «отъезжает от счастья». И лошадь тоже, по своим причинам, не радуется. Сонета о возвращении у Шекспира нет. Но при повороте в обратный путь, к дому, всякая лошадь начинает играть каждым мускулом: лошадь приходит в состояние воодушевления, и лучше всего её состояние подъема передают слова нашей песни «Вся душа моя играет, вся душа моя поёт».

В тех же шекспировских сонетах, при желании и усилии, можно увидеть отражение неопытности всадника, не способного как следует собрать и выслать лошадь, воздействовать на неё шпорами, а то и хлыстом. Либо же Шекспир, в свою очередь зная, как бывает, поэтически представил тот случай, когда некто едет не на своей лошади.

Больше ничего не скажу, кроме того, что в пьесах Шекспира слово *лошадь* в единственном и множественном числе, а также некоторые производные слова, вроде *лошадиный,* встречается более четырехсот раз, не считая синонимов *конь, конный, кобыла, жеребец, жеребенок, скакун,* уж не говоря о различных аллюрах и атрибутах конного снаряжения. Если собрать шекспировскую иппику воедино, все касающиеся лошадей наименования вместе, то, пожалуй, получится не многим меньше, чем встречается у Шекспира слова *король* и *королевский*.

Был ли Лев Николаевич лошадью?

«Все мы немножко лошади».

Вл. Маяковский, «Хорошее отношение к лошадям»

«Лев Николаевич, право, вы когда-нибудь были лошадью», – сказал, как известно, Тургенев, слушая устный рассказ Толстого о предполагаемых «переживаниях» старого коняги, какого они во время прогулки увидели пасущемся на лугу.

Коннозаводчик Д. Д. Оболенский, сосед Толстого, рассказывает, как однажды Толстой пришел к нему за советом. Оказывается, писатель подыскал себе рысака для покупки, но, не зная ни клички его, ни происхождения, стал на словах описывать лошадь. И так увлекся, что, казалось, забыл о практической цели, а просто с азартом живописал породистого жеребца. Следя за ним, говорит Оболенский, я точно видел перед собой этого рысака во всех подробностях. Описание было так картинно, подробно и профессионально, что Оболенский угадал, что за лошадь, какого завода и кто ее родители. Пошли смотреть. Все сошлось. «Однако, вы знаток!» – с восхищением обратился к соседу-заводчику Толстой и купил жеребца.

А какова сила творческого постижения у Толстого! Насколько он «был-таки лошадью», Толстой показал и в «Холстомере», и в эпизоде скачек из «Анны Карениной», и в других своих созданиях, короче, всякий раз, когда речь у него заходит о лошадях. Толстой чаще всего так и пишет о них, удовлетворяя самым педантичным требованиям знатока. Безоговорочный авторитет в коннозаводстве Бутович дал разбор «Холстомера», подтвердив профессиональную непогрешимость Толстого. Конник отыскал в «Холстомере» множество оттенков, неискушенному читателю незаметных, однако обличающих (как выразился Бутович), насколько, в самом деле, Толстой был и лошадником и… «лошадью». Тут и понимание экстерьера, и приемов езды, и конюшенного быта, словом, по выражению Бутовича, «глубокий коннозаводский смысл». Но не мог же специалист не заметить в «Холстомере», наряду с этим, и погрешностей против конного профессионализма. Достаточно сказать, что Холстомеру больше шестидесяти лет – немыслимый для лошади возраст. Знаток, конечно, видел все эти передержки, однако доказал свой критический такт, сделав в этом месте паузу, как бы подчеркивая, что о художественном произведении речь заканчивается, а

дальше идет узкоспециальный разговор о коннозаводской подоплеке повести. Главное, восхищаясь толстовскими описаниями табуна, лошадиных повадок и прочих чисто конных ситуаций, критик-коннозаводчик воскликнул: «Ведь все это я сам видел множество раз, знаю до мелочей, но глаза мне на это открыл Лев Николаевич!».

Толстой, по собственным его подсчетам, провел семь лет жизни в седле. Близкие к Толстому знали: езда верхом обратилась в одну из сильнейших его привычек. Верховой ездой занимался он до последних лет своей жизни. Правда, в припадке толстовства он чуть было от езды не отказался. Его застыдили: на лошадке катаешься, барин, а у крестьян лошадей нет хозяйство вести! И как ни тяжело ему было, Толстой после отречения от художественного творчества совершил ещё один шаг к самопожертвованию – отказался от верховыъх прогулок, для него неразлучных с писательством. Кто хорошо знал Толстого, те свидетельствовали: лишиться верховой езды стоило ему громадного волевого усилия. Но друзья его уговорили возобновить езду. «Слаб человек», – Толстой сам это не раз повторял. И снова сел в седло, причем, оправдание этому нашел как знаток лошадей. «Они говорят, – сказал Толстой, имя в виду своих обличителей, – что я езжу на хорошей лошади, а лошадь у меня разве что с виду хороша, а она на передние ноги слаба».

Так что Толстой достаточно знал лошадей и понимал в них, чтобы даже неточности и «погрешности» не по неведению возникли. Мало этого, по сообщению непосредственного свидетеля, копия «Холстомера» так и лежала в толстовском доме на столе, чтобы приходившие в гости знатоки лошадей могли оставлять на ней свои пометы. Увы, эта копия не дошла до нас, но, надо думать, какие-то замечания и предложения автором были приняты, какие-то оставлены без внимания… Черновики показывают, как даже неточности и профессиональные промахи были тщательным образом допущены, отработаны.

Репин, сам степняк-лошадник, рассказывает, как Толстой учил его прыгать на коне через ручей. Они вдвоем ехали по лесу верхами. Вдруг ручей. Толстой пустил лошадь шибче и перемахнул. Репин замялся и хотел было переступить вброд. Толстой ему велел:

– Вы лучше перескочите разом. Наши лошади привыкли. В ручье вы завязнете – топко, это даже небезопасно.

Лошадь, вероятно, увидела близко воду и упирается. Толстой продолжает:

– Понукните его. Я знаю, он скачет хорошо.

По этим советам видно, что Толстой не подслушал со

стороны, а знал практически и профессионально те наставления, какие в «Анне Карениной» англичанин-тренер высказывает перед скачкой Вронскому: «Не торопитесь и помните одно: не задерживайте у препятствий и посылайте, давайте ей выбирать, как она хочет».

Но тут же мы сталкиваемся с феноменальным творческим парадоксом: Толстой никогда не бывал на скачках!

Мне указала на это моя мать, художница, преподаватель рисунка, а также истории искусств в Цирковом училище, заядлая читательница. Смотри, говорит, и я посмотрел в лежавшую перед ней книгу воспоминаний старшего толстовского сына, а посмотрев, остолбенел, не веря своим глазам. Сергей Львович, кажется, сам удивлялся тому, что сообщает, а сообщал он, вне сомнения, правду – мемуарам его доверяют вполне, и вот читаю и перечитываю: его отец, создатель классического описания скачек, никаких скачек не видел.

Уж, конечно, известно было Толстому, как можно упасть, покалечиться, покалечить или даже убить лошадь; лошадь может сломать ногу, спину, но только не от едва заметного прикосновения всадника к седлу, как это описано в «Анне Карениной»: «Не поспев за движением лошади, он, сам не понимая как, сделал скверное непростительное движение, опустившись на седло». Этим-то неловким движением, пишет чуть дальше Толстой, Вронский и сломал своей Фру-Фру хребет. Кто со щемящим сердцем не читал этих строк! Один спортсмен мне признался, что эти строки испортили ему полжизни: начиная в молодые годы ездить, он больше всего боялся допустить то же самое «непростительное движение» и только со временем узнал – так не бывает!

* * *

В этом месте моего повествования делаю паузу, потому что, говорят, возражение мне опубликовал известный историк русской литературы Всеволод Сахаров. Он будто бы отыскал сведения о том, что – бывает! О его возражении я, к сожалению, только слышал, а достать, чтобы самому прочитать его полемику, пока не сумел. Так что спорить не стану, а лишь воспользуюсь случаем, чтобы уточнить, о чем идет речь. Мое мнение в данном случае немного стоит, это знающие люди утверждали: «Такого не бывает и быть не может». Точка. Так что же бывает и чего не бывает в мире бегов и скачек?

Лошади падают и убиваются то и дело, в особенности на

барьерах. Дик Фрэнсис, писатель-жокей, скакавший стипль-чезы, мне говорил: «Это не так страшно, как может показаться», но позвольте сослаться на другое авторитетное мнение – Николая Насибова, нашего чемпиона с международным именем. Николай тоже скакал барьерные скачки, в молодости, и на мой вопрос, почему в зрелом возрасте бросил, отвечал: «Это занятие не для семейных».

А вот что бывает. При мне тот же Насибов приехал на консультацию, чтобы осмотреть чистокровного жеребца Фантома, которого готовили к стипль-чезу. Приехал и как только из машины вылез, взглянул, коротко бросил: «Не дотянут», сел за руль и уехал. При его опыте одного взгляда было достаточно чтобы увидеть, что надо еще дотягивать, сушить лошадь, доводя до нужных кондиций. Его не послушали, со скачки жеребца не сняли, и у последнего барьера Фантом снялся слишком рано. Перелететь через препятствие у него от усталости (лишний вес – не дотянут!) силенок не хватило. Жеребец ударился о барьер и, на мгновение повиснув в воздухе, всем своим весом навалился на передние ноги. Совершилось это в секунду. Фантом грохнулся перед препятствием, которого так и не смог преодолеть. Всадник, молодой парень, вылетел из седла. Оба они, Фантом и Генка, лежали рядом без движения. Генка поднялся, прихрамывая. Так и сделался хромым на всю жизнь: выбито колено. Стал полуинвалидом, способный ездок, скакать больше уже не мог, но все-таки уцелел. А классный, однако, не готовый к скачке жеребец так и остался лежать. Ничего у него сломано не было. Погиб от переутомления, ударившись о землю.

Пришлось усыпить Барбаро, выдающегося американского скакуна. Что за причина? Из-за маленькой косточки на правой задней. Взял Барбаро два основных приза, от него ждали, что, взяв третий, станет он трижды венчанным, и тогда имя его было бы золотыми буквами занесено в историю (уж не говоря о получении многомиллионного выигрыша). Но, не успев как следует принять старт, едва только выскочив из бокса в старт-машине, битый фаворит подвернул правую заднюю и выбыл из решающей скачки. Телевидение снова и снова показывало роковой момент, публика, собиравшаяся от души приветствовать триумфатора, была ошеломлена, жокей рыдал навзрыд, потрясенные владельцы не жалели средств для спасения своего питомца. Все силы современной ветеринарии были брошены на восстановление несравненного скакуна, газета «Нью-Йорк Таймс» на первой полосе сообщала о ходе лечения, и все же замечательную лошадиную жизнь прекратили. У жеребца оказался сломан какой-то сустав, малюсенький, но

восстановлению не поддавался, из-за этого конь не мог нести самого себя.

Вернусь к Толстому.

* * *

Надо пережить или хотя бы наблюдать всевозможные перипетии в верховой езде – на прыжках, кроссе, в поле, лесу или горах, то есть когда приходится принимать в седле самые невероятные позы и причинять лошади бог знает какие неудобства, чтобы убедиться, насколько невозможно описанное Толстым. Четыре недвижно сросшихся позвонка в седловине, площадь седла, а кроме того фактура, так сказать, и опять же площадь седалища не позволят произвести такого разрушительного эффекта. Однако ради романтизма скачек, чтобы передать, насколько это полет и поэзия, Толстой и сделал Фру-Фру неправдоподобно хрупкой – со специальной точки зрения, зато в ранимость живого существа верит читатель! Живописцы тоже прибегали к художественной условности, изображая несущихся галопом лошадей не так, как это происходит на самом деле, – с обеими передними ногами вытянутыми вперед. Говорят, только с изобретением фотографии увидели, как в действительности галопируют кони. Это – публика увидела, а неужели профессионалы-конники, а также живописцы, вроде Леонардо и Стаббса, специально изучавшие лошадей, всегда того не знали? Ведь и после появления фото – и киноаппарата, живописцы-иппологи, как Дега и Греков, продолжали держаться представления ошибочного, ибо иначе нельзя было создать на полотне впечатления стремительности и скорости. В искусстве словесном это и называется поэтической вольностью.

В книге заслуженного мастера, начальника конноспортивной школы «Наука», Михаила Иванова «Возникновение и развитие конного спорта» воспроизведена картина Красносельского стипль-чеза 9 июля 1872 года, ставшего благодаря «Анне Карениной» бессмертным, и которого, однако, Толстой *не* видел, но получил подробные сведения от конника-соседа – князя Оболенского, судившего скачку. Оболенскому же принадлежала и стояла у него в имении, неподалеку от Ясной Поляны, в Шаховском, чистокровная кобыла, послужившая Толстому прототипом для Фру-Фру. Именно о ней все подробности хранил в памяти, однако, не успел о них написать профессор Витт. Ныне предание об этой лошади в свою очередь, уж как водится, обросло

легендами.

На старт Красносельской скачки вышли двадцать семь офицеров, из них восемнадцать упали по дистанции. Восемь упавших все-таки сумели продолжать скачку. Двое сошли с круга. В итоге финишировали пятнадцать человек. Среди упавших был и князь Голицын; с него Толстой в данном случае «списал» Вронского.

Итак, было падение. Каких только падений не случается! Чего не бывает! Но такого, как в «Анне Карениной», уж точно не бывает. И Толстой знал это. В ранних вариантах романа было иначе, достовернее. Там, когда Вронский был еще Балашевым, Анна звалась Татьяной, а Фру-Фру на английский манер Tiny, не человек ошибался, а оступалась на краю канавы перед препятствием лошадь. Поначалу Толстой достоверно описал, чего сам не видел, но что рассказывал ему о катастрофе на Красносельских скачках Оболенский: «копыто, отворотив дернину, осунулось…»

Так вот, оказывается, до какой степени Толстой «был лошадью»! Все знал, все до тонкостей понимал и потому мог позволить себе артистически преобразить факт – знаток это видит и не видит, ему это, во всяком случае, не мешает, потому что с истинным знанием сделано преображение, даже искажение, оно не случайно.

В том заключается прекрасный творческий парадокс: преображение, в сущности противоречащее реальности, принимают даже опытные конники. Вот что я могу привести в доказательство. Удостоился я чести одно время ездить конь-о-конь с Фаворским, заслуженным мастером спорта, стиплером. Как-то раз выводим мы из конюшни наших лошадей, начинаем садиться, а Фаворский, одной ногой уже в стремени, цитирует: «И привычным жестом, разобрав поводья, Вронский опустился в седло». Разбирает поводья и – опускается в седло, заставляя жизнь подражать волшебному вымыслу, как Пушкин с Лермонтовым называли художественную литературу. Поехали мы, тронули рысью, я спрашиваю: «Андрей Максимович, как же все-таки с непростительным движением, погубившим Фру-Фру, ведь так не бывает?» Некоторое время мы продолжали рысить молча, лишь копыта постукивали, да жеребцы наши пофыркивали. Наконец, Фаворский сказал: «Не бывает, но… какая правда!» И это говорил всадник, всю жизнь бравший барьеры, на которых завалился Вронский.

На ту же тему беседовал я и со знаменитым призовым наездником Ратомским, который выиграл все, что только можно было выиграть, побил и поставил рекорды, какие можно было

побить и поставить. Он сам о себе говорит, что ему скучно, ибо для него в его деле не осталось тайн. Итак, спрашиваю: почему не мешает толстовское нарушение правдоподобия? Виктор Эдуардович, наездник-артист, тоже некоторое время молчал, а потом произнес: «Искусство».

Несравненный пегий

– Что вздыхаешь? – спросил табунщик.

В ответ Холстомер махнул хвостом, как бы говоря: – Так, ничего, Нестер.

«Холстомер»

«Несправедливость» поставил Толстой третьим словом в первых же набросках «Холстомера» и затем уж подчинил отрицающему началу все произведение, судьбу пегого целиком. А между тем судьба действительного Холстомера ему была известна.

Мужик 1-й, родившийся от Любезного-1 и Бабы в заводе А. Г. Орлова-Чесменского в 1803 году и прозванный Холстомером за свой длинный, настильный ход, не был пегим. Он был, что называется, отметист. Впрочем, отметины его так расплылись, что

их можно было принять за пежины. Этот оттенок не стоило бы принимать во внимание, если бы толстовский Холстомер, сводя сумму своих несчастий, так не упирал на тот факт, что он был пегий, что он был мерин и т. д.

У заводчиков встречались, конечно, всякие причуды, в том числе и по части мастей. Знаменитый Малютин, например, не терпел вороных, считая, что они принесут ему несчастье. Особенно это убеждение укрепилось в его сознании к старости, и его, уже подслеповатого, при покупке лошадей приходилось обманывать, выдавая вороных за караковых: темно-гнедой, караковый и вороной иногда, в самом деле, трудноотличимы. Пегие, кстати, всеми почитались за простоватую масть, а, главное, также несчастную: «Жена будет изменять у того, кто ездит на пегих». Так что недоверие к пегим было хотя и предрассудком, но только не чьим-то минутным капризом или произволом.

Вообще же настоящий охотник простит лошади не только неудачную на его вкус масть, но и более существенный порок, если только есть в ней то, ради чего кровная лошадь создается, – стать и резвость. А Холстомер обладал этим в исключительной степени. И был поэтому пегий Мужик любимцем графа Орлова. Кличка, данная ему, в самом деле, по мужичьей масти, не заключала в себе ничего унизительного. Мать его звали Бабой, и Баба была также столь высоко ценима Орловым, что он именно эту кобылу взял с собой из России в Дрезден. И проездку делал ей там человек Орлова – Семен, прозванный Дрезденским. О Любезном и говорить не приходится. То был выдающийся рысак и производитель. В 1819 году, много позже кончины графа, когда пал Любезный, он, в память о любви хозяина к нему, был в уздечке и попоне стоя опущен в могилу у стены конюшни, где он провел всю свою блистательную жизнь.

Ценя родителей Холстомера, Орлов, когда увидел породность и резвость отметистого жеребенка, по достоинству оценил и его. Он сам занимался с ним, следя за его развитием и успехами в беге. Почти весь приплод одного с Холстомером года был отправлен в Хреновóе под Воронеж. И лишь нескольких особенно для него дорогих лошадей Орлов оставил при себе, пристально наблюдая за их тренингом. В их числе был и Холстомер. Орлов писал тогда в Хреновóе своему управляющему И. Н. Кабанову: «Хорошо, что ты похваливаешь молодых в упряжке, не вели их заторапливать в езде. Взятые же мною лошади все переменились к лучшему, один Холстомер не совсем еще исправился, нередко приталкивает».

Мерин? Молодой Холстомер не был и мерином. Вообще

Орлов имел правило не продавать из своего завода жеребцов, а только выхолощенных: чтобы не разбазаривать высокой крови. Поэтому все жеребцы или жеребчики, предназначенные из его завода на продажу, механически выхолащивались. Однако и речи быть не могло о том, чтобы продавать феноменального Мужика 1-го. И после смерти Орлова в 1808 году пятилетнего Холстомера не смели и не думали трогать (в повести он становится мерином около двух лет). Только в 1812 году, в переходное для Орловского завода время, когда стоял над ним управляющий-немец, уже девятилетний Холстомер оказался выхолощен. Причем сделано было это опять-таки не по капризу и не за пежины. А потому, что управляющий счел рост этого жеребца недостаточным, чтобы он мог остаться в заводе производителем. Ему казалось нужным поднять высоту орловских рысаков в холке.

Тем не менее при таинственных обстоятельствах у В. И. Шишкина, нового управляющего, имевшего тогда по соседству с Хреновым собственный завод, оказалась кобыла Угрюмая, жеребая от Холстомера. Шишкин сам повинился в этом дочери Орлова. В 1812 году Угрюмая ожеребила вороного жеребца, прозванного Старым Атласным. И пошла и началась целая линия в рысистом коневодстве. Уже в нашем веке гремел из этой линии Эльборус (из Прилеп), потом того же завода и той же линии Бубенчик. Так до сих пор бегут, выигрывают и славятся на ипподромах рекордисты, дербисты, имеющие началом своим несравненного Холстомера.

Праправнук Холстомера гнедой Бычок оказался резвейшим рысаком в XIX веке, он был признан «лошадью столетия». Итак, трудно вообразить рысака, судьба которого оказалась бы столь плодотворной.

Что же это я хочу сказать? Что Толстой написал неправду? Нет, этого я сказать не хочу. Объяснюсь. Одновременно с тем, как читал я и перечитывал «Холстоимера», читал я что ни в школьные, ни в университеские годы не читал, а тут начитался – чего? Консервативной, современной Толстому, критики. К этому чтению приобщил меня бывший коннозаводчик В. Д. Метальников. Судьба, с утратой прежнего социального положения и всех владений, сделала его переводчиком. Он подарил мне за ненадобностью и стесненными жилищными обстоятельствами портрет своего производителя работы польского анималиста Жабы или, как его произносили на французский лад, Жаба́. «Почитайте», – говорит В. Д. и дает мне Константина Леонтьева.

Читал я всю ночь, а уж не только до консерватизма, но до реакции я дорвался, получив с приемом на работу в Институт мировой литературы доступ в замечательную библиотеку

замечательного учреждения. Вот они, мракобесы, прежде недосягаемые, а некоторые из них и вовсе нам неведомые…

Если леворадикальная критика упрекала Толстого за «философию застоя», то критика консервативная упрекала его за принижение (мы бы сказали «очернение») российской действительности. Критика была сильной, острой, подчас очень точной, талантливо выраженной и по-своему убедительной, а к тому времени мне, как и многим моим сверстникам, поношение старой России, к которому мы со школьных лет были приучены, успело обрыднуть до тошноты. Перечитывая «Холстомера», я пытался противопоставить трагической повести все, что мог из различных источников вычитать не только о мраке и несправедливости. Толстой ведь и сам исходил из идеи, что если грабили и разрушали, то откуда же, спрашивал он, бралось то, что грабили и разрушали? «Ты и могучая…» – наизусть затверженную некрасовскую формулу нам хотелось повернуть положительной стороной – могучая, обильная… От прежних прозрений не отрекаюсь, но уравновешивающая поправка все же необходима.

Хреновской конный завод, где был вроде бы потерян для породы несравненный рысак Холстомер, после кончины основателя графа Орлова, стал государственным и в судьбе исторического завода можно увидеть само государство, всю Россию – подъемы вперемежку с падениями, блестящие успехи и тут же безобразнейшие беспорядки, умение творить наряду с губительным головотяпством. Чехов, посетивший Хреновое (и чуть было не женившийся на дочери управляющего), нашел завод в состоянии упадка, но, помню, его письма и другие документы того времени я читал как бы нехотя. Мемуары Бутовича были тогда недоступны, но, читая теперь главу о Хреновóм, где с пониманием и блеском написано о достижениях, о новых выдающихся рысаках, однако, вижу: «бедное Хреновóе» – таково последнее слово знатока-патриота о ведущем орловском хозяйстве, относится оно к тому моменту, когда, как видел энтузиаст орловской породы, во главе дела был поставлен могильщик дела – князь Щербатов. А уж подобная ситуация мне слишком знакома из современного опыта. Остается в который раз повторить все тот же припев: «Ты и могучая, ты и…» А Толстой своей «историей лошади» выразил всю, непосильную для нас, правду.

Езда концами

«…Из хомута в хомут».

А. И. Герцен, «Концы и начала»

В «Былом и думах», где выведено столько замечательных лиц, не пропущен и Бычок, этот выдающийся ипподромный боец. Резвость его была поразительной, в особенности если учесть, что показана она была в дрожках и в хомуте, под дугой, и ездили тогда не по овальной дорожке ипподрома, а – концами, немало теряя на крутых поворотах.

Бычок принадлежал двоюродному брату Герцена – Д. П. Голохвастову, и в кабинете у кузена Герцен видел множество портретов прославленного рысака. «Как изображают Наполеона, – пишет Герцен, – то худым консулом с длинными и мокрыми волосами, то жирным императором, с клочком волос на лбу, сидящим верхом на стуле с коротенькими ножками, то императором, отрешенным от дел, стоящим – руки за спину, на скале средь плещущего океана, так и Бычок был представлен в разных моментах своей блестящей жизни: в стойле, где провел он юность, в поле – с небольшой уздечкой, наконец, заложенный едва видимой невесомой упряжью в крошечную коробочку на полозьях, и возле него кучер в бархатной шапке, в синем кафтане, с бородой, так правильно расчесанной, как у ассирийских царей-быков, – тот самый кучер, который выиграл на нем не знаю сколько кубков Сазиковой работы, стоявших под стеклом в зале».

Когда послали нас в Англию с рысаками, я надеялся: после того, как ипподромные дела будут окончены, проеду в Лондоне по местам, связанным с именем Герцена. Герценский маршрут!

У меня имелся список адресов, которым снабдил меня редактор Полного собрания герценских сочинений, он расписал все по мере того, как Герцен с семьей прибыл в Лондон, осмотрелся и остался там жить с 1852 по 1865 годы. За тринадцать лет лондонского житья издатель «Колокола» переменил более пятнадцати домов.

Некоторые герценские места в Лондоне сохранились и известны, то есть сфотографированы и описаны. Но до сих пор никому как-то не пришлось совершить паломничество по всем адресам.

Едва нас выгрузили с лошадьми в лондонском порту и, поместившись в автобус, мы двинулись через весь город на юго-

восток, в Кент, сразу за Лондоном попалось первое герценское название: стрелка указывала – Севен Окс.

Севен Окс, Семь Дубов. Как же! Усадьба миссис Биггс, где Герцен виделся с Робертом Оуэном, патриархом социалистической мысли. Там, у госпожи Биггс в Севен Окс, оставался подолгу сын Герцена Саша и часто бывал сам Герцен.

Проезжая теперь с лошадьми Севен Окс, про себя я подумал, что попаду как-нибудь туда. Тут самый вредный из наших жеребцов Тайфун тотчас начал бить копытом, как бы стараясь дать мне понять: «В чем дело? Что еще такое! Какие Семь Дубов? Никуда ты не поедешь, а будешь давать мне овса и воды». Нельзя было ему и объяснить, что это же ведь Герцен, нам, конникам и лошадям, не чужой человек.

Двадцатого июля 1834 года Герцен решил пойти на ипподром. Арестован был Огарев. Это был первый удар по эпохе юношеского вольномыслия для Герцена и его кружка. Удар вызвал ошеломление, даже растерянность, которая выразилась хотя бы в вопросе: «Почему его, а не меня?» В одиночестве, рассеянии и подавленный, Герцен бродил тогда по московским улицам. В конце концов он в поисках встряски отправился на Ходынское поле, на скачки.

Скачки и бега на Ходынке, на теперешнем месте, тогда только учредились. Раньше, еще при самом А. Г. Орлове-Чесменском, рысаков и скакунов «мерили» у Калужской заставы, возле Нескучного сада, потом перебрались на Ходынку. Вот что пишет современник: «Перенесемся с Донского поля 90-х годов к 1835 году на противоположный край Москвы на поле Ходынское; там, где паслось также обывательское стадо и куда свозились нечистоты из города, там устраиваются изящные галереи по образцу английских, веют разноцветные флаги, тысячи экипажей летят со всех концов Москвы к ипподрому, несметная пестрая толпа окаймляет веревку двухверстного круга. И в центре этой громадной, живописной, разнообразной картины под развевающимся флагом в галерее группируется небольшой кружок распорядителей Московских скачек, мановения которых все ожидают для начатия небывалого в Москве так давно зрелища!»

На скачках Герцен встретил свою судьбу – Наташу Захарьину. Он в первый раз после многих лет знакомства с ней заговорил. С ипподрома они шли через Ваганьковское кладбище. Герцен рассуждал горячо и откровенно. Он рассказывал об аресте Огарева, о своем состоянии, и, должно быть, многое из общепринятого резко зачеркивал, потому что спутница его спросила, указывая на кладбищенскую церковь:

– А эта колокольня ничего не говорит больше вашему сердцу?

Герцен продолжал судить крайне критически, утверждая, что благородные порывы остаются не признаны, усилия пропадают даром.

– Неужели вы говорите о рукоплесканиях? – заметила его спутница. – Сейчас мы видели, как их расточают лошадям. Одни поденщики требуют награды.

В «Былом и думах» Герцен рассказывает об этой встрече, но не столь подробно, он, в частности, и не упоминает, что разговор происходил после скачек. (Об этом известно по его письмам и другим воспоминаниям.) Он будто смутился своего посещения в день ареста друга. Хотя ведь, как это обычно бывает, Герцен шел не на ипподром собственно, а ради сильного отвлечения, которое способны дать бега или скачки. Конская охота у нас родилась от ипохондрии графа Орлова, который, взявшись за вожжи или повод, забывал свой недуг.

Я вспоминал это при виде таблички Севен Окс, однако Тайфун будто и знать ничего не желал ни про Бычка, ни про Герцена. Он долбил и долбил до тех пор, пока Гриша, наш наездник, лежавший в автобусе на сене и пытавшийся уснуть, не поднялся и не крикнул на него страшным голосом:

– Замолчи, с-скотина!

Стук Тайфуна оказался роковым предзнаменованием. Мы проезжали по Лондону, и вот Юстонстрит, Вестбурн Террас, Паддингтон – все герценские улицы, однако мы, как нарочно, минуем их выше или ниже, словом, в стороне от тех номеров, где жил Герцен. И сквозь автомобильный шум, грохот города я все слышал назойливое копыто.

«Брось! Брось, – как будто говорилось мне. – А не то мозги себе сломаешь». «Свобода, воля!» – восклицал Герцен, вырвавшись за границу и здесь же пришел он к выводу: «Люди мельчают… Все становится, быть может, добропорядочнее, но пошлее». Живя здесь, назвал он мещанство «последним словом» Запада. Что же, именно свобода окончательно лишает человека иллюзий относительно самого себя, ставит каждого на место, показывая ему: «Выше головы, брат, не прыгнешь?» В английской пьесе о Герцене, «Берег Утопии» Тома Стоппарда, эта сквозная у Герцена тема едва упомянута. Кому приятно сознавать свое убожество?

Гораздо ближе мне удалось «подъехать верхом» к Герцену несколько лет назад на Северном Кавказе неподалеку от Теберды. Лошадь из таких, что Расин писал: «Я предоставил лошади везти себя», из тех, что считаются опытнее всадника, осторожно выбирала дорогу. Темнело. Пробираться надо было по горному склону между деревьев. Здесь, в поселке, жили старики Сатины.

Маргарита Федоровна Сатина в молодости была компаньонкой Н. А. Тучковой-Огаревой, а муж ее – Владимир Александрович – внук Н. М. Сатина, одного из ближайших друзей Герцена. Самого Герцена эти старички, конечно, застать не могли, но все же то были живые, органичные осколочки герценского окружения. И вот бывалый конь доставил меня к Сатиным.

– Сколько я помню, боже мой, а все живу! – стал говорить старик Сатин. – Ясно помню, как сейчас, до мелочей. Толстой. Как на портретах – с бородой, в длинной рубахе и сапогах. Но аристократ! Горький… Тоже в сапогах, однако много проще. Шаляпин – много разговоров насчет разгула. Да, много помню. До мелочей! Иногда читаю у Герцена или Огарева описания, и все до мелочей знакомо: как ехали за границу, осень, сбруя, ямщики, колокольчик… А теперь вижу только на могилах холодные плиты, да мимо гонят коров. Сколько я помню! И все никак не умру.

После таких монологов в краю, где Герцен никогда и не бывал, но висят выцветшие семейные фотографии его жены, его детей, а его самого называют по-домашнему Александром Ивановичем, после этого начинало казаться, что лошадь везла меня не горной дорогой и вообще не по земле, а во времени. Честное слово, я чувствовал себя булгаковским дьяволом, когда на обратном пути от Сатиных двигался во мраке, среди каких-то испарений и туманов, под мощный шум горной реки и потому без стука копыт, без дороги: земли не было, ничего вещественно-реального не было. Кругом бескрайняя бездна. «Боже мой, сколько я помню! А все живу». Толстой, Герцен, Шаляпин. Вечность.

Я еду, еду на коне,
И звезды мащут мне…

И вот случайные линии начинают пересекаться: конь привез к Сатиным; в Музее коневодства висят портреты Бычка, которые рассматривал Герцен; с трибуны Московского ипподрома по-прежнему виден шпиль Ваганьковской церкви, на который когда-то Александру указывала Натали, и они говорили о лошадях; Севен Окс – Семь Дубов – дорожная стрелка под Лондоном, где часто бывал Герцен, а мы едем мимо – торговать лошадьми, но все же видим мельком парк и покой Семи Дубов, которые напоминали Герцену лучшие дни в Соколове и Васильевском, в Перхушкове.

В перхушковский дом я также приехал верхом. В «Былом и думах» Герцен вспоминает, как скрипели там двери, ставни, половицы. Я слез, привязал коня. Вошел в дом, поднялся наверх

по шатким ступеням. Скрипят! Подобное соединение кажется смешно, случайно и сторонне – едешь мимо! Вдруг, однако, даже через малую деталь начинает раскрываться как живая достоверность целый мир. И эти люди, эти лошади в нем.

* * *

В программе вечера в Доме-музее Герцена на Сивцевом Вражке мое выступление называлось научно – точного заглавия не помню, но, во всяком случае, слова *лошади* не было. А говорить собирался я именно об этом – об интересе Герцена к лошадям. Назвать Герцена конником, положим, нельзя, но я уже сказал: лошади у него, как всякого мыслящего человека того времени, были всегда на уме, о чем свидетельствует день проведенный им на Московском ипподроме, прогулки верхом в Соколове, литературный портрет Бычка в «Былом и думах» и, наконец, множество конных терминов в тех же герценских мемуарах и других его сочинениях.

В мемориальном музее была тщательно восстановлена обстановка, на стенах – фамильные портреты. И вдруг испытал я странное чувство, нечто из Гоголя: глаза, лбы, подбородки, лица с характерными овалами словно сошли с портретов и распространились по всему залу среди собравшихся. Опомнившись, понял: потомки! Послушать меня пришли потомки Герцена, а в них, выражаясь по-конному, порода сказывается. Разве не интересно будет им узнать об их великом предке на фоне прежнего конюшенного быта?

Однако, едва осветив пребывание Герцена на ипподроме, не успел я добраться до соколовской верховой езды, как ведущий прервал меня. «Непрочь я слушать этого оратора, – сказал ведущий, – когда говорит он только о лошадях. Герцен – другая тема». Ведущим был мой старший коллега по Институту мировой литературы, вернувшийся из лагеря, наш крупнейший специалист по Герцену, Сергей Александрович Макашин. Пришлось мне скомкать свою речь, и меня сменили другие выступавшие.

Вышли мы с Макашиным после заседания, а он говорит: «Знаете, ведь я сам из коннозаводчиков». Смотрит на меня седой, виды повидавший, смотрит, а в глазах его я читаю: «Болтаешь о Герцене и лошадях, не зная – не испытал, чем в наших условиях могут кончится разговоры о лошадях в сочетании с Герценом!».

Если Макашин оборвал меня, едва заговорил я о Герцене и его посещении ипподрома, то ещё один выдающийся ученый в Институте мировой литературы, тоже из лагеря вернувшийся,

оказался смелее, он поддержал мою тему «Лошади в жизни и творчестве Шекспира». Но ещё вопрос, кто из двух бывших ученых зека[9] оказался прозорливее.

Симпатию, причем, сильнейшую у этого ученого-текстолога, прочитавшего все рукописи Пушкина, заслужил я совершенно случайно и невольно: высказал нечто, что, оказывается, расходилось с мнениями его худшего врага. С тех пор вернувшийся к научной жизни изгнанник рекомендовал меня как молодого автора, если требовалось написать что-нибудь про Шекспира или лошадей. Авторитет его был так велик, что благодаря его поддержке меня даже включили в программу телевизионной передачи, вроде круглого стола, за которым каждый должен был рассказать нечто интересное.

Передача шла в прямом эфире. Моя очередь выступать была за публицистом, который вскоре после этой передачи выехал как преследуемый за свои религиозные верования и политические взгляды. Речь его по сути была близка диссертации Раисы Максимовны Горбачёвой: не пора ли, укрепив колхозы, распустить их? В ту пору об этом нельзя было говорить прямо, поэтому, двигаясь окольным путем, мой предшественник по передаче рассуждал на несомненно занимательный сюжет довольно долго. А мне из-за кулис шепнули: «Молчите!». Так я и промолчал до конца передачи. «Что же ты молчал, как идиот?» – предъявили претензии мои знакомые. Их репутация пострадала, поскольку они успели раззвонить, что знают человека, который «прямо сейчас будет выступать по телевизору».

А что я мог поделать? Предшественник мой, наговоривший, хотя и обиняками, но вполне достаточно об упразднении колхозов, как бы оправдываясь передо мной, спросил: «Разве я превысил свой лимит времени?» Нет, не превысил, и вообще не в нём было дело. Сокращение моей речи объяснил режиссер. «Всё-таки слишком политически рискованно ставить Шекспира в один ряд с лошадьми», – так в последнюю минуту решило начальство. Бывший зека Макашин не зря всполошился, услыхав, что Герцен бывал на бегах.

Судьба всадника

«Там – на конный двор…»

«Свадьба Кречинского»

Несколько книг ему посвящены, и ни в одной из них нет того, что, со всеми подробностями, прочитал я в рукописи, так и оставшейся неопубликованной. В книгах рассказывается, что сделало его имя бессмертным. А бессмертен стал он в силу опасного правила: «Не было счастья, так несчастье помогло». В тех же книгах говорится, что бессмертным его сделал досуг, однако досуг невольный, нежеланный: тюремное заключение. Вы, я уверен, догадываетесь, о ком идёт речь. Имя это среди русских писателей-драматургов стоит сразу после Островского. А из русских писателей-конников он первый – Сухово-Кобылин.

«Увлекался скачками», – сказано в его литературной биографии. О, нет! Из той неопубликованной рукописи следовало, что Александр Васильевич Сухово-Кобылин занимался лошадьми и скачками. Разница большая. Верховой ездой увлекались Карамзин, Вяземский, Пушкин, Толстой, Леонтьев, Бунин, Куприн, Александр Блок, они и ездили без разбора, на чем придётся, как Герцен, по его словам, «на отслужившей жандармской кляче». В отличие от любителей, Денис Давыдов, Михаил Лермонтов и Афанасий Фет служили кадровыми кавалеристами, они выбирали лошадей себе по средствам, породе и статям. Сухово-Кобылин как ездок специализировался в стипльчезе, а как заводчик разводил чистокровных скакунов. Что значит «специализировался»? Понятно, не ради заработка. Происхождение и состояние позволяло ему оставаться конским охотником, ездить и держать лошадей по-джентльменски, ради удовольствия, по влечению души.

Мечтой его было: взять Императорский приз, а также написать философский труд. Удалось ему осуществить то и другое. Причем обнаруживается связь между двумя стремлениями: прыжок на коне через барьер – это своего рода полет, а летание, согласно рассуждениям Сухово-Кобылина, составляет цель человеческого прогресса. Но труды, им написанные, поглотил, вместе с имением, пожар. А победа на скачках оказалась омрачена ужасным обстоятельством, бросившим глубокую тень на всю его жизнь. Расскажу, что помню из прочитанной мной рукописи, а помню я завершение, какое невозможно забыть.

История той рукописи сама по себе есть драма. Редкостный специалист по лошадям, Владимир Оскарович Липпинг, работая в Институте коневодства, попутно, тоже на досуге, написал исследование, которое дал мне читать, – машинопись, совершенно готовую к печати. Заглавия еще не было, но можно бы это сочинение назвать «Очерками зарытых в землю талантов». Речь шла об известных, вошедших в историю, деятелях, однако, вошедших злыми гениями, под знаком минус. Между тем, злые гении могли оказаться светочами, если бы занимались своим делом. Их призванием было коневодство, хорошо они разбирались в лошадях, но вместо лошадей судьба заставила их избрать поприще вовсе им не свойственное. Люди в целом способные, работящие, упорные, они и на другой стезе преуспели, продвинувшись достаточно высоко по службе, но только как посредственности.

Сильное впечатление в той иппической галлерее произвел на меня литературный портрет кутузовского генерала, точнее, антикутузовского, известного нам из учебников кутузовского супостата, он Кутузову мешал или прямо вредил, а из рукописи Липпинга я узнал, сколько пользы и добра мог бы принести тот же генерал, займись он разведением породистых лошадей, в которых понимал, как никто. По крупицам, с дотошностью истинного исследователя, Владимир Оскарович воссоздавал жизни, которые все, без исключения, считались бы замечательными, яркими, если бы только каждый из проживших серую и, в сущности, никчемную жизнь не зарывал в землю талант зоотехника, ремонтера и, наконец, наездника.

Проглотив эту рукопись, понес я ее в ЖЗЛ. Вот, говорю, читайте – не оторветесь. А они оторвались и говорят: «Если бы, старик, это было не про лошадей!». Говорили не какие-нибудь держиморды – просвещенные редакторы, некоторые из них по образованию – историки, однако, по обстоятельствам, они, в самом деле, не видели смысла и надобности печатать рукопись иппическую. Причина? Время было такое – не до лошадей.

Не все этюды в рукописи Липпинга посвящены были людям, помимо их проницательного интереса к лошадям, заурядным. Ярчайшим исключением являлся Сухово-Кобылин. Что он был классиком русской литературы, в том разносторонне образованный автор рукописи, разумеется, отдавал себе отчет. Запомнился мне восторг, с каким Липпинг очертил фигуру писателя-стиплера. Впечатление от прочитанного было таково: созданная Сухово-Кобылиным трилогия «Свадьба Кречинского», «Дело» и «Смерть Тарелкина» явление, несомненно, выдающееся, но получи он полное признание как конник, фигура его ещё

выросла бы в глазах современников и потомства.

Стипльчез у нас был редкостью, охота сугубо английская: скакать напролом через поля и заборы от стипля до стипля – от колокольни до колокольни. В современных условиях это ипподромная скачка на длинную дистанцию с препятствиями головоломными. Препятствия – «мертвые», не рассыпаются, как на конкуре, от удара копытами. Падает лошадь, с ней вместе – всадник, падает, бывает, и под лошадь. Чемпион в стипльчезе и детективе Дик Френсис за свою скаковую карьеру получил четырнадцать переломов. Наш участник классического стипльчеза в Ливерпуле Виктор Прахов упал, к счастью, не убился и даже сумел опять сесть в седло и продолжать скачку, упорство и отвагу нашего отчаянного Прахова приветствовала публика, но остался Виктор далеко сзади. С ним вместе скакал Борис Пономаренко. Рассказ Бориса я слышал. Он не столько рассказывал, сколько делал большие глаза и крутил головой: погибель! На Эйнтри, как называется ипподром в Ливерпуле, мне бывать не приходилось, видел я средней трудности стипльчез в Мериленде, однако при воспоминании об этом тоже тянет крутить головой: как они не падали, непостижимо. Сами же англичане, хотя это против их правил, изменили традиции, упростив некоторые препятствия, иные и вовсе убрали. Насколько труден был наш Красносельский стипльчез говорит статистика: из двадцати семи участников скачки, послужившей Толстому (со слов Оболенского) источником для «Анны Карениной», до конца добралась лишь третья часть участников.

Рукопись Липпинга пришлось вернуть ему, и что с этой замечательной работой стало, я не знаю. Рукопись воскрешала сведения, казалось бы, совершенно утраченные. Одним из источников автору служили воспоминания толстовского друга-информатора, всё того же Оболенского, который вспоминал, как Сухово-Кобылин взял приз в Москве на Щеголе. Лошадь была чужая, мечта Сухово-Кобылина, по Липпингу, как я помню, заключалась в том, чтобы заиметь свою лошадь и выиграть Императорский. На это ушло тринадцать лет, семь лет из этого срока оказались для всадника хождением по мукам. Те же годы и те же муки сделали его писателем. «Что без страданий жизнь поэта?» Потеря для конного спорта – приобретение для литературы. Известно: искусство не жизнь!

По меньшей мере пять книг, не считая статей, в том числе книга, написанная моим соучеником по Университету Станиславом Рассадиным, освещают тяжелейшие и плодотворнейшие годы в жизни Сухово-Кобылина. Но я позволю себе в этом пункте вторгнуться со своими воспоминаниями.

Сколько я себя помню, помню дом, где разыгралась сухово-кобылинская трагедия. Это небольшой ампирный особняк на углу Нарышкинского сквера, в Москве на Страстном бульваре. Бульвара давно нет, «бульваром» называется улица. Во времена Сухово-Кобылина это была Сенная площадь, а сквер – часть городской усадьбы Нарышкиных. Почти всё существование наше, живших по другую сторону Страстного, от рождения связывалась с этим сквером – младенцы в колясочке, подростки, сдающие нормы БГТО по бегу, первые романтические прогулки и т. д. Дома № 9 не отличали мы среди других домов до старших классов школы. Трилогию Сухово-Кобылина мы тогда не проходили, но некоторые из нас узнали, что в этом доме была убита гражданская жена Сухово-Кобылина, француженка Симон Диманш. Кто убил?

Сейчас среди некоторых авторов распространилось в отношении к Сухово-Кобылину, по-моему, лакейское умиление перед барином, за стулом которого тем же авторам, быть может, пришлось стоять, не изменись круто ход нашей истории. Но с другом Стаськой готов я согласиться: убийцей своей любовницы Сухово-Кобылин, допустим, не был, однако он, конечно, явился истинным виновником её гибели.

Из Парижа красавец-аристократ увлек молодую женщину в Россию, заточил в особняк на Сенной как наложницу, но вскоре, человек увлекающийся, богач и спортсмен, сменил пассию и начал интригу со своей соседкой, светской львицей Нарышкиной. Парижская любовь, в судебных бумагах называемая «московской купчихой», а в литературных анналах – «гражданской женой», стала ему обузой. Изначально исследователи «Дела Сухово-Кобылина» колебались в поисках фактических убийц, одни называли самого Сухово-Кобылина, другие приписывали преступление четырем слугам, третьи считали дело неразрешенным. За самое последние годы, когда стало у нас принято держаться аристократии и симпатии к плебсу не в моде, большинство изучающих давнее дело склоняются на сторону тех следователей и судей, что (под пыткой) добились признаний от слуг. «Пытали только повара», – говорят исследователи подобно тому, как и в Америке сейчас оправдывают применение «усиленных методов допроса», будто бы прибегая к самым крайним мерам лишь в редких случаях, когда иначе от человека толка никак не добьешься. Ну, такие доводы слышать нам не впервой. Слуг в результате повторного разбирательства оправдали, а Сухово-Кобылин обратился к Николаю I с письмом, мне кажется, достойным чичиковского рассуждения о необъятных просторах Российской Империи. Похоже письмо и на послания

Долгорукого-банкаля (хромоногого), напоминавшего Николаю I, что у того предки были всего лишь мелкими немецкими князьями, когда Долгорукие восседали на престоле царском. Сухово-Кобылин, ссылаясь на предков, настаивает на своей невиновности. В ответ на письмо, не решая, кто прав и кто виноват, Император простить Сухово-Кобылина не простил, а дело просто прекратил. Но моральная вина ясно на ком, а уж повар, напару с кучером и ключницей, наверное не стали бы действовать на свой страх и риск, не будь им даже оченно хорошо известно, что барин не чает от барыни отделаться.

«Кобылинка», наследственное гнездо Сухово-Кобылина, вместе с его философскими трудами, сгорело. Кто поджег? Не месть ли памятливых потомков того повара с кучером, а также ключницы, что за барина натерпелись? Подпустили красного петуха, и всё тут. А что самый тип просвещенного и преступного аристократа существовал, разве не о том говорит фигура Ставрогина (тоже философа!) в «Бесах» Достоевского? К тому же соседство ангела с дьяволом в одной душе, служило, как и у Достоевского, предметом постоянных размышлений Сухово-Кобылина. «Люди-звери», – говорит уцелевший фрагмент его рукописей.

Липпинг границ своей специальной сферы не нарушал, не вдавался в уголовное дело, по ходу расследования которого Сухово-Кобылина таскали по судам и держали в тюрьме. Тогда всадник-джентльмен воззвал, как Оскар Уайльд, de profundis – из бездны – и стал истинным творцом, начал создавать свой драматический шедевр «Картины прошедшего». Первую из «картин», то есть комедию «Свадьба Кречинского», видел я с образцовым Кречинским – Названовым. В его внешних данных и актерской технике проскальзывал отблеск тех сценических приемов начала века, когда корифеи Малого театра блистали в той же роли. И я был ослеплен. Позднее ещё один мой близкий приятель, режиссер Петр Фоменко, поставил «Смерть Тарелкина» – на спектакль напали критики, придираясь к перестановкам и сокращениям текста. Критики, я думаю, были из петькиных завистников. Монтаж имел место, нет спора, но не искажал смысла. С Коняевым и Косолаповым в главных ролях запоминающееся получилось зрелище: по форме – реализм, по содержанию – сюрреализм, наш отечественный: реальность, что, по Достоевскому, причудливее всякой фантазии. Петька, режиссер-диктатор, сделал актеров гротесками без кривляний. Колька Эпов, художник-новатор, освободил сцену от декораций, и получилась выморочность, но без нарочитости, и в этом пространстве зловеще зазвучало: «Ка-ажется, оно далеко, а оно –

близко. Кажется, бли-изко, а оно далеко». Удивительное рядом, бездна в двух шагах за углом, чертовщина в человеческом облике. За годы своих мытарств Сухово-Кобылин на себе это испытал, и кровью наконец-то закровоточившего сердца о том написал… Но не буду больше отвлекаться.

Розыгрыш вожделенного для Сухово-Кобылина приза был приурочен к большому событию – коронации Александра II. В случае победы, настрадавшийся всадник мог надеяться на свою полную, хотя бы символическую, реабилитацию в глазах всего света: вручал приз – золотую медаль – собственноручно Император. Ехал Сухово-Кобылин на Шассе, от Женераль-Шассе. Выводная из-за границы лошадь или же своего завода, на этот счет указаний Липпинга уже не помню. Важно, что Сухово-Кобылин достиг своей цели – блистательно выиграл. На глазах у публики в ожидании полного триумфа на проводке перед трибунами ипподрома приблизился он к Его Императорскому Величеству. Получил драгоценный трофей. Император даже поздравил его с победой. А руки ему все-таки не подал…

По памяти, возможен вариант: приз Сухово-Кобылину передали, а не вручили, именно потому, что вручать должен был сам монарх и, при этом, пожать победителю руку. Что сочтено было неподобающим и невозможным. Приз достался победителю по праву, но морального вознаграждения он всё же так и не удостоился.

Альфиери, или Опыт иппотерапии

«Хочу жеребцов выезжать: вольное подражание Альфиери и Байрону».

Пушкин

О пристрастии итальянского поэта и драматурга к лошадям Пушкин, возможно, не только читал, но и слышал: итальянец приезжал в Россию. Было это почти за тридцать лет до рождения нашего поэта, но устные предания могли с тех пор сохраниться и до него дойти. Во всяком случае, редкое упоминание об Альфиери обходится без указания на его одержимость верховой ездой. Именно одержимость.

«Без лошади я – полчеловека», – говорил Витторио Альфьери. Им владела психическая потребность иметь дело с лошадьми. Он признает: возле лошадей удавалось ему обретать и сохранять душевное равновесие. С ранних лет Витторио был объят меланхолией, испытывал резкие перепады настроения. В лошадях Альфиери нашел способ совладать со своим характером, чересчур неустойчивым, подверженным крайностям. Верховой ездой он лечился, как в то же самое время его русский современник, граф Орлов, взявшись за повод или за вожжи, забывал свой недуг, избавляясь от ипохондрии. Напомним, что и Пушкин решил подражать Альфиери, испытывая припадки тоски.

Благотворное воздействие лошадей ныне получило название *иппотерапии.* Ставшее в глазах современных людей новинкой, лечебное средство, уж как водится, обросло рекламой. Как всё неизъяснимое или, точнее, пока ещё до конца не объясненное оказалось окружено ореолом таинственности. Но меня именно лошади и весь конный мир излечили от мистицизма. Непонятно? Неведомо? Понаблюдайте побольше – поймете. Быть может, не объясните всего, но по крайней мере будете знать, когда и как это действует. Задолго до появления ученого названия, иппотерапию испытал я на себе и в меру своего опыта скажу: сильное отвлекающее средство.

Прошу прощения за личный пример наряду с великими именами, но при чтении автобиографии Альфиери, когда он – и не раз – обращается к лошадям, говорю себе: это – правда, то же самое я испытал. С ранних лет и до первых классов школы меня мучили головные боли, стоило войти в конюшню, боль проходила. Воздействовало всё: тишина, нарушаемая лишь

вздохами лошадей или мерным похрустыванием то сеном, то овсом. Уж не говоря, если доходило до езды. Тогда наступало забвение остального мира. Внимание переключалось на лошадь. Отвлекает и увлекает всякий спорт, а я гонял в футбол, играл в волейбол и в теннис. Но при езде на лошади добавлялась мысль об опасности: как бы не упасть! Поглощение полное. Лечебная сила, вероятно, присуща всем домашним животным, лошадей отличает, среди прочего, ритм. Мерное и негромкое похрустывание овсом или сеном, четкий перестук копыт на рыси или на галопе создает своего рода музыку, втягивающую человека умиротворяющей размеренностью.

Жизнеописание Альфиери, составленное им самим, значится среди таких сочинений, как Автобиография Бенвенуто Челлини, Воспоминания Казановы или Исповедь Руссо. Это документ эпохи и литературная классика. О лошадях – не так уж много, но веско и прочувствованно. «Тогда смог я предаться занятию лошадьми, о чем мечтал», – пишет Альфиери о переломном моменте в своей жизни. Он закончил учебную Академию, и ему было позволено поступить в академию верховой езды. Дозволение дал ему наставник-опекун, который поставил условием – прежде образование, верховая езда потом. И молодой граф Витторио, аристократ, по наследству получивший состояние, не просто учился, он учился старательно, с энтузиазмом, чтобы учение поскорее закончить и сесть в седло. О своих выдающихся умственных способностях Альфиери сообщает, не скромничая, а что касается езды, он определяет точно то качество, которое и делает ездока настоящим ездоком – чувство лошади.

Широко образованный человек и вышколенный всадник – таков Альфиери. Что за школу он прошел, у каких учителей-берейторов, Альфиери не уточняет, как мало говорит о том, что у него были за лошади, но дает понять: у него было всё самое лучшее, что было ему доступно по значительным средствам и согласно высокому сословному положению.

Альфиери много путешествовал. Всюду бывал в Западной Европе, заглянул в Россию. Посещал Англию, страну скачек, влекла его туда и сердечная привязанность к Пенелопе Питт, супруге героцога Кломелла. Одна из его английских поездок являлась экспедицией за лошадьми. Вывез он четырнадцать голов различных пород, в том числе скаковых. Обратно шли морем, и если будет мне позволено опять вторгнуться со своими замечаниями и переживаниями, то скажу: описанное в автобиографии Альфиери – это знакомые нам с доктором Шаширином треволнения по ходу погрузки и во время качки, это наш путь мимо утесов Дувра в проливе Кале. Разница в том, что

Альфиери остался недоволен грузчиками, с лошадьми они обращались бесцеремонно и грубо, у нас же этого не было, даже наоборот, оно и понятно: в «осьмнадцатом столетии» что были лошади? Обычное дело. В наши времена они являлись объектом удивления и поклонения.

С целым караваном Альфиери пересек Альпы, сопровождая колонну верхом на коне по кличке Форентино. При спуске он спешился и зашагал во главе. «Немногим ниже ставлю я себя в сравнении с Ганнибалом», – говорит он, вспоминая исторический горный переход знаменитого полководца и указывая отличие: «Ему переход стоил несметное количество уксуса, мне – вина». Согласно легенде (с долей истины), уксусом Ганнибал растворял валуны на своем пути, а вином себя поддерживали проводники и коноводы в команде Альфиери, естественно, за счет хозяина-нанимателя.

Четырнадцать стихотворных трагедий составляют творческое наследие Альфиери, о чем он сам говорит, подчеркивая: по числу купленных им в Англии лошадей. Хотя число своих трагедий Альфьери считал необходимым сопоставить с количеством своих лошадей, в трагедиях, как ни странно, ничего нет о лошадях. Не скажу, что я все их прочитал. Из того, что читал, мне показалось знаменательным это неупоминание лошадей. Даже в трагедиях о Древнем Риме нет конных ристалищ. Что за притча?

Загадку, мне кажется, можно объяснить признанием самого Альфиери: поэтическое вдохновение захватывало его безраздельно. Когда же занимался он лошадьми, то забывал обо всем остальном. Иначе говоря, брался за перо и уже больше ни о чем другом не мог думать. Пользуясь пушкинскими словами: забывал весь мир, оказываясь «сладко усыплен» своим воображением. А стоило ему сесть в седло, прочее для него исчезало. Альфиери обращался к лошадям, чтобы не думать о литературе! В любой его биографии можно найти: «Верховая езда – физическое упражнение, служившее ему сильнейшим увлечением». Короче, иппотерапия.

«Россию поднял на дыбы»

«Езжу верхом…»

Пушкин в письме брату

От конюшни Первого конзавода до Захарова, или Захарьина, где рос Пушкин, на хорошей лошади было час ходу, и я все подыскивал пути «подъехать верхом» к Пушкину. Но живого звена как стимула не находилось. В Москве иначе: дочь Пушкина Мария, прототип Анны Карениной, жена генерала Гартунга, начальника государственного коннозаводства, некогда жила там, где я работал – в Институте мировой литературы. Заседали, а также проводили в последний путь своих сотрудников мы в том самом зале, где хоронили Гартунга.

Трофимыч, местный житель, старый драгун, рассказывал, как у него однажды убежали из табуна жеребята, и он нашел их в Захарове.

– Ничего там уж нет, – говорил Трофимыч, прибавляя: – Поэт писал стихи на березах.

В памяти Трофимыча, я знал, сохранились путем многих косвенных отражений бытовые легенды «про царей и про цариц» и вообще про знаменитостей столетней давности. Но главным

образом предания армейские.

– Ссора произошла, – вот что говорил Трофимыч о роковом поединке поэта, – когда кавалергарды стояли на травах.

Действительно, и ситуация «на травах», и вся эта версия идут от князя Трубецкого, гвардейского офицера, служившего вместе с Дантесом. О том, как маленький Пушкин царапал что-то на стволах захаровских берез, рассказывали совсем в другом, домашнем, кругу. Стало быть, Трофимыч услыхал об этом позднее. Приехал за жеребятами в Захарово, стал спрашивать про Пушкина, который не поладил с кавалергардами, когда они стояли на травах, а ему в ответ: «А, Пушкин! Тот, что стихи на березах у нас писал».

Я никак не мог ощутить точный момент, чтобы решить и отправиться в Захарово – пенаты Пушкина. Погода, небо, расцветка леса, словно указующее сочетание звезд, должны были оказаться в картинном между собою соответствии, хотя дорога вообще была очень красива и как бы вела за собой.

И только когда все-таки я поехал в Захарово, а лошадь в одном месте отказалась идти через воду, я взялся за хлыст и вспомнил: то была дорога самозванца. «Вот хоть отсюда свороти влево, да бором иди по тропинке до часовни, что на Чеканском ручью, а там прямо через болото на Хлопино, а оттуда на Захарьево, а тут уж всякий мальчишка доведет до Луевых гор», – так в «Борисе Годунове» хозяйка корчмы объясняет беглому монаху Григорию, как добраться до литовской границы. Какая «литовская граница»! Вот он, Чеканский ручей – конь пробует его копытом и пятится. «Вперед, и горе Годунову!» У Хлопина, называемого теперь Хлюпино, препятствием было уже не болото, а железнодорожные пути. Лошадь робела черных змеиных рельсов.

Подмосковная дорога на Захарово, переместившаяся в «Борисе Годунове» совсем в иные края, показывала ход пушкинской мысли, подобно тому, как характеризовала Толстого переиначенная им судьба Холстомера. Тут открывался как бы «центр притяжения» для Пушкина – «мое Захарово», сказал он. «Домашним образом» стремился поэт познать, почувствовать отечественную историю, ибо эта история была для него личным делом. Он выверяет свою родословную на фоне русской истории. Читает труд Карамзина и набрасывает автобиографические записки. У него является мысль о создании национальной трагедии шекспировского масштаба. Пушкин ищет в прошлом эпоху, которая соединилась бы в исторической перспективе с современностью. Ему близки и Псков, и Новгород, он чувствует свою семейную связь с петровским временем – с Петербургом, но

все же в итоге мысль его замыкается на смутном времени. Фактически Пушкин обратился к своему детству, вернулся к собственным истокам – «мое Захарово», рядом Вяземы – вотчина Годуновых, где витают легенды и о Борисе, и о Марине Мнишек, где, наконец, похоронен его младший брат. Замысел рождается как бы из «семени», глубоко укоренившемся в родной почве; подымается могучий ствол, ветви широко и свободно охватывают пространство и время, и по ним, сколько бы далеко они ни устремились, движется все тот же изначальный ток личностного восприятия прошлого своей родины.

В Захарово лошадь моя испугалась пушкинского обелиска, осадила и от шпоры дала свечку – поднялась на дыбы. В окнах Захаровской школы, перед которой поставлен обелиск, выставились бритые головы первоклассников, во всех глазах был один вопрос: «Где опустишь ты копыта?»

Потом я проскочил деревню, парк, «кленов темный ряд», пруд, реку, «зерцало вод», «в лугах тропинку» – по стихам, хотя все это было значительно моложе пушкинского времени. Лошадь, как это обычно с лошадьми бывает, когда повернешь к дому, уже ничего не боялась и тянула обратно с охотой. Трофимычу я сказал, что проехал в Захарово.

– Ничего там уж нет, – отозвался старый кавалерист. – Поэт, говорят, писал стихи на березах.

Мне же казалось, что в Захарово я съездил не просто на лошади, а на машине времени.

Жертва байронизма, или Момент поэтической истины

«…Нога его была повреждена, и Байрон остался хром на всю свою жизнь… Самый сей недостаток усиливал в нем желание отличиться во всех упражнениях, требующих силы физической и проворства».

Пушкин

«Байрон был чудовищным женоненавистником, это уже давно не секрет в анналах литературы».

Из газеты «Гардиан» от 2-го апреля 2010 года.

Сообщение газеты «Гардиан» вернуло меня к размышлениям полувековой давности. Газета сообщала об открытии новых материалов, касающихся Байрона. А размышления мои касались исторической иронии. Знал бы Пушкин: не больше часа езды верхом отделяло его Захарово от разговоров о нем и о Байроне! И каких разговоров!

«Четверг 21-го мая [1825]. За вторым завтраком мы ели *простогнашу*, а затем пропели «Экспромт в Ославском» на музыку Гениште». Комментатор этого английского дневника, знающая и дотошная американка, выбилась из сил, так и не выяснив, что значит «простогнаша». Зато разъяснила, что теперь известно не каждому: Иосиф Гениште – русский композитор, чех по происхождению, автор романсов на слова Пушкина. А если в произношении слова «простокваша» затруднялась сама автор дневника, то, надо полагать, не без труда ей, обладавшей приятным голосом, давались упоминаемые в её дневнике пушкинская «Элегия» и пушкинская «Черная шаль» на музыку того же Гениште.

Ославское – подмосковное село, где в гувернантках у Трубецких жила и вела свой дневник Клер Клермонт, любовь Байрона. Это – рядом с конным заводом. Как я уже сказал (и в свое время проверил), от Захарова до Ославского, даже если не гнать, сравнительно небольшой пробег. В Ославском, а также в самой Москве, Клер находилась, когда Пушкина там не было – он

оставался в ссылке, но вращалась мисс Клермонт в пушкинском кругу, знала родственников и друзей поэта. Однажды она даже написала прямо по-русски «Пушкин» – и на этот раз без ошибки. В том же кругу слышала она часто произносимое имя Byron, заставлявшее учащенно биться её сердце. И чем восторженнее судили о нем российские почитатели английского поэта, тем тяжелее становилось у неё на душе. Не раз говорит она о том, что ей невыносимо слышать похвалы ему, который для неё был когда-то Albe, что означало все – и солнечный восход, и ослепительную белизну. Был, а стал…

Личность Байрона имела над современниками власть не меньшую, чем его стихи. Поэт выступал перед читателями наравне с его поэтическими созданиями. Собственный легендарный облик был одним из его созданий, и необычайно выразительным по воздействию. Был ли Байрон поп-звездой своего времени, как иногда приходится сейчас слышать? О, нет! Популярные личности той поры, вроде модного щеголя Бруммеля, известны теперь разве что историкам, а Байрона и популярным поэтом нельзя назвать. Широким успехом пользовались стихотворения его друга и биографа, талантливого Томаса Мура, скажем, «Вечерний звон», нам тоже хорошо известный. А Байрон… Байрон, по определению Гете, был властителем дум, он царил над умами и сердцами. «Словом байронист, – говорил Достоевский, – браниться нельзя». В Байроне, пояснил Достоевский, воплотился «протест колоссальной личности». Если Байрона не только читали, но и вели себя байронически, то личное воздействие объяснялось силой стиха. Под каждым из своих поэтических созданий, полных глубоких и мучительных переживаний, Байрон, казалось, ставил «С подлинным верно».

Кто на коне сквозь мрак летит
Под лязг удил, под стук копыт?

Мчаться на коне над пропастью, броситься в бурные волны, встать с оружием в руках на защиту поруганной любви и чести – не было никакого сомнения в том, что создатель пламенных строк горел тем же пламенем, все это испытал на себе. Иначе откуда же такая завораживающая искренность в передаче клокочущих страстей? Но в том-то и дело, что личная легенда является творением, созданным по всем правилам искусства: доля достоверности в море воображения. А кто пытался легенду проверить, тех зачастую постигало разочарование. Разве мы не помним пушкинские строки?

Певцу Гюльнары подражая,
Сей Геллеспонт переплывал…

Евгений Онегин переплывал свой домашний «Геллеспонт», в подражание Байрону, о чем Пушкин пишет с иронией, имея в виду, что перед героем его стихотворного романа протекала небольшая речка – не морской, с версту шириной и мощным течением, пролив простирался. Но даже Пушкин тогда не знал, что прославленный, в подражание мифическому Леандру, байроновский заплыв был проведен по всем правилам безопасности: поэт, в отличие от Леандра, плыл не один, его сопровождал морской офицер, умелый пловец, который к тому же опередил поэта, а за ними ещё и баркас шел.

Стремительные всадники и целые табуны байронически-пылких, полудиких, норовистых коней проносятся по страницам байроновских произведений. Можно ли сомневаться, что перо, из-под которого вышли красочные четвероногие «персонажи», держала рука, умело работавшая поводьями? Но кто совершал с поэтом верховые прогулки и смотрел на него глазами знатока, как заядлая всадница леди Блессингтон, тот мог видеть, что Байрон ездоком был неважным, он даже побаивался лошадей.

Такова участь легендарных, окруженных ореолом писателей-творцов: они становятся жертвами черезмерно больших ожиданий, какие сами же вызвали у читателей силой своего слова. Считалось, что Эрнест Хемингуэй является мастером на все руки, что охотиться, что рыбу ловить: умеет не только писать о том, как «старик рыбачил в Гольфстриме», но сам прекрасно делает всё, о чем увлекательно повествует. А между тем на соревнованиях по спиннингу над ним взял верх не рыболов – Фидель Кастро. А когда Хемингуэю предложили дегустировать вина, он не смог отличить одно от другого, и это Папа Хем, вошедший в литературу с рюмкой в руке! Мемуаристы утверждали, что творец Фру-Фру и Холстомера, то есть Толстой, замечательно сидел в седле. Но посмотрите на сохранившиеся фотографии: у него носки развернуты в стороны!

Байрон, как и Толстой, держал лошадей и ездил постоянно. У него в дневнике лошади попадаются не реже, чем в дневнике Клер Клермонт – музыкальные дивертисменты. Изо дня в день: «Ездил верхом… Ездил верхом…» Поле под Ватерлоо поэт не только посетил – объехал и даже обскакал. Имеются сведения, что конь под ним был казацкий. И как знать, это мог быть ветеран эпохального сражения, оставшийся в тех краях с тех пор, как победно проходили там казачьи полки. В сердце Западной Европы

казаки оставили по себе долго сохранявшуюся память, а у англичан крупнейший приз Эпсомское Дерби выиграл скакун по кличке «Атаман Платофф». Очутившись на ратном поле, где решались судьбы мира, поэт промчался по всем позициям, вернулся, дал себе и коню передохнуть и – опять помчался… А понимал он в лошадях? «Понятия не имел, что такое метр длины, – говорили о нашем реформаторе сцены, режиссере Станиславском, – зато гениально чувствовал сценическое пространство». Так и поэт не в лошадях понимал, а знал, как писать о лошадях, чтобы читатели верили, будто он истинный конник.

А женщины? Вот на кого байроническая легенда имела воздействие магнетическое, а уж в присутствии поэта дамы просто лишались чувств. И за счастливые минуты любви и поэтических озарений поэт одарил их бессмертием – в стихах. Певец Гюльнары создал строки, обращенные к женщинам и проникнутые таким пронзительным чувством, что послужить ему источником вдохновения, кажется, и не жалко даже ценой мук ревности и боли расставания.

Нет слез в очах, уста молчат,
От тайных дум томится грудь,
И эти думы вечный яд.
Им не пройти, им не уснуть!
Не мне о счастье бредить вновь,
Лишь знаю я (и мог снести),
Что тщетно в нас жила любовь,
Лишь чувствую – прости! прости![10]

Слушая за обеденным столом в Ославском разговоры о Байроне, Клер Клермонт не вмешивалась и терзавшей её тайны не разглашала. А хозяева, как и гости, не подозревали, до чего же близко находились они к первоисточнику достовернейших сведений о знаменитом поэте – житейских. О его поэзии они судили сами, но если бы только себе представляли, как легко могли они узнать, что на самом деле это был за человек, чья личность, им казалось, присутствовала в его поэзии и сливалась с его стихами.

Прощай, и если навсегда, то навсегда прощай![11]

Свои переживания Клер доверяла дневнику. «Слышать не могу, – пишет она, – как превозносят они этого обманщика за его

же обманы. С нежностью рассуждают они о том, какую заботу проявлял он о своих мартышках, не доверяя слугам ухаживать за ними (у Байрона был домашний зверинец – Д. У.), а он собственную дочь оставил на руках у невежественных, лицемерных корыстолюбцев, позволив ей умереть от небрежения». Собиравшиеся в Ославском и судившие о Байроне, разумеется, знали о его многочисленных, в том числе скандальных, увлечениях, всё это присутствовало в его стихах, но, конечно, не были о том осведомлены во всех подробностях. Хозяева усадьбы в Ославском понятия не имели о том, что гувернантка Дуни, их дочери, была матерью Аллегры, дочери Байрона.

Шокировать наше высшее сословие внебрачными связями и детьми было нельзя. За тем же столом сиживали, в том числе, либо виновники, либо плоды тайных амуров. Среди наших первейших писателей есть и незаконные дети, и отцы незаконных детей. Бастард занимает центральное место в толпе персонажей нашей «Илиады» – «Войны и мира». (Бастард, или ублюдок, если не употреблять слова, каким в подобных ситуациях пользовался Пушкин.) В деревне Ясная Поляна, у Толстого под боком, рос сын, похожий на него больше его законных сыновей. Но что позволено господам, то гувернантке непростительно: дурной пример для подрастающего поколения!

Сходством Аллегра покорила и Байрона. Поначалу он даже не верил, будто это его ребенок, но как только увидел девочку, тотчас написал своему другу, посвященному в тайну её рождения: «Спора нет, это из Байронов». Но чем крепче привязывался он к дочери, тем дальше отчуждался от её матери. В конце концов он согласился принять и растить внебрачную дочь при условии, что от прав на неё откажется Клер. Девочка, которая воспитывалась по чужим людям и в монастыре, скончалась пяти с половиной лет. Спустя два года не стало Байрона. «Я поехала в Россию, спасаясь от неотступных воспоминаний об ударах, что мне наносила моя неверная и мрачная Судьба, – писала Клер, – я бежала от призраков, казалось, неразлучных со мной».

Дневник Клер Клермонт был опубликован американским университетским издательством в 1968 году. Тогда эта книга была мне недоступна, но академик Алексеев обследовал дневник и в «Литературном наследстве» поместил изложение с переводом обширных выдержек. С тех пор и меня стали преследовать строки из этого дневника. Ехал я мимо бывшего дома Трубецких, ставшего детской больницей, узкая тропа шла по высокому берегу Москвы-реки, и как было не вспомнить, что писала Клер: «Мне больше нравятся прогулки над Москвой-рекой, чем в нашем

саду». Это в среду 20-го мая, и разница заключалась лишь в том, что ехал я, хотя и в тот же день, но лет сто сорок спустя.

За рекой виднелись те же поля, на которые смотрела Клер Клермонт, проезжал я и упомянутый в дневнике небольшой пруд в самом Ислявском – возле магазина. Разница была в том, что Клер бродила там среди остатков прежней, уже покинутой, обветшавшей усадьбы и видела развалины псевдоклассического храма Юпитера, а я видел перед магазином (где кроме водки, хлеба и селедки, по-моему, никогда не продавалось больше ничего) статую Ленина. Статуя, казалось, воплощала иронию истории: в полный рост фигура лысого человека, в распахнутом пальто, кепка сорвана с головы, зажата в одной руке, а другая – сжата в кулак, руки разведены в стороны, ноги широко расставлены, голова вздернута, рот полуоткрыт, будто стоящий на постаменте кричит: «Да что же это за безобразие?!» Кто и зачем, бессознательно или же с умыслом в насмешку, водрузил здесь издевательское изваяние нашего громовержца?

Исторические размышления и литературные ассоциации, как не раз бывало, едва не стоили мне головы: отвлекся, задумался, слишком затянул правый повод, рыжий дончак подо мной подался в сторону, и вдруг чувствую, будто лошадь из-под меня ускользает. Это мы прямо на уровне дома Трубецких сползаем в песчаный карьер. Ну, ничего – обошлось: съезжали на заду по мягкому грунту.

И вот совсем недавно в архивах обнаружили уже не дневник, а воспоминания Клер Клермонт. В дневнике запечатлены приступы тягостных переживаний, а мемуары, судя по сообщению в газете «Гардиан», – это уже обвинительный акт: поэт, как пишет Клер, оказался чудовищем.

«Это был тигр, – говорит она (делая ошибку в слове «тигр»), – удовлетворявший свою жажду тем, что причинял боль беззащитным женщинам».

Байрон успел заведомо ответить на такие упреки. «На моем месте, – говорил он, обращаясь к другу-обличителю, – если ты живой человек, как ты поступил бы, если на тебя бросается семнадцатилетняя девушка в расцвете лет?».

Кто там в самом деле был тигр и кто – тигрица, это надо ещё выяснять, а пока вспомним не упреки поэту, а его строки, кому бы из «растерзанных» виновниц его страстей и предметов его поэзии ни были они посвящены:

Вся глубь небес и звезды все
В её очах заключены.
Как солнце в утренней росе,

Но только мраком смягчены.
Прибавить луч иль тень отнять —
И будет уж совсем не та
Волос агатовая прядь,
Не те глаза, не те уста
И лоб, где помыслов печать
Так безупречна, так чиста.
А этот взгляд, и цвет ланит,
И легкий смех, как всплеск морской,
Всё в ней о мире говорит.
Она в душе хранит покой,
И если счастье подарит,
То самой щедрою рукой.[12]

Представьте себе, прядь волос мне довелось увидеть: хранится всё в той же лондонской издательской фирме, что печатала байроновские произведения при жизни поэта. Издатель наследственный, Меррей, уверял, что это волосы Клер Клермонт. Сидели мы у того самого камина, в котором некогда были сожжены мемуары самого Байрона: по настоянию его законной, однако, разведенной жены – ещё одной жертвы поэтического вдохновения:

Свершилось всё – слова напрасны,
И нет напрасней слов моих;
Но в чувствах сердца мы не властны,
И нет преград стремленью их.
Прости ж, прости! Тебя лишенный,
Всего, в чем думал счастье зреть,
Истлевший сердцем, сокрушенный,
Могу ль я больше умереть?[13]

Любил ли Лермонтов лошадей?

«Конь же лихой не имеет цены:
Он и от вихря в степи не отстанет,
Он не изменит, он не обманет».

Песня Казбича

Прочел я статью о лошадях в жизни и творчестве Лермонтова. Собственно, было две статьи двух авторов: одна – о жизни, другая – о творчестве. Вторая, о творчестве, до меня не дошла, а первую – прочел. Статья старательная и содержательная, но авторы, видно, вроде меня – литераторы, лошадьми интересующиеся. Иначе они бы не спутали лермонтовского Парадера, орлово-растопчинца, с орловцем. И я некогда большой разницы тут не видел, но меня такие знатоки, как Липпинг, отучили. Что касается лошадей, никого я учить не смею. Как литературного биографа, статья заставила меня задуматься над вопросом, ответ на который для авторов был, кажется, ясен: любил ли Лермонтов лошадей?

В самом деле, его стихи, рисунки, повесть «Бэла» говорят сами за себя. Однако говорят о его творениях. И как говорят! Колдовство! Стоит мне только подумать о «Герое нашего времени», у меня, прямо скажу, начинает шуметь в голове в память о том головокружении, что было вызвано первым, ещё в шестом классе, чтением лермонтовского романа и с тех пор перечитанного несчетное число раз. И каждый раз – шум, сопровождаемый головокружением.

Лермонтовские места расположены между двумя конзаводами – Карачаевским, где разводят кабардинцев, и под «Змейкой», где разводят арабов. Мне посчастливилось: все эти места я объехал верхом. Шум горных рек, шорох ветра и совершенно несравненной ароматной чистоты воздух тех мест слились в моей памяти с магией лермонтовской прозы и лермонтовского стиха. В тех же краях – Пятигорский ипподром. В Шотландке, где Лермонтов совершил последнюю в своей жизни верховую прогулку, ездили мы с тренером Виктором Дорофеевым. Повидал я лермонтовские пейзажи. Чуть было из седла не выпал. Лошадь сбросила? Нет, я же говорю – выпал: от силы

литературных ассоциаций. Было это на перевале. Доверили мне в Карачае кабардинца, еду следом за табунщиком. Он – человек молодой, родился и вырос не здесь – в Казахстане, куда их всех после войны выслали. Жалуется: зря старики притащили обратно. Там лучше жилось – просторнее. Вдруг плеткой показывает куда-то вперед и вверх. Что это, спрашиваю. А в ответ – цитата! «Гут-гора». Тут и пошла у меня голова кругом. У меня, право, было такое чувство, будто не человеческая рука, а некий горный дух взял и написал волшебные строки.

Однако жизнь – не творчество, это материал для творчества. Всё, что великий поэт любил, любил он любовью демонической – «и ничего во всей природе благословить он не хотел». По сравнению с такими любителями верховой езды, как Пушкин или Толстой, кавалерист Лермонтов – профессионал. Да, сравнительно. А конник до мозга костей, для которого лошади – жизнь, тот не оставил бы классного коня (как это сделал поэт) на нерадивого, что называется безрукого конюха, в результате Парадер запаршивел и даже одичал.

Авторы тех же статей спорят с кадровыми кавалеристами, однополчанами Лермонтова, осуждавшими его броски на завалы и другие с кавалерийской точки зрения безрассудные действия во время службы на Кавказе. Думаю, не нам их рассудить. Одно позволю себе заметить: проявляя безрассудство, решал поэт свои творческие проблемы – не кавалерийские. Безрассудством был и демарш Пушкина, едва не попавшего вместе с лошадью под копыта собственной кавалерии, но тогда не было бы «Путешествия в Арзрум».

Замечательный случай отмечен в записках А. А. Стаховича, кавалергарда, а впоследствии театрального энтузиаста. На большом смотре у него захромала лошадь. Доложил. Приказали дать другого коня. Подводят какого-то серого. «Чья лошадь?» – у вахмистра спрашивает Стахович, поднимаясь в седло. «Поручика Лермонтова!» Мысль о том, говорит автор записок, что я сижу на лошади несчастного Лермонтова (это было вскоре после роковой дуэли), настолько не давала мне покоя, что я плохо держал строй, не слышал приказаний и заслужил в конце концов выговор. Дорога́ такая связь, пусть через лошадь, но с Лермонтовым!

Мыслящая лошадь

– Сено, – думал Изумруд.

А. И. Куприн, «Изумруд»

Куприн, принимаясь писать «Изумруда», держал лошадь прямо у себя в доме. Об этом рассказывает в своей книге Ксения Куприна, а мне удалось получить от неё изустное подтверждение. Пришел как-то в Институт, сдаю на вешалке пальто, рядом средних лет женщина пальто получает от старушки-гардеробщицы. Благодарит. Старушка отвечает по-старинному. Тут я слышу: «Мой отец тоже так говорил». В ответ на вопрос, а кто же был ваш отец, слышу: «Куприн».

Держал он лошадь сначала на террасе, а потом просто в спальне: ему хотелось в совершенстве постичь лошадиную «душу», конскую «психологию». И вот результат. «Сено», – думает Изумруд, жуя сено. Совершенно по-лошадиному (что ни говорил бы Лоренц).

Однако тут же Куприн допустил ряд специальных обмолвок. Их даже так много, что кажется, они сделаны нарочно, чтобы показать, насколько это не имеет значения, когда схвачен «смысл», атмосфера, высшая правда. «Семимесячный стригунок»,

когда стригунком считается годовалый жеребенок; «Изумруд спал стоя, покачиваясь», что есть серьезный порок, называемый «медвежьей качкой», за который рысаков, как правило, бракуют, удаляют с ипподрома; наконец, «селезенка, екающая от сытости», хотя всякий, кто только переступил порог конюшни, разубеждается в пресловутой «селезенке», екающей будто бы от сытости. Почему-то у кобыл ничего не екает от сытости! Это у жеребцов в паху с шумом выходит из препуциального мешка воздух.

Но Куприн обо всем этом не заботится, зная самый дух бегов. Вот если писатель не чувствует атмосферы, тогда даже достоверный профессионализм и уж тем более ошибки сразу делаются заметны и раздражают. Чехов считал: «Нельзя изобразить на сцене смерть от яда так, как она происходит на самом деле», и художник имеет право создать свою картину, однако про себя он должен знать все медицински достоверно, по-чеховски: «Согласие с научными данными должно чувствоваться и в условности…» Условность допустима, я думаю, когда использована с большим знанием достоверности, как описание пиратов у Дефо, который в океан не выходил и на необитаемом острове не жил, но в руках морских разбойников побывал: ему этого было достаточно, чтобы убедить читателей *в правдивости, что достовернее, чем ложь.*

Куприн не хотел и сравнивать себя с толстовским гением, поэтому свой «лошадиный» рассказ он посвятил памяти «несравненного пегого рысака Холстомера», намекая тем самым, что в литературной иерархии он свое место знает. Однако некоторые критики готовы были отдать ему предпочтение, считая, что у Куприна получилась лошадь как лошадь, размышляющая всего-навсего о сене, с лошадиной правдоподобностью вспоминающая своих конюхов и своего наездника, а толстовский мерин с его рацеями о добре – это переодетый в лошадиную шкуру толстовец. Каюсь, и я к тому же мнению склонялся, пока не прочел разбора, сделанного толстовской повести таким авторитетом, как Бутович. У того был авторитет двойной – знатока конного дела и, судя по тому, как он писал, одаренного литературным чутьем и пером. Взялся я перечитывать «Холстомера». «Так, ничего, Нестер…» как бы говорит старик-мерин, взмахивая хвостом. О, сколько сказано одним только взмахом хвоста!

Куприну идею классического рассказа дал мотив «Зачем, зачем вы, люди злые…» Люди в рассказе на втором плане, психология – «лошадиная». Эта сторона заинтересовала Куприна. Но была и другая. То был узел, в котором сплелось буквально все,

начиная со спорта и кончая сословными интересами. Какой Куприн! Тут мог бы развернуться роман, достойный Достоевского. «Общественное значение этого бегового дела выходит далеко за пределы судебной залы», – говорил адвокат, когда дошло до дела, до суда, заседавшего в течение многих дней прямо на конюшенном дворе.

Этот же адвокат, один из самых модных, и был готовым персонажем для Достоевского: либеральный краснобай, еще вчера защищавший «свободу совести», он витийствовал от имени отъявленных жуликов. Впрочем, если бы это были всего-навсего жулики, хотя бы и крупные, их все-таки пришлось бы покарать. В дело о рысистой породе оказалась замешана правящая элита, возомнившая себя безнаказанной. История, известная нам по «Изумруду», сплела в узел лучших наездников, именитейших коннозаводчиков, первостатейных проходимцев и, уж как водится, прекрасных лошадей, и лошади, понятно, были самой пострадавшей стороной: из классного рысака сделали лошадь подложную…

Проделал это брат Бутовича. Сейчас, читая мемуары Бутовича, вижу, что этой стороны скандального дела он, брат виновника, предпочел не касаться. Пишет он об этом как знающий факты хорошо настолько, чтобы умело и убедительно манипулировать ими. Признавая, что в афере был замешан его брат, Бутович не объясняет, как же тому позволили уйти от уголовной ответственности и почему не попал он за решетку. Рассказывает он о том, что позорное известие так потрясло их отца, тоже коннозаводчика, что тот скоропостижно скончался, однако не уточняет, что же оказалось для отца убийственной правдой. Призовое дело без доли проходимства и жульничества немыслимо: это в природе вещей, но важен вопрос меры. Старика хватил удар, едва узнал он, что сын подсунул не ту лошадь. Недостойная знатока породы проделка! Не потому недостойная, что нельзя врать, а потому что уличат в два счета.

Не дали дела хода потому, что к делу были причастны вельможные персоны – Великие Князья. Об этом писали и мне читать давали В. О. Липпинг, а также В. Б. Чебаевский. О том же слышал я от конников-туляков, А. И. Попова и друга его М. Н. Румянцева. Близко знавшие Бутовича и боготворившие его как знатока лошадей, оба без обиняков, озадачивая меня, утверждали, что по натуре это был фанфарон и ловкач, иметь с ним дело могло быть просто-напросто опасно. Короче, реальный Ноздрев, как в «Мертвых душах» описал его Гоголь и на мхатовской сцене воплотил Борис Ливанов. Но Гоголя, чтение которого было испорчено школой, я старался не перечитывать, а когда смотрел в

этой роли Ливанова, то совершал ошибку так называемого прямого перенесения – актерского обаяния на качества персонажа: в прекрасном исполнении и полнейший подлец может показаться привлекательным.

Вхожий в дом Толстых Румянцев рассказывал: как ни интересовался Толстой лошадьми, но Бутовича среди его собеседников и советников по конной части не было. Зная авантюрные склонности обоих братьев, Толстой держался от соседа-коннозаводчика подальше. Дружен с Бутовичем был самый нетолстовский из сыновей Толстого, Андрей Львович, а степень своего знакомства с дочерью, Татьяной Львовной, Яков Иванович, судя по всему, преувеличивал и просто изобретал, она же в своем очерке «Друзья и гости Ясной Поляны» его даже не упомянула.

Читая замечательные мемуары Бутовича и перечитывая в который раз его же талантливейший очерк о «Холстомере», вижу, как он, рассказывая о своей близости к Ясной Поляне, тщательно не упоминает Толстого, и вспоминается мне все, что некогда слышал я об этом незаурядном человеке и что в сознании моем целиком не укладывалось.

Итак, будто бы орловец Рассвет оказался Вильямом СК – американцем. Подлог стал предметом следствия и суда. Мало того, что нанят был популярнейший адвокат, одно только имя которого как бы свидетельствовало в пользу «справедливости», но были закуплены все, начиная с правительственного Сената и кончая священником, местным батюшкой, который клялся и божился, что знает эту лошадку с ее малых лет. А лошадь все-таки была подложной. Американский рысак, но – серый: среди американских рысаков редкость, что и подало изобретательным людям мысль выдать его за орловца под новым именем и с заниженным рекордом. Поэтому так называемый Рассвет в слабых компаниях легко обыгрывал соперников, загребая приз за призом. Практическими исполнителями аферы были люди невидные, и они мастерски замели следы. Но суть была, конечно, в сознании своей неподсудности главными воротилами. Спортсменская солидарность, которая всеми силами держала единый фронт от конюшни на Старой Башиловке до конного завода в штате Огайо, пытаясь в борьбе с подкупом действовать фактами и аргументами, была сломлена. И хотя свидетели прибыли даже из-за океана, и тренер-американец, работавший этого рысака действительно с колыбели, с закрытыми буквально глазами, наощупь, опознал лошадь, подтвердив показания выдающегося нашего наездника Афанасия Пасечного, ничто не убедило суд. Подложная лошадь оказалась признана неподложной, а чтобы замести следы, ту же без вины виноватую лошадь отравили.

О правилах хорошего тона

«Ни разу в жизни я не ошибся, судя о всяком человеке по его лошади».

Виль Джемс. Из предисловия к «Дымке».

Достоверность взаимоотношений человека и лошади с наибольшей убедительностью передана, по-моему, в ковбойской повести «Дымка». Повесть написал Виль Джемс, ковбой из Монтаны, родом чех, что трудно себе представить, настолько Виль Джемс и его книги, которые он сам же замечательно иллюстрировал, есть нечто, начиная с имени и внешности, истинно-американское и ничего больше. Хемингуэй отозвался о нем пренебрежительно, но – прошу прощения, смею думать – это из профессиональной зависти. Лошади и ковбои у Виля Джемса получались такие, какими даже у Хемингуэя не всегда получались рыбаки и рыбы.

Хемингуэй соперничества, как известно, не признавал. Побежденным он себя признал лишь однажды. И где? В скачке. В биографиях этого не найдете. А я получил тому двойное свидетельство – издатель и биограф мне это в один голос сказали. Вот буквально их рассказ: однажды Хемингуэй принял участие в любительской скачке и – проиграл. Проиграл и признал себя проигравшим вчистую. «А чтобы Хем признал себя побежденным…» – оба рассказчика захохотали. Это – Карлос Бейкер (не включивший эпизода в биографию) и Чарльз Скрибнер, по наследству от отца печатавший книги Хемингуэя.

Предание, основное предание, касающееся Скрибнера-деда и Хемингуэя сводится к следующему. Хемингуэй сдал рукопись романа «Прощай, оружие». Редактор прочел, вызвал автора и говорит что, пожалуй, любой редактор говорит всякому автору: «Надо над рукописью ещё поработать». «Как будто я не работал! – как всякий автор, возмутился Хемингуэй. – Что за работа?» – «Устранить надо грубые выражения». – «Скажите мне, что за выражения». – «Сказать я не могу, язык не поворачивается. Могу написать», – отвечает редактор, воспитанный человек (шесть раз перечитал «Войну и мир»). – «Пишите!» – требует Хемингуэй. На странице настольного рабочего календаря, где даже часы размечены, в графе «С 10-и до 11-и» редактор написал всеми буквами *е…я*. Хемингуэй тут же, без спора, слово вычеркнул.

«Ещё что?» – «Больше ничего». На этом дополнительная работа над рукописью закончилась, и редактор с автором отправились в ближайший бар отметить завершение успешного сотрудничества. Тем временем пришел Скрибнер. Видит – редактора на рабочем месте нет. Поглядел в календарь и понял, сделав свои выводы, чем в этот час занимается редактор. Редактор этот был необычайно трудолюбив, издатель не жаловался. Но вдруг редактор возвращается и усаживается на своё рабочее место. «Оставался бы до утра», – посочувствовал ему издатель.

Мною слышано у того самого рабочего стола, а за столом сидел Скрибнер (какой по счету, значения не имело, все они Скрибнеры, все Чарльзы, все сохраняют фамильные предания и традиции), на этом столе когда-то лежал рабочий календарь, на том же столе шла работа над рукописями, ставшими классикой XX века. «Хемингуэй вошел в литературу через эту дверь», – указывая на дверь его кабинета, будто стола было недостаточно, сказал мне Скрибнер, мой сверстник.

Повесть «Дымка» в издательстве Скрибнера появилась в двадцатых годах. В тридцатых у нас перевел «Дымку» хороший знакомый моего отца, создатель русского «Братца Кролика», Михаил Гершензон, скончавшийся в госпитале во время войны. Отец рецензировал перевод, а со временем, сразу после войны, дал книгу мне. Двадцать два года спустя увидел я «Дымку» на книжной полке в доме ковбоя из Северной Дакоты. Ещё через десять лет оказался за одним столом с издателем Скрибнером. Каким? Сначала я познакомился с редактором Скрибнером III, моим сверстником, но поскольку он был Третьим, а я – без номера, мне он казался гораздо старше. Потом представили меня Скрибнеру-младшему. Младше Третьего? Старше, вдвое старше – то был его отец, наследственный владелец фирмы. А младшим числился он после своего отца, того самого Скрибнера, что начал издавать Хемингуэя и Виля Джемса. (Вильям Джеймс – правильнее и полнее, но переводчик учел, что автор «Дымки» не хотел важничать, у нас так и привилось – Виль Джемс.)

«Виля Джемса очень хорошо его помню, – рассказывал старик Скрибнер, он же младший, – часто приходил к нам. Как-то я заболел, лежал в постели, пришел Виль Джемс, пришел к отцу, но и ко мне заглянул. Сел на кровать, взял блокнот и нарисовал мне лошадку. Она до сих пор со мной».

Трогательная история навела меня на мысль. В кармане у меня была пачка жевательного табаку, которую мне подарил друг-ковбой из Северной Дакоты. Вот тот момент, подходящий! Предложу-ка я старому Скрибнеру-младшему пожевать со мной табачку в память писателя-ковбоя Виля Джемса. Полез за пачкой

в карман, а сам спрашиваю: «Каким он был?». Лицо старика, тронутого некогда добротой Виля Джемса, улыбкой почему-то не озарилось.

«Как вам сказать…, – начал престарелый младший, – был форменный ковбой, мужик мужиком, жевал табак, плевал на пол».

Это прямо из Вальтера Скотта, им открытое понимание легенды и реальности в их контрасте: читать о Роб Рое это не то, что встретиться с ним на узкой тропе. Пришлось отменить мою символическую затею. Зато вернувшись в Москву, сразу обратился я в наше издательство Детгиз с предложением переиздать «Дымку». Перевод проверку временем выдержал и нужно было разве что вставить некоторые ковбойские выражения, которые Михаил Гершензон опустил, вероятно, не найдя источников, чтобы понять ковбойские словечки, вроде *ремуды*. Мне же повезло, я кое-что узнал из первоисточника – от самих кобоев. А что не успел узнать, то мне разъяснил Уитни Тауэр, оказавшийся в Москве журналист, всю жизнь составлявший отчеты о скачках. Не только язык призовой конюшни, но и наречие прерии было ему известно.

«Дымка» переиздается до сих пор. И в Америке, и у нас. В Америке «Дымку» экранизировали три раза. У нас по этой книге сделали фильм, занесенный туда же, куда занесено всё до Виля Джемса касающееся: в Зал ковбойской славы.

* * *

Брат мой, астрофизик, должен был ехать в Рино, штат Невада, чтобы прочесть лекцию в местном университете, а я поехал заодно с ним ради литературных аллюзий. Рино – город разводов: раз-два и развелся, без хлопот и проволочек. Среди приезжавших в этот город с тем чтобы расторгнуть узы супружества, попадались писатели, и немало. В первую очередь интересовали меня двое из них: Шервуд Андерсон и Виль Джемс. Развод разводом, с третьей женой, однако Андерсон не забывал ни лошадей, ни литературы: в Рино писал рассказы, составившие сборник «О конях и людях». В молодые годы скитался он по ипподромам и, судя по всему, видел таких беговых знаменитостей, как Дон-Пэтч, на котором ездил Вайк Флемминг, отец Билла Флемминга, взвявшего на Апиксе-Гановере Приз мира в Москве. А Виль Джемс… У меня с собой были книги того и другого. В гостиничном номере не работала настольная лампа. Пришел электрик, немолодой, за шестьдесят. Скользнул глазами

по книгам. На Шервуда Андерсона внимания не обратил. «О нем я слыхал», – вдруг говорит, глядя на автобиографию Виля Джемса. Жена у Виля Джемса была из Рино, и если электрик, тоже местный уроженец, не читал, а слыхал, то, очевидно, местные предания. «Слыхали?», – с надеждой я переспросил. «Слыхал», – подтвердил электрик и – ушел, видно не желая сплетничать.

Стал я перечитывать автобиографию, не надеясь обнаружить что-нибудь о разводе, Рино и Неваде: «автобиография», говорят, вымышленная, в сущности роман, но зато я ещё раз перечитал страницы, на которых запечатлена его последняя встреча с Дымкой. «Пригляделся, – пишет Виль Джемс, оказавшись на ранчо, где давно не бывал, – и понял: да это старина Дымка!». То была выразительная, хотя и небольшая, иллюстрация к большой проблеме, обозначенной Гете: Dichtung und Wahrheit – «Поэзия и Правда».

Что ковбой мог узнать своего коня, сомнений нет. А вот узнал ли действительно Дымка своего хозяина, как об этом написано? Написано прекрасно, правдоподобно, трогательно до слез. Конь заметил человека, пригляделся, видимо, узнал и потянулся к хозяину губами… Но… но… вы бывали в табуне? Попробуйте зайдите, к вам тут же лошади подойдут и к вам потянутся. Во-первых, они безумно любопытны, во-вторых… Что во-первых, что во-вторых происходит в лошадиной голове, никто не знает, но выглядит это именно так: узнал! Это всё тот же феномен со времен Умного Ганса. Феномен есть, несомненно, только как его его истолковать? Лошадь моего друга-ковбоя, та самая, что звали Прелесть, и которая меня чуть не убила, на другой день сама подошла и – потянулась, словно просила прощения. Ничто не мешает мне так думать, но вот жеребец-ахатекинец у Кейсов, с которым у меня были наилучшие отношения, был продан, мы оказались разлучены, потом я повстречал его в Орегоне, и потянулась ко мне морда с прижатыми назад ушами. Значит, не подходи – загрызу! Меня возненавидел за разлуку? Едва ли… Скорее, что-то во мне или на мне (картуз) напомнил ему какого-то грубого конюха. Я на другом жеребце у Кейсов проверил: попробуешь к нему подойти в картузе – зверь. Снимаешь картуз – теленок.

Знающий всё на свете о лошадях наездник Щельцын смотрит на приунывшего Бравого и говорит: «Тоскует». Спрашиваю: «О чем?». «О ней тоскует!» – восклицает мастер, разумея женщину-конюха, оставшуюся в Москве. Наблюдал я множество раз это видимое небезразличие жеребцов к женскому полу, но ошибется тот, кто примет точку зрения Эдгара По, отразившуюся в новелле «Метцергенштейн»: любовь коня к прекрасной даме. Не красота

влияет. А, допустим, мягкость обращения, невольная мягкость – руки нежнее. Лошади делают свои выводы, нам это кажется проявлением тех же чувств, что и у нас. Описанием этой видимости (поистине феномена) и знаменита «лошадиная» литература, в которой «Дымка» или «Мустанг-иноходец» занимают место в классике. На русском Интернете мне недавно о «Дымке» попалось: «Ничего лучше о лошадях не читал». Очевидное преувеличение, но чувство – то самое.

Рыжий, Гнедой и Чалый
Недалеко от Острова сокровищ

«Лошадь, если ей всё объяснить, строптивиться не станет».

Джон Стейнбек «Рыжий жеребенок»

Под названием «Рыжий жеребенок» Стейнбек написал четыре коротких рассказа о мальчике, который растет на ферме в Калифорнии недалеко от Монтерея и Салинаса, – Стейнбек сам был родом из тех же мест. Лошадьми не занимался, но обстановку знал. Поэт Робинсон Джефферс, тоже местный, из Кармела, создал поэму «Конь чалый» – о человеческих страстях и окружающей природе. События в рассказах и в поэме происходят между Кармелом, Салинасом и Монтереем. Там же некогда жил Стивенсон, те же места принес он на свой Остров Сокровищ. «Серые, печальные леса, дикие, голые камни, грохот прибоя, бьющего в крутые берега», – таким этот край видит юный герой романа, Джим Хокинс, добавляя: «Солнце сияло горячо и ярко». Но ему, Джиму, «почему-то становилось тошно и жутко». Почему? Потому, как мы знаем из «Острова Сокровищ», что всюду страсти роковые. Человек вместе с собой вносит кошмарную жуткость (если вспомнить слова из «Поднятой целины»). На самом деле, леса – пышно-зеленые, камни – живописные, с растительностью, берега уж не столь крутые, волны прибоя подымаются и грохочут разве что в шторм. Но при мысли о человеческом присутствии роскошь природы и навевает грусть. Особенно когда на окружающие холмы опускается густой туман и словно гнетет к земле всё живое.

Из правды жизни истина искусства силой трех талантов извлекла человеческие проблемы. Таланты неравновеликие, но оценку оставим в стороне. Оставим и Стивенсона: он ездил верхом, однако запечатлел свое путешествие в компании с осликом. А Стейнбек и Джефферс, хотя не были конниками, но, как говорится в «Рыжем жеребенке», издавна находились среди лошадей и писали о лошадях. Во времена их детства лошади под седлом или запряженные в повозку, на пастбище, в загоне или в конюшне составляли неотъемлемую часть жизненного обихода, что и отразилось в их творчестве.

«Рыжий пони» – так перевели у нас общее название четырех рассказов Стейнбека. Но там идёт речь не о пони, как мы

представляем себе коней-лилипутов, катающих детишек. О всякой лошади можно сказать «Мой пони», как в нашей песне поется «Я люблю свою лошадку». Строго говоря, пони называют любую лошадь не выше четырнадцати ладоней в холке, как, например, клепер у Алексея Толстого в «Детстве Никиты». Даже в то время, когда они жили в стесненных обстоятельствах и у них не было средств заплатить за квартиру, Стивенсон с женой держали двух пони, Звездочку и Клавеля (очевидно, по имени прежнего владельца), регулярно совершая прогулки верхом. А у Стейнбека в первом из рассказов речь идёт о жеребенке, о полуторнике ещё необъезженном. Мальчик получил полуторагодовалого жеребенка в подарок, успел приучить и полюбить. Однако мальчик не успел дорогой подарок объездить и покататься: жеребенок попал под проливной дождь, простудился, схватил воспаление легких и, бедный, пал.

Эта сюжетная ситуация меня смутила. Убийственная простуда лошади трогательно и со знанием дела описана Ольгой Перовской в рассказе «Чубарый». Но у неё – случай чрезвычайный: бывалый ездовой конь в горах провалился в ледяную пропасть. А среди холмов Калифорнии мог ли, хотя бы и жеребенок, простудиться? Табунщики на смех меня подняли, когда доверенную мне лошадь стал я прятать от дождя. То было у подножья Эльбруса, а это – у Тихого океана: прохладно, но стужи не бывает. Не говоря уже о том, что лошадь, если ей зябко, принимает свои меры: начинает бегать, пока не согреется. Однако давний знакомый-фермер меня разуверил: так бывает и даже очень часто, причем летом лошади простужаются чаще, чем зимой. Зимой они одеты в свои «шубы», у них отрастает длинная шерсть, их стужей не проймешь. А летом бывает жарко днем и прохладно, до дрожи, к ночи. Если, промокнув за день, не успела лошадь до вечера просохнуть (что и описывает Стейнбек), простуда неминуема. Стало быть, правда. Но писателю правды мало, он извлекает ту истину, что и навевает печаль на фоне богатой и красочной природы.

В первом рассказе погиб жеребенок, во втором на старом коне старик уезжает в горы – умирать, в третьем, когда у жеребой кобылы начались родовые схватки, пришлось её забить насмерть, чтобы спасти новорожденного: иначе никак не шел, в утробе лежал неправильно. Ценой жизни матери жеребенка спасли, однако неизвестно, выживет ли, ведь (как говорит мальчик) прежний-то его любимец погиб. И совершается всё это не от человеческого неумения. «Если жеребенок погиб, значит, спасти было невозможно», – говорит отец мальчика, желая сказать, что вокруг люди опытнейшие. Лучше них в лошадях никто не

разбирается, больше чем они никто о лошадях не знает. Однако несмотря на опыт и умение, люди своим присутствием нарушают естественное существование природы. Разве без них не погибали лошади? Никто того не видел, а потому и печали не было! В четвертом рассказе никто не умирает, никого не убивают, а только забывают рассказы о лошадях. Вернее, о том, как некогда, во дни борьбы за Дальний Запад, оберегали лошадей от индейцев. Рассказы эти, повторенные много раз, отжили свое, их надо забыть – перестать думать о том, что было, чтобы не мешать дальнейшему течению жизни… Человек и жестокость неразлучны – такова мысль Стейнбека.

Поэма Джефферса ещё печальнее. Поэтический рассказ будто бы основан на реальном случае, так говорят путеводители, но это путеводители – для привлечении посетителей. В биографии поэта уточняется: согласно местной молве, конь убил хозяина, но осталось неизвестным, за что и почему. «Конь чалый», как и «Мустанг-иноходец» Сетона – это легенда, сотканная из многих фрагментов реальности. Даже центральный момент – влечение женщины к жеребцу – не выдумка. За год до Джефферса с тем же же мотивом повесть «Сен-Мор» написал англичанин Лоуренс. «Конь как символ бродит в глубине наших душевных пастбищ», – утверждал он, начитавшись Розанова. Искать удовлетворения у лошади женщину в поэме Джефферса заставляет скотское поведение мужа, у Лоуренса, напротив, стерильность супруга толкает жену к жеребцу. Американская поэма и английская повесть появились в то же самое время, в 1920-х годах, тогда основным настроением оказался по-разному ощущаемый и на разные лады выражаемый «Закат Запада».

Лоуренсу лошади не раз служили символической противоположностью людям. Повесть, названная им по кличке светло-гнедого жеребца Сен-Мор, – это притча о худосочии упадочной цивилизации, о пустоте хотя бы и благополучно-благоустроенной жизни, о лишенных теплоты человеческих отношениях. Механическим людям, по мысли Лоуренса, остается несколько озвереть, и, со свойственной ему чуткостью к биению плоти, он изображает молодую женщину, которой не хватает страстей истинных. Эта двадцатипятилетняя героиня напоминает нашу соседку в доме по Большой Полянке. Дама примерно, того же возраста она выводила прогуляться во двор своего откормленного бульдога и считала нужным объяснить, зачем она пса держит. «Все равно, что ещё один мужчина», – были её слова.

Джефферс, со своей стороны, говорит о зверстве людей, рядом с которым привязанность коня – олицетворение чистоты. Люди превращаются в животных, и тогда животные

очеловечиваются. Жена позволяет жеребцу растоптать её мучителя-мужа, вечно пьяного и грубого. Собаку, которая вступается за хозяина, она убивает из ружья, затем из того же ружья стреляет в чалого. «Умер бог!» – раздается её отчаянный вопль. Не удалась ей попытка слиться с природой, но без этой дерзкой попытки она жить больше не могла.

В 50-х годах пытался и я, прошу прощения, тоже рассказ об этом написать, чем озадачил машинистку, которой пришлось мой текст перепечатывать. Искать ни идеи, ни темы мне не требовалось: наблюдаемая мной действительность подражала уже давно написанному, и как написанному! Впрочем, по-разному, лучше и хуже, но, как я уже сказал, оценки оставим. В основе моего рассказа – факт, ситуацию видел я своими глазами. На конюшне после утренней работы, когда уже все ушли, задержался в амуничнике, где хранится сбруя, и вдруг услышал страстный шепот, что у меня до сих пор в ушах звучит: «Милый мой! Милый!». Осторожно выглянул. Увидел своего рода объятия. Крупный рыжий жеребец, с пролысиной, будто понимая бесценность происходящего, стоял в конюшенном корридоре на развязке, не шевелясь, безо всякой животности, хотя и в крайнем возбуждении. Увидели бы это Лоуренс и Джефферс! То была живая иллюстрация к ими созданному: слияние душ скорее, чем слиянием тел. Я смотрел и про себя на память цитировал, а дома сверил с текстом. «Сен-Мор» считается второстепенным романом, а кто говорит – просто слабым, но страницами, при взгляде на чувственность, – Лоуренс. Писал Лоуренс на своём языке, как Булгаков по-русски: о чем бы ни писал, нельзя не читать. Передать эту неотразимую текучесть языка в переводе, понятно, не берусь.

«Сен-Мор стоял в деннике, наряден и энергичен.

«В самом деле! – произнесла Лора Ридли с легким змеиным шипом. – В самом деле! До чего хорош! Одни ноги – само совершенство!» Она ощупывала коня своими острыми глазами-буравчиками. «Жаль было бы с ним расстаться. Нам нужны, я это чувствую, такие формы. Какая кость! А глаза! Неправда ли, у него, клянусь, светится что-то такое в глазах!»

«В нем нет зла», – сказала Лу.

«Нет зла?» – ещё раз прошипела Лора, и этот легкий шип в её голосе означал чувство аристократического превосходства, что действовало Лу на нервы. – «Мне видится в нем бездна зла!»

«Подлости он не сделает», – сказала Лу. – «Никогда ничего никому подлого не сделает».

«Ну, разве что подлости не сделает! С этим я готова согласиться. Нет, не сделает. Признаем это за ним. Он лишь

честно подает сигнал тревоги. *Берегитесь* говорят его глаза. Но до чего, до чего же хорош, правда?» Лу по-своему отдавала должное формам Сен-Мора, тому, как сказывалась в нём порода. Для неё Сен-Мор являл собой то, что называется жеребцом. «До чего же удивительно, – продолжала Лора, – почти никогда нельзя найти идеальное животное! Всегда оказывается что-нибудь да не так. Таковы мужчины. До чего любопытно, верно? Чего-нибудь нет, что-то не так, чего-то не хватает. Отчего это?»

«Не знаю», – ответила Лу. У неё больше не было сил выносить этот разговор, и она вздохнула с облегчением, когда Лора наконец оставила в конюшне её одну».

Падение и триумф Уильяма Фолкнера

«Что же я – уступить ей должен?»

Фолкнер о лошади, которая не раз его сбрасывала, а он все равно пытался на ней ездить.

Мы с женой[14] решили: трубу прорвало. По свисту с хрипом судя, газовую. Открыли дверь: карабкается по лестнице к нам на второй этаж задыхающийся старикан: хрип со свистом из полуоткрытого рта; глаза навыкате; одна рука цепляется за перила, другая на толстом проводе волочит дыхательный аппарат с небольшой холодильник или тяжелый ящик величиной.

Мы его знали: Томсон, соконюшенник Фолкнера по Клубу любителей парфорсной охоты. Вчера мы были у него в гостях. «Я должен с вами поговорить», – сказал он моей жене шепотом и оглянулся по сторонам на других гостей, словно все было должно остаться в секрете. Мы выразили готовность ещё раз к нему придти. «Нет, нет, – забеспокоился старик и задышал ещё тяжелее, – я к вам приду». И опять оглянулся по сторонам.

«Я должен вам что-то сказать», – обратился он к моей жене, добравшись до нашей комнаты в университетском городке. Жена занималась изучением материалов Фолкнера в Университете Виргинии: там Фолкнер некогда вёл семинар, в архиве хранились его бумаги, а в городке, где расположен университет, ещё жили люди, его знавшие, причем, близко, как знал Томсон, спутник по верховой езде и, прямо скажем, собутыльник.

«Искажают» – так, в одном слове, можно выразить суть того, что с перерывами, извергая шумное дыхание и втягивая кислород, говорил старик. Имел он в виду литературно-критическую индустрию, выросшую вокруг писателя и работавшую с промышленной производительностью: книга за книгой – жизнеописания, мемуары, ученые монографии. Жена принимала участие в переводе одной из таких книг для нашего издательства: сборник фолкнеровских статей, речей, интервью и писем. Беседы Фолкнера со студентами были записаны на магнитофонную пленку, и жена моя, сидя в архиве, пользовалась возможностью сравнить напечатанный текст с тем, что можно было прослушать. Паузы, длительные и многозначительные, не запечатленные на бумаге, иногда говорили больше, чем фолкнеровские слова. Да и

слова не все оказались опубликованы. Так что и нам уже давно стало ясно: если не искажают, то создают образ, отбирая и компануя черты, поступки и высказывания, будто пишут портрет классика, похожий на оригинал, однако отражающий и пристрастия «портретистов».

Пока жена слушала голос Фолкнера, я старался послушать знавших его, причем, не обязательно из литературной среды, а помнили его многие, даже наша домохозяйка: «Ниже среднего роста, миниатюрный, седовласый джентльмен в тирольской шапочке». Таким она его видела чуть ни каждый день: от её дома, где мы снимали комнату, жил в двух шагах. Но не все были откровенны. Буквально от ворот поворот получил я в маленьком кафе неподалеку от факультетского здания, где Фолкнер вел занятия. Согласно тщательно документированной биографии, сразу после семинара Фолкнер отправлялся в «Белый аист», с виду невинное заведение, и… Для чего же он сюда приходил? В поисках ответа, не увидев там бара, совершил я тактическую ошибку – напрямик спросил: «А когда-нибудь подавали у вас спиртное?». «Нет», – ответил официант, но глаза его говорили о том, что не «когда-нибудь», а прямо сейчас, если правильно попросить, подадут, но я поставил вопрос неправильно. Зато по окрестным конюшням обход вполне удался, и у меня набралось немало сведений, говоривших о том же, ради чего счел нужным притащиться к нам едва дышавший старик, желавший сказать, что знал он не канонического – живого Фолкнера.

О, нет, речь шла не о каких-нибудь интимных или скандальных откровениях. Что писатель был завсегдатаем таинственного «Белого аиста» и что нашли его мертвецки пьяным в номере нью-йоркской гостиницы накануне вылета в Стокгольм для получения Нобелевской премии – об этом можно было прочитать в научных трудах. Томсон в целом знал другого Фолкнера, чем фигура, обрисованная в ученых трудах: смысл и цель жизни соконюшенник Томсона понимал иначе по сравнению с тем, как об этом толковали ученые биографы.

В штат Виргиния, согласившись вести семинар, Фолкнер приехал из штата Миссисипи по двум причинам. Здесь в университете училась его дочь, и он думал перебраться в эти места с родного глубокого Юга, хотел он также присоединиться к местному Клубу любителей парфорсной охоты, где уже состояла его Джил, тоже лошадница.

От Джил Саммерс-Фолкнер, то есть дочери, получили мы с женой приглашение присутствовать во время гона. Мне даже было предложено принять участие в «погоне за лисой», как называется у них парфорсная охота, но я отказался за неимением

соответствующего снаряжения, как в свое время отклонил предложение друга-ковбоя участвовать на родео в объездке лошадей. «В следующий раз мы вас оденем по всем правилам», – пообещала Джил, и всадники в красных рединготах устремились в лес следом за сворой захлебывающихся от визга гончих. А мы с женой остались возле бревенчатой крашеной изгороди, на верхней перекладине которой, судя по фотографиям, сиживал Фолкнер.

Томсона я распрашивал, как они «охотились». Из рассказов старика выходило, что для друга его, то есть Фолкнера, главное заключалось в сидении не на лошади, а на перекладине – за разговором о лошадях. А разговоры о лошадях обычно уводят далеко – к людям возле лошадей, к жизни, которой те люди жили и живут, и когда они жили лучше, тогда или теперь. Фолкнер, согласно Томсону, тосковал по прошлому гораздо больше, чем это представляется биографам, о том прошлом на американском Юге, которое сам же изображал так, что читателю может стать страшно. Вот и пойми, чего хотел сказать он, Фолкнер.

В седле Фолкнер оказался с пяти лет. Он брал барьеры и в шестьдесят. Но какие барьеры и как брал? С этого пункта, как считал Томсон, и начинались искажения. Все-таки большая мне выпала удача, думал я, слушая его рассказы, что не оказалось у меня соответствующего костюма для участия в погоне за лисой. «Как сейчас помню устремленные на меня глаза лежащего лицом вверх под барьером, – задыхался от волнения и астмы старик, – а передние копыта моей лошади опускаются прямо на это побледневшее до белизны лицо». Потрудившийся добраться до нас еле живой старик хотел сказать: ездить Фолкнер, по Томсону, стремился так, как он не способен был ездить. Лежавший под барьером писатель плохо сидел в седле!

«В лошадях Фолкнер, конечно, ничего не понимал», – это я слышал ещё раньше от журналиста Уитни Тауэра, он в популярном спортивном издании вел отдел скачек. О Дерби в Кентукки ему поручили писать с Фолкнером напару: журналист составляет отчет, писатель создает картину крупнейшего события скакового сезона. Было это в пятидесятых годах, слышал я рассказ Тауэра в шестидесятых, когда он приезжал в Москву, а двадцать лет спустя, в середине восьмидесятых, опубликовал он свои воспоминания, там, среди прочего, было сказано: «Фолкнер показал себя знатоком лошадей».

Мемуары Тауэра с его же устным рассказом расходились во всех пунктах, кроме одного: Фолкнер не ставил знаков препинания. Но даже о знаках препинания было мне рассказано по-другому. По договору Фолкнеру *платили за слова*, известное

количество слов (так измеряют объем написанного американцы, в отличие от нас, не по страницам). Слова так слова – ставить точки и запятые писатель в своем очерке о скачках не считал нужным. В памяти у меня запечатлелась красочная подробность, характеризующая натуру Фолкнера, умевшего себя ценить. А в мемуарах говорилось о верности Фолкнера своему стилю с длинными предложениями на целую страницу. Что я по этому поводу думаю? Думаю, правда, всё это правда, как говорил правду Томсон, и говорили правду биографы, но никто не мог высказать всей правды сразу.

Однажды, когда моя жена трудилась над своей книжкой о Фолкнере, я заглянул к ней через плечо в рукопись и прочел такую фразу: «По Фолкнеру, жизнь человека – трагедия, но, как считал Фолкнер, человек никогда с этим не смирится». Это «несмирение» сказывалось во всем. Ему советовали не садиться на лошадей, с которыми трудно справиться, а он – садился, приговаривая: «Что же мне – покориться, что ли?».

Лошадь, вместе с которой Фолкнер полетел через и – под препятствие, звали Энергостанция. Кличка отвечала её нраву и сложению: крупная, мощная, на ходу сильно тянула, чуть ли не выдергивая миниатюрного всадника из седла. Добавьте соревновательный азарт: впереди и позади в красных рединготах несутся верхами охотники, и вы получите конную лавину, которая, следом за надрывающимся изо всех сил собаками, влекла, хоть и упрямого, но беспомощного, безуспешно боровшегося с горячей лошадью, седока. После падения лошадь вскочила на ноги и ускакала, всадник остался лежать, и если бы не сноровка Томсона, сумевшего в секунду дослать свою лошадь, и они не только преодолели завал, но не задели Фолкнера, то, возможно, упрямый горе-ездок остался бы лежать, где лежал, считая звезды.

Всю жизнь Фолкнер, упрямствуя, что-то доказывал себе и другим. Почти каждую свою книгу считал неудачей и – принимался за следующую. Ему говорили, что его книги трудно читать, а он продолжал писать. «Мистер Фолкнер, я вас уважаю, но не понимаю», – сказал ему Тауэр. Это, согласно *моим* воспоминаниям, он первым делом при встрече сказал писателю. А в мемуарах, вместо «уважаю, но не понимаю», есть только «Мистер Фолкнер» и слова писателя в ответ: «Зовите меня просто Уилл, а «мистера» не нужно».

Тауэр ничего не выдумывал и не противоречил себе, ни тогда, ни потом не мог он вспомнить сразу всего. Мемуары написаны о канонизированном классике, а мне он рассказывал о том, кого должен был встретить на вокзале и за кем ему поручено было

присматривать: у журналиста была ещё дополнительная нагрузка – следить за писателем, чтобы тот писал, выполняя заказ, и не сбежал в какое-нибудь заведение вроде «Белого аиста». И вот, помню, каким Тауэр обрисовал своего подопечного: ниже среднего роста, седой, стеснительный провинциал, пишет без знаков препинания («За точки и запятые все равно не платят») по сто пятьдесят слов (в мемуарах – триста) в день и, выполнив норму, радуется будто, школьник, сделавший домашнее задание, затем с чувством исполненного долга отправляется в Жокей-Клуб, то есть в бар, к тому же для «своих» бесплатный, и так продолжается в течение трёх дней: два до приза и день приза.

«Не просто азарт заставляет людей стремиться на скачки, – это я цитирую фолкнеровский текст, стараясь в переводе передать стиль, а знаки препинания в оригинале поставлены американским редактором. – Причина лежит глубже. Спортивное зрелище дает выход чувствам, выражает наш внутренний порыв. Восторг перед силой и скоростью, при виде физической мощи, намного превышающей собственные его возможности, человек выражает любовью к бейсболу, футболу или боксу. Чувство, влекущее к лошадям, сильнее, потому что бокс способен оттолкнуть жестокостью, бейсбол и футбол заставляют чересчур долго ждать результата, а скачка продолжается мгновение, всего лишь минуту, максимум – две-три, и снова – мелькающее мгновение за мгновением».

Понимавший или не понимавший в лошадях это писал? Писал понимавший в людях и человеческих страстях. Люди, по Фолкнеру, идут на скачки и «болеют» футболом в силу властных, глубоких и сложных чувств. «Как ты можешь торчать перед телевизором, глядя футбольные матчи?» – добиваюсь я у своей жены. «Меня заразили футболом моя братья», – с виноватым видом отвечает она. За какую же команду она болеет? Ни за какую. Почему? Один из её братьев болел (и болеет) за «Динамо», а другой болел за ЦДКА и остается верен ЦСКА. Сестра, не в силах разорваться и сделать выбор, болеет за братьев, как, едва увидев самолет, вспоминаю я лошадей: с детских лет мимо ипподрома на аэродром меня возил дед-воздухоплаватель.

… Редкому спортивному событию удавалось получить столь яркое освещение, как это было тогда с большими призовым днем в Кентукки: лирический очерк заказан Лауреату Нобелевской премии по литературе; журналист, набивший руку на описании скачек, составляет отчет; дают интервью жокеи-звезды, а класснейшие скакуны позируют перед объективами.

Фаворитом считался Нашуа, сын самого Назрулы, из гнезда знаменитой Мумтаз-Махал, дочери Тзи-Тетрарха. Незадолго

перед стартом в Черчиль-Даунс (так называется ипподром) брызнул дождь, словно там, наверху, неземные силы позаботились о том, чтобы ухоженная дорожка сделалась ещё резвее.

А фаворит оказался битым. Некий Суопс, аутсайдер, которого перед скачкой и не брали в расчет, со старта взял голову скачки и довел до конца, оставив позади несравненного Нашуа. «Суопс попросил поводья, – рассказывал его жокей Билли Шумейкер, – я думал держаться в спину, но Суопс настойчиво просил поводья, и я решил, что по себе ему идти способнее». И в самом деле, жеребец успокоился, разобрался ходом, а Нашуа, видно, перенервничал и был напряжен. «Когда мы вошли я последний поворот, – продолжал Билли, – Эдди, вижу, взялся за хлыст». Эдди Аркаро, в то время первый из мастеров, ехал на фаворите. Публика ревела: «Сейчас Нашуа кинется! Эдди им даст! Давай, Эдди!». Великий Аркаро с великим Нашуа, от самого Назрулы, «давали», но потому ли, что сын Назрулы был напряжен, потому ли, что даже Эдди просчитался, просидел и кинулся слишком поздно, Суопс в руках Билли смог устоять перед отчаянным натиском.

Вечером того же драматического скакового дня, без точек и запятых, Фолкнер написал последнюю порцию ему заказанных слов и отправился в Жокей-Клуб по-своему праздновать выполнение хорошо оплаченного авторского договора, а Тауэр пошел на почту отправлять эти финальные триста (или сто пятьдесят?) фолкнеровских слов телеграфом в редакцию. «Ну и длинные же вы депеши посылаете!» – заметил, впрочем, уже не удивляясь, телеграфист, принимая очередную страницу прозы за депешу именно потому, что не видел знаков препинания. К отсутствию знаков препинания привык и редактор спортивного издания, одного не мог понять бывалый редактор, как же все-таки автор, нобелевский и национальный лауреат, которому за слова неплохо было уплачено, не нашел ещё одного лишнего слова и в описании неожиданного исхода исторической скачки не упомянул, кто же выиграл.

Так понимал ли Фолкнер в лошадях? В мемуарах Тауэра содержался эпизод, о котором я от него не слышал ни слова. Оказывается, ещё до розыгрыша традиционного приза они с Фолкнером съездили на конный завод, где стоял легендарный Назрула. «Выдающийся производитель очень понравился писателю», – писал Тауэр. И не просто понравился. Пока Фолкнер осматривал жеребца, он, *обнаруживая свою полную осведомленность в конном деле* (так в тексте Тауэра), вспоминал его родословную.

Что означает «осведомленность»? И почему оказался не упомянут у Фолкнера аутсайдер, обыгравший сына Назрулы, родословную которого Фолкнер вроде бы знал наизусть? Родословные классных лошадей Фолкнер слышал от деда, коренного южанина, занимавшегося разведением английских чистокровных. То была музыка детства, неумолчно звучавшая в его памяти. Каких родословных – неважно, как я, глазами провожая любой самолет, думаю о лошадях. Смею ли я сравнивать себя с писателем? «Сравниться мы не можем, – сказал мыслитель, – но переживания те же». Во время футбольной передачи, приникая к экрану телевизора, моя жена вспоминает, как болели братья, один – за «Динамо», другой – за ЦДКА. В памяти Фолкнера звучали родословные лошадей. Победителя не назвал он не из ревности, не потому, что поставил на фаворита. Не о том писал он свои слова, кто выиграл. Писал, что значат скачки, если в памяти не умолкает топот копыт. «Все на свете ещё что-то значит», – сказал Бодлер, и о значении и смысле «еще» писал писатель. Писать о том, кто выиграл, было делом журналиста Уитни Тауэра.

А в сознании Тауэра при воспоминании о Фолкнере остались стеснительный провинциал, ему не до скачек, за ним приходится присматривать, и – лауреат крупнейших литературных премий, осматривающий взглядом знатока племенных лошадей. (Вдобавок к Нобелевской, Фолкнер, как раз когда он приехал на скачки, получил известие, что ему присуждена и Национальная премия. Тауэр первым делом, встретив писателя на вокзале, сообщил ему об этом, – так было рассказано мне. В мемуарах, скромничая, он пишет, что Фолкнеру *стало об этом известно*.)

Была и третья причина фолкнеровского переезда из южной «глубинки». Как Чехов объяснял свой переезд из Подмосковья в Крым, так у Фолкнера родной Юг оказался творчески уже исчерпан. Ему был нужен новый материал, а может быть, новый образ жизни, как ушедшему из дома Толстому. (Опасность долговой тюрьмы как опыт не страшила Достоевского. Отбыв срок на каторге, создал он «Записки из Мертвого Дома», вот под грузом долгов и говорил: «Будет новый Мертвый Дом!», прибавляя: «Писателю всё полезно».) Очутившись на вершине международного признания, Фолкнер попал в положение для него, скажем так, деликатное. Всю жизнь он бежал от публичности, возле дома его была надпись «Не входить», он считался «затворником» и вдруг очутился в лучах всесветной славы со всей той шумихой, которая славе сопутствует. Он хотел быть одиноко-независимым, мы его долго не переводили и не печатали, потому что прогрессивные силы из Америки дали знать

«не наш человек», он того и хотел – оставаться исключительно самим собой, а тут на тебе – стал пропагандистом правительственной политики и чуть ли не государственной фигурой (как противовес «левым», его поддерживал Госдепартамент; издания его стали субсидироваться; не только университетский семинар вести – с задачей проводить официальную линию Фолкнер от Госдепа отправился в послевоенную Японию.) Ему действительно требовалось заново зарекомендовать самого себя.

Виргинский эксперимент не то чтобы не удался, но прервался и остался незавершенным. Пока Фолкнер вел семинар, беседуя со студентами, посещал «Белый Аист», выезжал на охоты и бражничал с Томсоном, у того сложилось впечатление, что Фолкнер подумывал о том, не внедриться ли ему в среду виргинской аристократии. Изо всех американских штатов только в старой Виргинии слово *аристократия* употребляется без кавычек: об этом роман Теккерея «Виргинцы». Неофициальное название Виргинии – *Кавалерственная*, изначально заселенная «кавалерами», сторонниками короля Чарльза I, бежавшими из Англии за океан после того, как проиграли они Гражданскую войну. Среди бежавших были персоны высокого происхождения, а уж с Реставрацией сын казненного Английской революцией короля, Чарльз II, взойдя на восстановленный престол, стал заселять Виргинию своими незаконными детьми. Он раздавал им своей властью, распространявшейся, как он считал, за океан, огромные поместья. Незаконных детей у женолюбивого монарха было предостаточно. Матери его бастардов, быть может, и не отличались высокими родословными, но в детях, пусть незаконных, наполовину текла кровь не только высокая – голубая. А что отличает всякую аристократию? Сословная замкнутость. Коротко говоря, за «своего» виргинские парфорсные охотники Фолкнера все же не приняли.

Госпожу Андресон, которая выдавала себя за Великую Княжну Анастасию, мы с женой там уже не застали, только кошка её прошмыгнула возле дома наших друзей. Впрочем, и кошке местные оказывали почтение. Все знали: кошка русской Принцессы. Главным образом мы застали там, если не аристократов, то профессоров и официальных лиц, одни из которых считали, что Фолкнер оказал честь их Университету, согласившись вести семинар, но были и другие: они в свое время полагали и продолжали полагать, что Университет оказал честь писателю, а вообще в дополнительных почестях Виргиния не нуждается.

Отношения с дочерью у Фолкнера сложились тоже

напряженные. Вся в отца, Джил отстаивала свою независимость, а писатель-отец даже самых близких ему людей просил посторониться на его пути к писательскому столу, а также не мешать ему предаваться тем привычкам, которые у него стали неразлучны с творчеством. Его здоровью эти привычки наносили вред, а близким переносить их было тяжело. «Папа, не пей: у меня сегодня день рождения», – как-то попросила Джил отца и услыхала в ответ: «Разве кто-нибудь помнит дочь Шекспира?» Об этом она сама рассказала перед объективом киноаппарата: я видел пленку в Институте по изучению Южной культуры. А если Томсон, хотя бы шепотом, поднимал свой голос против тех, кто «припудривал и подслащивал» известный ему облик писателя, то Джил вообще сторонилась фолкнеристов, не желая иметь с ними дело: она слишком знала слишком другого человека, не того, какого они изучали.

Однако накануне советско-американского симпозиума, который я координировал, американцы вдруг запросили, есть ли у меня какие-нибудь связи с конным миром. В делегацию согласилась войти дочь Фолкнера: нельзя ли будет, помимо научной программы, показать ей советских лошадей? Можно ли, нельзя ли показывать американцам что-либо советское, но уж лошадей показать можно. Покажем! И авансом, чтобы не сомневались, я отправил Джил пачку фотографий Алексея Шторха, конные фотопортреты, изумительные произведения фотоискусства. В ответ – ни слова. И с делегацией она не приехала. (Намекали, впала в то же состояние, каким отец испортил ей настроение.) Уже несколько лет спустя, возле изгороди, на которой любил сидеть её отец, она, перед тем как сесть в седло, вдруг мне говорит: «Прямо не знаю, почему, ну почему я не написала вам о прекрасных фотографиях вашего друга?! Думаю и добиваюсь у себя самой, почему, ну почему?» И обещала в следующий раз снабдить меня рединготом, бриджами и сапогами для верховой езды. Села в седло, прозвучал рог доезжачего, собаки, как по команде, подняли носы, сбились в кучу, и гон начался. А я подумал: «Выполнять свое обещание пусть лучше не торопится. Что же до фотографий, и она ещё спрашивает!» Фолкнеровская кровь говорит: себя перебарывает, когда натура диктует «А чего ему отвечать?». Лошадь во время ковки ударила ей прямо в лицо, а Джил, перенеся тяжелейшую операцию, от езды на парфорс не отказалась. Мелькнула передо мной черта той несмиряющейся человеческой породы, что роднила отца с дочерью и разъединяла их: нашла коса на камень.

Фолкнер вернулся к себе в Миссиссиппи. Парфорсной охоты там не было, но ездить верхом он ездил – на своих лошадях. Одну

из этих лошадей я видел, когда приехали мы на ответный симпозиум. Видел не лошадь, а лишь чучело лошади, той самой, что не раз сбрасывала Фолкнера и в конце концов сбросила так, что, ударившись о землю спиной, он, шестидесятилетний старик, не сразу смог подняться. Лошадь вернулась в конюшню без седока, а следом из леса, где это случилось, появился хромающий хозяин. После всех распросов на месте (а мне было показано в точности даже то самое место при выезде из леса с другой стороны, где лошадь шарахнулась, и Фолкнер вылетел из седла), стало ясно: он, как нарочно, садился не на тех лошадей, на которых ему следовало садиться; не желал перед тем, как сесть в седло, делать того, что необходимо делать, садясь на плохо выезженную и ещё к тому же дурноезжую лошадь (гонять на корде, поездить на плацу или в манеже и т. п.), нет, впечатление таково, что он провоцировал норовистую лошадь на эскападу, едва не стоившую ему жизни, хотел так удариться о землю, чтобы…

Все-таки Фолкнер поднялся, приковылял домой и – принялся добивать себя другим известным ему способом по рецепту «Белого аиста» или Жокей-Клуба. В результате попал в больницу, откуда уже не вернулся.

У меня не хватило сил и не нашлось слов спросить дочь, что она как лошадница думает, судя по тому, как нарочито рискованно, против всех правил здравого смысла и верховой езды, её отец обращался с лошадьми, он – что, хотел убиться и свести счеты с жизнью? Если действительно хотел, то, значит, в силу той же причины, почему то же самое совершил его современник-соперник Хемингуэй: понял, что больше не может писать, как Хемингуэй. А у Фолкнера не осталось нужных ему слов и не удалось ему найти новые источники для творчества.

Спросить напрямую? На прямой вопрос не ответили мне в «Белом аисте». А найти слова для вопроса, обращенного к дочери писателя, я тем более не сумел.

* * *

Конечно, писателю важно вовремя слезть с седла. Вот случай из жизни Пушкина: с ясностью и великолепием представилась ему вдруг сцена «У фонтана» в момент, когда прогуливался он на коне в окрестностях Михайловского, – творил он тогда «Бориса Годунова». В ближайшем трактире, куда завернул поскорее Пушкин, чтобы удержать так неожиданно пришедшее к нему, не нашлось ни пера, ни чернил, ни клочка бумаги. И пока погоняя

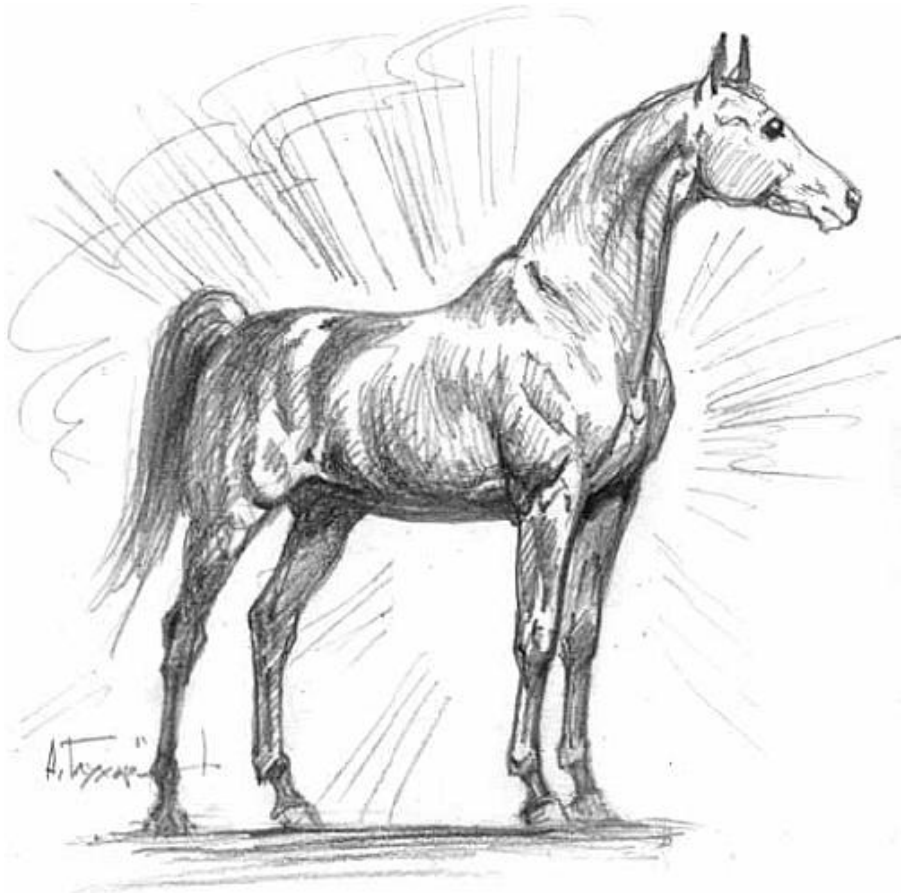
коня поэт стремился домой, стихи исчезли из памяти, совершенно бесследно растаяли. Пушкин не мог вспомнить ни строчки. Встреча Самозванца и Марины, позднее им созданная, считается одним из пушкинских шедевров. Все-таки Пушкин говорил, что представившееся ему тогда, в поездке верхом, было много выше.

Работая над «Борисом Годуновым», Пушкин размышлял о Шекспире и читал своего английского современника Кольриджа, а тот создавал литературную автобиографию, то есть правдоподобную легенду о своем творчестве, в том числе, почему не закончил он поэму «Хан Кубла»: отвлекся и забыл, как начал! Известно, искусство не жизнь, а жизнь поэта подражает его творчеству, он на себе проверяет степень и силу им создаваемой истины.

«Были когда-то и вы рысаками…» (запасы памяти)

«Дуновение с небес к нам доносится между лошадиных ушей».

Арабская поговорка о езде верхом



В объездчиках
Школьное сочинение на свободную тему (1950 г.)

«Пусть наконец будет правда,
даже если она ведет к отчаянию».

Томас Гарди[15]

Я люблю лошадей. Так люблю, что иногда совершаю необдуманные поступки. Этим летом, оказавшись за городом, любовь моя достигла такой силы, что я готов был бегать за четыре километра от дома туда и обратно, два раза в день, чтобы пасти лошадей и, кроме того, гонять в ночное. Когда я вспоминаю о ночах, проведенных у костра за разговорами со стариком-табунщиком, в груди у меня что-то бродит и подкатывает к горлу. Но пасли мы лошадей, как выражался табунщик, «пешки» – пешими, а я обдумывал, как поездить верхом. До этого я ездил только в манеже, в конноспортивной школе, а тут – простор. Наконец, я пошел к заведующей конефермой и скотным двором. Я застал ее за дойкой одинокой коровы в пустом коровнике и спросил напрямик:

– Вы заведуете конефермой?

Заведующая, в очках и синем халате, на мой вопрос ответила вопросом:

– А что?

Я повторил свой вопрос, а она – свой. Тогда я набрал воздуху и начал:

– Я комсомолец, дачник из Москвы…

В общем я обрисовал свой жизненный путь, поведал о страсти к лошадям, отметил, что начал заниматься конным спортом, а в заключение сказал:

– Прошу дать мне возможность, хоть немного, ездить на молодых, еще не объезженных лошадях.

Заведующая спросила:

– Повторить все это еще раз сможете?

Услышав, что смогу, она продолжила:

– На то есть начальство. Сама я вам разрешить ничего не имею права. А вообще дело возможное, молодняк все равно стоит без дела.

Мы пошли к старшему бригадиру. Заведующая подала мне команду повторить то, что она уже слышала, а я еще добавил чувств и подробностей. По лицу бригадира было видно, что речь ей понравилась. Во всяком случае она не отказала сразу в моей просьбе.

– Пошли к председателю, – сказала она, – и ты ему все то же самое расскажешь.

Пошли к председателю. Он сидел в доме правления, за письменным столом между стеной и печью. Плотно сбитый, маленького роста, с золотыми зубами, когда председатель говорил, он съеживал лоб, словно стараясь удержать покрепче свою мысль. Старший бригадир села на стул, стоявший рядом с председательским, и, указав на меня, сказала:

– Вот, послушай, – словно запустила патефонную пластинку.

Я завелся и опять обрисовал свой жизненный путь, свой моральный облик, изложил свою просьбу, закончив словами, которые означали «Жить мне или умереть – в ваших руках».

Председатель сморщил лоб и сказал:

– Нет, лошадь так просто я не дам. Не могу дать. Я сам старый кавалерист и знаю, что вдруг, если левый поворот, к примеру, задняя нога – чик! Ведь меня за это посадят, так? – задал он вопрос и сам же ответил – Посадят.

Как бы соглашаясь, я горестно покачал головой. Наступило молчание. Вдруг председатель сказал:

– Но я сделаю вас объездчиком. Я дам вам в руки удостоверение, я дам вам лошадь, дам седло и кнут, – при слове «кнут» он поднял руку над головой, – человека своего дам, и вы будете ездить, не быстро, не галопом, рысцой, будете осматривать поля. Это нам нужно.

Объездчик – это часов шесть в седле, и я сказал:

– О таком я мог только мечтать.

– Я с вами согласен, – сказал председатель и вдруг, ощетинившись, выкрикнул, – но если вы будете безобразничать (он опять поднял над головой руку как бы с кнутом), я приму меры. Меры!

На следующий день рано утром я уже топал в колхоз, чтобы приступить к исполнению обязанностей конного сторожа – в шесть утра, в два дня и в шесть вечера объезжать угодья и следить, чтобы не было потравы. Утро было ослепительное, я двигался по дороге, торопясь, и на ум мне, при взгляде на самого себя со стороны, приходили разные известные мне с детства иллюстрации – цапля в погоне за лягушкой (рисунки Серова к басням Крылова) или полный сил молодой жираф, который носится по саванне (Киплинг). Придя в колхоз, я тут же отправился к председателю. Он встретил меня улыбкой, то есть блеском золотых зубов. Поздоровался со мной за руку и говорит:

– Ну, пойдемте в бой.

Отправились на конюшню. По дороге председатель окликнул какого-то парня.

– Иван!

К нам подошел, неторопливо и косолапо, квадратный молодой мужик. Лицо скуластое, чуть косой, отчего нельзя было понять, куда он смотрит и как смотрит, с какими намерениями, кирзовые сапоги гармошкой, богатырская грудь и огромные ладони на коротких могучих руках. Вид угрюмый и даже свирепый. Взглянув на него, можно было сказать: «Ну и зверь!»

– Иван, – обратился к нему председатель, – вот надо с товарищем поле постеречь. Да и вообще, подымайся.

– Ладно, – отвечал Иван гулким басом кротко и с полной готовностью, будто ждал указания действовать.

У дверей конюшни нас встретил знакомый мне конюх с морщинистым лицом и такой же, словно у черепахи Тортиллы, морщинистой шеей. Он втягивал и вытягивал ее в самом деле, как черепаха. Для меня он был табунщиком – ночным, поэтому днем он больше спал, а мне ночами рассказывал, как он добивается, чтобы ему начисляли и за дневную работу, однако, ему отказывали, говоря, что не может же человек трудиться круглые сутки, на что он, вытягивая морщинистую шею, возражал: «А я тружусь!».

– Седёлок дай нам парочку, – велел председатель. – Поля пора объезжать.

– Седёлок? – переспросил конюх, вытягивая шею.

– Сёдел, – поправил себя председатель, думая, возможно, что

старик не понял, о чем его просят.

– А вот возьмите, – был ответ, и шея оказалась втянута.

Тут сделалось ясно, что конюх просто не поверил, что кто-то собирается ездить верхом. Мы с Иваном взвалили на себя два старых, огромных, как кресла, седла, с которых почти вся кожа была срезана. Пошли по конюшне, полупустой. Председатель шагал, по-хозяйски оглядывая стойла, будто в каждом содержался боевой конь. Он говорил:

– Где тут у нас молоднячок?

В угловом стойле была привязана гнедая кобылка.

– А хоть бы вот эта, – сказал председатель, при том, что большого выбора собственно не было.

– Молода и строга, – предупредил конюх.

– Да, не совсем годится эта лошадь под седло, – согласился председатель, подходя поближе и желая убедиться, так ли оно есть.

Кобылка вдруг коротко заржала, как бы вскрикнула, словно рассердилась на его слова и, резко приподняв переднюю ногу, отпихнула от себя председателя. Председатель только крякнул, потирая ушибленное место выше колена.

– Строга, – удостоверил конюх. – А энта (он указал на старую вороную кобылу с проваленной спиной) всеми четырьмя отмахивается. С неделю уже как подступиться к ней не могут. Так и стоит, не работает.

– Ага, – обратился председатель к Ивану, – вот ее и седлай.

Втроем они суетились возле вороной кобылы, а та визжала от злости. Мне удалось подседлать и вывести на улицу гнедую. Я уже сел в седло, когда председатель с конюхом вывели из конюшни вороную, на которой сидел Иван. Пока ее вели под уздцы, она шла послушно, но едва отпустили, она стала вертеться на одном месте и подкидывать задом. Иван, сразу видно, ездивший плохо, вылетел из седла. Лошадь тут же утихомирилась, но к себе уже больше не подпустила. Кидая в нее щепками, сухими сучками и камешками, ее загнали обратно в стойло, а Ивану нашли еще одну лошадь, последнюю из тех, что стояли в конюшне.

Это был мерин по кличке Комар. Про него говорили, что прадедом у него был рысак, бравший еще до революции большие призы, а сам он принимал участие в Гражданской войне. Хотя Комар был моим ровесником, тридцать шестого года рождения, всем этим преданиям нетрудно было поверить, потому что у четырнадцатилетнего старика (в шесть раз больше на человеческий счет) при каждом движении суставы издавали скрип, как дверные петли стонут в старом доме.

Мы начали объезд. И деревней ехали, и дорогой среди картошки, ехали мимо ржи и посевов овса. Проезжали капустное поле. Обогнули колхозный сад. Когда у Ивана Комар заупрямился и не пошел через бескрайнюю, во всю дорогу, лужу, пришлось дать крюка. Поехали вдоль железной дороги. Тронули рысцой. А тут загудел пассажирский поезд, обогнавший нас, и в окна вагонов высунулись любопытствующие головы. Всюду, где бы мы ни ехали, смотрели нас так, словно «по улице слона водили». Работавшие в поле бабы кричали:

– Да чтой-то это такое? Да неужели они кого сторожат?

А Иван им кричал:

– Эй, совушки! Эй, курносенькие!

А когда мы ехали через рабочий поселок, то с крыльца нас сердито спросили:

– Что это вы все ездите да ездите? Вам делать нечего?

Подбоченившись, Иван ответил:

– А мы слыхали, у вас тут девушки хорошие есть.

В ответ пустили в нас такими тяжелыми словами, что силу удара почувствовал даже мой могучий напарник. Вопреки председательскому приказу, умчались галопом.

От кого сторожили мы колхозные поля? Не видно было никаких потрав. А конюх как-то вечером нам объяснил:

– Чего тут стеречь? Все огурцы до единого уже обобрали. Скоро за капусту примутся. А яблоки еще не поспели. Вы поосторожней катайтесь! Тут за это по спине бьют.

– За что? – нахмурился Иван, ожидавший, как обещал председатель, получить премию.[16]

– А за то, знать надо, как стеречь.

Больше он тогда ничего не сказал, а когда мы в очередной раз отправлялись в объезд, вдогонку нам крикнул:

– Корову мою, смотрите, не захомутайте!

– Она у тебя что же, – спросил Иван, – по колхозному полю ходит?

– Нет, – раздалось нам вослед, – ее моя хозяйка краем водит.

Председатель же нас поддерживал и одобрял.

– А то, что такое? – говорил он, морща лоб. – Огурцы разворовали. Сено таскают. Вы, как поймаете кого, так прямиком доставляйте в правление. Мы разберемся!

Но поймать нам никого не удавалось. Зато какой восторг была езда! Летним утром, привстав на стременах… Мечта моя осуществилась. Но вот как-то едем вдоль клевера и видим, что-то белеет. Присмотрелись – вроде коза. Подъехали ближе: в самом деле, коза, за колышек привязана, а клевер высокий, с дороги не видать, это мы верхами заметили. «Иван, – говорю, – брось, ну,

ее». Кроме езды верхом, мне от объезда больше ничего не нужно было, а Ивану хотелось получить премию. Он спешился, отвязал козу, конец длинной веревки, за которую она была привязана, намотал на руку и опять забрался в седло. Лошадь тронулась, веревка натянулась, а коза – ни с места. Иван чуть было вновь из седла не вылетел. Тогда он привязал веревку к седлу и снова тронул лошадь. Лошадь пересилила, коза, пошатываясь, спотыкалась сзади. Так мы добрались до конюшни.

– Вот за это и бьют, – сказал конюх.

– За что?

– Надо знать, где ловить.

Иван отправился докладывать председателю, а я остался с конюхом. Тот прилег на хомуты, сваленные в углу конюшни, и стал рассказывать:

– Были у нас тут в объездчиках Шурка и Чапаевец, так их почти что убили. Колхозный сад-то около станции, так яблоки обрывать из Москвы приезжали. Шурка с ружьем ездил. Так ружьишко у него отобрали, а Чапаевца чуть с лошади не стащили, да им ускакать удалось. Сережка одноногий взялся сторожить, так ему и хорошую ногу обломали.

Потом он спросил меня:

– Ты что же, после десяти классов в колхоз работать пойдешь?

Не успел я ответить, как вернулся Иван. Пришел не один – с приятелем, тот ему встретился по дороге еще прежде, чем он успел добраться до правления. «А ну, покажь», – сказал приятель. Было понятно, что речь шла о козе. «Ваша», – только взглянув, сказал приятель. «Как это наша?» – косой Иван, кажется, смотрел сразу в обе стороны, одним глазом на козу, а другим – на приятеля. «Ну, тетки твоей», – последовал ответ. Иван заторопился водворять козу на прежнее место, но тетка фурией уже летела к нам. Под градом родственных упреков Иван на этот раз, чтобы не подвергаться риску вылететь из седла, привязал козу к велосипеду (он с утра приезжал на конюшню на стареньком велике) и потянул упирающуюся дерезу назад, в клевер. Велосипед вилял из стороны в сторону, коза спотыкалась следом, а тетка не умолкала, продолжая ругаться.

Как-то в конце июля мы закончили утренний объезд, конюх куда-то отлучился, Иван уже уехал на своем велосипеде, я расседлал лошадь и собрался идти домой, как вдруг из-за угла конюшни на четвереньках довольно быстро выбежал человек. Черты лица у него были заостренные, все лицо загорелое и обветренное, глаза красноватые, мутные. Он огляделся вокруг и, увидев меня, крикнул:

– Подь сюды!

Привалился к стене конюшни и простонал:

– Заболел я, домой меня отвези.

Мне лишь бы подержаться за вожжи, я только спросил – куда. Оказалось, километров за шесть. Я не против был проехаться, но даст ли конюх лошадь? «Отвези», – требовал человек. Тогда я сказал и сказал правду, что седлать я умею, а запрягать как следует еще не научился. Тут человек как-то скорчился и закричал:

– Врешь!

Тогда я предложил ему давать мне указания, как запрягать, а он так и сидел, привалившись к стене и закрыв глаза. Я завел лошадь в оглобли и взялся за хомут. «Какой стороной надевать?» – спрашиваю. Вместо ответа незнакомец, перебирая руками, пополз по стене вверх, вытянулся во весь рост и, опираясь одной рукой о стену, другой поддергивал хомут, помогая мне. Наконец мы уселись. Я выправил со двора на дорогу. Дорога была вся в глубоких рытвинах и телегу начало кидать из стороны в сторону. Больной простонал:

– На обочину езжай! На обочину! Здоровый такой, а понятия у тебя ни о чем нет.

На обочине было в самом деле ровнее, но – под уклон, и мы чуть было не перевернулись. Больной привалился ко мне, вероятно, думая, что так ему будет лучше – удобнее, а я спросил, чем же он болен. А вдруг он заразный?! Мужик огрызнулся:

– Почем я знаю? Что я тебе – врач? Началось с зубов.

Наконец он проговорил «Больше не могу. Хватит!» – и велел мне остановиться. Я придержал лошадь, больной сполз с телеги на землю, посидел у дороги немного, поднялся и заковылял в сторону, в рожь. Исчез, как появился, как видение, кошмар среди бела дня…

Я скорее развернулся и двинулся в обратный путь прямо по колдыбастой дороге. Попробовал тронуть шибче. Как нарочно, развязалась супонь, ослаб чересседельник и упала оглобля. Пришлось остановиться и поправлять, как умею. Потом соскочила гайка у колеса. Как только не соскочило колесо! Как не развалилась телега! У самого скотного двора все упало с лошади, казалось, само собой, и лошадь, будто стараясь избавиться от меня, сама забежала в конюшню.

По дороге домой встретилось мне колхозное стадо. Пас его старик с черепашьей шеей, тот же, что был за конюха и табунщика. Поэтому его и не было на конюшне, когда появился удивительный больной. Об этом я ему ничего не сказал, да и он ни о чем не спрашивал, а только жаловался, что едва ли ему

начислят как пастуху. «А работать – работай!» – говорил он, вытягивая шею, словно тащил целый воз.

Однажды я пришел к нему в стадо, а он, уже полностью доверяя мне, попросил присмотреть за скотиной, пока он сходит в поликлинику. И вручил мне длиннющий пастуший кнут с конским волосом на конце – чтобы щелкал оглушительно. Я попробовал хлопнуть этим кнутом, но только стеганул самого себя по спине. Стадо было смешанное: коровы, овцы и молодые лошади – все вместе. Ради лошадей я и ходил в это стадо. А они, молодняк, как видно, углядев, что пастух ушел и что с кнутом я управляться не умею, как по команде задрали хвосты и все до одной убежали на конюшню: жарко было и оводы их донимали. Без лошадей стадо утратило для меня интерес, и я отправился следом за ними, туда же, на конюшню. Старик об этом случае даже не упомянул, видимо, опасаясь, что его отлучка помешает ему требовать начисления за работу пастухом.

В тот раз, когда я отделался от странного пассажира, мы с ним посидели, потолковали обо всем, особенно на его любимую тему – международную политику. Старика очень интересовало, как идет война в Корее и что с трибуны ООН заявил Трюгве Ли. Разговор наш был прерван появлением воза с сеном. Воз двигался по дороге, покачиваясь, словно морской корабль. На самом верху, держа вожжи, сидел мужик. Он вертел головой, как бы подавая нам знаки и прося сообщить ему, что же совершается позади стога. Когда воз миновал нас, мы увидели, что там, в углублении, сидели, прижавшись друг к другу, парень и девка.[17] Пастух от восторга выкрикнул ругательство, а обратившись ко мне, сказал:

– Вот, я вижу, ты не ругаешься. Молодец! Не ругайся.

Двинулся я своим путем дальше. Дорога шла через луга. На горизонте стоял лес. Трещали кузнечики и, казалось, это они высекают солнечный свет. Проходил я мимо пруда. Спокойный пруд отражал небо, облака, деревья, склонившиеся над водой. С подмостков у берега прыгнул дачник. Разбил «зерцало вод», брызгался, фыркал, плавал энергичными бросками, высовываясь чуть не наполовину из воды.

Было очень хорошо. Легко и свободно. Время проходило счастливо.

* * *

Наша учительница по русскому языку и литературе велела мне остаться после уроков. У нее на столе лежало мое сочинение, без отметки. Учительница сказала: «У нас счастливая жизнь, про

это ты очень хорошо написал. Но пусть родители придут в школу».

Отец тогда уже был отовсюду исключен и снят, перед нашими окнами с утра до вечера маячили фигуры в черных пальто, знакомые начали нас сторониться, а один при встрече бросился от матери с отцом бежать. «Будь благодарен, что у тебя есть учительница, которая к ученикам относится, как вторая мать», – сказали мне, вернувшись из школы, родители. Эта учительница, Антонина Николаевна Бурова, и сохранила нас, как наседка, до десятого класса, из которого мы все до одного вышли в год смерти Сталина. А сочинения своего я больше и не увидел. Нашлось оно много лет спустя среди семейных бумаг.

Правильная посадка
Фрагмент утраченной рукописи 1960-х годов

«Лошадь обладает способностью дать нам возможность избегнуть тягот повседневного существования».

Из «Собрания образцовых конных изображений и наилучших высказываний о лошади»

На показательной конюшне было дано знать, что прибудет для прогулки верхом государственное лицо. Насколько государственное, говорили пронзительные глаза нескольких человек, прибывших заранее, осмотревших по всем углам конюшню и приказавших запереть лишние въездные ворота на территории конзавода.

О ранге того же лица говорило и появление откуда ни возьмись еще нескольких человек, каждый из которых был по меньшей мере министром.

Спустя час против назначенного срока в те ворота, что велено было оставить открытыми, въехал лимузин, за ним – черное авто поменьше. Невысокий, как бы по контрасту с занимаемым выше некуда положением, из лимузина появился сухопарый, хмурый человек в сапогах, блестевших лаком. Всем у конюшни толпившимся он пожал руки. Ему подвели оседланную лошадь. В езде, видимо, не новичок, человек взялся за повод и за переднюю луку, а затем «дал ногу» – отогнул левую конечность в колене, как обычно делается, чтобы всадника подкинуть в седло.

Министры ринулись к этой ноге.

Сиял яркий летний день. Светились верхушки сосен. И те же лучи играли на лакированном голенище сапога. Не опуская ноги, человек слегка повернул голову и осадил энтузиастов вопросом: «Разве нет для этого конюха?»

Дядя Миша, то есть Михаил Андреевич Бородулин, тот, что готовил лошадь, раздвинул толпу «правителей», как называл он собравшихся, и своей могучей рукой проделал требуемый приём. Вельможный всадник, у которого, судя по выражения его лица, «мрачная забота сидела за спиной», и он, видимо, надеялся,

проехавшись верхом, хотя бы чуть-чуть ее развеять, опустился в седло, разобрал поводья и, тронув лошадь, двинулся от конюшни.

Тут один из потесненных дядей Мишей правителей возопил со страстью шекспировской: «И мне коня! Коня!» Тренер Гриднев, который должен был, как обычно, ехать сопровождающим, уступил ему свою лошадь. Не дожидаясь подсадки, смельчак… нет, не как тот всадник у Шекспира, что, прыгая в седло, от избытка усердия и энергии перемахнул через лошадь, нет, он второпях сунул в стремя не ту ногу и очутился в седле задом наперед. Пересел, как мог, перевернувшись на сто восемьдесят градусов и – вылетел из конюшни.

Конники, виды видавшие, но такого еще – нет, глядели ему вслед словно видели его в последний раз, как своего рода камикадзе. Зато оставшиеся у конюшни правители смотрели на него с завистью. Один другому говорил: «Да-а, добился аудиенции. Разве на таком уровне доступ еще когда получишь? И вдруг такой тет-а-тет! Успеет все свои болячки обнажить».

Спустя минут сорок отчаянный правитель каким-то чудом вернулся на конюшню живым. Сияние радости на его лице затмевало свет солнца. А государственный всадник, вернувшись с прогулки, выглядел еще сумрачнее, чем когда он на конный завод приехал: хотел было получить удовольствие и поездить верхом, тем более что в седле он, судя по всему, сидеть умел, но, видать, за время езды дополнительные заботы легли на его и без того отягченные плечи.

День Бородина

– Вот как!

– Да. Действительную службу проходил в драгунском, а на войну попал в уланский.

– А доломан носили гусары?

– Совершенно верно.

Клонило в сон. Шаги по шоссе за окном были слышны так далеко, что было понятно, какая уже глубокая ночь. На стене ударили часы.

– Часы путаются, – Трофимыч прикрыл форточку.

В то время, как упало два удара, стрелки показывали только половину. Трофимыч взглянул на стенку ниже часов и добавил:

– Баро́метр, – ударяя на последнем слоге, – баро́метр тоже путается.

Барометр, темно-зеленый от древности, ничего не показывал. Его обессилевшая стрелка поникла и, казалось, предвещала ураган.

Пыльный кот прыгнул на остывшую плиту, прошел мимо чугунов, поднялся на задние лапы и сунул голову в ведро. Забулькало.

Часы продолжали отсчитывать время. Шаги больше не стучали. Пошевеливался хвост и на выгнутом загривке шерсть.

– Коташа пьет, – курил Трофимыч.

– А ментик… ментик носили все?

– В точности так.

– В Боснии, – сидя на кровати, стягивал сапоги Трофимыч, – ночи тоже темные.

При слове «Босния» старик должен был продолжать: «Мы стояли на реке Спреча, у местечка Маглай».

Трофимыч помнил сразу все, что знал. Я слышал его рассказы и ждал, что сегодня вечером или завтра в дороге он по тому или иному поводу их повторит.

Стояли на реке Спреча, у местечка Маглай. Двадцатого августа четырнадцатого года. Второй эскадрон третьего полка. Командир по фамилии ротмистр Шильский.

– В Боснии?

– Да.

Солдат, на сон грядущий
Себя проверь, —

при этом пении Трофимыч выключил свет и молча лег. Пыльный кот прыгнул к нему на постель.

– Трофимыч, а хорошо все-таки, что нам удалось на завтра достать лошадей.

– Совершенно верно. Свободнее.

Трофимыч ответил сразу, будто он стоял в строю, а не лежал в постели.

– Остановиться можно, – пружины под ним скрипнули, – все посмотреть. Одних братских могил по дороге двенадцать памятников, говорят, встречается.

Завтра верхами мы едем в Бородино: директор конного завода, где пенсионером живет Трофимыч, дал разрешение на двух лошадей и седла.

Крикнул во сне петух – как сигнал на ночлег, неверно пропетый старым кавалеристом.

– Трофимыч, а Трофимыч…

Старик не отозвался. Он ровно дышал. Ему вторили часы. На столе ручные. Другие – «Павел Буре» – у кровати на стуле. И на стене. Впереди семенили ручные. Потом вместе с дыханием Трофимыча отсчитывал «Павел Буре». Стенные спотыкались сзади. Они хрипели и вдруг вдогонку стали бить. Дрожали удары. Часы пробили больше, чем следовало, и все же, задохнувшись, отстали.

Ровно дышал Трофимыч. Кот вяло мяукал, если хозяин, повернувшись во сне, чрезмерно прижимал его.

С утра, когда мы поднялись, часы все по-разному показывали около четырех. В коридоре стоял серый свет. На крыльце было холодно. Луна подернулась туманом, откуда-то явились легкие облачка; звезды сразу побледнели, и только одна – большая и яркая, державшаяся в отдалении от других, продолжала гореть. Все чаще раздавались петухи.

Трофимыч шел впереди. Голенища его давних форменных сапог были гораздо шире усохших икр.

– На войне страшно, – не обернулся Трофимыч.

…Однако в Варшаве в четырнадцатом году проходили походным порядком, и ослабла подпруга. Он отделился от строя и в стороне у ворот ее подтягивал. А местный старичок ему сказал: «На войне ведь не все гибнут». Он подумал: «Правда, не все!» Вот остался жив.

– А сколько пало! – шагал мимо луж Трофимыч. – Одних офицеров, сейчас помню фамилии: Бобрик, Кутайсов, фон Дерроп, Нельский…

– Варшава красивый город?

– Да. Столичный. Польки славятся как особенные красавицы.

Двери конюшен были отворены, и конюхи убирали навоз.

– В Румынии женщины, – все не оборачивался Трофимыч, – тоже красивы.

Там протекает река Дунай. Семнадцатого марта четырнадцатого года на левом берегу у города Бабадаг был смотр. Передавался слух: на том берегу Распутин, хочет благословить войска.

– Приезжай сюда! – крикнул через реку главнокомандующий Николай Николаевич. – Я тебя повешу!

– Распутин?

– Николай Николаевича он боялся.

С порога конюшни в полутьме через решетки стали видны носы и уши. Лошадь, как узник тюрьмы, видит небо в узком клочке окна. Сумрак конюшни должен был вызвать у Трофимыча такие слова: «Темно. Иногда специально так делали. В четырнадцатом году в полку к приезду государя завешивали перед уборкой попонами окна, а как давать овес – снимали. И лошади привыкли от света ржать. Государь подъехал, окна завесили, и едва он взошел в конюшню – раз! – попоны долой и лошади: го-го-го! Думают – овес. «Что это? Что? – спрашивает государь. – Чего они ржут?» – «А это они, – был дан ответ, – приветствуют прибытие Вашего Императорского величества!» И последовали награды».

Я говорил: «Вот как?»

А Трофимыч продолжал: «В точности так. Специально

делали. В Першине тоже, где была великокняжеская охота и содержалось до тысячи собак, Николай Николаевич всходит, а собаки визжат. «Что это у тебя они так визжат? – он требует у псаря. – Ты их, наверное, бьешь?»

И брови Трофимыча сдвигались, и взгляд становился пронзительным, как у Николая Николаевича, но тут же он светлел, подтягивался и с готовностью отвечал за псаря:

– Нет, это они рады присутствию Вашего Императорского высочества!

– Там величество, а тут высочество?

– Да.

Так говорили мы с Трофимычем, когда бывало темно, однако на этот раз он молча взошел к предназначенной ему лошади. И я стал седлать.

Старик был из той породы людей, которые никогда не становятся вполне взрослыми. Мне нетрудно было представить его нестарым, молодым или даже совсем юным. В каждом из этих воображаемых обликов, все равно коренилось бы нечто непреодолимо старческое.

Я опустил стремя. Трофимыч уже сел в седло. Лошади одна за другой глядели нам вслед.

День занялся вовсю. На небе ничего не было. Солнце находилось за ближним лесом, куда нас вела дорога. В лесу копыта почти перестали стучать: здесь влажная земля пружинила, звук получался глухой и мягкий. Только иногда подковы задевали корни, и слышался резкий удар.

Трофимыч не поладил с лошадью. Хотя наши кони были давно выхолощены, они в езде, вспоминая жеребячье время, были непросты. Пароль у Трофимыча отличался норовом и не терпел тугих поводьев. Старик по-кавалерийски взял слишком жестко. Пароль вздернул голову и шарахнулся, мой Кинь-Камень подхватил следом.

И лошади подражают друг другу. Особенно в дороге они следят друг за другом, повторяя движения, даже причуды друг друга, полагая, что такая слаженность оберегает их.

Кинь-Камень беззлобно шутил. Он фыркал, выгибая шею. Его не хотелось держать. По сторонам залепетал лес. Трофимычу приходилось нелегко. Пароль не унимался. Я качнул слегка поводьями и сделал туже шенкель, отчего Кинь-Камень наддал: я думал перехватить Пароля. Узкая старческая спина с натугой выпрямилась, локти подались назад. Трофимыч налегал то на левый, то на правый повод, но Пароль, задирая голову, все тащил старика.

Последнее время Трофимычу почти не удавалось ездить. Не

представлялось случая, и годы не те. Он, конечно, отвык, притупилась сноровка, и теперь, стараясь осадить подхватившую лошадь, он делал даже не вполне профессиональные усилия.

Дорога сама вела, удобно и красиво поворачивая, временами то поднимаясь, то опускаясь. Над головой проносились комья земли из-под отчаянных копыт Пароля. И когда, наконец, стук копыт приобрел злобно-дробную частоту, означавшую, что лошади готовы понести, Трофимыч вдруг сделал несчастный, сигнальный поворот головой, я взял на себя Кинь-Камня, и Пароль, не слыша настигающего топота, чуть успокоился. Трофимыч, позорно сгорбившись, теряя посадку, съехал, как новичок, на шею лошади, потом все-таки передернул поводом, и Пароль осел на задние ноги.

– В атаку всегда несутся полным аллюром, – не оглядываясь, Трофимыч разбирал поводья. – С лошадью делается Бог знает что. Страх и ужас. Батюшки!

Он подтянулся в седле и, по-прежнему не оборачиваясь и ошибаясь в некоторых словах и ритме, стал декламировать:

Кавалеристу нужен ром,
Когда несется он карьером
И только думает о том,
Как бы ему не умереть перед барьером.

Старик переживал неловкость.

– Я до сих пор помню турка, который едва не зарубил меня. Даже снится иногда. Но лошадь у него была слабее, и я уцелел.

Трофимыч все говорил, говорил, мучимый позором. Я же искал, о чем спросить старика, чтобы отвлечь его.

– Трофимыч, а вы рубили в атаках?

– Нет, не хвалюсь: зарубить никого не пришлось.

Лошади пошли рядом. Вдруг прямо у ног через весь лес за горизонт открылась просека. Узкая, вдалеке туманная, и оттуда позвала кукушка.

Все на краю,
И треск ветвей
Тревожит уши лошадей.

– Кукушка, ответь, сколько мне на свете осталось жить? – спросил Трофимыч. Спрашивая, он, конечно, вспоминал: «В четырнадцатом году в Хорватии у гор Санта-Хамелена пятнадцатого мая куковала кукушка. Расположились бивуаком.

Третий эскадрон четвертого полка. Лошадь была, звали Чердак. Командир – фамилия капитан фон Краузе. Кукушку все спрашивали: «А сколько нам осталось жить?» Многие вышли живые, а сколько полегло! Фамилии: Иванов, Пробкин, Нечитайло, фон Баруэ, Пуговкин…»

Кукушка отсчитывала и столь же щедро ошибалась во времени, как и Трофимычевы стенные с боем часы.

– Трофимыч, а вы удачно служили?

– Был в чине унтер-офицера. Три «Георгия». Но оказался чрезмерно мягок, и потому имелись взыскания.

Глядя на длинную туманную прогалину, в глубине которой невидимая птица считала годы, Трофимыч поднял голову и добавил:

– Знания у меня были порядочные. Отвечал я внятно и быстро. Например: что такое повод?

– Повод?

– Повод служит для управления ртом лошади и поддержания ее баланса на ходу. Но больше является регулятором движения… А вот твердости в командах достаточной у меня не было.

Пароль опять забеспокоился. Трофимыч попросил проехать на Кинь-Камне вперед, чтобы он мог взять за мной в спину.

На просеке, шагах в десяти, я увидел яркий, броский и ровный отблеск. Такой свет держится на дверях, отворенных в другую комнату, на стеклах окон, если смотришь на дом с улицы, на соснах – в вышине; он повисает в воздухе в сквозном луче и очень часто бьется на водной поверхности; «в куполах солнца дым»; он после грозы на мокрых крышах и блестящих лужах; большие корабли несут его на трубах, самолеты – на фюзеляже и крыльях, когда их можно видеть высоко в безоблачный день; и, что бы ни творилось вокруг, всегда этот отсвет сияющ и спокоен, он вызывает щемящее чувство и кажется зна́ком далекого времени, которое было или придет.

Лес кончился. Просека вывела нас на опушку. Лошади притихли.

– В четырнадцатом году, – сказал Трофимыч, – мы должны были встречать долматинского эрцгерцога.

С утра до вечера учили их на приветствие отвечать: «Добре дошли!» А эрцгерцог вышел и сказал по-русски: «Здорово, ребята!»

– Что же вы?

– Смешались мы.

Мы двинулись вдоль шоссе.

– Какая же раньше была красивая форма! – Трофимыч вспоминал, как они, блистая, поджидали эрцгерцога. – Особенно

гвардейцы. Кивер, этишкет, галуны, ташка.

– А ташку, Трофимыч, носили у пояса?

– Совершенно верно.

Этишкет. Кивер. Галуны. Ташка. Сколько же всяческих названий помнит Трофимыч! Впрочем, однажды я его озадачил.

Я приехал к нему на конный завод. Он был обрадован и попросил только извинения за то, что снесет пойло поросенку и тотчас вернется. Я заглянул в книжку, которая оказалась у него на столе. Это были повести Толстого, из которых я взялся за «Казаков». Я выхватил главу из середины. Почти сразу меня остановила фраза: «Лукашка вел проездом своего кабардинца, за которым не поспевали шагом другие лошади».

– Трофимыч, – старик к этому времени успел обернуться, – что значит «проездом»?

Трофимыч подтянулся и сосредоточился. Его водянистые глаза сделались виноватыми.

– Не приходилось слышать.

Незнакомое слово отвлекло нас на разговор об аллюрах. О «Казаках». Потом Трофимыч произнес:

– Граф Лев Николаевич Толстой. Из Тульской губернии. Рядом с нами двенадцать верст. Он был великий человек необычайного ума. Я его однажды видел.

Я, конечно, знал, как Трофимыч видел Толстого. Еще мальчиком он повстречался у перекрестка дорог, на мосту, неподалеку от Ясной Поляны со стариком, который ехал верхом на лошади. Он узнал его. Толстой спросил Трофимыча: «Эта дорога на Богородское?» – «Совершенно верно», – ответил Трофимыч. «Спасибо», – сказал ему Толстой.

Я поглядывал на Трофимыча, стараясь заметить, думает ли он о том, что такое «проездом», или вспоминает Толстого. Он помнит сразу все, все знает. Он по любому поводу в одну минуту вспоминает всю свою жизнь.

– У лошади, – Трофимыч поправил верхнюю пуговицу тужурки, – двести двенадцать костей. У кобыл, впрочем, на три кости меньше.

– На три?

– Да.

Приехал я еще неделю спустя. Трофимыч мне обрадовался. Он сидел вместе с пыльным котом. Книжка Толстого, открытая мною, продолжала лежать. Все так же проездом Лукашка вел своего кабардинца, и шагом за ним не поспевали другие лошади.

– Трофимыч! Что значит «проездом»? – Трофимыч подтянулся и сосредоточился. Глаза сделались виноватыми.

– Не приходилось слышать.

С незнакомого слова разговор опять перешел на беседу об аллюрах.

– Галоп, – с торжеством во взоре воспроизводил Трофимыч, – есть ход лошади, при котором происходит во втором темпе опирание на диагонали.

Он декламировал, слегка ошибаясь в ритме и словах:

Кавалеристу нужен ром,
Когда несется он карьером,
И только думает о том,
Как бы не умереть ему перед барьером.

– В атаку, – продолжал он, – несутся всегда полным аллюром. С лошадью делается Бог знает что. Страх и ужас. Ба-атюшки!

– В атаку?

– Так точно. Я до сих пор помню турка, который едва не зарубил меня. Но лошадь у него была слабее, и я уцелел.

– Турка?

– Совершенно верно. Лошадь была – Чингиз звали. Пули кругом фьють! фьють! фьють! фьють! Сколько полегло! Как сейчас помню фамилии: Иванов, Голик, Буховцев, фон Штирленгольц…

– Убиты?

– В четырнадцатом году шестого ноября в Польше под Краковом, деревня Слизень, были посланы в разъезд. Попали на немцев. Выскакивают: хальт! хальт! хальт!

– Немцы?

– Да. Командир полка полковник Вышеславцев командует: «Шашки вон! Пики в руку! В атаку! Марш, марш, марш!»

– Вы служили в гусарах?

– Нет. Действительную службу проходил в драгунском, а на войну попал в уланский.

– А доломан носили гусары?

– Совершенно верно.

На стене ударили часы.

– Часы путаются.

Барометр, темно-зеленый от древности, предвещал ураган. Кот прыгнул на остывшую плиту.

– А ментик носили все?

– В точности так.

И будто в подтверждение сказанного Трофимыч запел, ошибаясь в мотиве:

Ах ты, гродненский гусар,
Тащит ментик на базар,

Ментик продал и пропил,
Дисциплину позабыл —
Ура! Ура! Ура! Ура! Ура!

– что было сил кричал Трофимыч, потом пояснил:

– Так всегда кричали, – и, взглянув на меня, сказал: – Как же мне радостно, когда вы приезжаете гостить!

Солнце поднялось. Облака скопились у горизонта. Перед нами тянулась дорога и справа – поле. Мы ехали шагом друг другу в спину. Я впереди, Трофимыч следом.

– У лошади, – раздавалось за пересчетом копыт, – двести двенадцать костей. У кобыл, впрочем, на три кости меньше.

– На три?

– Да.

– Гусары ездили большей частью на серых, драгуны на рыжих, кавалергарды на гнедых.

Эту мысль у Трофимыча вызвали, вероятно, масти проехавших мимо нас лошадей с телегами.

– На гнедых?

– Именно. Кавалергардов называли «похоронное бюро».

– Почему? – спросил я, зная, что он ответит:

– Они сопровождали всегда на свадьбах и похоронах.

Мы встретили трескучий комбайн у обочины, от которого шарахнулись и без того взмокшие и взволнованные наши кони. Глядя на поле и стоявшую рожь, Трофимыч пропел неверным голосом две строки:

Затерялося, средь высоких хлебов
Затерялося, эх, да небогатое наше село…

– Песня, – добавил он, – на слова Некрасова.

«Некрасов, – все так же не оборачиваясь, попробовал думать я, – Николай Алексеевич. Ярославской губернии. Народный поэт большой знаменитости».

Мы обо всем переговорили сегодня, Трофимыч, когда разговор о лошадях иссякал, говорил:

– Был также кошачий завод.

Я удивлялся:

– Как же так? Где?

– В Вологодской губернии.

– Что там были за кошки?

Трофимыч отвечал тут же:

– Усастые.

– Вот как…

– Их отправляли повсюду в ящичках.

Дорога вела под гору. Внизу открылся районный центр и справа от него – местный ипподром.

Беговой круг. Конюшни. Я обернулся, чтобы поговорить об этом с Трофимычем – и вдруг увидел: Пароль прихрамывает.

– Совершенно правильно. Жалуется, – подтвердил Трофимыч, спешившись, глядя с Кинь-Камнем в поводу, как я вожу Пароля.

* * *

На ипподроме, в призовой конюшне, мы застали всех своих. Только одно лицо было нам незнакомо. Высокий, красивый, веселый парень.

– А это, – разъяснили мне, – инженер-строитель. Приехал ломать ипподром и переносить на другое место.

Парень всматривался в окружавший его небывалый мир, вслушивался в конюшенные, невнятные для него разговоры и, кажется, поражался, до чего удивительную жизнь ему придется здесь прекратить.

– Хороший парень, – аттестовали его на конюшне.

Правда, наездник Башилов держался в его присутствии как пленный полководец. Но появился Башилов не сразу. Все сидели на сундуке, в котором хранилась новая, ненадеванная сбруя, а также элитный, извлекаемый по большим беговым дням, китового уса хлыст, и вспоминали родословные лошадей.

– А, Трофимыч, – оживился при виде нас Валентин Михайлович Одуев, знаток бегов, который тоже был здесь, – сейчас он нам скажет! Скажи нам, Трофимыч. Вот я им говорю: Пиролайн от Путя. Путь от Бригадирши, Бригадирша мать Улана, серого, и Би-Май-Хеппи-Дейз, Би-Май-Хеппи-Дейз дала Тритона от Трубадура, Тритон – отец Валяльщика, Валяльщик – Ливерпуля, Ливерпуль, гнедой, дал Витязя, Лешего, Лакомку, а также Лиха-Беда-Начало и Лукомора. От Лукомора Ночная-Красавица в заводе у Якова Петровича Бочкаря ожеребила рыжего жеребенка, во лбу бело… Скажи им, Трофимыч, какая у него была кличка.

– Ошибаетесь, – ветврач не дал Трофимычу еще и слова сказать. – Вы правы, Яков Петрович любил двойные клички. Все эти Ночные-Красавицы, Мои-Золотые были в его вкусе. Но у него же был…

Ему не удалось окончить своей речи, как не успел и Трофимыч вынести свой приговор. Тут приотворилась дверь

конюшни, едва-едва, будто собака или кошка хотела проскочить в щель. Возник маленький человечек. Все лошади разом вскинули уши. И мы сползли с заветного сундука.

Это был Сам, наездник Башилов. Сам называли его по традиции, идущей, я думаю, еще из древности, когда римляне о главе дома тоже говорили «Сам». Наездник двинулся по конюшне, останавливаясь возле каждого денника. Все окружили его, будто хирурга, совершавшего утренний обход. Николай, помощник, открывал дверь денника, конюх заходил и брал лошадь за недоуздок. Сам некоторое время не спускал с лошади глаз. Затем, не произнося ни слова, он поворачивал голову к помощнику, их взгляды встречались, и Николай передавал остальным указания: «Положить холодные бинты». Или: «Вечером растереть плечи». Или: «Дать моченых отрубей». Больше никто не произносил ни слова. Лишь однажды, когда оказались мы у денника, где стояла Последняя-Гастроль-Питомца, Валентин Михайлович не мог сдержать своих чувств. Кобыла стояла суха, но породна, зад у нее был чуть приспущен и слегка мягковата спина, однако ноги были безупречны, и каждой жилкой кровь говорила в ней. «Бож-же, – прошептал Одуев, – сколько же в этой лошади породы!» И тут инженер вдруг спросил:

– А вот я все хотел узнать, как эту желтенькую лошадь зовут?

Башилов к нему не повернулся. Он бросил взгляд на всех нас. Долгий вопросительный взгляд. И в глазах наездника было: «Скажите мне, что здесь делает этот человек?»

– Игреневая она, – зашептал Одуев инженеру, – игреневой масти. Пожалуйста, не говорите «желтенькая»! Это совершенно по-женски.

Парень, призванный перенести ипподром и способный сделать это, кажется, силой своих мышц, просто не знал куда деваться. «Хороший парень», – так ветврач расценил его смущение.

Обход конюшни был тем временем закончен. Башилов устроился у стола, который стоял рядом с сундуком. Мы опять уселись на сундук, и я оказался прямо над плечом наездника, который достал ручку и стал заполнять Табель работы лошадей. Наездник выводил: «Го-лоп…» Те же руки держали вожжи и хлыст, приносившие победу за победой.

По ритуалу беседу можно было продолжать. Разумеется, приличную беседу. Конюшенную. Одуев, ветврач и Трофимыч, теперь уже все трое, вполголоса повторяли, как стихи: «… от Путя», – и дальше до Ливерпуля и Лукомора, рыжий отпрыск которого им все же никак не давался. «…Трубадура от Тритона, Тритон – отец Валяльщика, Валяльщик…»

– Да рыженький такой, во лбу бело, – шептал Одуев, стремясь силой подробностей освежить свою память.

– Но́члег, – разрешил их страдания Башилов, ударяя на первом слоге и кладя ручку.

– Верно, Но́члег, – все с облегчением вздохнули.

Раз уж Сам заговорил с нами, то можно было и к нему обратиться. Но, конечно, как положено. Выбирая слова, я спросил:

– У нас конь на левую переднюю жалуется. Нельзя ли посмотреть?

Башилов не произнес в ответ ни слова. Он встал и вместе со всем синклитом пошел из конюшни. Все взоры обратились на меня. В чем дело? Помощник Николай чуть не выкрикнул:

– Проведи! Проведи же! Тебе было сказано.

Мне ничего не было сказано. Кроме того, как прикажете провести, если Сам стоит, хотя и на пороге конюшни, но спиной к нам – сено в тамбуре шевелит.

Я решился:

– Простите, но я прошу, чтобы вы посмотрели нашу захромавшую ло…

Глаза наездника, выцветшие под солнцем глаза, вонзились в меня. «Что это? – говорил взгляд. – Иностранец какой-то! Разве неясно сказано?».

– Проведи, проведи! – почти кричал Николай.

Я стал водить Пароля перед конюшней. Башилов шевелил сено в тамбуре, по-прежнему не глядя в нашу сторону. Но не успел я сделать и трех кругов, как он взглянул на Николая, а тот мне перевел:

– Гвоздь на правой передней подкове чересчур туго подтянут. Надо ослабить.

А Башилов уже скрылся в полумраке конюшни.

* * *

У распутья нам попался человек, и Трофимыч, чтобы свернуть без ошибки, обратился к нему:

– Которая дорога ведет на Бородино?

– Не знаю.

Даже лошади наши остановились, как бы от невероятных слов.

– Всемирно прославленная баталия, – заговорил Трофимыч, – состоялась в двенадцатом году…

– Слыхал, – спокойно остановил его встречный, – а как проехать, не знаю.

– Так ведь это рядом.

– Что ж, я там не был.

– Солдат… солдат… – вздохнул Трофимыч.

– Я, отец, Бе́рлин брал, – встречный ударил на первом слоге.

Что встречный наш был солдат, сразу же разглядел и я, хотя не имелось у него никаких знаков, примет, потертой гимнастерки. Сохранилось в глазах, во всем облике напряжение, испытанное по-своему всяким, кого хотя бы коснулась война. «Надо», – этому подчинено все, даже плечи, фигура особенно поставлены, будто приноровлены к тому, чтобы за всяким пригорком, в каждой впадине найти зацепку за жизнь.

Чтобы помирить ветеранов, я вступился за Трофимыча:

– Он еще в первую войну ходил в сабельные атаки – у Брезины…

– Брезина, Сувалки, Картал, город Мариенвердер! – подхватил Трофимыч.

– Мариенвердер, – улыбнулся другой солдат, – ранение я там имел…

* * *

Было уже темно, когда мы подъехали к деревне Семеновское. Горели звезды. На огородах за домами высились памятники.

– Где-то здесь, – сказал Трофимыч, – должны быть позиции Преображенского полка.

Мы спешились, свернули с дороги и, чувствуя под ногами паханую землю, приблизились к одному из обелисков. Я поднялся на цоколь и, стараясь разглядеть в неровном свете буквы, передавал прочитанное Трофимычу: «Вечная память… за веру… отечество…»

– Преображенцы стояли насмерть, – сказал Трофимыч.

Деревня давно спала. На трубе скорчился дым. Наши тени ходили по земле. Неподалеку от обелиска в память преображенцев мы отыскали среди пахоты ложбину, не тронутую плугом, и кусты. «Но тих был наш бивак открытый…» Мы пустили лошадей. Я стал ломать хворост. Трофимыч растянул на земле старый резиновый плащ, и через минуту, когда костер потрескивал, хлеб, огурцы и колбаса лежали перед нами, я готов был начать: «Скажи-ка, дядя…»

– Тут должно быть порядочно братских могил, – сказал Трофимыч, – я хотел бы отыскать свой полк.

– Какой же ваш полк, Трофимыч?

– Пятый, – отвечал старик. – Переяславский уланский полк,

серебряные трубы за дело при Пльзнянке и бунчук на знамя за дело под Балаклавой.

Хотелось спросить Трофимыча о чем-нибудь для него приятном. «Сколько вы получили наград?» – можно было поинтересоваться. Трофимыч отвечал бы, улыбнувшись: «Три «Георгия». Почти полный кавалер, – тут же, однако, на губах его обычно появлялась складка. – Крестов этих у меня давно нет».

Вручал великий князь Константин: «От имени его императорского величества… От имени его императорского величества. Ты какой губернии?» Отвечаешь: «Тульской» – «От имени его императорского величества. Какой губернии?» – «Смоленской». – «От имени его императорского величества…» Потом перед строем произнес слова: «Сражайтесь, братцы, также доблестно за царя, за матушку Россию!» – и уехал. Прошло несколько дней, и кресты отбирают. Как! Что такое? «Ничего, ничего, – говорят, – другим крестов не хватает». – «Скоро на могилы крестов не хватит!» – крикнул один солдат.

«Три раза и у меня отбирали. Одни номера остались», – заканчивал совсем печально Трофимыч. Про кресты напоминать не годится. Я подбросил веток в огонь.

– Спойте!

Не переводя дыхания и не меняя положения на земле, старик запел. Пение было похоже на крик. Голоса у Трофимыча уже давно не было. Только паузы сохраняли ритм и дребезжание связок – подобие мелодии. Старался Трофимыч, однако так, будто шел запевалой целой армии:

Там льются кровавые потоки
С утра до вечерней зари.

Слышно, должно быть, было далеко. Если кто-нибудь слышал! Но ни в кругу, выхваченном огнем нашего костра, ни в целом поле с обелисками, а также в деревнях Семеновское, Бородино и Шевардино никто не мог откликнуться нам. Только пока Трофимыч переводил дыхание, приступая к новому куплету, слышался упорный скрип дергача.

Ночь была теплая. Из наших ртов не вырывался пар. От костра подымался дым, смешиваясь с туманом. Огонь был маленький. Его язычки кидались то вправо, то влево, не зная, за что схватиться.

Убит он в чужом государстве,
В чужом незнакомом краю,
Никто не придет на могилу

Приветить могилу твою.

Старика сменил дергач своим упорным скрипом. Песня вызывала у Трофимыча легион воспоминаний. Он сказал:

– На войне страшно.

«Пули так и свистят», – я ждал, должен сейчас произнести он.

– Фью, фью, фью, фью! – нагибая голову, кричал затем Трофимыч.

«Особенно атака, – едва опережая его слова, повторял про себя я. – С лошадью делается Бог знает что, страх и ужас. Батюшки! Командир полковник – фамилия фон Краузе – подает команду: «Пики в руку! Шашки вон! В ата-аку!»

– Марш, марш, марш! – кричал затем Трофимыч. «Немцы выскакивают из укрытий, – ждал я, пока он скажет, – стреляют, кричат».

– Хальт! Хальт! Хальт! Хальт! – кричал по порядку Трофимыч что было сил.

Один в поле воин, он расшумелся на все Бородино.

Но тих был наш бивак открытый:
Кто кивер чистил весь избитый,
Кто штык точил, ворча сердито,
Кусая длинный ус…

«Кусая свой длинный ус», – прочел бы, непременно путаясь, Трофимыч.

Туман уполз на край поля. Луна закатилась. Дергач продолжал скрипеть.

От криков Трофимыча поле оживилось. В красивой темноте – и туман, и белеющая дорога, и пики памятников – все было готово к тому, чтобы преображенцы поднялись. Поднялись и прошли перед нами за строем строй, радуя Трофимыча блеском выправки. Готова дорога и поле. Прошли бы все – и преображенцы, сражавшиеся здесь насмерть, и те, что когда-то на глазах Трофимыча полегли на чужой земле, еще раз встретился бы все тот же солдат…

Дергач своим упорным скрипом пугал видения.

Наш костер уже тлел.

– Трофимыч, – сказал я, – пойдемте на ночлег.

Мы оставили позиции Преображенского полка и, миновав огород, оказались в деревне Семеновское. Отыскался стог сена, где мы и устроились до утра. Когда все затихло, я, чтобы сказать «Как хорошо!», окликнул:

– Трофимыч!

Он ровно дышал.

* * *

Поднимался второй рассвет. Первый рассвет застал нас у конюшен: солнце находилось за ближним лесом. Теперь перед нами было поле, мы могли видеть линию горизонта. По ней пробегали лучи. Хотя было раннее утро, уже становилось понятно, что день выдается жаркий.

Мы по-прежнему находились неподалеку от позиций Преображенского полка, теперь можно было прочесть всю надпись на обелиске, который высился посреди огорода, и Трофимыч, услыхав слова «Вечная память героям», заметил:

– Доблесть не забывается! Хорошо бы, – продолжал он, – отыскать свой полк… Где-то он стоял?

Мы двинулись по дороге через Семеновское. Куры перебегали наш путь. Мимо прогнали лошадей, и мы посмотрели со скорбью на их тусклую шерсть. Казалось, то были существа, нет, не другой породы, чем наши кони, то были особи другого подвида – Пароль с Кинь-Камнем на них и не взглянули.

– Всю жизнь я отдал на благо лошадей, – вздохнул Трофимыч.

Начинался трудовой день. От кузни, конторы и скотного двора отъезжали рабочие на машинах, тракторах и подводах. Мы подъехали к музею войны 1812 года; словно древнюю крепость его оберегали орудия. Музей был еще закрыт. В противоположную сторону тропинка вела на батарею Раевского. Мы оставили лошадей внизу и взобрались по ступеням на этот холм с плоской вершиной. Отсюда был далекий вид. Мы отыскали Багратионовы флеши и Шевардинский редут – места, на которых нам еще предстояло побывать. До них было несколько километров. «Время поэтизирует даже поле битвы», – неплохо сказано в одном новейшем романе. Глядя на перелески и рощицы, на спелую рожь с памятниками посреди безбрежной желтизны, нельзя было вообразить здесь кровь и ужас.

Солнце поднялось довольно высоко. Оно блестело на крышах домов, на обелисках, на стволах пушек и, казалось, должно было играть своими лучами на меди труб.

Трофимыч окинул выцветшими глазами поле и произнес:

И залпы тысячи орудий
Слились все в один протяжный вой.

Мы спустились с батареи Раевского. Музей был все еще закрыт. Мы заглянули в окно, и Трофимыч стал жадно разглядывать мундиры.

– Этишкет, ташка! – восклицал он, узнавая снаряжение, а потом вздохнул: – Мне бы таблички под ними почитать…

Это было нам недоступно. Мы решили проехать пока что к Багратионовым флешам. По дороге Трофимыч то и дело останавливался у встречных памятников с возгласом:

– Мой полк!

Всякий раз обнаруживалась ошибка. Мы перебрались через ручей. Это был слабенький приток речки Утицы или Колочи. Его кристальная струя давно не несла намека на кровавый поток. За ручьем начиналась роща. Жарко. Редкие облака, похожие на разрывы снарядов и клубы порохового дыма, стояли в небе. Опять показалась пахота. Мы пересекли поле и на границе его с перелеском обнаружили поваленный памятник.

Только что будто бы разорвался снаряд.

Надписей на обелиске не сохранилось. Судя по отверстиям на одной из его граней, буквы были просто сняты. Удержался один барельеф. Я узнал в нем профиль Багратиона.

– Доблесть не забывается, – произнес Трофимыч.

Мы взошли на Багратионовы флеши. Строй берез окружал бруствер. Мы решили закусить. Трофимыч почти ничего в рот не взял. Пожаловался на жару. Я предложил в тени отдохнуть. Он отказался.

– Проедемте в Шевардино, – попросил он. – Там, говорят, порядочно братских могил и может встретиться мой полк.

По дороге мы обогнули стену монастыря, где в храме были некоторые гробницы героев. Трофимыч завистливо глядя через щель в запертых дверях, пытался прочесть надписи.

Война, о которой и у меня была память детства – небо в аэростатах, бомбежки, поезда, – оставила свои шрамы на памятниках, воздвигнутых в столетие Бородина.

– В девятьсот двенадцатом году, – сказал Трофимыч, – на Московском ипподроме был разыгран приз в честь Бородинского боя.

У Платона Головкина был «железный посыл», и полголовы он выиграл у Бара.

В том же году Крепыш, великий орловец, бежал на Интернациональный приз и по коварству своего наездника проиграл американцу Дженераль-Эйчу.

«Уж постоим мы своею головою», – как произнес бы, путаясь, Трофимыч.

– Браво! Браво! Браво! – кричал Трофимыч за публику,

которая приветствовала Платона Головкина с Зейтуном. А когда Кейтон заставил проиграть Крепыша, ипподром встретил его победителя молчанием.

Солнце достигло зенита. Мы ползли по дороге. Нам предстоял неблизкий путь.

– Мой полк! Мой! – остановил меня возглас Трофимыча.

Я не сразу схватил смысл крика и подумал, что со стариком что-то случилось.

У дороги стоял небольшой памятник. Трофимыч уже успел прочесть про «вечную память», и в названии подразделения, в честь которого был воздвигнут скромный обелиск, он узнал свой полк. Дважды прочитав от буквы до буквы про доблести своего полка, про «серебряные трубы» и «султан на знамени», Трофимыч взялся читать список погибших столетие с лишним тому солдат, будто воскрешая их своим восторгом:

Иванов
Чемерзин
Голиков

– И у нас был Голиков! И у нас! – восклицал он, не пропуская ни одной фамилии.

Шубников
Стрельский
Яковлев
Родионов

– И у нас тоже был Родионов! Был! Ездил на кобыле Мушка.

Степанов
Сидоров

– Сидоров был! Сидоров!

Демин

– Демин! Нашего убили под Влтавою, как сейчас помню. Лошадь – Черкес звали.

Масальский
Осипов

Штенберг
Петров
Зайцев

Трофимыч продолжал читать и вдруг встретил своего однофамильца. Лицо его преобразилось.

– Мое имя! Мое! – воскликнул он.

Трудно мне было разделить радость, охватившую Трофимыча при виде своего имени в списке убитых на Бородинском поле. Но надо было стать свидетелем ее. Трофимыч продолжал старательно читать фамилии, то и дело возвращаясь и повторяя:

– Мое имя!

Я еще раз предложил отдохнуть. Он отказался.

– Едемте, – сказал он, – вон и Шевардинский редут. Да как близко! Здесь же наш полк.

Над деревьями виден был высокий обелиск с орлом, скорчившимся на острие его. Этот памятник на редуте французы поставили своим соотечественникам.

Мы пересекли тихую и почти безлюдную деревню Шевардино. Проехали под могучими дубами, и сразу за деревней в поле нам открылся высокий холм, насыпанный руками солдат. Теперь Шевардинский редут служит естественным постаментом французскому обелиску. Его не достигала тень ни дерева, ни дома, он был совершенно открыт и потому особенно ярко освещен.

Спешившись у подножья и взглянув вверх, я заметил, что грудь орла пробита снарядом более поздним и грозным, чем ядра или картечь 1812-го года. Трофимыч поднимался первым. Я шел за ним. Он поскользнулся. И тут же, я не мог не заметить, что руки его и ноги странным образом не ставили никакой преграды скользящему телу. Это выглядело еще беспомощнее, чем прежняя борьба старика с подхватившим Паролем. Я бросился к нему, схватил за плечи.

Лицо его, видимо, по старости сразу обрело мертвенный оттенок. Рот был открыт. Из-под век виднелись голубоватые зрачки. На щеках образовались страшные впадины. Одна рука упала, а другая задержалась у живота. Наборный ремешок съехал на сторону. Пуговицы на косоворотке были расстегнуты. Морщины ползли по шее и по груди. Трофимыч не спал и это был не обморок.

Трофимыча не стало.

Ища спасения, я оглядывался по сторонам и случайно посмотрел вверх. Надо мной под орлом на обелиске оказалось:

Aux
morts
de la Grande Armée[18]

На конюшне
Из неопубликованного романа «Куда, конь, с копытом?» (1959)

…Навстречу нам конюх нес на веревке через плечо корзину с навозом. Под тяжестью он наклонился вперед и, не оборачиваясь, кончал с кем-то невидимым разговор:

– Они сами, мать их укуси, не знают зачем!

Из денника вышел ещё один конюх, говоря вослед уже ушедшему:

– Их бы самих, мать их укуси, заставить.

В конце конюшни лошадей убирала девушка. Она увидела меня, засмеялась и тут же спросила, однако не дожидаясь ответа:

– Куда же это вы, мать вашу укуси, собрались?

Я зашел в денник к лошади, на которой мне разрешили ездить.

– Вы на нем едете? – спросил у меня за спиной голос девушки-конюха. Вероятно, и она зашла в денник: солома шевельнулась под ногами.

– Да.

Она стояла на пороге денника. У неё были губы чуть крашены.

– Его надо слегка замахнуть, – сказала она, подходя ближе со скребницей.

Мое плечо мешало ей встать вплотную у бока лошади.

– Он чистый, – говорила она. – Я его уже чистила. Только замахнуть…

Едва заметный, уловимый лишь на близком расстоянии аромат духов был у неё. Но его перебивал острый запах пота, и все резкие запахи конюшни мешались с ним, заглушая беспокойный аромат. Мой конь повел боками. От глубокого вздоха кожа у него содрогнулась по всему телу. Судорога мелькнула от ушей к спине, шевельнув тонкую пленку у паха жеребца.

Она подняла глаза.

– Седлайте, – сказала, наконец, с безразличной настойчивостью. – Далеко собрались?

Не успел я ответить, как она лопнула со смеху и вышла из денника.

* * *

Началось с замечания наездника.

– А ну-ка, – сказал он, – попробуй! Она в охоте.

И все, сколько ни было в конюшне наездников и конюхов, загоготали.

В тот день я уехал в город, а когда к вечеру вернулся, опять очутился у конюшни. Девушка-конюх, о которой гоготали утром, вдруг промелькнула на тропинке. Окликнув её, я в ответ ожидал ругательств. А она приветливо улыбнулась и остановилась со мной.

Нас освещал фонарь над дверью конюшни. Было тепло и, как всгда здесь, тихо. Она спросила:

– Что вы тут делаете?

Я в ответ захохотал, удивляясь звуку собственного голоса. И она засмеялась:

– А я была в кино!

– Что показывали? – спросил я и, не дожидаясь ответа:

– Почему одна?

– Подружку пошли провожать.

Я опять захохотал и предложил взглянуть лошадей.

Мы отворили дверь совершенно темной конюшни, и она сразу у входа повернула выключатель.

Лошади всхрапнули. В конюшне стоял нагретый, сонный воздух. Как загорелся свет, так лошади решили, что их пришли поить.

В глубине конюшни заржали, возле нас откликнулись, ударили задом. «Но-оё!» – закричал я изо всех сил.

Возле денников были оставлены ведра с водой для тех лошадей, которых отъездили позже других и они не успели остыть до уборки.

Я стал поить лошадей одну за другой. По порядку. А она подошла с ведром только к одному деннику, где стоял нарядный Бельфор, от Биг-Бармена и Фантазерки.

Жеребец фыркал и стучал уже давно, и когда она открыла денник, он до того натерпелся, что прихватил её зубами за плечо, словно опасаясь, что она прежде времени уйдет вместе с ведром.

– Ты что это? – обратился она к нему и – не выругалась.

Я убрал пустые ведра и встал у неё за спиной.

Подергивая ушами, жеребец жадно тянул воду. Она держала ведро на колене, а другой рукой опиралась в косяк двери денника. Я взялся за косяк чуть выше, а другой рукой облокотился на косяк.

Бельфор кончил пить и резко поднял голову.

– Ещё будешь?

Жеребец вздохнул, брызгая каплями.

– Смотрите! – сказала мне девушка-конюх с улыбкой.

Из кармашка она достала кусок сахара, зажала его в зубах так, что половина куска торчала между губ, и потянулась к жеребцу.

Бельфор слегка нагнул голову и, осторожно шевельнув влажными после питья губами, взялся за сахар. Она, смеясь сквозь зубы, не отдавала сахар. А жеребец будто и не настаивал, а только мягко и плотно держал сахар зубами. Она разжала зубы, выпрямилась и похлопала жеребца по шее. А тот уже хрустел сахаром.

– Здо́рово! – одобрил я, берясь за косяк ещё ниже. Тут она обернулась и обнаружила себя в западне.

Не успел я улыбнуться, как она выскользнула из-под руки и –

– До свиданья! До свиданья! До свиданья! – побежала по конюшне, тараторя, и выскочила за зверь.

Я даже не изменил позы. Жеребец строго и умно глядел на меня. Тут я заметил, что он возбужден, что находится он в состоянии крайнего возбуждения, и смотрит он на меня не строго и умно, а злобно и завистливо.

– Ну и дурак же ты! – сказал я Бельфору, закрыл денник, ещё раз осмотрел притихших лошадей и вышел из конюшни.

* * *

У неё было странное имя. Похожее на незнакомое слово. На следующий день мы нечаянно столкнулись и я спросил:

– Как сегодня вечером?

– Говорите, – просто отозвалась она.

– У ворот после уборки.

– Хорошо.

Странное у неё имя. Похоже на незнакомое слово. Солнце совсем опустилось. Едва различался край неба и край поля за рекой. В прошлом году в этом месте мне попалась лисица. Я ехал верхом поздно ночью. А лисица странным образом преследовала меня. В поле она появилась летучим пятном, и сначала я подумал: собака! Но легкость движений говорила о том, что это была не собака. Я понял, что вижу повадку дикого зверя. Повернул лошадь – прямо на лису. Она отбежала в сторону, однако не скрылась. Я продолжил свой путь и опять оглянулся. Леса кралась за мной. Опять разворачиваю лошадь и двигаюсь на лису. Она отбегает и не убегает. Так повторилось несколько раз. [19] И тогда же —

– Но! Но-оё, дура! – вдруг услышал я крик, как будто кричали

на лошадь.

– Чего тебе ещё, мать твою укуси? – в ответ раздался девичий голос. – Ошалел совсем. Пусти!

– А ты чего орёшь? – заметил мужской голос, и я узнал друга своего, табунщика Пашку Тяничева.

– Прими руки, а то я те двину! – крикнула девушка-конюх.

– Я те сам двину, – отвечал Пашка.

Она побежала от него под гору. Я вышел из тени. Пашка, увидев меня, обрадовался. Следя глазами пропадающую в темноте фигуру, Пашка сказал:

– Тебе с ней надо попробовать. Рост невелик, это ничего. Будешь и маленькую вспоминать. А она насчет этого проста. Очень даже проста.

Пашка серьезно и строго, как Бельфор, посмотрел мне в глаза и сказал:

– Надо! Надо!

* * *

А в тот раз вечером её всё не было. Пора уходить. Но едва сделал я несколько шагов, как раздался голос:

– А я уже давно жду.

Она появилась в дверях конюшни.

– Всё жду вас… жду…

– Да я ведь уже с полчаса тут!

– Я видела…

Мы постояли друг против друга.

Ты хочешь спросить… Не на-ада!

Издалека вместе с гармонью звал чистый голос. Явился ночной конюх. Не говоря ни слова, она бросилась от меня прочь.

* * *

– Чего ты собственно боишься? – спросил меня приятель-художник. Он жил тут же, на конзаводе, занимая комнату в покинутом доме.

– Я ничего не боюсь… Я…

– А чего же ты меня спрашиваешь? Такие вопросы всегда задают от страха.

– Чего же мне бояться?

– Этого я не знаю.

– Отказ получить?

– Если бы ты ещё и этого боялся, тогда грош тебе цена.

– Всё-таки ты мне скажи, чего, ты думаешь, я боюсь?

– Ты боишься простоты.

– Ты рассуждаешь вроде Пашки Тяничева.

– Кроме того, – не возражая и прищурясь от струйки дыма, которая задевала ему глаз, – ты очень боишься за себя.

– За себя?! Но чего? Точнее, как понимать – за себя?

– Очень, очень боишься! – неумолимо твердил друг.

– А ты сам ничего не боишься?

– У каждого свой страх и своё счастье.

– В чем счастье?

– Я не Пилат, – усмехнулся он, – чтобы отвечать тебе.

– Ты хочешь сказать – не Спаситель.

– Я этого не читал.

– Ну, а в чем всё-таки счастье?

– У всякого своё, – ответил он. – Вот у Ван-Гога было его оторванное ухо.

Оторванное ухо, мне казалось, объяснило всё на свете. «Вот у Ван-Гога было оторванное ухо!» – повторял я про себя, пока друг провожал меня до дверей, не выпуская изо рта сигареты.

Тем временем налегли тучи. Пошёл дождь. Но солнце пробилось, и трава заблестела.

– Лежé! – воскликнул я.

– Красиво, – подтвердил художник.

Дождь быстро миновал нас. И как нарочно, мы с ней встретились. «Здраствуйте!» – она сказала, а я чуть было не закричал ей в ответ, не своим голосом, как кричат на лошадей: «А вот у Ван-Гога было его оторванное ухо!».

Уже через несколько шагов я легко и свободно положил ей руку на плечо.

– Не надо! – вскрикнула она, как от удара.

Отошла на несколько шагов и произнесла:

– Все вы проклятые жеребцы!

* * *

…Я заглянул в умолкнувшую конюшню. В глубине коридора на развязке стоял Бельфор.

– Ты меня любишь? Ты меня любишь? – говорила она жеребцу. – Маленький мой!

Одними губами жеребец взял её за платок на плече. И стоял так, не шевелясь.

– Чего ты хочешь?

Она достала кусок сахару. Положила на ладонь. Потом передумала. Взяла в зубы так, как я уже видел однажды. До половины сахар торчал между губами. Она чуть нагнулась и подставила губы с куском сахара жеребцу. Он потянулся к ней. Взял сахар. Она не разжимала ни губ, ни зубов. Оба не двигались.

Жеребец с шумом выдохнул из ноздрей воздух. Она провела рукой ему по шее, под гривой, тронула плечо и грудь. Рука её тянулась ощупью, потому что голова у неё была запрокинута. Запрокинутая голова выражала отчаянную решимость. Разжала губы. Сахар упал. Бельфор его не тронул. Она собрала рукой в горсть шерсть и шкуру и стиснула в ладони. Охватила шею коня насколько хватало у неё рук. Скользя лицом по гриве, опустила голову ему на плечо. Рука её двинулась дальше. У жеребца проступили от напряжения жилки от храпа к ноздрям, ноздри округлились, уши стали стрелками, блестели глаза.

– Хороший мой, хороший! – твердила она.

Гладила брюхо. Рука скользнула в пах. Тронула препуциальный мешок. Взяла penis. Она раскачивала его вправо и влево. Мерно. Жеребец весь выгнулся, тряс головой, у него, казалось, задрожали ноги.

– Маленький! Маленький ты мой! – повторяла она.

Она снова обхватила его за шею. Потом внезапно, подтянувшись на руках, раскинула ноги и стиснула своими ногами ему грудь. Она уместилась между шеей и грудью. Жеребец выгибался всем телом, убирал под себя живот. Конвульсивно дергал пахом. Она старалась уловить его ритм.

– Хорошо тебе? Хорошо?

В ту же минуту жеребец поднялся, насколько позволяла развязка. Он нес её на груди. Через мгновение он опустился. Она отняла руки. Ноги её сползли, комкая платье. Она отвязала повод и повела его в денник, поникшего, как простую рабочую лошадь, от тяжелых трудов ко всему безучастную.

– Нишатка! – раздался голос бригадира. – Мешки принимай!

– Ах, что б тебя, мать твою укуси! – крикнула она в ответ.

Счастливый случай

«Ужас и рок подстерегают вместе… Конь с растрепанным, потерявшим управление, всадником несся, как вихрь, подобный демоническому порыву».

Эдгар По, «Метцергенштейн».

Даже лошадь на том снимке кажется счастливой. Положим, не лошадь – пони, шетландский, по кличке Колобок, но в даном случае это не имеет значения. Колобок вроде бы счастлив. Счастлив трехлетний мальчик, в буденовке, мой сын, сидящий в седле. И я, держащий пони в поводу, выгляжу счастливым. Однако каждый раз, как вижу я этот снимок, у меня холодеет внутри, ноет душа, дыхание учащается. Охватывает меня всё тот же ужас, от которого не могу избавиться с тех времен, когда нас фотографировали.

Что-нибудь на другой день, в ту же пору, решил я посадить сына на лошадь. На конзаводе, где мы тогда жили (директор дал комнату в доме, подлежавшем сносу), был мерин, сильно «в зубах». «В зубах», значит, на возрасте. Возраст лошади определяют по зубам – стираются. Когда-то этот мерин был истинный облом – долго его не заезжали, стоял в конюшне и все, а не заезжали потому, что не видели ему применения. По крови он заводским лошадям был чужд – ольденбургский полукровок. На племя использовать его не собирались. Как попал на подмосковный завод жеребец ольденбургской породы? Должно быть, остался с тех пор, как в этих местах, за рекой, были немцы: захромал, отступая, бросили. Или же послевоенная репарация. От немецкого жеребца и местной, беспородной кобылы родился этот серый. С годами, как обычно бывает, побелел. Крупный, видный по себе конь. Необычайно добронравный и доброезжий. Когда впервые завели его, неука, в оглобли (в чем я принимал участие), он, по словам из «Холстомера», пошел послушно, словно старая лошадь. Кличка у него была Разлив. Подвозил в магазин продукты, по символическому совпадению, разумеется, водку. Когда магазин получил грузовик, Разлива передали в езду табунщику. Трудно было представить себе лошадь спокойнее.

Сына начал я постепенно приучать к лошадям. Через день-два, как фотографировался он на пони, зашли на рабочую

конюшню. В тамбуре, довольно просторном пространстве между двумя конюшенными отделениями, стоял Разлив, под седлом, непривязанный. Пощипывал сено. А почему бы не посадить на него мальчишку?

Себя не узнаешь, как вспомнишь некоторые свои вредоносные глупости. Как могла прийти в голову опасная затея? Если бы взял я Разлива под узцы, как держал Колобка, тогда ещё ничего – не так опасно. А я посадил маленького сына в седло и отошел в сторону. Куда, думаю, конь денется? Куда?! Как будто забыл я истину «Конный череп, и тот взнуздай».

Старика словно подменили. Сивый вскинул голову, осмотрелся и бросился к открытым дверям конюшни. В дверях стоял просто любопытный. Увидав кинувшуюся к нему лошадь, прохожий шарахнулся в сторону. Вылетел Разлив с моим трехлетним сыном в седле на свободу.

Что я подумал? Что чувствовал? Ничего. Провал в сознании. Сознание просто прекратилось. Свет потух. Короткое замыкание. Так бывало со мной, когда угроза выглядела неотвратимой. Ужас наступил потом вместе с мыслью: что могло бы в результате случиться?

Дальнейшее поведение лошади истолковать я не могу. Могу лишь передать, что, бросившись следом, увидел. Выглядело так, будто опытный конь понял, что на нем сидит существо безобидное и беззащитное: надо просто от ноши избавиться.

Разлив не поскакал куда глаза глядят. Тут же у конюшни, не меняя аллюра, он кинул задом, причем, в сторону конюшни, там у стены росла густая трава. В траву, вылетев из седла, живой комочек и упал. Ни царапины. Мальчик даже не успел испугаться.

Страх я пережил. Переживаю до сих пор, едва посмотрю на сделанный дня за два до того снимок: счастливый ребенок на счастливой лошадке со счастливым отцом… Посмотришь на фото, вспомнишь – содрогнёшься: ужас не изгладился из памяти. Если бы то был не Разлив!

Последний парад, или Паспорт кобылы

«Паспорт кобылы» – такой документ получил я из рук Толокольникова. Сидел ли отставной полковник когда-нибудь в седле и держался ли за вожжи, спросить у него я не решался, ведь он не только прошел Отечественную, но, сверх того, состоял в сообществе бойцов Первой Конной. В легендарной кавалерийской армии Толокольников не мог служить по возрасту, но ходил (и меня приглашал) на заседания с тихими старичками, имена которых, известные нам по книжкам, звенели саблями, строчили пулеметными очередями и, само собой понятно, отдавали цокотом копыт. Трудно было себе представить, что ветхие старцы, озабоченные тем, как бы ненароком не уснуть и не упасть со стула, некогда неслись на полном скаку и рубились с врагами. Им и сидеть-то на стульях, казалось, было как-то неудобно – не свойственно. О, если бы собирались они не в музейных стенах!

Что значит своя стихия, я уже в который раз убедился,

очутившись однажды рядом с Буденным. Видел я большие усы раньше в Большом театре или на трибуне Мавзолея, и выглядел «наш братишка» в обстановке торжеств так же, как и на одной фотографии, где он оказался запечатлен не с шашкой, а… с портфелем в руках. С портфелем, на театральной сцене или на трибуне герой-конник, некогда вступавший в сабельные единоборства, выглядел собственной восковой куклой, чтобы не сказать карикатурой на самого себя. Но вот – манеж ЦСКА, эскадрон, пусть всего лишь спортивный, закончилась езда, мы вышли на манеж, и древний воин, которому уже трудно ходить, с видимым удовольствием ступая по опилкам и прикасаясь к своей почве, вдруг остановился, окинул взглядом ристалище и говорит «Больше шестидесяти лет… больше шестидесяти лет…» Это он, обращаясь к самому себе, прикидывал срок своей воинской службы.

Выражением глаз Буденный оказался в тот момент похож (не сочтите за натяжку) на Шаляпина в роли Дон Кихота. Положим, ранний французский фильм с участием нашего певца считается неудачным: великий артист не успел приспособиться к объективу и экрану, но там проскальзывает момент, по которому можно судить, как это выглядело, когда у него получалось удачно: рыцарь Печального Образа садится в седло, и в глазах его сверкает молния… Так и восьмидесятипятилетний инвалид в маршальской шинели, которую ему уже вроде бы тяжело носить, вдруг сделался похож на себя самого, каким он вошел в историю.

«Что же тут удивительного? Буденный – это же наш Мюрат», – так мой приятель-историк откликнулся на сообщение о манежном преображении.

Хотел бы я, чтобы эти слова услышал писатель Виктор Некрасов. Автор «В окопах Сталинграда» меня спросил, понимает ли Буденный в лошадях. Внутренние мотивы вопроса, который Виктор Платонович задал с иронической улыбкой, я понимаю: выдающемуся кавалеристу случалось браться не за свое дело и вести себя по-конюшенному за пределами конюшни. А как вы полагаете: Мюрат, чье имя на скрижалях истории сияет, отличался благонравным поведением?

К Буденному претензии были даже среди конников именно потому, что он был истинный кавалерист, и когда у него оказывалась власть в руках, бывало, навязывал свои вкусы, вплоть до мастей. «Ну, что ты с ним поделаешь! – жаловался один начкон. – Любит рыжих!». А другой говорил: «Все на Б, все на Б!» Это во времена, когда всех новорожденных жеребят, по настоянию Буденного, стали на кавалерийский манер называть по отцам, вместо матерей, как это принято в рысистом коннозаводстве. А

тогда как производитель активно продуцировал Бравурный, и рысачники истощились в изобретении жеребячьих кличек, которые бы начинались с буквы «Б». Однако кто же еще, как не Буденный, был стойким и подчас единственным заступником нашего конного дела, и если профессор Витт упрекал его за недостаточно строгое ведение породы ахалтекинцев, то без Буденного мы могли бы многих пород лишиться вовсе. Его собственноручную записку я видел на столе у директора Московского ипподрома, в ней содержалось требование немедленно снабдить кормами голодающих лошадей. «До чего же горько мне сознавать, – писал Семен Михайлович, – что наши кони стоят некормленые там, где я в свое время наголову разбил беляков».

Разбил-таки! Постановщик кинофильма о Первой Конной, изучавший материал, мне о нем говорил: «Только представь себе, перед атакой выезжал навстречу противнику зачинщиком – рубиться один на один».

Тенью на нем лежала рецензия с критикой «Конармии» Бабеля, та самая, на которую сердито откликнулся Горький, сказавший: «Нельзя о литературе судить с высоты коня». По-прежнему упрекая Буденного за рецензию, обычно вспоминают горьковские слова, саму же рецензию, как видно, давно не перечитывали. А в ней видна рука Сталина, и дело там вовсе не в лошадях и даже не в литературе. По существу это отповедь не Бабелю, а Троцкому – обозначение поворота к национальной политике вместо равнения на мировую революцию. Такой катаклизм нам сейчас обсуждать не по силам. А что писателю за чужие грехи досталось, это в порядке вещей: подвернулся под горячую руку. Такой уж у нас порядок установился с тех самых пор по принципу: «Паны дерутся, а у хлопцев чубы трещат».

* * *

Оказываясь благодаря Толокольникову свидетелем чудесных мгновений, я, даже не зная, где он служил, обратился к нему с просьбой о помощи: пишу книжку о лошадях, и нет у меня почти ничего о кавалерии. Положим с малых лет, с довоенных времен, помню конницу, проходящую мимо нашего дома на Красную Площадь, но таких воспоминаний, хотя бы и очень дорогих – мало, нужен сюжет. Толокольников выдвигает ящик письменного стола, за которым сидит, и достает потрепанную книжицу. «Вот тебе сюжет», – говорит (он был хорошим знакомым моего отца и обращался со мной по-свойски). Это и был кобылий паспорт,

точнее нечто вроде лошадиного свидетельства о рождении, а также аттестата зрелости с трудовой книжкой в придачу. Не только кличка, пол, происхождение, год рождения, но и весь послужной список – из документа следовало, что некая саврасая Картинка повидала на своем веку все, что только можно было повидать, пройдя довоенный трудовой фронт, а потом очутившись на войне. А как же паспорт попал к моему собеседнику?

…Восточная Пруссия. Бои. Идет передвижение наших войск. А у дороги опрокинутая повозка-гробарка, с высокими откосными бортами – в таких подвозили снаряды. Тут же, в упряжи, на боку, тяжело раненная лошадь. А солдат-коновод кричит в голос: «Добейте! Прошу, добейте! Я не могу!» Сам при оружии и взывает он к людям вооруженным, но каждый взглянет и тоже – не может. «А лошадь бьется», – завершил свой рассказ Толокольников.

Сейчас уже не могу вспомнить в точности, по каким мотивам из книжки «Словами лошади» этот эпизод выпал. Скорее всего, не сумел я рассказанное бывалым человеком изложить как следует, а дорабатывать уже было некогда. Когда же моя книжка, без рассказанной им истории, в издательстве «Молодая Гвардия» вышла, ветеран, своей рукой прекративший страдания лошади, мои извинения принял, а, прочитав книжку, сказал: «У тебя лишний экземпляр найдется – Жукову подарить?». У каждого из нас в жизни бывали минуты, воспоминание о которых заставляет краснеть, но есть и такие, которые не то, чтобы позволяют собой гордиться, но все же хранишь их в памяти, не стыдясь. При имени, которое произнес Толкольников, повел я себя так, как повел бы себя каждый человек нашего времени – оробел. «Пиши, пиши, – настаивал Толокольников, имея в виду дарственную надпись, – я передам. Георгию Константиновичу будет интересно почитать о коне, на котором он принимал Парад Победы». «От одного из тех миллионов…», взялся я писать на титуле, а Толокольников, спрятав «Словами лошади» в тот же ящик, из которого извлек «Паспорт кобылы», пообещал не только книжку передать по назначению, но и сообщить мнение столь исключительного читателя о прочитанном. Неужели Жуков и сам не знал того, что у меня было сказано?

В ту пору считалось, что белоснежным красавцем, на котором был принят Парад Победы, являлся не какой-нибудь очередной, даже классный жеребец, а Казбек, отец Олимпийского чемпиона Абсента. Оказалось, это скорее всего легенда. Начать с того, что кличка коня была не Казбек, а Кумир. Но, получив предложение переиздать книжку и постаравшись некоторые неточности или просто ошибки исправить, на этой странице я все же не стал

ничего изменять задним числом: легенда была в духе времени, а в каждой легенде есть крупица истины. Достаточно сказать, что и сейчас кое-кто среди людей осведомленных старой версии придерживается. Кумир мог быть переименован и стать Казбеком. Так обычно делается, если лошади с кличкой достаточно случайной или недостаточно благозвучной выпадает особая роль. Так были переименованы жеребцы, ахалтекинец и карабах, которых Хрущев с Булганиным подарили английской королеве. Переименован был и Песняр, наш араб с Терского конзавода, тот самый, за которого нефтяной «король» Арманд Хаммер выложил миллион. А почему именно Казбеком могли назвать коня, которому предназначалось парадировать по Красной площади в День Победы, объяснять излишне, если вспомнить, кому полководец, принимавший парад, должен был докладывать о готовности войск к торжественному маршу. Так что «Казбек» – это, хотя и едва ли достоверно, однако все же правдоподобно. Есть доля правды и в мифе о том, будто конь, на котором был принят парад великого триумфа, и наш первый Олимпийской победитель связаны родством. «Они и рядом не стояли!» – такое сердитое письмо, как только книжка вышла, получил я от читателя-знатока. Что ж, подумал я тогда, в сближении есть символический смысл: хотя две победы по значению и масштабам несоизмеримы, но все же в желании породнить коней-триумфаторов выразилось одно и то же чувство всеобщего торжества. А чтобы историческую обоснованность мифа отличить от пустой выдумки и просто-напросто вранья, воспользуюсь сравнением.

Теперь в духе уже нынешнего, а не того времени, бывает, распространяется ложь, лишенная и тени правдоподобия. Например, в одной иностранной книге, вышедшей недавно, я, не веря глазам своим, читаю, будто Сталин сам собирался принимать парад, но при попытке сесть в седло упал с «арабского (?) жеребца», ушибся, «повредив себе плечо и голову», и ему не оставалось ничего другого, как поручить дело Жукову. Мало этого, передоверяя роль, которую он вроде бы собирался играть, Сталин подсунул маршалу все того же «арабского жеребца», вероятно, в силу коварного желания, чтобы и порученец упал. К счастью, Жукова о подвохе предупредил … кто? Василий, сын Сталина, взявший с маршала слово, что не проболтается отцу. А Жуков, якобы, уточнив, где же старик «тренировался», поблагодарил Сталина-младшего, и с того дня «не упускал ни одной возможности практиковаться в езде верхом».

Книга называлась «Падение Берлина», в ней было больше четыреста страниц. Вот, думаю, ненавистник! Однако в книге

было множество сносок и, как ни трудно было в это поверить, история с «арабским жеребцом» имела своим источником воспоминания самого Жукова. Но я не помнил, чтобы в жуковских мемуарах я читал такую чушь. Там рассказывалась, как вызвал маршала Сталин, как спросил, усидит ли он в седле, и, получив утвердительный ответ, поручил принимать парад на коне. Вот и все. Правда, я читал воспоминания Жукова, как только они вышли, много лет тому назад, в одном томе. А сноска в иностранной книге была сделана на новое издание в двух томах. Но если это действительно Жуков успел добавить, то как же он, по выучке кавалерист, мог сказать «тренироваться»? У конника язык не повернется такое выговорить. Конник бы спросил: «Где же старик ездил?» Кроме того, у Василия Иосифовича с Жуковым отношения были, кажется, не такие, чтобы они могли доверительно говорить друг с другом, а тут еще тайный разговор будто бы о самом Сталине и чуть ли не сговор за его спиной. Кто в сталинскую эпоху жил и не придумывает задним числом, что это были за времена, тому в это трудно поверить.

Собрался я было писать автору гневное письмо-отповедь, но сначала все же решил проверить по указанному источнику. Достал в библиотеке двухтомник Жукова, нашел во втором томе страницу: слово в слово! Тогда вместо того, чтобы писать иностранному автору, звоню соотечественнику-публицисту, а тот и говорит: это издание жуковских мемуаров посмертное, такую небывальщину, уже без разрешения Жукова, умудрился приписать от себя литзаписчик будто бы со слов Василия… Кому же сын Сталина, подрывая авторитет собственного отца, это мог говорить? Когда и зачем он бы такое наговорил?

Василий Сталин, генерал от авиации, патронировал конникам и вообще старался держаться традиции исторического родства ипподрома с аэродромом: на заре авиации, когда летных полей еще не было, лошадники пускали к себе летунов, а долг платежом красен. В наше время эту связь олицетворял легендарный Михаил Громов. Говорили, будто и на этой почве между ними была вражда, будто Василий завидовал Михаилу Михайловичу, но кроме слухов об этом, я ничем не располагаю. С его сестрой Светланой Аллилуевой мы работали в одном и том же учреждении, Институте Мировой литературы, а с Василием мы разве что находились под крышей одной и той же конюшни или же бывали в стенах одного и того же, переделанного из ангара, манежа. Но я говорил с конниками, которые знали его, и слова их заслуживают доверия, хотя высказывались ими мнения противоположные и даже взаимоисключающие.

«Я всегда любовалась им», – это я услышал от своего тренера,

заслуженного мастера спорта, чемпиона СССР, Александры Михайловны Левиной, имела она в виду прекрасную посадку Василия в седле. Другой заслуженный мастер и тоже чемпион, но следующего поколения, Андрей Фаворский свидетельствовал: ездить Василий Сталин совсем не мог и едва не падал с седла, потому что у него начиналось головокружение. Как же может быть верным то и другое, ведь речь идет как будто о двух совершенно разных всадниках? Нет, всадник один и тот же, однако, в разные годы своей жизни. Александра Михайловна помнила Василия в ту пору, когда сама она была Асей (если не ошибаюсь) Косенко, а он – Васей, тоже совсем молодым, подававшим надежды конником. Фаворский же, входивший в команду ВВС, которую учредил генерал-авиатор Сталин, имел с ним дело в ту пору, когда шеф команды, сын вождя являлся на конюшню не столько для того чтобы поездить верхом, сколько пьянствовать. При этом он требовал, настойчиво и властно требовал, чтобы с ним пили всадники-спортсмены. Из-за этого погиб классный всадник Мишталь, за Мишталем *пошел* Коврига. «Я пошел к Мишталю», – стали говорить решившиеся на самоубийство конники (это ведь сказал, хлопнув дверью, и пустивший себе пулю в сердце директор ипподрома Калантар). Словом, тоже традиция, жертвой которой пала и пристреленная Василием у конюшни собака: «Ты на кого гавкаешь?».

О гибели Василия Сталина слышал я от Ушакова. Святослав Михайлович Ушаков – актер, премьер Горьковского театра, происходит из «породистой» семьи конников – в несколько поколений. В своем городе или на гастролях он всюду отправляется на ипподром – поездить. Вот его рассказ: «В Казани пошел я на отделение наездника Хабибулина, которого знаю давно. А он говорит: «Знаешь, кто у меня сейчас ездит?» Оказывается, Василий Сталин. Каждый раз, когда я приходил к Хабибулину попылиться (поездить – Д. У.), был там и Василий Иосифович, так что мы с ним вместе отправлялись на дорожку. Он жаловался, что у него болят ноги и он их каждый день парит в горячей ванне. После работы Василий обязательно говорил Хабибулину: «Мы на тебя трудились, ставь бутылку». Хабибулин, понятно, не отказывал. Однажды я пришел, а Василия не было. Не появился он и на другой день. Не приходил больше и в дальнейшем. Ни Хабибулин, ни кто-либо еще не знал, что с ним случилось. Потом нам уже рассказывали, что его будто бы так и нашли в ванне, с четвертинкой».

Говорили мы с Ушаковым в Горьком, записал я по памяти, вернувшись в Москву, суть и подробности его рассказа врезались в память, а вот фамилию наездника запомнил лишь как типично

татарскую, как у нас Иванов, Петров, Сидоров, поэтому мог ошибиться. Но зная Святослава Михайловича хорошо, не сомневаюсь в достоверности его рассказа.

Если *этот* Василий в самом деле нечто эдакое плел, то слова такого свидетеля требуют не только основательной сноски, но и тщательной проверки. Ни того, ни другого в двухтомнике «Генералиссимус» нет. Нам предлагают поверить, будто перенесшему инфаркт и инсульт, сухорукому, не сидевшему верхом, шестидесятипятилетнему старику (он же вождь всех времен и народов), дали взобраться на какого-то строптивого жеребца и позволили вывалиться из седла. Участники предполагаемой дикой затеи, им что – своих голов было не жаль?

Вот для сравнения связанная со Сталиным «лошадиная» история того времени. На Первом Московском заводе, где я бывал постоянно со студенческих лет, стоял крупный орловец Первенец, рыжей масти. Стоял и всё. В моей памяти он так и запечатлелся уныло уткнувшимся в дальний угол денника, словно он сознавал горестность своей судьбы и чувствовал какую-то вину за собой. Он был «ссыльный». Прибыл он в завод из Кунцева, с дачи Сталина. А там его держали на тот случай, если вождь, вообще равнодушный к лошадям, вдруг захочет прокатиться. И вот однажды вроде бы захотел. Дело было зимой. Заложили рыжего в сани, помчали в лес. А у вождя ноги возьми да замерзни. Туда ехали резво, а уж обратно гнали во весь дух. Как получилось? Кто не доглядел? На жеребце отыгрались. Отправили с глаз долой. Увидел я его лет через пять после того, как попал он на завод. Мне заводские предложили, если я захочу, проминку ему делать. И я бы совсем не прочь подержаться за вожжи, которые побывали в руках, управлявших половиной мира. А Дядя Миша Бородулин, конюх опытный и вообще человек бывалый, мне говорит: «Если жизнь тебе дорога, держись от этой лошади подальше». И это уже после смерти Сталина, а что он сказал бы при жизни?

Так что сталинское намерение сесть в седло, чтобы Парадом Победы командовать, даже как легенда не соответствует духу того времени, когда мы верили в легенду о Казбеке. Это уже не мифология, а, как публицист-ветеран и определил, просто ахинея.

Перед парадом Жуков не «практиковался» вовсе, а сел в седло всего-навсего один раз и сделано это было прямо накануне исторического события. Заняла вся процедура не больше двадцати минут. «Точили» коней – Кумира и Полюса – под седло Жукову, а также Рокоссовскому, изо дня в день. На то была назначена целая команда, эскадрон под началом берейтора в чине полковника по фамилии Череда. Дни шли за днями, решительный день приближался, а Жукова не видать, нет как нет.

Позволю себе допустить, что и самый парад в сознании легендарного полководца – это было дело второе, а первое – Победа. До верховой ли езды ему тогда было? Ясно, жеребцов подработали так, что не только военачальники, прошедшие в молодости кавалерийскую школу, а любой ребенок, пожалуй, на них бы усидел, но ведь в те времена за все отвечали головой. Рокоссовский, тот вроде бы держал при себе лошадей и был в форме, а как же Жуков? Вот Череда и докладывает: «Если командующий не испробует коня в езде, я буду вынужден всю ответственность с себя снять». И Жуков наконец-таки приехал. Очень торопился, но все же, собираясь сесть в седло, словно заробел и спрашивает: «Как вы думаете, усижу? Практики верховой езды уже очень давно не имел». Но чтобы на том коне удержался утративший кавалерийские навыки маршал, за то несли ответственность мастера верховой езды.

Моя беда заключалась в том, что эти достоверные подробности подготовки коня Победы, и какого именно коня, стали мне известны уже после того, как, доверившись легенде своего времени, я воспроизвел ее как факт в своей книжке и, по настоянию Толокольникова, вручил ему экземпляр для передачи Жукову.

Подробности стали мне известны следующим образом. Из года в год мы, всадники-спортсмены, тоже принимали участие в парадах, тех местных парадах в день Первого Мая или Великого Октября (то есть 7-го ноября), которые уже в шестидесятые годы устраивались всюду, где только были лошади, годные для красочного зрелища. А мне посчастливилось ездить даже под знаменем в колонне Первого Московского конзавода. До Звенигорода, где проходили парады, мы так и шли верхами. Однажды ехал я конь о конь с отставным кадровым кавалеристом или, точнее, военным ветфельдшером Павлом Алексеевичем Туркиным. Доро́гой Павел Алексеевич начал предаваться воспоминаниям, я задавал ему вопросы, и в нашем с ним разговоре как-то оказался упомянут Парад Победы. Едва я попробовал спросить Павла Алексеевича о Казбеке, он оборвал меня: «Нет, Кумир». И после паузы добавил: «Кумир и Полюс».

Так я впервые услыхал эти клички и затем узнал о кавподразделении, которым командовал полковник Череда. А почему следовало верить моему спутнику? В том особом эскадроне, которому была поручена подготовка коней к Параду Победы, Туркин служил. Кроме того, был он человеком, как выражались Джозеф Конрад с Джеком Лондоном, лишенным воображения, проще говоря, не обладал способностью выдумывать, однако наделен был свойственной конникам цепкой

памятью, удерживающей происхождение лошадей, клички, рекорды и т. п. Кони, по словам моего спутника, были полукровные. Почему полукровные, этого даже мне объяснять не требовалось: полукровки спокойнее в езде, а на параде никакого избытка нервов и лишних страстей не требуется. В старые времена царь принимал парады на кобыле. «Жеребец, разгорячившись, может какую-нибудь непристойность устроить», это я и раньше слыхал от кавалериста-ветерана еще версальской выучки.

Услышав от свидетеля «Кумир» вместо «Казбек», я всполошился. Выходит, я дезинформировал читателей, в том числе и совершенно особого читателя. А что если рассказанное ветфельдшером специального эскадрона было известно победоносному маршалу? Прочитав у меня о Казбеке, что такой читатель скажет? Прихожу домой, у отца с матерью лица не то чтобы встревоженные, а как-то по особенному возбужденные. «Где тебя носит? – говорят. – От Жукова звонили, спасибо велели передать».

* * *

Общепризнанно: исторический парад прошел идеально. И кони не подвели. Следившие за каждым движением двух всадников профессионалы, конечно, не упустили из вида, что в посадке Жукова сказывалось то, о чем он и сам Череде говорил – нехватка практики верховой езды: маршал чересчур высоко держал руки и несколько висел на поводьях. Но в целом получилось зрелище, достойное великого события. Вот и решено было традицию сохранить, как бы напоминая чудесам новейшей военной техники, откуда все пошло и с чего началось. Однако Жуков оказался в опале. В нашем сознании авторитет вождя и слава полководца друг другу не противоречили. Была и такая легенда: от Белорусского вокзала до Кремля проложат красный ковер, по нему пойдет Жуков и его встретит Сталин. Что между ними произошло, пусть выясняют историки. С опалой Жукова, которой вскоре подверг его Сталин, не стало военачальников, которые, хотя бы по воспоминаниям молодости, оказались способны усидеть в седле.

«Уже не выездкой приходилось заниматься, а дрессировать словно в цирке», – это я услышал от специалиста, тоже причастного к подготовке коней для парадов на Красной площади. Это был профессор Бобылев Игорь Федорович, в свое время – зоотехник, затем – завкафедрой коневодства

Ветеринарной Академии, а также второе лицо в мире конного спорта. Игорь Федорович был заместитель председателя Олимпийского конноспортивного подкомитета, герцога Эдинбургского. Это благодаря ему, не герцогу, а профессору Бобылеву, супруге герцога, английской королеве удалось пробиться в наивысшую международную лигу любителей верховой езды. Туда, согласно многовековой традиции, женщин не допускали. Герцог-консорт за жену не мог вступиться, его бы сочли пристрастным и не послушали, поэтому ничего другого, кроме как стоять за сохранение древнего правила, герцог Эдинбургский поделать не мог. Тогда Игорь Федорович повел с ним борьбу и дал рекомендацию Елизавете Виндзор, она же Ее Величество Елизавета Вторая, и рутина оказалась сломлена. Он же, Бобылев, оказался едва ли не единственным из официальных лиц, вставших в оппозицию к нашему руководству. На Олимпийских играх в Москве в день закрытия, вместо традиционных конных соревнований хотели провести футбол. «Тогда мы уйдём!» – заявил Герцог Эдинбургский, вставая. С ним рядом плечом к плечу встал профессор Бобылев. И традиция осталась ненарушенной.

Об этом профессор коневодства, благодетель английской королевы и защитник иппических традиций, рассказывал весело, даже с иронией, а о необходимости дрессировать коней для праздничных парадов говорил с дрожью в голосе и с ужасом в глазах. Чему же он спустя столько лет ужасался? Ведь то было уже не нарушение традиции, а полное падение – выездка и дрессура несовместимы: выезженной лошадью управляет всадник, дрессированная, как заводная, сама везет. А что делать?

Особенно тяжело приходилось Булганину, который, согласно должности Министра Вооруженных Сил, должен был садиться в седло, в котором в жизни не сидел, и выезжать на Красную площадь. Мука да и только. Мука для него, мучение и тем, кто за горе-всадника отвечал. Вот уж кто перед парадом практиковался, и ничего-то все равно у него толком не получалось. А вдруг упадет? И военный министр дрожал, и за него отвечавшие тряслись от страха.

«Ребята, – как-то, весь в поту, говорит Булганин, сползая с дрессированной лошади, – на сегодня хватит, больше не могу. Сталин меня вызывает». И шатаясь, бледный, отправляется на доклад, а на другой день рассказывает. Увидев его, Сталин задал свой знаменитый вопрос «Почему на тебе лица нет?» «Верховой ездой занимаюсь, – отвечает министр, – к параду готовимся». «Что же это, – насупился вождь, – не осталось маршалов, способных сидеть в седле? Поручил бы кому-нибудь!» «А я, – как рассказывал

Бобылев, говорит им Булганин, – и не знаю, кому поручить. Есть у нас такие маршалы или нет?» «Тимошенко!» – в один голос отвечала парадная команда. «Что это вы, сговорились?» – удивился Булганин. Нет, не сговорились, а как и все наши конники, хорошо знали: маршал – настоящий ездок, даже на жеребцов-людоедов садится, а «людоеды», в отличие от прочих злых лошадей, бросаются на человека.

У нас тоже был один такой, норовом вроде того жеребца, что Диккенсу едва не отхватил полплеча, у нашего и кличка была Зверобой, а на конюшне называли его просто Зверь. Он, когда к нему подходишь, бил ногами – передними, а как на него сядешь, рвал зубами, норовя вытащить всадника из седла. Упал я однажды не с него, а вместе с ним – он спотыкнулся и хлопнулся на землю. Теперь я сам себя не узнаю, вспоминая, как я на него снова забрался. Не за себя боялся – страшило меня, что он меня одолеет, вырвется и убежит. А уж что тогда будет, и вообразить невозможно.

Итак, Тимошенко. «А где он?», – спрашивает у Бобылева Булганин. Тимошенко тогда командовал Белорусским военным округом и находился в Минске, но едва получил он по телефону поручение быть в Москве и готовиться к принятию парада, так уже был на месте, все в том же манеже ЦСКА, впрочем, тогда – ЦДКА. Прибыл он полностью экипированным – со своим берейтором и своим конем, на которого никто, кроме него самого, и не подумал бы сесть. Из глаз пламя пышет, из ноздрей дым валит – люди собирались как на представление посмотреть, когда маршал с берейтором работали огненного жеребца. А мы, продолжал свой рассказ Бобылев, смотрим и сомневаемся, подойдет ли по стилю на параде такое родео. Попробовали с маршалом поделиться своими сомнениями, а в ответ только услыхали: «Это вы кого хотите учить, как ездить надо?». Ну, думаем (так говорил Бобылев), наше дело предупредить.

К десяти утра собрались они все у Спасской башни. Молотов подошел, пожелал удачи. Заиграли часы-куранты. Махом, прямо с земли, взлетел маршал в седло, взметнулся конь, кованые копыта выбили сноп искр из булыжной мостовой. Вылетает, как в былые времена, конь-огонь, красный всадник вырывается из ворот на площадь и несется вдоль строго построенных шеренг. Публика поражена. А конь с Тимошенко, облетев войска, уже кипит перед Мавзолеем. Хвост чубуком, глаз горит, ни секунды на месте не стоит. Но всадник, как влитой, ему хоть бы что – браво докладывает, мол, готовы, любо посмотреть.

После парадов, продолжал свой рассказ Бобылев, они обычно собирались у кого-нибудь из конников, участников подготовки,

чтобы отметить очередную удачу. Только сели, в том числе и тимошенковский берейтор с ними, вызывает его сам Тимошенко к телефону. Ну, думают, наверное, наградят. Но по выражению лица у вернувшегося к столу стало ясно, что праздник придется отложить. А вот что произошло. Едва Тимошенко спешился и завершился парад, вызывают его в Кремль. К Сталину. И Молотов подошел.

«Что же это, товарищ Тимошенко, – услышал маршал гортанный голос, говоривший по-русски с очень сильным грузинским акцентом, – по-вашему выходит, Гражданская война еще не закончилась?»

«Достойно ли сейчас на государственном параде носиться, словно по базарной площади?» – риторический вопрос задал Молотов.

Назидательная беседа на высшем уровне, кроме всего, лишний раз говорит еще и о том, какая же в самом деле чушь эти разговоры о намерении Сталина сесть верхом и выехать на парад. Пусть сам он не ездил и даже, может быть, лошадей недолюбливал, но смысл и значение символа – человек на коне – понимал как современник той эпохи, когда лошади были все: мало удержаться в седле, не всякий даже опытный всадник проедет так, как нужно, в стиле, достойном великого события. А Тимошенко исчез из Москвы вместе с конем и берейтором столь же стремительно, как и появился. С тех пор парадов на конях больше не принимали. Традиция изжила себя и оборвалась.

Это – на Красной площади, а местные парады проводились по-прежнему. В мае и ноябре выезжали мы в Звенигород, и, я думаю, нигде у нас больше не видели такой колонны, состоявшей, как на подбор, из коней-красавцев. Первый Московский завод был безусловно первым – витриной нашего коневодства. Туда были приведены по образцовому экземпляру каждой из пород. Например, Зверобой, хотя и людоед, а любо-дорого посмотреть – дончак прямо со страниц «Тихого Дона».

Наши лошади являли собой настолько великолепное зрелище, что публика не обращала внимания на уже устаревшие лозунги на знаменах, которые мы несли. С Туркиным мы гарцевали на двух вороных братьях-тракенах, и едва мы с ним пошли на рысях на большие дела, ветер рванул алые полотнища у нас над головами, а Борис Дмитрич, директор завода, как закричит: «Стой! Куда?! У меня партбилет отнимут!» А над нами реяло: «Великому Сталину – слава!» Но тренер Гриднев, бывший чемпион Москвы, изображавший Чапаева и возглавлявший праздничную колонну, уже поднял своего серого в галоп, бурка у него за спиной распласталась, все как в кино, и мы на вороных

тоже прибавили рыси.

Однако среди стоявших как напоказ в образцовой конюшне Первого Московского завода лошадей-эталонов не хватало буденновца. Ничего нет удивительного – попробуй, отыщи, если иметь в виду идеал породы, а других на той конюшне не держали. И вот поступает на Первый конзавод Исток, который ходил под Жуковым в Свердловске. По себе конь, понятно, безупречен. Но почему с ним армия рассталась? Оказывается, отправили и его в ссылку: упал-таки с него прославленный полководец, не имевший повседневной практики верховой езды. «Медали так и зазвенели», – рассказывал солдат-коновод, сопровождавший опального жеребца. А так как о своем падении *вместе со Зверобоем* я умолчал, помня важное и для моего наездниического самолюбия мнение Пушкина, упавшего «не с лошади, а с лошадью», то услышал от тренера Гриднева: «Раз ты на Звере усидел, садись на Истока».

Рослый, чистопородный буденновец Исток людоедом не был. Но горячая кровь говорила в нем. Полетел я с него не вниз, а вверх – в небо. Не сбросил чудо-конь меня, а вышиб из седла. Увидел он маточный табун, раздался страстный храп, прозвучал вожделенный зов, жеребец взметнулся и полетел я над лугом, где паслись кобылы. Казалось мне, долго летел над полями да над чистыми, как на замедленной съемке, озирая окрестности. Видел я, как Исток с развевающимися поводьями, с разлетающимися в разные стороны стременами стремится к табуну, голося «По-го-го-ди-те!». Как будто только его там и ждали. Раздались глухие удары копыт – это матки, оберегая своих сосунков, отгоняли непрошеного ухажера. Вдруг хлынувший проливной дождь охладил страсти, и сквозь водяную пелену видел я красавца Истока, стоящим уже на трех ногах, четвертую держал он на весу: досталось-таки ему за несвоевременные домогательства взаимности.

Определили трещину, плечо опухло, и всю ночь просидел я возле чересчур горячего Истока, прикладывая к поврежденной ноге глину. Ничто так не греет душу, как конская шерсть. Так говорят ковбои. Кто же из конников станет оспаривать эту бесспорную истину?

На память о лошадях

– Если не ошибаюсь, мы говорили о лошадях…

Эдгар По

«Я хочу быть на лошади! А где в Москве лошадь?» – жаловался Константин Леонтьев, любитель верховой езды. Это было в середине прошлого века. Более ста лет назад… А кажется, что это сказано только сегодня, потому что еще вчера, совсем недавно, на нашей памяти, в Москве нетрудно было встретить верхового, и вообще гужевой транспорт был в городе привычен. Даже я, родившийся в начале второй половины тридцатых годов, еще застал извозчиков, правда, уже только ломовых, и на улицах помню острый запах конского пота, перебивавший запах бензина. Из дома выйдешь: лошадью пахнет! И смотришь: а где лошадь? Застал и кавалерию, два раза в год под цокот копыт проходившую мимо нашего дома на Красную площадь: парад! Уже позднее, в послевоенные годы, сколько раз видел: едут по Пушкинской площади, как Дон-Кихот и Санчо Панса, мои знакомые – на коне и на осле. «Иван Матвеевич, – спрашиваю, – куда вы?» – «В Большой театр». Четвероногих статистов на «Кармен» или на «Князя Игоря» тогда доставляли «своим ходом». Точно так же недавно встретил я снова Дон-Кихота с его верным оруженосцем, однако теперь «свой ход» был заменен грузовиком, и конская физиономия с большим достоинством осматривала Москву через высокий борт.

– Иван Матвеич, на «Кармен»?

– На «Князя Игоря».

Ныне Московский ипподром приобрел специальный, очень комфортабельный автобус, с мягкой обивкой стен, «шестиместный», – для шести пассажиров о четырех копытах. Может быть вопрос: «На «Князя Игоря»? Куда же вы?» – в следующую нашу встречу вовсе останется без ответа, а так, мимоходом глянут из окна вдумчивые лошадиные глаза и мелькнут большие уши: «Мы, кажется, где-то встречались?»

Лошадь стала экзотикой. Мы думаем – «стала» на наших глазах, а между тем и сто лет назад было: «Где в Москве лошадь?»

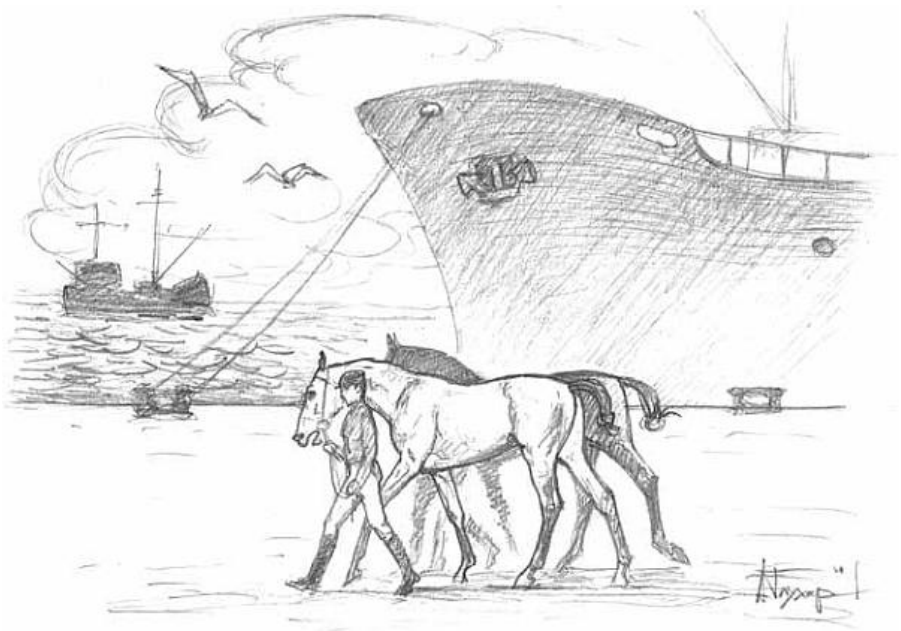
Как быстро бежит время, если столетней давности вопрос звучит так, будто он задан только сегодня. Как медленно движется время, если сто лет прошло, а вопрос все еще свеж: «Где в Москве лошадь?»

И где она будет? «Расставшись с конем, человек потерял себя», – утверждал Лоуренс, подразумевая механизацию. Техника вытеснила коня, как вообще изживается по мере прогресса в человеке все стародавнее, патриархальное, что называется «ветхий Адам». Человеку нелегко расстаться хотя бы и со всей этой «ветошью». Ее, оказывается, неспособны во всем заменить или вовсе отменить сверхъестественные скорости и новейшие удобства. Подчас ею держатся самые нутряные корни человеческой сущности. Потому, должно быть, Уильям Фолкнер в решительную минуту говорил о человеке и о лошади одними и теми же словами.

«Я отвергаю мысль о гибели человека, – говорил Фолкнер, – Человек не просто выдержит, он победит». А когда его спросили, что думает он об участи лошади в современном мире, где главенствующее место занимают механизмы, машины, Фолкнер отвечал: «Лошадь выдержит. Пусть ее хозяйственное значение сейчас ничтожно. Все равно она выдержит, она не исчезнет до тех пор, пока существует сам человек. Предположим, продукты, которые дают человеку все прочие домашние животные, станут получать искусственным путем, и эти животные должны будут исчезнуть. Но лошадь дает человеку нечто большее, что греет его душу, что отвечает самой нравственной и психической природе человека. Итак, лошадь выдержит! Она переживет все перемены и будет существовать до тех пор, пока не изменится сам человек. Ибо на всей земле по пальцам можно пересчитать тех, в чьей жизни и памяти, в испытаниях судьбы и личных пристрастиях лошадь вовсе не занимала бы места».

Дорогой длинною

«Ехали на тройке с бубенцами…»



Кучера и ковбои

Кони и море, гривы и гребни —
Родство их стихий воспевали не раз.
Увидишь коня с разметавшейся гривой
И вспомнишь – так будет! – о шторме и нас.

Штурман д/э «Волхов»

Написали на вагоне «Лошади», и мы поехали. Ехать предстояло через Атлантику – показывать за океаном нашу тройку.

– В Америке будем в одиннадцать вечера, – сказал доктор. – Тут уж ничего не будет, а утром, к шести, надо подготовить лошадей как следует, чтобы смотрели жеребцами. Огонь! Старик придет, увидит их и скажет: «Ха-ха, в молодости я сам такой был!» И все засмеются.

Надежно говорить с бывалым человеком. А доктор сопровождал лошадей по всему свету. Он мог сказать, как говорили некогда трагики-гастролеры: «Я знаю публику, но и публика меня знает!», он мог сказать: «Знаю мир, и мир меня»… Знали, знали на бегах Венсеннского леса, на скачках под Вашингтоном, на Лазурном берегу и в Монте-Карло, всюду, где только слышится стук копыт и восторги публики, всюду знали нашего доктора, главного ветврача Центрального Московского ипподрома, и почтительно называли его Dr. Shashyrin.

Доктор полагал, что не только люди, но и лошади его знают. «Обрати внимание, – говорил он в Огайо, указывая на какого-то гнедого, – как на меня смотрит. Уз-знал, бандит, узнал! Ор-ригинальная лошадь!»

В одиннадцать мы в Америку, однако, не попали. Доктор рассчитал время не совсем точно потому, что река Святого Лаврентия у берегов Канады оказалась забита льдом до самого дна. Даже канадские ледоколы стояли. И нашему «Волхову» потребовались лишние сутки, чтобы пробиться в порт – к Монреалю. Возможно, океан еще раньше задержал нас штормом у Ньюфаундленда. Не исключено также, что в самом начале нашего

трансатлантического пути на товарной ветке ипподрома, прежде чем кондуктор написал на вагоне «Лошади» и мы поехали, слишком много друзей хотело сказать нам напутственное слово.

Возникали все новые и новые лица, каждый приходил с добрым словом и делом. Когда вовсе незнакомое лицо попробовали спросить, почему оно так решительно протискивается в вагон, патетически прозвучал контрвопрос: «А кто гвоздь прибил?!» И увидели мы гвоздь, державший снаружи металлический люк окна. Потом, в дороге, мне часто, особенно перед сном, приходил на память этот незнакомец: грохотал и лязгал вагон, но люк окна не прибавлял ничего к ужасному шуму.

Проводы продолжались так долго, что доктор, наконец, попросил:

– Граждане, расходитесь, а то лошадей в дороге нечем будет лечить.

А лошади тем временем жевали овес. Если пожмут плечами: «Вот еще наблюдение! Что за новость?» – то замечу, далеко не извечно и не само собой разумеется, что лошади едят овес. Овес лошади начали есть только с XIV века в Норвегии. У нас же в пути как раз напротив Норвегии, у Лофотенских островов, лошади отказались от овса.

– Беда, – вздохнул доктор.

Нет вернее приметы здоровья и заболевания лошади: жует ли она овес? Наездник приходит рано утром на конюшню и сразу же проверяет: как проели овес? Лошадь пробежала на приз, и наездник ждет, пока она остынет и можно будет дать ей овса. Он посмотрит: ест? Лошади едят овес – значит, они в порядке. Корм остался нетронутым, стало быть, беда.

Правый пристяжной в самом деле выглядел плохо. Голова его опускалась все ниже и ниже, дышал он прерывисто и часто. То же самое с ним случилось в дороге у Бологого, и вот теперь повторялось в Баренцевом море: нервные колики.

Качало. Ревело. Похожий на клоуна доктор, цепляясь за канат, висел над лошадью и целился шприцем в вену. Он бормотал:

– Ор-ригинальный шторм…

Морской болезнью мы сами, к счастью, не страдали. Лошадям приходилось тяжело. Желудок у лошади так устроен, что она лишена возможности облегчиться тем естественным способом, каким обычно пользуются, мучаясь от морской качки. У лошади если уж пошло горлом, то кровь – конец. И когда мы чувствовали, что бессильны поддержать лошадей своими средствами, мы шли к капитану. Огромный корабль разворачивался, менял курс и наваливался на волну, словно хотел смирить ее: «Ну, ну! Ты

чего?» – как кричат на лошадей, если они чрезмерно безобразничают.

А капитан спускался в трюм посмотреть, как теперь чувствуют себя лошади. Он осторожно останавливался на почтительном расстоянии и спрашивал: «Они меня не укусят?» Потом, дотрагиваясь все с той же осторожностью до мягкого волосатого носа, вздыхал: «У нас был Воронок. Вот лошадь! Отец запряжет…» У нас был точно такой же Егорка, дед рассказывал, – удивительного ума и страшной выносливости. Фолкнер прав: чуждых лошадям надо поискать…

При взгляде на наших лошадей у всякого эта память пробуждалась. Резкие крики слышались где-то там, наверху, когда «Волхов» заходил в очередной порт грузиться, а мы, пользуясь спокойствием, спускались к лошадям, чтобы дать им в трюме маленькую прогулку. Голоса исчезали тотчас, едва только убирали лючины трюма и грузчики – будь то голландцы, бельгийцы, французы, канадцы – видели, что в трюме. Лошади! Устанавливалась торжественная тишина. Каждый, должно быть, вспоминал своего Воронка или Егорку…

Грузчики прекращают забастовки, если приходит в порт корабль с лошадьми, точно так же, как шоферы автобусов делают исключение и отменяют на время «страйк», чтобы отвезти детей в школы.

На станции Оленья, между Колой и Мурманском, нас загнали в тупик, и дело запахло вечностью. Диспетчер слушать ничего не хотел. Много толпилось просителей, и всем он отвечал: «А другие, по-вашему, что – не люди?» Но едва только втолковали ему, что у нас – лошади, суровые складки его лица разбежались.

– Что ж сразу-то не сказали? – И начал он кричать в трубку: – Слушай, там, на пятом, не люди, а лошади. Да, лошади! Давай срочно! Лично прошу! Цепляй сию минуту!

Он еще раз обратил к нам улыбающееся лицо:

– Счастливого пути!

И покрутил головой:

– Лош-шади!

– Оригинально, – рассудил доктор.

А в аэропорту под Нью-Йорком, где открылись у нас неполадки с билетами и назревала неприятность, чиновник вдруг заметил у меня в руках наездничий шлем. Он вышел из-за стойки и тихо сказал:

– Так вы наездник! Что ж сразу не сказали? Вы с какого ипподрома?

– С Московского.

– Проходите же скорей!

На всем нашем долгом пути из Москвы через Мурманск – Монреаль – Буффало в Нортфилд (штат Огайо) надо было видеть, как магически действовало это слово – лошади. Да, надо было видеть… У меня же, однако, под натиском впечатлений любопытство иссякло.

Уже в Па-де-Кале в нашу каюту заглянул встревоженный первый помощник:

– Что же вы спите?

– Что-нибудь с лошадьми?!

– Да нет! Дувр!

Конечно, надо было, как Байрону, выйти на палубу и бросить взгляд на горизонт – на меловые утесы Альбиона. Нет, я не Байрон, я другой.

В океане капитан кричал по радио прямо у меня над ухом:

– Пассажир, вставайте! Кругом киты!

Киплинг чуть не наскочил на кита, когда плыл на пароходе нашим путем через Атлантику. Киплинг успел не только увидеть морского великана, он, кроме того, заметил, как кит посмотрел на него маленьким красным глазком величиной с бычий глаз. Киплинг вставил этого кита и его бычий глаз в «Обыкновенные сказки». На то он и Киплинг…

Я проспал целиком Торонто, где Хемингуэй проходил свою первую литературную школу и где мы, пересекая Канаду, ехали в автофургоне ночью. Случайно проснувшись от толчка, я увидел рядом стрелку, выхваченную фарами из темноты: «Ниагарский водопад – от поворота четыре мили». Четыре мили крюку! После короткой перепалки мы решили не сворачивать. Лошади и так утомлены дорогой. Со следующим пробуждением меня встретил серый рассвет. Фургон не двигался. Кабина была пуста.

– Что это? – спросил я какого-то человека, стоявшего у машины.

– Соединенные Штаты Америки.

– А который час?

– Шесть. Пожалуйте в таможню.

– Сейчас. Дайте только лошадей напоить.

* * *

Капитан по-морскому «мастер». Хозяин, главный, а также знаток, артист своего дела, художник, профессионал в высшем смысле – все оттенки старинного понятия «мастер» совмещаются в представлении о капитане. И положение его творческое: свободный от службы, он подчинен самодисциплине. Капитан не

имеет вахты, но всегда начеку. Он отвечает за корабль.

– В шторм, – говорил наш капитан, – я перехожу с кровати на диван.

– Чтобы наготове быть? – спросили мы, ожидая чего-нибудь героического.

– Нет, – отвечал он, – спать удобнее. На кровати не уснешь. С кровати того и гляди вышвырнет. Кровать по борту стоит, а диван поперек. На нем качка чувствуется меньше.

Потомок штурмана, который вместе с Седовым вел «Святого Фоку», наш капитан всю жизнь проплавал в Арктике, за тем исключением, что прошел войну рядовым матросом на Балтике, а после войны первым проложил через Атлантику зимнюю трассу Мурманск – Монреаль. Тогда оживился зимний океан, особенно река Святого Лаврентия, пошли наши корабли, а за ними потянулись другие страны. Таков был наш Иван Михайлович, и когда лошадям приходилось совсем плохо, мы отправлялись к нему за помощью.

Лошадей укачивало, корабль трепало, палубная команда измоталась, и вот надо всем появлялся голос:

– Потравливайте носовой шпринт, потравливайте… – и это таким тоном, будто вам предлагают: «Хотите стакан чаю?»

И капитан действительно предлагал нам стакан чаю, а то чего и покрепче, но это уже потом, когда стихия смирялась, когда все успокаивались и лошади начинали хрустеть овсом. А капитан спускался в трюм посмотреть на них. Подходил близко настолько, насколько хватало у него смелости. Осторожно дотрагивался до гривы или носа. Прислушивался к аппетитному похрустыванию и говорил:

– А ведь и нам простительно закусить!

В капитанской каюте разговор шел, понятно, о лошадях. «Морские волки» поражались, что классный рысак перетянет по цене иной пароход.

– Голову, ребята, не жалко оторвать тому, – говорил наш мастер, – кто решил лошадок на «Волхове» через Атлантику доставлять. Я вам тогда в Мурманске сразу сказал и сейчас повторяю. Будет волна, ничего обещать не могу. Как бы не закачало коней. Ведь судно килевое, швыряет его так, что и контейнеры не выдерживают.

Видели мы эти контейнеры, гигантские металлические ящики, похожие на небольшие дома, и на каждом надпись: «При первой опасности бросать за борт». Опасность же состоит в том, что огромный, величиной с товарный вагон, железный куб штормовая волна швыряет по палубе, будто спичечный коробок, и сносит что попало на своем пути – любые палубные надстройки.

– Да, – возвращался к своим мыслям мастер, – голову кому-то следовало бы открутить…

Потом спохватывался и говорил:

– Но я, конечно, хоть это и срежет мне план, буду уходить от волны. Буду держаться по погоде.

И еще раз тихо, будто уже не нам, а самому себе:

– Буду держаться…

Насколько все это рискованно, мы с доктором представить себе не могли, потому что нас декабрьский океан просто пощадил, ни разу до Ньюфаундленда не нахмурившись. «Прошли, как по озеру», – шутили на корабле. Доктор настолько осмелел, что по неосторожности проглотил «Историю кораблекрушений», которую нам кто-то из команды подсунул. Дома на диване надо читать такие книги, а не в открытом океане. Пусть и не качало нас, но доктор-читатель метался по ночам: мучили его до мелочей правдивые видения: ведь «Летучий голландец» – факт!

Однако не в океане, а на реке Святого Лаврентия, уже у берегов Канады, куда пришли мы под самый Новый год, ждала нас такая непогода, что туча легла на лица команды. А нас окружали, как я вам уже доложил, форменные «морские волки». Старший механик ходил к обоим полюсам. Первый штурман произносил слова «Бильбао», «Бискайский залив» и «Акапулько» так, как мы произносим «Пора спать»… И вот моряки, смотревшие прежде на стрелки, карты и ни разу не поглядевшие в морскую даль, теперь всматривались в лед, шуршавший за бортом.

Собирались мы спросить, что, собственно, опасного в этой ледяной каше, как вдруг боцман, торопливо шагавший вдоль борта, сообщил: «Графа Калиостро» сорвало с причала и бросило на канадский ледокол.

Небольшой, однако нарядный «Граф Калиостро», кажется, бельгиец, обошел нас в самом начале Святого Лаврентия и первым достиг первой стоянки на реке. Под Новый год это морской шик, это – почести, которые и были возданы капитану «Калиостро» мэром городка Три-Риверс или Труа Ривьер, если те же Три Реки произносить по-французски, как двояко произносится в Канаде все. Там, в сутках ходу от Монреаля, «Калиостро» и застрял, пока его не оторвало. Но парадный банкет все-таки успели справить. На него приглашен был и наш капитан со штурманами, причем самый младший из них, впервые попавший на подобное торжество, вернулся с большими глазами: банкет проходил так, словно дан был ради нашего капитана; все вертелось вокруг нашего мастера, будто «Волхов», а не «Граф Калиостро» был первым в Три-Риверс, Труа Ривьер то ж. Однако штурман постарше, произносивший Бильбао, Бискайский залив,

Панамский канал, Гонконг, Акапулько так, как говорим мы с вами «Пора спать», разъяснил, что это всегда так, что отцы города чтят нашего «папу» (так еще называют капитана на морском языке), помня, что «папа» когда-то самым первым пришел сюда зимой.

Услыхав про «Калиостро», мы поспешили на мостик. Вахту нес штурман, произносивший Бильбао и Бискай, как «Пора спать». Стармех, по-морскому называемый «дедом», ходивший к обоим полюсам, но за весь наш трансатлантический рейс не знавший, кажется, другой дороги, кроме как из машинного отделения до шахматного столика в кают-компании, этот «дед» тоже был здесь. Стоял на мостике и «папа». Командовал, как положено, лоцман канадский.

– Тихий ход, – произносил он по-английски с французским акцентом.

– Есть тихий, – вторил ему по-английски, но с выговором русским наш рулевой.

Корабль-гигант, шедший до сих пор, как заводная игрушка, на автоматах, взят был в руки, все те же руки, веками державшие штурвал под аккомпанемент тех же команд: «Тихий ход!» – «Есть тихий»…

На реке сумятица льдов и кораблей. Пурга. Шквал, подхвативший незадачливого «Графа», размахивал судном, выбирая новую жертву, угрожая тем, кто сюда пришел вопреки порядку, установленному природой. Канадские ледоколы жались в сторонку, спасаясь ото льда, который забил реку до самого дна. Суда тревожно гудели. На мостике, хотя командовал по уставу местный лоцман, все посматривали на капитана, на мастера, на «папу». И выражение лиц было не банкетное, а такое: «Вы проложили трассу, вот и расхлебывайте эту кашу».

При виде наших сухопутных лиц «папа» улыбнулся виновато и сказал:

– Обстоятельства форс-мажорные, видите ли… Стихия…

Да, но где мы находимся? Где и когда все это происходит? Что мы – открываем новый материк или следуем трамповым рейсом Мурманск – Монреаль? Я вам не Колумб, а командировочный. Рядом берег, сияет реклама, катят автомобили, разворачивается панорамой Квебек, псевдостаринный замок, и тут же здания из стекла и бетона… Старина и современность, традиция и прогресс, культура и цивилизация, порядок и комфорт, – какая еще может быть стихия! Почему в новый год, в начале последней трети двадцатого века, должны мы вступать в рукопашную схватку со льдом и рекой, с этими форс-мажорными обстоятельствами, как изволил выразиться капитан? Тут я заметил, что «папа» в шлепанцах на

босу ногу. Видно, лежал на диване, подняли его, вызвали. И вышел он по-домашнему. Как в повести «Тайфун» у Джозефа Конрада: «Присутствие капитана успокаивало, словно этот человек, выйдя на палубу, принял на свои плечи всю тяжесть бури». В этом – престиж, привилегия и бремя командования. Никто не мог помочь капитану нести его бремя. Зато капитан, почувствовав на плечах этот груз, совсем успокоился. Он отпустил вахтенного штурмана, предложил лоцману передохнуть в специальной каюте, где были приготовлены ему кофе и коньяк, нам он посоветовал прилечь.

Прежде чем уйти, мы, посмотрели, что же все-таки он будет делать.

Мастер встал у борта, слегка облокотившись, как, знаете, каждый из нас может остановиться на мосту через речку, чтобы взглянуть на рыбок. Взглядом, для которого я не подыщу слов, смотрел он на лед. Так, пожалуй, смотрел, словно не было существа ему ближе, чем с хрустом и визгом ломающаяся масса. Глядя на лед, видел он просторы своего детства. Тоном, каким говорят «Хотите стакан чаю?» – говорил рулевому:

– Чуть право руля… Право… Так держать.

Надо было видеть, каков был результат этих едва слышных команд, отданных, кажется, даже совсем не специальными словами, какой катаклизм возник между нашим гигантом и ощетинившимся льдом. «От этой дикости капитан не требовал ничего, кроме возможности дышать и пробиваться дальше» («Тайфун»).

За нашим кораблем выстраивались суда. Ледоколы, которым следовало прокладывать нам путь, шли за нами. Тут уж как на банкете: наш «папа» всегда остается первым, ему почет и место.

Облокотившись у борта, стоял мастер. Добавить надо: стоял всю ночь.

Всю ночь грохотал за бортом лед. Доктор, забывшись сном, стонал. Ему, вероятно, представлялся со всей достоверностью несчастный исполин «Титаник» в столкновении с глыбой льда или «Нормандия» с «Мавританией», врезавшиеся друг в друга на нью-йоркском рейде.

Уже в Монреальском порту «папа» на прощание сказал:

– Лошадок ваших я полюбил. Полюбил с первого взгляда. А сначала, когда телефонограмма поступила, думаю: голову кому-то следует отвертеть за такие шутки! Какие лошади?! Я в Абердине под грузом стою. У меня план. Так нет, изволь идти за тремя лошадьми. Мало того, в Мурманск пришел: сколько забот! Команду надо перекомплектовать. Лодок спасательных не хватает, где их взять? Супруга на самолете прилетела, полгода не

встречались. И вы тут со своими лошадьми! Но зато когда я их увидел…

А вели мы их полярной ночью при свете фонарей под попонами. И с настоя за время карантина лошади наши от бездействия одичали: свеча за свечой, вдыбки! Кругом громоздились краны-чудовища, мрачные пакгаузы, но лошади так, больше от баловства, чем от страха, взвивались вверх у каждой тени. Они уже, кажется, показывали жеребячий пыл, который следовало им показать в Америке «старику». «Стой, с-скотина», – шипел доктор, взлетая, будто клоун, вместе с поводьями вверх.

– …и увидел красоту, будто в сказке! И супруге моей ваши лошади тоже понравились. Да, думаю, голову, конечно, кое-кому следовало бы отвертеть, но будем уходить от волны, будем, держаться по погоде. Будем держаться!

* * *

Со школьных лет, заучивая наизусть «Эх, тройка, птица-тройка, кто тебя выдумал?», мы мало отдаем себе отчет в том, что и тройка и «выдумал» – это реальность. И вот реальность распадается на множество практических подробностей, главным образом беспокойств: не длинны ли гужи, не ослабла ли дуга, как бы не соскочили постромки, что-то правый пристяжной плохо дышит…

Я – за кучера. Тройку, которую мы с доктором привезли показывать за океан, сладил (съездил) старик Кольцов Сергей Васильевич, наездник-троечник с конного завода, буквально тот самый гоголевский расторопный мужик, способный с «одним топором да долотом» и т. д. А управлять ею должен был его сын, ипподромный призовой мастер-наездник Валерий Кольцов. Но сопровождать тройку он не смог, потому что ему предстояло тогда же выступать со своими рысаками на большие призы в Париже. Не мог отправиться на этот раз в путешествие из-за больного колена и знаменитый владимирский кучер Владимир Фомин, который когда-то самым первым доставлял в Америку наших лошадей и, как рассказывают, ехал на тройке по Бродвею.

– Ничего, – сказал человек, от которого все зависело, – вы тоже справитесь.

А у меня перед глазами стоял прославленный тренер Григорий Башилов, он обычно после моей езды на приз царапал смущенно хлыстиком по песку, говоря: «Ученых много, да умных мало». И другой известный наездник, под началом которого я

также ездил, щелкал секундомером и спрашивал лаконически: «Чалдон у тебя есть?» Словом, ряд авторитетов конного дела настойчиво выражали сомнение в наличии у меня того, что этот наездник обозначал «чалдоном», а чаще называется «головой» или «чувством лошади», а также «хорошими руками». Поэтому, когда довелось мне взяться за вожжи нашей символической тройки, я постарался собрать вместе с вожжами весь свой наивозможный навык.

Мы от души сделали журналистам заявление: «Тройка – это исконная эмблема нашей Родины, символ русского раздолья, народной сноровки и удали», – и сел я на облучок.

Ощущение в самом деле символическое. «Знать, у бойкого народа… В той земле, что не любит шутить… Черт побери все… Дают ей дорогу другие народы и государства».

Доктор с мэром города сидели сзади за пассажиров, и тройка тронулась в направлении толпы, расположившейся полукругом на поле.

Множество мелких беспокойств владело мною. Правая пристяжная, по обыкновению, не ладила, хомут кренился на сторону, но – светило солнце, коренник нес шею картинно, по-лебединому, пристяжные кипели, медвежья полость сверкала, бубенцы мягко перезванивались, и ярким пятном мы играли по полю. «Словно серые лилии на зеленом лугу», – на другой день писали газеты. Наш первый публичный выезд за океаном прошел благополучно.

Однако наша тройка была вполне гоголевской и даже чичиковской, в том смысле, что переходы от пафоса к иронии совершались у нее с полной непосредственностью. Несколько дней спустя, на обычной утренней проездке, лошади, чего-то напугавшись, понесли. Место было очень уж неподходящее: тут же кипела большая дорога с бесконечным потоком машин.

Левая вожжа запуталась и оборвалась. Мне угрожала участь Ипполита: «запутался в вожжах» (см. у Еврипида и Расина).

Лошади вырвались на шоссе.

* * *

Как объяснить вам основные трудности троечной езды? Вот один из наших космонавтов, когда спросили у него об ощущениях во время старта, ответил: «Все равно что на тройке». Космонавт этот, сын зоотехника, вырос на конном заводе, так что вполне мог отвечать за свои слова. И если воспоминание о тройке выдерживало даже космические перегрузки, то что уж говорить о

двенадцатикопытном трехгривом вихре, несущемся, пусть в условиях земного притяжения, зато «без руля» – без вожжей.

«Но как же ездили прежде?» О прошлом забудьте. Никто и никогда не ездил на таких лошадях и с такими скоростями, как мы сегодня. А то, что вы о лошадях читали, – неправда. «Лошадиные истории» создаются по всем правилам мифотворчества. Как в легендах и преданиях совмещаются в один день столетия, так и на «лошадиных портретах» черты многих соединяются в одном… как бы это сказать… лице. Серебристая грива, как у того мустанга, что видели в штате Монтана, черная полоса на спине – таков был «гроза табунов» из Айдахо, на левой задней белая отметина – из Орегона, и все эти признаки людская молва присваивала одному коню, и вырастал конь-герой, который, совершая богатырские подвиги, пересекал континенты. А вот сопоставив документальные данные, мы можем убедиться: давно нет почтовых дилижансов, воспетых Диккенсом, нет ямских троек, о которых слагались песни и чья стремительность помнится как былинные чудеса, и соперники ветра, степные аргамаки, не знавшие устали, попадаются разве что на выставках, но если бы, в самом деле, машина времени доставила нам из прошлого легендарных четвероногих героев, как теперь морские корабли и воздушные лайнеры лошадей доставляют прямо к старту, и встретились бы они все на ипподроме действительно в одном призе, то уж пришлось бы поглотать им, этим легендарным лошадям, пыли из-под копыт современных крэков, скакунов экстра-класса, которые оставят сзади, далеко за флагом, какого угодно сказочного Сивку-Бурку!

И неужели вы думаете, что для демонстрации в Америке выбрали тройку – какой-нибудь второй сорт? Выбор осуществляла специальная комиссия во главе с Григорием Башиловым. Входили в комиссию виднейшие знатоки породы, в том числе Валентин Михайлович Одуев, о котором я еще расскажу. Сначала они решали вопрос о мастях и в результате остановились на серых. Для выбора были приведены тройки со всех конных заводов. А после просмотра уже только серых, но всех оттенков, от бурых до каурых, выбрали серых в яблоках, подготовленных Кольцовым. В корню – Водолаз, пристяжки – Ратник Турецкий и Большой Вальс. Имея в виду некоторую неблагозвучность клички коренника, Водолаз, как обычно в таких случаях делается, был переименован и стал Великолепным.

Правда, когда подбор закончили и осталось подписать протокол, Одуев было уперся и не хотел подписывать, потому что, видите ли, в родословной у Ратника вроде бы где-то в седьмом колене обнаружилась какая-то чуждая примесь и, стало быть,

представительствовать от нашей страны ублюдок-метис не мог. Валентин Михайлович имел обыкновение создавать лишние трудности, стоял он за чистоту породы и вообще требовал полной правды, но тут, в силу экстренных обстоятельств, строптивца-правдоискателя подавили большинством голосов. Впрочем, Башилов еще колебался, присоединяться ли ему к этому хору или нет, но к нему лично обратилось начальство, и тогда наивысший конный авторитет произнес: «Для пристяжки сойдет». Тут Одуев издал стон, словно ему пронзили самое сердце, и наконец накарябал свою фамилию так, словно это и не он расписался.

* * *

Некоторое время я тянул две оставшиеся из четырех вожжей на себя, почти лежа навзничь, но тут лопнул гуж, качнулась дуга, и коренник фактически освободился от упряжки. Долго ли можно держать лошадь на одних вожжах? Раздался удар, экипаж чиркнул землю, я вылетел, а надо мной, как в фильме, пронеслись кони, только не огненные, как в кино, но темные.

Откуда-то возник черный стремительный автомобиль с надписью-молнией «Шериф», с ревом и риском он понесся наперерез общему потоку и лошадям. Все, кто только был на ферме, очутились верхом и тоже полетели стремглав, соперничая с машинами. Но всех опередил паренек Фред. Он был на машине. Он поставил свой «джип» поперек шоссе, наши лошади, волоча за собой остатки экипажа, оторвали у него крыло, но все-таки замедлили ход, и тут же один из всадников, спешившись, повис у них на удилах.

Лежа на обочине, я сообразил, что потерявшая управление и голову тройка выражала, в сущности, ту же идею, только другую форму все той же идеи: «…И сам летишь, и все летит… Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты… Что значит это наводящее ужас движение и что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях?»

Позднее, когда происшествие превратилось в рассказы о том, как, кто и куда бросился на помощь, я спросил Фреда, что скажет его отец про искалеченный автомобиль.

– Да, – отвечал Фред, – что-нибудь такое он скажет. Ведь он у меня наполовину уэльсец, наполовину ирландец. Представляете себе, что за смесь?

И правда, дня два мы потом Фреда возле наших лошадей не видели.

* * *

Плыли мы через океан, а на вероятный вопрос: «Что вы бы хотели увидеть в Америке?» – у нас готов был ответ: «Ковбоев». И вот мы оказались бок о бок с ними – шляпы, шпоры, кожаные штаны, седла с рогатой лукой, а на луке – лассо. Ковбои как ковбои, как написано в книжках или показывается в кино.

А мы для них были спортсменами. Надо было слышать, как они это произносили: «С-спортсмены»… Хотелось их покороче узнать, а они нас сторонятся. Нет, вражды не было. Все вежливо, все вовремя, и помощь была, да еще какая! Помощь была. Душевности не наблюдалось. Пробовали мы найти с ними общий язык прямо через лошадей:

– Ведь все мы конники…

– Мы вам не конники.

– А кто же вы?

– Ковбои.

Это мы и сами видим, но в чем разница? Вы на лошадях, мы – на лошадях… И тут один из них произнес речь. Долго терпел он, наблюдая наше типично ипподромное шаманство, священнодействие вокруг лошадей: сдувание пылинок, проводки в руках, попоны – чуть только шевельнулся ветерок, теплая водичка по утрам, а главное, не перетрудить работой, лишней ездой! Кто же из конников ездит на лошади? О ней говорят, вокруг нее священнодействуют, а ездить – это… это невозможно вам объяснить.

Этот Томас, старший ковбой, видел, что мы не бездельничаем, толчемся вокруг своих лошадей с утра до вечера, но все это было по-ипподромному, по-спортивному и потому не в его вкусе. Долго терпел ковбой и больше не мог терпеть. Он вообще был немногословен, но, как это бывает с молчаливыми людьми, взорвавшись, не мог остановиться.

– Поймите меня правильно, – говорил Томас, – вы конники, а я ковбой. И лошадь, и езду я понимаю как ковбой. Поймите правильно, я не намерен вас обидеть. Мы, люди Северной Дакоты…

Для Томаса, хотя сам он жил на Среднем Западе в Огайо, не существовало ничего, кроме Северной Дакоты, откуда он был родом.

– Мы, люди Северной Дакоты, умеем уважать. Мы говорим так: у ковбоя грязь может быть на сапогах, только не в душе. Я знаю, у вас своя езда, у меня своя. Что лучше, судить не буду. Вам, быть может, следовало остановиться в другом месте, где есть тренеры и они занимаются той же… той же…

Томас искал слова помягче, но, ясно, он хотел сказать «чепухой».

– Поймите правильно, – воскликнул Томас, – я не хочу вас обидеть!

Америку, по словам Томаса, создали не спортсмены, не те, кто ходит теперь с хлыстиками в руках и с важным видом.

– Вы думаете, – продолжал Томас, – что ковбои – это как в кино – пиф-паф? Да, сейчас еще ходят у нас с кольтами у пояса. В Северной Дакоте не ходят, а в Южной ходят. И стреляют. Но никогда не стреляли ковбои так, как это показывается в кино!

Стреляли в воздух, объяснил Томас. Жили ковбои в глухих, отдаленных местах, в город приезжали редко, но уж если отправлялись куда-нибудь развлечься, то, возвещая о себе, палили на всю округу. Кроме того, стреляли ядовитых змей, койотов, рысей. Каждая женщина у ковбоев умела взять в руки кольт, чтобы при случае уберечь ребенка от диких зверей и ядовитых гадов.

Так говорил ковбой, а у него, как в песне, и конь хороший есть, и лассо, и кольт, если нужно, будет.

– Поймите правильно, я не хочу заставить всех на свете ездить по-ковбойски! Мы говорим: ничто так не греет душу ковбоя, как конская шерсть. Пусть мой Добрый Гарри не знает ни попон, ни подстилки, ни крыши над головой и нет у него такой родословной с золотыми буквами, какие есть у ваших рысаков, но когда я привез его с собой сюда из Северной Дакоты и у меня его хотели купить, я ответил «Нет». Никто меня больше ни о чем не спрашивал, потому что я сказал только «Нет». Я сказал «Нет!» потому, что мой Добрый Гарри для меня… он для меня… – тут в самых настоящих ковбойских глазах блеснули самые настоящие слезы, и разговор дальше нельзя было вести.

Мы с доктором дали клятвенное обещание досконально изучить ковбойский образ жизни и езды. Тем более, сказали мы Томасу, что у нас казачья и кавказская езда многим похожа на ковбойскую. Прибежала жена Томаса: услыхав шум и зная про наш решительный разговор, она решила, что мы подрались. Нет, это доктор с Томасом били друг друга по рукам и по плечам.

На следующий день по распоряжению самого Старика мы вылетали в Техас.

* * *

Старик, которому доставили мы тройку, не был миллионером, он был мультимиллионером. Иначе говоря, был

так богат, что в газетах писали: «Мистер С. не решается отрицать, что его личный капитал составляет больше ста миллионов долларов».

Да, удивительно у миллионеров отношение к деньгам. Одна монетка или миллион в руках – он распорядится любой суммой с одинаковой почтительностью.

– Мистер С., мы остались должны за сено и овес пару центов.

Думаете, опускается рука в карман, вытаскивает сколько захватила ладонь и… Никогда! Как перебирают гречневую крупу, осторожно отысканы два медяка: «Прошу вас!» Еще нам нужно тысячи полторы на перевозку лошадей. «Пожалуйста». Как появились из кармана центы, точно так же отсчитываются тысячи. И на челе его высоком не отразилось ничего…

– А, – сказал Старик при виде наших лошадей, которые после месячного морского простоя ходить на четырех ногах, кажется, вовсе разучились, предпочитая плясать на двух задних, – в молодости я сам такой был.

Все засмеялись. На следующий день слова эти вместе со смехом появились в двенадцати газетах.

Наш старик был истинно стар. Ни зрение, ни слух, ни – не знаю, что еще там, – не работало у него без мощнейшей вспомогательной аппаратуры, созданной по последнему слову техники. Весь он опутан был проводами, а когда после публичных выездов нашей тройки, на каждом из которых он присутствовал, устраивалась пресс-конференция, к этим нитям добавлялась паутина из проводов от микрофонов.

И вот представьте себе: сидит похожий со своими трубками и антеннами то ли на гигантского первобытного муравья, то ли на механического робота далекого будущего старичок, и у него, чье каждое слово пресса разнесет в прямой пропорции к его состоянию, спрашивают:

– Мистер С., почему связались вы с красными? Что может быть у вас с ними общего?

Юпитеры режут глаза. Напряженная тишина оглушает. Едва слышным, шелестящим, как желтые листья, голосом владелец заводов, газет, пароходов говорит:

– Родом я простой сельский парень, с детства люблю лошадей, в Советском Союзе тоже любят лошадей. Вот мы и нашли общий язык.

– Но вы, мистер С., – не унимается пресса, – в контакте не только с Москвой. Зачем вы совершили рейс в Гавану? Что нашли вы на Кубе Кастро для себя?

Тишина напрягается еще больше. Кажется, будет взрыв. А механический кузнечик шелестит в десятки подставленных ему

микрофонов:

– Родом я простой сельский парень, с детства люблю лошадей, кубинцы тоже любят лошадей. Вот мы и нашли общий язык.

* * *

– Даллас – это еще не Запад, – говорил Томас, когда мы приземлились в центральном аэропорту Техаса. – Настоящий ковбойский Запад начинается дальше. Вот куда мы едем, там будет Запад.

Действительно, скоро мы очутились в особом мире. Конечно, ипподром, бега, скачки – тоже целая вселенная, поэтому мы как частичка ее чувствовали себя вполне по-свойски и среди ковбоев: все же лошади, а в атмосфере знакомый электризующий ток. Правда, давала себя знать и разница – щегольством костюмов, конского убранства и музыкой больше напоминая цирк.

Тому, кто имел дело с лошадьми, объяснять излишне, что все это разные миры, хотя, разумеется, всюду лошади, но разные лошади, а стало быть, люди в каждом случае тоже особые.

В Америке, как и вообще на Западе, профессиональные отличия усугубляются еще и деловой междоусобицей: рысистый мир не признает скакового, ковбои вообще держатся особняком на том именно основании, что у них в отличие ото всего остального конноспортивного человечества «грязь только на сапогах…»

Ковбои, настоящие ковбои, тяжело переживают свою легендарную популярность. В книгах и кино знаменитыми сделало их все то, чем они вовсе не занимаются. Не грабят они, не стреляют, красавиц не умыкают, в барах с утра до вечера не сидят, им не до этого – скот надо пасти, на то они и ковбои! Ковбой – скотник. У него свое дело, и даже о быках с ковбоем вести разговор нужно умеючи. Быки – они разные: у одних рога – во! другие совсем почти без рогов. Если с ковбоем, который посвятил свою жизнь «длинным рогам», заговорить о «безрогих», то пеняйте на себя. Ковбой убьет вас… взглядом.

А ковбои в кино – это люди, переставшие быть ковбоями. Именно такого отбившегося от дела ковбоя людская молва и экран сделали «грозой прерий», «героем». Мода превратила ковбойство в промышленность, изготавливающую джинсы, чепсы (кожаные штаны), шляпы, седла – словом, все, что нужно ковбою.

– Что это вы джинсы берете такие широкие? – спросили меня в ковбойском магазине.

– Так ведь иначе ноги не поднимешь и стремени не достанешь.

– А вам это зачем? Разве верхом ездить? – удивился продавец. – Ведь у нас джинсы покупают не в седле сидеть. Поэтому берут такие узкие, чтобы трещали при каждом шаге. А если верхом ездить, тогда другое дело.

Тут у меня могут потребовать уточнения, дескать, как же так, ведь общеизвестно, что ковбои всегда носили джинсы узкие ровно настолько, чтобы в них было невозможно было ходить – нужно было даже несколько шагов преодолевать исключительно на лошади. Кто же не видел «Великолепной семерки»? А кто видел, тот уж, наверное, запомнил, как искусно ковбойской походке, словно скованной, подражал татарин-сахалинец российского происхождения Таджи Хан, ставший под именем Юла Бриннера звездой американского экрана. Но «семерка» действительно великолепная, это и есть кино, искусство: вопрос меры. Вроде циркового эпизода в «Приключениях Гекельберри Финна», когда вольтижер *умело* чуть ли не падает с лошади, ковбойская походка Юла Бриннера являет тот же парадокс искусства: на самом деле уж настолько скованно ковбои не ходят, но актер, зная, как они ходят, выдержал меру выразительности, достаточной для зрителя. У нас им, помните, восхищались даже профессионалы, актеры и режиссеры: «Как ходит! Как ходит!». То есть как образ ковбоя создает. Тот же Юл Бриннер создал образ китайского императора и столь же замечательно сыграл Митю в добротном американском фильме по «Братьям Карамазовым». Разве что у Бориса Ливанова видел я в этой роли сдерживаемую и кипучую, как пружина, энергию загула: «Веришь ли ты, Алешка, что от одного только восторга можно убить себя!». Бриннер, наш соотечественник (говорил по-русски без акцента), сияет на голливудском небосводе среди ярчайших звезд. Мы с женой в колледже, где работали, сделали выставку «Они – из России», о вкладе русских в жизнь и культуру Америке, и на фотографии Таджи Хана – «Бриннер, люблю тебя!» написал кто-то из студентов или, скорее, студенток (подпись неразборчива).

* * *

Итак, ковбои. В псевдоковбойской галерее родоначальником считается некто Билли Козел, персонаж конца XIX века. Он успел «пришить» более двадцати человек и собирался прибавить к этому списку шерифа из Нью-Мехико, но шериф сам умел спускать курок вовремя, и в ночь на 14 июля 1881 года он

прибавил Козла к своему списку. Миновала, как видите, сотня лет, и за это время была не только написана биография «великого Билли», но составилась библиография, целая литература о нем в полтыщи названий: проза и стихи, пьесы и сценарии. Каждое заглавие так и стреляет: «Шерифы и преступники», «Дикие люди Дикого Запада», «Они отдали богу душу, не снимая сапог…» Из Билли Козла пытались сделать ковбойского Робина Гуда, однако о нем на этот счет высказался свой же брат, еще один видный представитель «пулеводства», «гроза равнин», Джесси Джеймс.

– Жалкий кусок человечьего мяса, – все, что сказал Джесси про Билли после того, как поговорил с ним с глазу на глаз.

Друг друга они, конечно, стоили. Разница заключалась лишь в том, что простоватый Козел, угоняя чужой скот и убивая людей из-за угла, «работал» по найму. А «гроза равнин», обладая известной широтой воображения, совершал налеты на поезда исключительно по собственной воле. Не всякий ковбой, который бросал свое дело и брался за оружие, был «пулеводом» вроде Билли и Джесси. Были из ковбоев такие борцы за честь и свою свободу, которые свободу с «легкой жизнью» не путали. Но в большинстве все это, конечно, пиф-паф!

Киноковбои ненавистны ковбоям именно потому, что кино действует, гипнотизирует, навязывает этого Козла, которого облагородили своим обаянием Гэри Купер, Грегори Пек или Юл Бриннер, в «герои», в «настоящие». Но простые ковбои знают правду: кинозвезды, обворожительно улыбаясь из-под широкополой ковбойской шляпы, глядят в лицо опасности, а Козел стрелял своим жертвам в спину! Не смог, не сумел по своей бездарности, глупости и лени стать ковбоем Козел, вот и взялся за «пулеводство».

– Не был он никогда ковбоем и пусть теперь, хотя бы и с экрана, нам зубы про свое «ковбойство» и про «соль ковбойской земли» не заговаривает. Землю эту он бросил, он от нее бежал. Кровью ее он поливал, да только не своей, а чужой!

Вот есть у ковбоев кодекс. Там много всяких правил и пунктов. «Не позволяй лошади, сбросившей тебя, так и остаться без всадника», «Не делай ничего пешком из того, что можно сделать, сидя в седле», «Когда отправляешься в город, брюки могут быть рваные, но шляпа и сапоги должны быть новые» и т. п. Кодекс неписаный, но дело в том, что вся эта ковбойская мудрость, как сообщил Томас, и вслух никогда не произносится.

– Но как же тогда это все передается? – спросил я у Томаса.

– А по́том…

– Как ты сказал?

– Ну, как впитывает седло конский пот, как кожа рук и кожа

повода обтираются друг о друга, так вот и эти правила передаются через поры.

Наш Томас не был из тех романтиков, которые грезят о минувшем рыцарстве, не ведая, каким оно было. Он и слушать не хотел, например, разговоры о «быках былых времен».

– Пусть мне не говорят: «Ах, вот были быки»… Знаю я их рост и вес – мельче моих!

На своих быков смотрел он взглядом романтика, и в этом отношении совершенно не похож был на двоюродного деда своего, на Марка Твена. Да, мало того, что был он ковбоем патетическим, он, наш Томас, оказался еще и внучатым племянником Марка Твена. Координируя наш совместный с американцами проект «Марк Твен и русские писатели» (визави проекта «Американские писатели и Толстой»), я узнал, что в Америке «родственников Марка Твена» не меньше, чем у нас участников Ленинского субботника, помогавших Ильичу нести бревно. Но другу моему можно было верить хотя бы потому, что о своем родстве с классиком он проговорился неохотно, словно стыдясь. Жена его объяснила: «Ведь Марк Твен в молодости сбежал из дома, и семья чувствует себя навсегда опозоренной». А Томас нас предупреждал:

– Я не хочу сказать, что унаследовал сколько-нибудь великого таланта!

Этого мы и не думали, но я скажу вам, что унаследовал человек в седле от бывшего речного лоцмана Клеменса, он же Марк Твен. «Река потеряла для меня половину своего очарования, когда я взглянул на нее глазами лоцмана», – говорит Марк Твен, сначала лоцман на Миссисипи, а впоследствии – автор «Приключений Гекльберри Финна». У Томаса получалось наоборот: все, что касалось ковбойства, рассматривал он глазами ковбоя и – с восторгом. Со знаменитым предком роднило его другое: движение большой реки, которое почувствовал лоцман Клеменс и передал писатель Марк Твен, наш Томас, Клеменс со стороны матери, перевел на посадку в седле.

Объездчики и гуртовщики, табунщики и бракеры – это все разные ковбойские специальности. Наш Томас был гуртовщиком – смотрел за стадом. У него в Северной Дакоте была своя ферма, но магнат из Огайо, наш Старик, которого он со своими быками оставлял позади на всех выставках, соблазнил его хорошим жалованьем и не только убрал конкурента, но еще и заставил на себя работать.

* * *

В Техасе Томас сразу же поспешил к быкам. Мы, собственно, прибыли на большую выставку скота, по случаю которой здесь же, на исконной земле индейцев-команчей, проходило родео – состязания ковбоев. Мы должны были показывать нашу тройку, а Томас – быков.

Томас сам напоминал быка, вставшего на задние ноги и улыбающегося приятной человеческой улыбкой, и отличался он умением растить телят – мясистых, увесистых, стандартных. Это – благодаря непрерывной пастушеской бдительности. Быкам не позволялось терять даром ни минуты: они должны были жевать или двигаться. Если бык переставал работать челюстями, Томас заставлял его работать ногами. Расхаживая по загону или разъезжая верхом по пастбищу, наш ковбой зорко следил, не спрятался ли где-нибудь лежебока, который просто так лежит себе и все.

Перед выводкой быкам, ко всему безразличным, страшноватым на вид, но, в сущности, безобидным, наводили последний блеск. Даже поили пивом, чтобы шерсть была глаже и вид бодрее. Из дружбы к Томасу мы старались интересоваться и быками, но тянуло нас, конечно, туда, где, как в старинном анекдоте («Позови моего брата! Вон тот, в шляпе с широкими полями…»), все были в шляпах с широкими полями, все верхом, все в кожаных брюках, словом, это был мир, сошедший со страниц самых головокружительных книг юности и в то же время абсолютно взрослый, серьезный мир.

Каждый всадник, каждая поза, всякая деталь сбруи или костюма, невольно подмеченная, пока мы бродили по двору, вокруг загонов и по конюшням, действовала сразу и сильно. Естественно, люди не позировали специально. Они занимались лошадьми, готовили их, мыли, чистили или же пробовали под верхом разные приемы.

Я помню, как в первый раз я увидел Кавказ, Эльбрус, табуны, однако ярче всего остался в памяти кинжал, который свесился через край лавки, а на лавке спал старик. Кинжал свесился у старика, словно туфля, как сигарета через край губы. Так шляпы, сдвинутые на затылок, кони в золотых седлах, запросто привязанные к забору, – все действовало вспышками, а когда заблистала арена, когда шляпы были щегольски надеты и кони замундштучены, это казалось уже не столь ослепительно. Поймите меня правильно, как имел обыкновение говорить наш Томас.

«Мне приходилось в самом деле стрелять медведей и охотиться на китов, – рассказывал о себе создатель Шерлока Холмса Конан Дойль. – Но все это не шло ни в какое сравнение с

тем, как я пережил это впервые, еще в детстве, с Майн Ридом в руках».

За Майн Рида, которого все когда-то держали в руках, пришлось поплатиться, когда после Техаса наш Томас предложил перейти от наглядных к практическим урокам ковбойства.

Лассо летит, и, как все мы читали, конь тоже летит. Поэтому, преследуя бычка, пустил я веревку и сам, привстав на стременах, устремился за петлей, чтобы – лететь. Вместо полета получилась сильная встряска, и я удержался в седле, только уцепившись рукой за высокую переднюю луку ковбойского седла. «Знали они, о чем писали?» – прошипел я про себя, поминая Конан Дойля с Майн Ридом и потирая синяк от рогатой луки, ударившей в поддых.

Как только взвилось лассо, конь не летит, он останавливается будто вкопанный, готовясь принять на себя рывок заарканенного животного. А ковбой тем временем прыгает с седла и устремляется к быку.

– Прыгай! – кричал Томас и сам прыгал с небольшой гнеденькой кобылки, которую у соседа позаимствовал на этот случай (а своего Доброго Гарри он отдал мне).

– Хватай! – командовал ковбой, стараясь коленом прижать рогатую голову к земле. – Тяни, чтоб тебя!

Вокруг нас жалобно мычали коровы, решив, видимо, что годовалому бычку, попавшему к нам в петлю, пришел конец. Нет, Томас хотел только показать, как это делается то, что мы видели на родео и что называется «вали-быка». Эти «вали-быка», «отгони-телка» помогают ковбою и коню управляться со стадом, когда нужно разбить телят и коров, поймать бычка и тавро поставить. Какой он, в самом деле, конник! Конь – инструмент. Отсечь, например, ото всего стада одну скотину конь выучен сам, без указаний повода и шпор. Повод нужно бросить и спокойно сидеть в седле, успевая за неожиданными движениями лошади, а она винтом крутится, подставляя рогам оскаленную морду.

Томас с таким фанатическим воодушевлением обращал меня в свою веру, так азартно старался преподать основы ковбойской науки, что пар валил от нас, от быков и от лошадей. Даже Добрый Гарри дымился.

* * *

Но гвоздь ковбойства – «езда на диких лошадях», которую мы видели на родео, после того как показали тройку и быков. Да, «дикие» в кавычках: все это условно. Лошадь в действительности

не дикая. Брыкается она лишь потому, что надета третья подпруга, ремень, опоясывающий круп и пах. Ох, эта третья подпруга! Ни один редактор и слышать не хотел про третью подпругу, про всю правду о «диких» лошадях, когда, вернувшись из Америки, приступил я к исполнению служебных обязанностей – стал готовить к изданию «Всадника без головы». «Без головы» – пожалуйста, но чтобы безо всяких разоблачений. Никакой третьей подпруги: дикие, и все!

– Насмотрелся, понимаешь! – говорил мне редактор. – «На самом деле они вовсе не дикие!» Да я, может быть, всю жизнь воспоминанием о том, как это у Майн Рида описано, живу! «И одним прыжком Морис-мустангер…»

– Но так не бывает!

– А я тебе говорю, что бывает, раз я этому верю! Ты мне еще про третью подпругу расскажи, понимаешь…

Пришлось третью подпругу из примечаний вычеркнуть и грешить против истины, но я утешался тем, что самому Стивенсону редактор запретил разоблачать «Остров сокровищ».

– Что! Чары разрушать? – так сказал редактор, и Стивенсон смирился.

А все-таки третья подпруга тревожит лошадь, и лошадь будет бить задними ногами до тех пор, пока не отделается от помехи. Разве бьет и брыкается эта лошадь меньше дикой? У ковбойской лошади – искусство. Дикий неук, оказавшись под седлом, не обязательно будет сразу бесноваться, а искушенный ковбойский конь, исполняя роль «дикой лошади», неустанно брыкается, и как брыкается! Не меньше и не больше дикой – *иначе,* как говорил Пушкин, желая объяснить разницу между творчеством и жизнью.

Уздечка снята, ковбой держится одной рукой за веревку, перекинутую через шею лошади, а вторая рука свободно откинута. Продержаться на беснующейся лошади надо всего десять секунд. Куда там диким!

Что касается диких, то помню, как к Николаю Насибову, жокею международной категории, бившему крэков мирового класса, пресса приставала с вопросом, перегонит ли он мустанга.

– М-мустанга! – сказал мастер. – Да классный финиш на современной скаковой дорожке – это высшая резвость коня, которую когда-либо видело человечество!

Мы видели буланого Билли Кида: конь был назван по имени того самого плачевно-легендарного ковбоя, занятием которого служил не скот, а грабеж. Вместе с кличкой от своего крестного праотца буланый дьявол унаследовал и склонность к разбою. Грабил он бывалых ездоков.

Прежде чем участвовать в состязаниях, всадник делает взнос,

и не обидно потерять свои деньги в результате борьбы, но четырехногий Билли Козел не оставлял претендентам и этого удовлетворения. Конь мгновенно разделывался с ними, как бы говоря: «Плакали ваши денежки!» Абсолютного чемпиона по ковбойской езде Билли выкинул из седла на наших глазах с такой скоростью, что никто не успел разглядеть, как, собственно, это случилось. Но вообще техника этого матерого преступника была такова. Толкаясь сразу всеми четырьмя ногами, он прыгал высоко вверх. Это и называется «козел», но само по себе еще не так страшно, если наготове быть. Зато там, наверху, в высшей точке «козла», Билли Кид умудрялся кинуть задними ногами еще раз – винтом. И тут уж удержаться в седле невозможно просто по законам природы.

За один сезон конь-козел поставил рекорд: из тридцати всадников на нем не могли усидеть двадцать девять. Одного, наверное, буланый потрошитель просто пожалел.

– Ах, Билли! Вот это Козел! – только и твердил, находясь под впечатлением, Томас.

Потом он восторженно обратился ко мне:

– А ты хотел бы попробовать такую езду?

Дома садился я на неуков, и даже, под наблюдением отставного вахмистра, заездил полукровного голштинца, что потом исправно подвозил продукты в магазин, а когда подвоз с помощью грузовика механизировался, ходил под табунщиком. Но голштинцы считаются породой хладнокровной, а полукровок был ещё укрощен наследственной умеренностью темперамента наших многострадальных крестьянских лошадок. То был образцовый облом, истинный неук, он не только не брыкался, он под седлом как будто окаменел и его было трудно заставить сдвинуться с места, как и, подняв с постели, подвигнуть на какую-либо деятельность его литературного тезку. А здесь четвероногие мастера, вроде Билли Козла, «дикость» показывали. Они тебе покажут такое, что костей не соберешь! Предложение, очень соблазнительное и крайне настойчивое, мне удалось отклонить только под предлогом, если я как официальный посланец сломаю себе шею, это осложнит и без того напряженные отношения между нашими странами. Первую причину – отсутствие у меня денег, чтобы оплатить удовольствие вылететь из седла, Томас тут же отверг: «Я за тебя заплачу!». Меня устрашила полнейшая серьезность, с какой Томас настаивал на моем участии в объездке так называемых «диких коней», был он искренне расстроен моим отказом. Хочу я или нет стать ковбоем? Так он ставил вопрос. А я, в порядке самообороны, хотел его спросить, что же это он, ратуя за натуральность и прославляя полудикую свою Дакоту, все же

перебрался на промышленный Запад.

Спор разрешился сам собой: сотрудники Томаса, скотники, напомнили ему, что с триумфальной победой его белого быка, которого повели фотографироваться на красном ковре в гостинице Хилтон, им положен дармовой обед и долго ждать угощения они не намерены.

* * *

«Знаешь, сколько у нас в Северной Дакоте старинных русских сел?» – звучит вопрос Томаса у меня в ушах. Этот ковбой, потомок американских пионеров, почитал русских крестьян-переселенцев среди создателей Америки. Тогда об этих селах я ничего не знал, теперь знаю, что села не русские, населяют их немцы, приехавшие с Поволжья.

Русские вообще составляют наименьшую часть эмиграции из Российской Империи или Советского Союза. Ранние эмигранты, как князь Димитрий Голицын или полковник Иван Турчанинов, это были искатели типа Дмитрия Карамазова, мечтавшие «уехать к последним из могикан», чтобы сбросить груз постыдных сословных привычек.

Голицын, наполовину немец и, возможно, русского не знавший, однако называвший себя русским, ставший католическим священником, почитался за святого прихожанами церкви в Лорето, им же основанном в глуши штата Пенсильвания. Местные жители сперва хотели было его отколотить за чрезмерно строгие с их точки зрения нравственные требования, а в конце концов едва между собой не подрались за честь постоять у его гроба, когда умер одинокий старик, который не расставался со своей лошадью, а также собакой и скрипкой: он каждый вечер играл, а собака слушала. С молодых лет в седле, прекрасный наездник, упал Голицын, быть может, как Пушкин: не с лошади, а вместе с лошадью. Дело было зимой, и лошадь могла поскользнуться.

Полковник Генерального Штаба Иван Турчанинов, ставший в Америке Джоном Турчиным и дослужившийся как герой Гражданской войны до бригадного генерала, закончил жизнь в приюте для бедных (не стало его покровителя Президента Линкольна). Однако Турчанинов написал Герцену, с которым виделся в Лондоне накануне отъезда за океан: разочаровавшись в американцах и Америке безмерно, он всё же благодарен этой стране: здесь научился он не бояться никакой работы и полагаться только на себя.

Четырьмя волнами эмиграция из России хлынула к новым берегам с конца девятнадцатого века. Первая волна состояла из крестьян и мелких ремесленников, а этнически преимущественно из евреев, вторая волна – послереволюционная, сравнительно немногочисленная, но необычайно мощная за счет образованности, высококвалифицированная эмиграция, другие страны такие кадры и в таком числе в Америку не поставляли. Эта волна, называемая иногда «первой», и заставила говорить о *русской эмиграции* в силу сделанного ею вклада и оказанного влияния от авиации до арахнологии (пауковедения). Американские артисты, особенно танцоры и музыканты, стали брать русские псевдонимы, чтобы добиться успеха. Третья волна – дефисты, депатрианты, то есть перемещенные лица после Второй мировой войны. Их русские, считавшие себя эмигрантами, сторонились, подозревая в дефистах коллаборационистов с нацистами. Мы с доктором видели это отношение и слышал презрительное: «Дефист!». Четвертая, ошибочно называемая «третьей», состояла из евреев, которым было позволено оставить Советский Союз. В отличие от прежних эмиграционных волн, эта волна была создана – эмигрантов так называемой «третьей» волны зазывали и обеспечивали, чего прежде и знаменитости из России не видели. Вернувшись тогда домой, получил я из Америки письмо. «Вы милым американцам скажите… Не забудьте сказать американцам, какие они милые…» – это писала невестка Сикорского, сестра Набокова, у неё тесть строил американские самолеты, брат почитался знаменитым американским писателем, а всё же ешь, но чувствуй, и любознательные почтмейстеры Шпекины существовали, как видно, по обе стороны Атлантики.

Все, что на исходе шестидесятых годов, и то с некоторыми сокращениями, удалось мне опубликовать из статьи «Россия за рубежом», был только фрагмент – о лошадях. Но заглавие статьи попало в печать и даже, хотя без сноски, получило хождение. А статья, написанная для журнала «Москва», не была ни принята, ни отвергнута. «Не знаем, что со статьей делать», – сказали в редакции, где ко мне хорошо относились. Таково было состояние умов: ни отвержения, ни признания зарубежной России. Это, впрочем, касалось не только эмиграции, но и революции, и вообще чего угодно из нашей истории, о чем еще не разрешалось сказать «Да», но и «Нет» сказать уже тоже было невозможно. Повторять прежние благоглупости не поворачивался язык, а новых формул не выработали. Сейчас, что касается эмиграции, по сравнению с прежним поношением или замалчиванием ударились в противоположную крайность и заговорили о том, что чуть ли не вся достойная Россия выехала за границу. Конечно, ни

одна другая страна не растрачивала так своих людских ресурсов: по количеству людей с высшим образованием русская диаспора занимает первое место среди эмигрантских групп. «Своим успехом за рубежом мы обязаны русским университетам», – писал эмигрант послереволюционной волны, крупнейший специалист по сопротивлению материалов, Степан Тимошенко. У него американцы учились, поколение за поколением, учебники его издаются у них в серии «Классика науки». Спросил я одного американца-инженера, известно ли ему имя Тимошенко. Он даже обиделся и говорит: «Пойдите сюда». У него возле рабочего стола полка с книгами Тимошенко. И тот же выдающийся ученый, подводя итоги, колебался, пробуя ответить самому себе на вопрос, добился ли он за рубежом, помимо престижа, каких-либо значительных научных результатов.

Помня слова Дантона о своей стране, унесенной на подошвах сапог, русские инженеры, ученые и артисты многое унесли с собой и, как правило, смогли реализовать, а дальше, дальше? Добжанский преобразовал эволюционную теорию, но он и выехал, усвоив уроки уничтоженной на родине Московской школы генетики (в год, когда опубликовал он в Америке свой труд, его научный руководитель был отправлен в Соловки). Совершил ли выдающийся биолог какие-либо ещё открытия? У этого порога споткнулись гиганты – Шаляпин и Рахманинов. На родине Сикорский построил летающего великана – «Илью Муромца», а за рубежом сократился до вертолетов.

Сумели создать нечто новое и развернуться широко, как не могли бы они раньше и мечтать, те, кто приспособился к американским вкусам и условиям. Приспособление и дало нечто новое, уж как его оценивать – другой вопрос. Истинный создатель современного балета, Михаил Фокин, на Западе увял, а Баланчин преуспел. Балету я не судья, хотя с младых ногтей (мать работала в мастерских ГАБТа) бывал даже за кулисами Большого театра. Мое мнение не стоит ничего – есть мнения экспертов. «Баланчин вытравил из балета эмоциональность», – сказано было английской прима-балериной Марго Фонтейн. Почему к Баланчину стремился, однако от него ушел её любовь и партнер Рудольф Нуриев? Потому что Баланчин хотел заставить его переучиваться. Что значит переучиваться? Значит, стать гимнастом, проделывающим на сцене балетные па. Гимнастика труднейшая, а полета, то есть души, нет. Нуриев, как и Барышников, остались танцорами, как научили их в школе Мариинского театра, замечательными, несравненными танцорами. По телевидению их показывают и при этом комментируют: «Они не могли реализовать свой талант в

советских условиях». А показывают, особенно Барышникова, их ранние записи на сцене Мариинки или Большого. Реализовать себя, в смысле, иметь мировую рекламу и стать сказочно богатыми, они, разумеется, в советских условиях не могли, но талант их был признан и развит в советских условиях настолько, что им с лихвой хватило на всю сценическую жизнь.

Образец успешного приспособления – Владимир Набоков. Но разве по нему не сходят с ума в России? В России сейчас дикторы говорят с английской интонацией.

В советские годы, если говорили об эмиграции, оскудение таланта на чужой почве эксплуатировалось политически и толковалось примитивно. Однако сама проблема реальна и отбрасывать ее нельзя. «Распространение – это не развитие», – ещё Конст. Леонтьев говорил. Проблема органическая, а не политическая. Известная мера благоприятных условий, как гражданская свобода, способствует реализации творческих идей, сами же идеи растут, по выражению поэта, из такого родного «перегноя», что страшно становится.

«До-ро-гой длин-ную…» – ещё в открытом море по радио начала нас преследовать *наша* песня, но в иностранной обработке, с другими словами, обработка талантливая, однако всей команде хотелось узнать настоящие слова, а никто, начиная с капитана, их не помнил. И у меня – блок памяти. Хоть лопни, забыл и всё. Радист от моего имени дал телеграмму в Институт мировой литературы моему другу-сотруднику – он был знаменит исполнением этой песни под гитару: «ШЛИ ТЕКСТ ЕХАЛИ ТРОЙКЕ». Друга, получившего из Атлантического океана такую депешу, вызывали куда следует.

Добравшись до Америки, мы с доктором отправились в магазин за пластинкой. Зарубежного названия песни мы не знали и потому попросили «пластинку с русской мелодией».

– На русские мотивы песен у нас очень много, – отвечал продавец. – Прошу вас, напойте, что вы ищете.

Очень скоро продавец пришел в замешательство.

– По вашему пению затруднительно определить мотив, джентльмены!

На помощь пришла продавщица, она угадала, что нам нужно. Мы подтянули ей, продавец тоже запел, и некоторое время в магазине звучало:

Дорогой длинною и ночкой лунною,
И с песней той, что вдаль летит, звеня…

– А вы слышали, – обратился к нам продавец, – что в Америку

сейчас привезли настоящую тройку?

Американские русские потянулись к нашей тройке как будто под воздействием магнита. Я говорю не о политической эмиграции. То был трудовой народ. У многих путь в Америку начался еще в третьем и четвертом поколении. И как часто слышали мы от типичных американцев то, что услышали от профессора кафедры коневодства в университете штата Огайо. «Я, собственно, русский. Нет, по-русски я не говорю. Но прадед мой из Воронежа». Пришел пасечник Марченко, обосновавшийся здесь во времена, описанные Короленко в повести «Без языка». «Приезжайте ко мне в Коннектикут», – прислал письмо Игорь Иванович Сикорский, и надо бы поехать, да руки были заняты – вожжами.

А одна встреча все же состоялась именно благодаря вожжам и копытам. Должна была состояться во что бы то ни стало, иначе нам не было бы дороги домой, ибо весь московский ипподром во главе с Григорием Башиловым нас напутствовал: «Повидайте Джони!»

– И потребуйте от него ответ, – добавил Валентин Михайлович Одуев, – почему отец его, Вильям, придержал Крепыша в последнем повороте?

Расшифрую: Вильям, отец Джони, – великий наездник. Крепыш – великий рысак. Все это было в начале двадцатого столетия, когда в Москве разыгрывался Интернациональный приз. И тогда на «короле русских рысаков», сером Крепыше, в силу странных, до сих пор не выясненных обстоятельств, ехал Вильям Кейтон, да, достойный мастер, «король езды», но – американец. А решалась в том призе честь русской породы. Наш серый великан на последней прямой проиграл секунду гнедому американцу по кличке «Дженераль-Эйч». Так получилось… А как получилось? Давно это было, но рана свежа и поныне! А Валентин Михайлович был великий знаток истории конного спорта. Всю жизнь посвятил он изучению рысистых бегов. Как только выходила какая-нибудь «лошадиная» книга, он тотчас писал рецензию, и автор в ней выглядел невежда невеждой. Валентин Михайлович не считал за труд указать множество всяких неточностей.

«Глубоко ошибочно думать, – писал, например, Валентин Михайлович, – будто резвость великого Крепыша уже к четырем годам достигла двух минут и восьми секунд. Общеизвестно, что в то время наш несравненный рысак успел показать еще только результат в две минуты восемь секунд и пять десятых на полторы версты, и лишь два года спустя, в расцвете сил, серый гигант в руках Константинова (камзол белый, рукава голубые), сменившего коварного Кейтона, совершил свой феноменальный

финиш…»

Тут же Валентин Михайлович приводил свое описание этого исторического бега с указанием множества подробностей: какова была в тот день на ипподроме погода, сколько публики и какие заметные лица находились среди зрителей… Нас же он не только перед отъездом снабдил детальнейшим описанием злополучного приза, но, кроме того, направил вдогонку нам письмо, которое настигло нас в Техасе, настигло и – потрясло даже ковбоев, безразличных ко всему, что не ковбойство. Уже не «дела минувших дней», не «преданья старины глубокой» содержались в письме. То была исчерпывающая инструкция, как найти последнего из Кейтонов, наследника этой наездничьей династии, тоже наездника – Джони Кейтона. Из Москвы в Америку Валентин Михайлович сообщал адреса американских ипподромов, распорядок призовых дней, а попутно состояние дорожки того или иного ипподрома на сегодня.

– Давно ваш соотечественник живет в Америке? – спросили ковбои, когда я им прочел письмо, добавив просьбу помочь в поисках Джони.

– Нет, он даже в Москве никуда не выезжает за пределы Беговой улицы и Скакового поля, окаймляющих наш ипподром.

В почтительнейшем молчании широкополые шляпы склонились над исписанной бумагой. Не понимая слов, они воспринимали самый дух, исходивший от этих исполненных иппического энтузиазма страниц. Перевел я им и первую инструкцию с описанием рокового приза, когда Крепыш проиграл, а Кейтон, отец Джони… вот мы и не знали, что думать, что тогда получилось?

– Что думать? – взорвался Томас. – Говорю я тебе, что это у ковбоев грязь только на сапогах. Мы найдем этого Джони, и мы заставим его ответить за все!

Томас вызвал жену и велел ей связаться по телефону со всеми ипподромами, которые перечислены были Валентином Михайловичем («Хотя и не ковбой, но – человек!») и где мог находиться Кейтон-младший («С-спортсмен»). Томас вызвал жену, потому что телефон – не лассо: руки плохо слушались ковбоя, когда ему приходилось держать что-нибудь еще, кроме веревки, поводьев или вожжей. Жена держала телефон, и вскоре Джони был обнаружен, согласно инструкциям Валентина Михайловича, на ипподроме в Колорадо-Спрингс.

– Едем! – сказал Томас. – Доктор, Фредди и ты, Билли, вы останетесь с тройкой, а мы с ним едем!

Но тут на нашем пути обнаружилось препятствие, которого и сам Валентин Михайлович не мог предусмотреть. Среди

окружавших нас людей оказался один, вполне официальный представитель, заявивший, что далее двадцати пяти миль я, как иностранец, не имею права уклоняться от маршрута, предусмотренного заранее. Иначе, сказал этот человек, мной займутся государственные органы.

– Органы?! – взревел Томас и тут уж, в самом деле, стал похож на одного из лучших своих быков. – Какое дело нашим органам до этого человека, который обязан выполнить патриотический долг, выяснить, почему проиграл их лучший рысак!

– А вы не очень-то разоряйтесь, – отвечал, однако, представитель. – У них там тоже порядки – ого-го!

– Ладно, – согласился Томас, положив руку мне на плечо. – Пойми меня правильно, я не хочу ставить тебя под удар. Пойми правильно – ты тоже оставайся. Поедем мы сами и доставим его сюда!

Случаются же такие вещи, трудно в них поверить, хотя все совершалось у тебя на глазах. Будто сон: «Он был или не был, этот вечер»… Дождь стал накрапывать, добавляя призрачность во все происходящее. Широкополые шляпы одна за другой скрывались в автомобиле. Жена Томаса села за руль – только она одна хорошо умела вести машину. Только она одна умела вести машину, но каждый из ковбоев садился в кабину с таким видом, будто это – конь, и стоит только дать «джипу» хорошенько шпоры, и погоня достигнет цели.

И они скрылись из наших глаз.

Если только конь хороший у ковбоя…

– А? – доктор как очнулся от видений наяву. – Ор-р-ригинально!

* * *

Кейтоны – наездничий клан. Так всей семьей они и приехали в Россию Они, собственно, сто лет тому назад начали русско-американскую торговлю лошадьми. Джони родился в Москве, на Скаковой улице. Они были соконюшенниками (сверстниками – на лошадином языке) с Григорием Башиловым. Вся Москва собралась тогда болеть за Крепыша. Однако не мог ответить Григорий Григорьевич Башилов, живая летопись ипподрома, на допросе, учиненном ему Валентином Михайловичем со всем пристрастием, что же тогда было. Он помнил только, как дед и

отец его, сами классные наездники, говорили, что Кейтон спустил Крепыша с вожжей, и серый боец, не чувствуя привычного посыла, естественно, сбавил ход. Но так ли оно было? «Вы понесете всю меру исторической ответственности, – писал в письме к нам Валентин Михайлович, – если не узнаете у Джони, что слышал он от отца».

И вот перед нами он, вылитый Кейтон, – это я знал по старым спортивным журналам. Они привезли его на другой день, и прямо с порога конюшни Кейтон – «принц», сын «короля езды» – спросил:

– Как там Гриша?

А ему и вопросов не пришлось задавать. Сам достал из кармана желтую фотографию. И ее я знал: перепечатывалась в иппологической литературе множество раз. Только это была она сама, оригинал – отсвет великой битвы былых времен.

– Отец мне всегда говорил, – ответил американец как бы сразу через Атлантику всем тем, кто ждал его ответа, – что он вел борьбу до конца.

Если бы (так, со слов отца, говорил нам Джони) в призе была еще одна лошадь, которая могла заставить Дженераль-Эйча ехать во всю силу прямо со старта, то Крепышу не пришлось бы с ним бороться по дистанции. Кейтон полагал, что в результате напряженной борьбы Дженераль-Эйч на последней прямой, как говорится, «встанет». Но вышло иначе. Таким образом, Кейтон признавал свой тактический просчет. Надо было видеть, как Кейтон-младший отвечал, как рассказывал он, потомственный хранитель наездничьей традиции, что вела со Скакового поля до Колорадо-Спрингс через Атлантику. Не стану занимать вашего внимания деталями, да я и сам не в силах постичь был всех призовых тонкостей. Ковбои тоже не особенно вслушивались в специальные разъяснения – что им бега! – они слушали сердцем, они понимали по-своему, что хотел сказать этот американский наездник, увидевший свет на ипподроме в Москве.

– Отец, – повторил Джони с твердостью в словах и во взоре, – всегда говорил мне, что вел борьбу до конца.

И он еще раз протянул нам пожелтевшую фотографию: голова в голову. Серый гигант, наш Крепыш, который по популярности соперничал в те годы с самим Шаляпиным («В России гремят двое – Шаляпин и Крепыш!» – говорили тогда), шел с поля. Хорошо был виден размашистый, низкий, настильный ход – полет над дорожкой. В белом камзоле Кейтон-отец – со своей характерной посадкой, которую усвоили впоследствии все наездники, стараясь ездить по-кейтоновски больше, чем сам «король», – поднял руки с вожжами. Какая минута!

Взоры всех обратились ко мне. «Вот видишь, – единодушно говорили ковбои взорами, – он оправдался». Но ведь и меня напутствовал целый конный ареопаг. «Смотри, – говорил весь наш конюшенный двор на Беговой и словами, и взорами, – узнай все, как было»… И Валентин Михайлович вновь и вновь повторял как стихи: «Первый круг прошли они голова в голову, но в последнем повороте»…

– Джони, – сказал я, – это первый круг! Только первый круг. А в последнем повороте…

– Как первый круг? – преобразился Кейтон. – Отец всегда говорил…

– Это первый круг, Джони! А в последнем повороте твой отец спустил Крепыша с вожжей и – проиграл секунду.

– Спроси у Гриши, – воскликнул Джони. – Он подтвердит!

– Григорий Григорьевич и сказал мне, что на фотографии лишь первый круг.

– Но мы же с ним не видели финиша! – спохватился Кейтон. – Мы у конюшни проваживали лошадей перед следующим бегом.

– Да, однако он слышал от деда и отца. А по документам все проверил вот этот человек, – я указал еще раз на письмо.

И все снова сгрудились над исписанными страницами, всматриваясь в строчки на языке незнакомом, но остроту, всю боль ситуации все понимали без слов.

– А отец мне говорил, – печально-печально вздохнул Кейтон, – что в России прошло его золотое время.

Еще бы: «король» царил на призовом треке, и по праву. Но дрогнуло в нем сердце спортсмена, когда ставкой сделались интересы торговца. Победа Крепыша означала бы резкое снижение цен на рысаков из-за океана. И великий мастер заставил великую лошадь проиграть. Но никто не забыл той секунды, которую проиграл Крепыш, никто не забыл тех минут, когда перед трибунами вели инородного победителя, и публика – вся Москва – стояла в молчании: победителя не приветствовали. Никто ничего не забыл, в том числе и главный виновник поражения, только он постарался похоронить неприятную память. Но есть ведь еще и другие люди, хранители воспоминаний, исполнители исторического возмездия.

Джони искренне помрачнел.

– Как же вы меня отыскали? – горько усмехнулся он. – И кто же это так хорошо знает историю моей семьи?

– Есть у нас там один такой, он вам изложит даже родословную того коня, которого Калигула приводил заседать в Сенат.

– Подумать только, – вздохнул последний Кейтон, – меня

достала рука Москвы!

Наследник выдающейся наездничьей династии, чьи цвета помещены в Зале Рысистой Славы, Джони держался с предельной скромностью, вел себя с нами совершенно по-дружески, как со своими, постоянно навещал нас, подписал меня на журнал «Стук копыт», и то было единственное зарубежное издание, поступавшее ко мне совершенно беспрепятственно. Из того же журнала, к сожалению, пришлось узнать, что однажды в призу, при столкновении у бровки, Джони был вышиблен из качалки и переброшен через «канат» (перила, окружающие дорожку с внутренней стороны); у него, как сообщалось в журнале, оказался сломан таз, и вскоре пришло известие о его кончине. Ушел последний Кейтон.

* * *

Наш друг Томас заразил всю округу ковбойством. Конторский клерк, живший от нас через дорогу, возвращался с работы из города, выходил на задворки и начинал посвистывать. Минуты через две раздавался в ответ фырк, топот – с дальнего конца поля бежала гнеденькая кобылка, та самая, которую Томас одолжил на время наших уроков ковбойства. Хозяин ждал ее с куском сахара и с тяжелым, как сундук, ковбойским седлом на плече, купленным в складчину с еще одним соседом. Конником клерк заделался недавно, он продолжал учиться у Томаса ковбойской науке, а когда тут же поселились мы, он стал бывать еще чаще – в расчете на бесплатную ветеринарную помощь.

– Доктор, она хромает! – раздавалось у нашего окна вечером, часов в семь, когда мы уже успевали задать корм нашим лошадям, а клерк только возвращался из города и собирался сесть в седло.

– Ничего подобного, – устроившись у телевизора, даже головы к окну не поворачивал доктор.

Доктор успел здесь показать, насколько понимает он в лошадях, и всадник, успокоенный, сразу пропадал за окном. Впрочем, однажды сосед сделался настойчивее.

– Доктор, доктор, по-моему, она жеребая! Я теперь вспоминаю, что Томас выпустил ее как-то вместе со своим жеребцом и… и…

– Могу провести ректальный анализ, – между двумя выстрелами с экрана прозвучало из полутемной комнаты.

– Нет, что вы, доктор! Зачем же так серьезно? Вы просто посмотрите. Прошу вас!

На пороге появилась фигура доктора, впрочем, тут же

исчезнувшая с такой скоростью, что доктора уже не было, а слова, им произнесенные, еще звучали:

– На пятом месяце.

Доктор успел себя здесь показать, поэтому диагноз, повисший, так сказать, в воздухе, новоявленный ковбой принял с той же почтительностью, как выслушивал он наставления Томаса: «Как сидишь? Ты на ковбойском седле или на дамском?»

Держал ковбойскую лошадь и паренек Фред, тот самый, что на машине догнал тройку. Фактически Фред завершил целую галерею лиц, первое из которых я увидел еще в Мурманске, когда начинали мы трансатлантический рейс.

Ждали парохода и постоянно слышали: «Начальник порта сказал… Начальник приказал…» – и, конечно, рисовали себе некий облик в соответствии со словами «начальник порта». Когда же в последний день, прежде чем «отдать концы», пошли мы к начальнику сказать за все его распоряжения «спасибо», то вместо «спасибо» у меня челюсть отвисла: на месте начальника перед нами был – мальчик!

Это – лицо № 1. Дальше. Погрузились мы на пароход. Вышли в море. Я получил разрешение осмотреть мостик, и тут встретил меня просто ребенок, однако – третий помощник капитана.

Эти розовые лица у кормила власти или у руля океанского судна заставляли меня, звавшегося до тех пор молодым, чувствовать себя каким-то обветшавшим праотцем, вроде короля Лира, а ведь я считал себя, по меньшей мере, ну… ну, Гамлетом.

Я взял себе за правило, как тень отца Гамлета, являться на мостик за полночь: вахта пареньку, как нарочно, выпадала ночью. Филиппок – именем толстовского мальчика называл я нашего штурмана, потому что, как вы, наверное, помните, Филиппок носил отцовскую шапку, налезавшую ему на уши, а штурману, мне казалось, велика капитанская фуражка, – Филиппок на мостике, совсем один, вел во мраке океана гигантский корабль. И это он, как выяснилось, еще и стихи писал:

Вспомни море, день рожденья,
Нашу дружную семью,
Наше общее волненье,
Океанскую волну…

Да, так рифмовал он «семью» и «волну», но с каким чувством! И вот он смотрит в бинокль. Говорит в рупор. Шелестит лоцией. Может быть, мальчик просто играет в кораблики? Но… Но ведь мы, в самом деле, плывем! Простите, по-морскому надо говорить – идем.

Если я поднимался на мостик к девяти, штурман Филиппок как раз в это время проверял по первым, только что выступавшим звездам наше положение в океане. Тогда он выглядел особенно маленьким: на ветру, на открытой площадке, среди косматых валов худенькая фигурка с ушами, оттопыренными великоватой фуражкой, какой-то помесью подзорной трубы, циркуля и линейки, ловит мерцающую огромную звезду и обращается ко мне:

– Хочете Венеру посмотреть?

«О, – думал я в ответ, – как монументально пошел бы я ко дну, если бы мне поручили вести дело подобного размера»…

Я спросил у капитана, что же это, какой-то младенец, да еще по ночам, руководит кораблем? «Папа» ответил: «Штурман. Давно плавает». Давно? Наверное, в его морской стаж входят и мокрые пеленки.

Наконец, Фред. В нем, кроме детства, было еще чисто американское соединение ребячливости и деловитости. Порода сказывается, как говорил Толстой, любивший эту поговорку из конюшенного обихода. Двести лет – и вся история! «Американские мужчины-мальчики», – сказал Хемингуэй. «Американцы, даже когда они седы, и лысы, и жуют вставными зубами, производят впечатление подростков», – писал по свежему впечатлению Горький. А вот дети у них, напротив, очень солидны. Одна девочка, когда мы показывали тройку в школе, задала нам вопрос: «В нашем обществе положение человека определяется деньгами, а у вас чем?». А я… я и понятия о том не имел, не знал ответа. Не знал ответа и никто из тех, кому во время своих выступлений об Америке я задавал тот же вопрос.

Фред, сын строителя-монтажника, учился в восьмом классе. Кроме того, он, как и его сверстники, подрабатывал – на ферме у Томаса. Скопил денег, купил телку. Телка сама по себе была ему ни к чему. Просто денег хватило на телку. Повез телку на ярмарку, показал, продал. Еще заработал денег и – купил лошадь. Вы скажете: «Чичиков!» Какой же Чичиков, когда он под шляпой, в седле и с лассо в руках – Фенимор Купер! Гэри Купер! Именно так и смотрели на него местные девчонки. Только он на них не смотрел. Я спросил у Фреда, что же это он все с нами да с лошадьми…

– А, эти пташки, – просто отозвался он. – Времени, знаете, совершенно на них не хватает. Впрочем, сегодня у нас в ковбойском клубе танцы. Хочете пойти?

Я спросил у доктора, не пойдет ли он на молодежный вечер в ковбойский клуб? Доктор отвлекся от экрана, где непрерывно лилась ковбойская кровь, и в глазах у него, у доктора, был

отчетливый вопрос: «Тебе сколько лет?»

Фред был выделен нам в помощь, лишние руки требовались – рысаки из-за перерыва в тренинге стали подхватывать на унос.

Фред садился верхом на одну пристяжную, я – на другую, доктор делал проездку кореннику в экипаже. Так мы готовились к публичным выездам. Множество беспокойств владело нами: собирается толпа, крик, вспышки магния…

– Просят местного пастора взять пассажиром, – сообщил вдобавок Фред, когда был назначен день нашего парадного выезда.

– Ты, главное, пока этот старикан будет в пролетку карабкаться, – наставлял его доктор, – у левой пристяжки возле самой морды стой. Она – с-скотина, но ты стой и держи!

– Я буду стоять, как стояли наши на Диком Западе! – отвечал мальчик.

Как ни заняты были у меня руки и голова вожжами, гужами, постромками, но с облучка через голову левой пристяжной не забыл я в тот день посмотреть, как это – «на Диком Западе», и увидел взгляд, что был у начальника полярного порта и у штурмана дальнего плавания, который был и поэт.

Толпа в отдалении гудела. Доктор с пастором уселись в экипаж. Журналисты опутали нас проводами. Лошади напружинились.

– Мотор!

– Говори, да покороче, – велел доктор.

– Для русских тройка – символ. Нашу миссию мы считаем вдвойне символической, потому что показываем тройку народу, история которого началась с конского пробега…

Говоря об историческом конном пробеге, подразумевал я «скачку Пола Ревира», поднявшую американцев на революционную Войну за Независимость. Однако нельзя было ни там сказать, ни дома напечатать, что, вроде «Авроры», пальнувшей холостым залпом, бостонский ювелир Ревир не доехал до цели. Вместе с двумя смельчаками он летел на коне всю ночь, пока его не перехватили. Доскакал другой всадник, полковник Прескот, однако памятник поставили не ему, а – Ревиру. «Полуночный герой», как стали называть золотых дел мастера из Бостона, достойно и настойчиво отрицал свое первенство, но со временем его воспел Лонгфелло. Знаменитый поэт знал истину и все-таки, вопреки достоверности, однако согласно законам поэтической справедливости, создал миф, который из поколения в поколение вдохновлял американцев, со школьных лет учивших наизусть:

Слушайте, дети! Знает весь мир,
Как в полночь глухую скакал Пол Ревир…

От многих легенд своей истории американцы с тех пор отказались, но с этой не хотят окончательно расстаться. Президент Гардинг сказал так: «Доехал Ревир или не доехал, а нам он по душе».

Провода убрали.

– Пускай! – в один голос с доктором сказали мы Фреду.

Светило солнце, медвежья полость сверкала, бубенцы перезванивались, хотя гужи были, конечно, слабоваты, а поводок от уздечки пристегнут не совсем правильно.

Потом фотографии, обошедшие зарубежную прессу, с нашим возвращением попались на глаза самому Фомину, и уж он прописал мне по первое число за этот поводок.

– Позор! Позор на весь мир! – сокрушался великий кучер. – У тебя бубенцы на какую сторону от гривы подвешены? Почему повод от уздечки через згу не продернут? Что же после этого о нас в Америке говорить станут!

* * *

Вопроса о зге в Америке никто непосредственно не затрагивал. Зга – колечко под дугой, отсюда выражение «Зги не видно», то есть темно так, что в двух шагах ничего невозможно различить. Несмотря на мою принципиальную ошибку, принимали нас как картинку из хрестоматии. Но как мог оправдаться я на великом судилище – стихийном, однако представительном, где собрался весь беговой мир?

Было это в день больших призов, устроенных по случаю ежегодного Праздника зимы и особого юбилея – Двухсотлетия русской рысистой породы. Дело вел, конечно, Валентин Михайлович.

– Истинно культурный человек, – говорил он, – не может не знать назначения зги! Наша национальная упряжь представляет собой результат длительного эволюционного отбора по мере того, как вырабатывались и совершенствовались приемы езды. На бескрайних просторах нашей Родины, в условиях бездорожья…

Короче, Валентин Михайлович подробно осветил историю каждого компонента конской упряжи, и на фоне этого обзора моя оплошность с поводком выглядела особенно непростительной. Все слушали и согласно кивали.

– Да, – в порядке приговора произнес Башилов, – умных мало.

– Ну, что с него спрашивать, – сказал под конец старик Кольцов Сергей Васильевич. – Если уж у человека ни рук, ни головы нет, то ведь их не приставишь.

И это прозвучало даже как известное смягчение решительного вердикта. Так что уж я в дальнейшем, на весь беговой день, решил держаться в тени Сергея Васильевича, прибывшего посмотреть, порадоваться, как его сын Валерий выиграет в честь двухсотлетия породы «Кубок Крепыша». Почему выиграет? Даже мне было это ясно как на ладони. Великий Фомин, по выражению наездников, хромал на левую переднюю, то есть колено у него не успело зажить, и он в этот день был только зрителем. А Валерий был на подъеме. Он удачно проехал в Париже на приз Венсенского леса, а пока ездил он в Париж, за тройкой его присматривал сам Кольцов-старший.

Да, Сергей Васильевич был истинный гоголевский ямщик. «И сидит черт знает на чем, а привстал да замахнулся… да затянул…» Петь Сергей Васильевич, положим, не пел, но зато пело да играло все, что ни попадало ему в руки. «Я лошадей знаю», – это он сам говорил. Однако он их не просто знал, он их понимал, и даже не как человек, хотя бы и очень знающий, а просто как может лошадь понимать другую лошадь. Вот это было и у Томаса, ковбоя. Внутреннее чутье в отношении к животному, которое у тебя в руках. Вообще я таких людей видел всюду, по всему свету они есть, даже друг на друга похожи, только – редки.

Все признанные ипподромные мастера побаивались Сергея Васильевича. Он – наездник сельский, иногда вдруг приводил какого-нибудь своего конька «на гастроль», как он выражался, и – выигрывал. Ему знал цену директор конного завода, и был директор рад вдвойне, что младший Кольцов уехал пожинать лавры в Париж, а старик за него остался. «У старика-то ведь не руки, а часы фирмы Павел Буре!» – так выражался директор. Почему часы, это уж неизвестно, но понятно было всякому: кони после рук Сергея Васильевича будут идти как идеальный механизм! «А Валерий вернется, – развивал свою идею директор, – и с сердцем проедет». Это уж тем более понятно: молодому на приз ехать способнее, молодым везде у нас дорога!

Словом, приз давно был разыгран в мечтах. И разыгран по всей справедливости. Весь завод, конюхи, кузнецы, табунщики приехали на ипподром как на праздник. Приехали получить положенное. А сверх того, директор выделил средства, чтобы каждому, кто причастен к подготовке юбилейной тройки, был подарен полутулупчик. Сергей Васильевич заранее присмотрел себе один и даже померил.

Я случайно видел, как он примерку совершал, и в ту минуту вдруг мелькнула мысль, до чего похож он на Пугачева из «Капитанской дочки», когда тот надевает на себя гриневский заячий тулуп: та же ухватка, та же борода, те же быстрые глаза, одним словом, та же… Ну, вы перечтите или припомните и поймете.

Мы шли с Кольцовым через беговой круг, напрямик, чтобы попасть в публику прямо к старту. Нас нагнал в автомашине заводской директор Борис Яковлевич и предложил подвезти. Он пожал Сергею Васильевичу руку с исключительным чувством, а когда старик сказал, что хотел бы просто так дойти, еще раз пожал – на прощание, но до скорой и счастливой встречи. Сколько вынесли они, сколько держались, отстаивая честь и смысл этой нашей породы, и вот наступил их день, на их улице – праздник. Сейчас будет старт, потом – победа, потом «До-рогой длинною и ночкой лунною»…

В это время догнала нас какая-то мне незнакомая тройка – рыжие. И наездника я не знал. Но Сергей Васильевич только увидел его, весь засветился и закричал: «Земляк!» Наездник, тоже немолодых уже лет, как видно, обрадовался, улыбнулся, но улыбка быстро сошла с его лица. Сергей Васильевич даже спросил:

– Что не весел, земляк?

– Чему радоваться? – отозвался тот. – Остался вот перед самым призом без пассажиров.

Пассажиры на соревнованиях троек обязательны. Они по делу необходимы. Это мы в Америке ездили по-кучерски, управляя в одиночку, а пассажиры были там для вида, но ведь мы ехали трусцой по сравнению с той резвостью, какая бывает в призах. В призе пассажиры – те же кучера, только занятые пристяжками: у каждого в руках по одной вожже, по одной пристяжке. А наездник занят полностью коренником. Секрет заключается в слаженности: пристяжки летят на галопе, несут всю тяжесть экипажа, коренник на рыси дает резвость.

– Куда же они у тебя пропали? – спросил про пассажиров Кольцов.

– Один с температурой под сорок слег, и у другого сорок, только не в том смысле.

– Понимаю… – отозвался Кольцов.

И вдруг предлагает:

– А что, где наша не пропадала, давай я у тебя за пассажира проеду?

– А второй? – все еще уныло спросил наездник.

– Второй… – глазки Кольцова по-пугачевски забегали. – А

вторым мы безрукого возьмем. Ничего, сойдет!

– Как же так, безрукий-то? – удивился кольцовский земляк.

– Нет, – разъяснил Кольцов, – у него передние конечности имеются, он по существу рук лишен.

Тут я понял, что речь касается меня.

– Идет! – повеселел земляк саратовский (С. В. родом был из-под Саратова). – Прошу садиться.

Мы сели в сани на широкое заднее сиденье. Тройка тронулась.

– Ты как, в шансах? – спросил у земляка старик Кольцов.

Земляк опять приуныл:

– Какое в шансах! Коренник правой задней приталкивает. Как бы с хода не сбился. Да и какие шансы! Ведь ясно: Валерий твой один и – близко никого. Новый Кейтон. Молодежь нас забивает!

– Э, что там, – вдруг встрепенулся Кольцов-отец, которого, как мне показалось, задела эта постановка вопроса о конфликте поколений. – Ты вот что, – велел он совсем по-хозяйски земляку, – ты вертай обратно на конюшню, мы там что-нибудь с тобой придумаем. Нас ведь, стариков, голыми руками не возьмешь.

– Что придумаешь, – по-прежнему уныло отозвался земляк, – когда классу настоящего нет?

– Зато вожжи в руках, – отвечал Кольцов.

Это я от него уже слышал. Как только я у него спрашивал, почему у меня лошадь как-то боком идет, а у него – на чистейшем ходу, он брезгливо косился на меня, а потом причмокивал и говорил: «Вожжи в руках!»

Мы вернулись в конюшню, где размещался со своими рыжими саратовский наездник. Тут Сергей Васильевич еще больше почувствовал себя хозяином.

– Дверь закрой! – велел он мне.

Скоро я убедился, что это от лишних глаз. Колдовать начал Кольцов. У лошадей из хвостов вырвал по волоску и вставил каждой лошади в рот поверх железных удил. Это может показаться, в самом деле, каким-то шаманством, но, как потом я узнал, то был старинный наездничий прием: чувствительность рта! Малейшее натяжение – особая резь, и лошадь бросается вперед, что есть сил. Делал Сергей Васильевич что-то такое таинственное и с правой задней у коренника, притирал ее мазью, пахнувшей дегтем. Потом взял бутыль скипидара, тем же строгим тоном велел мне привязать у каждой лошади хвост и натер скипидаром куда следует. Эффект этого средства очевиден: жжет! Лошадь бежит, ей жжет еще сильнее, потому что пот, скипидар пробирает все глубже, лошадь бежит все шибче, бежит как бы от самой себя!

Наконец, когда уже раздались звонки колокола, призывающего участников к старту, Сергей Васильевич еще раз сам проверил, заперты ли двери, и достал из-за пазухи заткнутую бумажкой четвертинку какой-то темной домашней настойки. Озираясь вовсе по-разбойничьи, так, словно и мы были для него маложелательными свидетелями, он разделил ее в компании… с коренником, которому был первоначально вытащен на сторону язык и туда, прямо в глотку, отправлено оставшееся содержимое бутылки. Заряженный таким образом сзади и спереди, рыжий коренник вынес нас из открытых мною конюшенных ворот с такой прытью, что я едва успел вскочить следом в сани.

Захудалая тройка преобразилась. Если раньше, когда мы их встретили, наездник погонял этих рыжих, похлопывая вожжами по бокам, то теперь он сидел, отвалившись и едва удерживая коренника, а мы уцепились каждый за свою вожжу пристяжек, свивая их в кольцо.

– В духу́! – крикнул нам попавшийся навстречу конюх.

А стартер вынужден был взывать, обращаясь к нам в рупор:

– Саратовские, не вырывайтесь! Саратовские, дер-р-ржи!

Тут же был и Валерий на вороных. Он напоминал скорее пилота, чем кучера: в обтекаемых очках, кожаных крагах, он легко подавал на старт отлаженную отцом тройку и почти не глядел по сторонам. Только увидев нас на рыжих конкурентах, сначала слегка удивился, а потом, встретившись со мной взглядом, улыбнулся, дав понять, что понимает все это как причуду старика.

– Эй, батя! – даже окликнул он старого Кольцова негромко, но тот, надо отметить, и не поглядел в его сторону.

Сергей Васильевич занят был теперь рыжей тройкой. Как капитан, он отдавал короткие команды наезднику, меня поругивал, требуя: «Проснись!» Трибуна гудела и темнела, закрывая полнеба каждый раз, когда мы разворачивались и проезжали вдоль трибун, чтобы выровняться. Слышны были даже реплики:

– Это кто на рыжих за пассажиров старается?

– Старикашка какой-то и еще с ним студент.

Уж не знаю, почему производил я впечатление студента, когда держался за свою вожжу, положительно не знаю… Разве что в смысле какой-либо аллегории, вроде: «Науки юношей питают».

Дали старт. Вороные Валерия, напоминая, в самом деле, какую-то кожано-живую машину, устремились вперед, к бровке. У нас был крайний полевой номер – мы оказались сзади, и нам предстояло получить в лицо снежную пыль, летевшую из-под копыт не только своих рыжих, но и всех тех, кто был впереди.

Впрочем, пыли неточно: летели и солидные комья. В какой-то момент, в первом повороте, хотел я на свою пристяжку лихо прикрикнуть, открыл рот, и тут же мне очень плотно его запечатало твердым снежком величиной с хорошее яблоко.

Как передать напряжение призовой борьбы? Говорят, космонавты рассказывают про невесомость так: «Представляете себе воздушную яму? Ух! – и – Ух! Растяните промежуток между двумя «Ух!» на часы или даже дни – получится невесомость». Призовая езда похожа: летишь куда-то, как в тяжелом сне.

Это у меня бывало так. Но если послушать бывалых наездников, то выйдет нечто совершенно другое. О стремительной борьбе на призовой дорожке мастер повествует так, будто сидел он не на беговой качалке, а на стуле, даже в покойном кресле, и при этом глаза у него имелись не только спереди, но и на… Как это еще понимать, если рассказывает он и о тех, кто трепыхался где-то далеко сзади, так сказать, «глотал пыль» (или, как мы, снег)? «Ну, – рассуждает мастер, – поглотаешь ты у меня пыли!» А сам впивается, как клещ, в едущих впереди него.

* * *

Мы заканчивали первый круг, оставаясь, все еще сзади, и с трибун до меня (сидел я с полевой стороны) доносились возгласы:

– Студент, ходу!

Однако Сергей Васильевич не отдавал никаких распоряжений. Как Иван Михайлович, капитан, или Томас Кингсли, ковбой, так и наездник Сергей Васильевич Кольцов в решительную минуту производил впечатление человека успокоившегося. «А, наконец-то!» Вроде бы получил то, чего добивался давно, и больше уж ничего ему не нужно.

Сергей Васильевич поглядывал исподлобья вперед: выше поднять голову нельзя, потому что летят снежные комки. И – слегка пошевеливает вожжой.

Мы были предпоследними. Но вскинулась голова у коренника серых, которые шли впереди нас, – это значит, с хода их коренник сбился, перешел на галоп, и тут же издал Сергей Васильевич разбойничий возглас, и мы оказались уже не предпоследними, а третьими. Вел Валерий на вороных. Следом держались гнедые из Кургана. Наш наскипидаренный коренник навис вспененной мордой над пассажирами этих гнедых так, что соперники наши оглядываться стали: «Куда прешь?!»

– Дави, – сказал Сергей Васильевич земляку-саратовцу спокойно, как «морской волк» говорил: «Потравливай» или «Право руля».

Но даже земляк оглянулся, не веря собственным ушам. Настолько было это рискованно и, главное, против правил.

– Дави! – тут уже крикнул Сергей Васильевич, не оставляя сомнений относительно своих намерений.

Дальше все получилось как по нотам. Инстинктивно подчинился свирепой команде земляк, от посыла его чуть подался вперед коренник и, спасаясь от оскаленной конской морды, подались в сторону гнедые: что и нужно было. Мы «сели» на бровку.

– Ты, старый… что делаешь? – кричали нам из экипажа гнедой тройки.

Они и не догадывались, что излишне пунктуальным указанием на возраст подписали себе смертный приговор. Сергей Васильевич, конечно, не удостоил их ответа на вопрос, что делал он и что делает. Зато показал, что будет делать. Из кармана вытащил клоунски огромную связку разнообразных ключей и начал побрякивать ими, что было сил. Что получилось? По бровке, сокращая путь, мы продвинулись вперед настолько, что спинка наших саней находилась на уровне морды гнедого коренника. И прямо у него под носом гремели ключи. Призовых рысаков ничем привычным для них не запугаешь, но такого коренник отродясь не слыхал. Он стриг ушами и, несмотря на энергичнейшие понукания своего наездника, не подавался ни на шаг вперед. Сергей Васильевич поставил нашим соперникам звуковой барьер.

Остались только вороные. Один Валерий. Один и никого, как предсказывал саратовец. По сравнению с пророчеством разница заключалась в том, что к фаворитам вороным подбирались аутсайдеры – рыжие.

Но как, в самом деле, можно объехать резвых соперников? Это называется «съесть ездой» – тактикой.

Сергей Васильевич «управлял» наездником-земляком, земляк – коренником. Мы неслись, что было сил, так, словно дело происходило уже на финише. Нет, дорога была еще длинная, как выражаются конники. Но мы намеренно делали бросок не вовремя.

Рыжие захватили вороных. Стараясь попасть в такт со стариком Кольцовым, я тоже качал вожжой, высылая свою пристяжную. Вовсю пыхтел наш коренник.

Валерий бросил на нас косой взгляд и опять слегка улыбнулся, крутанул головой: «Во дают!» Что было ему

беспокоиться, когда у него – вожжи в руках, класс и резвость в запасе.

С противоположной от трибуны стороны, как всегда стояла своя, особая публика, и раздались крики:

– Эй, на рыжих, столбом не ошибись!

Дескать, ехали мы так, будто дистанция уже заканчивалась.

Входя в последний поворот, при выходе на прямую, мы с вороными сравнялись. Было видно, как хорошо и свежо идут они – вороные, эта отлаженная самим же Сергеем Васильевичем живая машина. Пристяжки их вытянулись в струну, коренник влег в хомут, Валерий приподнимал вожжи, готовясь сделать последний посыл.

В самом повороте Сергей Васильевич вдруг дернул вожжу на себя. Его пристяжка соответственно начала крениться в сторону, на вороных. Оглушительный вопль вырвался сразу из трех грудей – Валерия и его испытанных пассажиров.

– Батя, что делаешь?! – воззвал Валерий.

Что, в самом деле, старик вытворяет? Это называется «проехать по ногам». Прямо под копыта вороных лезли наши рыжие. Вороные забеспокоились. Их правая пристяжка подалась в сторону коренника, коренник начал стричь ушами, меняясь ходом.

– Опомнись, батя! – взмолился Валерий.

Вырвав у меня вожжу, старик с остервенением «поливал» сразу обеих наших пристяжных, но, кажется, не за тем, чтобы подвигались они к финишу, а давили вороных. Сергей Васильевич еще и приговаривал: «Вот как у нас, у стариков! Вот как у нас, у стариков!»

Да что же это такое, в самом деле? Я тоже крикнул:

– Сергей Васильевич!

Пугачевские глазки оказались вдруг прямо у меня перед лицом.

– Если ты, безрукий мерзавец, хоть пикнешь, – прошипел старик, – то будешь под копытами снег глотать!

Действительно, это было бы под копытами, потому что справа, с моей стороны, полем надвигались серые.

Вороной коренник вдруг вскинулся – сбился! Сразу же вороные провалились куда-то назад, в бездну. И тут Сергей Васильевич заголосил. Как будто он рожал или его режут, старик кричал: «А-а-а! И-и-и!» Он «звонил», то есть махал вожжами, понукая пристяжных, он звонил ключами под носом у серых, он один вел войну с целым светом, летя на последней прямой.

Коренник наш качался. Наездник-земляк не управлял им, а тащил его на вожжах. Заслоняя полнеба, с грохотом голосов

валилась на нас трибуна.

– А-а-ай! А-а-ай! И-и-их! – визжал, буквально визжал Кольцов.

Вороные нас опять настигали. С поля – серые. Летело к финишу девятиголовое чудовище. Три тройки разом. «И сидит-то черт знает на чем… Черт побери все…» Как дьявол за сценой, строил соперникам Сергей Васильевич такие козни, с которыми невозможно было справиться. «Вот как у нас! Вот как у саратовских!» Он бросил под копыта серым свою шапку. Он раскидывал по бровке рукавицы, от чего вороные опять шарахнулись.

Финишного колокола ни я, и никто из нас, наверное, не слышал. Услышали лошади, к этому звону привыкшие: сами собой они перешли на шаг.

– Ты, земляк, постой, – сказал вдруг с беспокойством Сергей Васильевич.

И не успел саратовец оглянуться, как Кольцов уже выскочил из саней и меня за собой потащил. Пугачевские глазки бегали из стороны в сторону. Дорогой мы подобрали рукавицы и шапку.

– Давай Бог ноги! – произнес Кольцов. – Принять надо без сорок.

Резвость, как я уже, кажется, говорил, отсчитывается из расчета «ровной езды» – примерно полтора километра за три минуты. «Без сорок» – значит, три минуты минус сорок секунд – две двадцать.

Мы с Кольцовым пустились «в обратную», по бровке, а там – через знакомые щели в заборах и всякие задне-запасные ворота. Мы крались дворами, подальше от глаз людских, а ветер доносил до нас звуки победного марша, под который рыжие, как видно, уже совершали круг почета.

Расчет наш заключался в том, что проскользнем мы мимо главного входа в то время, когда все будут отвлечены церемонией. А там и автобусная остановка, и только нас и видели! Но у входа стояла «скорая помощь». Мы так, с разбега, в нее и врезались.

Два белых халата с носилками спускались по ступеням. Несли директора, того, что руки нам перед призом пожимал. С большим чувством пожимал, от всего сердца говорил: «Приветствую вас, дорогой Сергей Васильевич!»

Скрываться было уже некуда. Мы даже еще и путь преграждали носилкам. Голова лежавшего приподнялась. Глаза уперлись в нас.

– А, Сергей Васильевич, сыноубийца мой милый, – слабым голосом произнес несомый. – Может быть, ты посоветуешь мне трехсотлетия нашей породы дожидаться и тогда уж ехать на

утешительный?

Призы «утешительные» разыгрываются между проигравшими большие призы.

Пугачевские глазки выразили детское отчаяние. Но все же, собравшись с силами, старик Кольцов крикнул:

– А что? Это же спорт! В спорте все случается…

Директор даже привстал на носилках.

– Ты… ты о спорте заговорил? Ах, вот оно что, ты, оказывается, у нас спортсмен…

Директор сел на носилках.

– Сергей Васильевич, как же не стыдно тебе? Спортсмен! Да на себя-то посмотри.

Но тут подбежала к нам еще одна фигура – заводской завхоз.

– Борис Яковлевич, – бросился он к директору, – тулупчики куда теперь девать? Может, старику Кольцову, раз уж он выиграл, дадим?

Кольцова он, вечно озабоченный, и не заметил. Но каменным взором взглянул на старика-наездника директор.

– Тулупчик? Дай только поправлюсь, да встану – я с него самого шкуру на тулупчик сниму!

И силы оставили энтузиаста.

* * *

Из Америки мы вернулись в марте, прямо к женскому дню, и сразу же начали нечто вроде лекционного турне на тему «Лошадь в современном мире».

Успех был потрясающий. Программа наша была проста. Сначала в самом сухом информационном духе приводились цифры. Современный мир держится на подсчетах, вот мы и сообщали, как говорили на корабле морякам, сколько стоит породистая лошадь, сколько сейчас вообще лошадей на свете – впечатление было ошеломляющим. После этого в абсолютной тишине следовало объявление: «Перед вами выступит ветврач, ну, проще говоря, коновал…»

«Проще говоря» – легко сказать! Слово «коновал» взрывало любое собрание, как гигантскую бутыль с шампанским. Люди хохотали не в силах остановиться. Дальше уже каждое слово нашего доктора вызывало такой смех, которому мог бы позавидовать «рыжий» в цирке. И действительно, в одном клубе удостоились мы чести выступать в очередь со знаменитейшим комическим артистом. Он был за нами следующим номером программы и с беспокойством выглядывал из-за кулис, желая

понять, почему в зале совершается гомерическое неистовство. Конкурировать с «коновалом» даже он не мог, и пришлось ему на ходу менять репертуар: вместо комических рассказов читать лирические стихи.

Одно только смущало меня: слова, данного Томасу, я в этих выступлениях все никак не мог выполнить.

– Ты вернешься домой, – с воодушевлением втолковывал Томас, наряжая меня в настоящий ковбойский костюм, – и расскажешь всем и каждому, что такое ковбои.

Но ковбойский наряд разделил участь третьей подпруги. Никто не верил в костюм! «Что это еще такое?» – спрашивали. «Ковбойские брюки». – «Ха-ха, какие же это ковбойские?» Даже кожаные штаны вызывали только недоумение. «Знаешь что, – посоветовали мне, – сними ты все, оставь шляпу и шпоры».

Шляпа и шпоры действительно производили почти такое же впечатление, как цена гнедого Фрегата и слово «коновал», но если бы в таком виде попался я на глаза ковбоям!

И главное, что было сердиться на других, если сам я вел себя еще недавно точно так же. Когда пришли мы с Томасом в ковбойский магазин, он говорил: «Выбери себе ремень». Говорю: «Вот этот». Томас опять помрачнел, как в первые дни нашего знакомства: вроде все уроки ковбойства пошли не впрок. «А что такого?» – спрашиваю. «Это же не ковбойский! Это так, дрянь, которую всякие пижоны таскают…» Словом, почти ничего не сумел я выбрать из того, что, на взгляд Томаса, было «настоящим». Рубашка, которую он собственными руками на меня напялил, – какая-то клюква в молоке – была, оказывается, ковбойской, самой ковбойской, какую только можно себе представить. «В таких покоряли Дикий Запад», – сообщил Томас с гордостью, хотя на вид это было в пору носить барышне или пятилетнему ребенку. Когда же дело дошло до куртки, то я бы сказал: там были такие ковбойские куртки! Но Томас забраковал все и, в конце концов, снял куртку со своего плеча – мы с ним были одного роста.

На задней стороне воротника этой потрепанной кожанки имелось клеймо: «Техас». Но не мог же я носить куртку навыворот.

Встретил я друга своего Игоря К. – в просторечии Гарик. Ну, думаю, вот кто меня поймет.

Друг – скульптор. Ставит он памятники лошадям. Великим скакунам былых и нынешних времен. Если в жизни, прямо на скаковой дорожке, не застали вы какую-нибудь четвероногую знаменитость, то не тревожьтесь – Гарик запечатлеет ее для потомства в бронзе. С необычайной честностью относясь к своему

ремеслу, Гарик постиг мир живой природы не из вторых рук. Обитатели гор и пустынь, лесов и рек, даже морей и океанов знакомы ему непосредственно. Не только коня, но и кита Гарик способен изобразить с портретной достоверностью.

Как-то раз пригласил Гарик даму своего сердца в зоопарк, а там увидели они верблюда.

Скульптор-землепроходец тотчас понял, что перед ним не какой-нибудь выкормыш из питомника, а видавший виды дромадер, настоящий «корабль пустыни». Рубцы и раны на теле величественного пенсионера говорили опытному глазу о том, что пройден достойный трудовой путь. Величественно верблюд жевал какую-то колючую дрянь и, как бы цитируя сказку «Почему у верблюда вырос горб», всем своим видом говорил: «Презираю!»

– Вот это Киплинг! – восхитилась дама Гарикова сердца.

– А хочешь, – предложил Гарик самое лучшее, что мог он в ту минуту предложить, – я заставлю его встать перед тобой на колени?

– Не может быть!

После этого скульптору, другу моему, ничего не оставалось, как гнуть из верблюда этюд в стиле позднего Микеланджело.

Конечно, Гарик знал верблюжьи нравы и даже верблюжий язык. Подошел он к самой решетке и крикнул:

– Чок! Чок!

Хотя верблюд и не повернул головы, но перестал жевать. Гарик понял, что на верном пути, и повторил свой зов. Верблюда как бы повело. Его просто корчить начало от знакомого, слишком знакомого «Чок! Чок!». А Гарик, чувствуя свою силу, кричал и кричал.

Заговорили старые раны, инстинкты, условные рефлексы, вся прошлая жизнь, видимо, пронеслась перед умственным взором верблюда. Все его существо подчинилось команде, и сами собой начали гнуться узловатые колени…

– Ах, какой Киплинг! – воскликнула спутница Гарика.

Но тут, помимо инстинкта, у верблюда заговорил рассудок. Дромадер, видно вдруг осознал, что жизнь прожита, что все это давно позади, что свое он уже «сервитудем», как говорили древние, то есть отслужил, и у него есть полное право на отдых.

Разогнулись колени. Повернул верблюд голову в сторону командного крика и… Знал Гарик, как командовать верблюдами, как ставить их на колени, но и верблюд не зря своими собственными ногами перемесил черные пески. В ответ на заправский зов изрыгнул он влажно-весомое ядро, и о маневренности «корабля пустыни» говорит тот факт, что мстил он Гарику, но – метил не в него. Зачем старику на старости лет

лишние неприятности? Досталось даме!

На прочее завеса, как говорил Гамлет в аналогичных случаях, но с тех пор говорим мы у нас на конюшне «Гариков верблюд», имея в виду вопросы выстраданные, до глубины души прочувствованные. Ибо когда рассказывал наш друг, как повело верблюда от «Чок! Чок!», нас самих трясло от сочувствия – верблюду.

Итак, я был уверен, что уж Гарик меня поймет. А он как раз говорит:

– Куртку ищу ковбойскую. Одну работу задумал: кучер и ковбой.

Тут же потянул я с плеча подарок Томаса: от друга – к другу и к тому же для творческого дела!

– Пожалуйста, – говорю, – вот у меня…

– Нет, – остановил мой порыв правдоискатель, – мне нужна настоящая.

Хотел я было показать ему «Техас», а потом подумал: разве у него не пострадало сердце из-за умелого, слишком умелого погонщицкого крика и разве сам я неделю назад не вертел в руках ковбойский галстук, не зная, каким концом его на шею цеплять?

И все же сказать такое про куртку, из которой, я думаю, не успел еще выветриться пот ковбойских коней!

Трое в Англии, не считая лошадей

«Кое-кто полагает, будто важнейшее свойство, делающее рыбака рыбаком, есть умение лгать не краснея. Это заблуждение. Грубое вранье нужного впечатления не произведет, да и любой новичок, едва научившийся искажать истину, на него способен. Нет, убедительные, тщательно отобранные подробности, умелый вымысел на грани правдоподобия, общий тон чуть ли не научной достоверности, – вот признаки, по которым можно сразу распознать бывалого рыболова».

Джером К. Джером, «Трое в одной лодке, не считая собаки»

– Нет, друг мой, хоть ты и читал всевозможные книжки, а понять не способен, куда мы попали! – так говорил Катомский

Всеволод Александрович, мастер-наездник, старший в нашей конной команде. Мы – в Англии, на ипподроме. Нас – трое: кроме Катомского, бывший жокей, ставший наездником Гриша Гришашвили, и я при них в тройном качестве – за конюха, помощника наездника и переводчика. Показать рысаков в призах и поставить их на продажу – такова наша миссия. Мы живем в последнем повороте. При выходе на прямую, у самой изгороди, окружающей призовую дорожку, поставлен наш «караван», фургон – дом на колесах. Здесь, когда бега, начинается среди наездников крик, подымаются хлысты, и лошади, прижимая уши, идут на бросок к финишу.

По утрам тихо. Видно, а не слышно море. На горизонте корабли держат путь на Ливерпуль. Мимо по шоссе проносятся автобусы в соседний приморский городок – Страну чудес: там Льюис Кэррол писал «Приключения Алисы». Это там, прогуливаясь по берегу, Морж с Плотником выясняли, «почему песок сыплется, а вода – мокрая». Пробовал я заикнуться, что надо бы съездить прямо туда, где

Сыпуч песок, мокра вода…

– Тебе что же, – Катомский строго посмотрел на меня, – здесь вода недостаточно мокрой кажется? Ты бы лучше овес лошадям раздал, и выкинь ты всю эту литературную чепуху из головы. Ты больше за жизнью, за жизнью наблюдай! Но-ое, ско-тина! – крикнул он вдруг ужасным голосом, но относилось это уже не ко мне.

С лошадьми, известно, прежде чем ездить, надо повозить их на себе. Поить, кормить, потом вдруг у них колики, потом – попоны, компрессы, горчичники, втирания, водить в руках часами, наконец, слава богу, езда, и опять водить, и снова поить-кормить. Утешать себя оставалось тем, что от конюшни до Страны чудес песок, в самом деле, все тот же самый, сыпучий, а вода… Что же тут непонятного?

Правда, не все так ясно было с самого начала. А именно, что в Англию и – на бега. Веками англичане признавали исключительно скачки. Разница – верхом или в экипаже: скакуны скачут под седлом, всадники называются жокеями, рысаки бегут в экипаже, едут на них наездники, но дело, конечно, не в технических тонкостях, а в традициях. «Привычки тори и скачек», даже Герцен так отзывался об английском консерватизме. И вдруг у англичан рысаки вместо извечных скакунов! Американские ковбои, как оказалось, вовсе не конники, так что ж теперь, может быть, и англичане не скаковой народ? Уж не ошибся ли кто? А то

был случай, в Трансторге перепутали накладные, и целый состав лошадей, предназначенный в Италию, заблудился и вместо Рима попал в Париж, а там лошадей этих съели, естественно, – ведь французы едят и лошадей, и лягушек… Нас, положим, не съедят, но… но пошлют: «Куда это вы с рысаками? Где же это видано, чтобы в Англии были бега!»

Смятению наших чувств соответствовал шторм на всем пути, пока мы, недоумевая, держали парадоксальный курс с беговыми лошадьми в страну скачек. Волны и ветер с таким видом, будто знают, что и зачем делают, били и трясли пароходик-скотовоз. Нас миновал торговый корабль «Тауэр». Он возвышался над волной, с надменным видом отшвыривая валы.

Лошади приуныли. Прежде они оживленно ржали, перекликались, заводили знакомства, иногда ссорились и били с визгом по стойлам. А в открытом море им пришлось пошире расставить ноги и держаться, чтобы не упасть и не побиться. Только Мой-Заказ еще действовал: дергал за рептух (сетку с сеном), стараясь развязать узел. Я крикнул, жеребец повернул ко мне морду и взглянул на меня с выражением: «Ну что? Уж и подергать, уж и поразвязывать нельзя!»

Наружу было страшно посмотреть. Палуба вставала дыбом. Первой сушей, которую мы за морем увидели издалека, был шведский остров Борнхольм, описанный Карамзиным и упомянутый Пушкиным. Карамзин говорил о грозных скалах, о кипящих потоках, стремящихся в море. Стало быть, он проходил от острова гораздо ближе нашего. Мы же в капитанский бинокль могли внятно разглядеть только игрушечные домики по берегу.

Передохнули мы в Кильском канале, а как только вышли из канала, море опять ударило в наш пароход.

Судить, как мы движемся, можно было по листам карты, которые сменялись на большом специальном столе, стол стоял на капитанском мостике, и карты на нем сменялись примерно через каждые четыре часа. Я заглядывал в ящик стола и видел, что листов еще порядочно. Ночь была удивительно темная. Мы слушали по радио голос, который спокойно сообщал: «По Балтике шторм… шторм… шторм…»

Справа, должно быть где-то у самого горизонта, вспыхнуло и пропало зарево. Потом еще и еще раз.

– Видели? – и вахтенный штурман с каким-то странным взглядом ждал ответа.

– Что это? – я, конечно, не мог знать.

– Гельголанд, – произнес он, выпрямившись, и оттого, вероятно, мне показалось, что со скорбной торжественностью.

Остров Гельголанд – отсюда фашистские самолеты

поднимались на Москву.

Огонь методически возникал на горизонте.

– По Балтике, – не прекращался бесстрастный голос, – шторм… шторм…

Впрочем, в Темзу, где не чувствовалось колыхания, мы вошли по-домашнему. Пахло рекой – тоже по-домашнему. Гриша Гришашвили, пролежавший все плаванье с зеленым лицом в трюме, а теперь, имея вид «Ну, что за Англия?», хозяйски выступал по палубе. Был воскресный день и к тому же еще отлив. Вот почему не могли мы разгрузиться у причала Грейвз-Энд, где некогда садился на борт корабля Карамзин. Бухнул якорь, все затихло на ночь, только из трюма доносился стук копыт, и по очереди мы кричали туда страшными голосами:

– Сто-оять!

Утром явилась таможня. Надо было видеть лицо чиновника, когда он узнал, каков груз. О страсти англичан к лошадям спрашивают: «Как у нас футбол?» О, нет! И у англичан футбол, а главное, что такое сто лет футбола, когда Шекспир писал о «схватках скакунов, что легче и быстрее, чем песок, гонимый ветром»? Шекспир, положим, и о футболе писал, но ведь футбол тогда был игрой исключительно для детей, забавой. Скачки же в Англии не спорт, а ритуальное действо. Таможня спускалась в трюм, как к причастию. Чиновник снял фуражку и поклонился уставившимся на него мордам. А когда Тайфун потянулся губами к плешивой голове, англичанин с готовностью подставил ему темя, приговаривая:

– Прошу вас! Поцелуйте меня, если вам этого хочется!

Каждого жеребца он потрепал по шее и так уж, как само собой разумеющееся, спросил:

– На скачки?

– Н-нет, на бега…

* * *

Ехали мы поездом, плыли пароходом, всю Англию пересекли в автофургоне от Лондона до Уэльских гор и все время сомневались, туда ли едем?

В пути, конечно, каждый был нам рад. Лошади! Просили и посмотреть, и погладить, спрашивали, кто самый лучший.

– Спросите, кто самый ленивый, – толковал Катомский, – я вам сразу скажу: Тайфун. Кто хитрый? Померанец. А избалован кто больше всех? Эх-Откровенный-Разговор. Замолчи, с-скотина! – тут же кричал он страшным голосом, потому что Эх-

Откровенный-Разговор, для краткости – Родион, желая, видимо, подтвердить данную ему аттестацию, начинал капризно долбить копытом.

В дороге были мы как дома. Достаточно копыт, хвоста, и, увидев их, какая бы ни была там кровь, рысистая или скаковая, всякий заговаривал с нами по-свойски. Один инженер из Манчестера увлекся беседой настолько, что опоздал к поезду, и, когда мы стали ему сочувствовать, только рукой махнул: «Бросьте! Это просто приятно, позабыть обо всем на свете за разговором о лошадях». Но вот таможенник, человек бывалый, услыхав «рысаки», взглянул так, будто обнаружил у нас контрабанду. А мы и сами не вполне понимали, как это в Англию и на бега: все равно, что среди католиков проповедовать ислам. Сомнения наши в конце концов рассеялись, хотя и в самый последний момент, уже у ворот ипподрома, когда мы прочли афишу: «Новое в Англии! Бега по пятницам и субботам». Потом стояло: «Британская ассоциация рысистого спорта», а еще ниже – «Признана в США». Не только мы, англичане видели на самом деле не рождение, а возрождение интереса к бегам в их скаковой стране: лишний раз подтверждалась истина, что новое есть хорошо забытое старое. Тогда я этого не знал, но не исключено, многие из англичан тоже не знали или забыли, что были у них в прошлом и бега, и своя порода рысаков, так называемые «гакне», которых, кстати, для создания своих рысистых пород использовали и граф Орлов, и американцы. Мне на это, когда мы уже вернулись, открыл глаза Далматов. Открыл, просветил и добавил: «Послал я тебя за конюха как человека все-таки с образованием, а ты показал там своё невежество».

* * *

Наши лошади в Англии первым делом подстилку съели. Не сено и не овес, а – солому.

– Позор! – сокрушался Гриша Гришашвили, – что теперь о нас подумают?

Подумали такое, что нам и в голову не могло прийти.

– Зачем же, – спрашивают, – вы каждый день денники отбиваете?

«Денники отбивать» – стойла убирать, и у себя дома мы это действительно делаем каждый день, но здесь лошади сами все «убрали», только местные наши хозяева поняли исчезновение соломы по-своему.

– Что ж вам, соломы жалко? – Гриша им так и сказал.

– Соломы сколько хотите, но ведь это лишний труд.

«По-ихнему и лошадей чистить лишний труд», – ворчал Гриша, потому что чистки у англичан, в самом деле, не видно было.

А мы надраивали своих жеребцов, как положено, три раза в день и – вновь вызвали недоумение. «Что это вы? Бросьте!» – кажется, хотели нам сказать. Настолько вмешиваться в наш распорядок, конечно, не решались, однако это можно было ясно прочесть у них по глазам.

Высказаться прямо мешала спортивная этика. Все это секреты. Если спор на финише решает даже вес подков, то каждый жест в священнодействии вокруг спортивного коня имеет значение таинства.

«А вдруг вся суть в подстилке и в неустанной чистке?» – так, возможно, думали они. «Чистить не чистят, а грязи не видать и до чего резво едут!» – вот что озадачивало нас.

В обращении с лошадьми англичан, казалось бы, учить нечему, однако они всеми силами хотели заглянуть в нашу конюшенную «кухню». И не только в конюшенную, но и прямо так, без кавычек, в кухню, в тарелку к нам. В борьбе за приз не только тяжесть подков играет свою роль, но и вес наездника.

«Как же они выдерживаются?» – символом этого вопроса осталась в памяти у меня фигура управляющего ипподромом. «Выдерживаться» – это на конюшенном языке означает сохранять нужный вес, и пришлось управляющему немыслимо изогнуться ради того, чтобы и британской вежливости не нарушить, и на обед наш посмотреть.

Посмотреть, что мы едим, можно было, войдя в наше жилье, «караван». Однако нужен предлог, чтобы войти. Ведь первое правило вежливости: не лезь, куда не просят! Можно как бы невзначай, проходя мимо, сказать «Здравствуйте» и заскочить в гости. Но «Здравствуйте» вполне получалось через окно. Управляющий приветствовал нас с улицы в то время, когда мы орудовали ложками, и, между прочим, потянул носом. Разглядеть наше меню ему все-таки не удалось. Он собственному носу не поверил. Тогда он появился в дверях и заявил: «Погода прекрасная, не правда ли?» И – слегка приподнялся на цыпочках. Увидел наше пиршество и не поверил своим глазам. Пришлось ему ступить на две ступеньки повыше со словами: «Прилив еще, кажется, не начинался…» Держась прямо, как королевский гвардеец, и продолжая беседу про прилив, управляющий скосил глаза на нашу трапезу. По лицу его можно было прочесть: «Так, так… Подстилку меняют каждый день, чистят трижды, а сами лапшу с мясом лопают. Своеобразный тренинг!»

Если учесть, что величайший английский всадник, которого называли «гением в седле», Фред Арчер пустил себе пулю в лоб, дойдя из-за голодной выдержки до безумия (он все не мог лишних полфунта сбросить), то наша лапша показалась английскому боссу скрытым подвохом. Он увидел в ней, должно быть, некий ход конем.

С тех пор каждый день стал появляться возле нас еще один англичанин, совсем юный, почти мальчик, очень вежливый. Здоровался, а потом спрашивал: «Не будете ли вы так добры, сказать, как резво собираетесь вы прикидывать лошадей перед призом?»

Я открыл было рот, чтобы прямо так и ответить. Ничего в этом пареньке я, откровенно говоря, не заметил, разве за исключением того, что напоминал он меня самого, лет на пятнадцать моложе, когда я вот так же переступал с замиранием сердца порог конюшни. Прекрасно понимая, как мне казалось, чувства юного британского энтузиаста, открыл я рот… Но тут Гриша сделал мне кроссинг.

– А ну-ка возьми вожжи на себя, – сурово сказал Гриша, – ты что, не видишь? Это же шпион!

– Совсем мальчик…

– Тут эксплуатация труда начинается с детских лет. Кто молоко развозит, кто со школьной скамьи в няньки нанимается, а этот за каждым нашим шагом следит.

Мнение Гриши разделил Всеволод Александрович, однако не разделил его опасений.

– А, шпион, – заметил маэстро таким тоном, будто всю жизнь в контрразведке служил и своего старого знакомого встретил.

И уже через минуту вручил мальчику щетку, чтобы тот лошадь чистил. Сам сел на другую лошадь и уехал на резвую проминку.

Гриша в тревоге спрашивает:

– Где шпион?

– Ш-шпион лошадь чистит.

– Да кто же ему позволил?!

– Всеволод Александрович.

Тут и сам Катомский с беговой дорожки вернулся и не кому-нибудь другому – шпиону вожжи передал. «Поезжай, говорит, шагом, успокой коня после резвой работы». Уехал шпион, а мы тем временем жеребцу, которого он вычистил, стали втирание мускульного флюида делать. Процедура весьма секретная по составу мази и по способу массажа.

Шпион чистил лошадей. Шпион прогуливал их после резвых прикидок (которых он сам не видел). Вернувшись с дорожки,

шпион по распоряжению Всеволода Александровича замешивал нашим лошадям кашу из отрубей. Шпион пользовался нашим полным доверием во всем, за исключением тех минут или даже секунд, когда решалась судьба будущего приза. Он чистил – мы резвили, он шаговую проводку после резкой делал – мы занимались массажем, шпион овсяную кашу мешал, а мы тем временем подковы взвешивали.

Кончилось тем, что шпион в одно прекрасное утро исчез и опять появился управляющий. Сказал, что погода портится, что прилив пошел вверх, а потом, между прочим, добавил: «Есть среди вас люди быва-алые»…

Ах, разве могли они разгадать нас! Секреты они искали в приемах. Они присматривались к нашим правилам тренинга. Они хотели постичь, в чем заключается наша призовая выдержка.

Наши жеребцы, едва только по приезде расставили их в стойла, тут же принялись рыть пол копытами, грызть зубами стены, дергать за дверные задвижки и рвать попоны. А подстилку зачем они съели? Тоже все из озорства. Один перед другим кусали да кусали по соломинке, вошли во вкус с непривычки (у нас ведь не солома стелется – опилки) и – «убрали» денники.

Лошади-англичане смотрели на них с неподдельным изумлением. Что за шум? К чему неблагоразумная трата энергии? Сами они не совершали ни одного лишнего усилия. Дремали, накрытые попонами, в стойлах. Стояли, когда запрягали их, безо всякой привязи, а наши буквально кипели на вожжах, сверкали глазами, из ноздрей пар валил.

Местные лошади выглядели, я бы сказал, серьезнее даже собственных хозяев.

Чего хочет ребенок от машинки, от заводного игрушечного автомобильчика? Чтобы ездили взаправду. Что этому ребенку нужно от картонной лошадки? Чтобы у нее, как у всамделишной, были копыта, хвост, уздечка, чтобы можно было взобраться на нее – и нестись! И тот же, как бы детский принцип прямого назначения сказывался в отношении англичан к своим лошадям. Они добивались от них односложного соответствия понятиям «лошадь», «призовая езда», «скачки» или «бега». Всего-навсего!

Нет, не то были наши рысаки! Они, казалось, предназначались для чего угодно, но только не для того, что требует называть лошадь «рысаком». Пожалуй для того, чтобы вести бесконечные разговоры – конюшенные разговоры, чтобы охать и вздыхать, чтобы осматривать этого рысака по двадцать раз в день, каждый раз при этом сокрушенно покачивая головой, для того, чтобы вообще будто бы не замечать его, не отходя вместе с тем ни на шаг. Разве что как-нибудь утром, вроде бы

невзначай, по случайности, взобраться на призовую качалку, но при этом с наивозможно отсутствующим или кислым выражением лица, какое бывает только при исполнении неприятнейших дел, и проехать разве что круг-другой и на лошадь не глядя, а если глядя, то куда-то под ноги ей, под копыта, и с таким беспокойством, словно вот-вот у этой лошади оторвутся напрочь ноги или же она вовсе на куски развалится. А потом вернуться на конюшню с видом еще более озабоченным, сокрушенным и опять охать и вздыхать.

И они еще спрашивают, отчего мы так долго не пишем наших лошадей на призы, отчего не резвим их, а если резвим, то тихо, отчего не подсушиваем их до призовых форм, а держим в довольно тучном теле, отчего, одним словом, не делаем мы со своими лошадьми того, что с лошадьми вообще принято делать!

В ответ на такие тотальные вопросы мы либо отделывались шутками, либо просто закрывали двери конюшни, а Всеволод Александрович имел обыкновение отвечать на все одним неприступным взглядом, который означал недвусмысленно: «У-хо-ди-те!»

Англичане рассеивались.

Они, разумеется, не догадывались, отчего все это. Они не знали, что сидит в наших лошадях орловщина, та самая, от которой красота, нарядность, от которой лебединые шеи, агатовые глаза, глубина груди, богатство почки и от которой же рыхлость, непрактичная кипучесть сердца, неприязнь к методической работе, вдруг чудеса резвости и тут же – вставание в обрез. Им было невдомек, что наших рысаков нельзя до приза особенно сильно резвить, иначе они вовсе не побегут, что нельзя их чересчур сушить, потому что без лишних трясущихся мясов они опять же не побегут. Что дары натуры, воплощенные в нашем рысаке, нужно не просто получить, а неким особенным образом угадать, и вот тогда, если уж угадал, тогда – «эх, тройка, птица-тройка, кто тебя выдумал…»

И ведь это не значит, будто на их вопросы у нас ответов не было. Не было им нужных, им понятных ответов. Ну что ж, со временем финишный столб покажет, финишный столб на все ответит.

* * *

В Англию пришло к нам письмо Валентина Михайловича Одуева и потрясло англичан. Нет, не тем, что пришло, а вопросами, которые Валентин Михайлович ставил.

Знаток спрашивал, правда или нет, что Годольфин-Арабиан, праотец чистокровных скакунов, попал из грязи в князи на племенной завод «из повозки» в силу случайности.

– Чтобы ответить, – сказал управляющий ипподромом, которому я показал письмо, – нам придется поднять из могилы самого Годольфина.

– Поразительно! – добавил управляющий. – Где-то в Москве человек интересуется такими вещами, о которых мы сами уже и понятия не имеем.

– Видите, – я ему говорю, – он и до вас добрался, а каково нам от него приходится!

Как-то я с Катомским заговорил о Валентине Михайловиче, и чуть ли не единственный раз маэстро, став в разговоре со мной совершенно серьезным, ответствовал:

– Ну, знает человек всю правду досконально, что ж теперь делать?

* * *

Так жили мы в последнем повороте. Проводки, прикидки, компрессы, горчичники… Только вот чайки мешали нам и зайцы. К чайкам наши лошади, впрочем, скоро привыкли. Они видели их, эти белые комочки, взлетающие с дорожки прямо из-под копыт, видели и перестали бояться. С зайцами было сложнее: таятся в траве у самой бровки. Проминаешь лошадь и, летя на полном ходу, вдруг точно там, где печатает копыто, замечаешь остекленевший глазок. А если он вздумает прыгнуть? Что тогда сделается с живой машиной, которая, кипя пеной и нервами, дрожит на приводе вожжей?

Но Гриша договорился с одним любителем бегов из публики травить зайцев. Тот, оказавшийся конским барышником, прибыл пораньше утром в грузовике, набитом собаками, борзыми, – поменьше наших и все больше серые. Меньшая из них – Дымка, на узком зеленом пространстве подозрила зайца, и началась травля.

«Заяц попался матерый и резвый. Выскочив, он не тотчас же поскакал, а повел ушами, прислушиваясь к крику и топоту, раздававшемуся со всех сторон. Он прыгнул раз десять не быстро, подпуская к себе собак, и, наконец, выбрав направление и поняв опасность, приложил уши и понесся во все ноги».[20]

Дымка сделалась линией. Заяц успевал метров на пять впереди. Я, как и все, не отрываясь, следил за Дымкой и за серым комочком и даже себя, что называется, забыл, но не потому, что

ждал: «Возьмет?» «Вот это, – слышал я, говорилось во мне, – она подозрила, а вот это заяц наддал»…

– Come on, Smoky, – кричал барышник, – take him, sweety! Давай, Дымка, бери его, милая!

«Милушка! Матушка! – послышался торжествующий крик Николая. Казалось, сейчас ударит Милка и подхватит зайца, но она догнала и пронеслась. Русак отсел».[21]

А за нами стояли округлые Уэльские холмы.

Взять они ни одного зайца не взяли, места для разгона не было, но, по крайней мере, прогнали. Сквозь щели в заборе зайцы перебрались по соседству на поле для игры в крикет. Мы после этого слышали иногда из-за забора: «Послушай, Джим, откуда вдруг развелось здесь столько зайцев? Играть же невозможно! Бьешь в лузу, попадаешь в зайца». Зато мы резвили рысаков спокойно. Вообще все у нас устроилось вроде бы по-домашнему. И вдруг Всеволод Александрович заявил:

– Нет, ничего вы не понимаете!

Он, разумеется, корифей. У него есть право следить за тем, чтобы наш конноспортивный взгляд на вещи держался известного уровня. Когда показали нам ферму, где разводятся пони, и мы с Гришей, глядя на этих лилипутов, хотели умилиться – все как у лошадей, производитель, хотя и с собаку величиной, но свирепо бьет копытом о землю, миниатюрные кобылки с микроскопическими жеребятами, – хотели мы умилиться, но Всеволод Александрович пристыдил нас.

– А что? – не уступал Гриша. – Хорошие пони!

– Да что вообще может быть хорошего в пони!

Катомский, конечно, не просто Катомский, он – Катомский Четвертый или даже Пятый. Красное с белым – с каких пор блистают на беговой дорожке эти наездничьи цвета! У самого Всеволода Александровича белый камзол, красный картуз, у отца его – Катомского-легендарного, скончавшегося с вожжами в руках, все было белое, и только лента красная через плечо, а дед пра-Катомский ездил с красными рукавами. И так далее в том же духе с тех пор, как существует рысистый спорт. История бегов – история семьи Катомских Отец Всеволода Александровича был знаменит тем, что выигрывал, не применяя хлыста. Вот как-то в очередной раз он изящно выиграл, приехал в паддок, его хотели поздравить: руки держали вожжи, и стучал секундомер, отметивший победную резвость, но сердце свой счет уже прекратило. «Смерть Катомского», как «Гариков верблюд», выражение принятое в конюшенном языке, означает гибель доблестную – «со щитом», это предмет зависти всех наездников. Сколько раз я слышал: каждый из них мечтает о двух вещах:

выиграть Большой приз и умереть, как старик Катомский. Так что наш Всеволод Александрович был наследником целой тренерской династии. «Для меня в моем деле не осталось тайн», – так говорил наш маэстро со вздохом, будто ему и жить уже больше фактически незачем, коль скоро в лошадях он все постиг и все призы, какие по жребию ему было положено, выиграл. Поэтому мы прислушались, когда эта истина в последней инстанции и в белом камзоле с красным картузом изрекла: «Куда вам!» Хорошо, но в чем дело?

– Ну, как же! Вы и не видите, а вот Яков Петрович, вылитый Яков Петрович!

И указывает на нашего местного знакомого, конского барышника Дика Дайса.

– Подумать только, как две капли воды, покойник Яков Петрович!

Легендарный Яков Петрович – это, я слышал, тот самый, что когда-то перекрашивал лошадей, подделывал племенные аттестаты и, кажется, это он разыграл историю, описанную Куприным в «Изумруде». А Дик Дайс… Спрашиваю его:

– Чем вы занимаетесь?

– Ничем.

– Как же так?

– Торговал автомобилями, но продал дело и сейчас думаю, чем бы заняться. Как, по-вашему, лошади – это солидно?

– А живете вы где?

– Нигде.

– ???

– Продал дом, – объяснил Дик Дайс, – и теперь думаю, где бы поселиться. А пока арендую «караван».

Отец трех взрослых сыновей, Дик Дайс помещался, оказывается, в караване со всем семейством. И все это ради того, чтобы с утра до вечера пропадать на ипподроме и с лошадьми. У него имелась и своя лошадь – в особом «караване», конском, прицепленном к жилому. Жена Дика Дайса держалась с непостижимым спокойствием, так, будто живет не в коробке на колесах, а во дворце с привратниками в ливреях у ворот: прямая, почтенная и величественная.

Когда Том, ее старший, не мог справиться с лошадью и дурная Бай-Бай его понесла, то в публике раздался женский визг, и я невольно обернулся, но увидел, что это не миссис Дайс. Госпожа Дайс сидела все столь же монументальная и невозмутимая, с сигаретой, как обычно, в самых кончиках пальцев. Тома вместе с Бай-Бай ловили веревками. Он, побледневший, поднялся потом к матери в трибуны, и она

потрепала его ладонью по запыленной щеке. Она, кажется, вовсе не замечала самого Дика Дайса, его шляпу на затылке, постоянную суету и вообще его жизнь. Лишь однажды, после того как он с наездниками исчез куда-то на неделю, госпожа Дайс держала мужа весь вечер при себе. Дик сидел смирно, но на лице у него было написано: «Ничего, завтра все пойдет по-старому».

Но куда ему до Якова Петровича, если, конечно, верить литературным источникам.

– Нет-нет, – твердил Катомский, – смотри, он самый!

«Воскресил» Всеволод Александрович и еще одну легендарную личность.

– Этот, как его, Хью, – сказал он, – это же просто покойник Кащеев, вылитый Гришка Кащеев!

Хью Бертон на «покойника», какого бы то ни было, вовсе не походил, но был он представителем профессии вымирающей. Боксер без перчаток, кулачный боец и к тому же боец-чемпион был этот Хью. Это был тот самый бокс, кровавый мордобой, которым занимался Байрон, а потом описал в романах Конан Дойль. В те времена разрешалось поймать противника за волосы и расправляться с ним до убоя, как было это в битве чемпионов тех дней – между Мендозой и Джексоном. У Джексона, между прочим, тренировался Байрон, и за мягкое обращение с высокородными клиентами его называли джентльменом. А с противниками вел себя Джексон совсем не по-джентльменски. На ринге превращался он в кровожадного и коварного зверя. Длинноволосого «жида» (Мендоза был испанский иудей) Джексон ухватил за патлы и… После этого боксеры, нарушая моду тех дней, стали носить короткую стрижку. Но, в общем, в байроновские времена драка на кулаках, как и пьянство, считались признаками «спортсменства» и «джентльменства». «На следующей неделе, если будет на то воля Божья, собираюсь напиться», – во всеуслышание говаривал лорд Норфольк, а поэт бравировал синяками, которые ему наставили «звезды» ринга того времени. Теперь это, разумеется, вне закона. Но не во всех графствах Англии действуют спортивные законы, и вот там, где их сила кончалась, скажем, в Йоркшире, наш новый друг проводил жуткие бои. Когда мы поинтересовались, есть ли у них все-таки правила, Хью рассмеялся. А в ответ на вопрос, дерутся ли только руками, закатал штанину до колена – с трудом. Штанину закатать было трудно потому, что узка была для бугристого образования величиной с детскую голову на месте икры. А как часто приходится драться? «Пока не получу достойный вызов», – отвечал нелегальный чемпион. В ожидании вызова Хью держал при себе бесформенно-огромного человека,

величиной с хороший шкаф, которого тузил по утрам до второго завтрака, а после второго завтрака и до вечера он, как и Дик Дайс, пропадал на ипподроме.

– Покойник Кащеев! Покойник Кащеев! – не мог на него наглядеться Катомский.

– Нет, ты пойми правильно, – рассуждал маэстро, – дело не в сходстве. Сходства никакого! Он своим взглядом на лошадь и на меня самого напоминает мне Кащеева. Как тот на отца моего взглядом газели глядел и просил: «Александр Всеволодович, дозвольте взойти и лошадок ваших взглянуть. Я их и дыханьем своим не обеспокою». Был этот взгляд на лошадь, брат ты мой, был! Музыка, туш! Земля дрожит. Публика трепещет. Сам Поддубный подумывает, не уклониться ли ему от схватки с Кащеевым, а этот всеобщий кумир у порога конюшни прощения просит. И какие, брат ты мой, люди за честь считали не то что погладить, а так только, рядом постоять и посмотреть. Каждый из нас имена этих людей произносит с благоговением, а они – «Разрешите только взглянуть!» Ты это и в «Анне Карениной» найдешь: «Всех из конюшни вон! Нечего лошадь перед призом нервировать!» А теперь, ты сам убедился, так и лезут, так и лезут, безо всякого трепета, с расспросами да с ласками. А вот откуда у этого британского костоправа такая деликатность взялась во взгляде на лошадь, кто знает, но я, когда встречаю его, молодость вспоминаю, и видится мне через него и Кащеев, и сам Лев Николаевич, и на душе становится тепло.

Узнав, что наш маэстро еще и рыболов, хотя и не потомственный, боксер пригласил нас на рыбную ловлю. С трудом найдя подмену – за лошадьми смотреть – мы поехали. Прихватили и напарника, который, оказалось, служил боксеру пособником и в рыбном промысле. А сверх всего Хью хотелось, чтобы Катомский осмотрел его лошадей, которых он держал в каком-то хозяйстве неподалеку.

Сели мы в машину. Хью отвлекся к приемнику, и раздалось:

Люблю тебя
за то, что ты
всегда
побли-и-изости!

Это звучала «Кэролайн», радиостанция пиратская, вне закона. «Кэролайн» находилась на корабле, который держался в трехстах милях от берега. Все время. Иначе арестуют. А на триста миль – вне закона. Когда подходили мы к туманным берегам Альбиона, то видели где-то вдали судно—не судно, плот—не плот. Капитан

поглядел в бинокль:

– Это «Кэролайн».

И как только устроились мы на ипподроме, в первое же утро пришел молодой наездник Джон, принес транзистор, поставил его на землю возле денника, и бодрый голос провозгласил:

– Это «Кэролайн»!

Все тогда слушали «Кэролайн». Даже рыжая Лагретто, возле «бокса», в который Джон имел обыкновение помещать транзистор, тотчас высовывала голову и тянула мордой к черному ящику, едва только раздавалось:

Люблю тебя
за то, что ты
всегда
побли-и-изости!

Наши лошади, впрочем, оставались равнодушны к мотивам «Кэролайн». Эх-Откровенный-Разговор, которому до чего только не было дела, даже не смотрел в ту сторону, откуда звучали навязчивые мелодии. А Тайфун забавлялся своей собственной «музыкой»: он бил передним копытом в стену и дергал губами замок в задвижке у «бокса». Получался вполне последовательный стук и бряк. Это продолжалось до тех пор, пока Гриша с ужасным криком не обрушивался на него. Жеребец оставлял свою «музыку» и глядел некоторое время в Гришину сторону, причем на морде у него было написано: «Ну вот, и подергать и постучать нельзя!»

Нас же, как и всех здесь, «Кэролайн» донимала с утра до вечера. Они брали веселой наглостью, откровенностью очковтирания и музыкой, которая с точностью била по нервам. Их можно было не слушать, то есть пропускать мимо ушей все, что вещали они про мыло, пудру, сигареты, возбуждающие средства и т. п., но невозможно было отделаться от ритма, от заведенной бодрости.

«Кэролайн» пользовались словно всеобщим магнитофоном. Радиостанция передавала одни и те же мелодии и все в том же порядке. Идея прекрасная, вот почему «Кэролайн» преследовали-преследовали, а потом просто воспользовались ее примером, стали передавать музыку вперемежку с рекламой и зашибли «пиратов» конкуренцией. Но мы начинали день с «Кэролайн», шли за провизией в город – из дверей кафе слышалась «Кэролайн», проходили мимо молодые, волосатые люди и слушали маленькими приемничками «Кэролайн», возвращались на ипподром: рыжая Лагретто тянулась мордой к ящичку, из которого неслось:

А можешь ли ты сказать мне сейчас,
Или молчанье – ответ?
Ответ!

И неизменно бодрый голос в который раз подтверждал:

– Это радио «Кэролайн»!

Итак, играло разбойничье радио. Нелегальный чемпион крутил рулем. Повернули мы там, где проезд был закрыт, и, значительно превышая дозволенную скорость, подлетели к запертым воротам с надписью «Посторонним вход строго запрещен – частное владение. Нарушители будут наказаны по закону». Следом за Хью мы полезли через забор.

– Если нас схватит полиция, – на гребне забора заявил Катомский, – я-то скажу, что не читаю по-английски. Ответственность – твоя, за тем тебя с нами послали.

Страсть рыбака взыграла в нем уже необоримо. Подобравшись к водоему, возле которого надпись была еще строже, запрещающая даже приближаться к этому приватному флувиалу – частному водному пространству, Всеволод Александрович и кулачный боец с напарником, поснимав брюки, полезли под корягу и дальше между ними пошел диалог чеховский:

«За зебры его хватай! За зебры!»

«Не тяни за губу, за губу, говорю тебе, не тяни – упустишь».

– А-а ф… фиш!

Трое без лодки и без брюк толклись у берега в воде, понимая друг друга без перевода.

– Ур-ра! – раздался их торжествующий вопль.

В руках у Хью забилась и заблестела какая-то нелегальная рыбина.

После улова, преодолев вместе с добычей в руках, заповедный забор еще раз, мы отправились смотреть хозяйство самого Хью, тут на нас вновь пахнуло чем-то знакомым, ноздревским.

– Сейчас, – говорил кулачный боец, необычайно воодушевляясь, – я покажу вам кобылу. Она третий раз подряд жеребит двойню! Правда, у меня документов на нее нет, поэтому потомство незаконным считается и этих жеребят нельзя на призы записывать. А вот, – продолжал нелегальный боксер, – мой мерин. Может бежать и рысью, и иноходью. Его испытывали и в экипаже, и под седлом. К сожалению, допингом однажды перекормили, и у него головокружения начались.

Мерин, рыжий, с лысиной, представлявший собой в

некотором роде лошадиный универсал, потянулся к нам обвисшими губами. На вид ему было лет пятнадцать, что по человеческим меркам будет все шестьдесят. Мерин, видно, хотел бы сахара. Хозяин, однако, ничего ему не дал, а только отвел его морду рукой с почтительной осторожностью, как и требовали того исключительные дарования ветерана.

– Еще я вам покажу, – не унимался боксер, – осла. Настоящий марокканский осел! С официальным дипломом!

Мэтр, еще недавно поносивший нас с Гришей за взгляд, один только взгляд, брошенный на пони, теперь осматривал осла, будто это была идеальных форм лошадь.

– Ну, как осел? – обратился к Всеволоду Александровичу Гриша. – Хорош по себе?

* * *

Вернувшись на ипподром, мы застали у конюшни целое население, и нас поглотила пучина ипподромных страстей. Еще издалека было слышно, что говорят о лошадях, говорят о лошадях, говорят о лошадях.

Без Дика Дайса здесь не обошлось. По принципу «все мое при мне» он находился здесь вместе со всем семейством и, если уж говорить о нем на языке, достойном Якова Петровича, так сказать, гулял.

– Не трогай хлыст! – велел он своему младшему сыну и, отняв хлыст, стал с ним делать то же, что и мальчишка.

– Не шуми! – прикрикнул Дик на среднего, а сам продолжал шуметь больше всех.

Чинно было только возле ларя с овсом. Там букмекер, глава местных букмекеров, развернул свою деятельность. Но кто такой букмекер? Тоже ведь персонаж из старых романов.

До начала бегов по конюшням, выясняя шансы лошадей, шныряют «жучки». Добытые сведения они предлагают игрокам, тотошникам, а те, естественно, загораясь надеждой на несметный выигрыш, делают ставки – букмекеру. А букмекер – это в своем роде тип экзистенциональный, тот, на чьем знамени прибиты слова: «Держись до последнего!» Наездник выигрывает, когда он выигрывает, приходит к финишу первым, игрок выигрывает, если он угадал победителя. А когда остается в выигрыше букмекер? Он играет один против всех. Победа фаворита ему не выгодна: получается один к одному, деньги приходят и уходят. К этому сводится одна из версий насильственной смерти австралийского феноменального скакуна Фар-Лэпа. Когда он прибыл на гастроли

в Америку, то оказался слишком бесспорным фаворитом, чтобы на игре вокруг него можно было сделать хорошие деньги, и, не исключено, американские букмекеры, по сговору между собой, и нашли способ его устранить. Если же выигрывает лошадка «темная», на которую никто не ставил, деньги останутся у него, но – бить будут. А главное, кроме ущерба физического, фирма понесет еще и моральный урон, верить в этого букмекера перестанут. Тоже не выгодно. И букмекер гадает, непрерывно гадает, какую бы предложить пропорцию ставок – один к трем или к двадцати, так, чтобы это выглядело правдоподобно и достаточно выгодно для игроков, но чтобы, в сущности, самому не остаться в накладе. Для этого дела нужен компьютер, а не просто голова! Но местный букмекер, как всякий мастер ручного труда, ненавидел технический прогресс и говорил: «Технический грабеж», – разумея государственный тотализатор, а за последние годы он стал электронным.

Однако нельзя сказать, чтобы он сам, букмекер, был вовсе в стороне от веяний времени. У него был налажен портативный телевизор, и он смотрел по нему скачки. Как раз в это время они проходили где-то под Лондоном, и у голубого экрана расположились, в ожидании бегов, наиболее азартные из «жучков» и просто тотошников, играя одновременно и на скачках и в карты.

Букмекер одной рукой принимал ставки на лошадей, другой держал банк, посматривая и в телевизор и в карты. А третьей рукой он подгребал к себе деньги. У него, несомненно, была третья рука или же бумажки и монеты оказывались возле него сами собой.

– Пики козыри! – объявил он.

Тут же:

– Утренняя Заря под Пигготом идет в шансах один к четырем!

И сразу:

– Банк, джентльмены!

– Старт! – вздохнули у него за спиной.

Букмекер кинул взгляд на экран и продолжал метать карты.

– Покойник Кирюшка, просто покойник Кирюшка! – произнес, глядя на его работу, Катомский.

Помимо того, что все «покойники» были вполне живыми и очень общительными людьми, это царство теней, вызванное на свет воображением Всеволода Александровича, поддавалось, что называется, рациональному объяснению. Мы очутились в провинции, совершенной провинции, в пропорции один к пяти, если сравнивать с Эпсомом или Кентукки, центрами современной скаковой жизни. Бега для англичан дело новое, и пока только

здесь, в глухой стороне, возле Страны чудес, в краю Моржей и Плотников, сумели рысачки силами своей новоявленной ассоциации занять небольшой плацдарм. Хотя на воротах ипподрома рядом с «Признана в США» и значилось: «Королевский кубок ничто по сравнению с нашим Большим призом!!!» – но это, знаете, как в гоголевских губернских городах не бывало из вин простого сотерна, исключительно Го-Сотерн, Наивысший Сотерн. У нас в приморском городке из двух улиц тоже не имелось ничего простого, обычного, не особенного. К местному перрону подходили три вагона, влекомые первозданным паровозом и называвшиеся «Чудо-Экспресс». Здесь же был Супер-Отель, иначе говоря, Сверх-Отель, а рядом сияло Королевское Лидо. И мы бросали вызов королевским скачкам! Пусть в пропорции один к пяти, а может быть, и к пятнадцати, но кипела своя жизнь. В этом затерянном мирке, куда не дошли еще законы Жокей-Клуба и где пока не действовал кинопатруль, фиксирующий малейшее колебание хлыста, – в этом мирке, будто на таинственном плато у берегов Амазонки, держался климат, где как дома чувствовали себя «жучки» и прочие жители из призового быта вековой давности. Нет, призовой мир-модерн, снабженный электронным табло, на котором контролируется каждая очередная ставка, тоже не безгрешен. Но воскресни сейчас сам Яков Петрович, чья афера с подложной лошадью известна по «Изумруду», он вскоре запросился бы обратно на тот свет со своими подложными лошадьми, иначе бы рентген, анализ крови у лошади на допинг и вообще наука с электронной быстротой лишили бы его лицензии владельца и наездника. Никто и смотреть бы не стал на его мастерски подделанные аттестаты! Конечно, там, в Эпсоме или Кентукки, уже возникли по закону исторического круговорота обновленные Яковы Петровичи и Кирюшки, но не живая ловкость рук служит им залогом удачи.

* * *

Устами лошади, по английскому выражению, глаголет истина, ибо кто же лучше лошади способен учесть все призовые шансы? Но лошадь сама свою тайну, понятно, не выдаст, у нее оракулом служит наездник, конюх и вообще конюшенный штат. Уж если они фаворита подскажут, то это все равно что «устами лошади», это – верняк, сведения надежные.

– Эй, Джек, кто выиграет в первом заезде?

Джек-наездник, морща лоб, посмотрел в программу предстоящих бегов.

– Здесь выиграю я.

В пятницу вечером старт. Джек всю дистанцию едет последним и приезжает последним.

– Что же ты, Джек?

Он отвечает все так же:

– Был уверен в победе.

В субботу:

– Джон, какие перспективы?

И Джон говорит:

– Я выиграю.

Джон, правда, машет усердно хлыстом, однако приезжает к финишу где-то в общей куче, без места, и по всему ясно, что на лучшее он не мог и рассчитывать.

– Что случилось, Джон?

– Думал, на прямой я их всех объеду.

Тогда мы обратились с апелляцией прямо по адресу.

– Это что же делается, Всеволод Александрович? Кругом «покойники», свои люди, а результат каков?

– Да, друзья, – согласился маэстро, – это что-то мне не знакомое. Видимо, чисто английское.

И действительно, никто сознательно нас не обманывал, а просто, как у Гамлета: если уж безумие, то последовательное. Или как Кот говорит в Стране чудес: «А мы тут все такие». Выходит, каждый старался говорить не только устами лошади, но и саморекламы. Оказывается, здесь так принято: если спрашивают, кто выиграет, отвечаешь «я».

Кулачный боец сообщил:

– Хотел вызвать чемпиона Англии по боксу в перчатках. Я уложил бы его в первом раунде.

Крупный писатель, с которым мы там повидались, сказал:

– Мою новую книгу читали? Так вот, начните читать, не оторветесь. Хорошо получилось!

Мы уже продали лошадей и вернулись домой, когда от Джека пришло письмо: «Все в порядке. Ваши лошади поступили ко мне в езду. Правда, в этом сезоне не я признан лучшим, но я уверен, что в следующем году побью всех».

И подпись – Стальной Вихрь.

В том же письме содержалась просьба сообщить особые приемы и тонкости в обращении с нашими лошадьми. Во главе с Катомским на конюшне собрался консультативный совет, и хотя мне выпала на том совете роль писца (как это, примерно, изображено на репинской картине с запорожцами), но не берусь описывать таких сражений. Работали мы по охоте, от всей души, и как только бумага выдержала! Разнообразие и обилие советов

было поразительное.

«Призовая выдержка орловского рысака…» – по одну руку от меня вещал сам Валентин Михайлович. Под другой локоть подталкивал конюх: «Так и пиши: подходишь к нему и сразу: «У-у-у, турка не нашего бога…»

А для передачи некоторых, особенно внушительных, советов просто не хватало английского словаря.

* * *

– Хотите быть судьей на конкурсе красавиц?

Кто скажет на это «нет»?

– Только с условием, – сказал наш местный босс, парень моих лет, управляющий «развлечениями» по всему ульскому побережью, – моя Арабелла должна стать победительницей.

Арабелла улыбнулась. Все засмеялись. А ехали мы за кузнецом, но прежде решено было заглянуть на конюшню и посмотреть наших лошадей.

Был вечер. Жеребцы дремали. Гриша взялся их одного за другим выводить. Начались восклицания:

– Какая большая грива!

– О, смотрите, до чего длинный хвост!

Жеребцы пришли в ответное волнение. Особенно их возбудило, должно быть, присутствие будущей королевы красоты. Мой-Заказ разволновался до такой чрезвычайности, что Арабелла произнесла:

– Oh, there is nothing small about them.

– Что она говорит? – спросил Гриша, торопясь увести жеребца.

– Что у наших лошадей нет ничего маленького.

И тут же наш хозяин, заметив рога, крикнул:

– Бык! Бык!

– Это же корова.

– Ах, – отвечал рыцарь Арабеллы с обезоруживающей английской мягкостью, – не нахожу в этом большой разницы.

* * *

У Тайфуна зада сносились, а Померанец сломал подкову на левой передней. И вообще перед призами требовалось осмотреть ноги лошадям. Кузнец нам нужен был во что бы то ни стало. Отправились мы за ним в имение лорда Лэнгфильда. Он являлся

президентом рысистой ассоциации, и к тому же, как выразился Гриша, надо поближе посмотреть, что за лорды.

– Но знаете, – говорил в пути наш босс, – дела лорда Лэнгфильда незавидны. У него осталось одно имя, а все имущество пошло в пользу похоронных почестей. Умер старый лорд Лэнгфильд, и нашему президенту приходится платить так называемые почести. Он вынужден был продать замок. О, похоронные почести просто разорение! Мы говорим: дешевле жить, чем умереть.

– Вот, – указал босс на скалу слева, взорванную и развороченную, – это единственный доход лорда. Отсюда берут камень на общественные постройки, а государство платит хорошо.

Катомский отнесся к аристократическому оскудению безо всякого сочувствия. «Видали мы это!» – только и сказал он, спросив вместе с тем у босса очень строго, предупредил ли он кузнеца и будет ли тот на месте. Босс отвечал, что в этом не было необходимости – старый Аллардайс всегда на месте.

– Он несколько пожилой, однако, не беспокойтесь, очень опытный, – добавил босс, – ему можно доверить призовых лошадей.

– Он говорит, что кузнец старый, – сообщил я Катомскому.

Тот пожал плечами.

Мы свернули в ворота, и попали, по меньшей мере, в восемнадцатый век. Увитые плющом стены, желтые собаки – гончие, которые при виде незнакомцев поднялись и, помахивая правилами, подбежали нас рассмотреть; лужайка, дом и цветник – всю эту бутафорию дополнил управляющий; он явился в бриджах, в сапогах с отворотами и с хлыстом. Оставалось услышать звук рога, чтобы там, за воротами, рванулась по полям, через ограды, лавина собак и всадников.

– Что Аллардайс? – спросил наш хозяин управляющего.

– Должен быть у себя.

Мы последовали за ним через двор, мимо служб, конюшен, к небольшой двери в стене.

– Вам будет интересно посмотреть нашу кузницу, – говорил управляющий. – Очень древняя и до сих пор действует. Еще интереснее было бы вам побывать в прежнем замке лорда Лэнгфильда, но…

Он сделал рукой «фьюйть!»

– Похоронные почести!

Мы понимающе покачали головами.

– Дешевле жить, чем умереть, – усмехнулся управляющий, – вот мы и пришли. Эй, Аллардайс!

Никто не явился на зов. И не последовало ответа.

– Старина!

Управляющий взялся на кольцо окованной двери, но мы заметили надпись: «Ушел за гвоздями». Похоронные почести, едва не разорение, и вдруг еще нет кузнеца, хотя веками он находился всякий раз на месте, – все это, видно, оказалось выше сил управляющего и нашего патрона. Они стояли совершенно растерянные. Катомский потемнел. Они не решались взглянуть в его сторону. Гриша их успокоил, говоря, что ничего особенного, человек отлучился и сейчас придет, это называется «пошел на базу».

– Тогда я вам, – приободрился несколько управляющий, – покажу еще что-нибудь. Скажем, погреб тринадцатого века. Это совсем рядом.

Мы вышли на поляну, где стояли дубы и паслись коровы. Поляну пересекал узкий ров, и через него был мостик.

– Тоже в своем роде редкость, – объяснил управляющий про узкий ров. – Мы называем это хаха от ха-ха, иначе говоря, один смех, пустяк, только видимость. Ров заменяет забор, коровы не могут перейти через него, между тем со стороны канава незаметна и таким образом создается иллюзия сплошного зеленого покрова, большого поля. Одного из тех наших зеленых полей, о которых вспоминал перед смертью шекспировский Фальстаф. Но, – с чувством махнул управляющий рукой, потому что надпись на дверях кузницы, вероятно, вконец расстроила его, – мостики портят все дело. Они все-таки видны, и иллюзия пропадает!

Тут из-за дома на поляне возникла небольшая фигурка и стала стремительно к нам приближаться. Человек был седо-рыж, он перепрыгнул через хаха и очутился возле нас. «Вот и коваль!» – воскликнул Гриша.

– Лорд Лэнгфильд, – в один голос произнесли управляющий и наш босс.

Прежде чем ответить на приветствие его светлости, я заметил, как на лице Гриши, смотревшего во все глаза, явилось выражение недоумения и даже обиды. Он с растерянностью встретил рукопожатие человека, который вел себя запросто, а между тем звался «лордом».

– Как я рад, черт возьми, что вы нашли время заглянуть ко мне, – с азартом говорил лорд Лэнгфильд. – Хозяин ваш молодец, что привез вас. А вы молодцы, что приехали с рысаками к нам в Англию. Нам надо, надо поднимать у себя рысистый спорт. А Россия классическая страна бегового дела. Граф Орлов покупал для своего завода лошадей герцога Камберлендского. Долг

платежом красен!

И тут же тень набежала на лицо лорда Лэнгфильда. Листва прошелестела над нами. Лорд Лэнгфильд взмахнул руками. Весь двор стал театром. Под деревом зеленым был произнесен монолог.

– Ах, слишком много нашей же породной крови утекло за океан!

Вывоз племенных английских жеребцов в Америку принял размеры бедствия. «Коня, коня! Царство за коня» – теперь это надо понимать буквально. Англичане пробуют вернуть утраченное, пытаясь купить потомков тех знаменитостей, которых сами же легковерно выпустили из рук. Не тут-то было! В самом деле, не меньше королевства стоит каждая из таких лошадей. Цены взвинчиваются до миллионов.

– А ведь это все наше, наше! Семнадцать ведьм на дышло! – заключил президент рысистой ассоциации свою речь, а семнадцать ведьм и одно дышло – это, как пояснил нам позднее управляющий, ругательство старинное, чуть ли не пятнадцатого века.

– Мне очень жаль, что я почти ничего не могу вам показать в имении, – с еще большим азартом продолжал Лэнгфильд, – эти похоронные почести, будь они прокляты.

Он сделал рукой «фьюйть!»

– Дешевле жить, чем умереть!

– Но у вас, сэр, здесь мы и так видели много интересного. У вас, как в «Томе Джонсе»…

– Что? «Том Джонс»? Ха-ха-ха, черт возьми, семнадцать ведьм! – и лорд Лэнгфильд чуть было не покатился по земле.

Но Гриша сурово посмотрел на Лэнгфильда.

– Тоже мне лорд, – сказал он уже в машине, когда мы уехали, так и не дождавшись ушедшего за гвоздями кузнеца, – никакой породы не чувствуется.

* * *

В день приза мы старались делать все как можно обычнее, чтобы не тревожить лошадей. Но они, с утра еще ничего не подозревавшие и послушно хрустевшие овсом, ко второй кормежке уже угадали призовую езду. Угадали даже, кому бежать – по малым порциям. И Тайфун вовсе отказался от спартанской подачки, а Эх-Откровенный-Разговор, напротив, капризно стал долбить в стену, требуя полного рациона. Навоз у них сделался жидким и вонючим.

Перед лошадьми расхаживал Катомский.

– Старый и больной, – говорил он, – я вообще могу отказаться от езды. С какой стати! Все постиг, все выиграл, левая рука у меня почти не действует, вожжи держать трудно. Я говорю тебе совершенно серьезно, – не унимался Всеволод Александрович, – что готов отказаться от сегодняшней езды. Пусть едет кто угодно. Ты садись.

Он плюнул.

Тут же стоял уже сам к нам приехавший кузнец, готовый выполнять указания мастера, готовый всякий раз вставить «Да, сэр», «Слушаю, сэр…» Но прежде чем ковать, нужно было проверить вес подков. Родион что-то не ладил ходом: задние ноги ему, кажется, только мешали, в особенности на старте и в поворотах.

Катомский, разрядившись несколько на мой счет и напевая «Алло, алло, милорд», что значило «Все вы, вместе взятые, виноваты в моем скверном настроении», достал аптекарские весы и сосредоточился над ними. Кузнец стоял, словно в карауле над гробом. Где же оно, последнее слово судьбы?

– Скажи ему, – решил наконец Катомский, – пусть зацепы не трогает.

Понимая минуту, я открыл рот и – забыл по-английски «зацепы». Грозовая атмосфера призовой конюшни сделалась электрической.

– И на лошади ты сидишь, – заканчивал Катомский обличительную речь, – как кот на заборе!

Попутно он намылил мне голову еще и за то, что я пренебрег старинным беговым правилом не выносить из конюшни в день приза ничего, даже мусора.

* * *

Отмечу, сделав паузу: тот же предрассудок на Московском ипподроме послужил причиной рысистого варианта ссоры «Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем». Расстроилось вечное союзничество двух мастеров-единомышленников, нарушилась старинная дружба, и даже родство не смогло скрепить распавшейся связи многих лет, а они были свояками – равновеликие по опыту крэки Грошев с Родзевичем.

Эспер Николаевич Родзевич был сугубый консерватор, он даже козла держал, единственный на весь ипподром сохранял, помимо мусора, и эту традицию – держал при своих лошадях козла, который, как издавна считалось, отгоняет оводов и

приносит удачу, хотя теперь все доказывало обратное: оводов вокруг, в пределах города, давно не было, а мастеру, при всех прочих успехах, крупно не везло, он все никак не мог выиграть Дерби. Козел же даром проедал корм, не только не выполняя своего традиционного назначения, но еще и насмерть пугая лошадей. Это было библейское козлище, с рогами и бородой, так что ипподромные рысаки, воспитанные в новых условиях, без предрассудков старины, от него шарахались, и я однажды из-за него чуть было не убился вместе с конем. Дело было весной, и старый козел взыграл, он что-то щипал у глухого забора, окружавшего дорожку, вдруг ему ударило в голову – разбежалось рогатое чудище, саданул старина, собравшись силами, в забор так, что доски с треском вылетели. Через пробой явились наружу, на свет Божий, кривые рога с висящей словно помело желтоватой бородой, а я вдоль того же забора, но с другой стороны, рысил Игрека верхом. С перепугу понесла меня молодая лошадь под откос, на железную дорогу, что граничит с ипподромом. Если бы несчастный Игрек не испугался еще больше паровозных гудков, какими взялись нас приветствовать машинисты, и не понес бы обратно на круг, где удалось его успокоить, не знаю, чем бы это могло кончиться.

А Григорий Дмитриевич Грошев был, как и свояк его, плоть от плоти профессии – сын наездника, работал у Кейтонов, видел Крепыша, однако, человек терпимый, он мирился с новизной, понимая, что, поскольку времена меняются, меняются не только нравы людские, но и конюшенные обычаи, что поделаешь, подвержены переменам.

Так в день призов, нарушая вековую заповедь, послал он меня к Родзевичу как родственнику за особыми удилами, с острыми пупырышками на одной стороне. У него, наездника-гуманиста, таких не оказалось для лошади, что валила на сторону, и никак иначе, без таких удил, ее нельзя было выровнять. Глянул на меня своими выцветшими глазами премудрый Эспер, ничего в ответ на переданную ему родственную просьбу не сказал, а только глянул, и на мгновение вспыхнула в его выгоревших на солнце глазах вся горечь обиды на быстротекущее время, а на меня те же глаза смотрели как несмышленыша, механическую куклу, робота, выполнявшего какую-то команду безо всякого понятия, что просит, что за недопустимую просьбу изрекают нечестивые уста, просто попугай, и все тут. И больше они не разговаривали до самой предсмертной болезни Родзевича, когда же тот, высокий и некогда сильный, способный нести рысака на вожжах («Держать и высылать, держать и высылать!» был его призыв), однако, слег и, чувствуя, что ему не подняться, а подходили Большие Зимние,

велел: «На Месяце пусть Григорий едет». И пришли на грошевскую конюшню послы: «Эспер Николаевич, когда кончались, сказали, чтобы кроме вас, никто другой не садился на его любимого фаворита».

Сам не ответил ни слова, а как подошел призовой день, взглянул на помощника, на Колю Морина, а тот Самого́ понимал без слов, и оба они собрались на осиротевшее тренотделение. Пока запрягали и проминали, то помощники покойника держались в стороне, Самому́ ассистировал Морин (а я при Морине в тот день состоял). И ехал на удар мотыльковый мастер на массивном Месяце, ехал во славу ушедшего строптивого свояка, сидел он по дистанции у всех в хвосте до поворота и лишь на последней прямой выслал громадного жеребца.

От дорогих воспоминаний далекого прошлого вернусь к реальности на берега Ирландского моря, в Уэльс.

* * *

Конюшенный двор между тем становился табором: различные повозки, фургоны, трейлеры, всевозможные «караваны» привозили лошадей поодиночке, парами, а иногда целыми конюшнями прямо к старту. Еще утром претендент разгуливал где-то на ферме по зеленому загону и вот, пожалуйста, под попоной и в сопровождении тренера спускается по трапу на беговое ристалище. Наши лошади в этом отношении были гандикапированы. Гандикап, или фора, которую одна лошадь дает другой на старте – по расстоянию, весу наездника и всяким другим условиям. В данном случае старт был общий, но ипподром, все тот же ипподром, изо дня в день, одни нервы и жесткая дорожка. За несколько дней до приза Тайфун после резвых прикидок откровенно жаловался на плечи. «Видишь!» – указал мне Гриша на симптом. Жеребец сгреб соломенную подстилку кучей, будто подушку сделал, и встал на нее передними ногами. Все-таки помягче! Катомский тут пустил в ход свои «семнадцать ведьм» – таинственные рецепты втираний и всяких мазей. На конюшне запахло йодом, скипидаром, а мы с Гришей, закатав по локоть рукава, растирали конские крупы и плечи этими пахучими составами. Но в конце концов, гастроли есть гастроли, а дома и стены помогают.

Пестрота повозок, наездничьих «цветов», конских попон и мастей на конюшенном дворе увенчивалась форменным фраком и цилиндром верхового, чья обязанность церемониалом выводить лошадей на старт. Маршал (так называется эта должность) имел

вид духовника, исповедующего жертву последним. К нам он подскочил легким галопом и, приподняв над лысиной цилиндр, предупредил, что среди десяти участников Гриша на Тайфуне принимает третьим в первой шеренге, а Катомский на Эх-Откровенном-Разговоре седьмым – во второй.

Подошел босс и произнес одними губами:

– Вы должны понять… Хотя и в лучших традициях нашего национального спортсменства, но против вас поедут все сообща. Мой долг…

– А я, – огрызнулся Катомский, – знаю такие штучки, что все содрогнутся!

Путаясь в рукавах, он натягивал камзол, словно впервые в жизни. До трех раз поднимал ногу, все не решаясь сесть на беговую качалку. Наконец, по-стариковски кряхтя, уселся и медленно, с ноги на ногу, двинулся в сторону гудящих трибун. Смотрел не на лошадь, а все больше назад, на колеса, будто опасаясь, что они отвалятся. Солнце, по мере того как Катомский панорамно пересекал двор, скользило по блестящей шерсти Родиона и по атласному камзолу наездника. Кончик хлыста, перекинутого через плечо, подрагивал за спиной. Хлыст колебался редко и медленно. Катомский, кажется, в любую минуту был готов остановиться.

Всеволод Александрович, судя по всему, и не думал принимать в расчет всех нас вместе взятых. С ноги на ногу двигался он к старту, солнечный луч скользил по атласному плечу, указывая, почему, собственно, наши претензии наезднику безразличны. Он сообщается прямо с солнцем, вращаясь вместе со всем беговым кругом и несущимися лошадьми на самой оси мироздания.

Лишь перед стартом Катомский заметил, где и зачем находится. Он сделал перед жужжащей публикой несколько эффектных бросков, чтобы у лошади открылось дыхание. Тут же забили в колокол часто и прерывисто: на ста-арт! С видом палача человек с рупором направился к открытой старт-машине, у которой сзади устроена подвижная загородка: прямо за ней и принимается старт.

Прошелестели шины. Наездник-англичанин, ехавший у самого края дорожки, шипел на лошадь: «Все бы ты кособочила, пр-роклятая!»

– Номер седьмой! – надрывался букмекер, ловя секунды и разжигая публику. – Номер седьмой идет в шансах один к десяти! Делайте игру, джентльмены!

Одной рукой он писал мелом на черной доске все подымавшиеся ставки, другой с помощью азбуки немых передавал

сигналы своим подручным, работавшим в дальнем конце трибун, третьей рукой получал деньги, четвертой… Не сосчитать, сколько же рук в последние мгновения перед стартом возникло вдруг у «покойника Кирюшки».

– Ну, есть надежда? – сказал возле меня голос.

Это был конюх с соседней конюшни. Каждое утро просили мы у него то метлу, то тачку. Но что сказать ему?

– Мастер нервничает, – ответил я конюху.

– Один к десяти, – взывал букмекер, – номер седьмой.

– Озолотеть можно! – простонал парень и исчез.

Колокол, наконец, прозвучал. Пустили сразу и ровно, Гриша на Тайфуне, как и было условлено, бросился по бровке вперед. Он должен был вести бег как можно резвее, изматывая силы соперников. Однако приемистый Сквер-Дил, что значит Дело-Прочно, не дал ему этого сделать и сам взял голову бега. Но Гриша не уступал, понуждая его ехать вовсю. Когда они проносились в первый раз мимо публики, Гриша на Тайфуне несся сразу следом за Дело-Прочно, и даже через множество копыт слышалось, как он визжит.

Но резвый прием сказался. Сил у Тайфуна хватило на полтора круга, на половину дистанции. Последнее, что сумел сделать Гриша – это, отставая, взять в поле и пропустить по бровке кратчайшим путем Эх-Откровенного-Разговора – Катомский остался один. Пошли последний круг.

«Однажды в Англии, на берегу Ирландского моря, я заметил у своей лошади в седелке что-то интересное…» Вот так примерно вел себя в эту минуту Катомский, занимаясь каким-то совершенно своим особым делом, разглядывая что-то у Родиона на спине. А между тем последний поворот. Теперь, было ясно, кинется Ровер, фаворит Ровер, крупный гнедой мерин, и, правда, тотчас оказался первым, будто вообще бежал он один, а все прочие стояли на месте. Зубы скрипнули возле меня, я покосился: игрок, зажавший в одной руке букмекерский билет, а в другой секундомер, смотрел за стрелкой. Она, кажется, не поспевала за лошадьми. Резвость!

– Ровер, как вихрь, – чеканил диктор, убыстряя речь вместе с приближением лошадей к финишу, – вырывается на первое место. Последняя прямая. Впереди Ровер. Паллада пытается захватить его. Но Ровер складывает бег, как он хочет. Ровер финиширует!

Крик в публике не был отчаянным: выигрывал фаворит. На устах было: «Ровер! Ровер!» Принялись уже хлопать.

Тут Катомский сделал свой посыл.

* * *

Когда нужно описать рывок на финише, Толстой говорит о лошади «как птица». Современный писатель прибегнет в том же случае, положим, к самолету и, возможно, вспомнит ракету.

Нарастание резвости по дистанции Толстой передает спокойно: свистнул кнут, шире ход, копыта бьют в железо передка. Толстой, как если бы в самом деле он «был лошадью», знает изнутри, как это – «все шире и шире, содрогаясь каждым мускулом и кидая снег под передок, я еду». Соединяя профессионализм спортивный с писательским, следит он и за скачкой, отмечая всего лишь, когда у лошади потемнело плечо от пота и как от посыла она прижала уши. Он знает, он видит, ему хватает слов и не требуется «как». Однако перед последним барьером, на прямой, успевая тем же точным внутренним постижением ухватить предельную струну скачки, зная: если не по скаковой дорожке, то по охотничьим погоням, как лошадь на полном галопе приникает к земле, зная в особенности, что тогда кажется, будто неподвижно висишь вместе с лошадью в воздухе – это пэйс! – зная и успевая до этой минуты, Толстой вдруг перед последним барьером мешкает и, уже не чувствуя последнего броска ни за лошадь, ни за ездока, говорит «как птица».

Позиция наблюдателя: «Он видел их резвость, ставил на королевские цвета и кричал вместе с толпой» (Джойс).

«…Начался заезд, они привстали с мест и волновались, и горячились, как все люди, когда играют и видят, что лошадь, на которую они поставили, плетется в хвосте, а они надеются, что она вдруг вырвется вперед, чего никогда не случается, потому что в ней нет прежнего задора» (Шервуд Андерсон).

И – Хемингуэй: «Стоишь на трибуне с биноклем, видишь только, как все тронулись с места, и звонок начинает звонить, и кажется, что он звонит целую тысячу лет, и вот они уже обогнули круг, вылетают из-за поворота».

* * *

Спустив ногу, выставив крючковый хлыст, маэстро рывком захватил Ровера, которого наездник-англичанин бил наотмашь, будто кнутом, а не хлыстом, и надо хотя бы немного держать в руках вожжи, чтобы представить, сколько воли, умения и выдержки должно хватить, чтобы сделать с Родионом то, что сделал Катомский, заставив жеребца высунуть голову к столбу на нос впереди несущегося Ровера.

«Все, все возьмите. Пусть молодость ушла. Старый и больной. Иронизируйте, гандикапируйте, берите сколько угодно у меня

форы. Мне по дистанции не нужно ничего. Но эти несколько метров до последнего столба – мои. Отдай!» – это говорил в ту минуту вид мастера.

– В мертвом гите! В мертвом гите! – пронесся по трибунам стон.

Значит, голова в голову, рядом. И только после совещания судьи решили, что все-таки полголовы за нами, чуть больше носа.

Катомский въехал победителем в паддок и стянул с головы красный картуз. Ипподром встал.

* * *

Призовой день клонился к закату. Воздух остывал от страстей. Публика рассеивалась. Разъезжались фургоны с лошадьми. Конюх вел через круг захромавшую лошадь. Эх-Откровенный-Разговор, уже после бега освежившийся, хрустел сеном. Прислушиваясь, как Родион ест, Катомский убирал в наследственный сундук таинственные мази, бутылочки и прочие приспособления. Становилось все тише. К нам никто не подходил. Обычно – толпились. Разговоры. Шутки. Тащат кто-куда. И вдруг – выиграли, и никого. Причину мы знали: после победы цены на наших лошадей поднялись и мы сделались для многих, так сказать, не интересны. Барышник Дик Дайс посмотрел на меня как в пространство.

– Ну, что? – заговорил тут Катомский, глядя, как мы с Гришей поникли. – Где же ваши друзья?

Он иронически выговорил «друзья» и смотрел на нас взглядом усталой опытности.

– Где, – все так же продолжал Всеволод Александрович, – Дик Дайс? Джек? Джон?

С каждым именем мы все ниже опускали головы.

– Где боксер?

– Боксер уехал в Маслобоево! – попробовал отбиться Гриша.

«Маслобоевом» называлось переиначенное Гришей Масслборо, шотландский городок, где как раз не было известных ограничений.

– Хорошо, боксер в Маслобоеве, – не отступал Катомский, – а где же Грей?

То был удар. Мы всегда знали, что большинство крутится возле нас из интереса. Но Грей Рэнсом был случай особый.

Однажды на ипподроме проминали очень резвого рысака. За работой наблюдал высокий стройный парень моих лет.

– Что за лошадь? – спросили мы.

– Принц.

– Чья?

– Моя.

Истрепанный немилосердной ездой «ягуар» и лошадь по кличке «Принц». Грей Рэнсом удивительно привязался к нам. Он готов был пропадать с нами целые дни.

– Где же ваш Грей?

И маэстро удалился на покой.

Установилось ночное небо. Зажглись огни Королевского Лидо. Супер сиял своими окнами. В той стороне, где Ливерпуль, поднималось темное зарево. Всюду двигалась своим чередом чужая жизнь, оставляя нас с краю. Мы собрались в кафе Королевского Лидо есть грибы. Это сделалось у нас правилом, чтобы сохранить, как обычно бывает за рубежом, защитный кокон родного обихода: уезжает человек за тридевять земель и сразу же спрашивает черного хлеба.

– О'кэй! – раздалось у нас за спиной.

Это был Грей.

И била музыка по мере того, как все выше и выше ввинчивались мы в ночные горы. Не унималась «Кэролайн»

Был
молод
я,
хоть и теперь еще я —
мо-о-олод…

В горной таверне, куда мы приехали, на стенах были развешаны скаковые картины, и мистер Триллинг возвышался над баром, как капитан. С порога слышалось, что говорят о лошадях, говорят о лошадях, говорят о лошадях.

Не многие ожидали, что мы будем первыми, поэтому букмекер был в барышах, он нам кивнул словно соучастникам. А кто потерпел из-за нас убытки, имел, конечно, мотивы смотреть иначе.

Один взгляд оказался особенно красноречив.

Через какую-нибудь минуту между Греем и этим длиннолицым шел диалог шекспировский: «Это вы на мой счет закусили губу, сэр?» («Ромео и Джульетта», д. 1, сц. I).

Грей шепнул:

– Англичан бить будем, – он был уэльсец.

Я же думал не «что сейчас будет?», а щемило меня «что потом будет!». На шелестящем наречии своих предков, из которого знающий только английский ни слова не поймет, Грей заговорил

кое с кем из сидевших у бара и вокруг букмекера. Обнаружились, кроме того, ирландцы, они-то понимали уэльсцев. Появился наш босс с Арабеллой и хотел было все прекратить. Грей сказал ему демонстративно:

– Тут из Лондона хотят с нас получить.

Босс, он был тоже уэльсец, просто зашипел в ответ:

– Получат! – и потянул с плеч пиджак.

И Гриша шипел: «Жаль, боксер в Маслобоеве». Боксер был шотландец, и он, когда при англичанах обсуждали беговые тайны, переходил с местными игроками на тот же шелестящий язык.

Но англичанкой оказалась Арабелла!

Что ж, присуждая ей приз «королевы красоты», пришлось бы кривить душой (вкусы тут специфические), однако она была бесспорной победительницей при нашем Англси (последний оплот независимости Уэльса, павший под натиском англичан в XIII веке).

– Мужчины, – произнесла она, подходя к длиннолицему и кладя ему руку на плечо, – не заставляйте меня краснеть за мою родину!

Длиннолицый выступил вперед и начал, уже играя, засучивать рукава. Вековая выучка оказалась в соединении иронии и серьезности, самоуничижения и достоинства. Все было понято и прощено. Как фейерверк к перемирию, впустили собак: вбежало два огромных и образцово черных пса, а за ними немыслимое количество щенков. А затем в совершенной тишине повар внес на перчатке охотничьего сокола.

Стало торжественно. Никто не двигался и не говорил ни слова. Возле букмекера затихли. Даже щенки приостановили возню. Строгая крупная птица обвела нас взором.

«Так, так, – говорили пронзительные глаза, – и Гришашвили, и ты, и Грей, все, стало быть, здесь… Так, так!».

* * *

Вот наступил день прощания. Бега позади. Лошади отправлялись на аукцион, а мы – домой. На проводы Катомский подготовил оставшиеся у нас неиспользованными по прямому назначению флюиды наружных втираний в пропорции один к трем. Сказать нам напутственное слово пришли все местные «Кащеевы» и «Яковы Петровичи».

– Что, – обратился к Катомскому Гриша, – играет сердце «Прощание славянки»?

– При чем здесь «Славянка», сэр?

– Ну, как же, – Гриша указал на «Кащеевых» и «Петровичей». – Все свои!

Но мы никогда не думали, что таким сентиментальным будет прощание с лошадьми, нашими лошадьми, которые своими болезнями и капризами успели нам осто– или даже одвести-, как выражался Катомский, чертеть.

В последний раз прошелся Всеволод Александрович перед денниками, из которых, как по команде, уставились на него три морды.

– Что, что, соколики? Остаетесь!

– Ну, турка не нашего бога! – Гриша зашел к Тайфуну и, ткнув его в бок, крикнул преувеличенно грубо.

С лошадьми вообще обращаются преувеличенно. Однако на этот раз была не обычная нарочитость. Тайфун будто понимал это. Он не обратил к Грише морду с выражением, какое всегда у него в таких случаях появлялось: «В чем дело? Кажется, я не стучу и не дергаю!» Тайфун вздохнул и отвернулся.

Когда мы пошли, не оборачиваясь, Эх-Откровенный-Разговор принялся вдруг отчаянно стучать.

Была в начале века выдрессирована одним немцем лошадь, которая даже по телефону умела разговаривать, отбивая сигналы копытами. Родион не знал этого. Он просто стучал и стучал, но в его настойчивости и тревоге ясно было выражено: «Куда? Куда же вы? Разве так поступают!..»

* * *

Из Англии вернулись мы в августе; только что прошли большие призы, но не разговоры о новых триумфаторах и рекордах коснулись нашего слуха прежде всего.

– Башилов умер, – сообщил первый же попавшийся нам навстречу обитатель Беговой улицы, а уж тут все знают обо всем.

Григорий Григорьевич Башилов возле лошадей производил впечатление поэта, ученого и философа. В стенах конюшни Башилов выражал тончайшие оттенки мысли, если только дело касалось лошадей. Привели как-то жеребят с завода, и я все не мог найти слова, чтобы определить их отличие от призовых рысаков. «Зверем еще пахнут», – ответил Башилов на мой вопрос таким тоном, как у Гоголя ветвистая тирада обрывается формулой: «Вам нужно мертвых душ?». Так и у Башилова все в его мире имело название, назначение, место.

И при всем своем величии Григорий Григорьевич трепетал буквально перед каждым призом. Это не было, как у Катомского,

«волнение», входившее в набор приемов. То был самый неподдельный страх перед судьбой. Лицо делалось землистым, совсем пропадал голос: глубокое удручение долгие годы гнездилось в душе великого наездника, ибо все никак не мог выиграть он Дерби. А это все равно, как для трагика остаться без роли Гамлета. Другие призы Башилов выигрывал, некоторые даже неоднократно. Приз Элиты брал трижды. Дерби никак не давалось! Лошади, идеально подготовленные, начинали хромать прямо на проминке. Однажды при бесспорных шансах на победу Башилов улегся у денника своей лошади на ночь, так надо же! Конкуренты подковыряли с наружной стороны раму и обрушили ее на несчастного фаворита, который хотя серьезно и не покалечился, но выбыл из игры. Случилось это еще в те времена, когда легендарный Яков Петрович подделывал племенные аттестаты, перекрашивал лошадей, а Куприн черпал на ипподроме материал для «Изумруда».

И только в самые последние годы его призовой карьеры счастье сжалилось над прославленным мастером, улыбнулось ему, и он взял Дерби на Былой Мечте. В силу совпадения получилось так, что и конный завод, которому принадлежала Былая Мечта, никогда прежде не удостаивался Дерби – приза призов. По решению администрации завода победительницу захотели увековечить в бронзе при жизни. Для этого на завод вызван был Гарик К., и он поставил там памятник. Правда, не обошлось без творческих дискуссий. Дело в том, что в приемочную комиссию был включен Валентин Михайлович, и он произнес разгромную речь примерно в таком духе: если индивидуальность выдающейся кобылы схвачена вполне удовлетворительно, то все же не переданы фамильные черты, которые указывали бы на происхождение Былой Мечты, на ее семейную связь с несравненным Сметанкой! На этом основании Валентин Михайлович категорически отказывался поставить свою подпись под актом приемки памятника, говоря, что он не может подписаться под собственным смертным приговором, ибо потомство не простит такой оплошности, такой элементарной, как он выражался, иппической безграмотности. Не знаю, как уж они там обошлись без подписи эксперта, только Гарик приехал из завода взбудораженный и сказал:

– У них дальше Аничкова моста и коробки «Казбека» вкус не развивался.

Положим, что до Аничкова моста, где, как известно, установлена группа конных скульптур Петра Клодта, то сам император при посещении его мастерской сказал: «Послушай, Клодт, ты делаешь лошадей не хуже жеребца». А всем знакомый

всадник на фоне гор, украшающий пачку папирос «Казбек», создан Евгением Лансере, иллюстратором толстовского «Хаджи-Мурата», и сделано это настолько хорошо, что всем к этим папиросам причастным удалось уцелеть, несмотря на очевидную ошибку против правды: ведь на коробке не Казбек, а Эльбрус, но как скомпановано! Впрочем, Былая Мечта оставалась памятником самой себе, она здравствовала и вот пережила своего тренера.

Мы прибыли на ипподром в самый разгар организационных разговоров о том, как отдать похоронные почести Башилову. Главное, какого коня вести за гробом? Как павший воин на лафете, наездник принимает свой последний старт на повозке. Следом ведут лучших его лошадей. Как быть в данном случае? Былая Мечта значилась безусловным претендентом. Но где эта Былая Мечта? И сколько ей лет! По человеческим меркам, которые в четыре раза превышают лошадиные, она в свои двадцать была восьмидесятилетней старухой. Везти кобылу за тридевять земель, а она того и гляди сама падет по дороге.

– Квант, – сказал директор ипподрома, – пусть идет Квант.

Квант (рыжий, во лбу бело, левая задняя до плюсны тоже бело), он, конечно, крэк – выиграл Дерби этого года, как раз перед нашим приездом. Но при чем здесь Башилов и Былая Мечта?

– В таком случае, – заявил Валентин Михайлович, – я отказываюсь принимать участие в этой кукольной комедии!

Мнения разделились. Младшее поколение наездников не видело ничего ужасного в том, что поведут Кванта. Мне тоже так казалось, но я все-таки спросил Катомского, так ли уж это нарушает обычаи?

– Друг мой, – отвечал маэстро, – это просто профанация, а не похороны.

И он рассказал, как провожали его отца: мало того, что вели ту лошадь, которая и привезла Катомского-старшего к последней победе бездыханным. Вели до седьмого колена потомство лучших линий, на представителях которых старик Катомский выступал и выигрывал. И подобраны лошади были так, чтобы получилась траурная гамма мастей.

– А тут выбрали какого-то пряничного конька, которого и не во всяком цирке прилично показать, – говорил Катомский. – Просто жалкое зрелище.

Право, мне ничего не казалось жалким. Напротив, все выглядело необычайно торжественно. Традиционно. Законно. Так мне казалось.

Собрались в последнем повороте, у выхода на финишную прямую. Квант под черной попоной, на поводьях, с двумя

конюхами по бокам, следовал прямо за открытым гробом.

Вывернули на прямую. Шли великие люди, немыслимые мастера. В кои веки оказался я с такими людьми на призовой дорожке рядом, голова в голову, а то все пыль из-под копыт у них глотал.

В отдалении, полем, составляя нам открытую оппозицию, шел в одиночестве Валентин Михайлович. И поза его выглядела вызывающей, хотя, то была вовсе не поза. У Валентина Михайловича была манера держать голову, высоко подняв подбородок, поэтому конники говорили о нем – «на рогаче»: у некоторых лошадей бывает затрудненное дыхание, и, чтобы облегчить его, им надевают приспособление – рогач, который держит голову поднятой.

А на заборе, окружавшем беговую дорожку, торчали местные мальчишки, будущие Башиловы.

Но лучше всех повел себя Квант. Шел с необычайным достоинством, картинностью. Иначе не скажешь – с чувством исторической ответственности. (Наверное, Валентин Михайлович так и сказал бы, будь Квант хоть бы седьмая вода на киселе, но все же родственник Былой Мечте.) А у самого финишного столба, когда катафалк пересек линию финиша, конь поднял вдруг голову и – затрубил, заржал. Не знаю, может быть, и это представлялось знатокам кукольной комедией, но мы, мне казалось, сподобились прикоснуться к высшим сферам. Не знаю, не знаю, но, по-моему, все совершалось именно как надо. И неужели я тоже доживу до тех пор, когда вот этот ритуал, о котором один крэк сказал «комедия», другой – «профанация», мне будет представляться возвышенным действом по сравнению с каким-то новым обрядом, который уже я сочту жалким зрелищем?

– Простите, – раздалось у меня над ухом, – поскольку этот, на рогаче, с нашего круга съехал, придется вам в честь Григория Григорьевича надгробное слово сказать. Так, осветите коротенько.

– Да, да, – добавил с другого бока, с бровки, старик Кольцов, – у него хотя и нет ни рук, ни головы, но язык привешен.

Говорить в таких случаях надо про Сократа. Когда наступил смертный час Сократа и ученики начали печалиться, философ сказал им: «Зачем вы убиваетесь обо мне? Подумайте, что за прекрасное общество ждет меня там, в ином мире». Действительно, все великие, начиная с Гомера, давно уже ждали мудреца. «Вы бы лучше, – продолжал Сократ, – беспокоились о себе. Посмотрите, с кем вам придется жить!»

– …И принимают они сейчас там с общего старта. Ограничений по породам нет. Принцип один – элита. Катомский-старший выезжает из паддока. Шестикратный чемпион СССР,

Борис Лилов вызывается на манеж. И с помертвевшим от страха лицом, но, как живой, подает на старт Григорий Григорьевич Башилов.

С кладбища поехали к Башиловым. Комнатка у стариков была маленькая: многие годы Григорий Григорьевич был депутатом райсовета и не считал возможным себе жилищные условия улучшать. Поэтому входили мы порциями и не задерживались за столом долее двадцати минут, уступая место следующей группе. Входили по конюшням. На столе стояло слегка подкрашенное «Наружное» – для втираний лошадям. Среди гостей были вдовы прежде знаменитых наездников. Они в основном разбирали между собой сны. Им снились прежние призы.

– Вчера Дерби двенадцатого года видела, – сообщила вдова Константинова. – Кейтон на Фаталисте взял. Мой вторым, как и тогда… Я его спрашиваю: «Что ж ты, опять проиграл?» – «Ничего, – отвечает, а сам смеется, – я его вторым гитом объеду!»

Пришла наша очередь подыматься из-за стола, мы поблагодарили старушку Башилову, и вышли, смешавшись с людьми, ожидавшими у дверей.

Прямо против ипподрома была почта, я пошел и отправил телеграмму: «Джони зпт Гриша скончался тчк». А спустя некоторое время, когда я уже приступил к своим непосредственным обязанностям и готовил обзор прессы, вдруг в одной из крупнейших американских газет увидел заголовок:

GRIRORY GRIGORIEVICH BASHILOV

Дальше говорилось: «Недавно в Москве в возрасте 78 лет скончался Григорий Григорьевич Башилов, представитель наездничьей династии, составляющей некогда главную конкуренцию семье американских наездников Кейтонов, которые были родоначальниками русско-американской конеторговли. Для интересующихся этим делом можем сообщить, что благодаря их соперничеству беговое дело достигло современного уровня. Сочетание взаимоинтересных породных линий Гей-Бингена и Петра Великого было также делом рук этих двух семей, а как известно, каждый десятый выигрывающий сегодня на ипподромах мира рысак принадлежит к этим линиям или близкому их ответвлению».

Газету я показал Валентину Михайловичу, думая несколько смягчить его суровость.

– Какое легкомыслие! – воскликнул эксперт. – Они спутали Гей-Бингена с Гей-Беконом. Что им Гей-Бинген, что Гей-Бекон! Что им те усилия, которые приложены были ради того, чтобы сложились эти линии.

Но все это было уже позднее. А тогда, возвращаясь с почты, я встречал шедших с поминок людей. И один другому говорил:

– Слышал, над гробом Квант слово сказал?

– Да ну?

– Я тебе говорю. Своими ушами слышал. Поднял голову и говорит: «Вот прежде были наездники: Сократов, Константинов, Кейтон… Вот еще Башилов был. А теперь одно название что наездники». И ка-ак вдобавок заржет!

Могила Годольфина

«В шекспировские времена у англичан наибольшим спросом среди конных пород пользовались: барб – из Турции, наполитано – из Италии и хинет – из Испании. У Шекспира в «Ричарде II», «Гамлете «и «Отелло» упоминается барб, знаменитый своей резвостью и выносливостью».

Шекспировская энциклопедия

Неподалеку от Кембриджа, на холме, спит вечным сном Годольфин Арабиан, он же Барб, родоначальник чистокровной скаковой породы.

В Кембридже есть что посмотреть, где преклонить колени. Здесь заведывал кафедрой Ньютон, там учился Дарвин, вот лаборатория Резерфорда… «А там, – указывают, – могила Годольфина».

Но указывают взмахом руки, за город куда-то. А в Англии общество – классовое, классы – те же барьеры, их и на коне не перескочишь.

– Знаете, – говорят, заметив, что я все посматриваю туда, на холмы, – либо лошадьми торговать, либо изучать литературу!

Действительно, было дело, торговал я в Англии нашими лошадьми, хотя и сейчас программа перегружена, но сердце не камень или, как говорят на конюшне, порода сказывается – тянет туда, где спит вечным сном великий конь, совершивший в скаковом мире примерно то же самое, что в мире науки сделал Ньютон.

Кстати, они – современники. Имя Годольфин Арабиан означает Годольфинов Араб, то есть конь принадлежал Годольфину. Ньютон был хорошо знаком с лордом Годольфином-старшим, отцом хозяина знаменитой лошади. В то время Ньютон заведовал кафедрой в Кембридже, а по соседству, в Ньюмаркете, на холмах Гог-Магог, Годольфин-младший основал в своем имении конный завод. Так что из Кембриджа до могилы легендарного скакуна рукой подать, но – попробуй! Сам Чарльз Сноу сделал мне выговор за попытку сочетать литературоведение с коневодством. Придет время, пора будет мемуары писать, так и скажу: «Лорд Сноу отсоветовал». Одним словом, колесо истории пошло обратным ходом. Если когда-то тренер говорил: «Плюнь ты

на этих писателей и давай лошадей поить!» – то известный писатель в отношении лошадей предостерег: «Вас могут понять неправильно».

– Кони и книги – разве это не в традициях английского спортсменства?

Сноу пояснил:

– Помимо традиций спортсменства, у нас есть и традиции снобизма.

Вопрос о снобизме и скачках стоит очень остро, я мог сделать такой вывод из беседы с другим известным английским писателем.

– Что?! – и Пристли сверкнул глазами.

Гром и молния вызваны были вопросом, как он смотрит на лошадей. Еще древние знали: ключ вдохновения бьет там, где конь ударит копытом. Зконодатель английской поэзии Филип Сидней, чьи взгляды воздействовали на Шекспира, поэтическую программу начинал с конюшни. Гете говорит, что поэтические силы проснулись в нем после того, как он упал с лошади. У Толстого сказано: «Как меня стукнула об землю лошадь и сломала руку, так я сказал себе, что я – литератор». Правда, Фолкнер упал с лошади и не только перестал быть писателем, он – погиб, но трагическое исключение лишь подтверждает правило. Фолкнер до старости лет рисковал садиться на дурноезжий молодняк, а тут действительно важна выездка. Законы поэтического мастерства Сидней выводил из бесед с берейтором, профессиональным объездчиком. Так что, казалось, естественно с писателем, к тому же писателем сугубо английским, завести разговор о лошадях.

Пристли стал, однако, сумрачен:

– Почему вас интересуют эти лошади?

– Видите ли… я… я когда-то ездил верхом.

– А я всю жизнь хожу пешком! – отрезал Пристли.

Странно, в книге его воспоминаний есть фотография – он верхом на муле. Оседлавший мула не совсем лошадник, но согласитесь, его также нельзя считать вполне пешеходом. Все же вопрос о лошадях занимал Пристли глубже, чем могло показаться. С точки зрения пешехода, он проделал разрез или, лучше сказать, разнос английского общества, обрушившись на тех, кто пытается как-нибудь возвыситься – в седле, в министерских креслах, в глазах публики: страсть к лошадям Пристли рассматривал как предрассудок, всадник – символ сословной спеси.

– Повторяю вам, я пешеход! – гремел Пристли. – И скоро мы вас, конников, вышибем из седла!

Декларацию пешехода он подкрепил энергичным жестом, напоминавшим, впрочем, кавалерийский взмах шашкой.

«Пора уточнить соотношение факта и вымысла в литературе» – с таким тезисом прибыл я в Кембридж. А в Кембридже на этот счет были разработки фундаментальные. В труде «Великие писатели» знаменитый доктор Л. раскрыл, что такое серьезное литературное мастерство. В «Основах критического анализа» прославленный профессор Р. развил идею о том, что всякий постигает книгу в меру своих сил: один смотрит Шекспира как кровавый боевик, другой как трагедию мысли.

Доктор Л. и профессор Р. были тоже выдающимися реформаторами. Упоминая любого из них, тут же говорили: «Неужели он еще жив?» И при этом не хотели сказать ничего плохого. Напротив, эти два кембриджских светила уже давно оказались приобщены к сонму классиков, и стало принято говорить: «Еще Сократ указал, а профессор Р. разработал»… или «В один голос с Аристотелем доктор Л. утверждает…». Странно было думать, как люди, стоящие на короткой ноге с вековыми авторитетами, могут попирать грешную землю наряду с нами.

– Видите ли, – предупредили меня, однако, – доктор Л. плох, а профессор Р. стар, так что следует выбрать удачный момент…

Ситуация осложнялась еще и тем, что, усердный читатель труда «Великие писатели» и «Основ критического анализа», я в них… изверился. Конечно, есть законы мастерства. Но в чем они? В подборе удачных слов? Как же объяснить тогда, что живут и Гамлет, и Робинзон, и Гулливер, столетия живут, хотя большинство узнает о них из книг, написанных совсем другими словами, не теми, какими написали их Шекспир, Дефо, Свифт: ведь чаще всего читаем мы переделки. Когда-то в России самой популярной шекспировской строкой считалось «Страшно! За человека страшно мне». Театр замирал, как только произносил это Павел Мочалов. Но ведь строку переводчик вставил от себя.

* * *

Вот и Лондон. Вот Тауэр. Нет, не Шекспир, не Ричард Третий и не принц Кларенс, утопленный в бочке малаги, вспоминаются мне при взгляде на эти седые башни, ров и изгородь…

…Слышу стук копыт о настил, и мотор автобуса – движемся через Лондон в графство Кент, где будет аукцион наших лошадей. Наездник Катомский, жокей Гришашвили… Мы были первыми! Кони застоялись. Нетерпеливо стучат. А мы сидим на сене. Башни Тауэра проходят за окном нашего фургона. «Там казнили

английских королей», – говорю Катомскому с Гришей. «З-замолчи, с-скотина!» – кричат они жеребцу Мой-Заказ, который нас особенно довел своим стуком. И в памяти у меня теперь при виде Тауэра звучит назойливое копыто.

…А вот профессор Самарин Роман Михайлович, и я с ним, его ученик, недавний выпускник Московского университета, а с нами еще профессор Ефимов, и здесь мы стояли, у той же изгороди, у тех же ворот, где и сейчас возвышается вроде бы тот же самый гигант-гвардеец. «Следы в песках времен»… Различаешь уже не только наслоения далеких эпох, перебираешь страницы личной летописи.

– Брось ты этих королей, – сердится Катомский, – и подкинь жеребцу сенца, а то ведь покоя не дает. З-замолчи!

И Тауэр проходит мимо нас.

– Не бойся, Роман Михалыч! Говорю тебе, не бойся, подходи! – так Ефимов предлагал Самарину как следует рассмотреть гвардейца.

Самарин был человеком совсем не робкого десятка, но Ефимов предлагал приблизиться к часовому вплотную, так, чтобы только чугунная решетка разделяла нас. Дело шло к вечеру, спускались сумерки, старинный замок-музей был уже закрыт, публики вокруг почти не наблюдалось, и часовой не терял времени даром. Неся службу, картинно возвышаясь в своей золотой каске у ворот, он то и дело наклонялся за столб, а там у него была припрятана девушка. И надо полагать: «Позволь губам моим, двум пилигримам, мой сладкий грех лобзаньем искупить» (как говорит Шекспир).

– Подходи же, Роман Михалыч, подходи без страха! – твердит Ефимов.

Александр Иванович Ефимов был первым нашим профессором русского языка, приехавшим читать лекции в английских университетах. Мы же с Романом Михайловичем составляли нашу первую делегацию на Шекспировской конференции, которая должна была состояться в Стрэтфорде, на родине Шекспира. Мы были первыми! Но Ефимов приехал в Англию раньше нас и уже чувствовал себя здесь старожилом.

– Не бойся, говорю тебе, у них тут это просто!

Обжившись в Англии, Ефимов взял себе за правило нарушать все английские традиции и порядки, какие только мог нарушить. Заядлый рыбак, он ловил рыбу в Кенсингтонских прудах, а там ясно написано: «Поймал – отпусти», Ефимов же, подцепив на крючок какую-нибудь корюшку (судьбу которой обсуждали члены Пиквикского клуба), клал трепещущую рыбку в карман, приговаривая: «Вот еще, стану я заниматься этой…» Дальше он

выражался вполне по-русски, но не совсем университетски. Александр Иванович вышел из той среды, что получала и азы, и профессорские звания прямо в первом поколении. Но человек живой, одаренный, восприимчивый, отзывчивый, он несся через пропасти и кручи, как бы не замечая их. Матерая английская профессура смотрела на него с умилением. Истосковавшись по «истинной славянской душе», британцы получали от Ефимова нашу душевность в таких количествах, что, казалось, они ее как-то специально упаковывают и сохраняют про запас. Один профессор-патриарх, уже приближавшийся к пенсионному возрасту, поделился с Ефимовым своими горестями: порядки в Англии жесткие – что можно, то можно, а что нельзя, то нельзя – шестьдесят пять стукнуло, и до свидания!

– А ты приезжай к нам, – говорил ему Ефимов. – Брось все и приезжай. Не бойся! Будешь читать не только до седых волос, а хоть до полной лысины. У нас это просто. Говорю тебе, приезжай! Не пожалеешь.

Настойчивой ефимовской рекомендации английский славист не последовал, но – слезы выступили на глазах у старика.

А Самарин не стал – он родился уже все знающим. Вышел из старинной профессорской среды, и в нем, выражаясь все так же по-лошадиному, сказывалась порода. Как смотрели на него английские коллеги, «отцы шекспироведения»! Сначала, надо признать, несколько побаивались. Робели. Ведь мы были первыми. А ну, как выйдет на кафедру красный шекспиролог, приехавший с каким-то молодым шпингалетом (ясно, комиссар при профессоре), и начнет свою р-революционную пропаганду… Но уже на второй день, хотя еще не прошло ни одного заседания, Самарин был англичанами совершенно усвоен. На второй день им обоюдно казалось, что они знают друг друга давным-давно, поколений пять-шесть подряд, лет сто.

В тот раз, возле Тауэра, мы долго еще стояли в меркнущем лондонском воздухе. Самарин размышлял вслух об истории, о наслоении эпох, сравнивал стили, упоминал имена, цитировал. «Все ты знаешь, Роман Михалыч, все знаешь», – с удовольствием слушая его, приговаривал Ефимов. А я, признаюсь, и половины не понимал. Не успевал за сложными сопоставлениями. Так и сказал:

– Слушаю вас, Роман Михайлович, и плохо понимаю.

– А чего ж ты, брат мой, хочешь? – включился Ефимов. – У тебя против самаринского образованьице слабенькое.

Тут меня даже обида взяла:

– Простите, но кто мне дал такое слабое образование!

От этой дерзости оба моих прежних профессора сначала

опешили, а потом расхохотались. Это прямо здесь, где стою сейчас, у ворот Тауэра, а чуть подальше проезжали мы с лошадьми.

– Простите, – обратилась ко мне одна из наших преподавательниц (мы приехали целой группой вести занятия и научную работу), – вы не знаете, в какой башне была заключена Мария Стюарт?

Был бы на моем месте Самарин! «Извините, не могу сказать». Вечером выяснил: Мэри, королева шотландская, была казнена в замке Фотерингей, в графстве Нортхэмптон. В Тауэре она никогда не была. Зато все читали «исторические» романы. Нет, пора, наконец, выяснить, что сильнее – правда или вымысел?

* * *

Вдруг библиотекарь кэмибриджского колледжа Троицы, куда я получил доступ, обратил мое внимание на статью в местной газете:

– Смотрите, по вашей части!

Смотрю и глазам своим не верю. Как, и это здесь, в Кембридже? Под рубрикой «Известно ли вам, что…» рассказывалась – в который раз! – история Годольфина Арабиана. Странно. Этой лошади посвящена целая литература: новеллы, романы и специальные иппологические исследования. Естественно, именно здесь вспомнить Арабиана, он же Барб, его реальную и литературную историю. Но, отправляясь в Кембридж, я надеялся, что найду здесь не какую-то беллетристику, а просто правду. И вот читаю: «По Ньюмаркетской пустоши под расшитой попоной на позолоченных поводьях ведут вороного жеребца».

Так излагал дело местный корреспондент, будто ведя репортаж с ипподрома, помещавшегося все на той же Ньюмаркетской пустоши, по которой когда-то вели Годольфина Арабиана. Кое-что в репортаже было верно. Ньюмаркет – старейший английский ипподром. Дефо, любитель лошадей и правительственный информатор, бывал здесь среди зрителей, не говоря уже о том, что сам король выступал в качестве жокея. Именно королевское участие прибавило скачкам особую привлекательность в глазах известной публики. Публику эту описал Дефо. Он вообще первым описал Ньюмаркет (как первым описал самочувствие человека на острове, а также – «одиночество в толпе»), и с тех пор сцена скачек стала своего рода эталоном литературного мастерства: не можешь как следует описать скачки, проходи дальше, не задерживай других!

Скачки описывали с точки зрения зрителя, с точки зрения всадника и, конечно, с точки зрения лошади. Понимавший в лошадях Дефо смотрел взглядом знатока на скакунов и взглядом сатирика – на толпу. «Ах, Ньюмаркет!» Еще бы! В седле сидит сам король, а кругом принцы, принцы и герцоги. Правда, многие английские принцы плохо говорили по-английски, потому что были французского, голландского и немецкого происхождения. Многие герцоги стали герцогами только вчера или даже прямо сегодня. Ведь это были революционные или, вернее, послереставрационные времена: произошла в Англии буржуазная революция, республиканский строй не удержался, но и реставрация не была возвращением к старому. Куда же возвращаться? Эту полуреставрацию назвали «славной революцией»: власть взяли новые хозяева, которые, однако, жить хотели по-старому. Некто Джон Черчилль, например, получил титул герцога Мальборо и такой дворец в придачу, что под бременем затрат на его строительство и содержание затрещал государственный бюджет.

Свои владения возле Кембриджа на холмах Гог-Магог лорд Годольфин получил в те же времена. Такие карьерные успехи кружили головы, жизнь представлялась скачкой на Большой приз. Поощрение конного спорта считалось признаком хорошего тона. Именно тогда и зародились эти две традиции, о которых говорили Сноу и Пристли, – спортсменство и снобизм. А лошади, что ж, они всегда лошади: верные, благородные животные, – именно так смотрел на них Дефо. Он занес в свою путевую книгу замечательный факт: два скакуна до того перенервничали, что даже Богу душу отдали. Только как они скакали! Быть может, некогда это и представлялось скачками, но на взгляд современный, то была езда шагом. Зато все преобразилось некоторое время спустя, когда один за другим здесь стали выступать потомки небольшого вороного арабского жеребца.

Годольфинов Араб передавал потомству свою резвость, свой неукротимый пыл, свое сердце. У него был только один недостаток – рост. Маловат был великий конь, маловат: от земли до холки сто пятьдесят два сантиметра. По нынешним понятиям зачислили бы его не в лошади, а всего-навсего в пони, потому что настоящий лошадиный рост начинается со ста пятидесяти пяти, по меньшей мере. Но времена меняются, и все мы, включая лошадей, меняемся вместе с ними. Главное из достоинств, которыми обладал Годольфин Арабиан, обозначается у конников понятием «класс» или «кровь», и с этой точки зрения каждый понимающий сказал бы, что в небольшом коньке было «много лошади», то есть породы. А на Ньюмаркетскую пустошь привели

Арабиана символически, ради того, чтобы собственными глазами смог он убедиться в торжестве своей крови, в прогрессе резвости, которую показывали на скаковой дорожке его дети.

Это все так. Но кто он и откуда, этот феноменальный Арабиан?

«Подобно сказке о Золушке, жизнь Годольфина Арабиана – романтичная история. Началась она в 1731 году (год смерти Дефо, спустя четыре года после кончины Ньютона), в тот момент, когда по приказу тунисского бея восемь берберийских жеребцов были отправлены на борту корабля французскому королю Людовику XV» – так повествовала кембриджская газета. Помните, в «Мертвых душах» разные небылицы рассказывает Ноздрев? Рассказывает, выдумывает, сам верит и заставляет верить других, а все за счет правдоподобных деталей. Сами собой, говорит Гоголь, представились такие подробности, что от них нельзя было отказаться. И как тут быть, как, в самом деле, отказаться от ярких красок в «сказке о Золушке» на лошадиный манер?

А знаток уже здесь, с первых строк, поймал бы автора за руку, сказав: «Простите, вы противоречите самому себе. Сначала речь шла об арабской породе, а теперь вдруг вы говорите о берберийской». И знаток, разумеется, будет прав. На уровне знатоков спор и теперь еще не решен, так окончательно и не ясно, был ли Арабиан арабом или же был бербером, он же барб – так иначе произносится бербер. У Роланда и у шекспировских королей – барбы. В старинных книгах, где Годольфинов конь упоминается, его называют то Арабиан, то Барб. У него была целая серия кличек. Изначально именовался он Шам, что значит «Араб» по-арабски, а, кроме того, по масти и крови величали его Черный Принц.

Мы не можем сейчас вдаваться в значение подобных отличий, этих «тонких разграничений» (как сказал бы доктор Л.), но с точки зрения «уровня достоверности» (термин профессора Р.) достаточно учесть, что колебания между разными оттенками породы и мастей еще не имеют принципиального значения.

Итак, из Туниса лошади попали во Францию. Но как Арабиан оказался в Англии? В силу каких причин арабские лошади не пришлись ко двору, французскому двору? Обычная и достаточно красочная версия сводится к тому, что французы арабских лошадей просто проглядели. А те, кому вовсе не жаль красок и слов, добавляют: сам король испугался маленьких норовистых «варваров». Короче, король стал смотреть дареным коням в зубы. Некоторые, прямо на правах очевидцев, описывают, как при виде арабских коней Людовик в недоумении пожимал плечами, а конюх-араб, сопровождавший живой подарок, не мог понять

замешательства придворных. В некоторых версиях подробно описывается недоумение короля, а в кембриджской газете приводилось даже имя конюха.

Но, конечно, ни один знаток не подпишется под этими «красками». Более того, один из знатоков того времени, виконт де Манти, видел Арабиана (он же Барб) и оставил описание, которое, как говорится, изобличает в нем, виконте, человека, полностью понимавшего, что же он видел, а именно – прекрасных форм породистую лошадь. Это нам так удобно, ради сюжета, думать, будто все дело в том, что – не поняли, а на самом деле все обстояло иначе. «Он был прекрасно сложен, – свидетельствовал современник, – утонченно пропорционален, сухожилия точеные, ноги, как из железа, и поразительно легок на ходу»…

Почему этим лошадям не нашлось места в конюшнях Версаля? Ответа просто нет. Известно лишь, что одного из арабских коней, которому суждено было стать Годольфином, купил мистер Кук, англичанин. Как и почему, неизвестно. Но именно этот пробел и заполняет первая из наиболее красочных новелл о судьбе Годольфина Арабиана.

«…Мистер Кук почувствовал сильный толчок в плечо, повергший его в пыль на землю. Англичанин был опрокинут водовозкой» – так описывает первую встречу мистера Кука с Арабианом известный французский писатель Морис Дрюон.

Мне удалось с ним беседовать – о лошадях, и Дрюон подтвердил, что не претендует на специальную точность. Он просто следовал уже сложившейся традиции. А начало этой традиции положил еще в прошлом веке его соотечественник, романист, тогда тоже очень популярный, Эжен Сю. Насколько Эжен Сю был близок к лошадям, мне проверить пока не удалось, но и без того известен его повествовательный принцип: «К чертям факты!» И появились взамен фактов подробности, от которых, в самом деле, трудно отказаться. В особенности от этой бочки. Но у писателей свои права на вымысел, а ведь бочку не забыла и газета. Только в газете все излагалось по газетному, информативно: «Гордый Шам был вынужден влачить водовозку по мощеным улицам Парижа».

И доктор Л., и профессор Р. в один голос утверждали (вместе с Гете), что понять текст как следует можно, лишь побывав там, где текст был написан. Но, читая все это там, в Кембридже, я просто не мог понять, где нахожусь. Можно понять бойкого беллетриста старого пошиба, работавшего под девизом «Плюю на правду!». Можно понять нашего современника, который пишет, так сказать, в духе «охотничьих» рассказов, где вымысел имеет

свои границы и права. Но текущая, к тому же местная, пресса!

* * *

В библиотеку и на лекции я отправлялся пешком, через весь город.

…Спешит на работу молодая женщина. Идет мне навстречу, прижимает одной рукой книгу, переплет которой смотрит на меня, и я читаю: ANNA KARENINA. В мягкой обложке. Массовый тираж. Туманным британским утром. Как будто, так и надо. Все на своих местах. За спиной у меня возвышаются остроконечные средневековые шпили. На меня надвигается – TOLSTOY. Женщина идет торопливо, даже стремительно, но если уж запаслась книгой, то ей еще и ехать придется. Наверное, путь неблизкий. Сейчас она сядет в пригородный поезд или в междугородный автобус, сядет, раскроет эту книгу и… Ах, был бы на моем месте Александр Иванович Ефимов, уж он бы робеть не стал. «Мадам, моменто!» – и на своем особом эсперанто сумел бы выяснить, почему англичанка выбрала русский роман под названием «Анна Каренина» и что о прочитанном думает.

В аудитории вижу перед собой совсем молодые лица. Это школьники и студенты, изучающие русский язык. Народ, как и у нас, деловой, прагматический, им вынь, да положь ответ на экзаменационный вопрос, так, чтобы потом и в книгу заглядывать было бы не нужно.

– Скажите, а можно Чичикова считать воплощением абсолютного зла?

– Можно.

– А может быть, нельзя?

– Может быть, и нельзя.

– Что это вы так индифферентно отвечаете? Вы уж нам определенно скажите, а мы запишем.

– Так ведь что же тут можно сказать определенно, если так «Мертвые души» рассматривать?

– А нам «Мертвые души» не задавали. У нас только один вопрос: «Чичиков как абсолютное воплощение зла».

* * *

В истории Годольфина Арабиана кембриджская газета не только приводила подробности, так сказать, «известные», но добавляла новые, буквально зажигательные.

«Падаль проклятая! – и водовоз угрожающе поднял кнутовище, тут мистер Кук схватил его за руку», – было у Мориса Дрюона. А в газете было так: водовоз не кормил Арабиана, надеясь таким путем усмирить его пылкий, совсем не нужный в извозной работе нрав. Конь ослабел настолько, что упал прямо в оглоблях. А водовоз зажег у него под пузом огонь, чтобы тем самым взбодрить лошадку. «Но мистер Кук остановил его»… По всем версиям, мистер Кук и водовоз быстро сторговались, поскольку обе стороны были заинтересованы в сделке. Только в сумме имеются расхождения – между авторами. Морис Дрюон, например, говорит о семидесяти пяти франках, газета называет пятнадцать луидоров, между тем один луидор – двадцать франков.

Все это еще мелочи, еще бледные краски по сравнению с теми, что появляются в дальнейшем течении той же истории.

Известно, что арабский конь был переправлен через пролив и поставлен в конный завод мистера Кука, находившийся соответственно в Англии, в графстве Дерби. Однако вскоре завод остался без хозяина – мистер Кук умер, завещав всех кобыл своего завода лорду Годольфину. А жеребцов, в том числе и Арабиана, унаследовал некто Роджер Вильямс. Тогда лорд-коннозаводчик купил у наследника арабского жеребца, и Арабиан, став Годольфином, был переведен под Кембридж, на холмы Гог-Магог. Жеребцу, как видно, знали настоящую цену. Но в рассказах мы найдем нечто совершенно другое. Оказывается, именно в заводе лорда Годольфина попал Арабиан в положение Золушки. Достоинств его и здесь не признали. На первом месте в заводе числился жеребец Гобгоблин, что означает Дьявол, и своей клички жеребец стоил…

* * *

– Проходи, Роман Михалыч, проходи, не бойся, – руководил, как обычно, Ефимов, уже знавший здесь, кажется, каждый закоулок.

Кто поверит, что мы с ними оказались в числе последних, еще ходивших по старому Лондонскому Сити?

«В Москве два университета: старый и новый», – говорил Чехов, и не всякий московский старожил сразу объяснит, какие университеты имеются в виду. В Лондоне новому человеку тем более не сразу становится понятно, что здесь не только два университета, но и три города: Сити, Вестминстер и Заречная сторона. И хотя Вестминстер может гордиться башней с часами

Биг-Бен, зданием парламента и королевским дворцом, все же Сити – это Сити, исторический центр. И представьте себе, что самой лондонской части Лондона больше не существует. И это в стране, название которой, как правило, отождествляют с понятием о старине и соблюдением традиций.

Названия некоторых улиц сохранились, и чтобы понять, что здесь произошло, надо отправиться на угол Фор-стрит и Вуд-стрит, Передней и Лесной, где родился Дефо. Но дело сейчас не в Дефо. Там сказано: «Здесь в августе 1940 г. упала на Лондон первая фашистская бомба».

Фашисты били с расчетом. Очень точно. По культуре. В библиотеке Британского музея вместо уникальных старинных книг я получал свои заказы обратно с пометой «П». Погибла во время войны – книга. В некоторых книгах о Шекспире, вышедших уже после войны, можно увидеть фотографию здания, где когда-то шекспировские актеры играли «Комедию ошибок», под фотографией указание – разрушено во время войны. Сити восстанавливать не стали. На месте лабиринта из узких кривых улочек, где испокон века селились истые горожане, – люди деловые, мастеровые, торговые, где комнату у парикмахера снимал Шекспир, в семье свечного торговца родился Дефо, а в семье конюха Джон Китс, – на месте этого лабиринта вознеслась гигантская конструкция, включающая небоскребы, переходы, магазины, подземные гаражи. Впечатление таково, будто это лабиринт, поставленный дыбом. Подобие грандиозного каменного взрыва. Но построено все это было совсем недавно, и, стало быть, мы с Самариным и Ефимовым еще ходили по старому, пусть полуразрушенному Сити.

– Проходи, Роман Михалыч, не бойся!

И мы погрузились в традиционный английский дым и говор. Нас, кажется, здесь уже ждали и даже знали. Нет, никто нас не звал, не приветствовал и вовсе не обслуживал. Просто стоило нам переступить порог паба, иначе говоря, пивной, и веками устоявшаяся атмосфера усвоила нас. Ефимов протолкался к стойке, я – за ним, думая, что ему надо как-нибудь помочь с переводом. Куда там! На своем особом английском языке он уже успел выговорить какое-то одно неимоверно длинное слово – «Ван-лардж-бир-энд-смал-три», в сущности, целую фразу, которую я не понял, но которую прекрасно понял человек за стойкой, и вот уже мы сидели втроем за столиком в самом углу, а перед нами высились три кружки, а рядом с ними еще три наперсточка.

– У них это просто, – сказал Ефимов.

Дым реял клубами. Гудел разговор. Мы были как бы вместе со всеми и в то же время совершенно одни.

– Тут рядом на Хлебной улице находилась таверна «Русалка», и в ней с друзьями-драматургами бывал Шекспир, – сообщил Самарин.

– Таверна – это не то, – заметил Ефимов, на практике постигший тонкие различия среди подобных заведений.

Самарин уже было начал лекцию об эволюции таверны через эль-хауз к пабу, как вдруг вокруг нас мы заметили некое брожение. Это явно противоречило английским традициям. Есть у англичан такое особое понятие «прайваси». По существу, оно означает частную неприкосновенность. Значит, ты сам себе хозяин и даже смотреть в твою сторону не положено. Вокруг нас происходило нарушение прайваси. Нас разглядывали. Возле нас кружили. Наконец, один из посетителей, молодой парень, не выдержал и спросил:

– Вы откуда?

– Моску, – ответил Ефимов.

Тут уж загудело и забродило, будто в пивной бочке. Парень на правах старого знакомого, хотя и без особого приглашения, подсел к нам и чистосердечно признался:

– Впервые в жизни вижу людей из вашей страны.

Дальнейшее сохранение нашего прайваси оказалось совершенно невозможным. Парень, уже на правах антрепренера, открывшего некое «Московское ревю», энергично руководил допуском в наш угол. А с нашей стороны ключом била энергия Александра Ивановича Ефимова. Он уже тоже всех знал, всех понимал, и все понимали его, глядя на него с изумлением: «Москвич». За полночь. В старом Сити.

Ничего этого уже нет. Там громоздятся мощные конструкции.

Спускаюсь по витому съезду к гаражу. Где-то здесь был угол Монастырской и Серебряной. «О, притупи ты, Время, когти льва» (Шекспир). Здесь у парикмахера когда-то жил этот самый квартирант. Приезжий он был, из провинции. А работал за рекой. Положим, какая работа! Так, развлечение. Театр. А возвращаясь в Сити после репетиций и спектаклей, он иногда проводил время неподалеку, на Хлебной, в таверне «Русалка».

– Сэр! – раздается у меня за спиной.

Может быть, я нарушил прайваси? «Нет, сэр, вы нарушили правила уличного движения». Действительно, у начала спуска надпись: «Только на автомашинах! Пешеходам во избежание опасности вход строго запрещен» Да, видно нужно быть незабвенным Александром Ивановичем, чтобы нарушать английские порядки и ходить там, где написано «Не ходить!», тащить карасей, где написано «Брось обратно в пруд!» Но все равно ступить на землю, где когда-то ступал квартирант

парикмахера, невозможно, ее можно только утюжить колесами.

* * *

…И вот между Дьяволом и Принцем состоялась схватка за кобылицу Роксану.

«Черный Принц обезумел от ярости, стал на дыбы и бросился на своего соперника. Напрасно конюхи тянули, что было сил за поводья, Араб Годольфин разорвал их и вырвался на волю. На глазах у всех служителей конюшни начался беспощадный бой. Воздух наполнился густой пылью, летающей соломой и стуком подков о землю. Тяжелый Гобгоблин, не привыкший к подобному обращению, не был подготовлен для борьбы. Он пытался атаковать противника, но оказался неповоротливым и беспомощным против неистовых, стремительных, молниеносных наскоков маленького Черного Принца. Очень скоро ударами копыт и укусами Араб Годольфин убил великана Гобгоблина».

Так описан решающий момент в новелле Дрюона «Черный Принц». Да, краски и слова! После этого естественно допустить, что наградой за мужество Арабиану служила любовь Роксаны и – недовольство лорда Годольфина. Правда, по одной версии, лорд Годольфин вовсе не рассердился на самоуправство Арабиана. Напротив, проникся к нему уважением. Лорд будто бы сказал: «Посмотрим, каков будет приплод». Так, в частности, пишет Морис Дрюон. Но в газете говорилось по-другому, с другими деталями: «Лорд Годольфин побелел от ярости, когда ему доложили о случившемся. Потомство Роксаны от какого-то неизвестного пришельца! И он повелел удалить Арабиана из своего завода на два года, в ссылку».

Трудно, очень трудно отказаться от таких подробностей, но… им противоречат даты, упрямые даты. Грозный соперник Арабиана, жеребец Гобгоблин, не выдуман, только не могли они соперничать из-за Роксаны. Какой бы он там ни был Гобгоблин, но в заводе появился лишь после того, как не стало ее, Роксаны, которая, надо отметить, тоже не выдумана. А «брак» Арабиана с Роксаной действительно состоялся, так сказать, законным и самым прозаическим порядком, о чем была сделана соответствующая запись в племенной книге.

Эти записи изучила Леди Вентрорт, та самая, с которой мне предлагал наладить переписку мистер Форбс. Несанкционированные контакты не поощрялись, и лишь позднее я узнал, что за возможность оказалось мной упущена. Она была правнучкой Байрона! «Мы присутствуем при схватке Арабиана с

Гобгоблином, и жеребцы у него дерутся, стукаясь лбами», – так, листая страницы Эжена Сю, писала правнучка поэта, владелец конного завода (у неё Буденный покупал лошадей), знаток скаковой породы и автор работ по истории породы. Дальше с иронией, достойной своего прадеда, она добавляет: «Кормилицей у Эжена Сю была скотница, так он, вероятно, хорошо запомнил ее сказки». И с байронической решимостью леди Вентворт атаковала романтических сочинителей. Она отыскала изображение Арабиана, писанное с натуры и задала вопрос: заводчик заказывает портрет коня и, будто бы не зная цены этой лошади, держит ее в черном теле, на положении Золушки! Может ли это быть?

* * *

Лекции для англичан, изучавших русскую литературу, проходили в Лондоне, а в пяти минутах от университетского общежития, куда поместили нас вместе с нашими слушателями, находилось старинное протестантское кладбище, и я туда, если было время, заглядывал.

Сразу, как войдешь, справа – Дефо.

Над могилой небольшой белый обелиск, поставленный только в конце прошлого века. А старая плита с могилы пропала. Если учесть, что человек, нашедший в той могиле свой последний покой, всю жизнь не знал покоя, ведя отчаянную религиозно-политическую борьбу, то не исключено, что это была заочная месть каких-то врагов. Потом плита нашлась в изгороди у одного фермера, который понятия не имел, как попала к нему каменная доска с надписью «Даниэль Дефо, автор Робинзона Крузо». Разобраться в той борьбе, ради которой создатель современного романа непрерывно писал памфлеты, трактаты и поэмы, за давностью лет и в силу путаности всех противоречий не представляется возможным. Утешением нам может служить тот факт, что в этом временами не мог разобраться сам Дефо. Однажды, потеряв всякую ориентацию, престиж, отторгнутый от дел, он, используя невольный досуг, написал примерно за два месяца «Необычайные приключения Робинзона Крузо». В списке его сочинений, составленном хронологически, книга числится под № 412.

А с Самариным стояли мы когда-то возле шекспировской могилы. В Стрэтфорде-на-Эвоне, в церкви Святой Троицы. На плите надпись: «Будь проклят тот, кто потревожит мои кости». Когда в конце восемнадцатого века плита дала трещину, то

каменщики, которые ее ремонтировали, даже заглянуть внутрь боялись. Но что означает эта угроза? Тогда же примерно возник и «шекспировский вопрос»: кто написал пьесы Шекспира? Хотя современники ничуть не сомневались в том, что Шекспира написал Шекспир, позднее, когда пропали рукописи и прервалась прямая линия преданий, стали во всем сомневаться. А тут еще такая угроза! В нашем веке за это дело взялись серьезно, и что же выяснилось? Шекспир, видимо, опасался того, что сам же изобразил в «Гамлете», в сцене на кладбище: одного выкапывают, другого на его место кладут – теснота, в особенности, если учесть, что каждому хотелось лечь поближе к Всевышнему. А Шекспир, как самый видный человек в Стрэтфорде, похоронен был прямо у алтаря. Завидное место! И хорошо еще, если бы просто выкидывали, но шекспирологи доискались до сведений о том, что здесь же возле церкви устроен был специальный склад для костей. Из них варили мыло. «Великий Цезарь ныне прах и тлен и на замазку он истрачен стен», – писал Шекспир, зная прекрасно, как это делается. Вот он и просил оставить его прах в покое.

– Что если все-таки заглянуть туда? – спросил я нашего спутника, известного шекспироведа, одного из отцов современной шекспирологии.

– А если мы обнаружим такое, от чего нам всем, утверждающим, что Шекспир есть Шекспир, не поздоровится?

Так отозвался авторитет и добавил:

– Нет уж, на мой век хватит, а переберусь сам туда, дело ваше – раскапывайте!

Могилу Дефо, после того как пропала плита, тоже пришлось ремонтировать. Но тут как раз все сошлось. Имеется детальное описание внешности Дефо – это благодаря злейшим его преследователям, обещавшим крупную сумму за поимку человека «среднего роста, смуглого, волосы черные, подбородок выдается вперед». Цвет лица пропал, конечно, безвозвратно, однако массивная челюсть была на месте.

Как-то придя на кладбище, я прямо за обелиском Дефо, в нескольких шагах, увидел парня, который… я чуть было не повторил про себя шекспировскую ремарку из «Гамлета». «Копает и поет». Нет, пенья слышно не было. Но парень действительно копал. Странно. Ведь кладбище давно законсервировано. Оставалось повторить шекспировскую реплику: «Кого хоронят? И не по обряду!»

Я приблизился к могильщику. Парень не пел, но и собеседников не искал. Он не был угрюм или мрачен. Был просто, как здесь положено, сам по себе. Прайваси. Единственный способ

пробить броню замкнутости англичанина – все-таки поймать его взгляд и улыбнуться.

Парень поднял голову и поискал чего-то глазами на могильном бруствере.

– Удачный денек, не правда ли? – сделал я пробный ход.

– Это будет видно к вечеру, – спокойно ответил парень, затем взял небольшой ломик и принялся им чего-то там долбить.

Я сделал следующий шаг. Буквально шаг, ступив поближе к свежевыкопанной земле. Вдруг на бруствер снизу вылетел какой-то желтоватый обломок. Ко… Корень дерева.

– А чья же это могила?

– Муниципальная.

Парень выпрямился, выбросил на бруствер ломик, лопату и выбрался из ямы.

– Зарыть ее решено, – пояснил охотно и вежливо молодой гробокопатель, – а то соседняя изгородь осадку дает.

И он махнул перчатками, которые успел снять, в сторону массивного саркофага – прямо за обелиском Дефо.

– Простите, а давно вы здесь могильщиком?[22]

– С тех пор, как не мог найти другой работы, – последовал ответ.

* * *

Кембриджская газета писала: «Шам прожил двадцать девять лет, и его изобразил вместе с кошкой Джордж Стаббс». И все это таким тоном, будто никто никогда ничего не проверял и не доказывал.

Тут в истории Годольфина Арабиана, он же Шам, появились сразу два новых персонажа, и надо их представить читателям. Джордж Стаббс – художник, сильный художник и сильный человек. Рассказывают, Стаббс был так силен, что способен был на себе унести тушу лошади в мастерскую. А нужно ему это было для того же, для чего Леонардо да Винчи резал трупы – ради изучения натуры. За все предпринятые усилия художник был вознагражден результатами творчества. Стаббс составил эпоху в иппической живописи. На человека чуждого лошадям его полотна должного впечатления, быть может, и не произведут, как не всякий поймет красоту алгебраической формулы. Стаббс создавал коннозаводские портреты, сделанные так, будто мы присутствуем на выводке и получаем возможность тщательно рассмотреть лошадь, поставленную словно живая статуя. Но Арабиана Стаббс никогда не видел. На портрете прижизненном, разысканном

внучкой Байрона, кошки никакой не было. Кошка появилась в преданиях.

Мало того что было у него три имени, что возил он воду, что убил соперника, мало всего этого, еще его неотлучно сопровождала кошка! И звали ее Грималкин. Это уже такая сказка, от которой, я думаю, ни один автор под пыткой не откажется. Вообще говоря, такое возможно, такое случается. Конь и кошка – я сам, простите, был свидетелем аналогичных случаев. Но какова причина странной привязанности? Кошки любят тепло. Когда мы были в Англии с нашими лошадьми, я, приходя на конюшню, каждый раз видел кошек, сидевших прямо возле лошади, в стойле, на соломе. У нас увидеть такого нельзя, у нас конюшни теплее, и потому кошки живут в конюшне, а в стойло под копыта соваться им незачем. А здесь это повторялось каждое утро. Потом я заметил: кошки всякий раз садились на одни и те же места, туда, где солома прикрывала навоз. Сам же я вилами этот навоз закапывал, потому что чистить стойла каждый день у англичан не принято. Снизу навоз преет – сверху на соломе тепло. Жмурясь и поджимая лапки, кошки сидели возле лошади. Видел я, таким образом, картинку, подобную той, какую нарисовал Стаббс. Так что в принципе, почему и не быть кошке возле знаменитого коня? Надо будет это проверить в библиотеке Британского музея.

* * *

Когда входишь в Британский музей, то сам на себя смотришь очень почтительно: «Вот он входит в Британский музей». В тот день музей был закрыт для посетителей. Простых посетителей. Допуск только читателям.

– Сэр – читатель?

– Разумеется, – и он прошел сквозь толпу туристов, читавших с трепетом и огорчением надпись: «Музей закрыт для посетителей. Только читатели!»

Правда, читательский билет был у меня уже просрочен. Но что мне мешает продлить его? Положим, нужна рекомендация, потому что запись в библиотеку Британского музея сейчас очень ограничена. Ничего, будет и рекомендация. Кристина – сотрудница славянского отдела библиотеки. Мы с ней друзья давно и всегда помогали друг другу чем Бог послал: она приезжала в Москву заниматься в Ленинской библиотеке, а теперь… Он входит в Британский музей, и вот уже звонит по внутреннему телефону. «Привет, Кристина!» Не прошло и

пятнадцати минут, как билет был благополучно продлен. И он проследовал прямо в читальный зал.

Огромный голубоватый купол, гасящий все звуки и приглашающий взлететь, подняться мыслью до высот, в том числе тех, что именно здесь, в этом зале, были достигнуты.

Он выбирает место, нет, он находит свое прежнее место, к счастью, сегодня не занятое, потом подходит к полкам в самом центре круглого зала, где стоят массивные фолианты – каталог, выписывает все необходимое для работы, сдает заполненные карточки вежливому, сухопарому библиографу (о, эти истинные англичане!) и возвращается на место. В ожидании книг он поглядывает вверх, откуда через стрельчатые и округлые окна льется свет, и приходят ему на память строки:

Прости! коль могут к небесам
Взлетать молитвы о других,
Моя молитва будет там,
И даже улетит за них!

Байрон в переводе Лермонтова. Британский музей. А тут еще, хотя не прошло и двадцати минут, развозят на специальных тележках уже выполненные заказы, и он получает одну за другой нужные ему книги. «И пыль веков… И пыль веков»…

Не успел я, однако, как следует надышаться пылью веков, не сделал еще и десятка выписок, как в центре зала поднимается на стул тот самый библиограф, который принимал у меня заказы, и с той же отменной вежливостью провозглашает:

– Минуту внимания, дамы и господа!

Мы все насторожились.

– В знак протеста против заправки у берегов Англии американской атомной подводной лодки, – продолжал библиограф, – работники Британского музея присоединяются к всеобщей забастовке служащих…

Что? При чем здесь подводная лодка? Да, вчера по телевизионному экрану проползло зеленовато-черное продолговатое чудовище. И диктор добавил: «Военно-морское министерство при согласии премьер-министра госпожи Маргарет Тэтчер готово санкционировать перезаправку этой лодки на английской базе. Профсоюз служащих угрожает забастовкой».

– Через пятнадцать минут, – говорил сухопарый, – читальный зал будет закрыт. Просьба незамедлительно сдать книги!

– Нет, вы слышали? – обратился ко мне сосед-читатель. – Почему мы-то должны страдать?

По залу задвигались тележки, которые только что доставляли

нам книги. Теперь они увозили их. А если книга не сдана, ее забирают прямо со стола. Между тем, в центре зала небольшая, но энергичная читательская демонстрация гневно требовала от сухопарого ответа:

– За что страдаем?

Действительно, обидно. Только устроился… Пыль веков. Ну, ничего, еще не все потеряно. Везде друзья. Кристина! И он проследовал из зала мимо гневной толпы вопрошавших «За что страдаем?».

Только бы Кристину сейчас найти, а там уж она что-нибудь придумает. В порядке исключения из общего правила. Только бы добраться до телефона. Верный друг в беде не оставит. Чем бог послал! Лондон – Москва, Москва – Лондон…

И мне повезло. Даже звонить не надо будет. Тут же при выходе из читального зала по коридору шла Кристина. До чего же вовремя!

– Кристина, такое дело… Тут у вас забастовка, а у меня командировка, каждый день на счету. Жаль, пропадет время. Нельзя ли по-дружески…

Холодный взор оборвал мою речь. Кристина, с которой мы были уже знакомы несколько лет, вели переписку, обменивались книгами, помогали друг другу в библиографических розысках, эта самая Кристина, посмотрела на меня так, будто впервые видит. И подкреплен был этот взгляд еще более холодным тоном, каким она произнесла:

– Что ж, скажите «спасибо» за все это госпоже Тэтчер! – и пошла по коридору дальше, не оборачиваясь.

Я бросился обратно в зал и присоединился к читательской демонстрации, выступавшей под лозунгом «За что страдаем?».

– Нет, вы скажите, почему мы должны страдать? – добивался мой сосед-читатель.

– Для того, – отвечал сухопарый библиограф, – чтобы понять, насколько это дело нешуточное.

* * *

Мне кажется, леди Вентворт потратила излишний полемический пыл, оспаривая достоверность кошки, хотя, впрочем, во всех ее доводах тоже порода сказывалась: ей претило это принижение высококровного коня вымышленными «приключениями» и сомнительными связями так, словно истина о высокой крови была бледнее красочных вымыслов.

«Люди выводят лошадей, похожих на самих себя», – писала

правнучка Байрона. И дальше она, как пример, приводила толстых, мясистых лошадок, которых особенно уважали при дворе короля Генриха VIII, и судить, насколько отвечали эти лошади наружности и нраву полнотелого, плотоядного короля, мы можем по портрету Гольбейна и пьесе. Впрочем, среди двухсот лошадей на королевской конюшне стояли наполитано и барбы (а толстенькие, вероятно хикет).

Рассказывала леди Вентворт и о конноспортивных нравах при королеве Елизавете, которая отправила на эшафот, не дрогнув, своего бывшего фаворита и покровителя Шекспира графа Эссекса. Королева любила бешеную скачку в погоне за зверем, но особенно любила она, когда кожу с загнанного оленя сдирали живьем. Исключительным расположением королевы пользовался ловчий по имени Селвин: он был ловким, но искусным наездником и охотником, умел на полном скаку прыгнуть с седла на спину оленя и, схватив его за рога, держаться на нем до тех пор, пока королева не подъедет как можно ближе, и тут, у нее на глазах, полоснуть живую добычу по горлу…

– Обратите внимание на этот миниатюрный домик у дороги, – сказал мне спутник в междугородном автобусе на пути из Лондона в Оксфорд. – Знаете, что это такое? Охотничий шалаш королевы Елизаветы. Была большой покровительницей охоты. Не правда ли, мило?

Бороться с легендами лучше, мне кажется, не опровержением легенд, а изложением того, что на самом деле известно. Люди, приписывающие шекспировское авторство кому угодно: и графу Оксфордскому, и графу Ретленду и даже королеве Елизавете – обнаруживают недостаточное знание того, что о Шекспире и его времени известно. С лошадьми совершается то же самое, и многое зависит от точки зрения. На взгляд знатока эффектнейшие картины и фотографии лошадей только мешают разглядеть лошадь. Между тем обычный зритель смотрит на коннозаводские портреты, восхищающие знатоков, и пожимает плечами: «Ну, и что тут хорошего?». А где же истина? Истина в переживании. Толстой описал гибель лошади в противоречии не только с тем, как бывает, но и с тем, что было ему известно, однако чувства всадника передал так, что ему верят чемпионы по верховой езде. Но вычитывать достоверность из таких описаний – дело, разумеется, безнадежное и даже вредное. Жертвой подобной ошибки стал мой отец: одно время он ездил в манеже и со страхом опускался в седло, боясь совершить ошибку Вронского, сделав «непростительное движение», будто бы переломившее лошади хребет, который обухом не перешибешь. В предании о Годольфине крупица истины – таинственность возникновения

жеребца, и откуда он взялся, до сих пор спорят.

* * *

Оксфорд и Кембридж, Кембридж и Оксфорд… Соперничество между двумя старейшими университетами начинается с перечисления знаменитостей, которых выучил и выдвинул тот или другой университет, а увенчивается схваткой двух гребных команд. В тот год кембриджская лодка во время регаты перевернулась, и знаете, как этот плачевный факт освещался в Кембридже? Они выражались так: «На традиционных гребных соревнованиях между Кембриджем и Оксфордом победил Оксфорд. Одна из команд, к сожалению, затонула».

Оксфорд… Кембридж… Какие имена!

Университетских знаменитостей так много, что ими гордятся, но скрывают их, не указывают, где они жили. Иначе от паломников спасения не будет. Так весь Оксфорд продолжает игру, некогда начатую одним местным преподавателем математики и автором «Приключений Алисы в Стране чудес». Книгу об Алисе он написал как Кэрролл, а математику преподавал как Доджсон. К нему еще при жизни приезжали паломники, желая повидать Льюиса Кэрролла, он им отвечал (он был заика): «П-простите, но з-здесь такого нет. Я – До-доджсон». Мне пришлось испытать это на себе, потому что Оксфорд продолжает ту же игру.

– А где здесь жил Льюис Кэрролл?

– Трудно сказать, сэр.

Меня не проведешь:

– Я имею в виду преподобного Чарлза Лаутвджа Доджсона (он ведь был еще священник и, мало того, фотограф).

– Ах, Доджсон… Тоже, знаете, затруднительно указать с полной определенностью.

Как же это трудно? Он здесь сорок с лишним лет прожил, он здесь тридцать восемь лет преподавал, он в университетской столовой восемь тысяч раз обедал (он любил, как математик все подсчитывать).

– Так-то оно так, сэр, но не сохранилось точных данных.

И это говорит привратник того самого колледжа, с которым Льюис Кэрролл был связан всю свою жизнь! Почувствовав, что дело плохо, что игра ведется серьезная и как бы не пришлось мне уезжать с пустыми руками, я бросился за помощью к старому знакомому, здешнему старожилу, английскому знатоку русской книги и собирателю всевозможных изданий Кэрролла на всех

языках. Начал я издалека:

– Представляете, профессор, последнее время у нас один за другим вышли три новых перевода «Приключений Алисы». И уже все распродано! Достать совершенно невозможно.

Глаза коллекционера засветились охотничьим огнем, он спросил:

– А вас что привело в Оксфорд?

– Хотелось бы знать, где жил Льюис Кэрролл.

Некоторое время старый кэрроллианец, хранитель первопечатных русских книг и оксфордских традиций, колебался. Потом опять спросил:

– Карта оксфордская у вас какая-нибудь при себе есть?

Тут же я развернул свою карту.

– Здесь, – быстро была сделана помета. – Только без огласки. И у нас тут, знаете, в одной комнате стены пришлось переставлять, чтобы паломники оставили в покое. А тем, кто живет в прежних комнатах Оскара Уайльда (их скрыть не удалось), можно только посочувствовать!

* * *

«Когда Арабиан пал, – продолжала кембриджская газета, – кошка Грималкин сидела на теле своего друга, пока Арабиана не похоронили. И тогда она скрылась, и больше ее в живых не видели. По словам из племенной книги, некоторое время спустя ее нашли мертвой на сеновале».

Автор корреспонденции представлял себе студбук, иначе говоря, конную племенную книгу, видимо, чем-то вроде бортового журнала, ибо, чтобы там ни случилось, но таких записей в племенных книгах не делают. Туда вносится кличка, происхождение, потомство, но кошка, даже если она и была, никак не могла попасть в летопись племенных лошадей.

«Я прочла студбук Годольфинова завода», – свидетельствует леди Вентворт. И вот что действительно известно: Арабиан имел девяносто прямых потомков. Внуком его был Мэтчем, в переводе – Подходящий, и этот скакун, оправдав свою кличку, стал основателем породной линии, не прерывающейся до наших дней. Другим, еще более прославленным потомком Арабиана был Эклипс, иными словами, Затмение, но в данном случае имя не соответствовало его носителю. Эклипс – ярчайшее светило турфа (скаковой дорожки), блеск его класса отсвечивает до сих пор в победителях самых больших призов на всех континентах. А третьим из знаменитых потомков Арабиана был Ирод, тоже

скакун великий, несмотря на то, что передние ноги считались у него слабоватыми и наблюдалась склонность к кровотечениям из носа. Дожил Годольфин Арабиан до преклонного возраста и был погребен в 1758 году. На его могиле была установлена плита, которую, как писала газета (в чем ей, безусловно, следовало верить), можно видеть и теперь.

– Это довольно близко, – пояснил библиотекарь и написал адрес: у поворота на Ньюмаркет, холмы Гог-Магог, поле для игры в гольф.

– Теперь там играют в гольф, – продолжал объяснять библиотекарь. – На машине это всего каких-нибудь полчаса.

Мне, правда, и полчаса нелегко было выкроить. А вот и Ньюмаркет. О, сколько силы в этом звуке для знатока! Не отношу себя к числу таковых, но видел истинных знатоков, сердца которых учащенно бились и глаза горели при одном только слове – Ньюмаркет.

На возвышенности, у начала тренировочной прямой, старинная церковь и кладбище. Жокейское. Здесь спят ветераны Ньюмаркетской пустоши во главе с самим Арчером.

Великого всадника, как и великую лошадь, обязательно должна преследовать роковая неудача. Или какой-нибудь недостаток. Вот Годольфин Арабиан был мал, а Вильям Арчер был чересчур высок, поэтому, чтобы выдержать жокейский вес, ему приходилось жить впроголодь. Изнурительной диетой дело не ограничивалось. Арчер парился и без конца принимал слабительное. В результате «гений в седле», как его называли, довел себя не только до физического, но и нервного истощения. В припадке безумия он пустил себе пулю в лоб. Теперь спит вечным сном у начала тренировочной прямой, прислушиваясь к пробным галопам, как говорят в Ньюмаркете.

Выдающийся жокей современности Лестер Пиггот, которого также замучил рост, сделал, видимо, соответствующие выводы из плачевной судьбы своего предшественника. И – сделал операцию, удалив всю ненужную для жокея мускулатуру.

Лестера Пиггота я мечтал повидать. Об этом можно только мечтать, потому что Пиггот постоянно в пути. Пользуясь всеми видами современного транспорта, от самолета до автомобиля и скоростного поезда, он переезжает из города в город, из страны в страну, с континента на континент, чтобы максимум две с половиной минуты воспользоваться транспортом старомодным – лошадью, то есть принять участие в скачках. Пиггот скакал во всех странах мира. У нас давным-давно скакали предки Пиггота: он жокей чистокровный, как и те скакуны, на которых он выступает. Мало этого, английская жокейская семья жила в

Москве рядом с Чеховым. Дверь в дверь. На Малой Дмитровке. В результате Пигготы попали в чеховские письма и в повесть «Три года», где, правда, стали «французами».

– Надо уточнить, те ли это Пигготы? – просили меня в нашем Институте мировой литературы, поскольку мы выпускаем полное собрание сочинений Чехова с подробным комментарием.

– Хорошо, спрошу.

Возле конюшни Пиггота в загоне бегал Черный Принц, другой Черный Принц, названный в честь того, легендарного. Я узнал эту лошадь, поскольку еще вчера ее фотографии были во всех английских газетах – Пиггот выиграл на ней Большой приз. Здесь же, в Ньюмаркете. Но сегодня его здесь уже не оказалось.

– Лестер скачет в Италии, – пояснила его жена, тоже «чистокровная» – дочь жокея.

– Жаль, а я хотел насчет Чехова уточнить.

– Лестер сам этим интересуется. Вы бы его в Москву пригласили. Там на месте бы и уточнили. Москва – единственный крупный скаковой город мира, где он еще не выступал.

– Подберем подходящую лошадь и пригласим.

– Понятно. Лестеру я скажу. Будете еще в Ньюмаркете, заглядывайте.

Дня через два я открыл газету и увидел фотографию Пиггота только что не в черной рамке. «Шестнадцать швов», – гласили заголовки. Нет, случилось это не в Италии. Там Лестер блистательно выиграл и вернулся домой. Нет, не в Ньюмаркете. Он проследовал прямо на еще один английский ипподром, где должен был выступать на жеребце по кличке Парень-из-Виндзора. Этому Парню-из-Виндзора не понравилось, видите ли, в старт-машине, и он вдруг перед самым пуском рухнул на колени и, как-то изловчившись, через нижнюю щель – между дверцей и дорожкой – выскочил из бокса. Лестер сидел в седле. В результате – шестнадцать швов после пластической операции. «У постели жокея дежурит жена, дочь жокея», – писали газеты. Еще через несколько дней должен был состояться розыгрыш еще одного крупного приза, не только победители, но даже участники которого входят прямо в историю. Скаковой мир, затаив дыхание, ждал, что же будет. И вот диктор провозгласил:

– Лестер на старте!

Вскоре Лестер оказался… на скамье подсудимых и в тюрьме. Прежде чем знаменитый жокей попал за решетку, от его агента я получил письмо с просьбой способствовать, насколько это возможно, съемкам многосерийного телевизионного фильма ему посвященного. В письме говорилось, примерно, следующее: «Лестер Пиггот выступал на всех известных ипподромах мира,

кроме Московского. Нельзя ли это упущение исправить?» Были приложены силы, и уже готовилась в Москве лошадь «под Пиггота». Но в последнюю минуту от этой идеи отказались, не лошадь смущала, а – дорожка. Среди ипподромов мира у нас дорожка была тогда не на уровне. Потом один мой знакомый поехал в Англию, я просил его первым делом связаться с Пигготом, а знакомый – молчит. Звоню ему туда по телефону. «Пиггота видел?». Молчит. «Говорил ты с Пигготом?», – кричу. А он молчит. Так молча и повесил трубку. Он меня оберегал: по тогдашним временам и нравам сказать, что я просил кого-то связаться с английским преступником … комментарии излишни. А Пиггота судили будто бы за неуплату налогов. «Будто бы», потому что когда я добрался до английских газет, то прочитал, что его сделали козлом отпущения настоящие и очень крупные преступники, с которыми он отказался сотрудничать. «Заложили жокея», – так говорилось в газетах. Но заложили-таки, вышел он на свободу уже без сердца, не говоря о все-таки запятнанной репутации. При попытке скакать в Америке Пиггот опять упал и оказался в больнице.

* * *

– Если вы все-таки хотите повидать доктора Л., то поспешите.

И я поспешил. Адрес знал наизусть, потому что этот адрес вместе с именем доктора Л. известен в литературно-критическом мире. Шел пешком – в центре Кембриджа только такой «транспорт». И небольшой, но въедливый апрельский снег тоже шел. «Апрель – жестокий месяц», – как писал один английский поэт. Поспешил и – все-таки опоздал.

– Доктор Л. уже никого не может принять, – так говорила его жена, говорила каждому, кто спешил по тому же адресу.

А я-то хотел с ним поспорить о ряде тонких разграничений, о соотношении факта и вымысла… Нелегко было представить себе, что умрет человек, давно причисленный к лику бессмертных. Нас было несколько человек: кое-кто прямо отсюда, из Кембриджа, из других университетов Англии, были также литераторы из Индии. Мы стояли с непокрытыми головами у маленького домика со всемирно известным номером 12. На пороге домика стояла пожилая женщина, спокойно и вежливо она отказывала нам в приеме, говоря:

– Доктор Л. уже никого не может принять.

Шел снежок. Подувал временами ветер. «Жестокий месяц апрель»…

Скоро мне уже было нужно уезжать из Кембриджа. Автобус, уходивший с окраины города, повернул на большое шоссе. Мелькнула указательная стрелка «Гог-Магог». Шофер, махнув рукой в ту сторону, сказал:

– Могила Годольфина.

У Вороньего холма

«Листва почернеет,
И корни сгниют,
Нас все позабудут,
Как нас не было».

Ковбойская песня

Мы перегоняли скот на Северо-Западе.

«Просто не знаем, что с вами делать! Куда вас девать?» Так незадолго перед этим говорили мне в Американском научном бюро по международному обмену ученых (АНБМО). А в чем дело? «Ну как же, начинаются рождественские каникулы, все университеты закрываются. Даже отопление будет выключено.

Вот мы и думаем, что же с вами-то делать. Ведь домой, как других, вас не отправишь, ха-ха!» И тут я позвонил по телефону. По междугородному проводу.

– Куда это вы звоните? – полюбопытствовало АНБМО.

– На Дальний Запад. В Дакоту.

– Ку-куда? В Дакоту?! Да известно ли вам, что там еще не ступала нога приличного человека?

А между тем в трубке прозвучал голос, знакомый голос, тот самый, что когда-то меня отчитывал за неумение сидеть в седле так, «как сидят на Дальнем Западе». Томас Кингсли, ковбой. Это он принимал у меня тройку, которую привезли мы с доктором, ветврачом, в Америку, на Средний Запад. Томас работал тогда на ферме у старика, большого босса. А потом, когда старик умер, переехал обратно, в свои родные края, в Дакоту, о которой я от него столько слышал.

– Чем займемся? – спросил Томас в телефоне.

– Хотелось бы поездить верхом…

– Идет. У меня скот в степи остался. Поедем собирать.

И вот мы гоним темно-рыжих коров. Кругом прерия. Надо же! На пятом десятке увидел своими глазами то, о чем прочитал впервые что-нибудь пятнадцати лет. Впрочем сам Фенимор Купер, создавший знаменитый роман, который так и называется «Прерия», никогда в подобных местах не бывал, так далеко в глубь страны не ездил. О переселенцах, двинувшихся через фронтир (границу) на Запад, он только слышал. Мой спутник Томас Кингсли – ковбой, внучатый племянник Марка Твена – потомок переселенцев. Еду с ним конь о конь. Рядом одни ковбои. Впереди коровы, так называемый «красный скот», который часто попадается на рекламе сигарет: «Хотите ощутить аромат прерий?» Что там реклама! Вот реальность…

– Ну-ка, – обращается ко мне Томас, – заверни того телка, который от стада отбился.

Отправить за бычком он мог, конечно, кого-нибудь еще, но ему нужен был предлог для того, чтобы дать мне размяться. Поднимаю коня в галоп.

Места, где обитал Томас, оставались, в самом деле, еще так пустынны, что туда даже самолета прямого не было. Надо делать пересадку. В Чикаго. А Чикагский аэропорт, считающийся одним из крупнейших в мире, встретил меня сообщением: все рейсы отменены. Что случилось?

– Туман, – разъяснили мне в очереди. – Опустился большой туман. Смотрите на табло: Дакота, Миннесота и Висконсин с воздуха недоступны.

Когда-то в Нью-Йорке зимой застал нас с доктором большой

снегопад, и город-гигант так же замер. Даже метро не работало. Если своими глазами такого не увидишь, то и не поверишь, как может механическая мощь спасовать перед силами природы. И сейчас, скажу вам прямо, я не очень опечалился. Конечно, ковбои ждут. Но застрял под рождество на аэродроме в Чикаго: чем не приключение?

Очередь образовалась потому, что надо было менять билеты. Рейсы перепутались. Неизвестно, куда и когда полетим. Некоторые решили ехать автобусом. Ведь праздники!

– А мне автобусом нельзя? – спросил я в очереди.

– Вам куда?

– В Дакоту.

– Нет, что вы! Там не ступала нога приличного человека. До Миннесоты автобусом, пожалуй, доберетесь. А дальше только самолет.

Очередь, как всякая очередь, составила своего рода клуб. Чтобы скоротать время, каждый, чем мог, забавлял себя и других. Парень в солдатской форме, стоявший за мной, рассказывал о ракетах новейшей марки. «Только учтите, – обратился он к очереди, – все это совершенно секретно». И продолжал рассказывать, как и где он служит.

– А ты откуда? – спросил он, между прочим меня, как бы приглашая сделать вклад в общую беседу.

– Из Москвы.

– Это что, в штате Монтана?

– Не в Монтане, а в Айдахо, – поправили его из очереди.

– Почему? – не отступал солдат. – Есть Москва и в Айдахо, есть и в Монтане. Кажется, есть еще и в Орегоне. Ты из какой Москвы?

– Моя Москва в России. Советский Союз.

Солдат присвистнул. Вся очередь придвинулась к нам ближе.

– А чего ты в Дакоте не видал?

– Друзья у меня там.

– Друзья – это дело, – согласился солдат. – А вообще там одна дичь.

* * *

Тот декабрь был теплым (оттого и туман!). Снег держался лишь тонкими прожилками по тенистым местам. Вся степь состояла из рыже-бурой травы. Ковбойский конь, зная свою науку, сам, почти без поводьев, держал курс на бычка. Телок, услыхав топот, задрал хвост и пробовал дать стрекача. Конь, не теряя сил

даром, срезал угол и вышел к нему прямо в лоб. Бычок широко расставил передние ноги и высматривал, где бы ему мимо нас проскочить. Потом, видимо, решил, что от двухголового чудовища не убежишь, и припустился следом за стадом. Конь тут же понял, что задача выполнена, и перешел на шаг. Я не стал его торопить.

Погоня за бычком вывела меня на пригорок, откуда открывался вид на реку. Ред-Ривер. Красная река. «Сегодня я был у индейцев Красной реки», – вспомнилась строка из Майн Рида. И река не замерзла. Вода отсвечивала на солнце. Насколько хватало глаз, не видно было ни души.

– А индейцы тут есть? – спросил я у Томаса.

– Конечно, есть, – отвечал ковбой.

В который раз Томас подтвердил, что все, что для нас книжная романтика, для него просто жизнь. Так он когда-то впервые явился передо мной, будто сойдя с книжной страницы – в широкополой шляпе и кожаных штанах. Так он и в этот раз готовился к объезду (ковбойский термин), привязывая к высокой луке седла лассо и укладывая в сумку особый жевательный табак. На вопрос «Зачем жевательный?» ответил: «Бодрит и согревает». Оружие? Было у него и оружие. И стрелял он так, как сам же про стрельбу настоящих ковбоев рассказывал, – в воздух, это чтобы попугать птиц, ополчившихся на посевы.

В прошлый раз, пытаясь найти какую-нибудь брешь в его подлинности, я Томаса спрашивал, что же он хвалит свой Дальний Запад, а сам перебрался на Средний, поближе к цивилизации. Теперь Томас был у себя дома.

– А почему скот не тавреный? – спросил я наконец.

Оказалось, что это так надо. Раньше, разъяснил Томас, скот действительно таврили, но, во-первых, любое тавро можно подделать, а во-вторых, имеются какие-то мудреные законы, по которым окружной инспектор может потребовать подтверждения, что у тебя есть право на это тавро. Больше налога заплатишь, только и всего! Получается, что лучше пусть скот будет как бы «ничейный», а соседи между собой все равно «кто есть кто» разберутся. Основные принадлежности ковбойского снаряжения и костюма мы уже обсудили с ним в прошлый раз. Кожаные штаны, называемые чепсами? Это – для другой работы. «Когда с коровами контакт есть, – объяснял в свое время Томас, – чтобы рогами не задели»… А сейчас, хотя на всякий случай у каждого из нас лассо, мы скот арканить не собираемся. У нас последний объезд. Сбор. И кожаные латы нам не нужны.

– А вот скажи, – устраивает вдруг экзамен Томас, – в чем суть ковбойского платка?

В чем суть? Когда-то я не мог поверить, что рубашка младенческой расцветки – красная в белый горошек – и есть рубашка ковбойская. «В таких покоряли Дикий Запад», – разъяснил тогда Томас. А теперь он спросил про платок, и я только в этот момент обратил внимание на тряпицу, которой обвернута была шея у Томаса. И у всех остальных. Мне тоже дали такой платок. Оказывается, ковбойский! А я думал – так, треугольный кусок ситца…

– Смотри, – сказал Томас.

И высвободил платок из-под ворота.

– Узлом вперед – для красоты.

Затем повернул платок узлом назад, вперед – широкой стороной.

– От ветра, горло защищает.

После этого платок был поднят на нос, выше ноздрей, так что оказалась закрыта нижняя часть лица.

– От пыли, – сказал Томас. – В сухую пору во время работы, представляешь себе, какая поднимается из-под копыт пыль? А это, – и Томас поднял платок еще выше, оставив не закрытыми одни глаза – в случае погони!

И взгляд ковбоя стрельнул окрест из-под широких полей. За шляпу мне однажды досталось. Томас сам выбирал ее, сам утюжил, заламывая поля, и ревниво следил за тем, как я ее надеваю и ношу. И когда я попробовал в каком-то общественном месте шляпу снять, ковбой просто всполошился и даже рассердился.

– Снимают шляпу только вместе с головой! – сказал он очень строго.

– Когда же ее все-таки можно снять?

– Исключительно в присутствии дам.

Да, оказывается, если вы ковбой, вам нельзя снять шляпу в какой-нибудь конторе или в баре. Томас явился в шляпе даже на прием, устроенный стариком по случаю показа нашей тройки. Шляпа парила над приглаженными волосами и белыми воротничками. Кругом посмеивались: «Что с него возьмешь? Ковбой!» – «Я думаю, – сказала жена Томаса, которая, конечно, разделяла пафос мужа в основном, но все же не в такой пунктуальности, – я думаю, он и в Белый дом пришел бы в шляпе». Надо было видеть, с каким выражением в глазах рассматривал Томас каждую лепеху, оставленную его стадом на дороге.

– Гляди, – указывая на желто-зеленоватую кучку, обратился он ко мне с улыбкой, выражавшей глубочайшее умиротворение, тепло в душе, – сразу можно узнать, хорошо кормилась корова

или нет.

Вдруг лицо его преобразилось, он бросился прямо с седла, нагнулся и поднял с земли щепотку вонючей кашицы. Поднял, присмотрелся, растер между пальцами, и неистовый вопль огласил прерию:

– Глисты!!!

Встрепенулись ковбои, будто их настигла погоня. Они все собрались вокруг Томаса, разглядывая скользкого желтоватого врага. А потом бросились «отсекать» злополучную корову от стада.

– Как же они ее найдут?

– А по навозу.

И, правда, впереди в гуще красноватых спин и черноватых рогов ковбои в паре с двух сторон зажали какую-то телку. Но взволновалось все стадо.

– Продвинем их быстрее вперед, – велел Томас.

Мы понеслись. Загудела земля. Конь, раньше меня понявший, в чем задача, вытянулся в струну под тяжелым ковбойским седлом. Ковбои улюлюкали. Свистел ветер. Множество голосов разом застучали у меня в голове. Кажется, все тренеры, у которых я когда-либо брал уроки верховой езды, вдруг заговорили, давая мне советы, чтобы не опозорился я на Дальнем Западе: «Вожжи в руках! Шенкель туже! Работай поводом! Ногу от колена назад! Эй ты, кот на заборе, спину прогни!» Советовали классики высшей школы. Ипподромные крэки. Мастера коннозаводского тренинга. Громче всех звучал голос Артемыча, Григория Артемыча Коцаря, табунщика с Бермамыта. Под Эльбрусом. Ведь кругом была прерия. И рядом – ковбои.

Вдруг… вдруг седло подо мной и земля внизу начали исчезать. Я ли дернул поводом, конь ли спотыкнулся, мы с ним падали. Тоскливое чувство стыда овладевало мною. Слава Богу, лошадь выровнялась, я продолжал участвовать в погоне. А кто-то из ковбоев щелкнул фотообъективом. Чувство законной гордости овладело мною, когда отдали мне фотографию. Вернувшись домой, я отправился в издательство и показал редакторше, с которой готовил к выпуску «Большой приз», сборник конных повестей. «Что ж сгорбился, будто кот на заборе?» – это было всё, что услышал я от редакторши, едва скользнувшей глазами по фотографии: всадник на ковбойском коне и в седле, лассо пристегнуто у луки, широкополая шляпа наполовину закрывает мое лицо. Если смотрел я на фотографию в памяти у меня начинала звучать ковбойская песня «На горной вершине»… Сгорбился?! Кот на за… Что поделаешь под взглядом знатока! «Большой приз» составляла и редактировала Нина Семеновна

Буденная.

* * *

– Ты вот про индейцев спрашивал, – обратился ко мне Томас, когда мы опять перешли на шаг, все вошло в свою колею и он сам несколько успокоился, – вечером, как пригоним, увидишь индейцев.

Индейцы! Их сам Фенимор Купер ведь почти не видел. Чингачгук, Магуа – он встречал послов или вождей, которые приходили к порогу дома его отца на берегу озера Отсего. Это американский Восток, штат Нью-Йорк. Мы же – на Северо-Западе.

Другие ковбои, за исключением тех двух, что конвоировали злополучную телку, подтягивались к нам. Вы ковбоев когда-нибудь видели? А вот им не приходилось видеть всадника из Москвы, если только это не Москва в штате Монтана или Айдахо.

– А у вас там какая езда? – ставили мне специальные вопросы.

– У них там казаки, – решил кто-то показать свою эрудицию.

– Казаки – это те же ковбои, – между прочим, вставил я.

– Брось!

– Приезжай, увидишь.

– Я бы хотел приехать, – серьезно сказал Томас. – Неужели у вас там имеются люди вроде нас?

И уже не голоса, а лица, целые вереницы лиц, колонны всадников понеслись перед моим умственным взором. Но как передать ковбоям все то, что виделось мне в ту минуту по-гамлетовски, «очами души»?

– А ты приезжай, – вместо ответа сказал я Томасу.

– Когда же? – откликнулся он все так же очень серьезно. – Скот на кого я оставлю?

И после паузы произнес:

– А если я переберусь к вам фермерствовать?

Это был чеховский диалог, в котором больше подразумевалось, чем было высказано. Память о таком разговоре надолго остается в сознании, требуя высказать оставшееся невысказанным. Что хотел сказать Томас? Что ему тошно и хотел бы он выйти на новый фронтир, к новым горизонтам. Есть вещи, которые надо увидеть, чтобы поверить в их истинность: шторм на море, полет над облаками, тропическая жара… «Чего они жалуются?» – со студенческих лет задавал я про себя вопрос, читая и перечитывая американскую классику, так называемую Американу, которая развивает на разные лады одну тему: всё

есть, полная чаша, одного нет – жизни. Бедность при благополучии – такова коренная американская трагедия.

Разговор наш с Томасом происходил в тех самых местах, что послужили площадкой действия классической книги, заглавием которой служит место действия: «Уайнсбург, Огайо». Автор – Шервуд Андерсон, он в одном таком «Уайнсбурге» родился, в другом «Уайнсбурге» рос, и что его опыт, напитавший книгу, не был исключительным, говорит судьба ещё одного писателя, испытавшего андерсоновское влияние. Эрнест Хемингуэй рос в своем «Уайнсбурге», только в другом штате, подрос и готов он был бежать из родных мест куда угодно. Хоть на войну, что он восемнадцати лет и проделал. И Фолкнер бежал – в авиаторы, но, послушавшись советов Андерсона, сделал свой край источником творчества: жизнь – не искусство, плохо и хорошо в искусстве взаимодействуют в обратном отношении друг к другу.

«Уеду я отсюда»… Сам Андерсон в том же возрасте сбежал к лошадям, точнее, с лошадьми – нанялся конюхом на беговую конюшню. Некоторое время он кочевал с рысаками с одного ипподрома на другой, что дало ему материал для следующей книги, так и названной «Кони и люди».

Пока мы с доктором с нашими лошадьми находились в Норфилде, живой иллюстрацией к рассказам Шервуда Андерсона служили жалобы навещавшего нас пасечника Марченко. Он горевал: у него дело на полном ходу, пасека, дом хороший, а сын – сбежал. «Чего ему не хватало? Чего ему ещё надо?» – сокрушался старик.

Хотелось мне повидать тот самый Клайд, послуживший натурой для Уайнсбурга. Не город – городок, в сущности поселок, находился он миль за двести от мест, где мы жили, но когда же ехать? Руки заняты – вожжами. В успокоение получил я от американского коллеги, профессора литературы, письмо: «Не расстраивайтесь: всё эти городки – как две капли воды, на одно лицо». Не надо ездить далеко, осмотрись на месте, всюду – то же самое. И в самом деле, Норфильд был тот же Клайд, судя по описанию: одна улица, называемая Главной, тут и кладбище: некуда торопиться, незачем стремиться – цикл жизни может совершится здесь от начала и до конца, нужды нет, голода, холода тоже нет, только нет её, жизни, хоть удавись.

«Кто забывает о прошлом, тот обречен на его повторение», – Джордж Сантаяна сказал, и он же объяснил: «Американцы не только ничего не помнят о прошлом, но и не считают нужным помнить». Важно – будущее, в этом основа их оптимизма, а вера в будущее у них пространственная. Из Старого в Новый Свет переместились они побуждаемые этой верой и – наличием

«свободных земель»: есть, где искать удачи. Американцы переводили время в пространство, в них жило пионерское сознание, будто от судьбы можно убежать.

Свободными земли в Америке стали после того, как освободили их от индейцев и всех прочих, кто пришел туда раньше гринго, как называли американцев говорившие по-испански. Но – освободили, и у кого хватало желания и сил, могли туда двинуться. Однако, на исходе девятнадцатого века «граница» закрылась, и подобно тому как много веков тому назад изжила себя Древняя Греция, пришёл конец образцовой Америке. Об этом сразу же историк Тернер написал пророческую статью «Фронтир в создании Америки». Пророчеству, когда оно было сделано, не верили, к тому времени, когда стало осуществляться, о нем забыли. А ведь конец – процесс: долго угасала Эллада, Римская Империя падала столько же времени, сколько развивалась и росла. Вроде возрастного перелома – в гору и под гору, как говорил наездник Ратомский, «с ярмарки». Говорил он это, находясь на вершине успеха: всё что можно выиграл, всего достиг, а с вершины начинается путь под гору. С Восточного побережья граница передвигалась вглубь континента, на Запад: Средний Запад, Дальний Запад, Юго-Запад, Северо-Запад. По мере передвижения пространственная основа американского оптимизма сокращалась и наконец исчезла, уж если хлебороб-скотовод запросился к нам.

Американцы бодрятся, хорохорятся, обманывая себя, а между тем они как *американцы* свою историческую роль уже исполнили. Пусть кто угодно из них это отрицает, они всякую очевидность про себя отрицают, а я вижу это глазами пережившего упадок и развал своей страны. Эффект самовосхваления мы испытали на себе, и нам говорили и мы считали, что мы самые-самые, вот своё, я думаю, и отыграли – заглавная роль в мировой исторической драме дается один раз. Мы можем всё купить за нефть и прочие неисчерпаемые природные ресурсы, американцы со своей военной мощью могут разбомбить кого угодно, значения это иметь уже не будет. На исторические подмостки нация и страна не может выйти без большой идеи. Иван Солоневич полагал, что залог национального величия в наличии сливочного масла, но забота о хлебе насущном странно звучит в устах отпрыска из религиозно-церковной семьи. Как было с нашим развитием, как бывает со всяким развитием, пришло время и американскому развитию, выражаясь гегелевским жаргоном, поймать себя за хвост: что некогда помогало и подталкивало, теперь мешает и тормозит. Изгоняли индейцев, завозили рабов, теснили французов, голландцев, испанцев, мексиканцев, русских,

всех прочих колонизаторов, и на крови и костях, на захваченных землях воздвигли нечто невиданное – американскую цивилизацию.

«Извиняться нечего» – говорил я своим американским студентам. Им, вместо знания и понимания своей истории, предлагают извиниться за праотцев и забыть о грехах прошлого, чтобы воспоминания больше не бередили современную совесть. Говорил и спрашивал: «Какая из цивилизаций возникла не на чужой земле и не на чужих костях, конечно, плюс свои?». «Греческая!» – отзывались ребята родом из Греции. «Итальянская!» – кричали молодые итальянцы. Американцы, говорил Лоуренс, наскоро доделали то, над чем европейцы трудились веками. В итоге, как *греки, американцы* стало понятием международного исторического словаря. Заокеанская страна успела проделать тот путь, на который в Европе ушло Новое время, начиная с Ренессанса. Ныне являются среди них бесноватые с криком «Верните мне мою страну!». Они, как юродивый у Пушкина, передают настроение толпы, адресуя свой упрёк, однако, не по адресу: в упадке обвиняет правительство, либералов или консерваторов (чаще – либералов), а на самом деле той страны, о которой они плачутся, просто нет, и не только страны – их самих исторически уже не существует, исчезни они хоть сейчас, всем станет только легче. Продолжая умственно жить в стране, которая в своей самобытности начала исчезать полтора века тому назад, американцы держатся за ружье, национальный талисман, как у нас бутылка водки: нами владеет желание выпить, ими – кого-нибудь пристрелить. Лелеют мечту о независимости. «Пусть меня пристрелят» – протестуя против каких-либо оградительных мер, заявил занимавший должность губернатора. Дело у них «с ярмарки», а они верят в будущее, словно время стоит на месте, они всё те же пионеры, к которым чеховские мальчишки мечтали убежать, чтобы охотиться на бизонов и сражаться с индейцами. Пишут об этом? Ещё бы! Обо всем пишут, но кто читает?

Всё это осознал я позднее, а в тот момент, когда поделился со мной американский фермер своим желанием поехать к нам, я подумал: «О, друг мой, что с тобой станет, если ты в самом деле к нам приедешь!», а разговор перевёл на лошадей.

* * *

Ковбои были совсем молодые ребята. Среди них в том числе зять Томаса. Я помнил его дочь совсем девочкой. Вот кто смотрел

тогда на нас с доктором большими глазами! Подумать только, из самой Москвы… Это она пригласила нас к себе в школу, и там еще одна девочка после нашей беседы поставила вопрос: «У нас деньги это все, а у вас?»

– Свадьбу играли? – спросил я Томаса.

Вместо ответа он полез за пазуху и вытащил портмоне, из которого достал фотографию и протянул мне. Джин была сфотографирована в подвенечном платье, а рядом в черном костюме торчал тот самый парень, который сейчас гарцевал возле нас, крутя веревку над головой.

– Дал я им двух телок, – говорил Томас, – и у Джона (это зять) была одна своя, он выиграл ее на родео. Пусть теперь обзаводятся своим хозяйством. Только вот дома своего у них пока нет.

– Вместе с вами живут?

– Нет, отдельно. В караванчике.

Караван – это я уже объяснял: домик на колесах, прямо в степи. А Джон крутил веревкой вовсе не от нечего делать, не для забавы. Напротив, он в паузе занимался делом – готовился к очередному родео, в программу которого входят упражнения с лассо.

– Кажется, я тебе не дарил веревки, – задумчиво сказал Томас, осматривая меня с головы до ног и, видимо, прикидывая, что все остальное он уже учел.

Нет, веревки, то есть лассо, у меня не было. Томас, конечно, восполнил недостающее звено, и этот его дар поставил меня в положение персонажа Джерома К. Джерома из книги «Трое в лодке, не считая собаки». Помните эпизод со ливерпульским сыром? Только вместо натурального рокфора у меня была ковбойская веревка.

– Я долго думал, – сказал Томас, передавая мне свой подарок, – какую тебе подобрать веревку. Хотел новую купить, но решил, что уже бывшая в употреблении лучше. Она тебе будет напоминать…

О, веревка способна была оставить о себе память неизгладимую. И не только у меня одного. Уже в самолете, на обратном пути в Чикаго, начались волнения среди пассажиров. Думать о том, чтобы везти веревку в чемодане, значило бы выбросить потом все вещи вместе с чемоданом. Так что пришлось положить ее в отдельную сумку, взять в кабину, и началось. «Чем это пахнет?» Мне пришлось сознаться, что у меня с собой лассо, настоящая ковбойская веревка.

– Вы бы еще корову с собой прихватили, – заметил мой сосед, очень язвительный господин.

Да, веревка та была в употреблении! Она сохранила самый аромат прерий. Томас не ошибся: вблизи этой видавшей виды, потертой, пропитанной конским и коровьим потом веревки возникала полная иллюзия того, что вы находитесь на скотном дворе. Как только я приземлился и поместился в гостинице, на другой же день меня вызвал администратор и показал свод правил проживания в отеле, где, видите ли, нельзя держать ядовитые вещества.

– Это не ядовитые вещества. Это – веревка из Северной Дакоты.

– Ничем не могу помочь, – отвечал администратор, – горничные отказываются убирать у вас в номере.

Но тут мне пришел на помощь свой человек, знакомый, из нашего представительства. «Оставь в машине, – сказал он, – потом я это как-нибудь дипломатической почтой отправлю». Ну, думаю, повезло! А в результате чуть было не возник дипломатический казус. «Кто это нам подбросил такую злостную вонь?» Тут же меня запеленговали, и веревка была отправлена в Принстонский университет. Там, поскольку я уже успел уехать, ее некоторое время из вежливости держали в отделе редких книг (где тоже был хороший знакомый), но, в свою очередь, долго не выдержали. Не стану излагать дальнейших деталей. Отправить веревку удалось в контейнере медленной скоростью на грузовом судне. В руках у меня она опять оказалась лишь через несколько месяцев. Все та же веревка. Видавшая прерии Дальнего Запада. Потертая. Особенно в том месте, где петля затягивается на шее заарканенного животного. Отглаженная ковбойскими руками. Однако она, надолго вырванная из родной атмосферы, уже ничем не пахла! Веревка выдохлась. «Ха-ха! – говорили друзья и домашние, которых я пытался убедить в том, что они видят «настоящую вещь», реликвию. – Разве это ковбойская?» Напрасно я их убеждал, что перед ними легендарное лассо, они говорили: «Нам, может быть, и не приходилось уж так часто видеть лассо, но это вервие простое рядом с лассо и не лежало».

* * *

Часам к четырем мы управились. Коровы были водворены в загон. Взмокшие кони расседланы.

– А теперь, – сказал Томас, – самое время пустить по доске.

– Что сделать?

– Пыль прибить в глотке.

– Как?

– Сейчас увидишь.

И мы проследовали в ближайший городок или, лучше сказать, поселок. Вы это видели. Если вам случалось бывать в кино на каких-нибудь вестернах, тогда вы понимаете, о чем речь. Пара улиц, состоящих из одноэтажных деревянных домов, прямо посреди степи. Ворота. По-нашему будет околица. С тех времен, которые мы знаем по очень уже старому фильму «Почтовый дилижанс», или, как у нас называлось, «Путешествие будет опасным», такие поселки в Америке практически не изменились. Их как будто поместили в музей под открытым небом. Так и кажется, что ты в музее, потому что первый вопрос: живет ли здесь кто-нибудь? Кругом ни души. Не дома, а экспонаты. Жизнь теплилась только в дальнем конце улицы, где мигал веселый огонек. Туда мы и направились. Вот это тоже во всяком вестерне увидите. Открыв дверь (ногой в ковбойском сапоге), мы вошли в ковбойский салун.

Какие-то люди, на которых я не обратил особенного внимания, сидели за столиками. Мы с Томасом подошли к стойке. Ни один из нас, понятно, не расстался ни с головой, ни со шляпой. Томас поздоровался с барменом, но встали мы у противоположного конца стойки.

– А ну-ка, – обратился к бармену ковбой, – пусти нам пару стаканов по доске.

После короткого обмена мнениями на тот счет, что именно должно быть в стаканах, бармен брызнул из бутылки в два пузатеньких стаканчика желтоватой жидкости, и от движения его руки стаканчики один за другим устремились к нам по полированной больше локтями, чем лаком, поверхности бара. Ведь «бар» и означает доска. Мы поймали эти снаряды.

– Что ж, – произнес Томас, – прибьем в глотке пыль и согреем желудок.

Затем он окинул взглядом салун и воскликнул:

– Здесь индейцы!

Оказывается, люди за столиками и были потомками Чингачгука. Они пили пиво. Томас сразу узнал среди них одного своего знакомого и шепнул мне: «Лучший среди них знаток лошадей». И мы подошли к ним.

– Знакомьтесь, – после первых приветствий сказал Томас, – мой друг из Москвы.

– А это, – продолжал он, обращаясь ко мне, – Литл Винд, Тихий Ветер.

Потом он объяснил индейский обычай: первое, что увидит, почувствует, услышит мать сразу после родов, становится именем ребенка. Легкое дуновение, и явился на свет Тихий Ветер. Это

был среднего роста, плотный, даже полноватый мужчина, с черными волосами, смуглым цветом лица и, я бы сказал, совсем не индейским носом – картошкой.

– Хотел бы я побывать в Москве, – первое, что он мне сказал, а в разговоре добавил:

– Я встречался с русскими.

Тихий Ветер воевал, был на Эльбе. А, каково? Мать моего ближайшего друга, актриса, снималась в нашем фильме «Встреча на Эльбе», и с мальчишеских пор – тем более, мальчишки военного времени – были мы зачарованы рассказами об этой встрече. И надо же, живой участник! А наша встреча – на берегах Красной реки.

Разговор перешел на лошадей.

– Поедем ко мне, – сказал Тихий Ветер, – я покажу вам свой корраль.

– Какие у вас породы?

– Всякие. Паломино, криоло, апалузо, – загибая пальцы, он называл типичные американские породы, попавшие на заокеанский материк еще во времена испанской колонизации.

– Так ведь уже темно. Как же смотреть лошадей в темноте?

– А луна! – воскликнул индеец.

Апалузо, криоло, паломино – лошади при полной луне. Какая красота! Луна действительно была во всей силе, и Тихий Ветер осуществлял свой напор, так что я уже начинал склоняться. Но тут нам пришлось снять шляпы. В присутствии дамы. В салун вошла жена Томаса.

– А, вот вы где!

Леди Кингсли вовсе не собиралась чинить нам препятствия.

– Лошади при луне? – всплеснула она руками. – Какая красота! Надо ехать.

– Нет, – сказал Томас, – это несерьезно. Что можно увидеть в лошади при луне? Ты, Тихий Ветер, меня не проведешь, хотя я и бледнолицый.

– Ты что думаешь, – разъяснил мне потом ковбой, – он – поэт? Он конеторговец. Он тебе при луне такую клячу подсунет, что и до ворот не доедешь». Разве мы собирались покупать у него лошадей? Ведь мы хотели только посмотреть… «Что значит посмотреть? Дело есть дело. Всякий интерес к своему товару надо поощрять. Сначала посмотрели, потом поговорили, а там, глядишь, и по рукам ударили.

– Мы к тебе приедем завтра, Тихий Ветер, – сказал Томас. – Ты где живешь?

– У Вороньего холма.

– Где это?

– Спроси, тебе здесь любой ребенок объяснит.

– А ты тоже, – ворчал Томас на жену. – Какая красота! Что мы, девушки, что ли?

В самом деле, подумал я, мы – ковбои! Завтра так завтра.

На другой день Томас сел уже не в седло, а за руль, и мы поехали.

Что-о есть сча-астье? – спрашивал в приемнике под ковбойскую гитару ковбойский голос, и сам себе отвечал:

Конь – товарищ,
Ми-ило се-ердце,
Чарка виски
И уда-ача…

– Легко ему рассуждать, – покачал головой Томас.

– А сейчас всего этого мало? – спросил я, потому что песня была старинная.

– Сейчас, – отвечал ковбой, – не жизнь, а сплошная головная боль.

– Что ж так?

– Мало вырастить – надо сбыть, мало сбыть – надо заплатить налоги, мало заплатить налоги – надо рассчитаться с долгами, только с долгами успел рассчитаться… А, вот мы и приехали.

Мы въезжали в старинный форт. Когда-то здесь проходил фронтир, передовая линия продвижения на Запад – борьбы с природой и с индейцами. Два стоявших рядом казарменных здания напоминали об этом. По иронии судьбы теперь в этих казармах разместился индейский клуб. Страшно даже перевернуть любую из страниц кровавой летописи. Завоевание, оттеснение, уничтожение – что это было все именно так, теперь не станет оспаривать ни один мало-мальски здравомыслящий историк, политик, этнограф. Правда, еще недавно выдвигались смехотворные оправдания колонизации, вроде того, что у индейцев были чересчур жестокие обряды. Это что же, ставило их в положение виновных перед завоевателями, которые как будто не знали, что такое войны, казни, пытки? Говорили даже о том, что индейцы, охотясь на бизонов первобытным способом и загоняя в пропасть целые стада, нарушили равновесие в природе. Стало быть, охотясь на тех же бизонов с ружьями до полного уничтожения, колонизаторы равновесие восстановили? Американский Запад и его завоевание – это как наше сталинское время – победы и позор, которые разделить нельзя. Собственно, о таких исторически-неразрешимых ситуациях – «Медный всадник»: «Красуйся, град Петров!» и – «похоронили ради Бога». Что из

этого следует? Сам Пушкин не знал, мне кажется, что и думать. Допустили его в закрытые архивы, по нашему спецхран, под гайку, увидел он: царь-реформатор поднял Россию на дыбы и – на дыбу. Всякому частному лицу угрожала опасность испытать участь Евгения – попасть под коня всадника истории.

Когда отвлекаешься от этой жуткой борьбы, то вперед выступает интересный процесс обмена опытом между двумя мирами. Европейцы привезли в Новый Свет пшеницу, местные жители дали им кукурузу. Европейцы научили тому, что богатства природы есть не только на поверхности земли, но и под землей, индейцы расширили представления приезжих о животном мире и об охоте. Даже отрицательное влияние оказалось взаимным. Европейцы привезли с собой спиртное, индейцы научили их курить… Европейцы привезли с собой, кроме того, невиданных животных, размером с оленя, с копытами, но без рогов, а главное, это животное носило на себе человека. Индейцы усмотрели, до чего верно животное служит человеку, и назвали его Большой Собакой. Собак индейцы сами знали и использовали, в том числе как тягло. Но много ли утащит собака? А еще – собаки хотя и преданы человеку, но ужасно грызутся между собой. С ними неудобно управляться. То ли дело Большая Собака! С тех пор индейцы разделили свою историю на две эпохи: до Большой Собаки и после нее… Стали говорить: «Это было еще во времена простой собаки». Или: «Случилось это уже при Большой Собаке». Так на жизнь индейцев повлияла лошадь. В искусстве владеть конем индейцы достигли невероятного умения. Они стали просто кентаврами. Тогда уже и бизонов не нужно было загонять в пропасть. Как ковбои в обыкновенном стаде, они выбирали бизона, преследовали его, зажимали с двух сторон, и кому как с руки: тот, что скакал справа, бил копьем, левый стрелял из лука: бык наповал!

– На родео индейцы немыслимые вещи выделывают, – подтвердил Томас и добавил: – Давай спросим у этих ребят, где здесь Вороний холм…

У дороги стояли маленькие индейцы и внимательно наблюдали за нами. Томас убавил ход и опустил стекло.

– Хелло, – сказал он, – где тут Тихий Ветер живет?

Детишки во все глаза смотрели на двух дядек в широкополых шляпах и – молчали.

– Вороний холм, – подсказал Томас.

Ребята разом замотали головами, стремясь выразить только одно: «Не знаем!»

Поехали дальше. Нагнали группу молодых людей.

– Вороний холм… Тихий Ветер…

Результат тот же. Не знают. Понятия не имеют. Причем каждый раз ответ следовал за очень внимательным разглядыванием.

– А вдруг они и правда не знают? – сказал я.

Томас ответил:

– У него лошади пасутся по всей округе. Он ни заборов, ни законов не признает. Так должны же его, в самом деле, здесь знать!

У дороги стоял старик, и Томас притормозил.

– Послушай, – начал он сразу с объяснения, – нас Тихий Ветер к себе пригласил. Пригласил нас к себе Тихий Ветер. Виделись мы с ним вчера, и вот он нас пригласил к себе…

Так, на разные лады, повторив одну и ту же информацию, Томас поставил вопрос:

– А Вороний холм где?

Старик все равно не торопился отвечать. Его глазки буквально буравили нас. И вдруг мне это кое-что напомнило. Как же! Оксфорд… «Где здесь жил Льюис Кэрролл?» Результат тот же самый. Не знают. А он прожил здесь чуть ли не полвека, почти сорок лет преподавал, восемь тысяч раз обедал… И никто не может указать его квартиры? А, понятно, иначе от наплыва паломников пришлось бы стены переставлять. И я сказал Томасу:

– Да они нас боятся. Они принимают нас за полицию.

В самом деле, здесь все про всех знают. Известно, что вчера Тихий Ветер был в салуне. Что-нибудь там натворил. И вот уже две широкополые шляпы приехали его забирать.

– Они думают, что мы шерифы! – усмехнулся Томас.

Но как быть? Ведь шляпы без головы не снимешь, а каких-либо дам по всей округе не наблюдалось.

– Послушай, – обратился Томас еще раз к старику, – мы к нему в гости. Он нас пригласил. Пригласил он нас! К нему мы в гости. В гости мы к нему. Мы…

И Томас остановился, не зная больше комбинаций из слов «мы, гости, он пригласил и – в…» Наконец, старик более или менее определенно махнул рукой, указывая хотя бы направление. А мы, следуя его указанию, не только выехали из форта, но попали, как на машине времени, в другую эпоху.

Качнуло, будто на корабле. Вместо шоссе начался проселок. Томас нахмурился, крутя рулем.

– Тут и гвоздь в шину получить недолго, – сказал он.

Множество забот, которых минуту назад мы и не знали, застучались в нашу дверь. Вот когда началась сплошная головная боль! Как бы не наехать на гвоздь… Куда повернуть? – потому что дорожные знаки пропали.

– Смотри, сколько холмов, – вздохнул Томас, – и который же из них Вороний?

А мир прекрасен, как всегда… Поскольку местность все подымалась, как бы приближаясь к солнцу, становилось теплее. «Ты не поверишь, что у нас суровый край», – заметил Томас. Это была редкая зима. Казалось, природа за все то, что отняла у нас, заставив ждать в аэропорте, теперь отдавала сторицей. Снег, действительно, совсем пропал. Кругом разворачивались желто-зеленые поля, похожие на Северный Кавказ, на Кубань… И холмы.

Машина ухнула на ухабе, и Томас резко взял в сторону.

– Нет, все-таки, – сказал он вместо того, чтобы выругаться, – где Вороний холм?

Взглянув потом на карту, я понял, в какую же глушь мы тогда заехали. Не только Фенимор Купер, но, думаю, даже Сетон-Томпсон, который все-таки видел то, о чем писал, не забирался так глубоко. Он не встречал индейцев-сиу. Он не был в краях шайенов.

– Что будем делать? – спросил Томас, положив обе руки на руль и нажимая педаль тормоза до отказа.

Мы оказались утлой лодчонкой посреди травяного моря.

– А что, если заехать вон в те домики и спросить?

Деревянные коробочки стояли метрах в пятидесяти от дороги. Сворачивать, то есть подвергаться опасности наехать на гвоздь, железку или, чего доброго, засесть в канаве, ковбою не хотелось. Он предложил пройтись. Мы поставили машину у обочины и двинулись к домикам.

– Выполнение программы президента Кеннеди, – пояснил Томас относительно домиков, – еще несколько лет тому назад они жили в бревенчатых хижинах.

И указал на стоявший тут же или, вернее, вросший в землю сарайчик. А традиционные жилища индейцев типпи, шалаши, крытые кожей, или вигвамы, те же шалаши, но крытые парусиной, – это уже в музее? Нет, как объяснил Томас, встречаются еще и вигвамы.

Над крышами сероватых домиков торчали телевизионные антенны.

– Пьют пиво и смотрят телевизор, некоторые из них только этим и занимаются, – сказал Томас.

– А живут на что?

– На пособие. Мы довели их до этого состояния, мы и расплачиваемся, – отвечал ковбой. – Осторожней!

Как Байрон, у которого в доме всегда было много животных и который то и дело предупреждал друзей: «Не наступи на собаку! Берегись, а то обезьяна укусит!» – так Томас предупредил мой

опрометчивый шаг: слушая его, я чуть было не попал в наполненную жидкой земляной кашей канаву, где мирно похрапывала свинья. Две овцы шарахнулись при виде нас от крыльца ближайшего из домиков. Где-то брехнула собака. В окне мелькнуло тревожное лицо. Мелькнуло и пропало. Кажется, жизнь здесь совсем замерла при виде наших шляп.

Томас постучал в дверь. Но прежде, поднявшись на крыльцо в три ступени, мы соскребли с сапог грязь. Томас постучал. Мы тоже затихли. Никакого движения не слышалось. Томас постучал еще раз. За дверью раздался какой-то шум, как от опрокинутого пустого ведра, и пожилая женщина приоткрыла дверь.

– Нас пригласил к себе в гости Тихий Ветер, – в щель сказал Томас. – Где здесь Вороний холм? Пригласил нас к себе Ти…

Дверь захлопнулась. Некоторое время мы стояли все так же, не шевелясь. Слышно было только хрюканье свиньи. Опять тявкнула собака. Свистнул ветер, качнув телевизионную антенну. Томас уже развел руками, как бы говоря «Что ж, пойдем», но тут дверь вновь приоткрылась, и прозвучал ответ:

– Спросите у соседа.

Опустились мы с трех ступеней и, минуя сарайчик, свалку каких-то банок, ящиков и тряпья, подошли к другому домику, в точности повторявшему первый, с той только разницей, что прямо у крыльца встретил нас бойкий старикашка.

– А это мой друг, – сказал, указывая на меня, Томас, – друг из Москвы. Советский Союз!

Он, во всяком случае, хотел подчеркнуть, что сам он не шериф и что я – не шериф.

– А чего ж тут стоять, – сказал старый индеец, – заходите в дом.

Мы преодолели еще три ступени и, переступив через порог, попали в темноватый, пропитанный чем-то кислым воздух.

– Моя жена, – представил нам старикашка полулежавшую на кровати под засаленным ватным одеялом столь же пожилую женщину.

– Друзья из Москвы, – в свою очередь, пояснил он наше появление. – Приехали посмотреть, как мы живем.

– Нас расстреливали из ружей, – сказала между прочим в разговоре старуха, – нас спаивали водкой, нас разлагали чужой верой, а теперь добивают образованием.

– Как же это?

– А вот сын наш пошел учиться, – вставил старикашка, – так свой язык ему велено забыть!

Мы выпили у них по чашке какой-то темной тепловатой жидкости, про которую они сказали, что это чай (или кофе), а

потом старик вышел опять вместе с нами на улицу и показал на подъем в отдалении: «Это и есть Вороний холм. Он самый».

Но Тихого Ветра на месте не оказалось. «В магазин он поехал, в магазин». Поехали и мы в магазин. В небольшом деревянном строении продавалось сразу все: хлеб, уздечки, под потолком, как экспонат в музее, висел велосипед, и тут же на прилавке лежали какие-то цветастые платья и банки консервов. Не только Тихого Ветра, но даже продавца в магазине не было. В углу сидела маленькая девочка, которая объяснила нам:

– Мамка пошла к папке.

– Нет, – сказал Томас определенно, – больше мы этого Тихого Ветра искать не будем. Иначе я наверняка где-нибудь пропорю здесь шину, и придется нам тут куковать.

* * *

Что-нибудь через полгода, с веревкой в руках, отвергнутый и оскорбленный всеми окружающими, которые не желали верить, что перед ними «настоящая вещь», я решил отвести душу и поехал на конный завод к старику Кольцову.

Тренер-наездник хлопотал у конюшни, готовясь раздавать рысакам сено.

– Сергей Васильевич, лассо!

Наездник повертел в руках подарок ковбоя и сделал свой вывод:

– Хорошая веревка. Из классной пеньки. Где взял?

– Да я же в Америке был.

– В Америке! – присвистнул Кольцов. – А у меня Валерка из Монте-Карло вернулся. Два приза выиграл. Ну, как там у них в Америке?

– Индейцев видел.

– Индейцев! – старик свистнул еще раз. – Пойдем, зададим овса, а после уборки расскажешь.

Отвалив тяжелую полувисевшую дверь, потому что не хватало петель, он предупредил:

– В тамбуре осторожней: лоб себе не расшиби! У нас тут лампочка перегорела.

Я последовал за сутулой спиной старого наездника в полутьму конюшни.

* * *

Рассказывая о поездке в Америку у себя в Институте мировой литературы, я прямо сказал о том, что в этом очерке осталось между строк: наши сельские труженики это те же индейцы, а колхозы – резервации. «Дайте мне слово, что больше вы этого нигде не скажете», – после выступления обратилась ко мне сотрудница, которая, как многие догадывались, выполняла и другие функции. Слово было дано, а сотрудница тоже, как видно, сдержала свое обещание, не высказанное, но вполне ясно подразумеваемое. По крайней мере в поездках за рубеж мне в дальнейшем не препятствовали.

Сравнение резерваций с колхозами возникло у меня как бы само собой, естественно. На резервации увидел я узнаваемое.

Ещё при Сталине, в подмосковном колхозе, где научился я ездить верхом, прыгает возле конюшни грач с подбитым крылом. Мой наставник и сверстник, сын конюха, хочет его отогнать. «Не трожь, – говорит ему тут же стоящий отец, – вечор мы его сво́рим». Ментор мой покраснел, смутившись, что я услышал и, уж конечно, понял, в какой нужде они живут. Годы миновали, друг пригласил меня к себе, сели за стол, суп ели, постный, мясного в доме не было. (Были мы ещё слишком молоды, чтобы сбегать в местный магазин и *чего-нибудь взять*, как со временем услышу я, словно припев, слова старого кавалериста. Под «чего-нибудь» он подразумевал, что без выбора, зато всегда имелось в магазине.)

Вскоре после смерти Сталина, когда сталинские порядки ещё сохранялись, всё там же, под Москвой, всей группой поехали мы на дачу к одной из студенток готовиться к экзаменам. Дача ведомственная, за высоким забором, но, как только решили сделать перерыв, я по своему обыкновению пошёл побродить в поисках лошадей. И вот у колхозной конюшни разговорился с конюхом. «Без паспортов, как были, так и есть: по-отнимали, чтобы не разбежались, – говорит он, – будто за колючей проволокой живём». И это – под Москвой, Кремль видать, а что творилось далеко от Москвы, и не спрашивай. И тут же – оптимизм, советский оптимизм. Тут же патриотизм, советский патриотизм. Тут и пропаганда, талантливая пропаганда, хорошие кинофильмы и чудесные песни, а раз талантливая, стало быть, небеспочвенная. Чувства были неподдельные, прежде всего умение ценить, воспитанное нетребовательностью военных лет. Понятно, у тех, кто чувства эти испытал или читал о них, воспоминание о тех временах непритязательности вызывают ностальгию, но стоит вспомнить, что были за времена, когда чувства эти действительно оказывались сильны, сразу – мороз по коже.

Запад идет нашим путем – к государственному капитализму, но по-своему, по дороге шоссейной, не по колдобинам. Идея без средств воплощения – ничто. Капхозы, по-нашему совхозы, куда отказывался поступить на работу мой друг, фермер-единоличник, конечно, восторжествуют. Никаким частным хозяйствованием современное население не накормишь. Индустриализация и коллективизация – единственный выход. Но – не как у нас, а по порядку. На уборке в колхозах каждую осень належался я на различных сельскохозяйственных продуктах – на картошке, моркови и, разумеется, на сене. В осеннюю распутицу к урожаю подъезда больше частью не было, вот мы и отдавали наши силы и время трудовому лежанию (и нам шли трудодни). А у них – доставка. Мой тесть, инженер-строитель, всегда говорил: стоит ввести нашу систему в пустыне Сахара, и там начнутся перебои с песком.

Речь Руди Шабала из племени Нез-Персе

Шли Чоктосы и Команчи,
Шли Шошоны и Омоги,
Шли Гуроны и Мэндэны,
Делавэры и Могоки,
Черноногие и Поны,
Оджибвеи и Дакоты…

«Песня о Гайавате»

Выступая на Всеамериканской конференции по ахалтекинцам, устроенную супругами Кейс, Руди Шабала говорил как у индейцев принято, цветисто и долго. Суть им сказанного можно изложить вкратце, но чтобы понять его речь, придется сделать предварительные замечания.

Перейдя на вторую половину жизни, Марго и Фил Кейс создали конеферму для разведения ахалтекинцев. Лошадей этой породы в Америке не было, супруги поехали к нам на аукцион, приобрели приличного жеребца, купили кобыл, причем племенные матки им попались до того ценные, что наши, спохватившись, зачесали в затылке: «Зачем было продавать?» А землю Кейсы нашли в штате Виргиния: там жарко, как в Средней Азии, хотя, правда, влажно, особенно летом, не как в Средней Азии, однако выведенные текинцы прижились, поголовье на ферме достигло больше пятидесяти голов.

Марго, хотя и не коневод, но лошадница наследственная. Фил – отставной летчик, военный инженер, с лошадьми до этого не имел дела никогда. Выучился: стал знатоком конного дела. У себя на ферме он зоотехник и ветврач, старшой по конюшне и начкон, тракторист и фуражер, все от стрижки травы до случки у него в руках. И верхом научился ездить, но когда двадцати лет пал его Сенитир, он утраты не перенес, больше уже в седло не садился. Разрешает мне, когда я к ним приезжаю, этим седлом пользоваться, а седло неплохое, если только смазать, как следует.

Рабочий день Фил заканчивает, подметая конюшню. Стараясь помочь ему, я тоже орудую метлой что есть сил, чтобы не ударить перед Америкой в грязь лицом. Положим, Фил не так требователен, как был, скажем, Саввич, наездник Гриценко, последний из мастеров, при тренотделении которого я числился. Это Саввич после совместных маховых работ и моих выступлений на призы прямо заявил, что «чалдона», то есть головы как

понимания пэйса, у меня, судя по всему, не имеется, об этом и прежде говорили, но не столь определенно – намеками. Я не обижался. Лошади – не литература. Свой творческий неуспех можно отнести за счет непонимающего читателя. А в мире лошадей финишный столб показывает, на что ты способен, и все. Трудно представить себе, до чего добродушно и дружески относились ко мне мастера, пока дело не доходило до езды. Тогда уж что Гриценко, что Гриднев пощады не знали. А Саввич был до того требователен, что даже отказывал мне в способности махать как следует метлой. Вот почему, взяв в руки американский конюшенный пушбрум (большое загребало специально для коридора), я так старался.

Пока мы с Филом наводим на конюшне порядок, милые девушки, которых он взял на работу в качестве конюхов и ездоков, щебечут, обсуждая своих кавалеров. А с утра они, вместо усиленной работы лошадям, дают еще большую нагрузку своим языкам: поседлают, отъедут от конюшни, завернут за угол, останавливаются, и – пошла чесать губерния. Я их не выдавал, но про себя удивлялся: допустим, мы не знаем западной трудовой дисциплины, но где же это я очутился, если не на Западе? Сделалось еще удивительнее, когда выяснилось, что Филу это все известно. Тогда я у него спросил, почему он не выпустит этих жизнерадостных пташек на волю, не даст им расчет. «А другие разве будут лучше?» – отвечал вопросом на вопрос пилот, хотя и ушедший на заслуженный отдых, но все так же, нашими словами выражаясь, одержим бесом деятельности, был и есть работоголик, как положено американцам, если они не просто граждане Соединенных Штатов. И супруга его, которая тем временем раздает корм, с ним соглашается: ведь теперь каждый думает о правах, а не обязанностях. Таков дух нынешнего времени – против рожна не попрешь.

Итак, Кейсы некогда узнали: ахалтекинцы – древнейшая из конских пород, а древность у американцев – слабое место. В том же пункте столкнулись они с энтузиастами другой ценнейшей породы – чистокровной, то есть сторонниками английских скаковых. С историческим приоритетом ахалтекинцев англичане не стали бы спорить: лошадь Пржевальского еще древнее и никому не мешает, а тут загвоздка: один из прародителей английских скакунов был, скорее всего, ахалтекинцем. И это не вызвало бы у англичан сопротивления, если бы с давних пор не считалось иначе, что основателями резвейшей современной породы были не кто-нибудь – исключительно одни арабы. Так говорилось, печаталось и повторялось триста лет, со времен открытия студбука. Раз и навсегда в племенном завете записано,

от какого арабской породы «Адама» и «Авраама» пошли чистокровные (которых нам следовало бы, как считал профессор Витт, называть совершенно-выведенными). Переписывать студбук никто не собирается. Зачем же нарушать традицию?

Когда приехал мистер Форбс – ветеринар, который от имени королевы принимал двух наших подарочных жеребцов, один из которых был ахалтекинец, Михаил Тиграныч Калантар, директор ипподрома, говорит мне: «Отзови его в сторонку. Я хочу поведать ему свою мечту». А мечта выдающегося нашего конника заключалась в том, чтобы англичане использовали ахалтекинца на английских чистокровных матках. Представляете, какой приплод дал бы такой инбридинг? Форбс выслушал и сказал: «Я бы рад сделать такой кросс, но Ее Величество на это не пойдет». Эксперт не выразил несогласия или хотя бы сомнения, он сказал – не позволят и все тут, вопреки любым доводам.

У меня этот ответ вызвал, казалось бы, далекую, но, как вы увидите, вполне оправданную литературную ассоциацию. Второе после герцога Эдинбургского лицо в мире конного спорта, профессор Бобылев, который пристроил его жену – королеву – в международную лигу, согласился при первой же возможности поговорить с лицом первым, с герцогом, и согласился Игорь Федорович поговорить с ним не о лошадях, а о таком любителе лошадей, как Пушкин. Дескать, не чужой конникам человек, учебник верховой езды имел, о потертостях главу прочитал, садясь в седло, Байрона брал как всадника за образец, так нет ли где-нибудь в Букингемском дворце или Виндзорском замке его бумаг, не сохранилась ли там переписка со стороны вдовы – Наталии Николаевны, а может быть, и его собственный дневник номер два туда же попал? Вопросы естественные, если учесть, что английский королевский Дом Виндзоров через младшую дочь Наталию Александровну породнился с нашим величайшим поэтом. Игорь Федорович, как мы с ним условились, обо всем спросил, а в ответ получил лишь любезную улыбку. В свое время один наш пушкинист, убежденный, что в английской королевской семье хранится целый пушкинский архив, объяснил мне, почему мы никогда этих сокровищ не получим: «Разве признают они родство с человеком, который себя называл потомком негров?»

С ахалтекинцами то же самое. Это еще кто такие? Арабские лошади, те испокон века приняты за эталон благородства. Правнучка Байрона, Леди Вентворт в своей книге рассуждала совершенно в том же, достойном королевы, духе: арабы и все тут. Больше ничего слышать не хочу! Толстенная, богато иллюстрированная, ее книга есть символ веры, которая никакими доказательствами поколеблена быть не может. Легенду о

Годольфин-Арабиане, самом известном жеребце-прародителе, правнучка Байрона развеяла, пусть с тех же высокомерных, аристократических позиций (как это праотец чистокровных мог воду возить?), но – развеяла. Однако едва дошло до другого прародителя, Дарлея Арабиана, так – стоп, хотя достаточно взглянуть на помещенной в ее же собственной книге его портрет, и станет ясно, что перед нами такой же «арабиан», как любой из нас – Александр Македонский или Гэри Купер. Уже многие знатоки на ту же картину смотрели, и брало их сомнение: «Какой же это араб?» Но англичане – стеной. Это именно вопрос веры – инерции мышления, между тем идея, которую, говоря с Форбсом, имел в виду директор ипподрома Калантар (и развивал в своих трудах профессор Витт), это все растущая сумма фактов, идею подтверждающих. Инбридинг на ахалтекинцев, скрешивание породных линий, идущих от дальних родственников, мог бы дать удивительный всплеск резвости среди и без того резвых английских скакунов.

Немало денег Кейсы потратили на приобретение и содержание ахалтекинских лошадей, они же субсидировали издание двух книг об этой породе. Одну написал обладавший богатым опытом верховой езды индус, другую высокоавторитетный ипполог-американец. Одна из этих книг говорит о том, что дорога на Ньюмаркетскую пустошь, колыбель современных верховых испытаний, была проложена из Ферганы, а в другой доказывается, что важнейшее достоинство английских скакунов – резвость, идет не с Аравийского полуострова, не из Малой Азии, а из Средней, из Туркменских степей. Однако даже те англичане, которые с фактами спорить не собираются, спорить не спорят, а говорят: «Допустим, так оно и есть, ну, и что из этого?». Из этого следует, по меньшей мере, необходимость переписать историю чистокровных. Попробуй перепиши! Только начни, тут же подхватят и начнут говорить, что не только Дарлей, но и Годольфин не Арабиан, а Барб, или берб, то есть бербер, из Северной Африки. (В самом деле, если вдуматься, то, по людским меркам, это все равно, что забыть смысл прозвища «Эль Греко», напоминающего, что великий испанский художник был греком.) В американской книге высказывается предположение, что Арабианом Годольфинов производитель назван был из соображений коммерческих: за случку с арабским жеребцом брали дороже! А на самом деле чудесный Годольфин Арабиан был по меньшей мере наполовину туркоманом – праотцем наших ахалтекинцев. А если и третий родоначальник чистокровных Баэрли-Турк лошадь тоже среднеазиатская, то чте же выхдит? Арабов как таковых в роду у английских скакунов, быть может, и

вовсе не было. А многовековая традиция? На чем держаться? Пусть это предрассудки, но, как писал Эдмунд Берк, осуждая Французскую революцию, без предрассудков никак нельзя – на предрассудках, то есть заблуждениях, мир стоял и стоять будет, если вы хотите, чтобы мир стоял и хотя бы кое-как держался, а не рушился (такова была логика английского политического философа, которому за развитие такой мысли было уплачено из правительственного кармана).

Но Кейсы – американцы не по гражданству, у них вера и неверие взаимосвязаны, сплетены. Они желают верить – склонность к вере у них в крови и культуре, но уж если они разуверились, то идут до конца, словно те же религиозные фанатики. Если их упрямство направлено на достижение какой-то цели, то – прочь с дороги зверь и птица. Фил Кейс – если бы, допустим, ему втемяшилось в голову, что садиться на лошадь надо с правой стороны, то переубедить его было бы невозможно. Не верите? С какой стороны садиться на лошадь, он не спорит. Но есть у него жеребец с дурной привычкой: не стоит, когда садишься. С годами теряя прыткость (правая задняя конечность у меня поднимается с трудом), я несколько раз садился вместо седла за седлом – коню на круп и даже на хвост. Фил настаивает (как это делал тренер Гриднев), чтобы ездил я на этом жеребце по кличке Доблет, но езжу я на нем время от времени, отучить от привычки некогда. Единственный способ – держать. Фил подержать лошадь, пока я сажусь, не отказывается, но делает это по-своему. Вместо того чтобы стать перед лошадиной мордой и без усилий держать поводья, он стоит слева и виснет на поводьях, а жеребец спокойно стоять всё равно не стоит. Пробовал я Филу намекнуть, нельзя ли перед лошадью – держать легче, все так делают. В ответ единственный раз за все годы нашего знакомства прозвучало резко и даже грубо: «Садись и не разговаривай!». И это говорил ходячий здравый смысл!

«Будь по-моему», – есть у них такая популярная песня и каждый американец тянет эту песню. Есть у них и «Гражданин Кейн» – фильм, занимающий такое же положение, как у нас роман «Обломов» – полная правда о людях данной страны. В этом фильме показано, как, настаивая упрямо на своем, мультимиллионер Кейн, при всех своих средствах и силе, терпит полнейший крах: ему никто не перечит и поперек его дороги не становится, только оказывается он в полном одиночестве – никому не нужен. Но американцы вроде нас, рассматривают свою классику так, словно это не про них. Им говоришь: «Кейн!» А они: «Это про богатых». Как если бы вопросом «Быть или не быть» терзались только принцы, а в конфликт со своими детьми

вступали исключительно одни короли. Другая сторона того же упрямства: один человек из ста жителей Нью-Йорка проделал в своё время путь пешком от берега до берега, осваивая Дикий Запад. Силикон-Вэли, символ научно-промышленного прогресса, это – на Западе, который перестал быть диким. «Бедный Гайавата!» – пожалел Есенин, одновременно восхищаясь панорамой Манхетена. Такова неразгаданная природа органики: всё растет из одного корня. Как разделить, допустим, нашу дурь и доброту? Лютой зимой пятьдесят девятого года, под Арзамасом, в селе Григорове, откуда пошли одновременно церковные реформы и раскол (там родились Никон и Аввакум), в шесть часов утра дрожал я на морозе в ожидании автобуса. То был единственный автобус за весь день, а мне во что бы то ни стало требовалось вернуться в Горький на Сормовский завод: по заданию Федора Ивановича Панферова я писал очерк для журнальной рубрики «Что такое коммунизм». Автобус отходил в семь, но я был готов дрожать, зато надеялся наверняка сесть в автобус как первый в очереди. К семи, однако, накопилась толпа, а в очередь выстраиваться местные пассажиры не собирались. Попытался я призвать их к порядку: «Очередь! Очередь!» Из толпы выступил пожилой, сурьезный гражданин и спокойно сказал: «Не будет очереди». И мы поперли по головам друг друга в маленький автобус, тоже дрожавший, словно от холода, потому что мотора водитель не выключал. В автобус я не сел, а был, как щепка бурным потоком, внесен толпой. Втиснулись. Поехали. Зубы у меня стучали так громко, что было слышно за гудением мотора. Тот же сурьезный гражданин взглянул на мои штиблеты не по сезону и со всей строгостью обратился к старушке, успевшей устроиться на первом сидении: «Бабка, встань! Пусть студент сядет, а ты ему на ноги садись – грей». И я добрался до Горького, хотя и в обиде, но зато в тепле.

Настаивая на своем, Кейсы собрали единомышленников – основали Ахалтекинскую Ассоциацию, небольшую когорту, готовую отстаивать в Америке историческое достоинство и современные права лошадей из Средней Азии. Что им Средняя Азия? А неважно, главное, никто раньше ничего подобного не предпринимал, а только они – пионеры!

Подобных ассоциаций, всевозможных обществ и разнообразных клубов в Соединенных Штатах видимо-невидимо. Вокруг каждой из пород сплачиваются энтузиасты, породе преданные. Хотелось мне что-нибудь узнать о «рус» – скандинавской лесной лошадке. Пожалуйста, существует Русская Ассоциация. По одному такому названию легко себе представить болезненную остроту вопроса о породе. К русам отвлекаться не

будем, но и без многих слов понятно, что сравнительно со страстями, которые тут же разыграются, если заговорить об известном с варяжских времен шведском конике, столкновение ахалтекинских и английских партий покажется всего лишь дружеским обменом мнениями. Ведь сейчас все политизируется, иначе говоря, вместо выяснения вопроса по существу, любой вопрос забалтывается в чьих-то сиюминутных интересах. В свое время нам не разрешали, мы жили под дамокловым мечом запрещений, страдали от вынужденных недомолвок и умолчаний, а теперь вроде бы свобода, от которой, однако, люди бегут, предпочитая (по Эдмунду Берку) держаться убеждений, ни на чем не основанных. С вопросом, почему конская порода «рус» не принимается во внимание при обсуждении названия нашей страны и народа, я все же обратился к известному американскому историку русского происхождения, профессору Рязановскому, а он сказал: «Обращайтесь с этим к Рыбакову». Спасибо, я уже обращался к Борису Александровичу с подобными вопросами: очень знающий человек, но знающий в том числе и как уйти от нежелательного вопроса.

Создав Ассоциацию, Кейсы собрали и конференцию. Они вызвали Татьяну Рябову, у которой международный престиж специалиста по ахалтекинцам, а также меня – Татьяне переводить, и усадили нас визави с участниками, чтобы некуда было нам деваться от вопросов тоже нелегких, как чистота породы. Если бы меня спросили, я бы сказал, что Татьяна держалась не агрессивно, но авторитетно, и от вопросов не уходила. Нас унижать и обижать участники конференции не собирались, однако хотели ясности: из стран нашего ближнего зарубежья, прежних братских республик, обретших независимость, до них дошло, будто русские изувечили ахалтекинцев и погубили породу. На самом же деле (как разъяснила Рябова, и этого не отрицал принявший участие в конференции представитель одного из среднеазиатских посольств) только благодаря двум казакам и одному русскому зоотехнику порода была спасена. Наши люди спасли среднеазиатских скакунов, поэтому независимые граждане имеют теперь возможность утверждать, что мы породу погубили, иначе и утверждать было бы нечего, ибо в их собственных руках порода погибала.

Что говорить, вопрос, как и с чистокровными, непростой. Если такой вопрос, в самом деле, ворошить и прояснять, от многих убеждений придется отказаться и со многими верованиями расстаться. В этом и трудность, ибо расстаться вынуждены будут и те, и другие, а уж что останется, то останется

как историческая истина, но кто в самом деле готов очутиться с истиной лицом к лицу?

Российская имперская колонизация Средней Азии изменила образ жизни коренных жителей – вместо верховых разбойников, живших преимущественно налетами и грабежом, туркменам и таджикам было предложено спешиться, осесть на земле и заняться созидательным трудом. Из них – кто бежал, кто послушался, и это сказалось на лошадях: от степных скакунов больше уже не требовалось мелькнуть, пленить и улететь, они стали мельчать, теряли сухость, вообще утрачивалась в них надобность, стало сокращаться их поголовье.

Каких лошадей? Ахалтекинцами они не назывались. Эти кони подходили под общее понятие аргамаков («Аргамак мой степной…» – у Лермонтова), либо назывались туркоманами, неотличимыми по названию от людей, которые на них ездили. Сейчас русским ставится в вину, что мы, если и не погубили, то загрязнили чистую кровь прилитием крови английской. На это Татьяна отвечала: «Что было, то было, однако лишь временно и частично». Но, что также есть исторический факт и о чем получившие независимость народы не желают слышать: загрязнение, имевшее место в сравнительно недавние времена, в 1920-х годах, по вине русских, по масштабам ничто рядом с угрозой вырождения на исходе девятнадцатого столетия из-за безрассудно-безхозяйственного обращения с ними местных жителей. Русские, те же самые, что, несомненно, нарушили образ жизни степняков, столь же, безусловно, спасли их лошадей. Это из тех ситуаций, что превращают историю в кошмар, то есть (по Джойсу) дурной сон, от которого нелегко очнуться. Если бывшие братские народы вправе нас упрекнуть, зачем мы вторглись в их земли (но кого нельзя упрекнуть в том же, если ни один народ, строго говоря, не живет на своей земле – все пришельцы?), то никак нельзя ставить нам в вину судьбу местных лошадей, которых местные жители чуть было не свели на нет, а мы, нарушители спокойствия, их сохранили. Таков, как говорится, фактический факт, идущий вразрез с ныне популярными ревизиями прошлого.

Константина Ивановича Горелова, который и назвал ахалтекинцев ахалтекинцами, я знал: он как начальник производственного отдела Московского ипподрома обращался в Институт мировой литературы с просьбой отпустить меня за границу то конюхом, то кучером. Опытный зоотехник, Горелов являлся противоположностью горе-руководителям, могильщикам дела. Константин Иванович находился на своем месте и занимался своим делом. Конечно, хотя и был начальником, но

начальником небольшим, ему приходилось выполнять поручения и приказания начальников больших – из могильщиков. Сколько же над ним возвышалось хоронивших его усилия – целая иерархическая лестница! Он был вынужден нести ответственность за не свое головотяпство. Та же судьба постигла двух, одного за другим, директоров ипподрома, и один застрелился, а другой безвременно скончался. Но Горелов успел и сумел привести в порядок целую породу, названную им ахалтекинской по имени оазиса, возле которого этих лошадей оказалось больше, чем где бы то ни было еще. Шел наш Горелов в поисках названия для породы естественным путем, от местности, хотя происхождение лошадей, названных им ахалтекинцами, теряется во тьме веков. Как и земля, на которой этих изумительных лошадей Горелов нашел, они не принадлежали людям, а были украдены теми людьми, что живут на этой земле как своей, и пасущихся на этой земле лошадей считают своими.

В Китае, где те же лошади, как и многое другое, стали известны еще раньше, их называли небесными. Но зародились они не в Китае. А где? Ныне кое-кто готов китайское их наименование понимать буквально, как и легенду о том, будто чудесные, неизвестно откуда на земле взявшиеся кони потеют кровью. Кровью они, понятно, не потеют, это, вроде екающей от сытости селезенки: так только кажется. Кажется из-за того, что у них тонкая кожа и близко от кожного покрова расположены кровеносные сосуды. А что до небесного происхождения, то даже такой твердо стоящий на земле человек, как Рябова, склонна тому поверить, но Татьяниного мистицизма, уважая ее экспертизу, я не разделяю. Слишком долго в цепях запретов нас держали, до того нас информационный голод заморил, что я хочу знать, обязательно знать, без малейшего замутнения рассудка верованиями. А если сегодня знать невозможно, остается ждать до тех пор, пока не станет известно. Сколько потребовалось лет, чтобы поверили в открытую еще при Шекспире систему кровообращения? Двести. Ведь и сейчас, например, об эволюции говорят, будто это всего лишь, видите ли, теория, а это уже давным-давно, по меньшей мере, сто двадцать лет, не теория, а тоже факт, пусть понимаемый по-разному, однако, неопровержимо установленный в подтверждение выдвинутой сто сорок восемь лет тому назад теории. Кто теорию отвергает и эволюцию отрицает, тот просто не знает всех и особенно новейших доказательств. Но ведь есть отрицатели эволюции даже среди ученых, не так ли? Есть неудачники в науке, вымещающие свою неудачливость и взыскующие поддержки за счет безответственного и бездоказательного разглагольствования. Вот

они со Всевышним и заигрывают, надеясь дело поправить и возыметь успех на грешной земле.

Недавно в популярном американском журнале вроде нашего «Знание – сила» (только вместо «знания» в названии следует поставить «веру»), вышла статья о том, что палеонтология лошади будто бы опровергает эволюцию: очередное «опровержение» не на уровне современных представлений об эволюции. Как ни удивительно, статья написана биологом и даже со степенью, словом, вроде бы специалистом, но это, видно, из тех специалистов, что отстали от своей революционно-развивающейся специальности. Получается, иронизирует автор, имея в виду генетическое родство, что современная лошадь произошла не от допотопного эогиппуса, а от какого-то ископаемого кролика. Что ж, хотя бы и от кролика (развитие представляется теперь неоднолинейным), но все-таки произошла – не чудом была сотворена, а уж как произошла, требует изучения и времени: геномом лошади ещё лишь начали заниматься и к выводам пока не пришли.

Некогда, на заре моей профессиональной деятельности, крупный наш учёный-биохимик удостоил меня ответом на вопрос, устарела ли формула девятнадцатого века «Смех есть окисление». Химические процессы в организме вовсе не моя область, однако, формула проникла в литературу, ею пользовался Бергсон, следом за ним – Луначарский, а я комментировал сочинения многоученого наркома, вот и обратился к авторитету, ожидая услышать безоговорочное «Устарела». А лидер нашей биохимии ответил: «Нет, в самом деле окисление, но, мы думаем, окисляется иначе, чем это представляли себе в девятнадцатом веке». Та же формула применима к любому из эпохальных открытий – строение вселенной и форма земного шара, законы классовой борьбы и процессы в подсознании, зарождение и развитие живых организмов. Великие умы, словно сказочные богатыри, выбирают дорогу, по которой последующие поколения идут – своим путем. Читаю в другом популярном журнале вроде «Знания – силы», в самом деле знания: «Понимать сегодня подсознание по Гартману и Фрейду – это все равно что полагать, будто земля – плоская». Так говорит специалист, поистине специалист, зато сам же дальше рассуждает – о чём? О том, куда нас направили Гартман и Фрейд, – о подсознании. Но рассуждает на уровне современных представлений. И земля наша вертится, как это усмотрел Галилей, хотя, возможно, вертится не совсем так, как он это себе представлял. А все-таки она вертится! «Что жизнью взято раз не может рок отнять у нас» (Гете).

Многим предрассудки в самом деле дороги. В Америке

существует и такое сообщество – по-прежнему убежденных, будто земля, как стол, плоская. Если же им сказать, что каждый свободен думать, будто земля имеет форму чемодана, но должен знать: земля – шар, они синеют от ярости и обвиняют оппонентов в отсутствии… патриотизма, ибо основа американского сознания, как выше отмечено, вера – не знание. Это вопли из подполья, отрицающие дважды-два – четыре как любую упорядоченность, потому что ни в каком порядке им места не найдется. Нам в таких воплях слышится что-то родное, у нас ведь нередко клеймилось «антисоветским» многое из того, что потом признавали просто правдой. Причем, бывало, приходилось и то, и это слышать из одних и тех же уст, ну, с перерывом в десяток-другой лет. Иные из наших убежденных атеистов, и во Всевышнего вдруг уверовали, а среди борцов за «русскую породу» встречались мне когда-то упрекавшие других в великодержавном шовинизме, но об этом, исходя из своего опыта, я напишу особо. Не пора ли перейти к Руди Шабале?

Начнем с того, что представим его. Как обычно у американских индейцев, племя, которому Руди принадлежит, имеет несколько названий. Что это, например, за мускогины, сиу, алгонкины, ирокезы и чипева? А те же самые племена, что перечислены, только под другими названиями, в «Песне о Гайавате». Названий бывает два, а то и четыре. Одно дано французскими колонизаторами, другое – английскими. Кроме того, разные племена называют или, скорее, обзывают друг друга по-своему. И, наконец, есть самоназвания. Нез-Персе – название французское, на английском оно то же самое, но произносится как Незперс и означает «проткнутые носы». Названия, идущие от индейцев-соседей, – иронически-снисходительные и просто ругательные. Соплеменников Руди соседи назвали «плоскоголовыми». А сами племена называют себя положительно, чаще всего просто – люди. Именно так, людьми, называло себя племя Руди, на их языке это звучит *минипу*. Если колонизаторы называли это племя «проткнутыми носами», а враждующие племена дали ему имя «плоскоголовых», то необходимо отметить – ни то, ни другое название внешности нашего оратора не соответствовало. Носы себе соплеменники Руди протыкали, чтобы носить кольца и прочие украшения, но у Руди ни лишних отверстий в носу, ни украшений не было. И голова у него была как голова – вполне круглая, как у людей. Прическу же он носил вроде той, что мы видим на старинных изображениях индейцев: черная длинная, завязанная в пучок, коса. На плечах – самотканое с узорами одеяло, словно строка из стихотворения американского поэта Филипа Френо, читанного нами во студенчестве: делал я

подстрочник, а Василий Ливанов – поэтический перевод: «И на плечах он нес в узорах одеяло». Такое одеяло я и увидел на плечах очередного оратора.

Когда Руди предоставили слово, он повел речь совсем как Гитчи-Манито из «Песни о Гайавате» в переводе Бунина, сделанном по подстрочнику Бальмонта.

Помиритесь же, о дети, будьте братьями друг другу…

Племя Нез-Персе выделялось среди других индейских племен тем, что они действительно стремились ни с кем не враждовать, в том числе и с пришельцами-колонизаторами. Но те же «проткнутые носы» или «плоскоголовые» минипу оказали колонизаторам наиболее упорное, героическое сопротивление, Их вынудило к борьбе постоянное нарушение договоров о дружбе и сотрудничестве. Договоры заключались и некоторое время спустя нарушались – белыми поселенцами. Не могли не нарушаться, потому что поселенцев становилось все больше и нуждались они в расширении жизненного пространства. Дело улаживалось новым договором. Каждый новый договор менял в пользу белых прежние условия сосуществования и – следовало очередной нарушение, за ним – ещё один договор. Так продолжалось до тех пор, пока нез-персеев не попросили вовсе убраться с их исконных угодий: в их земле обнаружили золото. Зачем краснокожим дикарям презренный металл? Ни к чему. Лежал желтый песок в их земле веками, и они не удосужились его выкопать, чтобы пустить в дело. Однако под предводительством умного и доблестного вождя, нез-персеи сумели одержать над правительственными войсками несколько побед настолько внушительных, с таким стратегическим умением они этих побед добились, что начальники отступивших воинских частей прямо по-рыцарски выразили восхищение своими противниками. Но силы были неравные. Гордый и несгибаемый вождь не сказал «Сдаюсь». Понимая безнадежность положения, он сказал: «Хватит воевать». Федеральные силы на это в очередной раз вроде бы согласились. Однако воины-рыцари, восторгавшиеся доблестью противника, с беспредельной жестокостью обратились против еще одной особенности нез-персеев – их привязанности к своим лошадям.

На североамериканском континенте лошади расплодились в два приема. Оттуда лошади пошли, там исчезли и снова туда же пришли. Конеподобный эквус в Америке возник за три миллиона лет до нашего времени и в ту же доисторическую эпоху эта животная особь выродилась. Лошадиные кости вперемешку с

человеческими, а также с останками других травоядных животных, находят в Америке повсюду. За лошадьми, верблюдами и бизонами, видно, охотились, но не приручали, а куда десять тысяч лет тому назад они подевались, никто из археологов сказать не решается. Затем уже в шестнадцатом веке лошади оказались завезены завоевателями-колонизаторами, в первую очередь – конкистадорами-испанцами. Доставляя коней в Новый Свет, испанцы думали прежде всего о себе, о своих нуждах. Королевским приказом им было предписано завозить коней за океан, причем хороших – на племя. Утвердившись на «открытом» континенте, новые хозяева были, однако, не против, чтобы и местные жители занялись чем-нибудь еще, кроме охоты, хотя бы разведением лошадей. Но к этому времени всякая память о первобытных лошадях у аборигенов выветрилась.

Не было в Америке и диких лошадей вроде лошади Пржевальского, польского коника и русской, то есть лесной, шведской лошадки. Были и есть одичавшие лошади – мустанги, потомки тех, что привезли испанцы, иные из этих лошадей либо сбежали, либо оказались брошены. Теперь мустанги, называемые «дикими», льнут к людям и цивилизации. В городе Рино, штат Невада, стоят у почты. Что им за надобность? Тень – есть где укрыться от палящей жары, а людей они не дичатся. Люди даже могут, пожалуй, подумать, что мустанги их любят, тянутся к людям, а мустанги ищут тени.

«Безрогих оленей» или «большущих собак» американские индейцы разглядывали словно невидаль и побаивались. Осмелели, освоились, научились с ними обращаться и превзошли в искусстве верховой езды своих невольных учителей: без седла и часто даже без уздечки, индеец сросся с лошадью, получился своего рода настоящий кентавр – это в «Прерии» запечатлел Купер и в «Почтовом дилижансе» показал Джон Форд. А нез-персеи показали себя не только искусными наездниками, но и отличными зоотехниками. Среди индейских племен нез-персеи считались лучшими коневодами. Поэтому чтобы уж окончательно и навсегда сломить их дух, правительственные войска их окружили, построили, и у пленных воинов на глазах расстреляли всех их лошадей до единой. Массовой бойней дело не ограничилось. «Лошадей нез-персеев уничтожили» – это вы найдете коротко и прямо, без комментариев, сказанным в роскошно изданных справочниках по североамериканским конским породам. Лошадей племени Нез-Персе уничтожали всюду, где только могли их найти, в особенности убивали или же холостили жеребцов, чтобы не было потомства. Словом, искореняли.

О чем, словно сказитель, напевно и неторопливо повествовал Руди, все это сто с лишком лет тому назад прямо по следам событий на основании документов и надежных свидетельств было изложено государственным ревизором. Ревизор оказался честной и смелой дамой. Посланная расследовать, как было дело, эта правдоискательница, прибыв на место действия, до всего дозналась и тщательно изложила результаты своих разоблачений не только в отношении лошадей. Книга её с красноречивым названием «Время позора» – это своего рода американский «Архипелаг ГУЛАГ». Вывод, сделанный в разоблачительной книге, гласил: «Поселенцы нарушили все без исключения договоры и поступали так только поселенцы». Читателей разоблачения потрясли, всем стало стыдно – когда все уже было кончено.

Горестной эпопеи, называемой «перемещением нез-персеев», мы не охватим, этого сейчас нам делать и не требуется. Важно, что хотел сказать Руди Шабала, а сказал он в итоге: «Нез-персеи сейчас воскрешают своих лошадей». И надеются, добавил он, что это удастся сделать, используя ахалтекинцев как племенной материал. Почему именно ахалтекинцев? Уничтоженная порода называлась апалуза, что означает «с реки Палузы», на берегах которой нез-персеи занимались коневодством. Отличительная черта породы – масть, пестрая, у нас таких лошадей называют чубарыми. Отметины бывали разной формы, иногда – пятна, словно по рубашке прошлись большой малярной кистью, а то полосы, или разноцветный покров, будто накинутый на круп красочный ковер, самой природой надетый чепрак. Ахалтекинцам, понятно, такие узоры не свойственны, но если ахалтекинец буланой или соловой масти, то мы знаем, шерсть у него отливает золотым металлическим блеском. Бывало, у Кейсов после проездки, вымоешь жеребца, и чтобы высушить, выведешь из конюшни, а некоторое время спустя подсохшая шерсть начинает под солнцем играть таким золотым блеском, что легко поверить в легенды о неземном происхождении этих коней. Нез-Персеи полагают, что именно таковы были их лошади, и хотят, приливая кровь ахалтекинцев, восстановить этот блеск.

Соплеменникам Руди известно, откуда есть пошла их порода – от испанских жеребцов. Испанские же кони – сейчас говорят «андалузы» – есть помесь, полученная вместе с мавританским нашествием от жеребцов из Северной Африки, то есть от барбов. Одним из барбов, судя по всему, оказался и жеребец, попавший на племенную конюшню Лорда Годольфина, где его так и называли то арабом, то барбом, но в дальнейшем за ним установилась репутация араба, хотя арабы и барбы – породы разные, однако теперь уже этого различия англичане

предпочитают, выражаясь слогом шекспировским, не рассматривать слишком пристально. (Это лишний раз подтверждает, насколько правы были мои университетские профессора, старавшиеся легкими намеками вбить мне в голову: лошади – увлечение небезобидное, имеет оно классовый и политический оттенок).

Арабы, барбы, как и ахалтекинцы, все это лошади пустынь и степей, по-американски – прерий, где и процветала апалуза. Ахалтекинцы вроде бы ближе всех напоминают погубленную породу, хотя Руди Шабала был осторожен. Ведь среди его соплеменников есть и такие, кто считает, что восстанавливать апалузу и не нужно. Не нужно, чтобы не растравлять ран. И кроме того, невозможно. Нам в самом деле нетрудно понять чувства и намерения племени Нез-Персе. Сколько у нас лошадей утратило изначальный тип и даже погибло! Восстановленное, это все равно будет не то, как о наших утраченных и ныне тоже воскрешаемых орлово-растопчинцах судил занятый посильным восполнением утраченного профессор коневодства Борис Камбегов.

Мой последний, перед его болезнью, телефонный разговор с Борисом был именно об этом – о возможности вернуть утраченное. На меня тогда наседали заокеанские «спасатели русской породы», прося лишь подтвердить, что такая порода существует и должна быть спасена. Они даже клялись именем Елены Петушковой, которая будто бы была на их стороне и даже вроде бы утверждала, что к этой породе принадлежит ее Пепел. Но не могла же олимпийская чемпионка ошибиться в породе собственной лошади! Прославленный Пепел – тракен, что известно всему миру; это у другого нашего олимпийского чемпиона Кизимова был Ихор, конь породы украинской, которую иногда называли русской. Тут либо какая-то путаница, либо… Однако, письменных подтверждений столь авторитетной поддержки «спасатели» показать не могли, но – наседали. И я позвонил Камбегову, который сменил профессора Витта в качестве завкафедрой коневодства. В памяти у меня так и звучит его голос. Это была речь знатока-специалиста, ученого, которому негоже впадать в раж и выражать безудержный восторг, короче говоря, не подобает принимать желаемое за действительное. Вроде Руди, Борис высказывал свое мнение сдержанно, старательно подбирая слова. Доктор наук, конник потомственный, сын старого Джамбота-тренера, Борис посвятил себя восстановлению орлово-растопчинцев, однако, лошадей, с которыми под его руководством занимались селекционной работой, тем же старинным именем называть избегал. Очевидно, он сознавал, что это все-таки не то, что *было*. «Русская порода»

служила ему условно-приблизительным, рабочим обозначением на данный момент достигнутого. Думаю, что принципиальность и была одной из причин, почему перестроечной перетряски Борис не перенес без болезненных последствий. Ведь тогда, как в любимом чеховском рассказе моего учителя верховой езды Лилова, вопрос так и ставился: «Соври я раз в жизни, и у меня – миллион». Начавшуюся при совершенно новых условиях борьбу за существование, не вступая в сделку с собственной совестью, выдерживали такие, как Рябова – двужильные. Либо оставалось припуститься, задрав штаны, за нашим нарождающимся капитализмом. Либо, вроде меня, дать тягу, а сколько моих сверстников полегло!

Всякий ренессанс – не в самом деле возрождение. Это – использование старого наследия. Использование – преобразование. Не говоря о том, что преобразование является кровавой мясорубкой. «Величайшей революцией», – напоминал Энгельс. Маркс добавлял: «Вписанной в историю человечества языком меча и огня». Уж это нам прямо, без намеков, вдалбливали профессора, а мы их слушать не хотели, думая, что мы, как Петрарка, гуманисты, поскольку, не желая и упоминать классовую борьбу, рассуждаем о человеческих ценностях вообще, показывая властям фигу уже даже из кармана. Но подними сейчас древних греков – они бы своих статуй, которые мы называем греческой классикой, не узнали. Ведь они те же скульптуры раскрашивали и украшали, а это у нас считается варварством. Нет, вероятно, все-таки узнали бы, присмотревшись, а затем бы отвернулись: не то!

Нужен возраст, чтобы это испытать и понять. Мое поколение смотрит фильмы о *нашем времени*, например, о войне, и даже самые хорошие фильмы как фильмы, на наш взгляд – это совсем, совсем не то, от манер и причесок до общей атмосферы – что-то другое. И консервативная критика, которой я в свое время начитался, упрекала Толстого в том, что «Война и мир» не передает дух двенадцатого года. Восхищаясь романом как произведением искусства, эта критика, однако, оставалась при своем мнении – не то. Против Толстого выступил участник Бородинской битвы, друг Пушкина, князь Вяземский – под ним в бою пали две лошади. И он настаивал на том, что большей неправды о его времени, чем «Война и мир», представить себе невозможно. Когда же ему сказали, что Толстой в своем описании Бородина опирался на его, Вяземского, воспоминания, князь-ветеран все равно отказался сам себя узнать в толстовском изображении. Такие парадоксы понятны: масса черт, заметных только современнику, от взгляда из другого времени ускользает.

Так и возрожденная апалуза будет новой породой, похожей на прежнюю, и все-таки другой.

Когда Руди Шабала закончил свою речь, которая, надо признаться, нас даже несколько утомила обилием красок и сведений, мы все затихли и некоторое время сидели в молчанье, чувствуя, что присутствуем при моменте историческом.

На последней прямой

«Мы – Красная кавалерия, и про нас…»

Нарком на бегах

«Укатали Сивку крутые горки…»

Из статей Луначарского

«Раз уж ты происходишь из интеллигентной семьи, то должен знать, что такое вежливость. Иди и как следует попроси у нее материалы, которые мы все никак не можем достать». Такое задание в самом начале своей научной карьеры получил я от Главного редактора Собрания сочинений Луначарского. Институт мировой литературы выпускал академические издания Герцена, Маяковского, Горького; дошло и до Наркома Просвещения – восемь томов. А лекций, читанных Луначарским в Институте Красной профессуры, у нас не хватало. Вечером того же дня в разговоре с отцом я упомянул, что завтра, как мне было велено, я отправляюсь к Луначарской. «А мы с ней вместе учились», – говорит отец. Что может быть лучше? Вежливость вежливостью, а тут еще и личный контакт. Как только мне дверь откроют, так я сразу и… В самом деле, что может подействовать убедительнее?

На другой день, напевая «На Лу-уначарской у-улице…», шагал я в наилучшем настроении по этой самой улице. Песню эту из комедии «Клоп» Маяковского я помнил, однако не понимал, зачем Маяковскому понадобилось, чтобы человечий «клоп», расчувствовавшись, вспомнил напев про некий «старый дом». Оказывается там, в Глазовском переулке, переименованном в улицу Луначарского, еще с двадцатых годов девятнадцатого века находилось заведение сомнительного свойства, и на фронтоне его красовались барельефы знаменитых завсегдатаев, в том числе, писателей. Пел я песню, а про себя повторял, репетируя: «А вы учились с моим отцом». Подхожу к дому с мемориальной доской, удостоверяющей, что здесь квартировал Нарком (сюда являлись к нему бесконечные просители), вхожу, поднимаюсь на лифте на самый верхний этаж, звоню и еще прежде, чем успеваю рассмотреть, кто передо мной, со счастливой улыбкой на лице выпаливаю: «А вы учились с моим отцом». В ответ раздается чуть ли не сбивающий меня с ног словесный смерч: «Как вы смеете?! Как только повернулся у вас язык? Вы на себя посмотрите!» И дверь захлопывается. На себя в ту минуту я посмотреть не мог, но, как бы очнувшись от грез наяву, успел заметить, что дверь открывала молодая женщина, которая не годилась в соученицы моему отцу, годилась бы в старшие сестры сыну этого отца, почему и было мне предложено, опомнившись, оценить ситуацию

в меру моего собственного возраста.

«А мы-то думали, интеллигентный человек сумеет найти подход, выберет нужные слова», – горестно вздохнул Главный редактор, а затем, изменив тон, добавил: «Иди опять и без материалов не возвращайся!»

Поднимаюсь на лифте. Звоню. Дверь отворяется и снова залп: «С теткой моей ваш отец учился. С теткой!» – «Входите!»

Только я вошел, и остановился: слева была открыта дверь в домашний кабинет Наркома, в кабинете, как положено, письменный стол, а на столе… Что могло лежать на столе человека, возглавлявшего строительство нашей социалистической культуры? Какие бумаги и книги должны бы громоздиться в рабочей комнате энциклопедиста-коммуниста? А я увидел Улова, Семичова Николая Романыча, Пилота с Родзевичем, и еще немало лиц и фигур, знакомых мне не по литературе, а по ипподрому. Стол был завален беговыми программами.

«Что же вы остановились?», – спросила еще не остывшая хозяйка.

«Это, – отвечаю, – Улов… А с ним Николай Романыч».

«Какой еще Николай Романыч?», – говорит она, полагая, что от невежды, состарившего ее лет на двадцать, всего можно ожидать.

Стал я объяснять, кто такой Николай Романыч и что значит Улов, и Пилот – рекордист, и Гильдеец – родоначальник, едет Стасенко…

«Раз уж вы знаете, кто это такие, можете этот хлам взять», – говорит хозяйка тоном помягче.

Винить ли мне себя, что этому предложению я не последовал? Внял я голосу опыта, а опыт учит: две шкуры драть нельзя. Позарился бы я на программы, а потом еще и лекции стал просить? И провалилась бы окончательно моя миссия! Напротив, я постарался убедить Ирину Анатольевну, что этому «хламу» цены нет, что она должна «хлам» хранить как сокровище, тем более что программы воскресные, к тому же по большим призовым дням (это сразу было видно) – сколько в них бесценных сведений! Так это сокровище там и осталось. Зато лекции я получил, хотя репутации отпрыска интеллигентной семьи восстановить у своего начальства уже не смог.

Программ не получил – потеря, но у каждого из нас обстоятельства случайные и предметы, казалось бы, незначительные прокладывают дорогу к большим проблемам, позволяя судить о них, как говорил Пушкин, «домашним образом». О чем говорил заваленный беговыми программами стол Наркома? Стол запечатлелся у меня в памяти, и словно сквозь

сетку, как через транспарант, видится мне фоном за этими программами наша история: *новым* барам хотелось пожить как в *старое* время, пусть только по выходным дням. А прочие – что, оставались незаинтересованными наблюдателями их горячих увлечений?

* * *

> «Мы оба смотрели на мир, как на луг в мае, как на луг, по которому ходят женщины и кони».
>
> *Исаак Бабель, «История одной лошади».*

Знаю этот луг, и женщин, и коней… Луг был мне известен – я по нему галопировал. А наездники даже называли, нет, не клички лошадей – бродивших там женщин, а также их «рогатых» мужей. Вот и подумайте, что за чувства могли испытывать мужья, узнав о том, что наставивший им рога писатель оказался врагом народа. «У нас была сладкая жизнь», – пишет вдова Бабеля, который не успел вернуть взятую им у наездника Щельцына книгу, оказался арестован, и наездник вскоре попал в лагерь, откуда вышел как раз к тому моменту, когда я попал на призовую конюшню.

За что Бабеля взяли? Приговор, понятно, фабрикация. А по сути скажите, что, только ему одному полагалось «семь квартир» (писатель сам посчитал), две жены, одна за другой поездки за рубеж, не говоря уже о разъездах по всему Союзу, куда только будет душе угодно – в Крым, на Кавказ, словом, в самом деле сладкая по нашим понятиям жизнь? Знал я наездников, знавших Бабеля. Они с ним не на бегах, а в погоне за одними и теми же нимфами, из актрис, соперничали, поэтому представляю, что за роль в его судьбе сыграла страсть Соломонова, что это был за бабелевский роскошный луг, как в «Конармии» говорится, где бродили кони и женщины. Был я знаком и с тем человеком, из кулис конного мира, который водил Бабеля на бега, тот вовлекся в игру, и, по мнению Василия Гроссмана, переданному надежным мемуаристом Семеном Липкиным, это оказалось одним из обстоятельств, в которых писатель запутался и погиб.

Не один Бабель стал жертвой тех же увлечений. Не мораль я читаю, а лишь напоминаю: что такое для нас «игрок», сколько у нас среди писателей было игроков и как они закончили? Величайший из них в карты доигрался до того, что, когда умер, похоронить оказалось не на что. А другой великий, проигрывая все до копейки в рулетку, нищался до того, что проматывал женино белье. Петр Ширяев, автор замечательного, классического

в своем роде, «Внука Тальони», жену проиграл, а потом выиграл – другую. Он, рассказывали, бился об заклад по любому поводу: какая капля с потолка раньше упадет и какая муха на стене раньше улетит, уж не говоря, что беспрестанно и безудержно играл на бегах. А ведь известно, среди тотошников есть такие, что в первом же заезде куш возьмут, а после этого начинают так куролесить, так рисковать, что к концу бегового дня на трамвай не остается. Среди них же есть свои поэты-идеалисты, романтики. В двенадцатом троллейбусе, которым я, если не шел пешком, обычно добирался с ипподрома до Пушкинской площади, как-то уселись двое прямо передо мной. С чирканными-перечирканными программами в руках. «Нет, – один другому говорит, – так нельзя! Ничего не достигнешь без упорного труда и больших знаний! Надо работать, изучать!» Это говорил он о том, что мало времени провели они на ипподроме еще до призов и только поэтому в результате проигрались. А еще один признавался: «Всю жизнь на бегах, всю жизнь играю, а знакомства ни с одним наездником не удостоился». Но есть там же и другого рода игроки… Наши бабелисты не хотят об этом и слышать, а между тем на бегах если играют, то не в игрушки.

Непричастность к азартной игре была для меня условием круглосуточного доступа в святая святых, на призовую конюшню. Об этом, кому надо, знали, и однажды попал я в «малину», где при мне обсуждались закулисные секреты, а кто-то из не знавших меня всполошился: «Что же это мы при нём-то? Начальству донесет!» – «Не играет», – успокоили человека. Побежавшие у меня тогда по спине мурашки обозначили роковую границу. Меня мафия не тронула, зная «Не играет». Играет – не играет – это все равно, как пьет и не пьет, курит – не курит, здоров или болен – черта, разделяющая разного рода людей. Взявший с меня обещание не быть замешанным в игре застрелился – оказался замешан во всем, в чем только у нас мог быть замешан крупный начальник. И не забыть мне лица выдающегося мастера Петра Васильевича Гречкина на другой день после того, как он осмелился не выполнить взятого на себя обязательства – проиграть, наездничье сердце не выдержало, и он – выиграл. Обратился ли он в милицию с лицом, обращенным в красно-синее месиво? Нет, просил передать тем, кто «проучил» его, чтобы некоторое время в трибунах не показывались: лица-то не спрячешь, вот и будут искать, будут допытываться, кто же все-таки это сделал. Особенно усердствовать в поисках быть может и не станут, но так – для вида, поэтому надо обождать, не засвечиваться. Так и просил – при мне – передать увечившим его.

Манихейское, бело-черное представление, будто в нашей

недавней истории чистые боролись с нечистыми, нарушалось всяким соприкосновением со свидетелями истории. «Он же почти не нюхал пороха!», – не веря своим ушам, услышал я от однополчанина маршала Тухачевского, точнее, его сокурсника по военной академии еще до Первой Мировой войны. Возглас, выражавший сокровенное знание, шепотом как бы выкрикнул офицер дореволюционной выучки; вытесненный в 1920-х годах из Красной армии, вынужденный сделаться художником, он стал графиком особого жанра – рисовал… деньги. Познакомил меня с ним сослуживец отца, знавший о моих *иппических* интересах. «Бегите скорее, – говорит, – его отец – призовой наездник ездил на Холстомере». Чтобы в самом деле, ездить на рысаке, послужившем моделью для «несравненного пегого мерина», надо было быть по меньше мере двухсот лет от роду, но во всякой легенде есть крупица истины и – я побежал. Прибегаю – ездил старик Петровский на одном из многочисленных Холстомеров, названных в честь «героя» толстовской повести. Но зато сын озадачил меня своим критическим замечанием о легендарном красном полководце, которого уже начали оплакивать как величайшую потерю для наших вооруженных сил.

«Все было не так, как это теперь наскоро изображают», – вот что имели в виду осведомленные современники. О Бабеле, дружившие с ним актер Борис Ливанов и скульптор Илья Слоним, говорили… Суть того, что они говорили, заключается в следующем: автора «Конармии» погубила среда, органической частью которой он стал. И судили так не враги – близкие друзья. Среда эта, составившая новую элиту, складывалась из людей и пополнялась людьми, постепенно получавшими доступ к благам жизни. А поскольку у нас всегда всего всем не хватало, шел отбор: сегодня ты, а завтра – я, пусть неудачник плачет. Прежде чем быть поставленным к стенке, писатель сам брал других на мушку. Получив за счет своих связей в ЧК и ГПУ доступ, ходил смотреть расстрелы тех, кто (он знал) были ни в чем не виновны. Приходило ли ему в голову, что вопрос заключался лишь в очередности? Американский поклонник Бабеля, библиофил, которому я передал книгу «Мыслящие лошади», вполне возможно, побывавшую у Бабеля в руках перед арестом, возразил: «Это он искал вдохновения». Но каков источник поисков? Экспериментировал над собой и другими людьми, и поплатился.

Милые, приятные во всех отношениях, безобидные, никому зла не желавшие, люди, сама деликатность, пали жертвой страшной несправедливости, – с поправок к этому представлению начиналось наше прозрение. Чем дальше идет время и чем больше узнаем мы, что же произошло, картина, меняясь,

принимает, примерно, такой вид: успевшие ухватить что только было можно от новой жизни и в той же жизни запутавшиеся, погрязшие в скверне ее, в сущности ставшие человеческими чудовищами оказались уничтожены нечеловеческими чудовищами… Наш ренессанс, похожий на всякий ренессанс. Итальянцы возрождали античность, мы – времена Ивана Грозного и Петра Первого.

«Вон на том диванчике Изя, приходя после своих похождений, у меня отлеживался», – сказал Илья Львович Слоним, движением головы указывая на старую кожаную кушетку в глубине комнаты и желая ссылкой на бытовую деталь подчеркнуть, что до мелочей знает, о чем говорит. А я, глядя на безмолвного свидетеля тех кровавых времен, тогда еще не знал, что и думать, на чью сторону становиться.

* * *

«И, конечно, на бега».

М. Булгаков, «Дни нашей жизни»

Неудовольствие Елены Сергеевны Булгаковой вызвал я попавшим в печать рассуждением, из которого следовало, что муж её как драматург был создан Художественным театром. Пьесы в том виде, как он их представлял, для сцены не годились. Не будь актеров и режиссеров, приспособивших его инсценировки к подмосткам, не было бы ни «Дней Турбиных», ни «Мертвых душ».

«Кто это ещё такой? Что же это за фамилия такая?» – рассказывали слышавшие, как Е. С. возмущалась, читая без точки «Дурнов».

В силу знаменательного совпадения тогда же вызвал меня директор ипподрома помочь ему в разговоре с приехавшим из Англии коневодом. А жена того хорсбридера, вместе с ним приехавшая, оказалась литературоведом, и не только литературоведом, а руссисткой и даже специалисткой по Булгакову. Прибыл я в назначенное время на бега. Смотрим заезды. В перерыве обмениваемся мнениями о литературе. Слово за словом, мы с ней сцепились. Услыхав от меня, что в первозданном их виде булгаковские пьесы несценичны, британская булгакововедка со стальным блеском во взоре отрезала: «Они очень сценичны». Отвернулась к дорожке, и больше мы с ней не разговаривали. «Она у меня упрямая», как бы извинился муж.

Семейные литературные и политические дискуссии, доходившие чуть не до драки, слышал я вокруг себя с детских лет, так и рос в традициях славянского спора – до изнеможения, поэтому довольно долго, с младых ногтей, не понимал, как можно отказываться обсуждать, отстаивая свою точку зрения. Но одно дело спорить кантиански-незаинтересованно, во имя истины, как я привык, сражаясь с дедом и отцом, а другое, если затрагивается интерес практический. Учёная английская дама, серьезная и старательная, присяжный литературовед, нашла себе пока что не заезженную тему, трудится, структуры и символы выявляет с намерением показать, насколько же всё это искусно и многозначительно, а ей предлагают поставить под вопрос её усилия и, значит, вместе с ними всю её работу.

Настрадавшаяся вдова, верная спутница писателя, произведений которого не печатали и пьес не ставили, только-только вздохнула с облегчением и радостью: для покойного мужа, которого зажимали, начинался своего рода ренессанс, и вдруг выскакивает какой-то шпиндель, к тому же с фамилией двусмысленно-неблагозвучной, и нате вам, пожалуйста, всё сначала начинай: Булгаков, видите ли, слабый драматург! Долго Булгакова для нас как бы и не было, постановку «Дней Турбиных» ещё не возобновили, пьесу всё же издали, небольшим тиражом, – тогда даже читающие люди недоумевали, кто это такой. Вот писатель воскрес, пошли по театрам «Дни Турбиных», экранизируется «Бег», ставится «Мольер», все повально зачитываются «Театральным романом», «Белой гвардией», а также «Мастером и Маргаритой», так нужно ли ворошить сомнения, достаточно ли он сценичен? Чего доброго, поднимут головы ископаемые рептилии, каких наконец-то заставили замолчать и уползти в щель, а они, заслышав за рощей будто бы им знакомый глас, опять выползут и зашипят: «Мы же говорили – не наш драматург, не надо его вовсе ставить, не надо и печатать».

Слов нет, самооборона нужна, иначе загрызут. Но ведь у меня была речь не о том, наш или не наш (разумеется, не наш в своей политической ориентации, но этого вопроса я и не затрагивал). Меня, как обычно, интересовали границы творчества – шаг в сторону, и готов, уже не талантливо. Но когда Булгакова травили за «Дни Турбиных», никто в несценичности его не упрекал. Доработанная театром авторская инсценировка «Белой гвардии» предстала перед публикой не только сценичной, она оказалась, с чьей-то точки зрения, слишком сценичной. Такой её сделал Художественный театр, благодаря исполнителям, вступившим в сотворчество с недостаточно понимавшим законы сцены автором. Со сцены битком набитого театра «Дни Турбиных» сильно

воздействовали на зрителя, размягчая сердца вместо того, чтобы ожесточать, поэтому считались вредными и даже опасными. Возьмите отклик Луначарского: отлично сделанная пьеса и постановка прекрасная, тем хуже, потому что *не наша.*

Между тем в театре на репетициях шла другая борьба – творческая. Станиславский извлекал уроки из успеха «Дней Турбиных». Тот Станиславский, что, топая ногами, выгнал собственного сына даже из массовки, тот Станиславский, что на жену-ведущую актрису во время репетиций орал так, что театральные пожарные дрожали, он прославленных «мхатовских» стариков начал прижимать, а себя самого из актёров списал, как только почувствовал, что он уже не тот актёр. Этот самый Станиславский своими требованиями, исключительно творческими, и Булгакова довёл до сознания драматической несостоятельности и – до раздражения. Намеки на «Дней Турбиных» в «Театральном романе» – своего рода месть. Булгаков чувствовал себя уязвленным успехом своей же пьесы, которую не совсем он написал так, как оказалась она поставлена, чтобы иметь невероятный успех.

Судить о писателе (считал, как известно, Чехов) нужно прежде всего по языку. В отличие от чеховских советов, которые давал он другим, а сам не следовал своим советам, это мнение без изворота и лукавства, возможно, потому что указанному признаку Чехов безусловно соответствовал: писал, как птицы или же выдающиеся певцы поют. А вот изысканный стилист Бунин, согласно Чехову, писал напряжённой рукой: из тех писателей, что стараются доказать, насколько они владеют языком. а они и не владеют, у них – одна вычура. Даже третьестепенный поэт Скиталец, по Чехову, литературный «воробей», был живой – чирикал своим естественным голосом. Был «голос» дан и Булгакову. Из русских писателей, с Пушкина и Лермонтова начиная, Тургенев, Островский, в публицистке Константин Леонтьев, под конец, Чехов, а затем Булгаков обладали магической словесной способностью. Толстой же говорил, что когда он читает тургеневские описания, ему начинает казаться, будто у него самого нет таланта. У Булгакова был язык, и какой! Перечисление, только перечисление, просителей у администратора в «Театральном романе» – это, по-моему, словесное чудо вроде циркового иллюзиона. И тут же маловыразительный разговор того же администратора с некоей дамой и её капризным мальчишкой. Перечисление лиц, в том числе, Якова Иваныча (то есть коннозаводчика Бутовича, известного всей Москве), создает картину. Люди, представленные в разговоре, безлики и не видны. Не было у Булгакова

способности создавать тех толстовских «петушков», что стоят на своих ногах. «Петушками» Толстой называл бумажные фигурки, которые он мастерил для своих детей. «А вот ещё петушок!» – говорил он работая над «Холстомером», это, вероятно, когда старый мерин тяжело вздыхал или махал хвостом – словесно созданное живое существо. Автор «Театрального романа» прекрасен как пересмешник, когда вышивает по чужой канве, и если, как в «Новых похождениях Чичикова», вы знаете оригинал, то его вторичные персонажи получаются выразительно. А собственно булгаковские герои запоминаются лишь отдельными словечками и черточками, не более. Уж не говоря о том, что «Мастер и Маргарита» роман подражательно-вторичный, от забвения спасенный запрещением: восхищавшие этим романом не читали (в то время) Волынского и Мережковского, которым Булгаков подражал, а теология и философия в его романе – для старшего школьного возраста.

Разве своей обделённости талантливый писатель не сознавал? Такова, вне литературной свары, истинная проблема Булгакова, такого писателя, как Булгаков, невероятно одаренного в одном и решительно не способного в другом, а ему хотелось быть тем и другим, полноценным писателем. Выход, им найденный, был провокационным, он вызвал на себя огонь политический, обрушил на свою голову государственную махину, раздавленный под ней погиб, как Пушкин. Пушкинский пример был у Булгакова на уме, косвенно признано в «Мастере и Маргарите». Булгаков воскрес, как феникс, воскрес, и тут уже, по Симмонсу,[23] как всякий нами же созданный мученик, сделался неприкасаемым.

В который раз лошади меня вывезли. Простила меня Елена Сергеевна, обидевшаяся на меня за мужа, простила и престарелая поэтесса Надежда Александровна Павлович, отлучившая меня от дома за оскорбление её друга – Александра Блока: полумертвец по-моему. Они, находясь вместе в доме творчества, услышали по «Голосу Канады» интервью Ливена со мной, он спрашивал, а я отвечал, рассказывая, как наша тройка пересекала океан. На мою удачу, было это в Прощёный день. «Уж Бог с ним, простим ему обиды и оскорбления», – решили набожные старушки. (Кто рассказал мне про обиду вдовы Булгакова, те и сняли с души моей камень.)

Лошади едят овес

«Коня! Коня! Корону – за коня!»

«Ричард III»

Существуя на границе двух между собой не соприкасавшихся миров – литературного и лошадиного, в том и другом мире сталкивался я с тем, что запечатлено в яшинском рассказе «Рычаги»: люди с головой поставлены в положение безмозглых. Кое-кого из занимавших достаточно высокое место в нашей системе я встречал, даже знал, причём, довольно хорошо, а с годами узнавал ещё больше ответственных работников, облечённых властью, попадались среди них неумные и невежественные люди (где таких нет?), но больше было таких, которые точно в насмешку над собой изображали каррикатуру на самих себя: рассуждали и действовали против для них же очевидных требований здравого смысла. Почему (согласно грибоедовскому определению) «умный наш народ» то и дело оказывается глупее, чем есть на самом деле?

Приезжали наши специалисты закупать скот у Сайруса Итона, и ковбой, который фермой железнодорожного магната управлял, просил меня объяснить нечто для него непостижимое. Папа Сайрус велел ему отобрать самых лучших молодых бычков, а наши представители, с безумной, на взгляд американца, последовательностью старались взять худших. Худших так худших – что кому требуется, но при этом они утверждали, что выбирают лучших! Своим нелепым выбором, вопреки его рекомендациям, они ставили знатока из знатоков, чемпиона на выставках скота, в положение проходимца, который пытался им подсунуть гнилой товар, делая это из подлости, а ещё хуже – в силу своей некомпетентности. «Что они, чокнутые?», – спрашивал озадаченный американец. Мой ответ заключался в признании, что объяснить ему это очень трудно и даже невозможно, потому что он у нас не бывал. А те самые представители, вернувшись в Москву, позвонили мне и задали свой вопрос, причём, в трубке звучал голос несомненно здравомыслящего человека: «Он, этот ваш ковбой у Итона, сумасшедший что ли?». Безумцем показался он потому, что их непостижимое для него поведение вызывало у него припадки отчаяния и возмущения: он боялся уронить свой престиж в глазах поручившего ему серьезное дело хозяина, ведь ему же было приказано: «Отбери лучших». А проблема заключалась в том, о чём я как лояльный советский гражданин

даже другу, однако иностранцу, сказать не мог. В очередной раз наши специалисты старались вычислить квадратуру круга. Требовалось *в политических целях* приобрести у симпатизирующего нам капиталиста бычков, не имея на это достаточных средств: шортгорны, которых с помощью знатока-ковбоя Трумена Кингсли разводил Итон, были породны и дороги, а продешевить папа Сайрус, при всех симпатиях, тоже не хотел. Вот и отбирали худших, чтобы, вернувшись, доложить, что лучшего им не предлагали.

Когда шла тяжба о бычках, меня, к счастью, там не было, но переговоры в том же духе я не раз переводил между конниками, оказываясь свидетелем всё того же конандрума – головоломной ситуации. Чтобы выйти на международную арену, нам требовалось освежить породу наших скакунов. Высокая конская кровь циркулирует по планете, искусство коневодства и секрет успеха на дорожке ипподрома заключается в умении сочетать породные линии, иногда друг от друга далекие, а подчас, напротив, близкие и даже родственные: инбридинг и кроссинг. Страшное и одновременно справедливое мнение знатока услышал я на Северном Кавказе: оплакивать конское поголовье погибшее во время войны нечего, разводить этих лошадей означало только множить посредственность: за годы оторванности от международного лошадиного мира кровь замкнулась. Короче, нужно прилить кровь производителей таких, какие были завезены в Россию ещё до революции. Тогда закупил их в Англии нефтяной король Манташев, у которого в Баку шла добыча черного золота, а в Москве на Скаковой стойла для лошадей делались из мрамора. Как приобрести жеребцов такого же класса, если класс на современной мировой конской ярмарке это даже не миллион, а миллионы? Кто даст такие деньги? В то же время и на международную арену выйти надо, просто требовалось и всё. Коневоды и покупали что подешевле вопреки своему собственному пониманию породы и советам американцев, а те, вроде итонова ковбоя, чувствовали себя одураченными и обиженными: наши посланцы даже не заглядывали на конзаводы, где для них уже был приготовлен настоящий класс. Что заглядывать и зря смотреть? Между тем на домашнем фронте международные мероприятия были окружены завистью к посланным за рубеж и – обреченным на неудачу. Завистники только и ждали, чтобы строчить и посылать куда следует доносы, разъясняя кому следует, в чём заключалась причина неудачи, почему не привезли настоящий класс. Писали же они не о том, что не дали достаточных средств. Послали не тех, кого нужно, вот согласно этим борзописцам в чём заключался просчёт.

* * *

«Надо кончать с этим Шекспиром».

Хрущев

Видел «Никита» во МХАТе шиллеровскую «Марию Стюарт» в переводе Пастернака, намеки на борьбу за власть ему показались чрезмерно прозрачными, и на встрече с интеллигенцией сказал, что *надо кончать с этим Шекспиром.* О хрущевском табу на Шекспира, он же Шиллер, прочёл я в стенограмме совещания с представителями нашей творческой интеллигенции, где было сказано *надо кончать.* И творческие интеллигенты, которые на том же совещании присутствовали, подтвердили: *надо*! Это в духе послесталинского времени: не сознательная фальсификация, а просто невежество.

То же самое случалось в разных областях, куда заглядывал Хрущев. Это были преобразования по мановению руки – раззудись плечо! Стали закрывать гуманитарные институты. Минсельхоз посадили на землю, будто близость к почве напитает соками засыхавшую бюрократическую систему. Коснулось и лошадей. Ездили мы с замдиректора американского ипподрома Лорел в Ставропольский край, слышал я там от конников непереводимую ругань по адресу хрущевской кукурузной политики. Кукуруза – что! Овёс попал под вопрос. А это откуда мне известно? «От самой лошади» – почти, не прямо от лошадей я узнал, а сказал мне тот, кто от имени лошадей запрашивал, должны они есть овёс или не должны.

Из любви к внуку, который учился ездить верхом, Никита Сергеевич посетил Московский конный завод и, взглянув на сиявшую выставочную витрину нашего коневодства, решил, что лошади у нас содержатся в райских условиях. Мой старший друг и тренер Гриднев, бывший чемпион Москвы, давал уроки верховой езды государственному внуку, он присутствовал при том, как правительственный дедушка, увидев московских заводских лошадей, содержимых в образцовом порядке, пришёл в негодование: лошадей растят словно тепличные фрукты! «Под стеклянным колпаком», – так выразился Хрущев. Не лишняя ли роскошь при наших острых нуждах и временно-постоянных нехватках? Стеклянный колпак попал в нашу прессу и был воспринят как указание директивное: нечего их баловать, этих лошадей. Первый в стране конзавод не бедствовал, но по областям свирепствовала бескормица. Рысаки зимой «жрали крышу» – солому с конюшенных крыш. Что же, их совсем не

кормить? Встревоженные конники с мест навалились на Александра Ильича Попова, начкона (разрешавшего мне езду на заводских лошадях), дескать, с вас все началось, к начальству близко, вы и запрашивайте, надо ли кормить. И Александр Ильич запрашивал, а мне рассказывал. По его словам, коневодам разъяснили, как следует понимать директивное указание: кормите, как кормили, если есть чем кормить, а если нет, то не спрашивайте.

Дело с лошадьми разрешилось. А как объяснить главе государства, что Шекспир не Шиллер да и Шиллер у нас не совсем Шиллер, а всё больше Пастернак? Как? «Он был или не был, этот вечер…», – ныне сам себя спрашиваешь о подобных ситуациях. А может, то был сон? Нет, все совершалось наяву. Мы в апреле 1964 года не знали, придётся нам или нет справлять шекспировское четырёхсотлетие: юбилей на носу, Россия во всем мире считается второй родиной великого английского драматурга, наш Институт отвечает за подготовку к этому культурному праздненству, а состоится или нет юбилей, мы не знаем. Ведь было же сказано: кончать!

На свой страх и риск мы обзванивали предполагаемых участников торжественного заседания в Большом театре, хотя свыше никто нас ещё не уполномачивал и никакого помещения нам не предоставлял. «Не поставить ли нам Шекспиру памятник на нашей земле?» – дрожащим от волнения голосом старый поэт Маршак спрашивает у меня, представившегося ему секретарём Юбилейного комитета. С моей стороны это было самозванство, ибо тогда не только секретаря, тогда ни председателя, ни самого комитета ещё не было. До того, как состоялось решение о создании Юбилейного Комитета, Большой Иван, директор Института И. И. Анисимов, своей властью создал из нас группу, и мы занимались организацией юбилейной программы.

П-памятник поставить? Э, уважаемый Самуил Яковлевич, про себя думаю, ещё неизвестно, сможем ли мы произносить шекспировское имя. С поэтом-патриархом мы на всякий случай договорились, что он из своих замечательных переводов прочитает на торжестве шекспировский сонет. Так, всех обзваниваю и не знаю, надо ли беспокоить людей. И каких людей! Стоит только сказать «Шекспир», они, будто по команде, тут как тут. Легендарный народный Черкасов, шаг лишний ему сделать тяжело, задыхается, энфизема – страшно смотреть, уже явился, чтобы слово во славу Шекспира сказать. Ещё один ветеран нашей сцены, Мордвинов, из «Короля Лира» эпизод успел выбрать. Моднейший режиссёр Товстоногов выразил полную готовность взяться за репетиции юбилейного концерта, как только нужно

будет. А если не будет? Поднялся во весь свой рост наш Большой Иван и – пошёл. На последний, решительный. На Старую площадь. У Большого Ивана в Большом Доме бывшие аспиранты служили советниками – помогли прорваться. Шекспир за Шиллера у нас не ответчик! И – получили мы добро: даешь Шекспира! Разве мы ему чужая земля? Колесо истории стало раскручиваться в обратную сторону. В Юбилейный комитет готов был войти весь Совет Министров. Не только памятник поставить – ракету в космос под девизом «Быть или не быть» могли бы запустить, и не поставили и не запустили лишь потому, что времени уже не оставалось.

В день торжеств – театр полон, ложи блещут, партер и кресла всё кипит. В правительственной ложе – Политбюро до единого члена. За кулисами среди нас (не нужно ли чего?) с очевидными следами былой привлекательности Министр культуры Фурцева. «А? – сверкает взором наш Иван. – Какова женщина!». Мы замялись. «Что?! – взревел столп нашей идеологии и поклонник Киприды (не Вакха). – М-мальчишки!».

В первом отделении были произнесены речи во славу Шекспира. Маршак, уже слепой, прочел сонет. Черкасов, с предыханием, произнес собственную вариацию на тему гамлетовского обращения к актерам. Начался концерт. Пошёл Мордвинов рвать страсть в клочки: «О-бе-дать!» А Лира короля, старика, погнали и за ворота выставили. Уронил и утёр слезу Никита Сергеевич. Кто видел – ахнули: наши места для Юбилейного Комитета находились прямо напротив правительственной ложи. Но жизнь подражает великому искусству: спустя четыре месяца погнали самого царя Никиту. Не подвело мужицкое чутьё: что Шиллер, что Шекспир – вредные намёки!

* * *

И видны за полверсты,
Чтоб тебе не сбиться…

«Теркин на том свете»

«Нельзя ли Александру Трифоновичу на дачу машину навоза устроить?» – это меня спрашивает хороший знакомый Твардовского, фотограф-художник Михаил Яковлев. Ко мне многие (почему-то краснея) обращались с той же просьбой. Сама Анна Аркадьевна Елистратова, лидер в науке, читающая на любых

языках, вся пунцовая просит: «Нельзя ли достать хоть немного овса и какой-нибудь клочок сенца для моей внучки, точнее, для ее хомячка?» Ну, зверек был снабжен фуражом так, что и лошадь того не смогла бы съесть. На яковлевский же вопрос отвечаю в духе Шерлока Холмса: «Проще простого! Проще простого!»

Возле Твардовского оказывался я множество раз, даже книжку свою он нам с отцом прислал, однако познакомиться так и не удалось. Зачем я об этом говорю? Из вещей, которым, вероятно, суждено стать классикой, «Василий Теркин» появился не только в *мое время*, но и на моей памяти – испытал я ощущение *свершившегося*. В первом издании с иллюстрациями Ореста Верейского (которого знал через Ливановых) на титульном листе была такая символическая картинка: со страниц раскрытой книжки «про бойца» Теркин выходит как живой. Оказаться современником рождения персонажа, способного существовать за пределами переплета, вроде Дон Кихота или Гулливера, значило присутствовать в литературном мире в минуту роковую – особую. Суждено ли этой поэме бессмертие – кто скажет? Будет книга про бойца жить в руках читателей? Станут ли творение Твардовского читать, как мы читали? Помню и разговоры о Теркине: что собственного *нашего, советского* в этом бойце, названом по имени совсем другого персонажа – русского купчика прошлого столетия? То были серьезные, тоже в своем роде исторические разговоры между людьми, воспитанными в убеждении, что поэзия – правда. Они читали, что же в тексте не только сказано, но и сказывается.

Хорошо, когда кто врет весело и складно.

Если в литературе русской отразилась как в зеркале неизбежность революции, то литература в Советском Союзе силилась стать советской, если была талантливой. И она говорила правду – о лжи. Разве спустя чуть больше полвека советское не перестало существовать? Останется фильм «Чапаев» и песни, замечательные песни, которые были советскими, им суждено бессмертие, их будут постоянно перетолковывать, но чем дальше, тем больше будут воскрешать, хотя и по-своему, именно советское. Конечно, если сейчас поют «Мы Красная кавалерия», я слушать не могу – не то, но пусть поют.

«У вас внешность реакционного немецкого романтика», – говорил профессор Юрий Борисович Виппер со свойственным ему ученым педантизмом в употреблении терминов и понятий. Хотя среди романтиков немецких, кроме круглолицего Клейста (не мой тип), конников не было, но зато волосы у меня, как у

Гофмана, нередко стояли дыбом, что облегчало задачу моих однокурсниц, которые на скучных лекциях забавлялись тем, что таскали у меня из волос застрявшие там сено и опилки – на спор, так, чтобы я не заметил. Тем более по существу ЮрБор был прав: мир ипподрома, куда я попал еще в конце 1940-х годов, это были мои «пампасы», возврат к естественности, поиск корней. Там бы я и погиб, если бы интересовался тем, ради чего немало людей ходит на бега, – игрой.

Но тотализатора не существовало для меня, и когда «Тиграныч» (М. Т. Калантар), директор, давая мне допуск на конюшню, предупредил: «Только не играть!», я даже удивился: зачем? Призовая конюшня явилась в моих глазах символом порядка. Это был осколок regime ancien, старого режима. Там все на своих местах. Все решает *класс*. Порода! Почему уходил я из библиотеки на бега? Над курсовым проектом мне казалось невозможным работать так, как мне позволяли *работать рысаков*. В нашей писанине столько произвола! Лопату лопатой не назовешь! А там, на кругу, *столб показывает*. Финишный столб выглядел в моих глазах осью мироздания – мерилом безошибочным и незыблемым.

По утрам я отправлялся на конюшню с учебником английского языка, чтобы времени не терять. Учебник обнаружили на кипе сена и говорят: «Это еще кто тут иностранными языками владеет?» А на другой день – к директору! Все тот же Тиграныч, как только я вошел в его кабинет, притворил поплотнее дверь и самым доверительным тоном обращается ко мне: «Англичанин к нам собирается. Прошу тебя переводить. С Интуристом связываться не хочу: ни одного слова через забор ипподрома не должно перелететь!». Происходило это, когда железный занавес едва начал подыматься и чуть ли не все иностранное отождествлялось с вредным и враждебным. Но поехали Хрущев с Булганиным в Англию, захватив в подарок завзятой лошаднице, королеве, двух коней – ахалтекинца и карабаха. Кто этих жеребцов, рыжего и буланого, с золотым отливом, не видел, тот, как выражался Тиграныч, не имеет представления о том, что следует понимать под словом *лошадь*. Королева, как их увидела, изменилась в лице, и международная атмосфера тут же потеплела. Но кто же мог подумать, что прямо из сердца вырвавшееся слово примут всерьез, как официальное заявление? «Приезжайте! И не таких увидите!» Это наш ветврач, сопровождавший подарочных коней, брякнул королевскому коновалу.

Не успели наши люди оглянуться, как из Лондона прямо на Московский ипподром поступает телеграмма: «ВЫЛЕТАЮ

ВСТРЕЧАЙТЕ УВАЖЕНИЕМ ФОРБС». Ничего себе фокус! А вдруг он наговорит про нас невесть что? Нашему доктору было велено срочно заболеть. Когда же мистер Форбс прилетел и явились мы с ним в директорскую ложу, после каждого очередного заезда каждый тащил его в ресторан «Бега», где, наливая ему стакан коньяка, говорил – мне: «Переведи поточнее». Переводить приходилось одни и те же слова: «Плохого про меня не пишите!». В конце бегового дня английский гость, еле ворочая языком и подозревая меня в умышленной неточности перевода, лепетал: «П-поч-чему я должен пи-писать?». А написал-таки! Наше гостеприимство его и вдохновило.

Статья была опубликована в журнале «Голос гончих». Тиграныч, плотно притворив дверь своего кабинета, велел переводить с листа. Статья состояла из восторгов. «Молодец! Благодарю!» – было сказано мне, словно статью я сам же и написал. «Если меня в министерство вызовут, – продолжал Тиграныч, – вместе пойдем, и ты им точно так же все переведи». Будто при желании из того же текста можно было извлечь совсем не то, что в нем содержалось. Но кто жил тогда, тому объяснять не надо, как бывало! После моего перевода поступила на конюшню, где я числился, официальная деловая записка на директорском бланке: *«Подателю сего (т. е. мне) разрешить езду в любое время суток. Калантар».* Из-за экзаменов я не успел воспользоваться щедрой льготой, и оказался опять на конюшне что-нибудь неделю спустя. И первое, что я услыхал, были слова: «Тиграныч застрелился».

Он был одно слово – знаток. Понимал не только в лошадях, но и в людях возле лошадей. На этом держался его авторитет среди конников. Даже Грошев его уважал. А кто не уважал? Михаил Тигранович Калантар, как и сменивший его на этом посту Долматов, оказался ранней жертвой распадающегося режима, которому полностью принадлежал и верно служил. С режимом он разделял достижения и горести. Достоинства и пороки режима были ему присущи. Но ради собственного выживания и выгоды им пожертвовали те, кто спешил разоблачить преступления режима как дело *не их* рук.

С уходом Тиграныча, записка им выданная, оказалась окружена ореолом нетленности. Иные из наездников аттестовали меня так, как это выразил Петр Саввич Гриценко. Ему позвонили из производственного отдела и не позволили на «отказавшемся» жеребце записать меня на приз: конь никак не шел, и производственный отдел полагал, что я с ним не справлюсь. А Гриценко им говорит: «Почему не справится? Он же день и ночь держался за вожжи еще при покойнику Калантарю» (Sic!). Вот

почему когда Мишка Яковлев от имени своего близкого друга, выдающегося поэта, обратился ко мне с просьбой, то для человека, имевшего доступ на конюшню, было нетрудно добыть навоза. Я тотчас пошел к завхозу, при котором Калантар застрелился, и вопрос был решен положительно.

Свидетель гибели директора, Борис Васильевич Чернецов, рассказывал: «Все из-за навоза!» Они хорошо сидели и отдыхали в том директорском кабинете, где дня за два до того переводил я статью. Немного им не хватило. Чернецов посылает. Тут его вызвали к телефону в его собственный кабинет, на том же этаже. Навоза, мать их, просят! Так просила у Чернецова вся Москва, если только требовалось удобрять участок. Начался разговор и – затянулся по мере выработки условий делового полюбовного соглашения. Вдруг дверь настежь – на пороге Тиграныч: «Где же твои сатрапы?» – «А я, – рассказывал Чернецов, – ему в ответ только рукой махнул. Дескать, подожди, дай договорить!» Хлопнул Тиграныч дверью. И вскоре грохнул выстрел. Из ружья.

* * *

Тогда же, прежде чем хлопнуть дверью, Калантар, говорят, и крикнул: «Я пошел к Мишталю!» Но откуда стало это известно? Мог ли зловещий возглас услышать единственный свидетель? Борис Васильевич, как известно, был глуховат и к тому же оказался занят телефонным разговором. Но само по себе это вполне вероятно. Ведь точно так же, позвонив тому же Калантару, крикнул Игорь Ковriга.

Георгий Мишталь не застрелился, не упал и не разбился. На коне Радамес он успешно брал барьеры и стал чемпионом, погиб же он, как Арчер, из-за немилосердного выдерживания. Разница лишь в том, что Арчер помешался, а Мишталь надорвал сердце. Кроме того, в отличие от англичанина, ему приходилось выдерживаться не из-за данного самой природой чересчур высокого роста, а вынужденно набираемых излишков веса. Кто же его вынуждал измываться над своим организмом? Их с Ковригой Василий Сталин сделал своими фаворитами, иначе говоря, собутыльниками. После застолий и перед скачкой – парная. Превратилось это в систему. Сейчас уже не скажу, сколько тогда, в последний раз, Мишталю пришлось сбросить, но его соконюшенники вспоминали об этом с выражением ужаса в глазах – неимоверно много, и кончилось это выпаривание разрывом сердца. Вот и стали говорить «пошел к Мишталю».

Звонил Коврига с подмосковной станции «Сходня» и там же

бросился с платформы под очередную электричку. Причина – гибель прекрасной во всех отношениях амазонки, звали ее Римма Леута, и был Игорь Коврига в нее влюблен. Входила Римма в учрежденную Василием Сталиным команду ВВС. Погибла, преодолевая препятствие, в результате падения. Подробности мне рассказывали, но всего я уже не помню, помню только, что Коврига считал себя в ее фатальном падении виновным. Со «Сходни», где находилась конноспортивная база, звонил он Калантару несколько раз, пока, наконец, не крикнул: «Идет электричка, а я иду к Мишалю!»

Эти три, одна за одной, смерти (плюс расстрел конюшенного пса) конниками воспринимались как зловещие знамения, как следствие угарной обстановки, окружавшей сына вождя. Сам Сталин всю эту «ярмарку» не поощрял – свидетелем тому оказался троечник Кузьмич, который в миру, до посвящения в кучера, был правительственным охранником. Охранял он Маленкова, но, понятно, составлял один круг с охраной Сталина. Однажды властелин-отец стал отчитывать, как мальчишку, молодого генерала-сынка, а тот ему (в передаче Кузьмича): «Батя, зачем же ты переживаешь, только себя расстраиваешь? Что тебе смущаться? Ведь ты же хозяин страны!» В ответ вождь взорвался: «Но я же не нарушаю порядков!» Это, разумеется, фольклор – не достоверность, а истина в ее сущности. Устанавливая свои порядки, разве щадил Сталин членов собственного семейства? Жен ближайших приспешников пересажал!

Для контраста: однажды оказался я лицом к лицу с братом Брежнева. Случилось это в той самой военно-спортивной редакции, где выходили мои лошадиные книжки. Я заглянул туда, как обычно, по своей, спортивной части, и вдруг в тот же редакторский кабинет входит, прихрамывая, некто пожилой и спрашивает: «Как тут платят за военные воспоминания?». Представился вошедший как брат главы нашего государства и выразил готовность написать свои мемуары как участник Отечественной войны, но прежде хотел бы узнать, что можно за это получить. Редактор побежал по начальству: что отвечать на столь прямо поставленный вопрос? А мы с ним остались вдвоем. И я спросил, что за человек Леонид Ильич. «Семьянин!», – выпалил, без задержки, мой необычный собеседник. Тут вернулся редактор. Действительно, брат, в самом деле ветеран, а что до гонорара за еще не написанные военные мемуары, то – вежливо проводить домой. И мы его проводили, но услышал бы его ответ Сталин!

Или: прихожу на конюшню и слышу: «Дедушка только что был». Что за дедушка? А с внуком Министр Вооруженных сил

приходил. Этот «дедушка» как раз в ту пору чужих внуков отправлял в Афганистан.

Когда я начал читать лекции в Институте Международных отношений, то меня удивило, что студенты призывного возраста продолжают учиться. Так было в мое студенческое время, когда мы были освобождены от воинской службы и только проходили летние лагеря. Но порядки изменились, и мой сын был взят в армию с третьего курса биофака МГУ. «А у нас внучок нашего министра учится, – объяснили мне ситуацию в учебной части МГИМО, – вот наших ребят и не трогают».

Так что же лучше – фанатизм или фаворитизм? Фальшивый выбор. То и другое хуже. Крикнул ли Тиграныч, что он «пошёл к Мишталю», или нет, уже никто не скажет. Своим намерением «пойти к Мишталю», он, чувствуя себя в отчаянно-безвыходном положении, мог еще раньше с кем-то поделиться, а уже затем по законам мифотворчества, как предсмертный возглас, его признание оказалось перемещено в самый момент самоубийства.

«Сколько ты, говоришь, твоему Трифонычу нужно? Машины две хватит? – спросил Чернецов. – А где у него дача?». И записал адрес той же авторучкой, что была у него в руках, в том же блокноте, что лежал перед ним на столе, когда в соседнем кабинете раздался выстрел.

В горах Кавказа

«Кавказ подо мною…»

Пушкин

Почему я здесь, на Бермамыте, в табуне, а не в библиотеке среди книг? В жаркую пору холодной войны с университетской скамьи, взяли меня на работу в ИМЛИ – Институт мировой литературы, освященный и защищенный от угрозы закрытия именем Горького. Угроза эта нависала время от времени над всеми академическими институтами, но едва только подбирались к нам, наш директор, столп режима и крестный отец идеологии, восклицал: «А мы еще не выполнили всех заветов Алексея Максимовича!» И – руки прочь: нас оставляли в покое до следующего раза. Расположен был ИМЛИ на улице Воровского, таксисты в наше время говорили: «Была Поварска́я, стала Воровска́я». Улица ныне стала опять Поварско́й, но откуда идет, казалось бы, вполне по смыслу самоочевидное название? Само собой, там при Грозном жили повара, однако, не всякие повара, а которые готовили для Конюшего приказа.

Моя служба была для меня исполнена символизма двойного – в том же здании когда-то помещалось Государственное коннозаводство. Заседания нашего Ученого Совета, различные торжества, похороны, гражданские панихиды (скольких корифеев науки мы, молодежь, на своих плечах отнесли к дальнему пределу, столько, что я до сих не переношу запаха цветов, напоминающих мне одно – похороны), все это проводилось в том же зале, где некогда хоронили управляющего, генерала от кавалерии Гартунга, застрелившегося после того как суд оправдал его, и по этому случаю генералитет явился на похороны при параде. Вдова его, дочь Пушкина, занимала в том же здании квартиру. Я даже позволял себе шутить, говоря, что если совершится контрреволюция то с восстановлением прежнего режима здание будет возвращено конникам, и всех сотрудников за ненадобностью выгонят, а для меня найдется какая-нибудь пусть самая завалящая должность. Но одна пожилая сотрудница, которой было давно пора на пенсию, мне поведала, что и у нее есть надежда: она была племянницей Дарагана (звук этого имени, принадлежавшего виднейшему деятелю отечественного коннозаводства, изменил мой взгляд на старушку-литераторшу).

А рядом с основным зданием уцелел манеж, переданный баскетболистам, но я-то не забывал, что в нем брал уроки

верховой езды мой отец, а берейтором у него был отец моего тренера, и все это совершилось без малейшей предумышленности с нашей стороны, а лишь в силу того, что Карл Юнг называет «многозначительными совпадениями». В жизни у каждого из нас таких совпадений предостаточно, хотя никто не может сказать, что же они означают.

Был я связан не только с ИМЛИ, но и с ЦМИ – Центральным Московским ипподромом, связан до того, что это сбивало с толку моих корреспондентов, и приходили из-за границы письма, адресованные на *Ипподром им. Горького*. А в Институт мировой литературы один раз из США поступило письмо, на котором стояло: «Дмитрию. Цена без конверта четыре копейки». Это управляющий одного американского ипподрома решил щегольнуть своим знанием русского языка и надпись внизу посланной ему из Москвы открытки принял за мой обратный адрес. И дошло! Все, кому надо, знали, кто тут интересуется лошадьми.

В Институте с моими интересами мирились и, если я срочно требовался, а на рабочем месте, в библиотеке, меня не оказывалось, то звонили на конюшню, соединяли нас через секретариат ипподрома по внутреннему. Как-то вызвали переводить секретарю Драйзера, причем, директор наш только что разговорной речью не владел, а понимал без перевода. Секретарша же Драйзера, выполнявшая при великом американском писателе и другие функции, главным образом об этом, о других функциях, рассказывала и даже показывала отлитые в бронзе и привезенные ею различные части его внушительной фигуры – голову, руку. Все это нашему директору было и так понятно, так что во время их беседы я уснул. Вдруг сквозь сон слышу громовый голос: «Вы что же, пьянствовали всю ночь, что ли?!». Это директор собирался секретарше ответить и видит: переводчик прикорнул. А меня с утра разморило от чистого морозного воздуха, но как оправдаться, что от меня ничем, кроме конского пота, не пахнет? И вдруг раздается мелодический звонкий голос, прямо как с небес: «Разве мы с вами, уважаемый Иван Иванович, в том же возрасте не предавались Бахусу?» Высокоуважаемый наш директор, пусть в далеком прошлом, был, как я уже сказал, поклонником не Вакха, а Венеры, но спасительный голос принадлежал крупнейшему, какой только можно было себе представить, научному авторитету. Говорила сама Елистратова, у которой была внучка, а у внучки – хомячок, и мы этого зверька снабжали сеном и овсом. Пронесло!

Находился я на самой низшей ступени научной иерархии, делая рефераты для сотрудников более опытных, однако не

владевших иностранными языками. Референтам, вроде меня, полагался доступ в специальные хранения основных библиотек, и если окна институтской библиотеки смотрели на КГБ, то через окна спецхрана Ленинки, а также Иностранки, с разных сторон был виден Кремль. Твердыня власти, заточившая меня вместе с запретными книгами в спецхран, неотступно маячила перед глазами, напоминая, почем у нас может быть фунт лиха. Чем больше книг под гайкой (шестигранный знак запрета) я читал, тем чаще вспоминался мне рассказ моего дяди, ветерана Отечественной войны: слушавший изо дня в день фашистскую пропаганду, перехватчик сам потребовал «Арестуйте меня – я разложился».

Спецхран приучал видеть все не так, как у нас это подавалось. Стоило туда пойти – и, казалось, открывается подноготная вещей. На самом деле так только казалось. Как только с гласностью мы начали сами добираться до собственной подноготной, я убедился, что они о многом предпочитают помалкивать. Когда началась перестройка и я по старой памяти отправился за правдой в спецхран, то нашел там меньше того, что можно было узнать из нашей прессы. Ничего больше они и не хотели знать.

Горбачев вел борьбу с коррупцией выборочно, чтобы узаконить грабеж государственной собственности *для своих* – кто не поддался односторонне-разоблачительному промыванию мозгов, тому это было ясно. Не получил я от них ответа, *кто такой Горбачев,* в целой серии книг, вышедшей в США с похожим названием: «Как случился Горбачев», «Феномен Горбачева»… Названия есть, ответов – нет.

Скажем, плясал ли Горбачев в свое время под дудку Медунова? Я ждал откровений на этот счет от советологов. Мне помнилось, как еще в брежневские времена главный редактор журнала «Человек и закон» был снят за одинокую и отчаянную попытку раскрыть коррупцию в медуновских владениях. Тогда молодой ставропольский сатрап будто бы и выкаблучивал по указке властелина Краснодарского края. Но верить ли слухам? Следует узнать наверняка, если – *плясал*, то фигурально, буквально, или же ничего такого, как говорят наши южане, не было́.

В горбачевских краях мне посчастливилось бывать в то время, когда мой бывший соученик по МГУ, тракторист, экономист и юрист, ушедший во власть, только начинал карабкаться по правительственной лестнице, возглавляя местный Комсомол. Края – конные, наш Кентукки. Еще на школьной скамье получил я разрешение находиться при породистых лошадях, а впоследствии

из года в год отрабатывал эту привилегию как переводчик. «Клячам служите толмачом?», – спрашивали люди со стороны. Взглянули бы они на «кляч»! Но нет, установить общий язык с лошадьми оказался я не способен: на это не было у меня ни рук, ни головы, однако за энтузиазм конники прощали мою наездничью бездарность и доверяли сопровождение зарубежных экспертов, приезжавших отбирать четвероногих участников для больших международных призов. Так, лишенный рук, способных эффективно орудовать поводьями или вожжами, и находясь на низшем из рангов как ездок, я, работая языком, поднялся выше некуда, очутившись среди крэков и кейтонов.

Помню, на границе Ставрополья и Краснодарщины мы отдыхали – управделами американского ипподрома Джо Каскарелла, а также Витни Тауэр, спортивный журналист, составлявший отчет о скачках на пару с Фолкнером… Их уже нет на свете, но они все равно не могли бы подтвердить того, что я сейчас говорю. Еще одного Анилина, который хотя бы до последней прямой устоял против мировых резвачей, мы уже нашли, и в мои обязанности не входил перевод того, что я слышал за пределами *чистокровных* интересов. Под открытым безоблачным небом местные власти поносили хрущевскую кукурузную политику. А конникам покровительствовал тот, кто будущего реформатора и выдвинул, – сам Федор Давыдыч, как называл Кулакова Долматов, директор Московского ипподрома, тоже земляк и фаворит могущественного партийного лидера.

Оба они, мне кажется, были из тех незаурядных советских людей, которых система выжала без остатка и за ненадобностью выбросила. Они были циниками, в меру, но оказались недостаточно хищниками, чтобы выжить. История Долматова – в повести «Железный посыл», где он выведен под вымышленным именем, однако узнаваем. Не зная, изображен ли он положительно или отрицательно, Евгений Николаевич пошел за книжкой в магазин и от молоденькой продавщицы услышал: «Вы не можете себе представить, до чего этого бедного Драгоманова жаль. Я вся изревелась!». Это он сам мне рассказывал.

Сидя в сияющем долматовском кабинете среди скульптур Лансере и полотен Самокиша, ждали мы звонка из кулаковского секретариата: можно ли отгружать избранного жеребца, о чем уже было договорено с американской стороной, готовой уплатить Аэрофлоту шестьдесят пять тысяч за доставку нашего скакуна через океан.

Такие контакты и такой порядок установились в технически патриархальные времена, без автоматики, по-человечески можно было поговорить с телефонисткой и попросить соединить как

можно скорее, и нам никогда, услышав, что речь идет о лошадях, не отказывали. Мы звонили за океан, даже не зная номера телефона, а только так, «на ипподром», и трудности, если и возникали, то лингвистического характера – в языковых оттенках. Например, мы продолжаем говорить «ипподром», а в Америке, следуя английской традиции, этим словом обозначается чаще эстрадный театр типа варьете. И вот как-то уже глубокой ночью, часа в два, телефонистка с нотками отчаяния в голосе говорит: «Нет там, куда вы звоните, никаких лошадей!» И соединяет меня напрямую, слышу уверенный голос: «Сэр, танцовщицы, в должной мере обнаженные, у нас имеются, а лошадей нет, не держим».

Итак, Джо дал добро, выдвинув лозунг «Конские скачки вместо гонки вооружений!», но поскольку у нас все вопросы, будь то запуск ракет в космос или отправка лошадей за рубеж, решались на самом верху, то если бы не Федор Давыдыч, не ступили бы копыта наших коней на скаковые дорожки Мэриленда. Наш извечный угодник Семен Михалыч был уже не тот. Он нашел время читать мою статью про выведенных в США лилипутских, величиной с большую собаку, лошадей, вероятно, подумывая, чем бы ему согреть душу. Один Кулаков, Секретарь ЦК, отвечавший за сельское хозяйство и, говорили, метивший еще выше, оставался нам надеждой и опорой. Так каждый год, ряд лет, сидели мы и ждали звонка, есть или нет, что тогда называлось *решением.*

И вот чего однажды дождались: скончался, скоропостижно скончался у себя в кабинете наш покровитель. «Темная история», – позднее прочел я у Роя Медведева. И даже «Мемуары», автором которых значился сам Горбачев, истории не прояснили. Про Кулакова в книге, опубликованной под именем человека, Кулаковым и созданного, говорится между прочим, а уж о Медунове и вовсе вскользь, будто тот, чье имя значится как авторское, не только не мог пройтись в присядку по указке могущественного соседа, но лишь едва был с ним знаком, разве что от случая к случая встречался с всевластным хозяином, замещавшим главу государства на теневой стороне системы.

У Аркадия Ваксберга я прочел: Медунов являлся что называется «вторым», когда Брежнев являлся «первым», то есть крестным отцом нашей мафии, и это было в те времена, когда наши соседи, исследовательский центр Министерства Внутренних Дел, присылал к нам лекторов, а те, при генеральских милицейских погонах, говорили: «Со всей ответственностью можно утверждать, что организованной преступности в нашей стране не существует».

Существовал ли между Медуновым и Горбачевым некий

лично-деловой контакт и на какой основе, мы так и не знаем, но можно ли об этом не спрашивать, если они соуправляли российской житницей? Даже враждуя, они должны были взаимодействовать, соблюдая субординацию, определявшуюся прежде всего связями наверху, а уж «руки» выше, чем у Медунова, и быть не могло. Вот почему не узнав, *плясал* или *не плясал*, нельзя распутать цепь перестроечных событий, и я надеялся получить ответ на этот вопрос у советологов. А они вопроса и не поставили!

* * *

Медунова мы с американцами не застали – он из Ялты переместился в Сочи. Но попали мы в ту же атмосферу свойства и пособничества, ежели *наш* – свой человек. Атмосфера поддерживалась медуновским преемником, он душевно, голосом благорасположенного властелина, обратился к нам: «Будут проблемы – прямо ко мне».

«Обкомовцы – наша реальная власть», – говорил мне двоюродный брат, профессиональный политик. За исключением кочетовского «Секретаря обкома», книги, написанной с намерениями серьезными, но при отсутствии таланта, литература наша не охватила характер кряжевого деятеля советских времен, старающегося творить добро, однако других источников, кроме зла, для исполнения своих намерений не имеющего.

В Ялте разыгралась драма со счастливым концом: местная власть поняла, что не все может. В музее Чехова директор американского ипподрома с заместителем не увидели изданий нашего классика на их языке. Имя последнего великого русского писателя было им хорошо известно по конским кличкам Чайка-Чехова и Дядя-Ваня. Местные, включая власть, смутились: где же книги взять? И какие книги? Запросили Симмонса, американского чеховского биографа, он дал список, и за счет Нью-Йоркского ипподрома ящик книг был доставлен в музей. История о лошадях и Чехове попала на страницы «Нью-Йорк Таймс», в Ялте историю, кажется, до сих пор рассказывают, а Симмонс до конца своих дней не мог поверить, как это получилось, что ипподром запрашивал его о Чехове. Знал бы Симмонс, сколько рогаток, что за препятствия оказались преодолены, чтобы книги, им рекомендованные, попали на витрину в музей, а не под гайку. Видел же я в спецхране книги про балет. Могли там оказаться и американские издания Чехова из-за того, что в них о Чехове такими, как профессор Симмонс,

написано. Но тут уж для ялтинской власти преград не существовало.

* * *

Работая над рефератами, я изгрызал чрево идеологического монстра изнутри – по-конрадиански. Чувствуя себя персонажем из конрадовского «Ностромо», вроде доктора Монигема (пособник и противник той же силы), а также согласно Герцену (знавшему отца Конрада), я поддерживал порядок *отрицательно*. Наиболее критические по нашему адресу пассажи я старался передать как можно выразительнее, чтобы те, кто собирался использовать мои тексты как снаряды в идеологической войне, прежде всего никак не смогли бы увернуться от самоочевидности. «Ответьте, почему у нас нельзя некоторые вещи назвать своими именами!», – как бы задавал я вопрос тем, кто в полемике с антисоветской пропагандой будет цитировать мои рефераты. «Душу отводите?», – спрашивала меня моя начальница, универсально образованная Диляра Гиреевна Жантиева. Из семьи по-европейски утонченных обрусевших кавказцев, она должна была бы погибнуть от рук тех или других, если бы «высовывалась». Однако, держась низкого мнения о себе, она была до того скромна, что о ее существовании вспоминали лишь тогда, когда требовалось взяться за сложную, неблагодарную работу, невыполнимую, однако, без больших знаний. Тут и говорили: «А где Диляра?» Так Жантиева была поставлена заведовать реферативным отделом, то есть отвечать, как тогда отвечали, – головой, за надежность нашей продукции: переводы сложных текстов на английском, испанском, немецком и французском, со всевозможными именами, названиями и цитатами из произведений, мало известных нашей научной общественности. Воплощенная безвредность и безобидность, Жантиева всю жизнь попадала в несвойственные ей ситуации, оказываясь рядом с людьми, слабо сказать, чуждого ей типа и темперамента. Она же на Ростовском ипподроме своими глазами видела великого Чабана. Рассказы ее про легендарного всадника особенно интересовали меня и не только потому, что я был лошадником. Свидетельства были уникальные. О Чабане, прозвищем Тутариш, даже среди конников никто ничего толком не знал: куда он исчез? Д. Г. рассказывала, как однажды Чабан выиграл, удержавшись в седле с лопнувшими во время скачки стременами, возможно, кем-то перед стартом подрезанными. Но во время войны то ли он дрогнул, то ли решил сорвать затаенную злобу на

русских, покинул Ростов, где Диляра видела его триумфатором, и ушел. Чабан – ключ, к тому, что творится в тех же краях сегодня.

Во мне ученая божья коровка видела одного из всадников Апокалипсиса. То и дело я отпрашивался у нее с работы, чтобы промять кровного рысака и возвращался, благоухая такими снегами и туманами, как сильный запах конского пота, подкрепленный ароматом перегара после вчерашнего. Жантиева все выдерживала стоически, и не только не держалась от меня подальше, читая черновики моих рефератов, но даже требовала, чтобы я не отворачивался, не удалялся в другой угол комнаты и как можно внимательнее вчитывался в ее постраничные замечания. Намылив мне голову, из которой торчали сено и опилки, она затем забирала черновики домой и возвращала их мне на другой день с дополнительными пометами. «Имея в виду общую идею автора, постарайтесь передать как можно точнее…» – таким слогом и ее рукой все это было изложено. И на полях моих переводов появлялся параллельный текст – таковы были жантиевские пометы, которые мне оставалось только переписать и включить в свой реферат, будто это я сам все прекрасно понял и еще лучше написал. Ха-ха!

Вернулся я с Кавказа, куда, не докладываясь своему литературному начальству, на пару дней отлучился с иностранными конниками, вызвали нас в отдел кадров и велели ознакомиться с запиской. Адресован этот человеческий документ был дирекции, но сочли нужным дать его прочесть некоторым сотрудникам, в первую очередь референтам. Едва только заглянув в слегка измятую страницу из ученической тетради (для личных целей наша начальница избегала пользоваться писчей бумагой, которую выдавали на реферативный отдел, и мы эту бумагу таскали пудами) – я напал на знакомый слог: «Имея в виду вышеизложенные обстоятельства, я постараюсь привести в исполнение принятое мной решение, а именно – пойти навстречу смерти…»

Жантиева лишила себя жизни из-за (потом оказалось) ошибочного диагноза ракового заболевания. Она была одновременно боязлива и бесстрашна. Понимая, что, составляя свои рефераты с подтекстом, молодой нонконформист отводит душу, она качала головой, опасаясь, как бы чего не вышло, и все-таки визировала те же рефераты для распространения. Больше всего на свете боялась воды и выбрала самый ужасный для нее способ уйти из жизни – утопиться. Предусмотрительно надев для тяжести зимнее пальто, она бросилась с моста в Яузу. Как знать, возможно, у нее в тот момент было то же самое выражение в глазах, какое я видел у нее, когда, оглядываясь по сторонам, она

спрашивала: «Душу отводите?» и ставила на реферате свою визу.

На письменном столе у нее нашли аккуратно разложенные конверты с разными именами. Кому-то она отдавала копеечный долг, кого-то просила поставить некое научное общество в известность о ее кончине, она извинялась перед библиотекой за не сданные вовремя книги, чего никогда не делали отличавшиеся отменным здоровьем сотрудники. В конверте с моим именем и фамилией содержались дополнительные замечания по реферату, который она, ещё до моей экстренной отлучки в горы, не успела прочитать до конца при мне, потому что библиотека уже закрывалась, а я задержался на конюшне. «Продумав еще раз, в чем же идея данной книги, я просила бы Вас уточнить ряд формулировок…» – составив записку, она и отправилась в тяжелом пальто на яузский мост.

Несколько лет спустя в докладе на институтской конференции я сделал ссылку на ее статью, а фотограф Иванов, составлявший нашу картинную летопись, мне говорит: «Забыли совсем Диляру». О ней вспоминали, когда требовались большие знания, чтобы исправить кем-то допущенные небольшие ошибки, нет, не ошибки – неточности.

На том же заседании наш фотомастер сделал снимок во время моего выступления, о чем не стал бы я упоминать, если бы фотограф не щелкнул затвором, чтобы запечатлеть иронию истории. Увидел он у меня в руках брошюру, которую, выступая с той же самой трибуны, цитировал Александр Фадеев, однако выводы из того же источника делал противоположные. Это была книжка академика Шишмарёва об академике Веселовском, он заложил у нас основы сравнения национальных литератур. Однако не мировое значение нашей классики, нет, принижение наших классиков извлек Фадеев из той же книжки. Великие русские писатели завоевали мир, усвоив Западный опыт, таков был вывод из брошюры, но тогда на выводы компаративистики было решено взглянуть иначе, почему решено, это ещё надо выяснять. Так или иначе вывод был сочен порочным и подвергнут принципиальной критике: наши писатели иностранные влияния, видите ли, испытывали! «Всё началось с этой книжицы», – говорил глава советской литературы, обличая безродный космополитизм и потрясая карманного формата буклетом. Тогда фотограф Иванов и щелкнул затвором, а как только двадцать лет спустя узрел ту же книжицу, но в ином контексте, снова щелкнул.

Выступление Фадеева (согласно рассказу фотографа) слушал сочинитель вредной книжицы, тогдашний Директор Института, Владимир Федорович Шишмарёв, рядом с ним – его жена (они так и жили в Институте). Сидя прямо напротив оратора, в первом

ряду, академик слушал адресованную ему инвективу молча, а супруга поражалась: «Какой красивый молодой человек! До чего же красивый молодой человек! Откуда же в нём столько ненависти?». Снимок Фадеева, сделанный Ивановым, отразил красоту, время смахнуло агрессию. Глядя на фотографию, кажется, красавец поёт кому-то хвалу. Не попадалось мне ничего нагляднее, что отражало бы суть судьбы Фадеева – исковерканной и погибшей незаурядности.

Мы были знакомы с Мишей, сыном Фадеева, работал редактором в «Советском писателе»: тихий, словно неживой, это он услышал выстрел и нашел отца мертвым. Выполняя свои служебные обязанности, в том числе подготавливая к изданию статьи Луначарского, я вспоминал Мишу, читая у наркома о людях, которых революционное время бросает в тигель, чтобы переплавить. Младший сын Фадеева словно попал в некую воздуходувную трубу: сокрушительным потоком воздуха затянуло его в аэродинамическое устройство и всего перекрутило.

Вблизи лошадей (Дом Пришвина)

Недаром существует эпитет «живое слово». Живое оно потому, что творится тогда, когда и сказывается. И значит, мы вынуждены противопоставить его какому-то другому – мертвому.

В. Пришвина. «Наш дом».

Приехал я в Дунино, в пришвинский дом, с конного завода на донском жеребце. Седло у меня было, правда, не казачье – английское, зато на голове моей красовалась почти такая же фуражка, вроде той, что видели у казаков из фильма по роману «Тихий Дон». На мне была косоворотка, сшитая женой кучера. Ремешок – наборный, подарок отставного кавалериста. И, само собой, сапоги, притом со шпорами.

К посетителю непрошеному и несколько маскарадному Валерия Дмитриевна Пришвина отнеслась без малейшего жеманства или какого бы ни было высокомерия. Держалась с незваным гостем вежливо и даже приветливо, дескать, вид не стану делать, будто вам рада, ну, раз приехали, давайте поговорим. «Онтологический – такое слово вы слыхали?» – таков был её вопрос по ходу нашего разговора.

Не то чтобы она экзаменовала меня или же хотела свою образованность показать, как обычно поступают не очень образованные люди. Знал Пришвина пушкинист Фейнберг, рассказывал о нём: не очень был образованный (я перепросил: «Не очень?» – «Нет, не очень»), но смышлёный, острый. В. Д. была ему пара. Всего лишь продолжала уточнять, с кем имеет дело. Слово *онтология* узнал я с большим опозданием, поскольку в той философии, которой обучали людей моего поколения, проблемы онтологические не значились. И правильно, что не значились – другая система, однако нам и этого не объяснили. Об этом я Валерии Дмитриевне сказал, она снова кивнула головой: «Понятно, но теперь к этим проблемам возвращаются».

Михаил Пришвин и его коротенькие охотничьи рассказы в моей памяти жили с детства. Если бы мне понадобилось составить свод незабываемо-выразительных литературных эпизодов, то, начиная с загробных кровевозлияний в «Одиссее» и кончая мелькнувшей мыслью о детстве в «Улиссе», нашлось бы в

том ряду место и проделкам пришвинских зверушек. Никакие книжные персонажи, с которыми я постепенно знакомился, от Гамлета до Гулливера, не заслонили в моём сознании миниатюрную собачку, которая никому не давала в обиду ни себя, ни свою хозяйку; мне казалось, всё так же я слышу, как бегает по полу, топоча и шурша газетой, пойманный ёжик, а вкус черного, слегка зачерствевшего, вынутого из охотничьей сумки куска хлеба сохранялся у меня во рту. Карманного формата сборничек 30-х годов, который так и назывался «Лисичкин хлеб», а также вышедшая после войны книжка «В краю дедушки Мазая» стояли у меня среди классики, и чтобы свои прежние читательские впечатления проверить, я в эти истрепанные издания время от времени заглядывал.

А на «больших книгах» Пришвина споткнулся. Ещё когда, увидев у меня «Дедушку Мазая», мой дед достал из книжного шкафа и дал мне «В краю непуганных птиц» (библиотека деда-воздухоплавателя состояла из книг, посвященных *летанию*). Схватился я за книгу – нет, с первых же страниц увяз и не смог дочитать до конца. Несколько раз уже в зрелом возрасте принимался снова – тот же результат. Так было и с «Кладовой солнца», а уж повествования о Курымушке («второе *я*» писателя), прошу прощения, оказались вовсе не для меня. Пришвинские lehrjahre und wanderjahre (годы учения и странствий) от хранившихся у меня книжных сокровищ, созданных тем же автором, отличались не объемом, а – как написаны: искусно и скучно, умно и не увлекательно.

Суждениями Пришвина я бывал захвачен, читая его дневники. В ту пору, когда явился я в Дунино, два заключительных тома из собрания его сочинений со всевозможными дневниковыми записями служили мне настольными книгами. Однако когда я читал и перечитывал тоненькую книжечку «Лисичкин хлеб», внимание моё было ориентировано совершенно иначе по сравнению с тем, как читал я пришвинские толстые дневниковые тома, их я тоже читал и перечитывал, но по-другому. В дневниках находил я поразительно точные слова, но мной уже была усвоена разница между словами *точными* и *живыми*. Флобер и Хемингуэй молились на le mot juste или the right word («точное слово»), и распроточнейшие слова не всегда у них оживали. У Флобера целые страницы точных слов мертвы. Хемингуэй руки на себя наложил, когда окончательно убедился, что слова его перестали оживать. Точные слова не обязательно и далеко не всегда живые: путать их можно, занимаясь игрой в термины. Живое слово – создающее *впечатление* живости, а вовсе не слово, которое как бы

сказывается – с выкрутасами. Пришвин был современником Ремизова, и его заразила путаница (иногда намеренно создаваемая) между словами стилизованными под живость и в самом деле живыми по впечатлению от них.

«У меня тут живет один старичок», – проводя меня по дому и предупреждая заранее о том, кого или что я увижу, негромко сообщила Вера Дмитриевна. Шли мы коротким коридором: у стены на лавке лежал дряхлый старик, едва живой. Он не шевельнулся, пока мы шли, словно его и не было, мы тоже ничего не сказали, будто мимо него не проходили. А в дневнике у Пришвина я читал: «Вчера переписчик Толстого переписал мою повесть», – на лавке, стало быть, лежал работавший на Толстого копиист Родионов. Запись о толстовском переписчике, нашедшем последний приют в пришвинском доме, как и дневник хозяина дома, были пронизаны заботой этого хозяина о своём положении в литературе. Творец незабываемых собачек, ёжиков и птичек тревожился, что его принимают не за того писателя, каким он является или, точнее, каким сам он себя представляет. Прочитай я раньше пришвинские сетования на то, что ему не дали опубликовать произведения, которые могли поставить в должный, полагающийся ему по рангу, ряд, я бы тут же встал на его сторону. Но в собрание сочинений вошли некоторые из этих произведений. Их читать я не мог: искусно и мертво.

Талант – способность цельного выражения истины, не честность или злободневность и даже не ум. Талант и равновеликим умом не всегда наделен. Говорю это не ради принижения ума, а чтобы подчеркнуть, что талант – способность особая. Выражаясь кантиански, отдельная. У Пришвина про ежа писал талантливый человек, а его же дневники составлял, как и пришвинские романы писал, – только умный.

В дневниках Пришвина запечатлелась знакомая мне округа, которую изъездил я верхом. Некоторые пришвинские не описания даже, а наброски, всего лишь штрихи, были необычайно картинны. Озадачивало только неупоминание в дневниках конного завода, откуда я приехал в Дунино. До деревни, где находился дом писателя, доехал я минут за тридцать пять-сорок, и не гнал («За галоп голову оторву», – предупредил тренер Гриднев.). Рядом, можно сказать. А в пришвинском дневнике ни слова о лошадях, ходивших по лугу табуном.

Что касается литературных умолчаний в том же дневнике, их можно было объяснить, как я полагал, личными пристрастиями. Знавший себе цену, Пришвин и писателей-собратьев игнорировал. Читая его записи, нельзя было и подумать, что некогда неподалеку, в бывшем имении Ивана Морозова, жил (и умер)

Горький, а возле него в Малоденово – Бабель. Нельзя было из пришвинских дневников узнать, что через реку, на Николиной горе, стоят дачи Вересаева и Алексея Толстого, чей талант вызывал зависть у всех, от Бунина до Булгакова, ни Сергея Михалкова, чьи детские стихи, скажем, про щенка, я думаю, так же бессмертны, как пришвинские рассказы о «ребятах и утятах»…

Из никологорских жителей Пришвин признавал физика Капицу. Верхом или вплавь возле дачи Капицы я обычно переправлялся через реку, а если просто проходил мимо, то часто сталкивался с ним на тропинке, где он когда-то прогуливался с приехавшим его навестить Полем Дираком. Мы встречались глазами. Знакомы не были, поэтому только смотрели друг на друга в упор. На меня устремлен был взгляд водянисто-голубых глаз пожилого человека с внешностью, напоминавшей Спятившего Шляпника из «Приключений Алисы в Стране чудес» с иллюстрациями Теннила. Мои приятели-физики работали в Институте Физических проблем, в просторечии Капишнике, где директорствовал Капица. Они рассказывали о том, что у них на семинарах только и разговора, что об этой детской книжке. Против общего правила, в силу которого взрослые книги со временем как бы впадают в детство, становясь чтением для детей, «Приключения Алисы» повзрослели. В детской книжке обнаружили истоки современных, самых поистине безумных, выходящих за пределы здравого смысла, научных теорий.

Глаза Капицы испытывали меня на вежливость, а я, по молодости, внутренне упорствовал: «Стану я с тобой здороваться только потому, что ты всем известный Капица!». Однако однажды мне его жалко стало. Это было поздно вечером. Почти ночью. В опустившейся темноте Капица стоял в халате на берегу и взывал к рыбакам, которые у реки развели костер, а снопы искр летели к его даче. Сильный ветер нес искры от костра и вздымал полы халата ученого. «Товарищи, – донеслось до меня слова, когда я был на средине реки, – товарищи! Вы сожжете дом и мою научную лабораторию. Товарищи!». Снизу ветер приносил: «Пошел на…!» – «Товарищи!» – «Пошел на…!» Лошадь вынесла меня на тот берег, я оглянулся: голоса уже не долетали до меня, но ветер по-прежнему нес снопы искр и вздымал полы халата ученого. О, нет, не люди темные угрожали даче и лаборатории, рыбаки прекрасно знали, кто к ним взывает, но тот же ученый жил советским барином, вот они, как могли, и показывали ему мозолистый рабочий кулак. Рыбаки были из местных и, как большинство местных, работали на «господ», и, как это часто бывает, слуги служили и ненавидели тех, кому служили. Петуха бы на весь поселок пустили, была бы их власть.

У Пришвина в дневниках, положим, не было ничего даже о входивших в ту же округу местах пушкинских, толстовских и чеховских, а также о соседнем Ославском, где у Трубецких гувернанткой служила «дочь Альбиона» – мать внебрачной дочери Байрона. Глядя на этот дом, я вместе с лошадью полетел с откоса: повод, забывшись, затянул, жеребец попятился, оскользнулся и – полетели.

Был ли Пришвин уж до того неосведомлен, что не знал о литературных преданиях края? В заключительный период жизни Михаил Михайлович, уединившийся вместе с Валентиной Дмитриевной в Дунине, поглощён был собой настолько, что ему было не до Байрона и даже не до Пушкина вместе с Толстым и Чеховым впридачу. Гордится тем, что переписчик Толстого переписал его рукопись и не отдает (или не хочет) отдать себе отчета в том, что Толстой приезжал, и не раз, гостить в ту же округу. Живет в получасе ходьбы от первоисточника чеховских рассказов. И вот певец природы умудрился не заметить лошадей, хотя всякий раз, когда отправлялся он в город и возвращался в сельский свой *repos* (приют), проезжал на автомобиле мимо конюшен и вдоль левад. Как если бы в полнолуние не разглядел он серебристого диска на небе!

Недоумение моё мотивировалось и практически. Никто из строивших дачу в тех местах не мог обойтись без помощи и даже санкции директора конного завода. «А ты где обитаешь?» – при встрече спрашивал меня директор. Жил я где придётся, у наездников и конюхов. Директор привык к моему присутствию настолько, что дал разрешение занять комнату в строении, подлежавшем сносу. Так что я шкурой недоумевал, как можно не заметить конного завода.

Как рассказывал Фейнберг о Пришвине: острое восприятие, но избирательное, не желающие замечать чего почему-то видеть не хочется. Уж почему, вопрос другой, но не хочется и – не видится. Не только мимо загородок, за которыми разгуливают кони, проезжал певец природы, не замечая таковых. Не хотел он признавать границ собственного дарования. Нет, живое слово творится не тогда, когда сказывается. Оставшееся на бумаге после множества черновиков слово создает впечатление, будто оно живое, сказывается оно по сюжету или не сказывается. У Пришвина *живого слова* хватило на тоненькую карманного формата книжечку, вместившую все творческие поиски и муки, которыми заполнены восемь томов его собрания сочинений.

Шолоховский вопрос

«Роман «Тихий Дон» в совершенстве сочетает классический русский и социалистический реализм».

Эрнест Дж. Симмонс.
Введение в русский реализм.

Социалистический, советский, коммунистический необходимо было вычеркнуть – стало ясно после того, как изучили мы материалы Шведской Академии. В завещании Нобеля сказано: награждать – за что? За направление мысли. Какое? И-де-а-ли-сти-чес-ко-е. Стало быть, парящее над политическими пристрастиями и прочими земными заботами. В библиотеке Академии видел я читанные рецензентами книги, поданные в своё время на премию и чуть ли не на каждой странице: «Какой это идеалист?!». Киплинг, последний из писателей-мифотворцев, вот кто умел мастерить фигуры, выходящие, пусть на четырёх лапах, за пределы книжного переплёта. Он обладал словесной магией, но за что же ему премию идеалистическую дали, если у него идея империалистическая?

За Шолохова встал Чарльз Сноу, сказавший нашему Большому Ивану: «Высылайте бумаги, а я подам независимый голос с Запада». Иван нас вызывает и приказывает, чтобы к завтраму было готово. Прочёл я документацию, возвращаюсь в директорский кабинет и, помогая себе, как Полоний, жестами, говорю: «Отделите это от этого, снимайте с меня голову, но если хотите, чтобы дали премию, такие слова, как социалистический и коммунистический, лучше не употреблять». Поднялся Большой Иван из-за своего служебного стола во весь свой рост, который Луначарский приравнивал к высоте телеграфного столба, и, убив меня взглядом, как громовержец, прогромыхал: «И вам не стыдно? А ещё бывший комсомолец!» Но дал добро – во имя интересов государственных.

Изготовил я документы и отправил, а пакет вернулся обратно. Все побледнели, а Иван почернел. В чём дело? Нет никакого Нобелевского комитета там, куда – с опозданием! – были посланы наши бумаги. «Копенганен!» – ударило меня. В тот день у меня в голове был Копенгаген. После годичной стажировки оттуда вернулась одна из моих соучениц по МГУ, и по такому случаю я спешил на встречу всей нашей университетской группы. Отправлял я бумаги вроде бы в Стокгольм, а сам думал:

«Копенгаген! Копенгаген!» Вот и вернулся пакет… из Дании. Даю телеграмму в Швецию: «Бумаги давно отправлены». А там не только наконец дошедшие до них бумаги приняли, но и премию дали как было предложено – без партийности, а просто «За бескомпромиссную правдивость».

Позднее, оказавшись в Стокгольме с лекциями по линии «Знания», я первым делом попросил свидания с доктором Остерлингом, ответсекретарем Академии. Шведы насторожились. «Это вы хотите с ним о Солженицыне говорить?» – спрашивали, потому что Остерлинг, жавший руки и Голсуорси, и Бунину, и Элиоту, и Фолкнеру, и Шолохову, только что пожал руку Солженицыну. «Причем тут Солженицын, – говорю, – доктор меня выручил». И пожал я ту же спасшую меня от гражданской смерти руку.

В беседе с Остерлингом, выполняя поручение наших специалистов по Толстому, я спросил, на каком основании ему не дали премию. «В первую очередь подумали о Толстом!» – ответил Остерлинг. К этому он добавил: «Премия была тогда ещё молода, и Шведская Академия опасалась, что отказ Толстого с его мировым авторитетом поколеблет нашу едва установившуюся репутацию». В то время Толстой творчество своё отверг и не принял бы премии как писатель. Все-таки он согласился принять премию как борец за мир и уже собрался ехать в Стокгольм, чтобы, обратившись к правительствам, призвать к роспуску армий. Правительства встревожились. Говорил же последний русский Император «У нас два царя, я и Толстой». Но отправиться Толстой хотел без жены, с Чертковым, а Софья Андреевна его не отпускала.

Жавший руки всем литературным Нобелевским лауреатам Остерлинг мне сказал: «Потоком шли письма из вашей страны – не давайте Шолохову, дайте Паустовскому». А за что? Доктор улыбнулся. «Разве в этом дело?» – так можно было истолковать улыбку. А сказать он сказал: «Вы и представить себе не можете, что за политические интриги плетутся за кулисами нашей премии. Только я говорю вам это не для печати. Кроме того, сами знаете, скандал о плагиате».

Шолохов ли написал «Тихий Дон»? Вопрос вроде «шекспировского». А кто написал этого Шекспира? Вопрос старый, однако не устаревший, если отвечать на него по-новому. Шекспира написал Шекспир, – в этом ни один шекспировед сегодня не сомневается, но как написал – никто из профессионалов не повторит традиционного ответа: взял и написал, посетило вдохновение – излил на бумагу… Чтобы вдохновение посетило и взялся за перо, еще много чего должно

произойти, прежде чем кто бы то ни было что-то напишет. Творец не творит, а творится, так в сжатом виде можно обозначить современный подход, в котором есть свои крайности, как были крайности в романтической идее о «единственном» и «неповторимом», но в принципе – верно и бесспорно: в словах поэта дышат почва и судьба, по словам Александра Блока. Представить трудно, насколько коллективно-производно авторски-индивидуальное.

Текст «Тихого Дона», нам известный, принадлежит Шолохову – таков вывод Германа Сергеевича Ермолаева, американского эксперта русского происхождения, который выучил четыре тома наизусть, а мы опубликовали в журнале «Вопросы литературы» его статью. Точно так же Шекспиру принадлежит «Гамлет», вобравший, по словам современника, «полно Гамлетов». Об источниках «Гамлета» до сих пор спорят, ясно одно – это переработка другой пьесы и даже нескольких пьес, что считалось тогда в порядке вещей. Как сложился текст шолоховского романа, ещё только начинают исследовать. Допущенный к Шолохову мой очень хороший знакомый, историк, однажды по ходу нашего душевного разговора сказал: «Могу тебе рассказать, – и уже продолжил, – Серафимович…» Разговор происходил в редакции, его отвлекли, и к разговору мы не вернулись. Однако, надеюсь, мой друг известное ему расскажет, поэтому имени не называю.

Шолохов – Стаханов советской литературы, а вместе со Стахановым, как известно, трудилась целая бригада, но также слышал я от людей, достойных доверия: он и сам был орёл. О Шолохове говорили то же самое, впрочем, добавляя: «Пленённый орёл». На меня, хотя говорил я с ним лишь по телефону, произвёл он впечатление двух человек. Один в самом деле орлиного полёта, острый и полный энергии. Другой – смурной, трясина, но то были телефонные разговоры, а откликнуться на приглашение Михаила Александровича, настойчивое, прийти и разделить с ним компанию я не решился: на руках у меня были иностранцы.

В далёком будущем, когда многое окажется снесено могучим ураганом времени, исчезнут нынешние подпорки из пристрастий и организованных мнений, а что останется, то будет стоять на собственных ногах, тогда именно такие фигуры, чудо-богатыри нашего времени, пришедшие на смену классическому чеховскому «нытью», выдающиеся природные дарования, заряженные невероятной жизненной энергией, способные сказку сделать былью, станут привлекать к себе исключительный интерес. Стаханов, Шолохов, Чкалов, Жуков, Королёв – типажно их сыграл актёр из той же плеяды, Николай Крючков. Почему, как в кинокомедии «Свинарка и пастух», оказалась им отведена роль

(мягко выражаясь) простофиль, которых, как Чапаева из фильма, водят за нос и в итоге оставляют ни с чем?

Нет в мире неподсудных, Шолохова не только можно, но и нужно так сказать разоблачить, как разоблачили, то есть изучили до последней строки Шекспира, обнаружив его зависимость от современников и придя к выводу, что сочетал он готовые формы, но – как сочетал! Моцарт, пишет историк музыки, не изобрёл каких-либо новых форм. И я не знаю великих писателей, которые бы являлись изобретателями-первооткрывателями, зато, как всем известно, великие писатели были великими читателями, они вычитывали приёмы и формы у ныне забытых новаторов, применяя их с такой содержательной выразительностью, что кажется, будто они те же приёмы и формы открыли, а они – завершители.

«Донские рассказы», несомненно, шолоховские, и «Тихий Дон» – одна рука по стилю и направлению мысли, по энергии и накалу страстей. Но в «Тихом Доне» охват и материал огромный, попадаются (как я думаю) страницы, в которых дает себя знать другая рука. Кроме того, установлено нечто невероятное, если считать, что роман полностью принадлежит никогда не воевавшему двадцатипятилетнему автору. В шолоховском эпическом романе размером с «Войну и мир» нет ни одной исторической ошибки, не спутаны бесчисленные «выпушки, петлички», когда они путаются у отвоевавшего три войны Толстого. Откуда такая безошибочность? Далее, пусть не говорят мне, что иные эпизоды «Тихого Дона» кто-то способен было создать лет в двадцать пять, что не означает, будто одарённый молодой прозаик эти эпизоды у кого-то просто списал. Но даже при сверхгениальности – что молодо, то зелено, как «Герой нашего времени». И это касается не войн и революций. Пуская людей в расход или раскулачивая, как это смолоду делали талантливейшие писатели советского времени, Шолохов и Гайдар, всё равно, по той же молодости, некоторых мелочей в поведении тех же людей заметить не могли, скажем, как мать дает грудь ребенку, что в романе подмечено зрелым взглядом, а возрастной взгляд неподделен. Для этого нужна житейская мудрость, которая до положенного срока не наступает. Молодой талант способен оценить зрелый взгляд и как источник удачно использовать, что, я думаю, в «Тихом Доне» и сделано.

Если бы о подсобных материалах выдающегося по достоинствам романа, вышедшего (согласно мнению тех, кто думает, как Ермолаев) из-под пера Шолохова, было сказано в авторском предисловии, как всегда делалось и делается, то шолоховский вопрос оказался бы давно исчерпан: игра в

открытую беспроигрышна! Никто же не упрекал в плагиате Алексея Толстого – сам рассказал, как на основе «Пиноккио» создал «Приключения Буратино». Что там говорить! Вспомним крыловские басни, о которых все знали, что они не оригинальны. Крылов по-своему написал басни Федра и Лафонтена, но как написал! Почему Печорин читал вальтер-скоттовских «Пуритан» *сначала с усилием*? Там, одно за другим, три предисловия, объясняющие даже слишком дотошно и подробно, откуда автор взял (а не выдумал) то, о чём рассказывает читателям. Предисловие к «Тихому Дону» надо было, да и сейчас не поздно, написать.

Симмонс навёл критику на мою книгу о лошадях, указав, как и полагалось советологу, о чем я умолчал, – о конях в «Тихом Доне». Критический отзыв американца удалось опубликовать в журнале «Коневодство» – единственный симмонсовский текст, проскочивший в советской печати, и уж как он был доволен, видно, галочку себе где-то поставил. Ведь не допускали. В отличие от МГУ, в Минсельхозе, под эгидой которого издавался лошадиный журнал, понятия не имели о требовательном критике моей иппической исповеди.

Критика Симмонса была совершенно справедливой: среди всех коней, которые проносятся по страницам «Тихого Дона», есть и племенной дончак – четко, умелой, я бы сказал, набитой литераторской рукой прописан иппический этюд, вроде рисунков Ватагина к «Маугли», сделанных в эпоху таланта плюс умения. На этой странице романа стилистическое мастерство сочетается с чувством материала. Точно на таком жеребце я ездил, был он ещё норовистей, по кличке Зверобой, в конюшенном просторечье и по характеру Зверь. Такие кони считаются «людоедами»: едва подойдёшь к нему седлать, бросается на тебя, чтобы зубами загрызть и копытами передними затоптать. Зверь даже ещё пытался теми же зубами вытащить меня из седла уже после того, как успевал я на него взобраться, но таково было условие моего пребывания на той конюшне – езда на Зверобое, а я тогда по возрасту принадлежал к молодому племени, которому, по словам Петрарки в переводе Пушкина, погибать не больно.

Умолчал же я о шолоховских конях потому, что при обработке этого мотива нельзя было использовать наиболее яркие из доступных мне красок. Михаил Александрович в телефон говорит: «Н-ну, где ж-же т-ты? Жжду». А тут из хрущевского секретариата звонят и приказывают очень любезным тоном: «Вас с иностранными гостями гордость нашей литературы ждет, так уж, пожалуйста, расстройте встречу». Звоню, слышу: «Г-где же ты? Что? Ну, хоть сам приходи. Ж-жду!». Дрогнул я – не решился.

Потом слышал, рассказывали, будто мы с Шолоховым всю ночь пили и говорили о лошадях. К сожалению, не пили и не говорили. А жаль было легенду разрушать. «Такому вранью грех не верить», как говорил Хемингуэй.

«Отрицательная возможность» – так называли поэты-романтики событие несостоявшееся, но всё же имеющее значение по самой возможности такого события. Разговора, как я уже сказал, было у нас два. При воспоминании о первом звучит у меня в памяти голос поистине живого классика – он настаивает, чтобы я ему назвал своё отчество. Спокойно и серьезно, без малейшей рисовки, отвергает мой довод: слишком велика для меня честь по возрасту. Настаивал Шолохов, желая проверить, кто я – по отцу. Когда же отчество я назвал, столь же естественно тот же звонкий приветливый голос произнёс: «Ну, вот, мы с тобой Михаил и Михайлович», и как бы установив через имена неофициальную связь между нами, Шолохов столь же благожелательно продолжил: «Буду в Москве через месяц, тогда и увидимся: звони!». Через месяц: «Г-где жже ты? Ж-жду!».

У противоположной прямой

– А как насчет нового человека? – садясь в такси, спросил я у водителя.

– Это еще кто такой? – удивился таксист.

Проф. Симмонс в сб. «Советский Союз меняется»

На фоне закатного небосвода, у противоположной прямой, возле конюшни делят выручку американский литературовед и наш призовой наездник. Ученый не сразу выразил готовность отправиться на бега даже после того, как я сказал ему, что мне не до него – у меня на руках рысак, которого надо готовить на приз, и не лучше ли наши беседы и встречи перенести поближе к лошадям. «Герцен, – добавил я, стараясь воздействовать на заокеанского специалиста по России, – бывал на бегах». Однако я не учел: при разговоре о Герцене неизбежно пришлось бы затронуть его разочарование в Западе, чего осведомленный гость-русист, приехавший к нам проводить свою линию, очевидно, предпочитал не делать.

Кто же еще, как не Симмонс, должен был приехать к нам первым? Как только начался научный обмен, основатель Центра по изучению СССР прибыл в Институт мировой литературы. Он и раньше не раз приезжал к нам, впервые – еще в свои аспирантские годы. В то далекое время, как он рассказывал, работая над своей диссертацией, Симмонс снимал комнату рядом с Трубной площадью у спекулянтки-фарцовщицы. Снимал Симмонс собственно не комнату, а, уточнял он, лишь половину комнаты, вернее, только кровать, отделенную от ложа самой хозяйки лишь пологом не выше постелей. После дневных трудов каждый на своем поприще, в поисках ложа и сна, как говорит Гомер, они имели обыкновение беседовать. Укладывались и начинали делиться друг с другом впечатлениями. Симмонс возвращался из Отдела рукописей публичной библиотеки, которая тогда еще продолжала называться Чертковской, а квартирная хозяйка приходила с черного рынка. «Она была неграмотна, однако без труда проводила любые валютные операции», – рассказывал Симмонс, не уставая восхищаться простой русской женщиной, на всю жизнь запомнившейся ему своей смышленостью. Точно так же он неизменно отдавал

должное безграничной эрудиции своих русских научных наставников, а когда говорил об архивистах из Отдела рукописей у него тряслись губы. У него голос дрожал, когда он рассказывал, какие это были отзывчивые помощники. «Люди! Какие люди!», – восклицал Симмонс. А квартирная хозяйка, пусть спекулянтка и воровка, но – душа.

«Однажды, – говорил Симмонс, – в награду за ее простодушно-откровенные истории о проделках на черном рынке я решил тоже что-нибудь рассказать для нее интересное». Учитывая ее международный валютный опыт, заговорил он о своем житье-бытье в Париже, а хозяйка: «В каком Париже?» Город, говорит Симмонс, во Франции. «Какой Франции?» Ну, как же, страна в Европе. «Ага», – услышал он с соседней кровати, но, повернув голову, благо разделявший их полог был низок, прочел у хозяйки в глазах: «Какая еще Европа?» И эта баба, по его словам, переводила фунты во франки, марки в гульдены, песо в доллары, а все это вместе взятое в рубли и наоборот без малейшего труда. «Русские люди! Ах, эти русские люди!», – приговаривал Симмонс.

Не желая оставаться в долгу перед Симмонсом, я с ним тоже делился кое-чем заветным. Например, когда мы с ним поехали в Ясную Поляну, почему среди прочих перемен, замеченных им (а он там бывал в те же аспирантские годы), вокруг могилы Толстого, вопреки собственной воле великого писателя, появилось ограждение?

Симмонс меня допрашивал: «А седло?» Ведь он где-то читал, что толстовское седло пропало. «Я прекрасно помню это седло, – говорил он. – Где оно? Ведь это по вашей части». Думать о том, что кто-то спер толстовское седло, было тяжело. Непрошеные фашистские гости, придя в Ясную Поляну, вели себя там по-свински, но кто все-таки взял седло? А когда мы с Симмонсом в Ясную Поляну приехали, то оказалось, как он сказал, что и фамильных фотографий на стенах и вообще вещей в доме стало много меньше. Тут я и перевел разговор на другое, предложив Симмонсу свою историю, как однажды очутился я в Ясной Поляне особым образом.

На краю Куликова поля, по линии Общества «Знание», прочел лекцию о Шекспире, пробрался в Прилепы, там дали мне беговые дрожки, и покатил я в Ясную тем же манером, как навещал соседа Оболенский, со слов которого Толстой, барьерных скачек в жизни не видевший, создал в «Анне Карениной» эпизод, незабываемый и невероятный.

Итак, мы помчались – полями. Мы – с лошадью мне доверенной. Породной. Высокопородной. С племенным аттестатом. Ноги не сменит – чешет, как часы. Прошел легкий

дождь, оросивший окрестные луга и синевшие вдали леса. Все по книжке. Лошадь была как лошадь, но доверенный мне старинный экипаж оказался не в комплекте – не было защитного фартука, и закидало меня грязью, летевшей из-под задних конских копыт и с передних колес. Словно собираясь исполнять роль сразу двух мавров, шекспировского и шиллеровского, я сделался черен чрезвычайно и, кроме того, до нитки промок. Но все же, чтобы с почерком, как меня учили мастера, пронестись между всемирно известных бело-зеленых почтово-сторожевых столбов, выслал лошадь, подкатил к барскому дому, и взял на себя, осадил – насколько сумел.

На террасе, словно семья, только без писателя, сидели сотрудники. Дело шло к вечеру. Посетителей уже не было. Чтобы не нарушать теплого летнего благолепия, тихим голосом, но внушительным тоном я представился. Могу, вымолвил я, предъявить даже два удостоверения и как член Всесоюзного Общества «Знание», и как старший научно-технический сотрудник, проще говоря, референт Института Мировой литературы имени А. М. Горького Академии Наук СССР, но оба документа лежат во внутреннем кармане моего пиджака, до которого добраться едва ли возможно, потому, что нельзя мне выпустить из рук вожжей – лошадь убежит: кровного рысака не привяжешь – на месте стоять не может, кровь говорит. Толстой эту поговорку любил, не правда ли, а кроме того… Без дальнейших объяснений мне поверили. Грязью с головы до ног был я покрыт непролазной. Тут же одежду мою, за исключением трусов, чтобы вымыть и просушить, забрала жена яснополянского пожарного, а сам он, пожарный, сказал: «Ведь надо чего-нибудь взять!»

Не только пожарный и его супруга, а все сотрудники заповедника проявили ко мне, как им полагалось по службе, сострадание и сочувствие. Директор, связанный с Толстыми, пусть не семейно, но сословно, незабвенный Н. П. П., увидев перед собой, как он выразился, «сове'гшенное чю-юдище», либо покрытое густым слоем грязи, либо ничем, кроме трусов, вовсе не прикрытое, в порядке исключения пустил меня в толстовский ватерклозет. А пока чудище пользовалось мемориальной уборной, директор постукивал в дверь и повторял барским фальцетом: «Только, п'гошу, не забывайте, где моетесь. Осознайте, где сове'гшаете свой ту-алет!»

Из священного сортира я вышел, а пожарный будто на часах: «Пошли в кучерскую!» Пришли мы в историческую сторожку, маленький домик с большой мемориальной доской, на которой указано, что отсюда Лев Николаевич ушел навсегда, а вышел я из

кучерской уже глубокой ночью, как был, в одних трусах, и в сопровождении сотрудника Ар-ского. Нет, меня вовсе не хотели изгнать из литературной Аркадии или творческого Эдема. Такой там порядок – научный сотрудник и недремлющий пожарный всю ночь несут вахту, охраняя усадьбу, где жил великий писатель земли русской.

В награду за наше с пожарником гостеприимство, Ар-ский хотел мне показать вс-сю уссса-адьбу, а, кроме того, повествовал о том, что мало кому тогда было известно. Услышанное мной из семейных толстовских тайн было настолько ошеломляющим, что я не чуял под собой ног. И вдруг – удар ниже колен. Чувствую – лечу вниз головой. А откуда-то сверху раздается: «Разве вы здесь прежде не бывали?» То есть что ж это я, не вижу, куда ступаю? Ну, во-первых, никогда еще не бывал я в этих местах по ночам, а во-вторых, не мудрено и без того шедшую кругом голову потерять после всего того, что я услышал. Полетел я через могилу в овраг, прямо под куст, где похоронен верный конь великого писателя, проведшего, по его собственным подсчетам, изо всей жизни семь лет в седле. После моего падения и были приняты меры, хотя и в нарушение воли Толстого, который, как известно, завещал последнего покоя его ничем не ограждать.

Все тот же яснополянский директор, с тактом делая вид, что меня не узнает, повел нас с Симмонсом к все тому же небольшому зеленому холмику, через который я кувыркнулся, и, перешагнув через шаткое веревочное ограждение, сорвал с куста веточку или стебелек для Симмонса. Тут у американского биографа Толстого не только задрожали губы, но слезы появились на глазах, и он повторял: «Русские люди! Ах, эти русские люди!».

Не тогда ли у американского ученого мелькнула мысль, которую потом проводили в своих трудах – и в жизнь – все советологи, вплоть до Сюзанны Мейси, а с ней мы вместе выступали на Лонг-Айленде перед школьниками. Сюзанна рассказывала, как удалось ей пробиться к Президенту Рейгану и рассказать ему, что в Советском Союзе люди хороши, очень хороши, только у них система плохая. Надо им помочь сбросить коммунистическое ярмо. Рейган до того расчувствовался, что просил Сюзанну, по её словам, повторить тот же рассказ семь раз и советников своих приглашал, чтобы послушали. Влияние рассказов Сюзанны на Рейгана и на исход холодной войны теперь признается историками. В новейшей книге говорится, что, наслушавшись рассказов Сюзанны, Рейган поехал на встречу с Горбачевым и, как только Горбачев заговорил о Боге, они нашли общий язык. Что нашли они общий язык, сомнения в том быть не может. Не всё известно, о чём говорили они на общем языке. Во

всяком случае, после этих переговоров, очевидно, во исполнение Евангельской заповеди о любви к врагам своим, Горбачев дал Рейгану обещание разоружиться в одностороннем порядке, что подтверждает в своих мемуарах спичрайтер Рейгана. О чем ещё говорили они, того пока никто не знает… Но слушая Сюзанну, хотя она сносок не делала, я про себя говорил: «Симмонс! Сплошной Симмонс!».

«Это разведчик, идеологический разведчик», – определил, назначая меня ему в помощники заместитель директора, донской казак Владимир Родионович Щербина. Всех и все этот зам видел, что мог повидать наш человек с высшим образованием без низшего, начавший путь матросом, а в итоге поднявшийся на капитанский мостик академического корабля. Руководил он без ража, без крайностей, стараясь по меньшей мере не навредить, понимая, что с людьми надо, по мере возможности, обращаться по-людски. Ему однажды иностранный гость, имея в виду даже не персонально его самого, а категорию таких же ответработников, пробовал сказать: «Ви сажьяли лудей…». «В жизни никого не погубил!», – раненым быком взревел наш Родионыч, принявший эти слова на личный счет, и надо было отдать должное подобному признанию, ведь не в стороне от кровавой мясорубки стоял человек. И он, прежде всего для себя, хотел уяснить, что же означает начавшееся сближение с Западом, в первую очередь с Америкой. Иностранными языками не владея, он понимал без перевода, чего хотят приезжающие к нам из-за рубежа. Что же из всего этого выйдет и чем закончится? Вот что его занимало. «Ставку они делают на молодежь вроде тебя», – сказал он тем же тоном, как бы безучастным, и не в упрек мне. То была дефиниция вроде той, что дал он Симмонсу. Вот разведчик, а вот… У меня же и мысли не возникало о том, что американский ученый может заниматься некоей побочной, оперативной деятельностью. Ведь у нас о таких литературоведах говорили с иронией – *в штатском*. Таких у нас в самом деле презирали или по меньшей мере чурались, держась от них в стороне.

Мне Симмонс рассказывал о том, как молодым человеком в Сорбонне слушал он лекции знаменитого компаративиста Париса, как там же, во Франции, встретился с Бальмонтом, как, приехав затем в Москву, видел «Багровый остров», тут же снятый со сцены, а когда мы с ним были в Ясной Поляне, расплакался… В то время как власти подозревали в нем политического лазутчика, мне Симмонс поведал, что его заветная мечта – установить интимные подробности из жизни Чехова. «У вас же нет биографии ни одного вашего классика», – говорил американец. Имел он в виду жизнеописания, которые Джордж Бернард Шоу, ставший

объектом такой инвентаризации при жизни, сравнил с телефонной книгой. Читать с начала и не обязательно. Чтобы поскорее найти какой-нибудь биографический факт, следует заглянуть в указатель, где все перечислено в алфавитном порядке. А… алкоголизм… антисемитизм… Б… болезни. На «П» уточняется, что пил. И с кем спал на «С». У нас же биографии оскоплены – не идут глубоко в освещении «науки страсти нежной», не показывают писателя как человека, ибо всякий человек – это человеческие слабости. А у нас – великие, но как бы и не люди. Да, великий человек и слаб иначе. Но как – иначе? Почему воспоминания Лидии Авиловой, которая была влюблена в Чехова, опубликованы с купюрами?

Симмонс спросил меня об этом в ту пору, когда в ИМЛИ и не приступали к ответу на вопрос о том, почему Чехов, объехав чуть ли не полсвета и думая ехать еще дальше, вдруг повернул домой. Иссякли ресурсы? Или, может быть, зарази… Не пожелает ничего такого даже слышать наш академик-секретарь, не разрешит доискиваться причин преждевременного возвращения и своей рукой вычеркнет ночь любви, проведенную Чеховым на берегу Индийского океана, а затем запечатленную со всей живостью чеховским пером. Члены редколлегии будут его молить, прося оставить снятый текст в томе чеховской переписки, однако останется неприступен глава советского литературоведения. А что сказал бы академик Храпченко, который сам никогда никаким излишествам не предавался, курева не выносил, хмельного не терпел, и запьянел лишь раз в жизни в присутствии Сталина по требованию Берии, после чего тут же отключился, потеряв сознание, а когда пришел в себя, его бережно поддерживал Ворошилов, что Михаил Борисович сказал, если бы услышал он рассуждения нашего первейшего идеологического врага?

«Если бы удалось увидеть рукопись Авиловой, я бы включил какие-то новые сведения во второе издание моей чеховской биографии», – говорил Симмонс. Авиловская рукопись хранилась не в ЦГАЛИ, а в ЦГОАР, не в Литературном – Государственном архиве, что придавало ей таинственности. Зачем скрывать признания «чайки»? Что заслуживало особой секретности в исповеди «попрыгуньи» или «душечки»? Почему оказалась писателем отвергнута еще одна дама, если не с собачкой, но с детьми? Бумаги на официальных бланках, просьбы, заверенные всеми подписями, все было сделано, что требовалось, чтобы наконец, в порядке исключения, наш враг был допущен к нашим тайнам.

В ожидании Симмонса, пока он изучал потайную рукопись, я стоял на Пироговской против угрюмого здания с узкими

продолговатыми оконцами, ибо и самый свет должен был проникать в это капище лишь в строго ограниченных пределах. Сиял веселый солнечный день, и по контрасту с полуденной яркостью исследователь, когда он появился на выходе, выглядел особенно мрачным. «Ничего там нет», – буркнул Симмонс. И пошли мы с ним солнцем палимы. Вдруг американец спросил: «Куда это вы предлагали пойти? В жизни на бегах не бывал!»

Ради гостя пришлось пойти на риск. Ездить на класснейших лошадях, возле которых и постоять рядом не каждому доводится, предоставили мне возможность полную. Дали бумагу, где говорилось: «В любое время суток». Зато дорога к тотализатору оказалась для меня раз и навсегда закрыта. Однако ради Симмонса пришлось сделать исключение. А мой старый друг-наездник оказался недоволен лишь тем, что с просьбой пометить программу, на кого ставить, мы явились к нему прямо перед началом бегов. «Прибыл, понимаешь, в последнюю минуту! Разве так серьезные дела делают?», – ворчал мастер, я же сослался на неискушенность в делах азарта, опять-таки вынужденную. «Деньги твой американец принесет?» – задал наездник решающий вопрос. Я поручился за Симмонса. Тогда великий конник, несколько смягчившись, сказал: «Ставь на меня». У нас это верняк, в отличие от западных нравов, где признавать поражений не принято, поэтому всегда говорится: «Первым буду я», а на самом деле чаще всего получается – последним.

Мы поспешили в трибуны. Симмонс сделал ставку. Раздался звонок на старт. Пошли! Мой друг не подвел. Симмонс получил в кассе выигрыш, и едва только я сказал ему, что надо поделиться с наездником, он воспринял это как само собой разумеющееся, лишь спросил: «Какой процент?» Процент его не удивил и даже вполне устроил. «Как у нас», – сказал он. Вот это понравилось ему больше всего: у нас, как у них – конвергенция! Полный Питирим Сорокин. Социолог-эмигрант, ставший профессором в Гарварде, он пророчил, что коммунизм будет превращаться в капитализм, а капитализм станет не отличим от коммунизма, почему сборник с его статьей у нас и законопатили в спецхран как беспардонную ложь, а высказанное Питиримом Сорокиным ныне приписывают Сахарову.

Тут зазвучал «Марш победителей», наш друг триумфатором явился перед трибунами, публика возликовала, а сверху на беговую дорожку из гостевой ложи пала тень уникального уса. Ни с каким другим усом спутать было нельзя. Стоило только поднять голову и взглянуть на гостевую ложу: «С неба полуденного жара не подступи. Конница…» И тут же азартная игра, как при буржуях. Радости Симмонса не было границ. «Есть куда поехать?

С цыганами?», – после нашей удачи в игре спросил он, вероятно, полагая, что время пошло-таки вспять и уже пора гнать туда, куда некогда гнали в сходных обстоятельствах. Но прежде надо было отдать деньги.

Закат пылал, беговой круг остывал от кипевших на нем страстей, посреди высокой травы, у противоположной прямой, словно черти на болоте (так они на фоне горящего небосвода выглядели) ученый с наездником делили выручку.

Эй, ямщик, гони-ка к…

Взяли мы, за неимением лошадей, такси и – погнали. Цыган, как того хотел Симмонс, не нашли, зато ресторанный оркестр там, куда мы приехали, рванул рок-н-ролл, и публика, вскочившая как по команде из-за ломившихся от жратвы и выпивки столов, устроила такой шабаш, что у Симмонса из разжавшихся зубов чуть было не выпала дымящаяся трубка. До того широко раскрылся у него от удивления рот. Если приехал он выяснить, насколько и в каком отношении меняется Советский Союз, хотят ли советские люди новейшего образца плясать под их музыку, то представить себе такой готовности он не мог.

* * *

Снимая на Трубной площади кровать у фарцовщицы, Симмонс писал свою диссертацию о русско-английских культурных отношениях, начиная с Ивана Грозного. Царь Иван сначала думал эмигрировать в Англию, потом передумал и решил жениться на английской королеве, ни того ни другого сделать ему не удалось, однако отношения с Англией, прежде всего торговые, налаживались. Это – шекспировские времена, которыми и я по-своему занимался. Пользуясь случаем, делился я со знатоком того же предмета замыслом повести от (так сказать) лица русского медведя, сражающегося с английскими бульдогами. Медвежий садок расположен был рядом с шекспировским театром, наряду с черной икрой медведи составляли предмет нашего экспорта. Всё это есть в шекспировских пьесах, и всё это исследовал академик Алексеев, а Симмонс был горд и счастлив, получив приглашение от Алексеева приехать к нему в тогдашний Ленинград, нынешний Санкт-Петербург.

Как раз тогда я был записан на приз, на Трагике, гнедом, от Гильдейца, Прилепского конного завода, и Симмонс был

вынужден отправиться один. Академия Наук воспротивилась было, что нельзя же ведущего идеологического врага отпускать на все четыре стороны куда ему вздумается, но удалось их убедить, что это будет лишним доказательств всех преимуществ нашего образа жизни. Кроме того, Симмонс обещал съездить только туда и сразу обратно. Приз я проиграл, а Симмонс, вернувшись действительно чуть ли не на следующий день, имел вид тоже не победителя. И тут же без улыбки отдал мне увесистую книгу, под руководством Алексеева созданную и самим Алексеевым ему подаренную. «Слишком толстая, у меня и так будет перевес в багаже», – объяснил свой широкий жест Симмонс.

Таким подарком я был осчастливлен, потому что иначе достать фундаментальный труд «Шекспир и русская культура» было невозможно, а книга была мне позарез нужна. Заполучив этот кладезь необходимых мне сведений, решил я взглянуть, что же там говорится про Симмонса. Так вот почему мне повезло! Чтобы сразу определить, насколько содержательна книга, он, вероятно, сразу сделал то же самое, что и я, посмотрев, содержится ли в этом труде ссылка на его диссертацию. «Ничего нового для нас мы из этой диссертации не узнали», – так примерно писал Алексеев.

Да, удивить этих научных китов, которых мы ещё застали, было невозможно. Однажды состоялся у меня с маститым академиком разговор даже не о литературе – о лошадях. Ну, думаю, уж тут я не оплошаю! Вдыхал ли многоуважаемый Михаил Павлович когда-нибудь, выражаясь по-конюшенному, благородный аромат конского пота? А он между тем меня спрашивает: «Не попадалась ли вам «История лошади, записанная с её собственных слов»?» Н-не попадалась. «Сочинение это вышло анонимно на английском языке в конце восемнадцатого столетия и, я полагаю, могло послужить Толстому в числе источников, когда он создавал Холстомера», – говорил Алексеев, глядя на меня поверх очков, а в глазах его я читал: «Как с вами, молодой человек, беседовать о лошадях, если вы не знакомы в достаточной мере с литературой по этой теме?».

* * *

Из Америки Симмонс мне прислал свои книги. Биографии Пушкина, Толстого, Достоевского, Чехова в силу их вынужденной безвредности я получил беспрепятственно. Некоторые его труды по советской литературе не дошли до меня, отправившись в спецхран. Однако сборник со статьей «Советский человек нового

образца», содержавшей беседу с таксистом, уже не наша цензура, не Главлит, а сам Симмонс не счел нужным мне посылать. Ученый подверг себя своей собственной цензуре и сам себя «закрыл». Видно, мне и знать не полагалось, что американский биограф великих русских писателей печатает статьи, написанные на основе разговоров с московскими водителями. Я же с ним был откровенен, ничего не скрывал, однако по серьезному политическому вопросу он все же предпочел обратиться к таксисту.

Прикидка

Мы очутились возле ипподрома.

Дик Фрэнсис, «Прикидка»

Среди многочисленных, по заслугам имеющих успех, его романов «Прикидка» не первый сорт, но книга касается нас, в ней показаны ранние попытки легализовать нелегальное, узаконить незаконное – теневую экономику и неравенство. В этом заключалась горбачевская перестройка, и, прежде чем она началась, Дик Фрэнсис к нам приехал, увидел и об этом написал. Положим, не собственно Фрэнсис. Под его именем писала жена. Намек на это я слышал еще от Памелы Хэнсфорд Джонсон, супруги Сноу. «Говорят, Мэри Фрэнсис заготавливает материалы», – осторожно сказала Памела, сама писательница. А настойчивые слухи пошли после того, как английскому редактору попалась записка, написанная Фрэнсисом, и наметанный глаз сразу определил, что та же рука, прекрасно владевшая хлыстом, не владела пером. Не мог *так* пишущий создавать столь умело построенные повествования.

В моей практике был схожий случай с письмом от известного нашего прозаика. А моей жене, специалисту по Фолкнеру, дочь американского классика и заядлого лошадника сказала: «Писательницей была моя мать». Услышав это, я едва не выпалил: «А ваш отец?», но условием моего присутствия при знаменательной встрече было, что я буду держать язык за зубами, задавая вопросы исключительно о лошадях. Дочь унаследовала от

отца ту же страсть. Отец погиб, упав с лошади, она получила прямо в лицо удар копытом, однако после тяжелой операции наездничий пыл ее не охладел: лошадей она разводит, ездит на парфорсные охоты, об этом мне было предложено спрашивать сколько угодно.

Супружеское соавторство Фрэнсисов сделалось общеизвестным с выходом литературно-жокейской биографии бывшего всадника-чемпиона, под именем которого один за другим в течение тридцати лет выходили увлекательные криминально-скаковые романы. «Мне казалось, что муж мой больше достоин славы», – так супруга объяснила свое творческое самопожертвование, и верно: одним из важных условий убедительности «жокейских» романов было авторское имя всем известного конника, королевского, выступавшего под цветами Дома Виндзоров на лошадях, принадлежавших королеве-матери.

С Фрэнсисами, Диком и Мэри, кто бы из них ни писал, мы познакомились, поскольку я редактировал перевод его (их) первого, так и оставшегося лучшим, романа «Фаворит». Меня наши переводчики просили уточнить скаковую терминологию, но едва я принялся уточнять, начиная с начала, с названия – «Верняк», вариант был отвергнут нашими редакторами, как они мне сказали, чтобы не возбуждать нездоровых страстей. Супруги и, оказалось, соавторы приехали получить гонорар хотя бы в неконвертируемых рублях, и вот уж кого не требовалось упрашивать пойти на ипподром.

Правда, им удалось там провести совсем немного времени. Они прежде всего попали в лапы к «Маркианычу», А. М. Волошинову, Директору Циркового училища. Училище находилось через дорогу от ипподрома, и я думал – на полчаса заглянем и на ипподром, увидим утреннюю работу, пройдем по конюшням.

В Училище вела классы искусства моя мать, и визит был моей инициативой, но кто же мог подумать, что заварится такая «Демьянова уха»? Как с утра перед нами взялись кувыркаться, ходить по канату, летать под куполом, жонглировать, а в промежутках как стали один за другим являться на арену клоуны, так это и продолжалось без малейшего передыха целый день. Маркианыч неистовствовал, демонстрируя творение рук своих. Он основал это училище, когда-то захватив старый манеж, а теперь мечтал о новом здании, которое ему никто бы не дал, если, как он справедливо полагал, не создать вокруг этого общественное мнение. Вот он и создавал.

Видит ли незабвенный Александр Маркианыч теперь оттуда, «из-под купола», как выпускники его школы составили ядро

всемирно прославившегося Солнечного цирка, однако не слышно, чтобы достаточно громко было сказано, что они вышли из старого манежа на Пятой Тверской-Ямской. Все же говорят, что, кажется, кое-где об этом кто-то иногда упоминает, а между тем весь Солнечный цирк, весь стиль – с Пятой Тверской-Ямской! Этого стиля – «интеллектуального» – я терпеть не мог, поэтому вполне беспристрастно вижу, откуда идет имеющая успех та же искусная мертвечина. Маркианыч был, скорее, традиционалист, но считал, что против рожна не попрешь и нужно идти в ногу со временем. Мы с ним говорили о том, что цирк не должен умничать. Мудреность – не талантливость! Настоящий цирк «глуп» по-умному. Однажды Маркианыч устроил мне контрамарку в старый цирк, бывший Саломанского, на Цветном бульваре, и там увидел я одного из своих профессоров и, как молодым положено, выпаливаю очередную бестактность: «А вы что здесь делаете?» Взглянул он на меня без улыбки и отвечает: «Хотя бы раз в год всякий уставший от умственной деятельности и считающий себя образованным человек должен побывать в цирке».

Это на ипподроме мы с Фрэнсисами провели не больше получаса. В ту пору тяжелая неизлечимая болезнь уже сковывала Мэри, ей было трудно передвигаться, но мы все-таки вышли на круг, увы, опустевший, утренняя работа давно закончилась, прошли через Калугин двор и заглянули в одну из конюшен. Задним числом, судя по тексту, я могу оценить, как цепко она выхватывала описательные детали, вплоть до одного глухого угла на Калугином – все это попало в «Пробный галоп». Вскоре после их отъезда вышел роман с таким названием или, лучше сказать, для сохранения символики – «Прикидка». Роман поточного производства, но пророческий, о том, о чем будут писать многие: преступность не только пронизывает наше общество на всех уровнях, объединяя высших с низшими, образуя единый социальный слой из людей над законом и вне закона, но это положение пробуют узаконить, причем, в международных масштабах.

Мы и сами на этот счет не заблуждались, если вспомнить телесериал «Следствие ведут знатоки» и особенно Народного артиста Якута, показавшего тип респектабельного проходимца, который мог бы у нас на закате квази-коммунизма оказаться кем угодно, начиная с министра, премьер-министра и самого генсека, а был – бандитом. «Брю́тальность ужасает», – поделился в ту пору со мной один из наших конандойлей, братьев Вайнеров, подбросивший меня домой после заседания в Союзе писателей. Иностранное слово он произнес с вывертом для того, как видно было по его лицу, чтобы сказанное я получше запомнил. Но

сказать то же самое вслух публично наш писатель не мог. А Фрэнсис(ы) в своем романе поставил(и) все на свои места, называя вещи своими именами, и книгу тут же законопатили в спецхран как клевету на нашу страну. Даже в журнале «Коневодство», освобожденном от цензуры, не удалось пристроить хотя бы отрывок. В романе есть персонаж, моих лет московский житель, помогающий главным героям-англичанам понять, что к чему. На роль прототипа претендовать не могу – мы с автором(ами) говорили только о лошадях. Впрочем, Дик меня спросил, в какую сторону течет Москва-река.

– Течет, вас интересует, куда?

– Если стоять спиной к английскому посольству…

– Вам надо труп сплавить?

– Да.

Пришлось признать, что, навещая то одного, то другого своего дедушку, один из которых жил возле Пушкинской площади, а другой – в Замоскворечье, я провел полжизни, пересекая Большой Каменный мост туда и обратно, но ни разу не задумался над движением воды под мостом.

– До чего по-русски! – рассердился Дик.

Эту самую сцену – спуск убитого под лед у Софийской набережной, возле Британского Посольства, я и перевел, но даже знакомство не помогло, завернули.

Тем временем на ипподроме все шло, как и предсказывалось в романе. Беззаконие оставалось только узаконить. На другой день после крушения СССР на бегах открылось казино. «Что за люди играют?», – спросил я знакомого официанта. А он: «С деньгами». Мне этот ответ вспоминался, когда скрытое стало явным, суть перестройки сделалась ясна, а кое-кто все еще недоумевал, говоря о «неожиданных результатах». Что же тут неожиданного? Вроде бы вдруг и неизвестно откуда взявшиеся люди с деньгами, большими деньгами, бешеными, давно дожидались у дверей «Бегов», и как только врата переоборудованного общепита отворились, уже по-буржуазному азартные, но еще советские граждане, называемые согласно американской терминологии, *новыми русскими*, тут же заняли подобающие места.

И ничего тут нового нет. Лжебарочные манташевские конюшни даже не успели за годы псевдосоветского режима окончательно обветшать и рухнуть, как началась их перестройка – частным порядком. Чем не Реставрация? У нас, правда, уже не было Бурбонов – некому к власти возвращаться. Находившиеся у власти власть, бывшую у них в руках, отдали, чтобы руки себе освободить, и, в результате некоторой внутривидовой борьбы,

наблюдаемой и направляемой со стороны, теми же руками взяли власть другую – не догм, а денег. На уровне мировых стандартов.

* * *

Незадолго до кончины Дика Френсиса в Интернете помещен был очерк о нем, где между прочим говорилось: «Несмотря на преклонный возраст, первый среди писателей, создающих в наше время захватывающие детективные романы, продолжает вести переписку. Вот сейчас он дрожащей от недуга рукой пишет открытку, отвечая девочке в Америке». Девочкой этой оказалась моя внучка, но ответа на своё письмо Френсису, она, увы, не получила. Письмо она написала после того, как прочла «Верняк» («Фаворит»). Читала прямо на ипподроме, во время пробных галопов. Окружающая действительность, изо всех сил подражая захватывающему повествованию, оставалась в побитом поле: девятилетняя девочка читала, не отрываясь и лишь изредка поглядывая на проносившихся мимо скакунов. Вдруг стряслось нечто, чего и в романе не было: лошадь сбросила «конюшенного мальчика» (рабочего ездока) и полетела по кругу. Вот об этом внучка Френсису и написала. А я позвонил в издательство и предупредил, что придет такое письмо. Они обещали передать. Надо думать, обещание выполнили. Почему же не пришла открытка? А потому, очевидно, что была написана рукой первого из современных писателей, под чьим именем печатались захватывающие детективные повествования. Уже при жизни Дик Френсис стал «добычей коллекционеров», а книжники-коллекционеры платят тысячи за книги и тем более рукописи авторов, которых они коллекционируют. Вот кто-то из поклонников Френсиса, увидав его руку, решил открытку, адресованную девочке, взять себе. Способен ли ребенок оценить такое сокровище? В том же очерке удостоверялось, что после кончины соавтора-жены соавтором Френсиса стал сын, по-прежнему, как и супруга, на титуле не обозначенный: таков повествовательный прием и замысел – имя автора-жокея убедительнее для читателей.

Свидетель

Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим…

Когда на Лубянской площади (быв. Дзержинского), напротив Библиотеки ИМЛИ, сваливали видную нам из окна статую Железного Феликса, то по телевидению вновь и вновь крутили документальную ленту семидесятилетней давности, запечатлевшую такой же акт вандализма, совершенный в пятнадцати минутах ходьбы от Лубянки: разрушение памятника Александру II. Два варварских разрушения, разделенные целой эпохой, можно было наблюдать синхронно, однако кто «свергал» Дзержинского, тем, очевидно, не приходило в голову, что их действие со временем вызовет противодействие точно такое же, как их акция была реваншем за разрушение статуи Царя-Освободителя.

На площади находился и жертва режима, воплощением которого стал Дзержинский. Олег Волков, писатель-патриарх, прошедший ад лагерей, поощрял разрушителей. Вместо того, чтобы воззвать: «Остановитесь! Опомнитесь! Пусть стоит как памятник тем преступлениям, что совершались именем той власти, которой он служил, пусть стоит и напоминает, чтобы прошлое не было забыто и не повторилось», нет, вместе со всеми старик-писатель призывал: вали его! И это Олег Васильевич!

Волкова я знал по двум линиям, литература и лошади. Через первую свою жену Мамонтову (оставленную им по выходе из заключения) Олег Васьевич был свояком наездника Щельцына, свою лучшую вещь, повесть «Последний мелкотравчатый», написал он об охотнике, которого помнил мой старший друг, Трофимыч, а в лагере Олег Васильевич находился вместе с коннозаводчиком Я. И. Бутовичем, о нем, легендарном Якове Ивановиче, сведения у меня из первых рук, от старых конников, которые с Бутовичем были хорошо знакомы.

Олег Васильевич, мне казалось, относился к былому без ностальгии и без ненависти. Знал, что – ушло и почему ушло, не могло не уйти, но в то же время не отрекался от своих корней. «Крррровь тоже что-нибудь значит», – говорил с барским грассированием. На волковскую книгу охотничьих рассказов и

очерков о природе, вышедшую в семидесятых годах, написал я рецензию и не смог опубликовать. Всякий раз оказывалось не ко времени то, о чем я пытался сказать: уравновешенно-полное представление о прошлом. Мою рецензию в любые времена находили несвоевременной. Нет у меня под рукой рецензии, но, помню, там был абзац, в котором я изо всех сил, как мог, прояснил свою мысль: Волков – не спохватившийся, он не стремится успеть за временем, оно живет в нем. Именно этот абзац аккуратно вычеркивали редакторы при всех переменах общественного климата, словно мое рассуждение о спохватившихся они принимали на свой счет и было им обидно это читать.

В книге была запоминающаяся сцена, как Олег Васильевич попал на родное пепелище, в свою усадьбу, и местный мальчик говорит ему: «Раньше тут помещик жил». Волков пишет: «Я промолчал». И не потому, что опасался открыться. Неизъяснимость! «А ведь помещик-то перед тобой», – скажи он мальчику, ни мальчик бы его не понял, ни сам он оказался бы не в силах ничего больше ему объяснить. Из разговоров с Олегом Васильевичем я знал, что дворянское оскудение не было для него метафорой. Как жили, так было дальше жить нельзя, это ему, помещику, было ясно, как было ясно моим рабоче-крестьянским дедам. Говорил он о том, что к Толстому-толстовцу серьезно не относились, как не верили в другие барско-интеллигентские выкрутасы. Рассказывал, как учился он в гимназии вместе с Набоковым, отчетливо передавая свое впечатление от него: эгоцентризм и холодность. «Для Набокова на свете существовал только его отец и он сам», – говорил Волков. В моих глазах Олег Васильевич служил противовесом иллюзиям: знал, что случилось *теперь*, и как оно было *прежде*, тоже знал.

Лет за пятнадцать до развала, на конференции по охране памятников, проходившей в Новгороде, Волков провозгласил: «Старь новину держит». Слова убелённого сединами, толстовской внешности старца как бы освятили конференцию. Их разнесла пресса. Поговорка пахарей и хлеборобов стала девизом исторической памяти. И вот убеленный сединами О. В. призывал стереть кровавые рубцы, иначе говоря, прошлое забыть, то есть ничему не научиться. Того и хотели понажившееся от системы, а теперь разрушавшие её – замести следы. Но почему же с ними заодно оказался от системы пострадавший?

Как-то Олег Васильевич попросил меня помочь ему устроить внучку в конно-спортивную школу. Пошли мы с ним на ипподром, и между прочим он мне сказал, что пишет воспоминания. Заголовок – «Под конем». Из того же разговора я понял, что кони

– символические, причем, те и другие, белые и красные: исповедь современника, попавшего под копыта коней Апокалипса, показания надежного свидетеля века, реляция очевидца без иллюзий о прежнем и настоящем. Вышли воспоминания много лет спустя, в другую эпоху, уже в годы гласности, и название своим мемуарам Олег Васильевич дал другое – «Погружение во тьму». Книжку он мне подарил, и меня поразила её пристрастная, не похожая на Волкова, односторонность в отношении к прошлому: словно прежде непрерывно светило солнце. Положим (можно было подумать, читая Волкова), случались неприятности, вроде Кровавого Воскресения и Ленского расстрела, бывали просчеты, скажем, в схватке с японцами, пороков – не было. Не было оскудения, не было оболдуевщины. Как бы нежданно-негаданно «русские люди оказались у разбитого корыта своих человеколюбивых бескорыстных идеалов, какими они жили вплоть до октябрьского переворота семнадцатого рубежного года». Будто не было ни Достоевского, ни Чехова, не говоря уж о Леонтьеве, хоронивших и человеколюбивость, и бескорыстность этих идеалов задолго до семнадцатого года. Оказывается, ошибался Некрасов, настаивая: «Дело прочно, когда под ним струится кровь». Кровь это – после семнадцатого и далее, а до этого – совет да любовь. Спросить бы Олега Васильевича, какое же из великих дел было прочным и бескровным, он же хорошо знал историю, в особенности историю Отечества. Однако он, похоже, спохватился, будто послушавшись редакторов, которым хотелось вздыхать о былом, когда они не жили, и тосковать о прошлом, которого они не знали, и не только не знали – не имели к прошлому отношения. Но ведь он-то жил, он знал, он тому прошлому принадлежал! То было его время, о котором он бы мог вспомнить и написать, как никто другой.

Спохватившиеся страдают забывчивостью: что долго не помнили, то неожиданно вспоминают, а что помнили – забывают. Взявшись за мемуары, Марк Твен признавался: «Вспоминаю о том, чего не было». Уличенный в фантазиях своим секретарем, он рассмеялся – он шутил. Волков не шутил и не выдумывал, он стал страдать провалами памяти. Он будто бы не помнил, что у Всеволода Саввича Мамонтова была не одна, а две дочери: первая вышла за наездника Щельцына, а он, Волков, он женился на второй. Вспомнил он о своей жене под конец книги, рассказывая о своей новой семье. Он изобразил Бутовича истинно-большим барином, хотя ему было известно, что выдающийся коннозаводчик корчил из себя большого барина, почему и пострадал. Иначе говоря, о дореволюционных временах ровесник века писал так, как будто ему не позволяла сказать всей правды

царская цензура.

Рассказывая об испытаниях, выпавших на его долю в советские годы, Олег Васильевич самокритично предупредил, что нового в изображении Голгофы советских времен у него не найдут. У него о том же было написано хорошим слогом, но, действительно, то же читали в других произведениях лагерной литературы. Волков, чья жизнь охватила от и до весь век, мог поведать о прошлом новое и по-новому, неподражаемо, однако сам же себя обделил.

От звонка до звонка – по дистанции

«И слышен Штейнгеля звонок».

Из поэзии ипподрома

У ворот ипподрома

«Фрост принял предложение Президента Кеннеди отправиться в Россию… С самого начала своего российского путешествия он внутренне готовился к беседе с Премьером Хрущевым».

Из биографии поэта

Нужно ли объяснять, почему управделами американского ипподрома попал в пристанище, предназначенное для лиц государственных? Джо являлся гостем Центрального Московского ипподрома, через дорогу от сверхэлитной гостиницы «Советская», а кто из работников бывшего Яра не бывал на бегах? Прибыл наш гость отбирать среди наших скакунов достойного участника Международного Кубка, который разыгрывался под Вашингтоном. Нам с ним спустя несколько дней предстояло вылететь на родину Анилина, Краснодарский край, в конный завод «Восход». В первый же вечер, когда в ресторане гостиницы собирались мы ужинать, тут же рядом, за соседним столиком, принимал пищу старичок, некрупный, как бы квадратненький, с крупными чертами лица и шапкой седых волос. Даже Джо, который, кроме лошадей, не интересовался ничем, нашего соседа узнал и произнес, словно удивляясь, кого же он видит и – узнает: «Роберт Фрост».

До еще живого классика могли мы дотянуться рукой, но нельзя было до него докричаться. Уж такое невезение: собеседник, с которым хотелось бы поговорить по душам, плохо слышит, а никаким вспомогательным аппаратом, по крайней мере за столом, поэт не пользовался. Не станешь же орать чего и шепотом не всегда выговоришь?

Однако, возвращаясь как-то с бегов, услышали мы крик. По всей гостинице раздавался вопль на английском с очень сильным русским акцентом:

– А истина?! Как же быть с истиной?!

На том же этаже в глубине коридора, на фоне окна, силуэтами виднелись двое. Один из них был Фрост. По своему обыкновению он молчал, как молча сидел, питаясь. Вслушиваясь в истошный крик, Фрост слегка раскачивался, словно читал про себя свои же стихи:

Стоявший рядом с ним человек (которого я сразу узнал), кричал ему в ухо: «Истина! Как быть с истиной?!».

– Кто это орет? – спросил Джо.

Иван Александрович Кашкин, «огонь на ветру», – так, по рассказам моего отца, дружившего с И. А., называли этого крикуна: рыжий и – непрестанный порыв. Если по Пушкину, переводчики – это лошади, доставляющие чужую поклажу, то по этой шкале Иван Александрович занимал место исключительное, всеми признаваемое – творец нашего Хемингуэя. А нужно было жить и читать в наше время, чтобы представлять себе, что значило для нас это имя – Эрнест Хемингуэй. Когда газеты сообщили о его гибели, я испытал чувство личной потери, пошел на конюшню и предложил справить тризну. «Кого поминаем?», – спросил Коля Морин. «Мастера», – отвечал я мастерам. Хемингуэй обессмертил Кашкина. В романе «По ком звонит колокол» он дал его имя одному персонажу, еще до начала романа погибшему, но зато истинному герою. Сделал это Хемингуэй как бы в благодарность за все, что Иван Александрович предпринял ради его популярности в стране *русских* – то есть Тургенева, Толстого, Достоевского и Чехова, которых Хемингуэй с молодых лет усиленно читал и во многом брал для себя за образец. Встречаться они не встречались, и даже письма Хемингуэя до Кашкина не доходили: задерживала цензура. Еще одним переводческим творением, созданным при участии Кашкина, была антология американских поэтов XX века, куда вошли стихи Фроста, и вот составитель антологии и поэт, наконец, встретились в коридоре «Советской», и в гостинице задрожали стекла от кашкинского крика.

– Зачем он так надрывается, – спросил Джо, – о чем речь?

– Об истине.

У моего подопечного мои пояснения подчас вызывали в глазах испуг – не испуг, а все же выражение чего-то такого, тревожного. Джо, кажется, начинал опасаться за целость собственного рассудка. Не свихнулся ли *он*? С таким выражением лица он нередко меня выслушивал. Так, по дороге в «Восход» ему захотелось пить, и он спросил, нельзя ли достать воды со льдом. Я ему говорю, что с него будет достаточно одной воды. А ехали мы на машине через станицы, и было это в самом начале шестидесятых. Со льдом? «Не хотите же вы сказать, – отозвался Джо, – будто в этих помещениях нет всех удобств».

Подобный же обмен мнениями у нас с ним состоялся на

ипподроме: возникла острая необходимость человеку куда-то пойти. В результате Джо испытал шок и лишь неделю спустя, глядя с лермонтовского утеса Бермамыт на Эльбрус и другие вершины Кавказа, пришел в себя и согласился со мной. Вот его собственные слова: «Перед лицом такой красоты можно обойтись и без туалетной бумаги».

А в первый раз такой взгляд я поймал на себе, когда наш американский гость только прибыл и ехали мы с ним из Шереметева по шоссе. Не зная ни слова по-русски, американец тем не менее ни о чем меня не спрашивал. Дело было ночью, в темноте возникали разве что дорожные знаки, которые он понимал без моей помощи.

40 – км до Москвы

60 – предел скорости в тех же километрах в час.

Над перечеркнутым «Р» Джо потешался, узнав, что у нас эта буква читается как R, однако объяснять ему, что это «ноу паркинг», не требовалось. Истолковал он без перевода и перечеркнутую загогулину, запрещающую поворот в неположенном месте. Но уже у въезда в столицу над дорогой, поверх шоссе, в небе колыхалось полотнище:

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ К КОММУНИЗМУ

«А что это за знак?», – поинтересовался американец, не видавший прежде таких символов, однако, судя по тону вопроса, он не ожидал услышать в ответ ничего чрезвычайного – вероятно, еще один дорожный сигнал, пусть даже ему не знакомый. Я же так и перевел, как на полотнище было обозначено, без эмоций. Просто довел до сведения моего спутника, куда ведут все дороги. Поставил его в известность о направлении дальнейшего следования, как раньше сообщил о расстоянии до Москвы. Тут Джо и посмотрел на меня тем взглядом, что я поймал на себе, сообщая ему, чего же добивался у его соотечественника друг-персонаж Хемингуэя. А каким взглядом старый поэт смотрел на кричавшего ему в ухо об истине, видеть было невозможно, потому что Фрост склонил голову и глядел в пол. Но поза его могла быть понята как выражение сомнения, следует ли такими вопросами вообще задаваться.

На другое утро мы вновь оказались рядом на ступенях у входа в гостиницу, но дальше наши пути расходились. Как неофициальный, но влиятельный посланник доброй воли Фрост летел в Крым повидаться с Хрущевым, а мы – в Краснодар, чтобы добраться до «Восхода».

Приз Мира

«Я откровенно изложил Хрущеву
свою точку зрения».

Из мемуаров Рокфеллера

От гостиницы до бегов на машине не больше пяти минут, но уже пора было подавать на старт, а мы опаздывали. Совершалось нечто историческое. Впервые за все годы советской власти к нам прибыл «стандардбред», американский рысак, чтобы померяться с нашими резвачами на Приз Мира. А мы опаздывали! Мало того, Рой, владелец тракторного завода, сам же этого рекордиста Апикса, от Стар'з Прайда и Альмы, привез, и вот вместо того чтобы спешить, вдруг останавливается и начинает болтать с каким-то типом. На типа, только что в «Советскую» вошедшего, я и смотреть не стал. Отошел в сторону, дескать «Знать тебя не хочу и разговаривать с тобой не желаю!» Так и простоял, повернувшись к ним спиной, все время, пока они чесали языками, минут пять. Того гляди, опоздаем к историческому старту!

Наконец они распрощались. Глядя в спину задержавшего нас субъекта, я все же обратил внимание на его сутулые плечи и нос, длинный, как птичий клюв. Стоило с этой серой цаплей время терять! На лифте он не поехал, а пошел, точнее, мелкими шажками, словно трясогузка какая-то, побежал вверх по широкой лестнице. В памяти у меня застыл кадр – голубовато-серая фигурка, торопясь, взбирается вверх по красному ковру. А спрашивать, кто это был и о чем они трепались, я и не собирался. Какое мне дело до случайных встреч и всякой болтовни, когда совершается нечто историческое, и с минуты на минуту будут подавать на старт!

«Рокфеллер интересные вещи рассказывал», – заметил Рой, как только мы сели в машину и рванули на ипподром.

О том, что мог бы тогда своими ушами услышать, я прочитал спустя много лет у того же Рокфеллера в мемуарах. В тот неудачный момент, когда попался он нам на пути, в холле гостиницы, он возвращался из Кремля. Об этом по свежим следам он по-свойски и рассказал Рою, а тот, продолжая по дороге на ипподром говорить со мной, упомянул, что Рокфеллер делился с ним впечатлениями о беседе с Хрущевым. Но – оставались считанные минуты до звонка.

Стал бы Рокфеллер при мне откровенничать? Судя по его книге, он не делал из своих намерений секретов, провозгласив

своим принципом откровенность. В мемуарах он так и писал, ссылаясь на опыт Ротшильда, что его задача – управлять миром не силой оружия, а денег. Миром необходимо управлять – в этом Рокфеллер был уверен.

Трехсторонняя политика

«Трехсторонняя Комиссия создана для обсуждения под эгидой США общих интересов».

Из книги «Элита и план мирового управления»

Уже в годы горбачевской перестройки приехал ковбой Джордж – тройку покупать. Мы с ним раньше знакомы не были, но привез он рекомендации, даже от вдовы самого Старика-миротворца у него было поручительство, так что мы с ним сразу стали своими людьми. Приехал он в исторический момент – шла Московская встреча на высшем уровне. Чтобы придать такому событию еще больше значения, Джордж и говорит: «Вот бы вашего с нашим прокатить на уже моей тройке». Антон, кучер могучий, готов хоть сейчас: только держись – земля задрожит! А символики сколько! Сколько символики! Позвонил Джордж в свое Посольство: «Есть богатая идея, Рейгана с Горбачевым прока…» То ли связь прервалась, то ли трубку повесили.

– А что бы ты сказал, – вдруг Джордж спрашивает, – если бы узнал, что Горбачев вам назначен Трехсторонней Комиссией?

Трехстороннюю Комиссию учредил все тот же Дэвид Рокфеллер, сделав это спустя десять лет после того, как встретился он нам, когда мы спешили на ипподром, а он возвращался после разговора с Хрущевым. Джордж даже сослался на книгу, в которой будто бы так и было сказано: «назначен». Книгу он мне прислал, но этот сборник статей о трехсторонности я уже знал, и также знал, что ни слова о Горбачеве там не было и быть не могло – книга вышла за несколько лет до его появления на международной арене. Но случившееся с нами в результате перестройки было результатом успешного проведения той политики, что подробно излагалась в присланной Джорджем книге. Посылая мне книгу, Джордж видимо хотел, чтобы я ознакомился с принципами, которые реализовались с приходом Горбачева к власти.

«Просто говоря, – объяснял редактор-составитель, – проводники трехсторонней политики утверждают:

1) народы, правительства, и экономика всех стран должны служить нуждам многонациональных банков и корпораций;

2) контроль над экономическими ресурсами дает силу в политике (разумеется, все добропорядочные граждане должны

верить тому, как их учили, а именно, что политическое равноправие существует в Западных демократиях наряду с тем, что там же существует экономическое неравенство);

3) руководители капиталистических демократий – таких государственных устройств, где экономический контроль и прибыль, а стало быть, и политическая власть, в руках у немногих – должны противиться установлению в самом деле народных правлений.

Короче, трехсторонняя политика – это современная попытка правящих элит уметь осуществлять то и другое, подчиненность и равноправие, как в своей стране, так и в мире».

Но почему и зачем, с какой стати, покупавший лошадей ковбой спрашивал о том, о чем спрашивал? Тут у меня в памяти всплыло, буквально со дна сознания поднялось, что я вроде что-то от него слышал, но как-то не вслушался. А ведь Джордж, обсуждая со мной общих знакомых, конников и ковбоев, давших ему рекомендации, рассказывая о себе, как начинал он свой путь, как поначалу работал на молочной ферме и занимался дойкой коров, между прочим упомянул, что сейчас он вообще-то работает в госаппарате. Так и сказал: «Работаю на правительство».

То был момент из «Вишневого сада»: вам говорят, а вы – не понимаете. Дают вам знать, что имение ваше продается, а вы – про энциклопедический словарь. Надо было испытать чеховский момент на себе, чтобы постичь, как это бывает. Словно персонаж классической пьесы, я перевел наш с Джорджем разговор на другую, основную нашу с ним тему – лошадей.

Дело в шляпе

«…Актер предпринял две важные заграничные поездки. В феврале [1987] он отправился в Москву по приглашению советского правительства».

Из биографии Грегори Пека

Глазам не верю: Грегори Пек! Первым из гостей пришел он на симпозиум и стоит, словно памятник самому себе, посреди совершенно пустого зала для приемов в гостинице «Космос». Обошел я образцового киноактера кругом, приблизился к нему и говорю:

– Моя жена влюблена в вас.

Теплой волной, хлынувшей у него из глаз, отвечал мне герой экрана, словно я ему подарок преподнес, будто ни разу в жизни такого подношения он не получал и ничего подобного ни от кого не слышал. Столько восторга было у него в глазах, такая бьющая через край благодарность, что у меня даже некоторое головокружение от успеха собственных слов сделалось. Придя в себя, я еще некоторое время возле великана (и я не карлик) постоял – молча. Чем еще мог я его поразить? Чтобы не ослаблять эффекта от сделанного мной заявления, я уже собрался было удалиться, вдруг из толпы участников симпозиума еще кто-то подходит, и я слышу: «Мистер Пек, моя жена от вас без ума!» Теплая волна ударила меня в спину, оглядываюсь: у артиста в глазах такое же сияние, каким озарил он меня.

На другой день мы оказались с ним за одним «круглым столом» и я решился попросить его об одолжении. У меня есть целых две ковбойские шляпы, а он, вероятно, не захватил с собой символического головного убора, с которым образ его неразлучен (среди других образов). Что если я эти шляпы принесу, нельзя ли будет нам с ним вместе сфотографироваться? Того же восторга я от Пека не получил. «Ковбойская шляпа, – сказал он серьезно и даже сурово, – в наши дни стала политическим символом». Это был намек на его собрата-киноактера, ставшего Президентом США, Рональда Рейгана.

– Давайте лучше сфотографируемся без шляпы, – сказал Грегори Пек, давая понять, что он вне политики, и пошел заниматься политикой, на пленарное заседание, где речь должен был держать Сахаров (однажды, попав в академическую больницу,

я оказался в одной палате с прорабом, производившем на даче Сахарова ремонт, мы пролежали друг напротив друга с неделю, как обычно в поезде или больнице бывает, откровенничали; он с восторгом говорил о Сахарове как о святом, и чем восторженнее говорил, тем фальшивее выглядела святость).

Симпозиум, собранный в «Космосе» Горбачевым, был одним из тех международных мероприятий, на которых иностранные эксперты, звезды мирового экрана и вообще международные знаменитости, казалось, решали, кто и как будет нами управлять. У меня вновь возникло ощущение переживаемой цитаты из классики.

«Я прикоснулся к чему-то неизвестному, жуткому и огромному», – пишет Сергей Волконский, вспоминая, как в Америке, на Чикагской выставке (где Россия демонстрировала своих рысаков и верховых орлово-растопчинцев) каким-то неизвестным ему было сказано, что спешить на коронацию Николая II незачем. «Все равно скоро все это кончится», – сказал таинственный незнакомец, приняв Волконского за единомышленника, за масона, однако недоразумение выяснилось, и больше ничего автор интереснейших мемуаров не услышал, а только почувствовал, по его словам, будто дохнула на него неведомая и неимоверная сила.

Едва что-то пугающее и неимоверное миновало меня, я вздохнул с облегчением, вроде того штурмана у Марка Твена, который, будто ничего не случилось, кричит «Полный вперед!». Это после того как его скорлупку чуть было не потопил большущий корабль.

На станции «Пентагон»

«Мы вас похороним».

Хрущев – Никсону

Из окна на втором этаже в доме на улице американского университетского города вижу лысеющую макушку русского человека, направляющегося в магазин за продуктами. Почему я так думаю? В руках у него авоська. Этого человека я знаю, мы с ним одного поколения, моя макушка, сверху посмотреть, будет выглядеть такой же лысой горкой. Отца его слышал речь – занявшую целое утро на Съезде писателей. На одних и тех же лошадях ездил с его сыном, которому уроки верховой езды давал мой давний друг, тренер Гриднев. Знаю его сестру, она редактировала популярный журнал, но я знаком с ней (если можно считать нашу встречу знакомством) не как коллега-редактор. Однажды для неё и зарубежного гостя было мне поручено разыграть роль кучера, а разыгрывая, ни слова не произносить. «Иначе мне достанется», – объяснил Александр Ильич Попов, начкон Московского завода.

В тот день, когда Попов попросил меня сесть за кучера, весь заводской конюшенный штат отправили на уборку моркови (кормовой – для лошадей), а я случайно приехал, собираясь сесть верхом. Ну, что верхом, что в экипаже – вид у меня был как обычно заправский. Заложил я в бричку рысака, уселся на облучок, вожжи в руки – подал. Пассажиров двое – она (в лицо я её знал, конечно) и с нею господин южно-азиатской наружности. Тронул. Слышу за спиной французскую речь. Она объясняет гостю, что за лошадь их везет, и, объясняя, делает обычную ошибку: «Это орловский рысак, называемый так потому что порода происходит из города Орла». – «Не из города Орла, а в честь графа Орлова», – чуть было не вырвалось у меня, но вовремя сдержался и Попова не подвел, а то бы ему в самом деле могло крепко влететь. За пассажиров у меня были Вьетнамский Посол и Рада Никитична Хрущева.

А идущий по улице американского университетского города с авоськой в магазин – Сергей Никитич. Как пишут биографы, помог он переправить за рубеж мемуары своего отца и, согласно газетам, ему помог получить американское гражданство Президент Никсон, хотя отец некогда обещал похоронить того в могиле истории. Видит ли с того Света отец, как на церемониях сын его со всеми заодно поет «Господь – за Америку»! Видит ли

дорогой покойник или нет, но на этом Свете такого проявления иронии истории давно никто не слышал и не видел.

Глядя на макушку и авоську, вспоминаю встречу с другим человеком, состоявшуюся в другие времена, десять лет назад, в той же стране – Америке. Возвращался я из ковбойских краев и одет был с ног до головы по-ковбойски. Вид как обычно заправский. Вдруг слышу: «Вы из Москвы?». Выдал меня, вероятно, галстук, тоже ковбойский, но я его нацепил неправильно, поэтому несмотря на широкополую шляпу, джинсы, остроносые сапоги и всё прочее ковбойское обмундирование, включая лассо, цепкий глаз усмотрел, что родом я всё же не из Северной Дакоты, откуда я тогда возвращался после Рождественских каникул. Состоялась эта встреча на платформе станции метро, находившейся возле вашингтонского аэропорта. Возле меня стоял только полученный из багажа чемодан, к нему привязано лассо. Тут и услыхал я вопрос, не из Москвы ли я? Нет сомнения, меня выдал галстук, повязанный неправильно.

Мой случайный попутчик дал мне свою визитную карточку: полковник, стажируется в Совете по международным отношениям. Совет считают закулисным мировым правительством, но, по-моему, это скорее организация вроде той, что описана Пристли в романе «Сатурн над водами» – в традиции английских корреспондентских обществ, игравших роль в различных движениях и за изучение карасей, как описано у Диккенса в «Пиквикском клубе», и за Американскую Революцию. Это – способ «соединить науку с политикой», как я прочитал в истории подобной же организации, через которую шел наш научный обмен. Полковник рассказал, что он ведет совместные исследования с нашими специалистами, и назвал два-три имени. Имена эти я знал. Кто же у нас этих имен не знал? Люди с этими именами стояли у нашей власти, а сотрудничали с полковником их отпрыски. «Очень успешно работаем», – с улыбкой сказал полковник и сошел на станции «Пентагон».

В горах Югославии, или О приемах Венской школы верховой езды

«Липизаны (липицианы) – название породы происходит от селения Липица, в нынешней Югославии, раньше селение это находилось в Италии, а еще раньше – в Австрии, поэтому порода считается австрийской».

«Лошади всего мира».

«Рад был запечатлеть счастливого человека на лошади», – это я услышал от Ленарта Мери, уже вошедшего в историю первого Президента независимой Эстонии. Если взглянуть на фотографию, сделанную им прямо там, в Липице, то вид у меня нелепый – в цивильном, за неимением другого, костюме, но зато

под седлом у меня маэстозо – так называется одна из линий в липизанской породе. И это сделало меня счастливым?

Липизаны, они же липицианы, – отражение европейского прошлого и даже мирового. Липица – клочок земли, где на стыке нескольких стран разводят лошадей, отличающихся (согласно официальному описанию) гармоничным сложением, легкими движениями, понятливостью и добронравием. Этот клочок земли, на котором разводят гармоничных лошадей, испытал на себе невероятную дисгармонию, переходя из рук в руки и становясь то кельтским, то римским, то германским, то итальянским, то славянским, то австрийским, то опять славянским. И как ни гармоничны эти лошади, если присмотреться, они отражают все ту же дисгармонию. Ради чего эрцгерцог Штирский создавал свою породу? Доказать, что карликовое герцогство, где находится Липица, это целое государство, со своими лошадьми. В названии Венская Школа Испанской Верховой Езды, которую демонстрируют на липицианах, отразилось желание императора австрийского создать символ единства Священной Римской империи. А что в ней священного, что римского, причем тут испанская, и почему название породы – славянское, а принадлежность австрийская?

Когда еще за пятнадцать лет до поездки с Ленартом в Липицу мы с главным ветврачом Московского ипподрома увидели липизанов в Америке, на Среднем Западе, уже тогда (как записал я в дневнике) лошадей этой редкой породы насчитывалось всего тысяча двести голов. То было в феврале шестьдесят девятого – времена холодной войны, и заокеанские конники относились к нам с исключительной теплотой. Стоило их о чем-нибудь попросить, и наши желания исполнялись. А просили мы ради того, чтобы, вернувшись домой, нам было о чем рассказать. В ту пору липизанов никто из наших конников своими глазами не видел, поэтому, когда нас с доктором пригласили, мы не отказались поехать на конзавод баронессы фон Дризен. Хотя Киплинг и утверждает, что родовых титулов в Америке не существует, но то была баронесса, самая настоящая, вышла замуж за американца с условием, что с нею вместе за океан переедут и принадлежавшие ей двести лошадей липизанской (липицианской) породы. С тех пор мне случалось не раз столкнуться с желанием американцев как бы повернуть свою историю вспять, но тогда впервые я прислушался к тому, как они, словно причмокивая, произносят слова «королевская порода», «рыцарские кони»… А как они произносят «принцесса»! И это они, бунтовщики, некогда сбросившие с пьедестала статую своего короля – то был момент, когда чувствуешь пульс истории, как она

движется – кругообразно.

Спустя десять лет, в семьдесят девятом, липизаны опять явились на моем пути сигналом причудливого исторического движения. Я услышал по радио свою фамилию вместе с просьбой немедленно сойти с воздушного корабля – это уже в самолете, за несколько минут до взлета. То были все еще времена холодной войны, и мне стало жарко. Но оказалось, из лучших чувств, на свой конный завод меня приглашал король – сталелитейный, разводил он все тех же липизанов или липицианов, как вам угодно.

Этот «король» был сторонником марксизма, оказался он обращен в революционную веру своей дочерью, а дочь была студенткой моего приятеля, приятель же был американский Турбин. Если имя Турбина ничего не скажет нынешним читателям, то всякий из моих сверстников, кто помнит неповторимого Владимира Николаевича, подтвердит: повальная влюбленность в него студентов и особенно студенток – таков был неизменный эффект вулканически-взрывных турбинских лекций. В силу тех же причин и американский «король», распропагандированный собственной дочерью, уверовал в силу как исторического, так и диалектического материализма.

Собирался ли он беседовать со мной о литературных вкусах и взглядах творца «Капитала», (на первый взгляд) парадоксально консервативных? Нет, меня приняли за авторитет в области… разведения лошадей. Все, чего ждал от меня сталелитейный «король» (ради чего был прерван на сутки мой полет на совещание по проекту «Переписка Толстого с американцами»), это чтобы, очевидно, с марксистских позиций, я держал речь перед работниками принадлежавшего ему рассадника лошадей липизанской породы. Короче, очутился я в положении хлестаковском, причем исполнение роли неподражаемого Ивана Александровича Хлестакова в моем случае осложнялось тем, что ревизор, настоящий ревизор, уже побывал у «короля», а не появился, как у Гоголя, под занавес. Ревизором, то есть истинным знатоком, посетившим «королевский» завод, был никто иной, как сам полковник Подайский, чью фотографию вы найдете в любой книге о липизанах. Это старший берейтор Венской Школы Испанской Верховой Езды, а езда по этой школе демонстрируется, как известно, исключительно на липизанах, и он, Подайский, незадолго перед моим вынужденным визитом уже осматривал тех же лошадей. Не только я, а кто-либо еще мог после такого эксперта рот открыть? Но почему же не отказался я от исполнения странной роли? Дело шло уже к ночи, а чего же от меня ждут, я узнал только лишь когда оказался на месте, и, кроме

того, вдруг как-нибудь неосторожным признанием подведу приятеля?

Как попал я в знатоки липизанской породы, о том я мог только догадываться путем следующих умозаключений. «Король» хотел доставить удовольствие своей дочери. А дочь сообщила отцу, что у ее любимого профессора есть знакомый из Москвы, который знает… Что знает? Приятель мой видел у меня книгу о липизанах, которую подарил мне Сноу. Тут, вероятно, и произошел разрыв в информационной цепи. А «король» был доверчив в отношении ко всему, что исходило от единственной дочери. Например, как всякий американец с деньгами, был он человеком партийным, и когда его партия, при его финансовой поддержке, взяла верх на президентских выборах, то ему было предоставлено почетное место в праздничной колонне, сопровождающей вновь избранного Президента на пути из Конгресса в Белый Дом. У американцев, коренных, «породистых», настоящих, а не только по паспорту, есть давняя традиция заниматься исключительно своим делом, а если дело не твое, но все же надо им заняться, то, не тратя попусту ни времени, ни мозгов, попроси помощи у понимающих в не твоем деле. И вот по настоянию всё той же любимой дочери «король» обратился к ее любимому профессору за советом: как обозначить ему свое присутствие в красочной колонне? В результате в президентском параде участвовала смена липизанов, причем, гарцевали на них, кажется, всадники в шлемах, как у бойцов Первой Конной, буденновках, специально сшитых ради такого случая. Удивительно ли, что у того же «короля» я оказался в гостях как эксперт по коневодству?

У меня за плечами был уже не один десяток лет наблюдений за тем, как ведут себя при осмотре лошадей настоящие знатоки, так что бессловесная часть роли гоголевского «ревизора» мне, возможно, даже и удалась. В сопровождении всего «королевского» конюшенного штата я прошел по конюшням, где стояло триста голов нарядных, массивных коней, точно таких, что носили австрийского императора в рыцарских доспехах, когда изъявлял он желание принять участие в турнирах. Масть у липизанов преимущественно серая, и я, бросив взгляд на типичный очередной экземпляр, устремлялся дальше, но если попадались рыжие, а также гнедые, то я останавливался и мой взгляд становился еще пристальнее. От меня ждали и замечаний, но, лишь качнув головой, я двигался дальше. Был один вороной, к нему я зашел в денник и взял его за правое копыто (так делал мистер Форбс). Сопровождающие нагнулись вместе со мной, вновь ожидая замечаний. Я же только еще значительнее качнул

головой и двинулся дальше, не пропустив ни одного денника. Но время затянувшейся сценической паузы в конце концов истекло…

О, как знакомы мне были эти обращенные ко мне лица, хотя видел я их впервые в жизни: «королевские» конюхи, тренеры – если бы мою речь прослушали точно такие же коммунистические конники там, далеко-далеко, по другую сторону океана, они бы умерли – со смеха, а мои американские слушатели, из вежливости, лишь смущенно опустили глаза. Прямо на меня был устремлен один-единственный взгляд. Так смотрели на Турбина мои сокурсницы, а на мою долю, судя по глазам моей американской молоденькой слушательницы, досталось отраженное пламя восторга, возженного речами моего прогрессивного приятеля.

Хочу надеяться, что произнесенный мной монолог остался никак не записанным. Но произнес я его, вспоминая все того же Владимира Николаевича Турбина. Пламенно и непонятно – такими у меня в памяти остались его лекции, а также мой собственный ответ ему на экзамене. Отвечая Владимиру Николаевичу, я, подражая ему, говорил горячо и – не отдавал себе отчета в том, что говорю. Проще сказать, сам себя не понимал, а Турбин поставил мне «отлично».

– Что ж, – после меня взял слово сталелитейный «король»-коневод, – после всего, что мы сейчас услышали, будем ли мы топтаться на месте или же пойдем вперед?

Конюшенные работники так и сидели с глазами опущенными долу, а во взгляде дочери читалось: «Вперед!».

На обратном пути, делая пересадку в том же аэропорту, крупнейшем перевалочном пункте, я каждый раз вздрагивал, если раздавалось объявление по радио: не меня ли вызывают? «Королю» я отправил открытку с признательностью за гостеприимство и получил ответ: «Жаль, не дали знать, что будете в наших краях. Я бы опять пригласил Вас выступить».

А в Липицу мы с Ленартом Мери попали, когда холодная война уже подходила к своему концу. Шел восемьдесят четвертый год – юбилейный. Что за юбилей? Сорокалетие книги Джорджа Оруэлла «Девятьсот восемьдесят четвертый», а это, как известно, первый большой идеологический гвоздь, вколоченный в наш политический гроб. Пока шла война, Оруэлла на Западе придерживали. «Опубликуешь – разведусь!» – это английский издатель услышал от своей жены, когда он получил «Скотный двор», рукопись первой из двух, направленных против нас, книг, которые Оруэлл написал, доказывая, что мы и сами знали, но вслух не могли сказать, а именно, что наш «социализм» – не социализм. По крайней мере, именно это он хотел сказать, а

поданы его книги были иначе, из них, вопреки его намерениям, сделали просто-напросто антикоммунистическое пугало, но это уже другой вопрос. Рукопись поступила к издателю в сорок третьем – год Сталинградской битвы, так что жена издателя припугнула его разводом, если только вздумает он издать политическую сказочку, в которой народ, в данный момент ведущий войну с фашизмом, представлен в виде послушных скотов. А как только наши пушки отгремели, так одна за другой были выпущены две оруэлловские книги и сброшены две атомные бомбы, и хотя бомбы были сброшены не на нас, но, как тот же издатель удостоверил в мемуарах, книги и бомбы имели одну цель – СССР. О бомбах я помнил с детства, об Оруэлле узнал много позднее, а книги прочитал еще позднее, за границей. У нас в стране они были запрятаны настолько, что, даже имея доступ в спецхран, я не мог их получить, чтобы проверить цитаты. Цитаты же, чтобы не полагаться на свою память, мне необходимо было проверить перед отъездом на конференцию, ту самую, международную, которая по случаю сорокалетнего юбилея устраивалась в Югославии.

Что говорит современным сердцам имя этой в сущности уже не существующей страны, судить не берусь. В памяти моего поколения – это роман Елизара Мальцева «В горах Югославии», сначала удостоенный Сталинской премии, а потом изъятый из обращения – это когда на уроках мы вдруг услышали о «кровавой собаке Тито». С нами в школе вместе учился сербский паренек-эмигрант Милен Маркович, и про своего отца, оставшегося там, в Югославии, он знал лишь одно – отец в тюрьме, но что вызвало конфликт между нашими странами, никто из нас понятия, конечно, не имел. Не мог нам ничего объяснить и Милен. Хотя его собственный отец оказался жертвой конфликта, но это еще ни о чем не говорило, потому что (как рассказывал Милен) отец его сидел при всех конфликтах, внешних и внутренних, его, как Фунта у Ильфа и Петрова, то и дело выпускали и тут же опять сажали. О нем, оказавшись в Югославии, я стал расспрашивать. Живой классик, их Ахматова, поэтесса Десанка Максимович говорит: «О таком я не слыхала, однако спрошу у Джиласа». Но Джилас, по ее словам, как ни странно, сказался ничего не помнящим, и лишь один писатель, участник конференции, вспомнил, что в студенческие годы они слушали курс политической экономии у некоего Марковича, слушали-слушали, а потом перестали слушать – лектор исчез: так статисты несут основную нагрузку в исполнении исторической трагедии, но у них роль неблагодарная – они остаются статистами. Если это и был отец моего школьного приятеля, то все равно, по-моему, так

и осталось неясным, что же тогда нашу страну поссорило с титовской Югославией. Годы спустя, буквально в двух шагах от нас, толпившихся против Кремля на Большом Каменном мосту, проехал в отрытом лимузине, едва приподнимая руку в наполовину спущенной перчатке, грузный, уже очень пожилой человек с тяжелым, бульдожьим лицом. Или же так только показалось, потому что в свое время у нас называли его не иначе, как собакой. И вот я стою у ворот резиденции того же самого человека, которого на свете уже нет, роман Елизара Мальцева прочно забыт, книги Оруэлла по-прежнему в спецхране, а рядом с опустевшей резиденцией собирается конференция, на которую съезжаются участники со всех концов света, чтобы обсудить, оправдал ли себя диагноз Оруэлла или не оправдал. «Все люди равны, только одни равнее, чем другие» – это вошло в пословицу из «Скотного двора». А «Девятьсот восемьдесят четвертый» стал частью современного фольклора прежде всего за счет изображения Министерства правдопроизводства. Оправдался ли оруэлловский диагноз? Спустя семь лет я стоял против здания нашего Посольства в Вашингтоне и видел, как опускается флаг страны, про которую эти две книги были написаны.

Конференция? Заглядывая в свой дневник, вижу, насколько же я не понимал происходящее. И даже не то чтобы не понимал, а поверить не мог тому, что видел собственными глазами: все от нас отвернулись. Буквально. Смотрят куда угодно, только не в нашу сторону.

С Ленартом Мери мы составляли официальную советскую делегацию. С его отцом, ведущим эстонским шекспироведом, я был знаком и даже попал под одну обложку в коллективном шекспировском сборнике. И тем сильнее, при свойских личных отношениях, чувствовал со стороны моего спутника культурно-политическое отчуждение. Книга его путевых очерков была у нас удостоена Государственной премии, а он, писатель-путешественник, много ездивший, особенно по Северной Европе, как-то в разговоре с умыслом обрисовал эпизод, который я, думаю, воспринял правильно, как притчу. Вот, говорил Ленарт, финны приезжают на субботу-воскресенье в Ленинград только ради того, чтобы напиться до скотского состояния. Напиваются так, что на пароход их приходится нести. Спустя всего несколько часов, причаливает пароход по другую сторону Финского залива, выползают они на причал, длинный, словно большой мост, причал, и ковыляют к пристани. И по мере того, как ковыляют, они постепенно, каким-то чудом, распрямляются, походка их с каждым шагом становится увереннее и тверже, на берег сходит уже само приличие, полнейшая благопристойность. Мораль? Как

я понял: «У вас это можно, до скотского, а у нас – нельзя, мы, поймите, не вы, мы – цивилизация, хотя и на задворках Запада».

Еще он рассказывал. Отец его начинал свой путь гимназическим учителем, и у него учился Альфред Розенберг, впоследствии – житель подмосковных Химок и студент Вхутемаса, художник не удавшийся, но сделавший политическую карьеру – стал сподвижником еще одного несостоявшегося художника, а также фюрера и, кроме того, конефоба (лошадей Гитлер терпеть не мог, считая их эмоционально неустойчивыми – неполноценными), и когда Розенберг опубликовал «Миф двадцатого века», так сказать культурное кредо нацизма, то послал экземпляр с дарственной надписью своему учителю. «Мы сожгли книгу у нас на заднем дворе», – заканчивал Ленарт свой рассказ тоже с умыслом, мне показалось, понятным: «Истории я не забываю».

И еще один эпизод, который уже в моих глазах превратился в символ. Денег у нас, как обычно у командировочных, было в обрез. Поздно вечером зашли в ресторан, где когда-то пел Вертинский. Так нам сказали и, вероятно, поэтому, в меру драгоценной памяти, меню оказалось нам не по карману. А дело шло к полуночи, и другой едальни поблизости не было. Решительным шагом мой спутник отправляется на кухню, подходит к огромному, во всю стену, холодильнику, жестом еще более решительным открывает его, а там лежат различных размеров отбивные, своей рукой он выбирает две самых маленьких и голосом командира требует, чтобы нам их поджарили. Поджарили. И расплатиться мы сумели, правда, едва-едва уложились, копеечка в копеечку. Когда же дошла до меня новость, что Ленарта выбрали в Президенты и что линии он придерживается по возможности разумной, оппозиционной, но не оскорбительной по отношению к нам, я сразу вспомнил, как мы с ним (по Вертинскому) «пригласили тишину на наш прощальный ужин», и удалось это потому, что спутник мой взял дело в свои руки, решительным жестом власть имущего. Так он управлял и своей республикой, с уходом же его все стало иначе – независимость принялась самоутверждаться с помощью наглого забвения истории.

А в Липицу нам предложил поехать еще один участник конференции, словин, международный странник, говоривший, читавший и писавший на пяти языках. Про него у меня спросили: «Вы не знаете, кто это такой?». Спросили, когда мы с Ленартом уже вернулись домой. Спросили там, где наших граждан, выезжающих за рубеж, обычно инструктировали перед выездом – в иностранном отделе. Инструкции бывали и такие: «Документы в

гостинице не оставлять и при себе не носить». Но как-то тоскливо сделалось от того, что даже и таких наставлений в тот раз я не услышал. Насторожившая меня особенность ситуации заключалась в том, что никто нас не только при отъезде не инструктировал, но и по возвращении ни о чем не спрашивал, словно ничего из того, чему раньше придавалось невероятно большое значение, никакого значения уже не имело. Задали только один вопрос про этого пятиязычного участника, пояснив: «Странный тип – наши поинтересовались, есть ли у него секретные сведения, он говорит – есть. Вы не знаете, какие у него могут быть сведения?». Мы говорили с ним преимущественно о лошадях, и у него, точно, были сведения и о лошадях. Но собеседники мои лошадьми не заинтересовались. «А через границу он вам перебежать не предлагал?» – спрашивают.

Граница от Липицы – рукой подать. Даже две границы – хочешь австрийская, хочешь – итальянская, а есть еще и третья – где Триест, и если, следуя Вебстеру, привстать на стременах, то можно видеть в самом деле далеко, обозревая три страны сразу, а теперь, пожалуй, и четыре, поскольку Словения отделилась от Сербии и стала самостоятельной державой: балканизация, участь уготовленная и нам. А что такого? Идет история – раньше мы думали, идет она только в книгах и всякие там великие переселения народов, подъем и падение империй – это все для зачетов и экзаменов, а в сущности нам до этого дела нет. И вдруг у нас – что? Реставрация. Власть берут компрадоры. А мы-то думали (хотя нас иначе учили, пытались учить) все это досужие, отжившие свое слова, слова, их приходится к экзамену заучить и запомнить, однако на другой день можно забыть и выбросить из головы. Кто мог подумать, что слова эти обретут для нас смысл? И до чего злободневный! Оказалось, что история не просто продолжала идти, а, как выразился в свое время переживший то же самое Герцен, проехала по нам колесом.

Поднялись мы в горы – в Липицу. Чтобы поездить, я выбрал маэстозо, потому что лошади этой линии самые крупные из липизанов. Родоначальник линии, жеребец-андалуз, так и звался Маэстозо, серый, а был еще родоначальником той же линии и красно-чалый Фавор. Неаполитанцы, тоже пара, темно – и светло-гнедой, дали начало линии, соответственно, неаполитанской. Третья ведется от жеребца, близкого по крови к ольденбуржцам, и, наконец, сыграл свою роль араб из гнезда сиглави. Итого, шесть прародителей – шесть линий, но самая представительная – маэстозо. Венской Школы я не видел, не бывал там (можно было увидеть ту же школу на гастролях, но билеты оказались невероятно дорогие, будто в оперу), однако по книгам судя,

образцовая смена, которую водил Подайский, состояла из маэстозо.

Вид у меня, когда взгромоздился я на коня, как я уже сказал, был на редкость не заправский, но Ленарт все же вышел на середину круга и стал нацеливаться на меня объективом. Вдруг на рыси я ощутил тревожную легкость в правом внутреннем кармане пиджака. Сунул руку – нет ни бумажника, ни документов. Паспорт! Положим, нас не инструктировали, но что такое наш человек без серпастого и молоткастого? Свет померк в моих глазах. Перешел я на шаг и стал копаться памяти, как же могло это все из кармана выскользнуть? Где? Когда? Да, для того, чтобы подтянуть подпруги и отпустить стремена, я снимал пиджак… Что будет? Что будет? Мрачнейшие мысли овладели мной настолько, что я уже ничего и не видел вокруг. В утрате паспорта чувствовалось тоже нечто символическое. Могло ли нечто подобное совершиться раньше? Даже подумать о таком было бы немыслимо! Повод выпал у меня из рук, и прекрасно выезженная лошадь сама продолжала движение по плацу. Ни зеленых горных склонов, сбегающих в Италию, ни гор, встающих на границе с Австрией, ни чудесной серой лошади, на которой я сидел, ничего этого для меня уже не существовало.

Неожиданно, словно сквозь сон, я почувствовал, что движение прекратилось. Мой маэстозо стоял. Перед собой, на уровне холки, у луки седла я увидел герб Советского Союза. Очнулся от кошмара среди бела дня. Рядом с лошадью, взяв левой рукой жеребца за повод, стоял конюх. Правой рукой он протягивал мне документы. Сверху – серпастый паспорт. «Читайте, завидуйте, я гражданин…»

Можете себя представить, что в то мгновение изобразилось на моем лице? И тут щелкнул затвор фотоаппарата.

А про «счастливого человека на лошади» я услышал от Ленарта по телефону, когда звонил ему, чтобы договориться об его участии в Пушкинской конференции. Получилось так: на Ученом Совете американского колледжа, где я преподавал, взял слово профессор-негр, или, как теперь предпочитают говорить, афро-американец, он заявил, что, дескать, до каких пор это будет продолжаться – пренебрежение к великому поэту африканского происхождения? Сознаюсь, я слушал в полслуха, пока до меня не дошло, что речь идет о Пушкине. Тогда мы с этим черным пушкинистом составили единый фронт и пошли ломить стеною. По университетам, где только есть африканские кафедры, разослали письма с предложением принять участие в мероприятии в честь «гениального мулата», а в ответ раздался дружный глас афро-американской профессуры: «Да здравствуют

музы! Да скроется тьма!». Подал голос и сын Поля Робсона, Поль Робсон-младший, а его великий отец, как известно, мечтал сыграть Пушкина на сцене или в кино. Словом, началось движение за «нашего Ганнибала!» – как выражались черные американцы.

Идея, увы, не осуществилась, потому что инициатор, мой союзник, совершенно неожиданно и скоропостижно скончался, но я все же успел позвонить Президенту Эстонии, ведь документы Ганнибалов – в Таллине. Ленарт сразу согласился приехать и сделать доклад – это как бы само собой разумелось. Главное же, о чем он говорил, это была наша поездка в Липицу. «Не могу забыть лица счастливого человека, сидящего на лошади», – снова и снова повторял эстонский Президент. Ему, видно, хотелось поговорить именно о том, о чем он говорил – о поездке к липицианам. Ведь от повседневных тягостных забот ничто не отвлекает так, как разговор о лошадях.

Великосветский визит, или Волшебное лошадиное слово

«Если с каждым обращаться, как он того заслуживает, то кто бы избежал розог?»

«Гамлет», пер. К. Р.

– Ее Императорское Высочество никого не принимает.

– Скажите Великой Княгине, что я знал наездника, который ездил на лошадях ее брата.

Двери великокняжеского покоя распахнулись.

Дело происходило в Толстовском Институте при Толстовском фонде на Толстовской ферме – это учреждение и даже целое хозяйство, неподалеку от Нью-Йорка, было основано и возглавлено дочерью писателя Татьяной при поддержке ЦРУ. Есть на той же ферме и пансионат для престарелых эмигрантов, поэтому, среди прочих примечательных особенностей, звучит там русская речь, которая режет слух своей негромкостью и мягкостью. Наши соотечественники, доживающие здесь свой век, кажется, не говорят, а всего лишь вкрадчиво произносят слова, ненастойчиво настолько, что можно их и не слушать, а так, что ни скажут, пропускать мимо ушей. «Вишневый сад» да и только!

Сорок лет тому назад, когда вместе с доктором Шаширим мы привезли в Америку тройку, нами была предпринята попытка встретиться с Татьяной Львовной. У меня к ней и рекомендация была – от супруги моего старшего друга и наставника, наездника Щельцына. Социально совсем не ровня мужу, Екатерина Всеволодовна была женой декабристского склада. Внучка Саввы Мамонтова, дочь Всеволода Саввича, ставшего после революции авторитетным судьей по собакам, однако, разошедшегося, что касается лошадей, с Бутовичем, она последовала за мужем в ссылку, а когда его на склоне лет уходили на пенсию (какой наездник слезет с качалки сам, по собственной воле?), утешила: «Ты же счастливый человек, у тебя все впереди, – сказала она безутешному мужу, – ты «Анны Карениной» еще не читал!»

С Татьяной Львовной они были знакомы с давних пор, с молодости, и когда перед отъездом с тройкой за океан я сказал ей о своем намерении повидаться с дочерью Толстого, Екатерина Всеволодовна не только ее живо вспомнила, но даже изобразила ее манеру говорить и действовать – грубовато-решительно, как бы подготавливая меня к встрече, если таковая все же состоится…

Но у нас с доктором, как только пересекли мы американскую границу, пролегла поначалу короткая полоса неудач: табличка «Не работает» висела на первом же механизме – питейном аппарате – который мы увидели на американской земле, не работал лифт в гостинице, сломался школьный магнитофон, когда меня попросили записать эту историю на пленку, и тут же перестали «работать» американские преподаватели, собравшиеся меня послушать, – они умерли со смеху. Наконец, не «работала» и графиня – сломала бедро. «Ну, будем ей звонить?», – спросил Николай Николаевич Мартьянов, книготорговец, который был с ней знаком. Звонить надо было на эту самую ферму и получилось бы навязчиво, тем более что особых вопросов у меня к владелице фермы и главе фонда не было. Стоило ли рисковать? По тем временам подобные контакты не поощрялись. А когда я наконец оказался в Загородной Лощине, где находится все это, освященное именем Толстого, предприятие, то времена были совсем другие, но властной основательницы-хозяйки уже не было на свете.

Попал я в Толстовский Институт, как попадал вообще во множество мест, чтобы выступить с лекцией. Тема была «Русская литература и основные черты русской культуры», аудитория – со стороны, не обитатели фермы, человек двести. Тогда в США кого угодно могло привлечь любое выступление, если только в названии стояло что-нибудь «русское». Американцы еще интересовались нами, желая понять, как это вдруг, вроде бы сам собой, перестал существовать их опасный соперник. Что собственно произошло? «Это была операция ЦРУ», – сказал не я, а мне сказали мои слушатели. Что ж, об этом пусть скажет ЦРУ, как уже говорили от лица этого ведомства о своем участии в политике других стран, я же могу сказать лишь о том, что касалось меня, а я с 1970-х годов был вовлечен в двусторонний, советско-американский, научный обмен. Литературная критика, лирика и физика – все, что касалось нас, с американской стороны субсидировалось согласно Оборонному Акту по Образованию, принятому Конгрессом США после напугавшего их полета нашего спутника. Образование ради обороны, поэтому любое культурное мероприятие было актом холодной войны и соответственно оплачивалось у американцев из военных источников. Одна из литературных конференций, в которой мы участвовали, «спонсировалась» Военно-воздушными Силами США. Набоковский перевод «Евгения Онегина» был издан и премирован на деньги крупнейшей военно-химической корпорации. Проекты по Толстому или Марку Твену с американской стороны осуществлялись наряду с такой затеей, как звездные войны,

согласно все тому же оборонному постановлению, но мы, литераторы, этого как бы не замечали. Если бы мы, вернувшись домой с очередной двусторонней встречи, сообщили о том куда следует, это, как выразился мой начальник, «бросило бы нас в объятия КГБ». Рассуждал он так: сказали бы нам «спасибо» и сделались бы мы литературоведами «в штатском», а нас и так американцы считали клевретами органов и пешками партии. Когда же начальство приняло решение сообщить, что́ же в сущности такое наши мероприятия по литературоведению, в это время холодная война как раз закончилась – нашим поражением.

На Толстовскую ферму я приехал накануне, за день перед лекцией, и мне отвели комнату, чтобы переночевать. В комнате была батарея центрального отопления, а под ней стояла стеклянная банка: туда капала вода из подтекавшей трубы. Я сразу почувствовал себя как дома. На другой день после лекции состоялся упомянутый разговор с организаторами мероприятия, и что-нибудь через полчаса я был представлен кровной родственнице императорской четы, троюродной сестре Николая II, почти на сорок лет последнего царя моложе, Вере Константиновне Романовой.

В то время мы с женой составляли обзор для американского академического Шекспира – «Гамлет» в России» – и среди других материалов пользовались изданием знаменитой трагедии, которое подготовил ее отец, переводчик и поэт, Великий Князь Константин, печатавшийся под литерами К. Р. Заговорить ли с ней о Гамлете? Но двери небольшой светлой комнаты распахнулись передо мной благодаря волшебному лошадиному слову – ссылкой на мое знакомство с наездником, который ездил на рысаках, принадлежавших ее брату, коннозаводчику и спортсмену-конкуристу, Димитрию Константиновичу.

Перед моим умственным взором пронесся в качалке старик Стасенко, картуз и рукава черные (потом эти цвета перешли к наезднику Тарасову, а от него к его сыну, тоже наезднику, моему сверстнику). Встали перед очами моей души и фотографии из журнала «Русский спорт»: тот же Стасенко, только помоложе, на Рыбачьем выигрывает крупный приз. Говорил я однажды с его современником-соперником Ляпуновым, сбежавшим за границу с владелицей лошадей, на которых он выступал, но потом вернувшимся. А знал ли я самого Стасенко или же только видел?

Устами Гека Финна, моего любимого литературного героя, Марк Твен признает, что нет человека, который бы не привирал, но не успел я ответить самому себе, знал ли я достаточно Стасенко, чтобы говорить о нем, как вдруг раздалось, нет, прозвучало, словно старинные часы сыграли менуэт: «Ведь его

расстреляли». Кого? Моя вельможная собеседница, быть может, путает Стасенко с Беляевым, погибшим от рук фашистов?

«Расстреляли» произнесла едва слышно пожилая фарфоровая куколка, и до меня, наконец, дошло, что это упрек. В ответ на мой козырной ход – с лошадей и наездника – мне указывали на мое легкомыслие и бестактность: упомянутый мною великокняжеский брат, упомянутый так, между прочим, погиб от рук той власти, которой я служил. Я расслышал бы упрек раньше, если бы на меня закричали, если бы со мной говорили, как я говорю, как со мной говорят, как мы друг с другом говорим, во весь голос, словно стараясь схватить собеседника за грудки, а то и за горло, чтобы слушал и не рыпался. Тут я осознал: передо мной была белая кость, порода. О, до чего же она тонка – игрушечна!

Всплыла в памяти и еще одна фотография из того же «Русского спорта»: наши конники на Олимпийских играх 1912 года в Стокгольме. Идут на рысях перед трибунами, впереди, возглавляя команду, брат моей собеседницы, в офицерской форме, рука – под козырек, а на лице улыбка, которую, если озвучить, перевести в звук, то получилось бы, я думаю, нечто вроде того же мелодичного возгласа, который я только что услышал, только вместо «расстреляли» прозвучало бы «проиграли».

Даже в те детские годы, когда я рассматривал подшивки старого спортивного журнала, хранившиеся у деда-воздухоплавателя ради редких изображений воздушных шаров, дирижаблей и первых самолетов, а для меня то был неистощимый кладезь сведений о скачках, бегах и верховой езде,[24] даже тогда поражал меня контраст, запечатленный на той фотографии – блеск и нищета. Больно было смотреть на щеголеватые фигуры на отличных лошадях и – улыбку по-детски виноватую. Мучительно было тут же читать о том, как наши блистательные всадники сошли с дистанции и попáдали. Как они могли? Как допустили?

Смотрел я на фотографию и – хоть бы глаза мои не смотрели. Прозвучал в памяти и голос Трофимыча, прошедшего Высшую кавалерийскую школу. Он удостоверял: «Царь сидел в седле непрочно», и как он вспоминал признания своих офицеров перед началом Первой мировой войны: «Набьют нам морду, ох, набьют!». А я слушал и – не хотелось вслушиваться.

Вспомнилось, как Трофимыч рассказывал еще об одной дореволюционной детской игре взрослых привилегированных людей – о привычке царя при обходе часовых якобы скрываться под именем «полковника Романова». Если часовой отказывался пропустить какого-то «полковника» (зная, конечно, с кем он имеет дело), то будто бы исправного служаку, будто бы проявившего

должную бдительность, награждали.

Если передо мной был обломок Российской Империи, то сам я… кто такой? При всей несоизмеримости ее и моего социального статуса согласно критериям прошлого, мы с Великой Княгиней сейчас находились в одном и том же положении.

Начиная с осени девяносто первого, после «путча», у нас заговорили о том, что за решеткой место не только участникам неудавшегося переворота, а следовало бы упрятать в тюрьму и всех тех, кто им сочувствует. У меня же и так за годы перестройки успела сложиться репутация «консерватора». Кроме того, один из моих коллег, сделавшийся одним из худших моих литературных врагов, не счел за лишнюю трату времени и денег, чтобы позвонить общим американским знакомым за океан и проверить, правда ли, что, выступая по телевидению, я высказался за путчистов. Иными словами, борец за свободу прощупывал почву, проверяя, нельзя ли меня, едва я вернусь, свободы лишить. Общие знакомые опровергли слухи, передав по возможности точно, что я сказал: «Попытка навести порядок». Находился я в тот момент далеко от событий, и мне тогда не пришло в голову, что ныне, кажется, общепризнанно, что это была горбачевская провокация. Однако это сразу пришло в голову работникам американского телевидения, и, не спросив об этом меня, они задали вопрос Виталию Коротичу, не Горбачев ли это все устроил, не Горбачев ли сам против себя восстал, а Коротич, чья искушенность в совершении «тушинских перелетов» несравненно богаче моего опыта, ответил: «А что? Вполне возможно». Словом, мнение мое оказалось просто неверным, но несмотря на опровержение слухов, воспоминания детства сталинского времени вселяли мне опасение, что опровержение может быть истолковано превратно или же вовсе не принято во внимание.

Остался я между двух американских ипподромов. Университет, где мне предложили работу прямо по специальности (курсы по теории литературы), находился рядом со скаковым Бельмонт-Парком, и я туда ходил пешком, минут за двадцать, столько же примерно, сколько мне требовалось, чтобы добраться от Пушкинской площади до наших Бегов. Видел крэков, как Сигар и Барбаро, хотя, к сожалению, один проиграл, а второй остался на старте со сломанной косточкой на правой задней. Из окон соседнего колледжа, где я тоже преподавал, через дорогу был виден беговой Рузвельт-Рейсвей, тот самый, куда я звонил из кабинета директора Московского ипподрома, и в результате наших усилий там выступал наш «Яковлевич» (В. Я. Кочетков). Тут же, вдоль колледжа, пролегала ветка железной дороги, время от времени на нее приходил грузовой состав с цирком Барнума,

выгружали слонов и других животных, когда же появлялись лошади, то становилось слышно, как конюхи и всадники говорят между собой в точности, как я говорю, не только на нашем языке, но и в нашем стиле, как будто из тебя душу вытрясают. Это была труппа джигитов, а руководителем оказался выпускник того Циркового училища, где некогда преподавала моя мать.

Однажды зимой, когда в очередной раз приехал цирк и шел снег, вдруг прибегает из своего кабинета жена. Она работала в том же колледже, преподавала – что? То же, что и в МГУ – английскую грамматику. Нам повезло, нас, как волной, подхватило увлечение либеральных американцев дружбой народов и многонациональной культурой, в чем консерваторы зрят конец Америки. Про себя я думал, консерваторы правы, но вслух это говорить избегал. Свой цинизм я извинял объективностью процесса: не личная злая воля – к тому ведет объективный ход вещей. Как писал Эмерсон: «Обстоятельства сильнее нас, они – в седле». Тем более что завкафедрой, шотландец родом, рассуждал в нашу пользу, он провозгласил на общем собрании: «Почему бы нашим студентам не изучить русский вариант английского языка?» Итак, жена прибегает в некоторой панике и говорит, что у нее под окнами – на первом этаже – раздевается донага мужчина. Что это, согласно американским нравам, может означать? Жена у меня, если и понимает, помимо английского, то в кошках. А под окном у нее, прямо у вагона, невзирая на непогоду, менял костюм и готовился к выступлению воздушный гимнаст… И я, следя за снежинками, вспомнил Пятую Тверскую-Ямскую и Маркианыча, который всякую выходящую за пределы воображения неожиданность или нелепость объяснял возгласом: «Цирк!»

Обстоятельства складывались сами собой в силу каких-то символических совпадений, их было невозможно истолковать, но игнорировать было тоже нельзя: словно судьба тебя за руку ведет и приговаривает «Не рыпайся!» Не один – два ипподрома под боком, не говоря уже о том, что в университете, помимо преподавательской нагрузки, мне поручили курировать студенческую конноспортивную команду, как бы подчеркивая, что мне от лошадей все равно никуда не деться. Как еще прикажете это понимать?

Знамения подавались со всех сторон, что из мира лошадей, что – из литературы. «У Горького есть очень значительный роман под названием «Мать»», – от кого я это услышал? От левака? Оппозиционера? Это так, между прочим, сказал высокообразованный, консервативных убеждений, американец, философ и математик, ректор университета; он-то поначалу в

первую очередь и пригласил меня на работу рядом со скаковым ипподромом. «Не могу понять, как вас мог взять этот мракобес!» – так высказался знакомый мне редактор литературно-критического журнала. «Как же вы туда попали? – поразился другой хороший знакомый, – вы же не диссидент». Положение, в самом деле выглядело парадоксально, ведь все должно быть наоборот, «где у наших выпуклость, у этих выем», – как сказал Маяковский в своем «Открытии Америки»: кто у нас был либералом, тот здесь обычно становился консерватором, я же из консерваторов попал в объятия консерватора, как сказал бы мой прежний начальник. Причем этот почитатель Горького был не просто консерватор, это был крайний консерватор, ставленник такой правой организации, как Фонд Джона Олина, и таких признанно-реакционных политиков, как Чейни, а университет, куда его назначили, являлся, подобно большинству учебных заведений в США, насквозь либеральным. Приглашая «варягов», ректор хотел дать понять местным, что они как профессора ничего не стоят. Местные же изо всех сил, выступая единым фронтом, старались доказать ему, что и они не лыком шиты. Шла внутренняя война ради полного уничтожения противника, в которой я участия не принимал, однако пал ее жертвой: ректор потерпел поражение, его выжили, Фонд Олина тут же срезал дотацию, и место, на которое поверженный ректор меня пригласил, перестало существовать.

А когда в самом начале моей недолгой университетской карьеры мы с начитанным ректором беседовали о романе «Мать», я, глядя из окна его кабинета на дорогу, ведущую к ипподрому, вспоминал, какую особую роль в силу странного совпадения сыграл в моей жизни тот же роман, краеугольный камень в фундаменте социалистического реализма. Моим ранним литературным опытом был пастиш – подражание, и не кому-либо другому, а Горькому. С поправкой на время, в пятьдесят восемь лет, я должен был сотворить уже не только нечто социалистическое, но прямо ответить на вопрос «Что такое коммунизм?», создав обновленную «Мать». Такое поручение получил я от Федора Панферова, при этом уже неизлечимо больной, но все еще живой классик сказал: «Пишите правду». По молодости я пожелание литературного патриарха понял слишком прямолинейно и постарался, по мере сил, ему следовать, так что дело едва не кончилось катастрофой, но это для других воспоминаний.

После падения благорасположенного ко мне ректора, увидел я из окна своего нового кабинета трибуны другого ипподрома – пришлось из университета перейти в соседний колледж, через

дорогу от того самого рысистого рейсвея, куда мне поручали звонить с Беговой и где выступал Кочетков. В колледже положение мое сделалось еще более парадоксальным, я вел уже не курсы теории, а – литературы, причем, американской, словом, в лес дрова возил, и знакомые не удивлялись, они просто отказывались этому верить как абсурду, но то был настолько свободомыслящий колледж, что если кому, в самом деле, рассказать, то глаза на лоб вылезут.

Наученный опытом нашего Института Мировой литературы (занимавшего, как вы, быть может, помните, помещение бывшего Департамента коннозаводства), я за три десятилетия усвоил: не суйся, куда не просят. Главное – за глаза не трепать языком, не перемывать в досужих разговорах чужих костей, что у нас, что за океаном, это универсальное правило хорошего тона. В том колледже, через дорогу от бегового ипподрома, войны не было, там, как у нас в ИМЛИ, был большой дружный коллектив, державшийся не единомыслием, а новозаветным пониманием, что судить никого нельзя, а не то сами судимы будете. Кого там только не было, и все уживались, правые и левые, ортодоксы и оппозиционеры, короче, люди не только разных, но совершенно несовместимых убеждений и вкусов. Сам завкафедрой говорил: «Если пройтись по аудиториям, то может показаться, будто не одни и те же, хотя и по-разному, дисциплины преподносятся, а предметы, не имеющие между собой ничего общего». Так что, если бы захотел, я мог сворачивать когда угодно на лошадей. В конце концов, на десятом году, осмелев (подставьте, если желаете, другое слово по собственному выбору), я попросил разрешения вести спецкурс «Иппической литературы». К моему предложению завкафедрой, умело находивший способ всех ублаговолить и примирить, отнесся с пониманием. Но у меня, увы, начались боли в груди – появились признаки грудной жабы… Врач, после всяческих просвечиваний, меня вроде бы обнадежил: «У вас есть целый ряд возможностей». Сказал он это таким жизнерадостным тоном, в духе плюрализма и в соответствии с принципом свободы выбора, будто все пустяки, а он будто бы имеет в виду что-нибудь не серьезнее проблемы, ехать ли мне от него на автобусе или же вызвать такси. Врач между тем продолжал: «Вы, если хотите, можете умереть». Со своей стороны я поинтересовался, как скоро смогу я воспользоваться этой возможностью. «Когда угодно, в любую минуту», – тем же бодрым тоном отвечал эскулап, вооруженный новейшей диагностической техникой. «А-а ка-какие у меня еще имеются возможности?» – «Операция». После непродолжительных колебаний, я выбрал второе, а в исполненной оптимизма речи

врача расслышал грозный глас судьбы: «Пора на пенсию!». Чего еще тебе надо? Пусть «Иппический» курс не состоится, но в общей сложности в двух учебных заведениях за пятнадцать лет я прочел двадцать различных курсов, вел не меньше пятидесяти студенческих групп, не говоря уже о том, что увидать розыгрыш крупнейших призов Кубок Бельмонта и Кубок коннозаводчиков.

Вернусь к Вере Константиновне: мы с ней напоследок разговорились не о лошадях собственно, а о «лошадиной» литературе. Вкусы Великой Княгини остановились где-то в конце девятнадцатого столетия, на «Красавце-Вороном». Признавая свою отсталость, моя собеседница выразила желание пополнить свои иппические знания и по возможности модернизироваться, и я обратился к своему прежнему оппоненту, собирателю американского фольклора, чтобы он послал Ее Высочеству записанную и в первозданном виде изданную им исповедь современного конского барышника.

Как известно, ветераны войн, даже если они сражались друг против друга, в рядах враждующих армий, с окончанием боевых действий нередко оказываются как бы союзниками, по одну сторону баррикад, поэтому моя просьба была выполнена, но как, при великосветской деликатности, восприняла высокородная читательница неподдельно достоверное повествование, сохранившее все звуки и ароматы конюшни, осталось неведомым. Вместо этого мне пришло приглашение от Славянского отделения Нью-Йоркской Публичной библиотеки присутствовать на заседании, где будет дан обзор материалов, поступивших в фонды библиотеки после недавней кончины Веры Константиновны Романовой. Докладывал еще один друг-недруг, библиограф, завотделом, говорил о рукописях К. Р., о старинных иконах с золотыми окладами, об уникальном, в инкрустированном переплете, издании Библии, о фамильных фотоальбомах, однако о чем-либо, что касалось конских торгов, насколько я мог уловить – ни слова.

Вслушиваясь в зачитываемую опись, я мысленно составлял реестр встреч, столь же необычных, как визит к Великой Княгине Вере, о которых надо было бы при случае рассказать. Из тех, что касались конного мира, первой всплыла в памяти монументальная фигура Михаила Громова. Он в глазах всего света олицетворял связь летчиков и лошадей, а для меня явился еще и патроном – по просьбе деда-воздухоплавателя рекомендовал меня в «Пищевик». Иначе – не принимали. Требовалась связь с пищевой промышленностью, а у нас, хоть расшибись, не нашлось ни одного родственника или знакомого, который хоть как-то был бы связан с этой отраслью народного

хозяйства. Михаил Михайлович, я думаю, решил вопрос по телефону, во всяком случае, встретился я с ним позднее, когда это был уже не «Пищевик», а «Труд», и так это было удивительно видеть в полутьме конюшни, в кавалерийской длинной шинели, известного по книжкам высокого, стройного человека, легендарного летчика, чье имя, наряду со чкаловским, олицетворяло подвиги – полеты над полюсом. Даже на фронте он не расставался с лошадью.

На смену, словно устремленной ввысь громовской фигуре пред очами души моей явился, напротив, некто невысокий, даже коротышка. Знать бы мне, до чего же большая в руках у этого небольшого человечка имелась власть! И какая власть! Что означала для множества людей! Имя этого человека я знал, но понятия не имел, как он выглядит, и немногие узнали бы его в лицо. Хотя фигура тоже была легендарная, но – на другом полюсе популярности.

Дело было на верховом отделении Первого Московского завода. Человек этот зашел в денник, где стояла подседланная для его дочери лошадь. Видно, он зашел проверить, хорошо ли подседлали. А «Мишаня», Михаил Андреевич Бородулин, опытнейший конюх, уже занятый другой лошадью, для другой дочери, велел мне отвязать и вывести подседланного коня из конюшни. Направился я к деннику, и в дверях мы почти столкнулись с этим человеком, его внешность побуждала пропеть «Дядя Ваня, хороший и пригожий… Дядя Ваня, отличный наш добряк…». Он мне что-то сказал, но я не расслышал, он не стал повторять и направился к выходу. Подтянул я подпруги, отвязал, вывел. А Мишаня спрашивает: «Что тебе Иван Алексаныч сказал?» – «Какой Иван Алексаныч?» – «Да Серов». Если вам это имя ничего не говорит, загляните хотя бы в одну из тех ныне многочисленных книг (ни в одной из них без него не обойдется), о бериевском, как, впрочем, до-, а также послебериевском правлении в наших следственно-разведывательных органах, и – содрогнетесь.

Как-то раз собрался я работать Зверобоя. А конюх ещё убирал у него в деннике. Зверь стоял привязанный у кормушки. Конюх копался в углу. Я – в дверях. «Что это?», – вдруг раздался у меня за спиной голос, как говорится, сильный, но противный. Конюх, не разгибаясь и не оборачиваясь, в ответ крикнул: «Что не видишь? Лошадь, мать твою распротак!». Я обернулся – и встретился лицом к лицу с человеком, которого тут же узнал. Кому угодно из моего поколения невозможно было его не узнать. Со школьных лет имя и лицо этого человека маячило перед нашими глазами на фотографиях, в живописи и скульптуре. Глаза

излучали пламя. На широких плечах – пальто еще шире, вроде черного плаща, как у Люцифера. Лысенко. Как он вдруг возник на конюшне? Почему пришел? О, нет, ошибаются поверхностные, спешащие успеть за модой, разоблачители, представляя его посредственностью и даже ничтожеством. Это – фанатик, советских времен Савонарола. Зачем задал свой вопрос, увидев копошащегося в углу конюха? Лысенко прожег меня взглядом, и, казалось, даже дверь денника у меня за спиной оказалась опалена. Молча повернулся и… нет, не вышел, не удалился, он силой какой-то дьявольской энергии исторг себя из нашего поля зрения.

Вращались мои воспоминания и вокруг одного краткого разговора, ожившего в памяти благодаря только что прочитанной серьезной книжке о так называемых «реформах». Судя по фамилии-отчеству автора, я поначалу думал, что книга написана сыном человека, которого я прекрасно знал. Дойдя до середины, где автор рассказывает о себе, понял, что ошибался – персонально. Однако в широком смысле ошибки не было. Автор, годившийся по возрасту в сыновья человеку, которого я знал, отвечал на вопрос, некогда обращенный этим человеком ко мне. Словом, диалог отцов и детей, а собеседником, почти полвека тому назад задавшим мне вопрос или, точнее, поделившимся со мной своими тревогами и сомнениями, был начальник Главка коневодства. Мне тогда ответить на вопрос было нечего, а вот нынешний молодой автор-экономист отвечал.

Понимал ли тот начальник в лошадях, не мне судить. Конники отзывались о нем иронически, однако, учитывая в кругу каких конных светил я вращался, скажу: эти крэки свысока смотрели на всех. Даже друг друга они были склонны третировать, и едва ли не каждый считал, что если еще кому-то удалось выявить классного рысака или скакуна, то он на той же лошади проехал бы гораздо резвее. Когда выдающийся киноактер Орсон Уэллс сказал, что он бы «крестного отца» сыграл лучше, чем это сделал другой выдающийся актер Мэрлон Брандо, в этом заявлении мне послышались голоса наших первейших мастеров призовой езды. Отчего погиб один из них – Зотов? Обещал: если у Гриценко заберут резвейшего Калибра и отдадут ему в тренинг, он разменяет на нем две минуты. Не получилось. И кончилось каким-то невероятным по нелепости, похожим на самоубийство, попаданием выдающегося уже пожилого мастера под товарный поезд: со своей деревянной ногой полез под вагон, а состав тронулся…

На того же Калибра Петр Саввич сажал меня делать маховые – жеребец безбожно тянул, так, что руки отваливались, хотя я всю

дорогу держался в спину. Пока мы между гитами шагали, Саввич свободно, лишь заглушаемый проносившимися над нами самолетами, высказывался о текущей внутренней политике. Это от него, когда Хрущев нам обещал, что мы вскорости заживем при коммунизме, я услыхал: «Да вони ж давно житлують при кхоммунизме». Что в узком смысле означает «житлують», я должен был позднее проверить по словарю, но по существу все было вполне понятно: они-то житлують, что бы это ни значило… Задолго до того, как это всему миру в своих «Русских» откроет Хедрик Смит, мастер-наездник, простой и разумный наш человек, обозначил всю меру осознаваемого им неравенства в стране, где, предполагалось, такие люди, как он, «станут всем».

Итак, начальник главка, советский высокопоставленный функционер, и его признание. Насколько понимал он в лошадях, еще раз скажу, не мне судить, но относился он к своему делу, на мой взгляд, не безразлично, не как могильщик. Не могильщик хотя бы потому, что поделился со мной опасением, как бы это дело не похоронить.

Однажды как переводчик, я помогал ему в общении с целой когортой директоров европейских ипподромов. Показывал он им нашу гордость – маточный табун все того же Первого завода. Вид, я вам скажу, был такой, будто доставили из Музея коневодства шедевры иппической живописи, и сошли с полотен Сверчкова, Самокиша и Петра Соколова запечатленные ими породистые кобылицы. К этому добавьте окружающее сияние, простор неба и размах луга, того самого, по которому, согласно Бабелю, ходили не только прекрасные лошади, но и не менее привлекательные женщины (писатель снимал дачу неподалеку, в деревне Малоденово, у соседа Бородулиных), соедините все вместе – и у вас в самом деле голова пойдет кругом. Гости оказались поистине, как теперь у нас говорится на чистом русском языке, впечатлены. Затем подошел автобус и увез их. Мы остались вдвоем среди немыслимой красоты. Нас разделяли положение и возраст, но, бывает, человеку надо хоть кому-то высказать, что лежит у него тяжелым камнем на душе. Только что восторгавшийся вместе с гостями видом чистопородных орловских кобыл начальник Главка коневодства посмотрел на меня и говорит: «Не знаю, что с ними делать, куда их девать». Имел он в виду, понятно, не племенное ядро маточного табуна, а молодежь, не имевшую сбыта при опущенном железном занавесе. А книга, написанная годившимся этому начальнику в сыновья экономистом, давала анализ только что постигшей нас катастрофы: в очередной раз наломали дров. Наломали, как автор говорил, потому что поддались уговорам «открыться миру»,

то есть, согласно автору, совершили экономическое самоубийство. А что надо было делать? Не позволять кучке кем-то подстрекаемых и поддерживаемых проходимцев распродавать страну на вынос. Держаться особняком. Так говорил современный патриотически настроенный и, видно, хорошо осведомленный специалист. Тут и вспомнился мне никем не подстрекаемый, облеченный властью и обремененный ответственностью, высокопоставленный собеседник, как он, растерянный, озадаченный, смотрит мне в глаза и говорит: «Не знаю, что с этими лошадьми делать, куда их девать». А вокруг – ожившие шедевры иппической живописи.

По коням!
Обращение к читателям нового века

«Лошаденка жует, слушает и дышит на руки своего хозяина. Иона увлекается и рассказывает ей все».

А. П. Чехов, «Тоска»

Породистая голова моего собеседника, казалось, касается кроны деревьев, орлиный профиль реет надо мной, а были мы примерно одного роста. Такова высота авторитета – на говорившего смотрел я снизу вверх. Ко мне обращался Владимир Оскарович Витт. Вы трепещете? Я трепетал. Если есть такое понятие, как *фигура*, то ведущий наш эксперт в конном деле был воплощением этого понятия: выразительная осанка, огромные знания, фундаментальные, с блеском написанные труды. Он, однако, вздыхал: «Не передать, до чего гложет меня печаль». Выдающийся специалист и прекрасный писатель сокрушался по поводу того, что не может написать книги вроде той, какую вы держите в руках. С моей стороны, само собой понятно, это не посягательство на сравнение, а лишь указание на жанр – беседы о

лошадях. Написать, положим, было можно, и сделал бы он это лучше любого из нас, но кто опубликовал бы такую книгу? Сейчас, даже трудно представить себе подобную ситуацию, но в конце пятидесятых годов двадцатого века мне это было совсем нетрудно, и я попробую объяснить, что за препятствия не мог тогда преодолеть даже признанный авторитет и безупречный стилист.

Сила, противостоящая или способствующая нам, называется *время*, а время было такое – не до лошадей. Когда вышла моя книжка «По словам лошади», стали поступать читательские отклики, и среди них два письма оказались в этом смысле особенно красноречивы. Одно прислал человек пожилой, другое – молодой, и оба спрашивали: «Посоветуйте, что мне делать?». Пожилой, сибиряк, жаловался на судьбу: «Нет больше знаменитой породы бегунцов, а я о них знаю все. На что же теперь нужны мои знания? Как жить?». Другой корреспондент, девушка, жаловалась на собственного отца. «Мой отец, – писала она, – главный инженер большого завода, и когда я ему сказала, что хочу заниматься конным спортом, он мне запретил. Не могу я позволить, говорит, чтобы моя дочь возилась с какими-то там лошадьми. Отец прав?» Кто сочтет, что ответить на подобные вопросы проще простого, пусть подождет и придется ему от людей середины двадцать первого века услышать, что вопросы, волнующие всех сейчас, в начале нового столетия, гроша ломаного не стоят.

В наши дни по поводу всякой, не осуществившейся в свое время, идеи приходится слышать «Запрещали». Спора нет, запрещали, да еще как! Лошади не были запрещены, однако находились под подозрением словно нечто отживающее. Зачем извели сибирских бегунцов? За ненадобностью в народном хозяйстве, и некуда стало знатоку приложить свои знания. Тот важный папаша, что не позволял дочери сесть в седло, руководствовался соображениями, в том числе, несомненно, и политическими: верховая езда – спорт старорежимный! Или, скажем, у нас в конноспортивной школе «Пищевик» в один прекрасный день, следуя высокой директиве, переименовали лошадей, носивших иностранные клички: вороной Дарлинг стал Дорогим, а рыжая Ажитация – Анапой: иначе нельзя – непатриотично. Не говоря уже о том, что слова «Господь Бог», как и название классического приза Дерби, не позволяли писать с большой буквы. «Низ-з-зя» произносилось по любому поводу, и поводы, вроде переименования лошадей из патриотических соображений, кажутся выдумкой. «Уберите лампочку!» – потребовали в редакции, где шел очерк об индейцах и ковбоях.

Индейцев я увидел существующими в знакомой нам мерзости запустения, а перегоревшей лампочкой уже на нашей конюшне намекал, что и у нас не все в ажуре, но редакция проявила бдительность. «У нас, – сказали, – негодной лампочки быть не должно».

Случаем, по абсурдности едва ли не самым невероятным в моей авторской практике, был такой: повесть «Похищение белого коня» подверглась цензуре специальной. Вызвали меня в Министерство внутренних дел и вежливо, однако настойчиво, попросили снять полстраницы (вместе с неугодной лампочкой теперь восстановленные). Это было описание протокольной процедуры в милиции. Списал я процедуру с натуры, не вполне даже отдавая себе отчет в том, что́ копирую. Поэтому, как только меня попросили полстраницы убрать, я решил, что наделал ошибок. «Это неверно?» – спрашиваю. Следует ответ еще вежливее: «Снять мы вас просим именно потому, что верно». Оказалось, как тот поэт у Чапека, сам того не желая, запечатлел я нарушение правил допроса, чего замечать и не следовало. То был бред исторический (по Герцену), а исторического бреда бывает предостаточно в любые времена: поживете – увидите!

Теперь чуть ли не всякий прежний запрет сразу сваливают на сталинизм, диктатуру, словом, систему. Система системой, однако, разные люди вели себя при этом по-разному. Многие системой пользовались в своих интересах, выдавая их за интересы государства, партии и народа. Если одни не доносили, то другие требовали их за такое нерадение наказать – убрать, а сами занимали их место. «Борьба с генетикой», как и с чем угодно, служила лишь ширмой, за которой шла схватка не на жизнь, а на смерть: кто – кого, чья возьмет? Мой отец, один из организаторов и руководителей Издательства Иностранной литературы,[25] был отовсюду исключен «за потерю политической бдительности», в то же самое время люди говорили «Бросьте эту бздительность» и – ничего, их не трогали. Суть была не в генетике или бдительности, а в борьбе за положение и власть, и кто в *этой* борьбе был прав, кто виноват, кто являлся жертвой, а кто мучителем, кто в самом деле пострадал, а кто попользовался: под этим углом зрения постараюсь дописать, начатую еще в восьмидесятых годах, повесть «Звонок из Кентукки, или Сталинский конь», которая станет третьей частью общего замысла «Борьба за породу» после двух первых частей «Железный посыл» и «Похищение белого коня».

Или вот сценка. Как переводчик передаю нашему ответственному лицу, управляющему коневодством, вопрос конника-англичанина: «Дали что-нибудь ценное жеребцы-

производители, которых Советский Союз после войны вывез из Германии?» Лицо строит кислую мину и произносит нехотя: «Ничего». Англичанин пожимает плечами, потому что это (даже я читал книгу профессора Витта о чистокровных) не так: наши всадники успешно выступают на потомстве этих жеребцов. Но – нельзя уступать иностранцам!

Лицо, обладавшее большой властью и малыми знаниями, охарактеризовал мастер-наездник А. Г. Бондаревский. Перед заездом, в паддоке, помахивая хлыстом, Александр Григорьевич рассуждал следующим образом: «Беда нашего дела, друг мой, заключается в том, что во главе дела стоит могильщик этого дела». Так в мое время выражали свои мысли классные наездники – в паддоке, среди лошадей. Разговор о выводных производителях, в особенности линии Эталон д'Ора, мог повториться, поэтому беседу главконупра с англичанином от слова и до слова я пересказал Михаилу Тиграновичу Калантару, директору ипподрома. Услыхав *ничего*, Тиграныч вскипел: «Вот дурррак! Всему миру известно, что мы едем на потомстве этих жеребцов». Однако могильщик конного дела со временем и с почетом, оставив после себя кладбище вроде сведенных на нет бегунцов, благополучно удалился на персональную пенсию. А Калантар? Застрелился. В предсмертной записке требовал, называя поименно, кому на похороны его не приходить.

Всезнающий Владимир Оскарович Витт объят был тоской даже не потому, что ему не разрешили бы опубликовать то, что он мог прекрасно написать. Кое в чем его бы, разумеется, прижали, вообще же слово профессора Витта считалось законом. Основной его опус, роскошный по тем временам фолиант, в коленкоровом переплете с тиснением, на отличной бумаге, с множеством иллюстраций, и под названием «Очерки отечественного коннозаводства», вышел в одном из центральных издательств большим форматом, потому что – *отечественного*, а вот его же книгу об английских чистокровных скакунах, знаменитых на весь свет, взялся напечатать всего лишь издательский отдел Центрального Московского ипподрома, и переплет оказался уже победнее – картонный, и бумага гораздо хуже. Но – напечатали. Книгу расхватали, и, насколько мне известно, никого за выпуск и чтение уникальной монографии не наказали.

Так что недозволенность в данном случае не являлась основным препятствием. Ощущение ненужности всех тех необъятных сведений, что хранились в его памяти, – вот еще почему горевал знаток. «Никому это не нужно!» – Витт так и сказал. А речь шла о не попавших в «Анну Каренину» подробностях падения князя Голицына у последнего препятствия,

о седле изумительной кожи, что было подарено Толстому и пропало во время войны и о многом другом в том же роде. «И все это уйдет вместе со мной», – со вздохом говорил знаток. Разговор наш происходил на конном заводе, однако даже там, в святилище, пришлось бы поискать заинтересованных во всех этих тонкостях, а уж если выйти за ворота, на проезжую дорогу, то люди непосвященные только бы удивились, если бы у них стали отнимать время рассказами о падении князя и седле хотя бы и великого писателя. В самом деле, кому и зачем это могло быть нужно? Сейчас у самого Бутовича читаю: «Все это меня раздражало, утомляло и казалось каким-то мелким, скучным и ненужным».[26] Чем вызвана гамлетовским слогом выраженная тоска? Необходимостью идти на конюшню. У Бутовича! И это на исходе позапрошлого столетия, когда лошади были – всё. Чем же объяснял конник свое кажущееся невероятным состояние? «*Тем временем*». Чего же было ожидать в середине двадцатого века?

У меня на глазах и даже при некотором моем участии разыгралась драма еще одного редкостного специалиста по лошадям. Отвергли рекомендованную мной рукопись В. О. Липпинга о талантливых, вроде Бирона, конниках, зарывших в землю свои зоотехнические дарования и занимавшихся, как пресловутый временщик, другим делом. Это – в редакции ЖЗЛ, где двадцать лет спустя в альманахе «Прометей», наконец, увидел свет очерк Бутовича о «Холстомере».[27] Почему? Время было уже другое. Согласно теории детерминизма, то есть причинно-следственной связи в истории, к жизни оказалась вызвана соответствующая личность – редактор, увлекавшийся лошадьми, и все препятствия устранились как бы сами собой. А мне в ту пору удалось там же опубликовать «По словам лошади».

* * *

И не думал я писать о лошадях. Уже предостаточно написано, и как написано! Конюшня для меня была отвлечением от книг, лошади – вместо литературы. На конюшню попал я, влекомый зовом предков. Зимой и осенью ноги сами несли меня на ипподром, а летом, в каникулы, меня будто в спину толкало – гнало в табун и в ночное. Пас я лошадей, ездил верхом, сел на беговую качалку, убеждаясь в старой истине: действительность подражает великому искусству. Ипподром это был «Изумруд», ночное – «Бежин луг». Зачем же тревожиться еще что-то писать? Даже Чехов, читая Тургенева, говорил: «Лучше не напишешь». Но как-то в разговоре, слушая о моих походах на ипподром, Димка

Жуков, отец будущего вице-премьера, прервал мои устные рассказы: «Хватит колебать воздух. Садись и пиши». Что ж, тот же Чехов, обращаясь к пишущим «щенкам», советовал им не робеть и не страшиться литературных «больших собак», важно только, говорил он, чтобы всякая «маленькая собачка тявкала своим голосом, тем, что Господь Бог дал». Отчего же не «тявкнуть»? Но я слишком хорошо помнил печаль знатока, и внутренний мой голос отозвался на дружеский совет: «А кто опубликует?».

На удачу моей музой стала дочь Брежнева. Общие знакомые-журналисты, работавшие вместе с Галиной Леонидовной в Агентстве «Новости», попросили показать им лошадей. Поехали мы все на тот же конный завод, а там, показывая лошадей, приходилось рассказывать о них. По окончании нашей экскурсии подходит ко мне охрана, сопровождавшая Галину, и велит: «Все, что вы тут языком мололи, изложите в письменном виде».

Следующим явившимся на сцену действующим лицом стал Миша Л. Бывший студент моего отца, Миша был редактором уникальным: рукописей не правил, ничего не сокращал и даже еще умудрялся восстанавливать снятое издательским руководством. После Мишиной антиредактуры меня спрашивали: «Как же это прошло в печать?». Всюду требовались восторги по поводу современности и радужные надежды на будущее, а у нас с Мишей получалось по Карлейлю: *прежде*, по крайней мере в мире лошадей, было не хуже, а то и лучше, чем *теперь*. Наша иппическая ностальгия плюс имена загубленных или же оказавшихся в эмиграции конников проскочили через запретительные рогатки, потому что Миша был из вдохновенных вещателей, по Беранже, повторенному Горьким: они, баяны, способны навеять кому угодно какой угодно сон самый золотой. Мишина ворожба являлась творимой легендой, это были полумифы или просто мифы, как положено, с крупицей истины, но никому неведомо, какой. Миша завораживал правдоподобностью. Как не поверить, если рассказывают, будто известный писатель, прочтя твою книгу, пришел в восторг? Руководство поверило, хотя, к сожалению, мне пришлось утратить веру: собрался было я, когда представился случай, писателя поблагодарить, а тот отвечает, что не имеет о моей книжке ни малейшего понятия. Однако писатель добавил, выдавая из чувства профессиональной солидарности мне лицензию: «Ничего не имею против, если вы будете продолжать говорить, что я пришел в восторг от вашей книжки». Другой писатель стал жертвой Мишиной легенды, поверив, будто меня поддержала Олимпийская чемпионка Елена Петушкова, и при встрече попробовал заговорить с ней обо мне, а в ответ услыхал:

«Я знать его не знаю».

* * *

Эта книга была в редактуре, когда пришла печальная весть о кончине Елены Владимировны Петушковой. «Баловница судьбы», «министерская дочка», «ей готовили лошадей» – такие разговоры сопровождали и омрачали ее успехи. А вот что я о ней слышал: «Ляля – талант». Кто это высказался? Ее старший соконюшенник, победитель Кубка Наций, Андрей Максимович Фаворский. Вопросы еще есть? Мы с ней, в самом деле, знакомы не были, лишь однажды оказались рядом, и я видел ее не в седле, а в кругу соперников, западноевропейских мастеров «высшей школы». Петушкова держалась так, будто не она была среди них первой, и если злые языки говорили, что лошадей ей «готовили», то я подумал: «Позвольте, разве им всем, более чем состоятельным всадникам-любителям, не готовят лошадей профессиональные берейторы?». Петушкова была у нас первой, кто провел эту черту – между конниками-профессионалами и спортсменами. Благодаря авторитету Олимпийской чемпионки ей удалось сказать об этом открыто – в прессе, и вообще все ее публичные высказывания не содержали никаких банальностей или глупостей, одни – умности. Сочетание свойств, какими одарила Елену Петушкову судьба, определяется словом – класс. Как бывало в старой России, принадлежа к элите, она обратила предоставленные ей преимущества на пользу не только себе, но и обществу.

* * *

«По Батлеру», – так отвечал я моей соученице по университету Асе Николенко и Ярошке Голованову, с которым мы в детские годы вместе гоняли в футбол. Ася работала в «Новостях», а Ярошка – в «Комсомолке», они после появления «По словам лошади» решили сделать про меня «материал». Их первым же вопросом было, как это получилось, что городской выкормыш, дитя асфальта, очутился среди лошадей. Консервативный скептик и реакционер-радикал Сэмюель Батлер как авторитет их не устроил, но сошлись мы на Байроне. Ярошка считал, что, рассказав байроническую историю, я сделал ему подарок, иначе излагать ту же историю пришлось бы ему самому.

История, которую Ярослав Голованов умело обработал, была как я уже упомянул, такова: тот самый англичанин, королевский

ветеринар, что принимал двух красавцев-коней, отвезенных Хрущевым с Булганиным в Англию и преподнесенных королеве, нагрянул в Москву, а меня назначили ему в переводчики. Для меня это был первый опыт исполнения обязанностей, так и оставшихся на многие годы за мной. Учился я на третьем курсе и, не желая упустить представившейся мне возможности проверить свои знания, я взялся сообщать английскому лошаднику все, что только успел изучить из литературы, истории и философии его страны. Стоило мне дойти до Байрона, молча слушавший меня ветеринар прервал: «Могу вас познакомить с леди Вентворт». Времена, конечно, были уже не столь строгие, однако, контакт с некоей леди все же не получил бы одобрения, предложение королевского коновала я отклонил. А годы спустя, читая зарубежную прессу, понял (увы!), что предлагали мне вступить в переписку с внучкой Байрона, заядлой лошадницей. «Подарок!» – воскликнул Ярошка, прослушав мою историю и делая заметки в своем блокноте.

А Батлер не подошел, потому что он шел против Дарвина. Прав был Батлер или нет, веря в наследственную память, не знаю, но иначе как наследственной памятью объяснить свое пристрастие к лошадям, я не мог. Ноги сами несли меня на конюшню, и слышалось что-то родное в речах конников. Ночное было детством моего отца, выросшего в деревне. В Москве, аспирантом МИФЛИ, он в манеже Осовиахима брал уроки верховой езды у берейтора, сын которого со временем стал моим наставником. А со стороны матери опекал меня дед, инженер-авиатор, на глазах у которого поднимались в воздух ранние аэропланы с дорожки ипподрома, поскольку аэродромов еще не было.

Родился и рос я в центре большого города, возле Пушкинской площади, трамвайные звонки и гудки автомобилей – музыка детства. Но и лошади ещё не ушли в прошлое. С запахом бензина смешивался аромат конского пота – ломовые извозчики не перевелись. Два раза в год у нас под окнами, следуя на Красную площадь, проходила кавалерия. «Конек-горбунок» не только был одной из любимых книг, то был первый балет, который я увидел. На сцену вывели настоящих лошадей. Я всё ждал и не дождался, когда же зазвучат мне знакомые строки «Кобылица молодая…», но так и не дождался, всё совершалось почему-то молчком. Любимая игрушка – лошадь Чернушка. К деду приходил один из первых космических инженеров и запрягал мою лошадку в сбрую из веревок. А Королев? Он запрягать не умел.

Нет, не зря Батлер верил в наследственную память. Даже в годы борьбы с генетикой коневоды продолжали верить в породу:

как иначе понимать класс, если не наследственность?

Оказавшись как наездник, равно и всадник, почти полной бездарностью, я смог удержаться в манеже и проникнуть на призовую конюшню исключительно за счет языка, как переводчик. Ипподромное начальство, заинтересованное в толмаче, который все же может, хотя и не без труда, хлыст от хвоста отличить, даже выдало мне охранную грамоту, предписывая всем и каждому, днем и ночью, повсюду в пределах конного мира оказывать мне всяческое содействие и ни в чем не отказывать. Не стану сейчас перечислять двери каких конюшен открывались передо мной благодаря магическому документу. Скажу лишь, что была только одна единственная дверь или дорога передо мной раз и навсегда закрытая. «Чтобы тотошкой и не пахло!» – сказал Калантар, имея в виду тотализатор, и всем, кто, прочитав подписанную им бумагу, готов был распахнуть передо мной двери, было известно: с игрой не связан. А какие мастера снисходили до знакомства со мной и возле каких лошадей имел я возможность постоять и не только постоять, но даже поездить на них, перечислять не стану, ибо что перечислять, если все равно никто не поверит, обозначу лишь временны́е рамки.

На лошади, а также возле ипподрома очутился я еще до войны, а после войны – первый поход с отцом на бега и скачки, дружба с «Ванюшкой», Иваном Сергеевичем Барановым, сыном колхозного конюха, который и научил меня ездить верхом. С тех пор и до сего дня стараюсь не порывать с миром лошадей, хотя, конечно, как говорится, сердце потеряно, и вот хотя бы недавно: попросили сесть на отбойного жеребца – попробовал, нет, спешился – боязно. Но что за шестьдесят пять лет из семидесяти пяти было, то было. Иные наездничьи династии стали известны мне в трех поколениях – от деда через сына к внуку. Видел я на беговой дорожке таких могикан, как Стасенко и Ляпунов. Не только познакомился, но и подружился с Асигритом Ивановичем Тюляевым, который среди конников являл собой нечто вроде дронта из мира живой природы, особь исчезающую. Он, как истинный поклонник конской плоти, обожал предмет своей страсти издали, но даже мастера, признавая его авторитет, говорили: «Знает лошадь». На тренотделении у Грошева, ездившего на Елани, промелькнул по старинке заходивший к нему коннозаводчик Лежнев, и помощники Самого́ (так на конюшне называли Грошева) шептались между собой: «Наш владелец пришел». Они не ломали шапку перед титулом: у этого бывшего заводчика водились резвейшие лошади своего времени. Да, были люди… Видел я «высшую школу» Ситько на Снежке,

видел рыжего Мифа, перелетавшим барьеры «высшего класса» под седлом Таманова, видел Лаксов… Кто скажет, что они тоже видели легендарных братьев-жокеев, Николая с Анатолием, тем отвечу: кого вы едва ли видели, так это отца их, Михаила, который когда-то скакал как Локс. Правда, я видел его уже не в седле – в паддоке, во все глаза глядел я на миниатюрную, невесомо-прозрачную тень былой славы, а ветеран рассказывал, как перед большими призами их прохватывало: «Т-р-р! Т-р-р! Так и прокладываешь дорожку от конюшни до сортира». Не от страха – налегали на вес, стараясь исторгнуть из себя все до грамма. И нервничали, конечно, особенно перед Всероссийским Дерби.

Конная дрессура Кантемировых стала мне известна с кулис, вернее, с конюшни, как называют внутренние покои цирка. Еще раньше попал я к их наставнику – Татаринову, который в свою очередь начинал у их отца, а того, как и Лакса-старшего, видел я уже не у дел, но все-таки видел. Успел я, странствуя с конями за океан, узнать Кейтона, пусть последнего из династии, но все же Кейтона, и был он копией своего отца, Вильяма, «короля езды», только ростом чуть пониже. Видел бросок Фактотума в руках Руди Лемана. Видел посыл Груды и Требы, рядом с которыми сам Насибов считался новичком. Вольтижировку в мое время делал не кто-нибудь – Цыплинский. Стартером при мне был недобитый эсер-террорист Розенберг, уцелевший при ипподроме. Ведь враги революции, сторонники старого режима, переменив род деятельности, нашли прибежище под крышей конюшни, и я слышал в далекую от старт-машины эпоху, как строгий стартер, шипя, предупреждал наездника Калалу, а тот принимал и одновременно мешал другим принимать старт, стартер же зловеще шептал: «Брось мудрить!» Но невозмутимый и загадочный, словно Сфинкс египетский, Николай Александрович лишь слегка улыбнулся.

Выходя из последнего поворота на финишную прямую голова в голову, вечные и достойные соперники-рекордисты Морской-Прибой с Изюмом, в очередной раз доказывая, что невозможно решить, кто же лучший из них, обдали меня, у бровки стоявшего, грязью, – проливной дождь шел, а наездники их, Родзевич и тот же Калала, резались так, как другим и посуху не проехать. Рыжий с лысиной Грог 2-й под седлом Николая Лакса у меня на глазах стал трижды венчанным триумфатором, и в той же скачке на Приз СССР, пусть в побитом поле, участвовал жокей-ветеран Назаров, который в молодые годы соперничал с легендарным Платоном Головкиным.

Великий Улов запечатлелся у меня в памяти лишь как ярко-белоснежное пятно (мне тогда было всего пять лет), зато одного

из его выдающихся потомков, Бравого, удостоился я чести убирать и помогал работать.

Удачи в езде мне не было, но кому я проигрывал? Волшебникам вожжей. Пыль глотал из-под копыт резвачей в руках таких чудодеев, как Сорокин (камзол белый, красная лента через плечо) и Зотов, картуз красный, камзол зеленый, одна нога не гнется – на протезе, отчего лошади у него со старта бочили, зато уж как разберутся ходом вовсю, то – летят.

Кто, глядя на мою посадку в седле, говорил: «Перестань ты, как кот на заборе, горбиться»? Отечественные и мировые чемпионы. «Вы, нынешние, нут-ка». Однако если вы спросите меня, понимаю ли я в лошадях, то я отвечу «Нет». Кое-что знаю о лошадях, но отличить хорошую лошадь от плохой не в силах.

Груз памяти, конечно, тянет меня назад, делая пристрастным или просто-напросто ограниченным. Когда доходят до меня имена новых чемпионов или известия о последних рекордах, я чувствую себя солидарным с тем стариком-конюхом, возле которого оказался я уже не меньше как с полвека тому назад. Для меня то было достижение – дослужился: послали меня к старту «с колесом». Раньше, в мое время, сохранялся такой порядок: перед началом заезда у финишного столба от каждой конюшни стояли помощники с запасными колесами на случай, если вдруг почему-нибудь сядет шина. И тут же был ветеран-конюх, который, наблюдая за проминкой, в каждом из проносившихся мимо рысаков видел его предков. «А вот Ратник-Турецкий, вылитый покойник!» – приговаривал старик, глядя, как трехлетний Престиж, делая фальстарт и принимая в резвую, выносит вперед ногу в точности, как его отец, а может быть, даже дед и прадед. «Покойница Карга! Вот покойница Карга!» – а то была её правнучка. Современность – всего лишь тень прошлого в глазах того, кто видел прошлое: что поделаешь!

* * *

«Вы нам напоминаете реакционного романтика», – в университетские годы говорили мне мои профессора, в первую очередь Самарин с Виппером, а уж смысл употребляемых ими слов они понимали вполне. Если обычно газеты читают затем, чтобы узнать что-то новое, то учителя мои в те же газеты заглядывали, кажется, лишь для того, чтобы установить, какому понятию, давно известному, соответствуют последние события. «Преторианский переворот» определяли эрудиты, читая о том, что вчера произошло в Парагвае. И они тут же «усекли», куда меня

потянуло, едва я стал у них отпрашиваться с лекций на конюшню.

Приобщившись к призовой конюшне, я старался и выглядеть подобающим образом, что было тогда нелегко. Где взять картуз, как у наездника Яковлева, которого с Крепышом я видел на фотографиях? Из конфискованной у деда летчицкой фуражки первого призыва наш сосед, портной Абрам Захарыч, смастерил нечто вроде страймла молочника Тевье, после чего знакомые заговорили, что у меня на голове появился головной убор a la Russe. Не было у меня и сапог бутылками, оставалось надеть лейтенантские, но знакомые все равно недоумевали, с какой это стати я расхаживаю по городу «в русском национальном костюме». Далеко еще было до почвеннического рейвавализма (оживления), вспыхнувшего что-нибудь лет через десять-пятнадцать. Правда, косоворотка у меня была натуральная. Сшила ее тетя Настя, вдова кучера Егора Иваныча Яничева, последнего из кучеров. Стоял он некогда со своей пролеткой у Красных Ворот и знавал того вошедшего в литературу лихача-душегуба, обладавшего голосом и до того трогательно исполнявшего в хорошую минуту «На Старой Калужской дороге, на сорок девятой версте», что слушатели заливались слезами. Нам эту песню, когда Егор Иваныч был еще жив, пел не обладавший ни голосом, ни слухом, но преисполненный искренним чувством, древний драгун Демидов, мы – подтягивали.

Лошади – это был, конечно, романтизм, возвратное движение назад в пампасы. Всадник – явление историческое. Конник – фигура социально-политическая. Первым усмотрел некий смысл в моих пока еще устных конных сказаниях, мой тезка, писатель-историк – почему? Исподволь назревал у Дмитрия Жукова пересмотр прошлого, он тайно стоял за казачество и начинал в глубине души сочувствовать белому офицерству. «Ты помнишь, – говорил он, – как в «Чапаеве» показаны капелевцы? Как герои». Галина Брежнева по дороге на конзавод вдруг спросила, указывая на заметную по размаху новостройку: «А правда ли, что здесь строятся дома для избранных?» Только устремленный на меня напряженный взгляд охранника помешал мне переспросить, что об этом известно ей самой; пришлось притвориться, будто я гляжу в другую сторону и вопроса не расслышал. А вопрос был по существу: куда движемся?

«То было время расцвета», – с подтекстом написал я в самой первой своей «лошадиной» статье. Подтекст заключался в переоценке десятилетия, предреволюционного, которое нас со школьных лет учили считать «позорным». Но какой же позор, если какую сторону той жизни ни возьми, то было время великих, эпоха Крепыша и Шаляпина! Статья была вовсе не о революции,

посвящена была первой русской беговой наезднице Вере Костенской, призовая ее карьера пришлась на девятьсот десятые годы, поэтому я и ввернул про полный расцвет. Появилась эта небольшая статья на последних страницах беговой программы, не в воскресном выпуске, а в будний день. Но, хотя и в будни и на последних страницах, между строк, подразумеваемое все же прочел мой старший коллега по Институту Мировой литературы, лицо историческое и политическое, чудом уцелевшее в кровавой мясорубке тридцатых годов. А чудо, как говорили нам старшие, испытавшие власть чудес на себе, заключалось в том, что писал он не только о литературе и нередко не для открытой печати. На нас, молодых сотрудников, выполнение им тайно-специальных функций не распространялось, судя по тому, что мы в своей писанине позволяли себе протаскивать какие угодно подтексты, и никого из нас пальцем не тронули. Разве что время от времени старший товарищ по работе давал нам понять, что наши старания не пропали даром и поняты правильно. «Любопытная у вас статья», было мне сказано, хотя такого зоркого читателя бега и вообще лошади, разумеется, совершенно не интересовали, он смотрел в корень.

Современным людям захотелось старины – желания такого рода мои всезнающие профессора называли реставрационными тенденциями, но, не решаясь произнести этого вслух, лишь осторожно, окольным путем, меня предупреждали, прося не забывать, чему они меня учили: романтизм есть реакция. Но *процесс пошел*, как скажет хорошо нам известный деятель, и я своими ушами слышал, как Горбачев это изрек, когда в середине восьмидесятых пригласил нас, литераторов, на совещание. Однако задолго до этого, когда реформатор еще шел к коммунизму, мы все, сообща, пусть по-разному, способствовали ретроградному движению, как некогда вся Россия споспешествовала революции. «Так дальше жить нельзя» – говорили тогда, и нам то же чувство со временем сделалось знакомо. По Лукрецию, Карлейлю, Гегелю и Марксу, история повторяется, все случается дважды, раз – трагически, второй раз комически. Нам выпало играть историческую комедию социального переворота, когда над лозунгами, обещавшими «Больше социализма», можно было только смеяться. И в этом разница. Когда Ильич насвистывал «Смело, товарищи, в ногу», тогда ему вторили искренне, когда же нам пророчили «возврат к Ленину», мы знали – это вранье и обман. Хотел ли каждый из нас, как мольеровский Жорж Данден, того, к чему все пришло?

Очутившись однажды рядом с Буденным услышал, как он сказал «Шестьдесят лет служу в армии», и поймал себя на том,

что в моем представлении прославленный кавалерист был связан с армией только при советской власти, а он, оказывается, еще до того прожил целую жизнь. Нет, конечно, мы знали, да не осознавали, *что* было, и даже мнение самого Буденного о былом приходилось «пробивать». Прочитав в этой книжке его похвалу всаднику дореволюционной выучки, вы, быть может, спросите «Что тут крамольного?» А то, что Буденный или Брусилов и другие наилучшего качества кадры старой армии, считались исключениями, – нужно ли это говорить? Но как только мы осознали, что и настоящая школа была, и вообще – было, было, тут подхватило и понесло нас неудержимо, как ноги сами несли меня на конюшню, и седло старинной выделки, как у Толстого, стало выглядеть символом качества, признаком класса, а класс… о, класс!

* * *

Недавно на том же конном заводе, где когда-то выслушал я горестную исповедь профессора Витта, увидел я кавалькаду

девушек, которым отцы, как видно, не только не запрещали заниматься конным спортом, но всячески их поощряли. Не знаю, насколько высокие должности занимали нынешние папаши, но теперь дело было не в должностях, а исключительно в деньгах. Денег же у современных отцов дочерей (и сыновей), желавших заниматься конным спортом, судя по всему, хватало на покупку не только седел, не хуже качеством, чем у Толстого, но даже лошадей, и каких лошадей! Выводных из-за границы, о которых в мое время высокопоставленные начальники предпочитали помалкивать, а кто не помалкивал, тот мог поплатиться за это жизнью. Со мной была шестилетняя внучка, перед этим мы побывали в Третьяковской галерее, рассматривали «Всадницу» Брюллова, и вот перед нами развертывалась картина, вернувшаяся в жизнь.

Со знаменитой картиной у меня связана такая история. Раньше ходил я в Третьяковку каждую неделю, и как-то раз, в зале с «Всадницей», слышу, экскурсовод группе школьников объясняет, что перед ними образец классицизма – красиво, однако, неправдоподобно. «Ведь нельзя, – говорил экскурсовод, – таким легким движением остановить лошадь на скаку». – «Почему же нельзя? – раздается девичий голос из группы. – Можно, на мундштуке, это рейнин». Говорила дочь моего тренера из «Пищевика», перворазрядница по конному спорту.

Желая преподать своей внучке наглядный урок о непростом соотношении искусства с реальностью, я попросил одну из проносившихся мимо амазонок: «Сделайте, пожалуйста, рейнин». Нарядный конь с миловидной всадницей, как живая картина, замерли перед нами. Положим, постсоветская любительница верховой езды сидела не как брюлловская модель, не амазонкой, а по-мужски, но так уже давно сидит в седле весь конный мир. Но главное, они вместе с конем являли собой зрелище, достойное брюлловской кисти. На девушке были специальные брюки для верховой езды, подобные бриджи я видел раз в жизни, в конце сороковых годов на Таманове, однако разница заключалась в том, что у чемпиона СССР были изношенные, молью изъеденные штаны, доставшиеся ему от сбежавшего за границу родственника, и даже такая ветошь по тем временам выглядела никому не доступной роскошью, мы же удовлетворялись солдатскими галифе из Военторга за семь пятьдесят. А сапоги! Не один я – все носили лейтенантские, за четырнадцать рублей, на девушке же были райдинг-бутс такие, что и королеве не стыдно в них прокатиться (хотя, возможно, королева все еще ездит амазонкой). В руках у новой всадницы был хлыст, точнее, стэк того достоинства, что в свое время едва не стоил жизни художнику-

оформителю моей книжки, Алексею Шторху, внуку Густава Шпета, ибо это был единственный на всю нашу страну стэк (см. «Как женился Лешка Аист»). Конь под всадницей нового образца был горбоносый, серый в яблоках, жеребец-андалуз – ни одного коня такой породы в пределах Советского Союза не бывало, уж это я вам точно говорю, изъездивши с конниками-иностранцами (и сам по себе) вдоль и попрек всю страну. Не ей ли, красавице, воссоздать как бы сошедшую с живописного шедевра всадницу? Но к своему изумлению, вместо того чтобы увидеть, как на классическом полотне, коня, осевшего от едва заметного движения мундштучным поводом, услыхал я вопрос:

– Сделать чего?

– Как на картине Брюллова.

На этот раз отклик заключался во взгляде, безмолвном, вопрошавшем:

– Какой еще картине?

Неправдоподобно? Действительно, представить себе такое нелегко. Совсем как в Америке, незнание от изобилия. А знала ли девушка название тех особых брюк, которые на ней сидели как влитые, обличая наивыгоднейшие рельефы ее внешности? Ведомо ли было ей отличие хлыста от стэка, находившегося у нее в руках? Известно ли происхождение породы коня, какого ей преподнес современный любящий отец, счастливый тем, что дочь занялась старорежимным спортом для избранных? Допускаю, что современная всадница, не видевшая брюлловского образца и не знающая, как называется прием, какой она без слов, быть может, выполняет лучше моей бывшей соконюшенницы, но процесс идет либо дальше, либо совсем не туда, чем мы думали, ибо вот что услышал я на днях.

Давний-предавний приятель звонит, а в голосе у него тревога: «Слушай, старик, дочь у меня занялась конным спортом». Что ж, отвечаю, тревожиться незачем, по нынешним временам ничего социально-неприемлемого в этом нет. «Дал я ей твои книжки о лошадях, – продолжает приятель взволнованным тоном, – а она не хочет их читать». За меня не расстраивайся, говорю, на всех не угодишь, есть ведь и другие книги о лошадях. «Да она вообще ничего не читает!» – взорвался приятель, и в его голосе слышалось отчаяние. Вспомнил я, как в мое время, чуть ли не со слезами на глазах, отцы и деды просили у меня мои «лошадиные» книжки, не потому просили, что книжки им нравились, а вот почему: «Дочь (или внучка) мечтает хотя бы почитать о лошадях, а ведь книг нет и достать невозможно!». Отчаяние же моего приятеля напомнило мне печаль ученого-ипполога, когда тот на эпоху раньше жаловался, что голова у него перегружена

сведениями бесценными, но, кажется, неинтересными никому.

* * *

А вот, выражаясь слогом моих профессоров, и противоборствующая тенденция. Получил я материалы научной конференции и вижу: сборище литературное, однако что ни доклад, то – лошади, кавалерия, драгуны, гусары, «выпушки, петлички», короче, былое. До чего любовно в наши дни воссоздается старина! Реставрируют прошлое с такой тщательностью, о какой мы и не мечтали. Ушедшее воскрешается с пиететом, за который нас бы не погладили по головке. И я чувствую, как при виде этого повального *пассеизма*, безудержного восторга перед тем, «как хороши, как свежи были розы», меня начинает увлекать в противоположном направлении.

Некогда в тридцатые годы профессор Фохт, имевший неосторожность упомянуть в одной статье о лошадях у Лермонтова, едва отделался большим испугом, который у него остался в глазах и еще был по-прежнему виден, когда в шестидесятых годах, прочитав старую статью, я спросил почтенного автора его мнение о лошадях у Лермонтова. В ту же пору меня самого оборвали и попросили замолчать при попытке публично заговорить о Герцене как любителе верховой езды. А теперь валяй во всю Ивановскую! Но зачем, с какой целью? Во времена, когда даже Буденный не мог громко похвалить старого служаку-вахмистра, тогда, протаскивая в подцензурную печать, какие же «ах, кони, кони» раньше были, мы хотя бы показывали властям фигу в кармане. А что за мотивы ныне при дозволенности?

Если бы меня пригласили на конференцию, я бы сказал, друзья, зачем переходить из крайности в крайность? К чему вместо отрицания и забвения впадать в апологию? Хор, тянувший «Отречемся от старого мира», умолк и распался. Петь акафист старине уже поздно! Что существовала в прошлом настоящая школа, с этим ныне никто не спорит. Но лучше подумайте: как же это всадники, прошедшие замечательную школу, позорно, с Великим Князем во главе, проиграли Олимпийские игры, проиграли вчистую – посходили с дистанции и даже попадали?

Об этом у меня же самого в книжке «По словам лошади» не было ничего. Рука не подымалась написать. Напротив, подчеркивались прежние достижения.

Всадники той же наивысшей школы, героические гусары и доблестные драгуны, полегли, беспомощно и бессмысленно

полегли, на полях сражений Первой мировой войны. Чудом выживший вахмистр, которого Буденный с глазу на глаз похвалил за выправку, мне рассказывал, как офицеры говорили: «Набьют нам немцы морду, ох, набьют!». Неохотно выслушивал я негативную часть этих историй, но это потому, что замалчивалась сторона (как теперь выражаются) гламурная.

Но зачем же, если ничего не запрещают, воротить нос от негатива? Ведь набили – было, было, однако, судя по конференции и множеству прочих признаков в текущей печати, об этом предпочитают не вспоминать. Всеми силами уходят от вопроса главного: почему же с нами происходит, что уже не раз происходило? Как в революцию подвел итог еще живой реакционнейший публицист: «Россия слиняла в три дня».

В старых главах моей книжки, читая про вахмистра, негатива и теперь не найдете, но я сознательно не менял ничего. Некоторые добавления и незначительные поправки мною специально оговорены, однако, в основном, я старался сохранить дух времени, когда эти главы были написаны. А в духе того времени, показывая фигу, я всячески подчеркивал выправку и выучку, раз уж об этом запрещали говорить. Однако ныне восстановлю эпизод, некогда исключенный: нельзя же было по мере сил объективно представить такой эпизод, а ограничиваться негативом я, понятно, не хотел. Не цензура и не начальство исключили эпизод, никто бы мне этого включить не запретил, я сам себя подверг цензуре и не только снял полторы страницы, но даже не позволил себе и размышлять по существу о том, что на странице обозначилось.

Это разговор с Андреем Фаворским. Племянник знаменитого графика, чемпион по преодолению препятствий, он вместе с одним из моих наставников, Борисом Лиловым, входил в чудесную четверку, взявшую в Париже Кубок Наций. Такого успеха наши конкуристы еще не добивались. И вот Фаворский рассказал: там же, в Париже, уже после соревнований подошел к ним Павел Родзянко. Полковник Родзянко?! У меня дыханье сперло. Вот его характеристика из письма отставного кавалериста Георгия Шестакова: «На фотографии в «Ниве» – три всадника, перед ними на постаменте – кубок Короля Георга. Победители: поручик Александрийского полка Иваненко, кирасир д'Эксе и ротмистр П. П. Родзянко в форме постоянного состава Офицерской Кавалерийской Школы. Когда опубликовали фотографию, Родзянко был уже полковником, преподавателем Школы. В дальнейшем – генерал-майор, ее начальник. Руководил наступлением войск Юденича на Петроград». Мой старший друг Трофимыч, видевший полковника в седле, с блеском во взоре

говорил: «Родзянко!». Словом, легендарная фигура. А Фаворский пожал плечами: «Как тебе сказать…». Легендарный Родзянко у наших победителей оставил странное впечатление *непонимающего*. Всадник-ветеран, кажется, не сознавал, с кем говорит. Наставления, в каких даже новички не нуждаются, если это способные новички, – как разбирать поводья, как, взяв стремя, тянуть вниз каблук и как, сидя в седле, отставлять от бедра ногу, – такие наставления, совершенно при данных обстоятельствах неуместные, из почтения к невероятной славе ветерана вынуждены были выслушивать мастера из мастеров, только что на глазах у ветерана одержавшие наивысшую в конном спорте победу – выиграли «Уимблдон» для конников. Что за нонсенс или, по-нашему, чепуха?

Беседа с Фаворским проходила на конюшне, возле уздечек и седел, у мешков с овсом и тюков сена, к нашему разговору, никто, кроме лошадей, не прислушивался, знали мы друг друга давно, ездили конь о конь, не верить Андрею Максимовичу было нельзя, однако, он и сам собственному воспоминанию вроде бы верил с трудом. Кого же они видели?

Похоже, как на плато Амазонки, глянул на современных конников затерянный мир из нашего прошлого, того самого, о котором в свое время у Атавы-Терпигорьева в «Оскудении» с тяжелым вздохом говорилось: «На вдумывание немного было способных». Но в свое время мне даже размышлять про себя об этом – не то что написать! – оказалось непосильным. Едва услыхав громкое имя, которое тогда и не произносилось в печати, я чувствовал себя не в силах тут же пережить разочарование в нем. Какие бы то ни было мысли об услышанном я от себя отогнал, и в книжку эпизод не попал, однако, рассказ Фаворского прямо-таки давил на сознание.

Как же все-таки объяснить несомненную странность? Нет, не склероз не дал старорежимному офицеру-кавалеристу понять, с кем он имеет дело, что происходит и вообще о чем речь. Вроде грибоедовского полковника Скалозуба или чеховского полковника Вершинина, полковник Родзянко, должно быть, и раньше не совсем понимал происходящее. Откуда это известно? А из классики. О чем же, как не о нашей общей неспособности понять очевидное повествовала русская литература, начиная с начала, с «Горя от ума», и до конца, до «Вишневого сада»? Так что, мне кажется, следует либо перестать клясться русской классикой (что, я вижу по материалам конференции, делал каждый докладчик), отвергнуть литературу как кривое зеркало нашего прошлого (почему-то завершившегося катастрофой), либо вчитаться как следует. Моему поколению не давали, кроме как

только односторонне, читать и понимать классику. На выпускных экзаменах я писал сочинение на тему «Пьеса Горького «На дне» как обвинительный акт против самодержавия», и в дальнейшем от нас требовали знать исключительно все передовое и прогрессивное. Но, с наступлением свободы, почему не постичь, что же наша великая литература говорит в целом?

Произведения советских писатей «Донские рассказы», «Тихий Дон», «Конармия» или «Прощай, Гульсары» и «Карюха», где действуют кони всевозможных пород, возрастов и типов, – это лошадиное кладбище. А раньше? О чем, живописуя лошадей, писал отлично вышколенный кавалерист Лермонтов? О том, как их загоняют до бесчувствия. О чем толстовский «Холстомер», а также конгениальные иллюстрации к нему Сверчкова? О том, как кончил свою жизнь на живодерне несравненный рысак. Глава о Красносельских скачках из «Анны Карениной» повествует о том, как из-за барской беспечности была погублена скаковая лошадь высокого класса. Сюжет «Изумруда» – циничная афера, жертвой которой стал резвач, выведенный из-за океана. Не забудьте и «Чубарого» Ольги Перовской – еще одна бессмысленная жертва. Краски сгущены? Конечно, сгущены – до сути, в том – сила искусства.

Правду искусства можно проверить на фактах. Если Куприн создал изумительный, до слез трогательный рассказ о ни за что ни про что загубленной лошади, то на самом деле, читая мемуары Бутовича, мы видим: мало что лошадь погубили, гибли люди, и если бы за тот же сюжет взялся Достоевский, не чуждый лошадям (недаром же сын его стал коннозаводчиком), то получилась бы трагедия с размахом на широкое социально-политическое полотно – в полном соответствии с фактами.

Достоевский не мог себе простить, как они всей семьей погубили жеребенка. О, нет, не только жалость к загубленному существу, а сознание безрассудности ради забавы предпринятой затеи не давала великому писателю покоя – не отдавал он себе отчета в том, что затевает.

А о чем сон Раскольникова? Мой отец мальчишкой оказался наяву свидетелем изуверского обращения с лошадью столь же безжалостного и бессмысленного, как и то, что во сне привиделось главному персонажу «Преступления и наказания»: «По глазам секи… по глазам… Зачем вскачь не шла!» А вот что в деревне видел отец: разъяренный мужик своей же лошаденке ножом выколол глаз, а, выколов, опомнился, и с ревом бросился клячонке на шею. Подобно герою Достоевского, которого кошмар преследовал, отец не мог виденного забыть и повторял свой рассказ снова и снова. Я говорил ему: «Перестань колебать

воздух, пиши мемуары». Он: «Обязательно напишу». Не написал. Не знал, что думать: с наслаждением гонял он в ночное, он же с яростью, вбивая сельское прошлое в пыль, топтал свои порты, едва они всей семьей собрались уезжать из деревни. Так и рассказывал, дискретно: сначала одно, потом – другое, и – замолкал, без выводов.

О том же, в сущности, был и устный рассказ, слышанный мной, и тоже не раз, от наездника Татаринова. Степан Никитич Татаринов приходился племянником знаменитому Афанасию Пасечному, а Пасечной ездил на лошадях известного Шубинского, преуспевающего юриста-адвоката, мужа великой М. Н. Ермоловой. И вот Степан Никитич рассказывал: когда принадлежавший Шубинскому Патруль в руках Пасечного выиграл Всероссийское Дерби, то рысаку-победителю было преподнесено серебряное ведро, из которого дозволялось поить только его одного, зато всем гостям у Яра, для которых по случаю такого триумфа был дан ужин, предложили, насколько хватит у них желания и сил, праздновать победу всю ночь до утра. Однако сам Шубинский оказался так занят делами, что присутствовать на торжестве не мог, он лишь расплатился по счету и, подняв бокал шампанского, удалился. Как только он ушел, Судаков, владелец кухни и ресторанной залы (гардеробной владел другой человек), обратился к присутствовавшим: «Гулять можете хоть три дня, я с него за все взял». Сколько же он на самом деле «взял», если сознался в обсчете *только* на три дня! Но это у Степана Никитича была лишь присказка, главное же заключалось в повествовании о том, как он в свою очередь «обсчитал», не оправдал чье-то доверие, и не чье-то – обманул он святое простодушие самой Ермоловой.

Дядя верховодил на конюшне у Шубинского, а племянник, в ту пору молодой парнишка, был за кучера у супруги Шубинского, прославленной актрисы. Возил он Марию Николаевну на подмосковную дачу, во Всехсвятское, и выпало ему на себе испытать силу и магию проникнутой гуманизмом ермоловской экспрессии. Отчасти и мы имеем возможность понять его, если вслушаемся в сохранившуюся благодаря техническим чудесам звукозапись голоса трагической театральной музы. При всем несовершенстве этой записи из «Марии Стюарт», и выбор отрывка, и чувство, вложенные в произносимые слова, не могут не трогать, особенно, когда сквозь шипение и хрипы слышим глубокий женский голос, призывающий к состраданию в отношении «человека падшего». Что там человека! Ермолова сердобольна была безгранично, ей, вдохновлявшей своей игрой и своим пафосом не одно поколение, причиняло боль видеть любые муки,

не только людей, но и животных. Однако возить ее тоже была сущая мука – для кучера. Тащиться до Всехсвятского приходилось с ноги на ногу, шагом, ибо гуманистка-актриса ни за что не позволяла погонять лошадь. Мало этого! «Степочка, – все тем же, проникающим до глубины души, голосом взывала она к Татаринову, – ты уж на обратном-то пути не гони лошадку, я тебе за это рублик дам. Обещай мне, Стёпочка, что пожалеешь лошадку, хорошо?». Стёпочка, понятно, обещал, клятвенно, но именно рублик – деньги по тем временам, как известно, немалые – и побуждал молодого кучера, согласно собственному татаринскому покаянному признанию, нарушив данное добросердечной хозяйке слово, гнать, что было сил во весь опор. Как только, доставив сердобольную артистку, поворачивал он к дому, так и брался за кнут.

Эх, по Тверской-Ямской…

А иногда получал он не рублик – два, даже три, а то и еще больше, все это по дороге во Всехсвятское, то есть верст за двадцать, сопровождалось призывом к состраданию, а на обратном пути соответственно ускоряло движение. «Чем больше дает, – заканчивал свой рассказ Степан Никитич, – тем пуще гонишь». Ему, само собой, не терпелось как можно скорее до конюшни добраться, лошадь как-нибудь распрячь, да оставить, чтобы на дарованные деньги по охоте, уж как положено, по-своему погулять вволю. «Так и гонишь, так и гонишь, от души», – говорил Татаринов. Как же, должно быть, он гнал, если по прошествии стольких лет чувствовал угрызения совести! Вроде моего отца, наездник повторял свой рассказ не однажды, обращая кучерскую исповедь не только ко мне, но и к самому себе. Он был вовсе не изверг, не дуролом. Подобно трагикам-гастролерам, таким, как легендарный Рыбаков, Татаринов гремел по провинции, на областном ипподроме в Раменском считался местным «Кейтоном». В этом звании его сменил Петр Саввич Гриценко, который с переходом в Москву взял Степана Никитича к себе в помощники, я же тогда приходил к Саввичу поездить, а после езды слушал покаяния старика-помощника. Повторив в очередной раз свой рассказ, Татаринов, напоминая мне моего отца, сидел молча, будто прислушивался к внутреннему голосу и спрашивал себя, что же ему теперь остается думать. Ради чего истязал лошадку-то?

* * *

Внук и сын наездника Сережа Козлов стал академиком, авторитетом по коневодству. Шурка Панков, которого в этой книжке вы найдете еще гоняющим голубей и лишь начинающим путь наездника, ныне сделался европейской знаменитостью, свою тройку он подает не только на Красную площадь, но и на Елисейские поля, и нужно быть ханжой или же просто болваном, чтобы не приветствовать такой итог нашего развала.

Сережа вырос у меня на глазах. Дед его, заводской тренер, был народным дарованием, обыгрывал столичных мастеров, а развернуться не мог. Сейчас он бы, я думаю, держал своих лошадей и ещё свору борзых. А тогда Сережин отец, элита среди ипподромных наездников, как-то звонит мне: «У сына в Тимирязевке творится что-то неладное: отличник, подал в аспирантуру, а не берут». Сереже чинили препятствия и не хотели рекомендовать в аспирантуру. Пошёл я выяснить. Встретили меня так, что я им сказал: «Вы себя ведете словно банда, которой уже нечего больше терять». Что мне ответили в деканате? «Да, вы совершенно правы». И я повернул оглобли во-свояси.

Панков – тоже представитель одной из наездничьих династий, какие мне посчастливилось знать: отец его, как и сережин дед, коннозаводский тренер, посадил меня на беговую качалку, оказался моим первым наставником. После того, как Панкова-старшего из-за каких-то интриг сняли с тренерской должности и разбили ему сердце, у него и ноги стали отниматься, он заболел, и попросил: «Скажи Григорию Дмитричу, пусть мне втирание приготовит». Григорий Дмитрич – это был Грошев, столичный мастер, к которому я перешел после панковской выучки, он, услыхав просьбу собрата-наездника, велел мне идти с ним тут же, поздно вечером, на конюшню и начал колдовать. Но и чудодейственная грошевская смесь, исцелявшая перетруженные конечности рысакам, Николаю-страдальцу не помогла. Шурка с сестрой остались на руках у матери, женщины из тех, что были и есть в русских селениях, она их вытащила и вырастила в условиях, одно воспоминание о которых заставляет мурашки бегать по спине. Теперь Шурку можно увидеть проезжающим по Красной площади, а то и на Елисейских полях, «дорогой длинною и ночкой лунною, и с песней той, что вдаль летит звеня…»

Потомственные конники, одаренные высокоразвитым чувством лошади, получили им положенное, на роду им написанное и отвечающие их способностям: доктор сельскохозяйственных наук, профессор Сергей Анатольевич Козлов и кучер-чемпион международного класса Александр Николаевич Панков.

Дело будущего русского «Драйзера» выявить, как и почему

только в результате развала способный парень с Московского конзавода стал действительным членом Сельскохозяйственной Академии и как смог другой парень с того же конзавода оказаться на Елисейских полях: система не выпустила бы его за границу. В самом начале перестройки, предсказывая грядущее и не советуя питать больших ожиданий, директор Ставропольского конзавода мне сказал: «Не выше обкомовского уровня», – имел он в виду Горбачева, в чьей бывшей партонимии он работал. Горбачев, в четырнадцать лет впервые в жизни увидевший паровоз, поднялся на вершину мира, поднялся силой способностей, каких было у него немало и были они разнообразны: цепкая память, практический ум, сценические склонности. Говорили: «Это Хлестаков». А Хлестаков разве лишен способностей? Легкость мысли – дар. Но вообразите: Хлестакову в самом деле поручили Департамент – что будет? Обкомовское понимание вещей. На каждого мудреца довольно простоты. Им, имеющим власть и силу с размахом на весь мир, по-душе дешевая сентиментальность. Могучие фигуры думают и действуют, как дети или заурядные обыватели. Дисгармония в натуре выдающихся личностей, решающих судьбы человечества, сказывается на судьбах человечества.

* * *

Когда в результате реформы, обернувшейся развалом, наше хозяйство постигла катастрофа, зоотехники, вроде Бориса Камбегова и Татьяны Рябовой, не дали сгинуть ценному конскому поголовью, удержали на краю пропасти целые конные заводы и редчайшие породы. Эти беззаветные подвижники, несомненно, будут показаны на большом повествовательном полотне, воссоздающем, что с нами было. Борис, как и многие мои сверстники, потрясенные кризисом, перенес удар, отправивший его на пенсию. Когда я спросил Татьяну, как ей удалось выдюжить, она ответила прибауткой: «Я корова, я и бык, я и баба, и мужик», что выразительно, но лишь новый Бальзак, еще один Золя, Голсуорси или тот же Драйзер сможет вполне живописать нашу «славную революцию».

Так называемая «славная революция» – исторический прецедент, о котором я некогда узнал от своих профессоров и обсуждал с английским ветеринаром, мистером Форбсом. Профессоров я слушал, сидя в большой Богословской, бывшей в мое время Ленинской аудитории Университета, а с конником-англичанином, отпросившись с лекций, говорил в Архангельском

соборе Кремля. Усыпальница российских государей, перед которой мы остановились, навела англичанина на мысль об исторических параллелях, о сравнении его собственного прошлого с нашим, и я услышал: «А что если у вас будет восстановлен прежний режим?». Вопрос королевского коновала, вроде страданий профессора Витта, поразил меня тогда, на сороковом году советской власти, поразил оторванностью от реальности. О чем он говорит? Нет, ни в коем случае, разуверил я британца, у нас же была революция. «У нас тоже была, а потом, вы же знаете, совершилась реставрация», – сказал житель страны, история которой насчитывает девятнадцать гражданских войн и остается, хотя бы и конституционно ограниченной, но все же монархией.

Тут мы и заговорили о первоисточнике современного промежуточного положения – «славной революции». Это был совершившийся в Англии в семнадцатом веке классовый компромисс, сговор новых со старыми, аристократии с буржуазией, феодалов-лордов с нуворишами-торгашами, поделившими власть. «Славной» эта лжереволюция, в отличие от действительной революции, Большого Бунта, была названа потому, что будто бы всех устроила, и как видим, довольно надолго. Кого и как устроила наша «славная революция» – это тема для будущей «Коммунистической комедии». У нас «старых» уже не было, зато «новые», сменив вехи, договорились между собой и, отдав власть партбилетов, взяли другую – билетов банковских. Они, разумеется, провели между собой некоторую разборку и, подобно ящерице, теряющей ради спасения свой хвост, пожертвовали кое-кем из своих, но в целом как среда остались на прежних местах, там, где и были, наверху и у власти.

Поднялись и развернулись и такие как Мельников (свой коннозавод и трехтомник Бутовича им оплаченный), это из новых Третьяковых и Алексеевых, но сколько таких? Кроме наших Нусингенов, Ругон-Макэрров, Форсайтов и Каупервудов, помимо лжепророков перестройки и баронов-бандитов приватизации, в многотомной досоветской-советской-постсоветской эпопее промелькнет и приспособленец-перевертыш, из тех, кому при всех «прижимах» удавалось не только выжить, но и преуспеть. Такое лицо, получившее возможность, перешедшую в обычай, пышно справлять свои именины и на Антона, и на Онуфрия, литературой еще не запечатлено, но в самой действительности один такой гаер мне повстречался все там же, неподалеку от лошадей. И не удивительно, ведь в самом деле конный спорт всегда был и есть занятие если не полностью классовое, то все же, пусть не так резко, как прежде, социально окрашенное. Этого обаятельного

хамелеона я видел на конюшне, куда он иногда заглядывал, а о предках и вообще о прошлом его я знал из старых коннозаводских журналов. Однако он держал себя так, будто никаких старых журналов не существовало, словно он только что родился, увидев свет прямо под кремлевскими звездами, а если заходила речь о том, чем же все-таки они семейно занимались до семнадцатого года, то ответ неизменно был – разведением кур. Что у них могли нестись всякие пеструшки, в том сомневаться не было нужды, но уж, точно, у них водились лошади, и какие лошади! Какие собственно он сразу вспомнил, едва только кремлевские звезды начали тускнеть: то были рысаки, исключительно рысаки, породистые, орловские… Он лишь запамятовал, как звали того из них, что выиграл Императорский приз. В самом деле выиграл, а кличка у него была Птенец. В награду за напоминание получил я неотразимо-обаятельную улыбку (слабый пол та же улыбка косила под корень). Тогда я начал было спрашивать, а какие ку… В ответ без тени смущения: «Какие еще куры? О чем речь?». Я был повержен, ведь в журналы по куроводству я и не заглядывал. Что он говорит теперь? Из интервью с ним в газете «Аргументы и факты»: «На коммунизм я никогда не работал». Чистейшая правда! Зато коммунизм, какой-никакой, работал на него.

В постсоветском «Воскресеньи» или послекоммунистических «Бесах», нет сомнения, будет развернута картина борьбы за породу, не только высококровных коней, но и людей, добротных – *братьев*, как назвал их английский писатель Чарльз Сноу. Лошадником, как ни странно для англичанина, Сноу, которого я хорошо знал, не назовешь, но среди людей он имел в виду то же самое разграничение, какое обозначил наш наездник, говоривший о губителях дела – могильщиках, а Сноу называл их *чужими.* Созидатели и губители, свои и чужие, родные и посторонние, причастные и непричастные, – вечная вражда и борьба. Даже враги, если только это не просто интриганы, а противники принципиальные, могут оказаться *своими*, причастными к делу, которое они понимают – по-своему, но понимают. А почему у нас могильщиков ставили во главе дела, а знающие оставались в стороне или просто в дураках, почему их дарования и способности, если не отвергались, то в лучшем случае всего лишь использовались, не находя подобающего признания или вознаграждения, что на нашей почве, в пределах советской истории, сокрушало их, об этом грядущий Достоевский или народившийся новый Толстой выскажет полную правду. А пока еще не явился творец-гигант, как-нибудь попробую «своим голосом» рассказать хотя бы следующую историю, которую сейчас лишь намечу пунктиром.

На исходе девяносто первого года в Москве собралась американская Комиссия Витта. Об этом я прочел в американской книге, было ли о том же что-нибудь в нашей печати, не знаю. Американец-чиновник по фамилии Витт (еще одно совпадение!), по имени Дэн, создал из деловых людей ареопаг, на заседании которого, помимо членов, представителей корпораций, присутствовали и гости, наши Президенты, Горбачев с Ельциным. Их пригласили, чтобы они своими глазами видели и своими ушами слышали, как корпорации будут делить наши природные ресурсы. В это же самое время, когда Комиссия заседала, а Горбачев с Ельциным на ней присутствовали, за океаном конские барышники начали некую «благотворительную» кампанию. Находясь где-то на периферии, но все же в орбите крупномасштабной международной операции по освоению наших ресурсов, затеяли они «спасение русской породы лошадей». В эту махинацию меня за счет прежних моих знакомств собирались втянуть. На этот раз получалось почти, как у Байрона, который посадил или, вернее, привязал своего псевдо-гетмана к спине невероятного «коня татарской крови из Украинских степей». Словом, романтическая условность, некая Мазепа. Хотя название породы являлось сомнительным (что за вообще «русская»?), вне сомнения, лошади, как бы они ни назывались, находились на краю гибели, поэтому мой первый порыв был: «Жизнь за коня!». Однако журналист-репортер из Кентукки, обычно составлявший отчеты о больших скачках и знавший подноготную конного мира, меня предостерег. «Это же свиндл», – сказал опытный репортер, употребив одно из тех слов, которые попадались мне несчетное число раз, но тут же почему-то выскакивали из головы. Ну, разумеется, мошенничество. Получили бы даром наших лошадей, а продали по законам рынка.

* * *

«Жизнь замечательных лошадей» – с таким названием книжка сложилась у меня к осени шестьдесят седьмого года. Первыми ее читателями еще в рукописи стали отец и сын Завильгельские, очень ко мне благожелательные. Они, Борис Дмитриевич, директор конзавода, и Генка, ученый-генетик, нашли нужным вычеркнуть лишь пару фраз, в которых конская кровь опасно, как им показалось, перемешалась с национальным вопросом. Больного вопроса, говоря о «короле русских рысаков» Крепыше, принадлежавшем двум караимам и попавшем в езду к тренеру-американцу, коснулся я не прямо, не в тексте, а, само собой, в

подтексте, но внимательные и доброжелательные читатели усмотрели-таки сомнительную мысль между строк, и своей рукой, в моих же интересах, вместе с текстом убрали подтекст. Кроме того, Завильгельские, старший и младший, в один голос настойчиво советовали, если собственная жизнь мне все же дорога, снять фрагмент с описанием правительственной прогулки верхом, которой я оказался случайным свидетелем. Этот фрагмент мои неофициальные, но для меня авторитетные внутренние рецензенты сочли непочтительным. Сейчас тот же текст нашли бы, по меньшей мере, безобидным, а, может быть, и знаменательным: барская забава тогда выглядела нарушением нашего образа жизни, а, теперь ясно – в ней, наряду с дознанием Галины Брежневой о палатах для элиты, проглянул облик нашего грядущего.

Оказавшийся в некотором роде пророческим эпизод я едва ли смогу восстановить по памяти, за исключением небольшого отрывка («Правильная посадка»), весь текст пропал при разных переездах. А вопрос Галины, в моей памяти не умолкавший, являлся риторическим – к себе самой. Она, очевидно, тревожилась, стоит ли их тайно-эксклюзивную, в сущности незаконную, протекавшую за высокими заборами, жизнь выносить на всеобщее обозрение. Ведь это все равно, что во всеуслышание заявить вместе с Джорджем Оруэллом, но, в отличие от него, безо всякой иронии, а совершенно всерьез: «Одни равны больше чем другие». Нужно ли это? Смелые люди решили: «Нужно!», и все вышло *по-ихнему*. Когда реставрационный процесс еще не пошел вовсю, но уже наметился, я сделал попытку написать об этом в повести «Похищение белого коня», и повесть читателям показалась «направленной против интеллигенции». Но ранний наш компрадор и окружавшие его типы, в ней выведенные, вовсе не были интеллигентами. Компрадоры – это государственные служащие, распоряжающиеся государством как своей собственностью, это функционеры-посредники, получающие личную выгоду от поставки общего добра на международный рынок. Писатель Лазарь Карелин, ознакомившийся с повестью в рукописи, отметил: «Зловещая фигура». Что выглядело отдельной фигурой оказалось целой средой, вышедшей в авангард.

Усовершенствованная Завильгельскими «Жизнь замечательных лошадей», поступила в издательство «Молодая Гвардия», а там – в спорт-редакцию (заведующий Таборко Владимир Александрович). Наконец попала она в колдовские руки кудесника Миши. И – понеслось. Не меняя ни слова, Миша разрубил рукопись надвое, отложив одну часть до следующего раза, а с другой в руках бросился в бой. Своими ушами я слышал

и своими глазами видел, как уговаривал он тех, кого в издательской иерархии следовало уговаривать, чтобы с нашей дороги к типографскому станку убрали все препятствия, но больше ничего не убирали из текста. «Иду вчера…» – не уточняя, откуда и куда шел, Миша возводил очи горе, и магнетическое выражение его лица неопровержимо говорило о том, что он спускался с небес, где побывал, чувствуя себя, как дома, просто своим человеком в наивысших сферах. «И встречаю…» – Мишины губы беззвучно, многозначительным изгибом, обозначили некое сверхъестественное человеческое явление, возникшее перед ним как по волшебству и всевластным одобрением осенившее наши полрукописи.

Стороной проверить степень достоверности Мишиного чудодейства, занесенного в недосягаемые партийно-государственные эмпиреи, у сколь угодно высокого издательского руководства не было никакой возможности. В то же время руководство знало, что нераскаянный сталинист и отъявленный антисоветчик Миша приходится дальним, но все же кровным родственником жертве большого террора, погибшему в чистках крупному партийцу. А что, если вдруг, по ходу десталинизации, у запредельного фантазера восстановились могущественные связи? Усомниться же сразу в словах рассказчика не позволяла завораживающая правдоподобность, ибо вещая о том, как *шел* и *встретил*, Миша выполнял важнейшее условие повествовательной убедительности: прежде всего сам безгранично верил каждому своему слову. Уже достаточно зная своего шаманствующего редактора и не раз очутившись во власти его чар, понимая, что все это есть чудесный вымысел (с долей истины – но какой?), даже я начинал думать, будто выпуск моей книжки о лошадях был в инстанциях сочтен своевременным наряду с наиболее неотложными задачами общесоюзного масштаба.

Тот же Миша, правда, велел мне выбранную им половину рукописи переименовать. Через коридор от спортивной редакции находилась редакция «Жизни замечательных людей», так что «Жизнь замечательных лошадей» могли воспринять как намек. На что намек? Кто жил тогда, тому объяснять не требуется. Намек и – этого достаточно. В результате, после некоторых проб и ошибок, появилось название «По словам лошади». Вскоре получил я письмо еще одного литературного собрата и тезки, Дмитрия Шестакова, он писал: «Слышал о Вашей книжке «Словами лошади»…». Эх, сказали мы с Мишей, вот как надо бы назвать! Но Лешка Шторх уже успел сделать обложку, а главное, пока после Мишиных внушений не очнулось начальство, подписавшее

последнюю корректуру, мы поспешили отправить чистые листы в печать.

Вторая половина – «Кони в океане» – вместе с новыми очерками появилась позднее в другом издательстве – «Советская Россия» (редактор Ада Перепелицкая). «Приз Бородинского боя» в «Советском писателе» не издали, а сразу *переиздали.* «Мы же тебя не издавали!», – жаловался Главный редактор, мой сокурсник по Университету. Редактором книги был тоже мой сокурсник Владимир Стеценко. Мы все трое были с одной студенческой скамьи, секретов между нами не существовало, и я ответил: «Это Володя». «Да, – вздохнул Главный, – Его не остановишь». И Володя обладал даром волхования, его тактикой был тоже своего рода гипноз, но другого стиля, чем у Миши. Миша брал правдоподобием выдумки, Володя действовал в духе фокусника-иллюзиониста, который отвлекает внимание публики действиями, не относящимися к делу, а сам тем временем переправляет целехонькую, будто бы напополам распиленную девицу из одного ящика в другой. Так мой «Бородинский бой», минуя план изданий, попал в переиздания и вышел в свет.

А название «Жизнь замечательных лошадей» оказалось восстановлено «Московским рабочим», но то была уже самостоятельная книга, с другим составом, включавшая повести «Железный посыл» и «Похищение белого коня». «Как могла твоя книга выйти?» – недоумевали собратья-литераторы, и не рискованность содержания казалась им поразительной. В то время не только цензуры уже не существовало – переставали одно за другим существовать издательства. «Жизнь замечательных лошадей», увидевшая свет благодаря еще одному моему другу университетских лет, редактору Софье Митрохиной, оказалась в «Московском рабочем» едва ли не последней книгой. Но когда она все-таки вышла, я об этом только слышал, очутившись в тот момент за океаном (а домой мне казалось возвращаться опасно, см. выше «Великосветский визит»). Всё что я тогда получил, были некие «от жилетки рукава» – суперобложку без книжки: кто-то из работников уже угасшего издательства ехал за границу и захватил несколько суперов с собой: «Такие, брат, времена: лопай что дают!» А книжка где? Неизвестно. Выразительная лошадиная голова на суперобложке словно смеялась надо мной: накося, выкуси! В то время я странствовал с лекциями от университета к университету, и всюду, куда я ни приезжал, если поблизости обнаруживался ипподром или хоть какая-то конюшня, я пристраивал там дразнившую меня своей яркостью суперобложку. Каким образом? Связи! Стоило назвать, как пароль, имена конников, каких я когда-то знал, и передо мной открывались

двери любых конюшен. К тому же суперобложка – картина! Кто же из конников откажется повесить такую замечательную головку на стену? Когда же чуть ли не по всей стране от Северной Дакоты до Виргинии, где только было можно, «картина» оказалась водворена, некая добрая душа привезла соответствующее число полагавшихся мне экземпляров книги. Без суперобложек, естественно. Зато я узнал, наконец, имя художника, сделавшего столь эффектное оформление – Алексей Глухарев. Ныне выпуск под одной обложкой моих иппических очерков предпринимается по инициативе НП «Содружество рысистого коневодства». Руководству «Содружества», Председателю Правления, генералу Николаю Васильевичу Исакову, Первому вице-председателю, мастеру-наезднику, кандидату сельскохозяйственных наук, Алле Михайловне Ползуновой и Ответственному секретарю Олегу Александровичу Горлову приношу сердечную благодарность. Выходит книга в Издательстве имени Сабашниковых. Книги, выпущенные Сабашниковыми, служили нам учебными пособиями с университетских времен – ещё одно из тех совпадений, в знаменательность которых я верю, хотя и не всегда догадываюсь, что они знаменуют.

* * *

…Некогда, в 60-х годах, подвернул колено мастер троечной езды Владимир Фомин, и с тройкой в Америку послали меня. Сорок два года спустя, две недели тому назад, в одиннадцать вечера, раздается звонок – генерал Исаков: «Попал я в больницу. Поезжайте вместо меня в Нью-Йорк на совещание председателей рысистых сообществ». По электронной почте Олег Горлов мне прислал отчет Ползуновой, она приехать тоже не может и по той же причине нездоровья. Совершаю эволюцию от кучера до представителя среди руководителей рысистого дела. По тексту Ползуновой докладываю, дополняя воспоминаниями полувековой давности. С начала выхода наших рысаков на международный круг в середине 50-х годов я помню лошадей и людей, которые для большинства участников совещания, важных персон в международном беговом мире, составляют предания старины глубокой. В совещании участвуют Англия, Канада, Новая Зеландия, Норвегия, Россия, Финляндия, Франция, Швеция, и США. Из Германии официальные лица тоже не приехали, однако отчет прислали. Проходит совещание накануне розыгрыша Приза Гамблетониана. Это – крупнейший традиционный приз, учрежденный в 1926 году, для Америки возраст исторический.

Каждый из участников говорит о состоянии рысистого коневодства и рысистых испытаний в его стране. В итоге участники совещания приходят к единодушному мнению: условия в разных странах разные, а проблемы одни и те же. Падает посещаемость ипподромов, растет употребление допинга, изготовляемого, среди прочего, из змеиного яда и желез улитки (их особенно трудно уловить), то и дело подменяют лошадей, подставляя фальшивых, как это было во времена, о которых написан «Изумруд» Куприна и «Серебряный-Блеск» Конан Дойля, но теперь подставляют и подменяют так, что без анализа ДНК не обойдешься и проходимцев не поймаешь. Представитель Англии рассказывает историю, как к нему с покаянием явился ловкач, вроде брата Бутовича, и сказал: «Вы не там и не то ищете».

Падать посещаемость ипподромов повсеместно, в Европе и Америке, начала с конца 60-х годов, когда введена была система ТЗПИ – тотализатора за пределами ипподрома. Оборот и объем ставок увеличился и продолжает увеличиваться, в особенности с тех пор, как система, через электронную связь, стала международной, а публики на трибунах становилось и становится всё меньше. На крупнейших ипподромах, уже не говоря о некрупных, беговые дни, бывает, проходят почти или даже вовсе без публики. Этим обстоятельством пользуются так сказать «враги» ипподромов – строительные компании, они зарятся на обширные территории, на которых расположены ипподромы и беговые конюшни.

Совещание открыл Председатель Американского рысистого сообщества, который свое выступление начал словами: «Сейчас под Нью-Йорком в Атлантик-Сити проходит собрание, примерно, шестисот представителей рысистого дела, которые обсуждают вопрос об опасности закрытия ипподрома, возле которого мы заседаем». Губернатор штата, где находится этот ипподром Медоулендс, флагман рысистых испытаний в Америке, выбран благодаря поддержке конников, он давал обещание взять их под защиту, а теперь склоняется на сторону строителей. Оборотной стороной закрытия ипподромов (уже закрыт ипподром Рузвельт в Америке и Блю-Боннетс в Канаде) оказывается перепроизводство лошадей, классных рысаков, которых негде испытывать.

Парадокс ситуации заключается в том, что всё это совершается на фоне гигантского денежного оборота. Призовая сумма «Гамблетониана» этого года составила полтора миллиона долларов. Жеребцы, успешно выступающие двухлетками-трехлетками, чаще всего уже не выступают или выступают недолго в старшем возрасте: их спешат вскалдчину закупить и поставить производителями на племя коннозаводчики, стоимость

таких жеребцов достигает нескольких миллионов. Таким образом обостряется вопрос о смысле и целях рысистых испытаний – один за другим, мелькая, сменяются победители больших призов, рекордисты, не успевая запечатлеться в сознании и памяти любителей бегов. Как для участников, так и для зрителей, целью становится быстрое получение прибыли.

Лошадь как таковая теряет своё значение, становясь живым подобием того самого шарика, который тут же, на трибунах ипподрома, крутится в колесе рулетки, а игорные аппараты помещаются в особых залах в здании трибун. Недаром многие ипподромы стали называться казидромами, являя сочетание ипподрома с казино. Большинство публики приходит на ипподром играть во что бы то ни было. Ядро посетителей составляют не те зрители, что с началом заезда спешат к решетке трибун посмотреть на лошадей, а те, что остаются в закрытом помещении. Смотрят они на теле-мониторы, а мониторы показывают не только конские испытания на разных ипподромах по всей стране и даже по всему свету, но и состязания по другим видам спорта, и всё это, бейсбол с бегами, бега со скачками, а скачки с американским футболом, можно комбинировать, делая различные ставки. Наружу выходить и смотреть на лошадей этим азартным игрокам незачем и некогда: им надо успеть сделать очередную ставку, сочетая происходящее на ипподромах и стадионах в самых разных концах земного шара, а ещё и в рулетку поиграть.

После заседания отправляемся на Медоулендс. Если вообразить, что эта махина может исчезнуть с лица земли и оказаться стерта из общей памяти всевозможными постройками на том же месте, то начинаешь картинно представлять себе знакомые со школьных лет такие понятия, как урбанизация, индустриальная революция и вспоминать такие эпизоды, как исчезновение Шервудского леса под наступлением угольных шахт.

На ипподроме в членской беседке разговорился с владельцем конного завода. Моложе меня, но тоже седой, помнит и другие времена: по сорок тысяч зрителей каждый беговой день, а в сезон это день за днем, каждый день. Он отдает себе полный отчет в том, что его несет и держит на плаву неудержимый поток общих несчастий. И жаловаться не на что и радоваться нечему.

Пока мы с ним стояли у решетки и разговаривали, несколько рядовых заездов было разыграно с резвостью, превышавшей рекорды феноменального Грейхаунда, которые держались, оставаясь непобитыми в течение десятилетий. Причем выступал Грейхаунд на беговой дорожке семь лет и наилучшие результаты

показал пяти-шести лет. А перед нами проносились трехлетки резвее Серого Чуда (так называли Грейхаунда). «Миллионов шесть за такого дадут», – говорит мой собеседник, имея в виду, что на следующий год уже показавший достаточно высокую резвость молодой рысак будет снят с испытаний и поставлен синдикатом владельцев на племя. Чудо своего времени, как Грейхаунд и другие резвачи, его соперники, были живыми легендами, их выступления из года в год превращались в события, а победители «Гамлетониана» прошлого и тем более позапрошлого года уже забыты, о них и легенд не осталось.

А тем временем один за другим рысаки проносились мимо, словно исполняя по-лошадиному танец «Маленьких лебедей» из «Лебединого озера». Они, казалось, не бежали, а летели над дорожкой. Такова была элевация – мгновение, когда все четыре ноги оказываются на воздухе. А они перебирали ногами так быстро, что вроде бы и не касались земли. Красиво и грустно: их скоро уже не увидят, увидят других, а этих забудут, словно их не существовало.

У нас этих проблем ещё нет, но есть другие, отдающие рефреном старопартийного гимна: «…До основанья, а затем…». Разница в том, что раньше пели и – разрушали стародавнее, а теперь не поют, круша новое и возвращаясь к недавно разрушенному старому: открыли рулетку – закрыли рулетку, закрыли тотализатор – собираются открыть… «Ты сам знаешь, – говорит мне наездник, мой сверстник, Толя Козлов (его сын стал академиком), – раньше на тренотделениии стояло по двадцать пять голов, а сейчас и восьми не наберется». Так хуже или лучше стало? Толя не романтик, если речь идёт о проблемах практических, скажем, где взять сена и овса для лошадей. Поэтому отвечает не сразу и вообще ответить затрудняется: всё переворотилось и только укладывается, как сказал Толстой. Дурь, как была, так и осталась дурью. «Могильщик во главе дела», – говорили наездники поколения толиного отца, имея в виду, допустим, начальника Управления ипподромами. Но тот скорее вредил, чем хоронил.

Шаг вперед совершается новыми людьми. Каждый вступающий на арену истории класс вносит вклад в прогресс. Наша Национальная галлерея, Художественный театр, Школа генетики, уж не говоря о торговле и промышленности, – вклад купечества. Ведь и коневодство у нас создал «выскочка» – так сказать, выдвеженец Алексей Орлов. А сейчас? Если капитал у таких, как Мельников, это – образцовый конный, основанный там, где завода раньше и не было, а вот Пермский завод прикрыли и собирались приватизировать Московский ипподром. Возможно,

увидели бы то самое зрелище, что открывалось из окна моего кабинета в колледже: мертвый Рузвельт-Рейсвей. Там выступал наш Кочетков, туда звонил я из долматовского кабинета, договариваясь об условиях, а видел законопаченные, постепенно разбираемые трибуны, на беговой дорожке вместо стремительно летящих рысаков копошился «вшивый рынок», и то лишь в конце недели. Рузвельт прикрыли (похоронили) мошенники, ничем и застраивать не стали – продали застройщикам. У нас приватизацию ипподрома все-таки приостановили…

Мы живем во времена коренных перемен, и судьба лошадей не составляет исключения. Вот передо мной опять две книги, издание которых субсидировали взявшиеся за разведение ахалтекинцев супруги Кейс.[28] Перечитываю, потому что просили написать по этим книгам реферат для нашего альманаха «Ахал-Теке». Как я уже говорил, всякий интересующийся лошадьми человек моего поколения и старше признавал, как правило, за бесспорную истину: английские чистокровные скаковые пошли от трех выводных жеребцов, и все три – арабской породы. Что признается теперь?

Из моей памяти, разумеется не изгладился разговор, который я переводил пятьдесят шесть лет тому назад, – Калантара с Форбсом. «Кройте, – говорил Тиграныч с необычайным воодушевлением, – кройте ваших чистокровных кобыл нашим ахалтекинским жеребцом, и вы получите замечательный инбридинг!». «Её Величество не разрешит», – ответил англичанин, и тот же англичанин мне тогда сказал, что наша революция не исключает у нас реставрации. Трудно было в это поверить, как нельзя было себе представить возврата к ахалтекинцам. Вспоминаю себя и признаю: нет, нельзя!

И вот С. Имам, знаток лошадей-индус, говорит: «В развитии породы чистокровных необходимо учитывать вклад «кровью потеющих» коней из Ферганы». Он продолжает: «Туркоманы из Азии должны занять свое место в истории породы, известной как чистокровная скаковая». Причем, ему известно: древние туркоманы это – современные ахалтекинцы. Его вывод: «Из языка скаковой конюшни навсегда должно быть выброшено общепринятое выражение – чистокровные, что скачут, как арабы». Было общепринятым – стало неприемлемым: в пределах моей памяти!

Той же точки зрения придерживается американский ипполог Александер Маккей. «В туркоманских лошадях, – подчеркивает он, – предпочитались линии, отличавшиеся резвостью на средние дистанции» (средние – ипподромные в отличие от многокилометровых пробегов). Вывод Маккея: «Отсюда и пошла

резвость чистокровных».

Итак, туркоманы, они же ахалтекинцы. Маккей доискался: из трех знаменитых, будто бы арабских прародителей, Баерлей-Турк происходил от Турка-Белого, туркоманского светлосерого жеребца, который был подарен Оливеру Кромвелю турецким султаном. Дарлей-Арабиан, якобы выведенный, был фактически выкраден из Алеппо одним из английских, так называемых «турецких купцов», которые базировались на Востоке, имели там обширные связи, и, благодаря этим связям, удавалось им снабжать своих отечественных клиентов «чистопородными» арабскими лошадьми. Кавычки, поставленные Маккеем, надо понимать как намек на сомнительность «чистоты». Овеянного легендами Годольфина-Арабиана Маккей называет туркомано-арабом. «Если бы в свое время, – говорит он, – его записали бы как туркомана, то история чистокровных выглядела бы иначе». Выглядела бы иначе! Уже выглядит иначе, но кто возьмет на себя довести пересмотр до конца и написать другую историю скаковых лошадей? Вот в какое время мы живем: осознаваемых и не умещающихся в нашем сознании перемен.

Всё имеет свою оборотную сторону. В Советском Союзе не было лошадей в частном владении. Виноват, быть не было, однако была. На всю страну или, по крайней мере, на всю Москву была одна единственная частная лошадь. Принадлежала профессору, который преподавал сопротивление материалов в столичном вузе, а на ипподроме держал собственную лошадь. Любитель верховой езды, но нельзя сказать, чтобы он ездил на своей лошади. Скорее, сидел, почти без движения, словно кондотьер Канолетто. Избалована эта лошадь была до невозможности и шагу не делала без моркови или куска сахара. Получала угощение, делала один шаг и останавливалась. Ещё подношение – ещё шаг. Вокруг по всем направлениям работались рысаки, а посреди ипподрома возвышалась живая конная статуя. На вопрос, как же ему удалось приобрести лошадь, уникальный коневладелец отвечал, что лошади он не покупал, а получил в обмен. За что? Другую лошадь, которая у него была раньше. А та – ранняя лошадь? И ту не покупал. «Она у меня, как бы вам это сказать, взялась», – говорил почтенного возраста ученый всадник. Откуда и как взялась, обладатель лошади, разбиравшийся в сложнейших технических материях, не мог объяснить. Говорил только: изначальная лошадь была некоей редкой породы, в ней оказались заинтересованы кафедра коневодства и учебная конюшня Тимирязевской Академии, состоялся обмен. Но всего-навсего одна-единственная частная лошадь, откуда бы она ни взялась, погоды не делала, поэтому можно сказать: частных

лошадей у нас не было. Однако не было и бездомных лошадей. Раньше по городам бродили бездомные кошки и собаки. А бездомные лошади – явление новое, современное. Сначала я прочитал о них в американских газетах. Потом – в российских. Эти несчастные, брошенные на произвол судьбы верные друзья человека – жертвы переменчивого преуспеяния предприимчивых людей. Разбогатели – накупили лошадей. С упадком рынка и биржи терпят крах – выпускают лошадей на волю: иди, куда глаза глядят! Живая игрушка специалиста по сопротивлению материалов была избалована и, конечно, перекормлена, напоминая тучного коня из «Театрального романа» Булгакова, что делало её практически непригодной для езды, но современная ей противоположность – вовсе некормленные, истощавшие клячи.

Другой пример исторической диалектики: судьба мустангов. Одичавшие лошади некогда оказались на грани гибели. Охрана окружающей среды спасла их от исчезновения и … привела к трагическому результату. Мустангов развелось столько, что их поголовье приходится сокращать. Нет, их не забивают. Преследуя на вертолетах, пугая и не давая им передохнуть, их загоняют насмерть – до полного изнеможения. Жалко? А вы спросите у фермеров, чьи пастбища потравлены и вытоптаны. Ведь это – бедствие: лошадиное нашествие, вроде нападения гигантской парнокопытной «саранчи». Создано Общество по спасению лошадей. Но сколько их можно спасти?

Всё это так называемые противоречия цивилизации: перемены к лучшему, оборачивающиеся и чем-то худшим. На фоне и среди перемен ярче проступает неизменное.

У Анатолия Козлова я спросил, нельзя мне с ним проехать на маховой работе. «Без проблем», – ответил Толя. Но проблемы начались с начала – с рабочей качалки: пружина лопнула под сидением, амортизации нет, нет и ремонта, фабрику конного снаряжения не приватизировали, а просто закрыли. Уж я думал, что выпаду на дорожку – так трясло. Рысак, я надеялся, возьмет вожжи и таким образом будет меня поддерживать. Оказалось, он слабоузд – вожжей не берет. «Зато резов, – успокоил Толя, – наполовину американец». И в самом деле, как приняли с хода, вожжи напряглись. У последнего поворота Толя мне крикнул: «Не спать!». На последней прямой я выслал, как мог, по-кейтоновски разводя руки в стороны. Проехали столб, сбросили вожжи. Толя, повторив тот же жест, когда-то привитый Кейтоном, говорит: «Да, кто хоть раз испробовал эту езду, тот уж не бросит».

* * *

И последнее из авторских замечаний. Когда я только начинал писать о лошадях, то парень был холостой, а переиздаются мои иппические очерки, когда я уже сорок лет как женат. С женой вышли мы из стен одного и того же Московского университета, с одного факультета, филологического, слушали, хотя и в разные годы, одних и тех же профессоров, по одной и той же специальности. Словом, люди одной профессии, не только супруги, но и коллеги. Если кто-либо из нас напишет что-нибудь для печати, то прежде чем рукопись поступит в издательство, она подвергается домашней критике, а иногда и цензуре. Можно ли что-то говорить печатно, мы обычно не спорим, обсуждаем, как свою мысль выразить, чтобы быть понятым правильно. Лошади жене почти безразличны (она предпочитает кошек), это делает ее беспристрастным читателем моих «лошадиных» писаний. Если ей показалось неинтересно (что случается, и нередко) – дело гиблое, и не пытайся в таком духе продолжать, а если она тут же не отбросила мой текст, тогда есть надежда, что, быть может, и читатели, открыв книгу, не сразу ее закроют.

notes

Примечания

1

От англ. «pace» – в отличие от спида (speed) означает не скорость бега, а напряжение борьбы на дорожке.

2

Это – легенда о легенде. Прошу, прочтите дальше. Проблема в том, что легенда опровергается и – оживает.

3

Уже в 1970-х годах «феномен Умного Ганса» был подвергнут новой экспертизе, проделанной американцами Томасом Себеоком и Робертом Розенталем, их книга была издана Американской Академией Наук, а у нас на неё откликнулся чл. корр. А. И. Китайгородский. Он занес «феномен Умного Ганса» в разряд тех явлений, которые назвал чеховским словом «Реникса», на латинский манер прочитанная «Чепуха».

4

См. Eric Ashby, Scientist in Russia, Harmondsworth, 1947, P. 116. Дополнительную консультацию на этот счет я получил у своего сына, доктора биологических наук, занимающегося исследовательской работой в биотехнологической фирме «Сангамо» и читающего курс генетики в Калифорнийском университете.

5

Ф. Д. Ашнин и В. М. Алпатов. Дело славистов. М.,1994. Книга повествует о том, как не сверху, а снизу, непосредственным окружением, вытеснялись из науки и жизни крупнейшие русские историки и лингвисты. Другого такого индуктивного исследования не знаю. Обычно начинают дедуктивно – сверху.

6

Формально – народовластие, фактически – власть одного лица, как при Юлии Цезаре.

7

Там же (чего я еще не знал) хоронили ее супруга, генерала Гартунга: отданный под суд и оправданный, он все же покончил с собой.

8

«Верните лошадь!» – в этой книге, вышедшей в 2003 году, автор, Александр Лацис, допускает, что к удивительной поэтической сказке руку приложил Пушкин.

9

Подобно большинству, я неправильно склонял это слово, пока не прочел упрек Шаламова Солженицыну в недостаточном знании лагерного языка и лагерного быта. Согласно Шаламову, надо говорить зека.

10

Перевод М. Ю. Лермонтова

11

Перевод А. С. Пушкина

12

Перевод С. Я. Маршака

13

Перевод И. Козлова

14

Юлия Васильевна Палиевская – литературовед, переводчик, преподаватель английского языка на кафедре Московского университета и на такой же кафедре в Колледже Нассау Университета штата Нью-Йорк. В Университете Виргинии стажировалась как Фулбрайтовский стипендиат. Автор книги о Фолкнере. Спортивные интересы – футбол.

15

Творчество этого писателя, изобразившего кризис сельской Англии, изучал мой отец, переживший сходный кризис в России.

16

Наивность моего напарника может показаться неправдоподобной. Скажу только, что на следующее лето оказался я в тех же местах, и тот же конюх-пастух-табунщик, вытягивая черепашью шею, прошептал: «А Иван-то удавилси!». Отчего? «Хто ж ево знае? Полез сам собой в петлю, и весь сказ». И никто видимой причины не мог назвать. Семьи у Ивана не было.

17

Видно, Бабель еще не читан, иначе в этой сцене я бы увидел живую иллюстрацию к его рассказу «Мопассан».

Павшим Великой Армии.

19

Еще не прочитана «Лиса» Лоуренса, и я не знаю, что моя жизнь подражает его искусству.

20

«Война и мир», том второй, часть четвертая, глава VI.

21

Там же.

22

См. «Гамлет», д. V, с. I.

23

Основатель института для изучения русской литературы при Колумбийском университете. «Вы же сами делаете из них мучеников», – говорил он мне в тоне упрека, имея в виду писателей у нас запрещенных или преследуемых: их остается только защищать, превознося и не разбирая, всегда ли хорошо они пишут.

24

Эти старые подшивки у меня пропали – на время, а потом, годы спустя, каким-то фантастическим образом, через букинистов, оказались у моего соседа, с которым я, к сожалению, не успел познакомиться. Это был Федор Кудрявцев, человек ренессансного склада, обладавший многими знаниями и дарованиями. Кроме подшивок, я получил от его вдовы рукопись «Тогда были лошади…» и, благодаря Нине Буденной, работавшей редактором издательства «Московский рабочий», эти очерки были включены в сборник «Большой приз».

25

Урнов Михаил Васильевич (1909–1994), известен как переводчик, в том числе рассказов О. Генри, а среди них ковбойских историй – «Пимиентские блинчики» и «Пианино».

26

Яков Бутович. Мои Полканы и Лебеди. Воспоминания коннозаводчика. Часть первая. Пермь, 2003, стр. 199.

27

См.: Я. И. Бутович. О повести «Холстомер» и об иллюстрациях к ней. Альманах «Прометей», том 12. М., 1980. Этюд Бутовича был включен благодаря А. И. Ефимову.

S. A. H. A. A. Imam, Newmarket and Fergana, Bihar, India, 1997; Alexander Mackay-Smith, Speed and the Thoroughbred. The Complete History, Lanham, Maryland, 2000.